ВОЛНОЮ МОРСКОЮ

Священник Дмитрий ДУДКО



Православная народная книгА

Священник
Дмитрий ДУДКО

Волною морскою

РОМАН-ХРОНИКА
(Очерки из Русской церковной жизни)

Издательский Дом
«Фавор-XXI»
Москва 2006

Священник Дмитрий Дудко. Роман-хроника (Очерки из Русской церковной жизни). – М. 2006 г. Издательский Дом «Фавор-XXI». 576 с.

От автора

Хочу напомнить читателю, что мою книгу нельзя воспринимать как списывание с натуры.

Факты действительные, но люди не те, которых можно встретить сейчас, это собирательные типы, даже те, которые выведены под собственными именами.

ВСТУПЛЕНИЕ

Страшно, когда волнуется море, доходит до девятого вала. Страшно, когда жизнь расплещется подобно морю, все захлестывая, опрокидывая, смывая набежавшей волной. Мечется человек, того и гляди вот-вот опрокинется его корабль, но еще есть какая-то надежда.

Более страшно, когда в корабль ворвутся волны и начнут безнаказанно хозяйничать. Команда, обезумев, не знает, что делать, пассажиры тычутся куда попало, тут начинается такое, о чем страшно говорить...

Я боюсь за тебя, читатель, и все-таки я не раскаиваюсь: только испытанная вера, прошедшая через всякие бури и штормы, заметит пробивающийся свет воскресения, как бы он ни был далек в набегающих облаках.

Простите, читатель, что я предлагаю Вам плавание по разгулявшимся волнам.

ПРОЛОГ

Человек с длинными волосами и небольшой редкой бородкой остановился перед одной из афиш, которые недавно были расклеены в их городе, он не читал, но всетаки до его сознания доходило.

— Кому вы несете свои деньги, перед вами — обманщик.

На афише красовался разжиревший и смеющийся поп с нахальной плутоватой рожей. В руках его — деньги, у ног — корзины с яйцами.

Грусть легла на впалые щеки задержавшегося у афиши, угрюмо сдвинулись брови, ему было не до смеха, очнулся он тогда, когда громко заговорили собравшиеся вокруг.

— А что, они проверяли, сколько у попа денег? Они, что ли, давали ему? — негодовала молодая женщина. — И совсем теперь нет таких жирных попов.

Молодой человек, видимо недавно подошедший, указывая на афишу, довольно захохотал:

— Вот ловко. Смотри, какая рожа. Ай да рожа!

Но вдруг, бросив взгляд на человека с длинными волосами, оказавшегося рядом с ним, смутился и зашептал про себя:

— Да. Да.

Кто-то рассудительно заметил:

— А по-моему, тут ничего верного нет.

— Как нет? — перебил молодой человек. — Разве попы не обирают народ?

— А ты много давал? — уколол его человек преклонных лет. — Ты, гляди, ни разу и в церкви не бывал?

— Нет, бывал. Признаться, мне понравилось, как там поют попы. Интересно, и как-то за душу хватает.

— Религия — дело совести, — кто-то вмешался в разговор. — Хочешь — веруй, хочешь — нет, а смеяться нечего.

Какой-то человек высокого роста, подозрительно оглядывающийся по сторонам, с выдающимся острым носом, старался чем-то оживить разговор.

— Товарищи, одну минутку, — он обратился к человеку с длинными волосам. — Вы, случайно, будете не поп?
Тот поднял истомленно-печальные глаза и в первый раз за все время пребывания здесь чуть улыбнулся.

— Да, я священник, а что вы хотите?

Молодая женщина прервала наступившее молчание, уважительно заговорила:

— Ну вот где у него живот, какой он разжиревший? — И резко двинула рукой в лицо человека с выдающимся носом. — Вот вы разжиревший, это да, о себе бы подумали.

Приковыляла маленькая и сухощавая старушка и, не обращая ни на кого внимания, обратилась к священнику:

— Милый батюшка, ну как у вас дела? Все не разрешают служить? А мы по вас соскучились. Мы уж хлопотали, хлопотали... Того проходимца держат, а вас лишили места, где тут правда?

Человек с выдающимся носом отошел в сторону. Когда мимо него проходил священник, он остановил его и спросил располагающе:

— Вы извините меня, я — из отдела пропаганды и агитации, меня интересует: неужели вы в самом деле веруете? Идите к нам, и ваша жизнь наладится.

— Как вы плохо знаете совесть, я священником стал по убеждению.

— А что такое с вами?

— О, это длинная история.

Священник вежливо извинился и зашагал ускоренным шагом.

Возвратившись домой, он никого не застал. На столе лежала записка: «Я ушла навсегда. Такая жизнь мне надоела. Тоня».

Не раздеваясь, священник опустился на стул, обхватил голову руками. Потом разделся, закрыл на ключ дверь.

— Что делать, что делать? Боже, как мне быть? — метался он и, чтобы чем-то облегчить свою душу, начал писать.

КНИГА ПЕРВАЯ

РАЗГУЛЯВШАЯСЯ СТИХИЯ

Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос.

Послание ап. Павла к Галатам, гл. 4, стих 19.

ИСПОВЕДЬ СВЯЩЕННИКА

«Ну вот все, я остался один. Никому не нужен: жена бросила, из храма выгнали. А такое было стремление принести пользу народу, служить Богу, в Которого я искренне верил и верую».

Он перевел глаза и уставился на небольшое изображение распятого Христа.

Эту картину, еще не думая поступать в Семинарию, он вырезал из одного старинного журнала и, когда переехал с Тоней, своей женой, в этот дом, повесил пониже икон, сделал сам для нее рамку. Рамка была плохая, даже плохо покрашена, но все это теперь его по-своему чем-то трогало, как будто распятый Христос в самом деле должен иметь вот такую рамку. Христос, казалось, не смотрел на него сейчас, подняв страдальческие глаза к небу, застыл, а ему так нужно, чтоб на него посмотрели: и он на кресте, его руки не пробиты гвоздями, но и не пробитые, руки кровоточат. И не только руки, все кровоточит.

Окна занавешены ситцевой занавеской, все остальные занавески Тоня сняла, видимо, уходя.

За занавеской из зеленого сукна вчера щебетал ребенок, хорошенький пузан Андрюшка, он только научился говорить, а сегодня тишина в доме, тишина тоски, разлуки и скорби. И надо всем этим властно висит эта старинная картинка распятого Христа. Он молится Отцу Небесному, о чем он молится? То и прости им, Отче! — или: да будет воля Твоя!

Священник Николай Давыдков перевел дыхание и продолжал:

«Я, окончив десятилетку и узнав, что есть духовная Семинария, пошел учиться туда.

Мои родители, хотя и верующие, не особенно благосклонно посмотрели на мою затею.

Мать, тихая забитая крестьянка, сказала:

— Я хотела, чтоб ты учился на врача. — Отец, не в пример ей образованный, любящий юмор, сказал:

— Ну вот он и будет врачом наших душ.

Потом неожиданно вздохнул:

— И я не хотел бы, чтобы ты пошел учиться на священника, видишь, какое время.

Я знал, что священники сейчас не в почете, но мне казалось, нет ничего лучшего, чем быть священником.

Меня с трудом отпустили в Семинарию, поступил, несмотря на то, что не все поступили более образованные и достойные.

На третий год учебы уже моя горячность пропала.

Вместо идеальных людей я увидел обыкновенных смертных со своими недостатками. Пресмыкательство, заискивание перед начальством процветало среди них.

Помню, как мне противно было смотреть на то, когда шел низенький седенький старичок по латыни и к нему выстраивались в очередь, чтоб расцеловаться, а потом над ним же смеялись. Старичок этот строго ставил отметки, а кто целовался с ним, к тому был снисходителен.

Противно мне было видеть и постоянное лизание икон, широкие кресты — не потому, что так благоговеют перед святыней, а потому, чтоб их считали благонадежными. Говорят, один человек, пришедший в Семинарию из отде-

ла журналистики, вскоре сбежал, не выдержав такого лицемерия и ханжества, правда, веры не растерял, но осталась какая-то неприязнь. Я выдержал все и хотя с холодным сердцем, но пошел по намеченной дороге.

В Академии я познакомился с Тоней, моей будущей женой, она приходила в числе невест, которые наполняли наш академический храм. Мне показалась она проще всех, всегда стояла за колонной и усердно молилась, потом одиноко и сосредоточенно уходила из храма. Я заинтересовался ею и как-то подошел к ней. Она сразу глянула в мою душу такими большими, благочестивыми и проникновенными глазами.

— Вы часто приходите к нам? — спросил я.

— Как только бывает свободное время. — И тут же стыдливо опустила глаза.

— А где вы работаете, если не секрет?

— Учусь в мединституте.

— И верующая?

— А почему же нет? Разве верующие бывают только в Академии?

Немного помолчали.

— Может, мы с вами познакомимся? — предложил я.

Она встревоженно и испуганно посмотрела на меня.

— А зачем? — И тут же разочарованно ушла.

А я, как привязанный, потянулся за ней.

На следующий день она не пришла, на второй и третий тоже. Я неприкаянно бродил, разыскивая напрасно ее. Надо мной стали острить:

— Не невесту ли ты потерял?

Я ничего им не отвечал, болезненно думая про нее.

Через неделю она пришла и стала на прежнем месте, за колонной.

Окончилось богослужение, а она медлила уходить, я подошел к ней.

— Кого-то ждете?

— Ах, это вы? — взглянула она вызывающе.

— Может, сегодня разрешите проводить вас?

— Попробуйте.

И мы пошли вместе. Мы как-то быстро нашли общий язык.

Она оказалась сиротой, комсомол ее направил учиться. Хотя она и комсомолка, но вот с некоторых пор так уверовала в Бога, что ее единственной мечтой стало... Она не договорила.

Через месяц я ей сделал предложение. И нужно правду сказать, что года полтора мы жили дружно.

Она стойко перенесла свое исключение из комсомола, ушла из института по собственному желанию, я в это время окончил Академию, для нас началась настоящая жизнь.

Чему нас учили в Академии?

А звучит громко. А-ка-де-ми-я!

Сразу же, как только я столкнулся с трудностями, с таким раздражением и подумал о ней.

Нас заставляли заучивать отселе и доселе, нам читали нудным голосом лекции по конспекту и боялись самостоятельности нашей, как бы не впали в ересь. А какой страшной ересью может быть такое преподавание в Академии.

Чуть-чуть человек пытался чем-то заинтересоваться по-серьезному, как его сразу одергивали. Одного профессора, заявившего: доколе мы будем калечить молодых людей? — вскоре заставили уйти по собственному желанию. О, этот уход по собственному желанию! Лучше б они выгоняли, а то заставляют выгонять самого себя.

А чего стоит зубрежка языков! Погоня за внешним эффектом закрывает глаза на жизнь. Смотрите, мол, языки изучаем: греческий, латинский, еврейский, один из новых — английский или немецкий. А за время пребывания в Семинарии и Академии мы не научились толком читать на иностранных языках, а все зубрили правила, правила и правила. Целые страницы правил. Попробуй не вызубрить — поставят двойку, и летит стипендия. А ведь не прежние богачи мы были, каждому дорога была копейка.

Столько в библиотеке было хороших книг, многие люди жертвовали из своих личных библиотек, думали, будут читать, а нам некогда было заглянуть туда.

И вот окончена Академия.

Что она дала, кому нужны те отметки, за которые мы дрались? Кому нужны эти всякие языки?

Нам нужно было ставить на всем крест и пробиваться самостоятельно.

Я приехал в назначенный мне город. Городок небольшой. Когда-то здесь было пять церквей, две уже совсем снесены, одна занята под склад, а другая стояла без окон и дверей. Функционировала, как теперь выражаются, худшая на вид, на окраине города. Небольшая, до отказа заполненная людьми, особенно в праздники. Возле — небольшое кладбище с покосившимися и поваленными крестами, с полуразрушенной оградой. Недалеко от ограды стоял церковный дом. Нужно сказать, приличный.

Две большие комнаты и одна маленькая, отделенная от этих двух глухой стеной, в ней проживал церковный сторож. Большие две предназначались священнику.

Дом построил несколько лет тому назад один деятельный священник, инженер по специальности. Рассказывают, что ему не пришлось даже жить в этом доме. Создали на него какое-то дело, вроде каких-до документов он не оформил на получение материалов. На суде он оправдался, но вскоре случилась новая неприятность, и вот он уже три года без места. Не регистрирует уполномоченный, заявляет прямо:

— Бросай поповщину, иди работать по специальности.

Но человек он твердых убеждений, держится. В последнее время что-то матушка начинает капризничать, а долго разделяла крест.

И вот я в этом доме. Прежде всего надо явиться к уполномоченному, зарегистрироваться, а без этого настоятель храма с какой-то хитринкой в туманных глазах не стал разговаривать со мной, повернулся ко мне бесцеремонно своим выбритым затылком. Я не знал, на каком языке с ним разговаривать: греческом, латинском или еврейском.

Прихожу к уполномоченному.

Около парикмахерской на противоположной двери еле заметная вывеска: «Уполномоченный по делам русской православной церкви». Вхожу в небольшую комнату, сидит средних лет человек, играет с кем-то в домино. Окидывает меня презрительным взглядом:

— Через полчаса зайдете, обеденный перерыв.

Я извинился и вышел.

Уже начиналась осень. Дощатые тротуары заваливались пожелтелой листвой. Ветер начинал пронизывать тех, кто одет плохо. Постоял я около дверей, потоптался, а потом пошел пройтись, чтоб согреться.

Пройдя несколько шагов, я был остановлен проходящим старичком, благообразным на вид. С ним была женщина, видимо, пожилая, но молодо выглядевшая. Одета она была не по-старушечьи, особенно ее молодила аккуратная шляпка. Смотрела более веселыми глазами, чем старичок, но и в ее глазах была грусть.

— Вы, наверно, батюшка? — спросил старичок.

— Да, я священник.

— Извините нас, — перебила меня старушка. — Будем говорить откровенно, мы вас знаем. Мы видели, как вы разговаривали с нашим настоятелем... Это Иван Романович, — указала она на старичка, — а я Анастасия Петровна. Мы оба из того храма, где вы должны священствовать. Иван Романович — староста, а я — казначей.

Анастасия Петровна оказалась разговорчивой и находчивой, Иван Романович смущенно поддерживал ее разговор.

Они мне рассказали, что настоятель их — страшный человек, он уже не одного человека выжил из храма. Хулиганит, со всеми груб. Вмешивается во все. Часто пьянствует. Вот они сейчас идут на него жаловаться, но не уверены, что будет толк. Уполномоченный с ним заодно, да и архиерей наш тоже.

— Мы на вас смотрели, как вы смиренно разговаривали, и нам вас стало жалко. Вы простите нас, батюшка, за откровенность.

Мы с ними долго бродили и обо многом переговорили. Они оба мне понравились, им я, видимо тоже. Они мне обещали свою поддержку, если настоятель их не выживет. У него есть своя группа — несколько проходимцев, которые ходят в храм, чтоб шуметь здесь, кричать и устраивать скандалы. Иногда такое подымут, что бежал бы на край света — так закончила Анастасия Петровна.

Иван Романович и Анастасия Петровна решили, что я должен идти раньше к уполномоченному, чем они, а пока они посидят в этом сквере. Я согласился и заспешил, потому что вместо получаса прошло часа потора.

Уполномоченный был один.

— Войдите, откуда? — сразу поставил он свой колкий вопрос и особым подозрительным взглядом окинул мою фигуру. — Документы.

Я подал направление, справку об образовании. Он недовольно все посмотрел, сопя, не предлагая мне садиться. Мне было неудобно стоять, и я попросился сесть.

— Да, да, можете садиться, — подтвердил он вынужденно.

Я сел, он придавил рукой мои документы, уставился на меня в упор, забарабанил толстыми пальцами по столу.

— Ага, хотите быть священником? Слушайте, — изменил он тон, — а вы в самом деле веруете?

— Конечно, — утвердительно и горячо ответил я, — это мои убеждения...

— Ну, пожалуй, убеждений касаться не будем, — иронически цедил он. — Я думаю, что вы не веруете. — И заговорил решительно: — Ведь вы еще молодой человек, — изучающе посмотрел на меня.

Это задело меня за живое, и мой молодой голос зазвенел по-молодому протестующе.

— Можете утверждать по поводу себя, а по поводу других разрешите сказать тем, кто имеет эти убеждения.

— У! — удивился уполномоченный. — Оказывается, горячий, — поскрипел стулом, уселся поудобнее. — Все-таки я вам советовал бы пойти на другую работу. Церковь уже свое отживает, а вы молодой, и вам жить

нужно...

Это вывело меня из себя, и я резким голосом его перебил:

— Я к вам пришел зарегистрироваться как священник и не для чего-либо другого. Прошу меня зарегистрировать.

Он насмешливо посмотрел на меня и стал записывать мои данные. Я сидел, глядя в обратную сторону. Вошел тот, с кем он играл в домино.

— Полюбуйся, какой горячий поп, — сказал тому уполномоченный.

Я с прежней запальчивостью заметил:

— Прошу меня не оскорблять.

Он слегка извинился, потом добавил:

— Только как вас называть? Товарищ — как-то не подходит, батюшка — не могу.

— Называйте по фамилии.

Пока он регистрировал, разговаривал со мной этот второй, как мне показалось, приличный, не оскорбляя меня, интересовался подробностями моей жизни. Впоследствии, когда мне пришлось и еще раз столкнуться с ним, выяснилось, что он работает оперуполномоченным...

Старосту и эконома я в тот день больше не видел. В храм я пришел к вечернему богослужению. Служил настоятель. Я зашел в алтарь, перекрестился, приложился к престолу.

Удивительное дело, настоятель на меня теперь смотрел доброжелательно, раскрыл широко свои объятия, и мы с ним расцеловались. И тут же он предложил мне за него дослужить. Я с удовольствием согласился. Но он не ушел, поинтересовался моим материальным положением. Когда узнал, что я не особенно устроен, зашептал как-то ободряюще:

— Ну ничего, будем дружно жить, заживем. Правда, народ несколько скуповат, но надо уметь расположить. Иногда так разжалобишь старушку, что готова последнее отдать. — Настоятель глянул на часы. — Стой, не затягиваешь ли ты службу? Надо покороче. Покороче.

Сокращай, это не монастырь.

С болью в сердце пришлось скомкать богослужение.

После службы настоятель пригласил меня к себе. Так как идти мне было больше не к кому, я пошел к нему.

Жил он в центре города, в отдельном доме. Дом был обнесен забором. Подойдя к калитке, настоятель позвонил. Сразу залаяла собака, зазвенев цепью. И вскоре послышался женский голос:

— Кто там?

— Открывай, Галя. — Ничего не говоря, нам открыла полная женщина, безразлично глянув на меня.

— Я с гостем сегодня, — сказал настоятель.

— Да, вижу...

Она снова чуть покосилась на меня, ничего не выразив на своем пухлом лице.

Солнце село, но еще не потемнело, в доме еще не зажигали свет. Войдя в коридор, настоятель нажал выключатель. Огромный коридор оказался пуст.

— Видишь, как мы живем, — игриво улыбнулся настоятель.

Я чувствовал, что здесь что-то не так, но не подавал вида.

Он мне помог раздеться, жена его ушла от нас.

— Ну как, хозяйство мое сначала посмотрим или пойдем подзакусим? Ты как, устал?

Я нерешительно пожал плечами.

— Вижу, устал. Ну что ж, пойдем подзаправимся. — Эй, Галя, — открыл дверь в прихожую настоятель. — Приготовь нам перехватить чего-нибудь.

Жена его, я теперь разглядел как следует, прежде времени располневшая, глаза ее с нависшими бровями бесцеремонно бегали.

Комната была загромождена всякой мебелью, ковры на полу, на стенах, картины больших размеров зажали небольшие иконы в правом углу.

Из соседней комнаты выбежали дети. Мальчик лет двенадцати, с растопыренными ушами и какими-то не-

нормальными глазами, уставился на меня, глупо раскрыл рот. Девочки очень хорошенькие, белокурые, выбежали очень весело и сразу же подошли под благословение — сначала к папе, потом ко мне. Было трогательно видеть, как они складывали свои маленькие ручки.

Настоятель, заметив мою восторженность, довольно улыбнулся. Сын его все время стоял с открытым ртом.

Мне, к сожалению, их нечем было угостить, я неловко порылся в карманах, хотя дети не смотрели так, чтобы я их чем-то угостил, видимо, были избалованы всякими подарками.

Из этой комнаты двери вели влево и прямо. Настоятель, показав налево, сказал, что там живут его старики, мы и к ним зайдем, но после, а направо живет он.

Мы пошли направо, дети остались в прихожей.

В комнате, в которой мы оказались, посередине стоял круглый стол, застеленный очень яркой скатертью. Ковры оказались еще богаче. На стене над столом висел очень большой портрет Ленина, и очень маленькая икона висела в углу, перед которой светилась неподвижным электрическим светом лампадка. Ставни на окнах задвинуты, они, вероятно, так были всегда.

Мы сели. Улыбка на лице настоятеля разлилась вовсю. Он был доволен своим богатством и, видя, как я растерянно на все гляжу, торжествующе произнес:

— Видишь, как нужно жить. Не будешь дураком, и ты так заживешь. Хоть ты и академик, но все же...

Мать и жена подавали на стол. Мать была какая-то безропотная старушка, она, наверно, рада была, что пригрели ее, и смотрела благодарно на сына.

Вошел отец настоятеля, с хитринкой в прищуренных глазах, борода окладистая, тщательно расчесана.

Поставили большие стаканы — передо мной и отцом настоятеля. Перед настоятелем и его женой поставили маленькие рюмочки, мать-старушка совсем не пила.

Я робко возразил, что пить не буду, вообще, мол, не пью. Меня ласково уговаривали.

— Что же вы, нас не уважаете? Мы от чистого сердца. На нашего отца не смотрите, он — фронтовик.

Настоятель показал свою искалеченную правую руку, указательный и средний пальцы были неподвижно вытянуты и сини.

Старик, отец настоятеля, наливал. Мне и себе налил водки, настоятелю и жене его красного вина. Выпили. В глазах у меня сразу потемнело, я закачался и ухватился руками за стол. Не успел я закусить, как передо мной и отцом настоятеля снова были полны стаканы, у самого настоятеля и его жены стояли невыпитые рюмочки. Настоятель, добродушно улыбаясь, оттопырив свои больные пальцы, поднял рюмку.

— Ну, сразу выпьем как следует, а потом будем закусывать.

Я почему-то не отказывался, но этот стакан выпил с трудом. Принялся энергично закусывать. Но и на этот раз мне не дали как следует закусить. Стала предлагать жена настоятеля.

— Еще по одной, и дело с концом. Бог Троицу любит.

Она не по-женски как-то ловко чокнулась, и я снова выпил. Не знаю, как я на них смотрел, но я перестал закусывать и все о чем-то говорил. Они все улыбались, настоятель хлопал свою жену по спине и со злорадством говорил в мою сторону:

— Смотри, смотри, а отец Николай наш тово...

— А чей же? — подхватил я, не понимая толком, о чем говорю.

Они и еще предлагали мне выпить, я уже не отказывался и пил.

И больше ничего не помню. Проснулся я на другой день. Голова страшно болела, спал я в комнате матери настоятеля, на диване. Настоятель возвратился домой со службы.

— Ну, о. Николай, просыпайся, опохмелимся, и за дело.

Пить я наотрез отказался, настоятель отвел меня в церковный дом, в котором я должен был жить.

Через неделю приехала моя жена. Познакомились мы и с диаконом, высоким толстым человеком с небольшими усиками и еще меньшей бородой. Жена у диакона была скромная и приличная женщина, разговаривала и держала себя просто.

И все как будто пошло хорошо. Через неделю я принес домой тысячу рублей старыми деньгами. Жена моя весело улыбнулась и, наивно радуясь, сказала:

— Как много! — Перекрестилась. — Слава Тебе, Господи. А я этого и не представляла.

Староста со мной не здоровался, смотрел подозрительно, изучающе. С настоятелем у него начались открытые ссоры. Тот обвинял старосту в кляузе, а староста в этом его обвинял. В храме народ о чем-то шушукался. Меня стали уважать за мое прилежное отношение к службе.

Как хорошо было бы так служить и молиться Богу! Господи, умилялся я.

Но я был наивен, не знал того, что настоятелю уже многое не нравилось во мне.

Однажды староста робко вошел в алтарь, взял у меня благословение и начал сразу:

— Знаете, о. Николай, будьте осторожны, уж слишком вы доверчивы.

Мне показалось, что староста высказал свою неприязнь ко мне, я ему ничего не ответил, и он обиженно ушел.

Раз как-то слишком рано кончил настоятель литургию, я даже не успел закончить исповедовать, доисповедовал уже тогда, когда он вышел причащать. У настоятеля сдвинулись брови, он ничего не сказал, только недружелюбно посмотрел в мою сторону.

Диакон пошутил:

— О. Николай хочет нас всех сделать монахами.

Я ничего не понимал. Настоятель, потребляя дары, подозвал меня к себе и зашептал елейным голосом:

— Учись проводить общие исповеди, к чему эти частные? Знай, что наш храм приходской, и здесь все должно делаться быстро и вовремя.

Я хотел было возразить, но настоятель перестал со мной разговаривать, зазвонив недовольно лжицей в чаше.

Я оказался одиноким. Я чувствовал глухую вражду со стороны настоятеля, подозрительность со стороны старосты, хотя последний иногда разговаривал со мной дружески.

Если бы не уважение верующих, я не знаю, что пришлось бы мне делать.

Как-то за молебном Божией Матери мне особенно было тяжело. За моей спиной, где стояли верующие, наступила такая тишина, что я усомнился, есть ли там кто-либо? — и казалось, полюбопытствовал. И когда я посмотрел туда, я поразился. Народу было очень много, все стояли на коленях, и у многих на глазах были слезы, и я в этих их слезах прочел невыразимую русскую боль.

Я схватил выражение некоторых лиц, и, когда я снова повернулся и стал читать акафист, я больше не мог. Я физически ощутил, что здесь стоит Матерь Божия и я за всех них перед Ней ходатайствую. Я почувствовал всю скорбь, которая есть сейчас, почувствовал все заблуждения людей, не знающих Бога. И я не мог, Господи! — откашливался я, думал, что это пройдет, но это не проходило. Слезы душили меня, я боялся, что сейчас разрыдаюсь, и, закрыв руками лицо, прибежал в алтарь. Настоятель и диакон звякали деньгами, шел подсчет сегодняшней выручки. Они недовольно посмотрели на меня, у меня все лицо было мокро от слез.

— Что с тобой? Что ты такой, как будто с пожара?

— У меня голова болит, — не подумав, соврал я. — Идите дослужите.

— О. Николай дурачков ищет, — ядовито засмеялся настоятель. — Не притворяйся блаженным. И акафист надо читать короче, что растянул?

Я протер руками лицо и снова вышел. Народ стоял в том же положении, и та же скорбь охватила меня. Я снова начал читать, и те же слезы подкатили к горлу, я снова начал откашливаться. Вышел настоятель.

— Ну что ж, идите отдохните, — вежливо сказал он и торопливо дочитал акафист.

Не успел я усесться за подсчет денег, это была обязанность, как уже возвратился настоятель в алтарь.

— Ну вот, все в порядке.

В этот день в первый раз мы с женой рассорились, оказалось, меня обсчитали и выдали меньше денег, чем обычно, а она уже начала привыкать к деньгам.

— Ну чего ты, Тоня? Живы будем.

— Конечно, живы, — рассвирепела она. — Но мне такая жизнь противна. Заперта в четырех стенах, ни с кем не разговаривай и еще живи впроголодь. Брошу, все брошу.

Такой я ее еще не видел. Я ломал голову и не понимал, откуда подул нежданный ветер. Я молчал, я ничего не отвечал на ее брань, я считал, что это само по себе утрясется.

Не разговаривая, мы легли спать. Ночью она, когда закричал ребенок, грубо толкнула меня:

— Слышишь, иди. Что это все я да я? Ребенок и твой, и мой.

Я всю ночь подходил к ребенку, а он, как назло, спал беспокойно.

Невыспавшийся, я пошел на службу. В этот день я был помогающим, исповедовал, исповедующихся было много, необычно для будничного дня.

Вообще в последнее время ко мне на исповедь стали приходить многие, иные не причащались в этот день, но все-таки подходили. Многие не знали, о чем каяться, но я заметил, что им нужно было с кем-то поговорить, может быть, выплакать свое горе, и у меня они, наверно, заметили искренность и участливость. Они очень много рассказывали о своем горе. Пожилые женщины-матери жаловались на своих детей, что гонят из дому, жены жаловались на мужей-пьяниц, некоторые матери не знали, что делать с детьми. Перестали веровать. Некоторым нужно было о чем-то посоветоваться.

Я сначала останавливал их и напоминал о том, что на исповеди нужно раскаиваться в грехах, потом решил все терпеливо выслушивать.

В этот день подошла и жена диакона в скромном белом платочке, отчего ее моложавое лицо показалось лицом милой девочки, рябинки и веснушки усугубляли представление о ней как о девочке. Диакон в это время, торопясь и комкая, произносил ектению.

— В чем грешна? — спросил я, накрывая ее епитрахилью и приготавливаясь слушать.

— Батюшка, — дрогнувшим голосом заговорила она. — Я давно хотела прийти к вам на исповедь. Муж у меня невыносимый, батюшка. Пьет, ходит по бабам.

Она заплакала, я ее слегка погладил по голове, она покорно придвинулась ко мне, и локон ее выбившихся волос коснулся моей щеки, я слегка отодвинулся. Кто-то, мне показалось, выкрикнул:

— Смотри, целуются.

Этого крика, наверно, никто не расслышал, но мне стало неудобно. Исповедница продолжала:

— Батюшка, мне трудно, я верующая. Мне с ним бывает очень трудно. Посоветуйте, что мне делать? Я не раз думала оставить его. Скажите, согрешу я или нет, если его оставлю?

«Что мне ответить? Господи, научи», — взмолился я.

Исповедница терпеливо ждала.

— Помолитесь, Господь поможет вам. Придите еще раз, я подумаю... Прощаю и разрешаю... — произнес я.

Исповедница приложилась ко кресту и Евангелию. Сзади зашумели. Огромный диакон неожиданно вырос перед нами, свирепо глянул на жену и меня.

— Это что? — произнес он и толкнул жену.

Она молча скрылась среди молящихся. Я не понимал, в чем дело, я считал, что нужно не обращать внимание, все забудется.

Но не так-то все забывается. Придя домой, я не застал своей жены, она куда-то ушла. На столе лежала бумажка, написанная ее почерком. Видимо, она торопилась, каж-

дое слово сокращено: «Не буд. дол.» — я догадался: «Не буду долго».

Обед не был приготовлен, я пожевал хлеба, пососал кусочек сахара и лег отдохнуть.

Она ушла с сыном.

Я долго не мог уснуть, лезли всевозможные мысли, заснул тогда, когда нужно уже было уходить на службу. Проснулся, сам не зная отчего. Протер глаза, написал жене записку, что сегодня служу вечером, и ушел.

С особенным подъемом молился за вечерней службой, говорил проповедь. Глаза, устремленные на меня, увлажнялись слезами, позади всех я заметил и глаза жены диакона. Несколько человек было молодежи, стояли справа.

Когда я шел из алтаря, ко мне выстроились в очередь за благословением. Как-то было неловко проходить сквозь очередь, я торопился, а меня останавливали.

— Батюшка, — сказал кто-то из молодых. — Что мне ответить, говорят, покажи Бога. Я знаю, что Бог есть, но что мне им сказать?

— А вы попросите у вопрошающего показать вам свой ум.

Молодая девушка моментально сообразила, благодарно улыбнулась.

Когда рассеялись люди, подошла жена диакона. Мне стало почему-то неловко, у меня загорелись предательски уши, я боялся, что слишком заметно покраснею.

— Батюшка, берегитесь, муж мой какую-то вам строит пакость. — И в ту же секунду отошла от меня, у меня спокойнее забилось сердце, я боялся, чтоб она не стала разговаривать со мной, а все остальное мне казалось незначительным.

Почти у самого выхода, склонившись перед иконой Божьей Матери, одиноко плакала женщина средних лет. Лица всех молящихся уже примелькались, а подобное лицо я увидел впервые. Одета она была прилично, лицо выхоленное, белое. Она не поднимала глаз, я, не раздумывая, подошел к ней.

— Что с вами?

Она посмотрела на меня, всхлипнула.

— Ничего... Никто меня не поймет... Ах! — резко взмахнула рукой и устремилась к выходу.

Я остановил ее. Она вытерла слезы и рассказала о том, что ее обманул один мужчина, она в положении, теперь он ее бросил, и что ей делать, она не знает. Получает она гроши, как прокормить ребенка? Аборт делать боится, грех.

Мы долго с ней говорили, я ее старался утешить, она слушала, вздыхала.

— Батюшка, и я могу утешать, но от этого мало пользы.

Я подумал, что в самом деле это так, и как-то у меня само по себе созрело решение, я предложил ей помощь. Она удивленно посмотрела на меня, внимательно окинула меня грустным взглядом и просветленно улыбнулась.

— Это было бы очень хорошо, я за вас вечно бы молилась Богу.

Мы договорились, что я ей ежемесячно буду высылать двести рублей.

С этим мы расстались. Она успокоенно, как мне казалось, благодарная ушла от меня.

Дома меня ждала очередная неприятность. Жена не столько была раздражена, сколько чем-то взволнована, не заговаривала со мной, молча собирая ужин, и когда мы уже сели за стол, неожиданно заплакала:

— Значит, я противна тебе стала, что ты целуешь чужих жен?

— Тоня, какие ты говоришь глупости? Как это может быть?

— А жену диакона?

— Кто это тебе наговорил?

Она смущенно улыбнулась, глаза ее просветлели, и вся она вдруг преобразилась, только нос ее, большой и толстый, портил ее красоту.

— Так это неправда?

Я обнял и поцеловал ее, она припала к моей груди и сказала:

— Ты прости меня, что я с тобой стала грубой.

Я погладил ее по голове и сказал, чтоб она не поддавалась никакой провокации, у меня много врагов, будь моим искренним другом, — и я ей рассказал о том, как все было, конечно, не выдавая тайны исповеди.

— Коля, а я не хочу, чтоб ты исповедовал жену диакона. И все-таки ревную, потому что ты небезразличен мне.

С этого дня у нас с женой отношения вполне наладились, хотя в ее отношениях ко мне появилось что-то новое: то целовать ее ни с того ни с сего, то вдруг ее на ночь всегда разувать. Я хотел было как-то отшутиться, мол, как-то неудобно священнику, она слегка капризничала, потом по-серьезному настаивала, пришлось согласиться.

Дома жизнь наладилась, в храме продолжалась борьба.

С переменой денег у настоятеля и диакона появилась жадность. То они уносили из храма большую кипу денег, а сейчас все вмещалось в маленьком кошельке: деньги стали один к десяти. Между старостой и настоятелем завязалась открытая война. Из разных слухов стало известно, что настоятель у старосты требовал денег, тот категорически отказывался. Жена моя смотрела на меня подозрительно, хотя и ничего не говорила, когда я ей подавал небольшую пачку денег. Она стала экономить на еде, берегла копейку. А мне нужно было как-то выкраивать на «алименты». Пришлось идти на некоторую хитрость, не отдавая ей всех денег, я говорил, что стали меньше получать. От той, которой я посылал, не было никаких известий. Порой казалось, что, может быть, никто и не получает, но я регулярно высылал.

Раз как-то, придя в храм, я увидел несколько радостного старосту и рассвирепевшего настоятеля. В храме группами собирался народ и о чем-то шептался. Когда настоятель облачился (он должен служить в этот день), вместо возгласа произнес:

— Что, иуды, нажаловались? Идиоты, предатели, проходимцы, подлецы, — из него извергался вулкан всяких ругательств.

Я, не зная, в чем дело, спросил у него:

— Что случилось, о. Василий?

— Блаженный, не знает. А не вместе ли вы со старостой хотите выжить меня? Но не выйдет, добьюсь. Подкупили уже и уполномоченного?

Все это было мне непонятно.

Служба прошла скомканнее, чем обычно, после службы начался крик. Старосту вытащили из его комнаты, грозили убить, если он только переведет отсюда настоятеля. Староста весь раскраснелся, трясясь, тоже стал кричать на них. Присмотревшись ко всему происходящему, я заметил, что кричат, по сути дела, несколько человек, остальные просто волнуются, не понимая, в чем дело. Я взял напрестольный крест и вышел к народу. Видимо, от неожиданности народ присмирел, я вдохновенно заговорил:

— Верующие, вспомните, где вы находитесь, вспомните о святости храма...

Какая-то исхудалая женщина, бледная, но с очень злыми глазами упрекнула меня:

— Молод еще поучать. Ты служишь еще неделю, послужи столько, сколько о. Василий, потом и учи.

И в храме поднялся прежний шум. Я сошел с амвона и с крестом пошел в толпу.

— Что вы делаете? — обратился я к первой попавшейся женщине. — Разве вы не боитесь Бога?

Она кротко и страдальчески посмотрела на меня:

— Батюшка, я успокаиваю.

Так я и не мог добиться, кто же шумит — все успокаивали.

Растерявшийся староста вызвал милицию. При виде милиции все притихли и быстро вышли из храма. Обсуждение каких-то дел продолжалось где-то в другом месте. Настоятель, не заходя в комнату старосты, где мы, священнослужители, переодевались, куда-то убежал. Диакона в тот день не было. Меня староста оставил у себя, закрыли двери. Вежливо предложил сесть, согрели чайку. Тут же была опечаленная Анастасия Петровна, да что-то делала пожилая суетливая уборщица. Староста тор-

жествовал. Его глаза, постоянно грустные, сейчас горели, седые усы поднялись, он сказал уверенным голосом:

— Вы, наверно, ничего не знаете, о. Николай, а у нас большое событие. Во-первых, новое положение в церкви, по которому староста и двадцатка играют решающую роль, и мы решили наконец избавиться от настоятеля. Во-вторых, мы ходили к уполномоченному, и тот готов пойти нам навстречу.

У меня торжествующе забилось сердце, я подумал, как бы хорошо было служить по совести, чтоб никто тебя не торопил, я тоже рад был избавиться от такого настоятеля.

— А кого вы хотите на его место? — робко спросил я.

— А того, кто прежде здесь служил и кто и для вас выстроил дом — это о. Константин, хватит, достаточно он настрадался.

— А уполномоченный не будет возражать?

— Не знаем.

Анастасия Петровна рассудительно сказала:

— Надо что-то придумать. Говоря откровенно, возражать будет.

Староста хлопнул рукой себя по лбу.

— Была не была, надо что-то ему сунуть.

На этом все условились, каюсь, я тоже не возражал. Нам было так хорошо, мы нарисовали идиллическую картину, как будет спокойно без настоятеля, как хорошо будет служить при о. Константине. Вот плохо, что диакон останется из их партии.

Староста нашелся:

— Ничего, и его переведем, все со временем будет. Не горюй, о. Николай, заживем, — потряс мою руку.

Я поздно возвратился домой, заметил, как чьи-то злые глаза наблюдали за мной, быстро вбежал в дом. Жена меня встретила взбешенно:

— Ну так как, и сейчас скажешь, что ты никого не целовал? Ну что смотришь, бесстыдник? — вскинулась она на меня. — А алименты кому ты платишь?

Теперь я действительно не знал, что ответить, алименты ведь в самом деле я плачу. Я отчаянно покраснел.

— Что, стыдно стало? — заметив краску на моем лице, закричала жена. — Святоша. А я ему верила. Подлец ты, вот кто.

Самое лучшее, что я мог придумать, — это осторожно спросить:

— Откуда это тебе известно?

— Известно вот, — сбавив тон, ответила она. — Ты думаешь, от людей скроешься?

Но в самом деле ей наговорил диакон, он был сегодня у нее.

Я ожил, но зато весь покрылся потом, сразу устал и сел. Я таким был усталым, что не мог говорить. Она, немного остынув, в упор смотрела на меня.

— Ну скажи...

Но что я мог сказать? Открыть все, как есть? И я сказал, что все это неправда, но голос мой звучал неубедительно, но она стала не такой свирепой и, казалось, поверила мне.

С этого дня жена стала следить за мной, встречала меня при выходе из храма, тщательно проверяла получку, и в следующий месяц я не мог выслать «алименты». «Что-то будет?» — зашептал чей-то злорадный голос мне в уши.

А в храме шла скрытая борьба, о чем-то шептался народ, настоятель со мной не разговаривал, после службы сразу куда-то убегал, диакон часто не приходил на службу. Староста получал анонимные письма: «Убирайся, пока жив. Мы или убьем тебя, или красного петуха пустим». Уполномоченный медлил вызывать к себе настоятеля, чтобы отобрать у него регистрацию, хотя договор с настоятелем на следующий год заключен не был. К старосте приходил прежний настоятель о. Константин — высокого роста человек, с небольшой бородой. Щеки впалые, вид измученного человека, одни только глаза горели, не сдаваясь.

— Я с большим удовольствием, Иван Романович, но вряд ли что выйдет из вашей затеи. А впрочем, давайте помолимся Богу, — сказал он, и мы отслужили молебен Матери Божией — Нечаянной радости.

Как-то все успокоились, помолились от души.

И на следующий день староста, Анастасия Петровна и еще две женщины из двадцатки пошли к уполномоченному. Он принял их как обычно, сказал, что он завтра вызовет настоятеля и отберет у него регистрацию. Потом задал старосте вопрос:

— А кого вы хотите на его место?

— О. Константина, — и совсем тихо назвали его фамилию. — Забельский.

— Кого? — переспросил уполномоченный.

— Забельского... Он служил раньше в нашем храме, потом ушел по болезни.

— Так может и сейчас ему невозможно будет служить?

— Нет, сейчас он себя чувствует лучше. Правда, еще не совсем окреп.

— Ну ладно, — буркнул уполномоченный. — Пошлите ко мне Васильева, пусть захватит с собой регистрацию.

В храм староста пришел сияющим, присмиревшему настоятелю сказал:

— Вызывает уполномоченный, — и добавил, когда тот уходил: — Захвати с собой регистрацию.

Вечером служил я. Когда окончил службу и зашел к старосте, чтоб переодеться, там была всхлипывающая жена настоятеля, она, мне показалось, искренне плакала. Но что было неприятно, это ее униженная мольба о том, чтоб староста простил ее мужа, ведь что они будут делать, когда лишат регистрации, с такой большой семьей?

Староста растерялся и смотрел как-то беспомощно, не зная, что ответить, видимо, он не переносил женских слез. Наконец он сказал ей:

— Ладно, подумаем, — сказал, чтоб отделаться; от настоятеля избавиться — это было его твердое решение.

Она схватила его руку, расцеловала и ушла.

Староста с огорчением сообщил, что и меня почему-то вызывают к уполномоченному. Мне это было совсем непонятно.

На следующий день после службы я с тревожным сердцем пошел к уполномоченному.

Встретил он меня необычно ласково, предложил садиться, сам вышел в боковую дверь. Возвратившись оттуда, еще с большей вежливостью предложил зайти туда.

Я повиновался.

В светлом большом кабинете сидел человек, которого я в первый день видел у уполномоченного. Он протянул мне руку, как давно знакомому, назвал меня по имени-отчеству, пододвинул кресло и усадил меня.

Я молчал, он дружески улыбался.

— Что вы смущаетесь, Николай Петрович? Надеюсь, мы с вами будем друзьями. Я до сих пор в восторге от вашего поведения, помните начало. Когда вы регистрировались?

Восторга себе этого я не мог представить. Он немного помолчал, потом снова располагающе улыбнулся и заговорил:

— К вам много ходит всякого народа: со всякими вопросами... — не закончив, спросил неожиданно: — Вам сколько лет?

Я ответил.

— О, вы совсем молодой человек. Надеюсь, что вы настоящий гражданин, то есть патриот своей родины.

— Конечно, — подтвердил я.

— Да, да, я в этом не сомневаюсь. И вы должны нам помочь. Газеты вы, уверен, читаете и знаете, какая у нас борьба ведется с разными разложившимися элементами. Тунеядцами, например. Я думаю, что мы с вами найдем общий язык... Как, Николай Петрович?

Я был поставлен в тупик, и чтоб как-то выйти из него, я задал вопрос:

— А что вы конкретно хотите?

Он пожал плечами.

— Конкретно ничего, вы сами понимаете, — после испытательного молчания предложил: — Будем вместе работать.

Я решил, что нужно высказаться прямо, и возразил:

— Наверно, мы с вами не сработаемся, у нас разные области работы.

— Ну что вы, Николай Петрович, зачем так сразу все обрезать? А ведь это и для вас выгодно, — покачал он сокрушенно головой.

— Нет, — с прежней решимостью сказал я. — Увольте.

— Ну что ж, держать не будем, — глядя мне прямо в глаза, ответил уполномоченный, теперь глаза его стали злыми. — Но надеюсь, что мы встречаемся не в последний раз?

— В последний! — подтвердил я и вышел.

Мне все стало понятно, под меня подкапываются, с какой только стороны грозит опасность?

С беспокойным сердцем я шел на следующий день в храм. Как будто разговор с оперуполномоченным ничего особенного не предвещал, в храме могут произойти изменения к лучшему, но мне почему-то было не по себе. Что сейчас скажет староста? — с таким настроением я нажал звонок.

Открыла мне Анастасия Петровна, она слегка улыбнулась, и сразу грусть затянула ее глаза. Она смотрела на меня как будто виновато. Староста сидел за столом и рассеянно чертил карандашом по бумаге. Моему приходу обрадовался, но сразу же сообщил печальную новость:

— Ну все. Повернулось дело совсем иначе, чем мы предполагали. Образовалась новая двадцатка, староста будет другой. Уполномоченный уже дал согласие, райисполком утверждает. Так что прежде времени мы торжествовали.

Да, это было печально.

Раздался трескучий звонок. Пришли настоятель и диакон с торжествующими улыбками. Они колючими глазами посмотрели на нас, измерили сверху донизу и ушли со злорадством в алтарь. Я остался со старостой, нам не о чем было говорить. Я молча оделся и тоже пошел в алтарь. Диакон и настоятель весело заговорили:

— Ну как, о. Николай? Значит, ваше не загорелось? — саркастически сказал настоятель.

— Перегорело, — с нескрываемым злорадством ответил диакон. — Погорело, — отрубил он рукой.

Я молчал. Настоятель будто сочувствующим голосом продолжал:

— Тебе говорил: держись нас, не вяжись со старостой. Ведь это проходимец. Не послушался, пеняй на себя.

— А в чем же я виноват? — спросил я у настоятеля.

— А в том, что не держал нашу сторону. Надо держаться своих. Староста был и ушел, а со священниками тебе придется быть постоянно, этого-то ты не учитывал.

Диакон вставил:

— Он хотел все перевернуть и сам сесть на настоятельское место, а кресло провалилось. — Диакон громко захохотал, настоятель как-то хихикнул и поперхнулся. Он стал откашливаться, в горле его что-то хрипело, на глаза навернулись слезы. Он трогал рукой горло, но говорить ему было трудно.

Как выяснилось потом, это у него была нераспознанная застарелая болезнь, он несколько раз делал операцию, но вскоре снова нарастало какое-то мясо, мешало ему говорить. В минуты печали или радости болезнь обострялась. За службой возгласы он произносил захлебываясь, давясь.

События развивались быстро. Староста готовился к сдаче дел, днями и ночами Анастасия Петровна сидела и вела расчеты, готовила списки.

Кто будет староста, пока было неизвестно, но говорят, что он уже даже оформлен.

Народ волновался, не зная, в чем дело, тихо шептались по углам, такого, как был, крика больше не было. Видимо, которые подымали, утихли, добившись своего, все остальные люди были спокойны.

В последние дни моя жена со мной как будто примирилась, то есть она больше меня ни в чем не упрекала, а однажды даже спросила:

— Ну как там у вас в храме, говорят, будут новый староста и новая двадцатка? Тебе, пожалуй, теперь будут давать меньше всех, — сказав это, она еще упрекнула

меня: — Нужно не ершиться, живи попроще, иначе станем нищими. Учти, у тебя есть ребенок.

Всю ночь я простоял на молитве, а сначала как будто не было молитвенного настроения. Принялся читать по молитвослову положенные молитвы, а потом накатило. Вспомнились евангельские слова: «Ищите прежде всего Царство Божие и правду его, и все остальное приложится вам». Эти слова я как будто впервые услышал, они меня очень успокоили. Мне верилось, что все устроит Бог. И дальше я молился, ничего не прося, мне было хорошо на молитве.

К утру мирно уснул, разбудила меня жена:

— Ты что же, не пойдешь сегодня в храм?

Я долго не мог сообразить, помогаю я сегодня или служу, потом вспомнил, что помогаю; спокойно оделся и вышел.

На душе у меня было безмятежно, а на улице сразу налетел на меня вихрь и чуть не сорвал шляпу.

Я робко нажал церковный звонок и вдруг чуть не испугался: передо мной стояла та женщина, которой плачу я «алименты». Зачем она пришла, наверно, требовать невысланные деньги? Я даже зашарил по карманам, чтоб отдать ей за предыдущий месяц, она ждала меня, чтобы я проходил.

Я вошел, в комнате были все новые лица. Настоятель сидел за столом, развалясь, довольный, увидев меня, хлопнул себя по лбу и пошел начинать службу. Все находящиеся в этой комнате уставились на меня злыми глазами. Женщина, открывшая мне, села за главный стол, где обычно сидит староста. Она была по сравнению со всеми добрее и интеллигентнее, так мне показалось, смотрела на меня даже с неким уважением.

— Я теперь здесь староста, о. Николай, прошу любить и жаловать.

С меня спал навалившийся груз, но все-таки было мне неприятно.

Началась новая жизнь в нашем храме. Она началась не сразу. Сразу все пошло по-обычному, стали как будто

даже дружнее, чем прежде. Предыдущий староста сумел отчитаться, документы все были оформлены, что очень новому не нравилось. Новая староста Полина Иосифовна в лицо прежнему бросила реплику:

— Умный проходимец.

Он ничего не сказал на это, подошел ко мне, взял благословение, поклонился всем и вышел навсегда.

Мы, священнослужители, перешли на оклад. Она долго нас не оформляла, все куда-то ходила. Из райфо приехала комиссия по проверке доходов.

Давно начался год, а платежных извещений нам не присылали, говорили, что налог будет очень большой.

В то время, когда комиссия от райфо работала в нашем храме, староста вела себя скромно, больше молчала. Комиссия проверяла документы, опрашивала обслугу, каждого поодиночке, не хуже следователей, особенно отличалась в этом одна молодая женщина, говорят, жена какого-то священника, который публично отказался от Бога. Она была в курсе всех церковных дел, знала все заначки и тайники.

Опрашивали и нас, священнослужителей, менее грубо, чем обслугу, но поодиночке. Меня опрашивала именно эта дотошная женщина. Когда спросила меня, сколько мы берем за требы, я сказал, что не знаю.

— Как это вы не знаете?

— А очень просто. Мое дело служить, а не считать деньги.

— А сколько у вас бывает крестин?

— По-разному.

— Ну все-таки сколько?

— Бывают дни, что совсем не бывает.

Конечно, я все-таки кривил душой: кое-что утаивал и приуменьшал, но я оправдывал себя тем, что если скажешь правду, то наложат такой налог, с которым никогда не рассчитаешься, ведь и так мы платим по два-три налога в год; с одним рассчитаешься, другой присылают.

В заключение опросов составили акт. Сначала выставили свои цифры, которые совершенно расходились с нашими показаниями.

— Откуда вы взяли такую сумму? — спросил я.

Председатель комиссии с ехидной улыбкой посмотрел на меня.

— А по показаниям...

— Чьим же?

— По вашим.

— Но наши показания совсем другие.

— По показаниям других...

— По чьим же это другим?

— Это, извольте, нам лучше знать.

— А если то враги наши, они, естественно, будут показывать завышенные цифры.

— Вы напишите, с чем несогласны.

Мы написали все, с чем и как несогласны, привели данные братской книги, подписались. Настоятель вздохнул, обращаясь к комиссии:

— Все мы люди и надеемся, что вы с нами будете милостивы и поступите по-человечески.

— По-человечески-то по человечески, но налог, конечно, будет больший, чем обычно.

— Как больше? — встревожился я. — Мы ведь перешли на оклад?

— А за прошлые годы?

— Так за прошлые мы расплатились.

— Мало вы платили.

Они нам всем благожелательно пожали руки, вежливо ушли, мы переглянулись между собой, настоятель уповательно смотрел на старосту, староста заявила:

— Налог будет большой.

Я не знал, что о. Василий временно настоятелем нашего храма, на самом деле настоятелем был старик лет восьмидесяти, с трясущимися руками и головой. Он, разбитый параличом, долго лежал в больнице, недавно недружелюбно все его встретили, особенно о. Василий и староста. По-видимому, он им мешал. Вошел он тихо, перекрестился, сказал, что здоровье стало лучше, но все-таки еще неважно.

— Так вы бы, о. Гавриил, — предложила староста, — и шли бы на покой, пусть бы молодые служили. — Она улыбнулась и подмигнула о. Василию.

— Нет уж, дорогие, хочу умереть у престола.

Все недовольно замолчали.

С этого времени началась скрытая и ожесточенная борьба, об этом мало кто знал, со стороны как будто все хорошо.

Вскоре в храме появились леса, начался ремонт. Леса стояли круглый год, снимали их только под большие праздники. Но что делалось, никто толком не знал. Больше всего промывали иконы, иногда их реставрировали, но после реставрации так пахло краской, что редкий верующий находил мужество приложиться к ним.

Облачений нашли очень много, перешивали и старые, но после двух-трех служб облачения мялись и превращались в тряпки, пуговицы тотчас обрывались. Просфоры выпекались плохо, их невозможно было разрезать, вминались, как тесто. Об этом настоятель, возвратившийся из больницы, заметил:

— Просфоры у нас уж очень плохие.

— Как плохие? Что вы такое говорите, о. Гавриил?

— Да, знаете, плохие. И вино почему-то не кагор, как обычно у нас принято, а подают настолько светлое и жидкое, что как водичка...

Староста поджала свои длинные губы, и получилось так, как будто лягушка сжала свой рот, и по-лягушачьи же уставилась большими глазами на о. Гавриила.

— Ладно, я разберусь.

Несколько дней просфоры были лучше. Насчет вина не соглашалась, считала, что никакой разницы нет, потом все-таки заменила и вино.

Через два дня снят был с работы один алтарник, и оставалась в алтаре одна только монахиня, пожилая, с искалеченной правой рукой. При всем ее старании она не справлялась с работой, потому что приходилось убирать два алтаря, складывать, приносить и уносить облачения, прислуживать во время служб, особенно это было

трудно в великие праздники. Настоятель об этом заявил старосте, она сердито ответила:

— Я не могу держать большой штат. — Потом подумала и добавила: — Ей будет помогать уставщица.

Уставщица тоже была монахиня, но они, эти монахини, жили очень недружелюбно. Алтарница была искренней, трудолюбивой и справедливой, уставщица любила всегда всем указывать, сплетничать и ничего не делать. Когда они сходились вместе, только ругались. Наконец алтарницу стало раздражать каждой действие уставщицы, а та как ни в чем не бывало поджимала губы и делала благочестивый вид.

— Видит Бот, я изо всех сил стараюсь, за что ты меня только не любишь?

О. Василий в это время весело смотрел на них и начинал, ехидно улыбаясь, мирить их.

— Попросите друг у друга прощения. А ну-ка, мать Матрона, поклонись в ноги.

Мать Матрона бухалась в ноги матери Ираиде, и той невольно приходилось делать то же. Особенно было интересно, как они целовались. Мать Матрона подходила со смиренными видом, тянула свои тонкие губы, мать Ираида краснела, отворачивалась. Тогда к ней подходил о. Василий, притягивал мать Ираиду к матери Матроне насильно, и начиналось принудительное целование... О. диакон, стоя в стороне, заливался громким хохотом. Мать Ираида отбегала от поцелуя как ошпаренная, брезгливо отплевывалась и заявляла:

— Не нужна мне такая помощница.

— Не нужна, и не надо, — спокойно заявляла мать Матрона, ей это и нужно было.

И мать Ираида одна выбивалась из сил. Помимо всего этого, ее часто стала допекать староста, грозила, что выгонит, но куда ей было податься, ведь нужно с чего-то жить. И она смирялась, тянула непомерный труд. Иногда усталая, не чувствуя ни ног, ни рук, садилась в уголке алтаря и плакала. Ей, конечно, никто не сочувствовал и никто не старался помочь. Она стала раздражительной,

в последнее время между нею и настоятелем начались недоразумения.

Обслуга в храме уже вся сменилась, из прежних оставалась только алтарница. Новые прислуживающие подобострастно смотрели на старосту и наперебой сплетничали перед ней.

Как-то по окончании Светлой седмицы, придя в раздевалку (это же и канцелярия старосты), я увидел там много народу. Староста с грозным видом восседала за столом, по сторонам ее на стульях сидели представители двадцатки — два-три краснощеких и нахмуренных мужчины, две-три молодые женщины и одна пожилая — высохшая, со спрятавшимися в больших глазницах сердитыми глазами. Настоятель стоял со шляпой в руках, стоял перед старостой, раскрасневшийся, с потерянным видом, о. Василий, хитровато улыбаясь, прислонился у гардероба.

— О. настоятель, скажите нам, по какому праву вы сказали диакону, чтоб он закрыл царские врата, ведь у нас это не принято? — начальнически спрашивала староста.

— Как не принято, почему?

Высохшая пожилая женщина посмотрела на настоятеля ненавидящими глазами и, шипя буквально по-змеиному, произнесла:

— Стыдно вам, о. настоятель, не знать таких простых вещей. По уставу не положено. А еще старый человек, — снисходительно кинула на меня взгляд. — Вот если о. Николай не знает, это ему простительно, он молодой, а вам стыдно не знать.

— В уставе об этом не сказано, — робко заметил настоятель, руки у него задрожали больше обыкновенного, он начинал волноваться.

— Не сказано, — захохотала довольно староста. — Да вы и устава-то не знаете, — презрительно уколола она его.

Настоятель растерялся, о. Василий ехидно поддержал старосту:

— Да разве настоятель смотрит в устав?

— Ну где сказано? — обратился настоятель к о. Василию.

О. Василий подошел ближе к настоятелю.

— Да вы, когда и служите, не даете нам произносить возгласы, все притесняете.

Этого и нужно было старосте, она подскочила, и все остальные подскочили, встрепенулись, замахали руками и растопырили пальцы.

— Вон какой вы тип! А почему вы не даете служить другим?

— Как не даю? — не понимал о. настоятель. — Ну пусть вот о. Николай скажет, как это я не даю.

Я покачал головой в знак того, что это неправда. Высохшая старуха пренебрежительно махнула рукой:

— Ведь его слушать не надо, они с настоятелем заодно, мы ведь слушать должны только о. Василия.

И снова все напали на о. настоятеля.

— Так скажи нам теперь, — они уже перешли на «ты» и говорили все вместе. — Так скажи нам теперь, почему ты, старый человек, нарушаешь устав? По какому праву ты обижаешь о. Василия?

О. настоятель окончательно растерялся.

— Ну простите, пожалуйста, виноват... — Он не хотел продолжать разгоревшийся спор, но не тут-то было, они уже с остервенением нападали на него: почему, почему? — жужжало в ушах.

О. настоятель стал умолять их:

— Вы хотя бы пощадили мою старость.

— Ах, пощадить твою старость? — завизжала староста. — Так ты уходи, не мешай. — Она схватила чернильницу и отбросила от себя. — Пощадить его старость?

Тут я не выдержал, у меня все закипело, я хотел сказать спокойным голосом, но получилось не так:

— Это что же такое, инквизиция заседает? А вы по какому это уставу и закону так оскорбляете настоятеля? Кто вам дал право вмешиваться в богослужебные дела?

В моем голосе, видимо, они заметили ко всему прочему гордость, так они истолковали мое замечание. Сначала они все притихли, присели, о. настоятель прослезившимися глазами посмотрел на меня, потом они все озлобление перенесли в мою сторону.

— А ты кто такой, чтоб нас учить? Ты без году неделя служишь и уже учишь? Ты посмотри на себя, что ты делаешь? Как ты обижал о. Василия при прежнем старосте? Ты думаешь, это тебе так пройдет? Ко мне каждый день приходят с жалобой на тебя, — заявила староста, — почему я тебя держу? Я защищала такого, как ты, а теперь не буду. Завтра иду к епископу, чтоб тебя убрали от нас. Тебя у нас все ненавидят.

— Пожалуйста, идите, я тоже знаю дорогу туда, — спокойно отрезал я.

— Он еще нам угрожает, — закричала староста.

Высохшая старуха подошла поближе ко мне и, тыча костлявыми пальцами мне в лицо, раздельно проговорила:

— Ведь если работаешь в органах, то, вить, хотя бы об этом не говорил.

— В каких органах? — насторожился я.

— Знамо в каких, — отошла, насупившись.

Староста продолжала:

— Но не на тот орешек напал, поломаешь зубы.

Говорили невпопад, разговор явно продолжать было бессмысленно, я сказал о. настоятелю:

— Пойдемте, о. Гавриил, это провокация.

Он послушался меня, перекрестился, и мы ушли. Уже закрывая дверь, я пожелал им спокойной ночи, но мне вдогонку полетели увесистые слова.

— Попомнишь нас, мы тебе сделаем.

Дома меня ждала очередная неприятность. Жена накинулась, почему пришел поздно, где был? Упреки, слезы. Я молчал, ничего не говорил. С тяжелым чувством, даже молитва не рассеяла, лег спать.

После происшедшей сцены в храме весь удар старосты и двадцатки перенесен был на меня. Ко всем моим

службам придирались, замечали каждое слово и перетолковывали. Допытывали, почему я провожу частную исповедь, почему говорю часто проповеди? Иногда даже провоцировали нарушения. Например, назначали крестины в такое время, когда меня не было в храме, и потом обвиняли в том, что я отказываюсь крестить. Оформляли для отпевания самоубийц, чтоб обвинить, что я их отпеваю. Хотели создать невыносимую обстановку, чтоб, по-видимому, я запросился о переводе. Я же заявил твердо и определенно:

— Трудностей не боюсь, не ваше дело вмешиваться в службу.

Мне было тяжело, и поддержки ниоткуда не приходилось ждать. Иногда хотелось идти к епископу, пожаловаться, иногда хотелось обо всем этом написать в газету, но этот порыв скоро проходил, и я решил терпеливо все выносить.

Наконец написали на меня пакостную кляузу епископу, что я груб со всеми, отказываюсь крестить, исповедями задерживаю службу, отпеваю самоубийц.

Я вошел в раздевалку в то время, когда они эту пакостную бумажку давали подписать настоятелю, он, видимо, не замечая меня, то, что написали они, читал вслух.

— Ну вот что я могу сказать. Действительно, при такой старосте и такой двадцатке о. Николаю трудно служить в нашем храме, но я его знаю как честного и исполнительного священника.

Староста махнула рукой:

— Мы и без вашей помощи обойдемся, теперь все решает церковный совет.

О. настоятель, ничего не говоря, оделся и вышел, по выходе о. настоятеля о. Василий с намеком заметил:

— Выходит, вы все нечестные, только один о. Николай честный.

— Как так? — удивилась староста.

— Да так получается по словам настоятеля.

Я не вмешался в разговор, перекрестился, пожелал им всего хорошего и ушел.

Через несколько дней мне готовилась еще большая неприятность, которая и вынудила меня обратиться к епископу.

Дело было на Радоницу, вечером я отслужил службу и зашел в раздевалку, там заседал весь синклит и рядом сидел взволнованный настоятель, староста пыталась говорить спокойным голосом:

— Вы знаете, что вы сегодня наделали? Мне не дают покоя, почему не служили заупокойную всенощную?

— Да не положено по уставу, — отвечал настоятель, он достал церковный календарь и прочел: «Совершается рядовая служба по Триоди и Минее (без заупокойной), а после утрени и литургии бывает панихида».

— Вы мне этого не читайте, у нас положено служить всенощную. И надо было служить всенощную, а вы послушались о. Николая, это он вас сбил с толку.

Я не выдержал, вставил:

— Позвольте спросить, а кто же вы, что можете приказывать настоятелю? Выходит, вы — епископ? А на самом деле только староста.

Она сделала вид, что оскорблена.

— Глядите, он меня считает только старостой, может, скажет, я и неверующая?

Я слегка рассмеялся:

— Ну а кто же вы, только староста и больше никто.

Она стукнула чернильницей по столу.

— О. настоятель, завтра не допускайте его до службы, я всю ответственность беру на себя.

Настоятель растерянно глядел то на меня, то на старосту, он, видимо, не понимал, что ему делать, и наконец стал умолять старосту:

— Ну вы уж, пожалуйста, допустите его до службы хоть завтра, ведь будет скандал, верующие подымутся.

— Я не боюсь скандала, а до службы не допущу.

Но эта ее угроза как-то мне была не страшна, до этого все-таки волновавшийся, я теперь спокойно вышел на середину и спокойным голосом сказал, обратившись сначала к настоятелю, а потом к старосте:

— Вы успокойтесь, о. настоятель, я уже заявил, что она для меня только староста, и в данном случае я ее не послушаюсь. Во-первых, до службы меня может не допустить только епископ, во-вторых, я имею документ на служение в этом храме.

Староста метнула на меня ненавидящие глаза, но, видимо, мои доводы поколебали ее самоуверенность, и она могла только сказать:

— А я спрячу облачение.

— Попробуйте, — пригрозил я.

На этом разговор окончился, в заключение я сказал:

— Заявляю, что после такого разговора я должен буду обратиться к епископу.

На следующий день я отслужил без всякого происшествия, на несколько дней установилось какое-то затишье. Хотя на меня смотрели искоса и не разговаривали, но и не ставили никакой западни, то есть западня, может быть, и была, но не так заметна.

Нам принесли извещение на налог. Помимо текущего, который у нас взимали согласно нашим окладам (большая половина оклада), еще принесли дополнительный за три прошедших года.

За предыдущие годы они уже по три раза взимали, а это в четвертый раз, но на этот раз налог превышал все остальные. Принес районный финагент, еврей, с небольшими усиками, на вид добрый. Извещение он вручил под расписку. Я хотел было запротестовать, он, не повышая голоса, успокоил:

— Но я тут при чем? Мне нужно вручить вам извещение, за это вы и распишитесь. А уж ваше дело — платить или не платить.

Мы приняли извещение, я решил твердо, что платить дополнительного налога не буду.

Жена меня встретила в штыки:

— Ну как, ты подумал, что теперь будет?

— Но ведь все отберут.

— А что у нас отбирать?

— Надо что-то придумать.

Я слегка улыбнулся.

— Досмеешься, что пойдем по миру.

— Ты успокойся, ничего не будет, нужно только верить.

Сначала она очень недовольно посмотрела на меня, хотела сказать что-то грубое, потом ушла за перегородку и завсхлипывала. После этого момента она стала задумчивая, мрачная, со мной почти не разговаривала.

А у меня все усложнялось и усложнялось.

Я написал жалобу епископу:

«Обращаюсь к Вам с просьбой не потому, что мне трудно, о чем я буду писать ниже, а потому, что всякая неправда должна иметь предел, должна быть прекращена.

С момента прихода в наш храм новой старосты Плотниковой ко мне со стороны старосты и лиц, подговоренных ею, из двадцатки, проявляется самое безобразное отношение.

С первого момента было заявлено, что я якобы участвовал в партии против о. Василия и поэтому должен быть убран отсюда. Моя «вина» выражается в том, что я не ругался с предыдущим старостой и, когда поднимался шум, призывал людей вспомнить о святости места, в котором они находятся. Староста же меня обвиняет в том, что я якобы бил людей крестом. Это сплошные выдумки.

С первого момента и до сего дня к каждой моей службе придираются, стараются перетолковывать каждое мое движение, каждое слово, распространяя всякую клевету.

Если во время служб я придерживаюсь устава, с меня требуют, чтобы я служил как им захочется. Так, когда во время Радоницы я проводил службу так, как об этом сказано в богослужебных указаниях, и, между прочим, с согласия настоятеля, был поднят скандал, староста приказала настоятелю не допускать меня к службе.

Хочу еще отметить, что травле и сплетням подвергаюсь не только я, такой травле подвергаются и о. настоятель, и все честно работающие в храме.

Вообще в нашем храме сколачивается группа лиц, только угодных старосте. Обстановка во всех отноше-

ниях очень тяжелая, мешающая и нормальной службе, и нормальной работе».

Епископа в это время не было, жалобу я передал секретарю, молодому священнику, который знал о. Василия как интригана и ко мне отнесся сочувственно.

Но я ничего особенного не ждал, об епископе ходили разные слухи, и такие, что он заодно с уполномоченным, как будто тот так ему и говорил:

— Вы больше жмите на попов.

Но все-таки я жалобу подал. Помимо этого, подал жалобу в Министерство финансов, написал в резких тонах, что налог незаконный, что это не налоги, а грабительство, что платить я не буду. Если у вас позволяет совесть, придите и заберите все у меня, что имею, тогда буду знать, что меня просто ограбили.

Везде наступило затишье, я продолжал спокойно служить.

Неожиданно в наш дом пришел финуполномоченный. Стараясь быть вежливым, окинул все выщупывающим взглядом, заглянул за занавеску над постелью.

— А где?.. — он недоговорил, вероятно, имел в виду богатую обстановку.

— Это все, — сказал определенно я.

— Все? — недоверчиво переспросил он, сморщился, слегка пощипал свой черный усик. Покачал слегка сочувственно головой.

— Небогато, тут не знаешь, что и описывать.

Жена смотрела испуганными глазами. Она, всегда смелая, тут не нашлась что сказать, ей, вероятно, стало больно и обидно. Наверно, это же понял и финуполномоченный и, сначала как будто бы расположенный что-то описать, сейчас, поправив свою фуражку, распрощался, все-таки сказав, что платить налог надо.

— Но с чего? — поставил я ему вопрос.

— Не знаю, но платить надо, — сказал он, уже закрывая дверь.

По уходе финуполномоченного мне казалось, жена о чем-то заговорит, но она вытерла слезы и окаменело молчала.

— Ты не волнуйся, Тоня, ведь ничего же они не сделают.

Она угрюмо уставилась на меня.

— Не сделают? Нищими будем... Что ты со мной сделал? — нервно вскрикнула она.

За занавеской заплакал Андрюшка.

— Ох, как я ошиблась, — сокрушалась она.

Я осторожно вставил:

— Как ошиблась, ты же верующая?

Она рассмеялась.

— Где же твой Бог, почему Он не помогает тебе?

Она ушла к сыну, видимо, взяла его на руки, уткнулась в него лицом и нервно заплакала.

В дверь постучали, я открыл: то была телеграмма, принесла ее девочка-подросток — почтальон. Шмыгнула носом, задерживаясь, я ей всегда что-либо давал, и сейчас она, наверно, ожидала, я пошарил в карманах, ничего не было, а у жены не стал спрашивать, и девочка, недовольная, ушла.

Я заглянул к жене.

— Вызывает епископ, срочно.

Ее лицо было страдальческим, глаза покраснели, она, кажется, ничего не соображала, машинально сказала:

— Поезжай.

До областного города, в котором жил епископ, езды было минут двадцать пять, пригородные поезда ходили часто, минут через сорок я был уже у епископа.

Посетителей было много. Священники, пожилые и молодые, печальные и возбужденные, непонятно чему улыбающиеся. Сидели старухи, держа в руках какие-то бумаги, они почти ко всем обращались с какими-то вопросами, непонятливо смотрели, снова переспрашивали. Были и просто праздношатающиеся, пробегали с бумагами работники канцелярии.

Епископ вошел стремительно, глянул из-под очков, пощипал свою седеющую бороду, распахнул полы рясы. В его лице был какой-то сарказм, посмотрел он на всех с юмором, рассказывают, что он работал когда-то в театре.

— Что нужно? — сразу он обратился к старухам.

Они встали волнующиеся, трясущимися руками протягивали ему бумаги.

Епископ обращался к ним на «ты».

— Ты говори, что там у тебя, читать мне некогда.

— Батюшка, святой владыка, кормилец, — запричитала одна. — Помогите нам. Наш храм закрывают. Вот здесь подписи, много собрали и…

— Кто закрывает? — бросил он ей вопрос.

— Власти, владыка святой.

— Какие власти?

— Райисполком.

— Ну, а что я могу сделать? — посерьезнев, строго сказал епископ. — Они меня не слушаются.

— Да уж помогите нам, — замолила старуха.

— Помогите, — поддерживала другая. — Сначала налогом душили, выплатили, и вот закрывают.

— Кто кого душил? — не понимая или делая вид, что не понимает, переспрашивал епископ.

— Да власти, райисполком.

— Ты мне покороче. Власти, райисполком. Понимаешь ли, что власти мне не подчиняются?

— Да уж помогите, — упрашивала старуха.

— Зарядила одно — помогите, а как я могу помочь?

Кажется, до старухи это дошло, она испуганно уставилась на епископа.

— Не можете? — переспросила робко, почти испуганно.

Епископ обратился к следующему, молодому священнику, ко всем он обращался на «ты», только к священнику обратился более сердечно.

— Ну что, набедокурил?

— Да нет, уполномоченный запрещает служить каждый день, запрещает причащать детей.

— А ты что, причащаешь? — спросил хитровато епископ.

Священник заюлил.

— Да не знаю… А как, нельзя причащать?

— Ладно, выясню, — неопределенно сказал епископ.

Священник смущенно отошел в сторону.

— Ну ты там смотри, надо быть мудрым и простым, понимаешь? — добавил замысловато епископ, священник ничего не ответил.

Опросив всех, епископ кинул беглый взгляд на меня, ничего не сказал, посмотрел во все углы, и когда я хотел было обратиться к нему, он махнул рукой и скрылся в свой кабинет.

Старухи усердно разговаривали со священниками.

— Что же теперь делать? — все спрашивала та, которая обращалась к епископу.

Пожилой священник посоветовал:

— Пишите Хрущеву.

У старухи заблестели глаза, она благодарно закивала седой головой, оживленно зашепталась со своей подругой, и вскоре они ушли. И тут же в приемную ввалились как будто усталые и в то же время решительные — староста нашего храма, ее помощник — высокого роста мужчина — и две женщины из двадцатки. Перекрестились истово, староста подошла ко мне под благословение, остальные угрюмо и искоса посмотрели на меня, все чинно уселись на стульях.

Вошел бодро молодой человек в форме моряка, он перекрестился, староста заговорила с ним елейно.

— Вы верующий? О, как это хорошо.

— Я даже священник, вот, отслужил в армии.

Как будто услышав его голос, выбежал епископ.

— О, отец-моряк, — по-товарищески обратился к нему епископ, расположенно похлопал по спине. — А я тебя жду. Получил твое прошение. Ну как? К себе думаешь ехать? — и, не дав ответить, весело предложил: — Ну что мы стоим? Зайди ко мне. — И они скрылись в кабинете.

Наша староста благочестиво перекрестилась широким крестом:

— Дает же Бог ума молодым людям! И армия не отобрала у него веры.

Но говорила она как-то непонятно, что-то в ее голосе звучало провокаторски выспрашивающе, она пристально вглядывалась в лица окружающих.

Ее приближенные сидели чинно, не переводя взгляда, меня они как будто не замечали.

Моряк через пять минут вышел с бумагами, перекрестился еще раз на большую икону святителя Николая и уверенными шагами пошел к выходу.

Епископ снова выглянул. Не посмотрев на меня, поманил к себе старосту. Плотно захлопнулась дверь. Вскоре дверь снова раскрылась, раскрыл ее сам епископ.

— Зайдите, батюшка, — вежливо сказал он мне.

Я зашел, дверь не закрывалась, епископ, не предложив мне сесть, открыл какие-то бумаги, староста сидела напротив епископа подобострастно. Я стоял, не понимая, о чем будет разговор. Сама постановка дела — сначала вызвал старосту, о чем-то переговорил с ней, потом вызвал меня, не предвещала ничего хорошего.

— Ты что там это пишешь? — повышенным тоном заговорил епископ.

Я думал, что речь идет о моей жалобе на старосту, и хотел было по поводу этого заговорить, как он резко перебил меня:

— Какое ты имеешь право оскорблять министра?

— Какого? — непонимающе спросил я, хотя сразу понял, о ком идет речь.

— Не прикидывайся дурачком. Ты министру финансов писал? Кто тебе дал право так писать?

Я смело заявил:

— А меня никто и не лишал этого права. Писал и снова буду писать. А впрочем, это ведь вас не касается, и вам болеть нечего.

Этот тон, конечно, был вызывающим, епископ сорвал со своих глаз очки, стал быстро тереть глаза, они у него были усталые и щурились, как будто от сильного света.

Я таким же тоном продолжал:

— А кто им дал право издеваться над человеком?

— Кто это издевается? — закричал рассвирепело епископ. — В тюрьму захотел? Судить будут. Платить государству надо.

Он резко встал со стула и забегал по комнате.

— Ты забываешься, молокосос.

Полы рясы он как-то, видимо, не замечая, распахнул, и неприятно выделились его тонкие брюки, создавалось такое впечатление, как будто он взмахнул черными крыльями и сейчас стоит на тонких ножках. Волосы на голове и бороде были всклочены, он нервничал, злобно продолжал:

— Теперь мне понятно, какую ты клевету написал на старосту, такого старосту надо поискать!

Староста медленно протянула руки к глазам, ослабевшим и дрожащим голосом запричитала:

— Он, владыка святой, со мной не считается, он говорит, что я только староста.

Я снисходительно улыбнулся:

— Ну а кто же вы? Вы только староста и есть. Хотя, впрочем, вы выполняете функции епископа.

Староста деланно слабым голосом попросилась:

— Разрешите, епископ святой, мне выйти. Мне дурно, он же издевается...

У нее в самом деле покатились слезы. Епископ сел, сочувственно глядя на нее.

— Успокойтесь, — епископ стал читать мою жалобу на старосту и вдруг, не дочитав, закричал:

— Это сплошная клевета.

— Нет, это правда! — заметил я резко, забыв, что передо мной епископ.

— Смирения у тебя нет, — сбив тон, уколол он меня.

— Ваше Преосвященство, а перед кем же смиряться? Как я могу смиряться, если человек, не имеющий никакого отношения к церкви, даже неверующий, начинает ставить условия, диктует как служить...

— Надо послушаться.

— В данном случае я могу только Бога слушаться. У меня есть устав, и я буду им руководствоваться.

Все как-то смешалось, я уже не совсем понимал, о чем идет речь.

— Будешь так поступать, запретим в служении.

— В таком случае я вообще с вами не хочу разговаривать, потому что вижу перед собой не епископа, а... — я запнулся, догадался, что говорю недозволенно резко.

Епископ догадливо встал:

— Говори, говори дальше: работника ЦК... Ну ведь ты больной, и только потому я пожалею тебя, а то бы я тебе показал... Ведь я все-таки епископ — христианин, а вот ты, не знаю, верующий ли? — Он повернулся к старосте: — Я все понимаю, там ваши пришли... Думаю, что его отпустим, — указал на меня, — а то будет нервничать.

Староста качнула головой.

На прощанье, благословляя меня, епископ назидательно произнес:

— Сломаешь голову. Послушайся меня, седого старика.

Я на это ничего ему не сказал и покорно вышел.

Что будет, о чем шел разговор? Я особенно не давал себе отчета, потом вспомнил: да ведь Бог распоряжается нашими судьбами, и ушел с той мыслью, что надо делать, а Бог будет руководить.

Приехал домой я успокоенным, хотел было свою бодрость передать и жене, но ее не было дома. Я подумал, что она куда-то вышла прогуляться с сыном, ждал, что вот-вот придет, а она все не являлась. Пришла поздно вечером, какая-то виноватая и чем-то взволнованная. Меня ни о чем не расспрашивала, предложила поесть и когда я сказал, что уже ел, больше ничего не сказала и ушла за занавеску с сыном. Когда стемнело, я одиноко лег на кушетке.

В храме на меня смотрели молча, но молчание было не знаком примирения, а знаком той тишины, которая обычно бывает перед чем-то неприятным.

О. Василий в этот день был помогающим, я служащим. Он все делал молча, но все направлял к тому, чтоб создалось такое впечатление, что я затягиваю службу. Все требы он выполнял быстро. Наверно, подослал ко мне старуху, которая подошла, уперлась презрительными глазами в меня, шмыгнула носом, недовольно махну-

ла рукой и ушла, это для того, чтоб показать, что мной недовольны.

Когда я кончил службу, действительно уже было поздно. Староста, когда я зашел переодеться, посмотрев на часы, сказала:

— Припозднились?

Я ничего не ответил, тяжело все это было. Тяжело, когда не понимают и не сочувствуют, когда все направляется к тому, чтоб помешать. Но таков путь христианина, тем более священника, и с этим я смирялся, и становилось легко.

Когда я направился домой, о. Василий, улыбнувшись, спросил:

— Слушай, а с кем это твоя жена вчера прогуливалась? Такой интересный, в шляпе, кто это, не брат ее?

Намек был явный, я тоже вчера догадался, что что-то неладно, а теперь начинал понимать, что жена ищет развлечений от скучной жизни, но я еще не понимал всего, что это не только развлечения. Горько стало на сердце.

Когда я уже открыл дверь, чтоб уходить, староста вежливым голосом остановила меня:

— Вас вызывает епископ.

— Зачем? — сорвалось у меня.

— А это уж там узнаете, — чеканно ответила она.

Я в подавленном состоянии ушел домой. Отовсюду сваливались беды, давили на меня, и, когда я пришел домой и взглянул на Распятие, у меня невольно покатились слезы.

— Да минует меня чаша сия! — послышался голос Христа в моей душе, и тут же ободряющая мысль: «Но для этого-то Я и пришел», — именно для этого-то и я стал священником.

Жена и на следующий день куда-то собралась, меня попросила побыть с сыном, отлучусь, мол, на минутку. Неожиданно покраснела. Я ни о чем не спросил у нее.

Сын долго играл с игрушками, потом подошел ко мне и, глядя на меня ясными глазенками, залепетал:

— Мама — дядя, дядя — мама.

Я сразу все понял. Но с кем она встречается? — вот мучительный вопрос.

А сын на меня все смотрел пытливо. Я улыбался ему, гладил его по головке, отсылал его поиграть с игрушками, он нежно прижимался своей щечкой к моей руке, было такое впечатление, что он меня хочет успокоить.

В дверь осторожно постучали, сын прислушался, вошла жена диакона.

— Я к вам на минутку, — по тому, как она отводила глаза, чтоб на меня не смотреть, можно было подумать, что она или что-то таит про себя, или неравнодушна ко мне. Я с тревогой подумал о последнем и поэтому стал разговаривать с ней сухо.

— О чем вы хотели спросить?

— Не спросить, — с горечью сказала она, — а предупредить вас: ваша жена встречается с антирелигиозным пропагандистом.

Это, признаться, несколько меня даже успокоило, значит, об измене не может быть речи, раз с пропагандистом, видимо, о чем-то договаривается...

— Ну и что, это ее личное дело.

— Как вы наивны! — закричала жена диакона. — Тут ведь измена!

— Прошу вас не оскорблять мою жену! — предупредил я ее.

Она посмотрела непонимающими глазами, извинилась и ушла.

Жена возвратилась поздно вечером. Сын долго не мог уснуть, звал к себе маму, а потом так крепко уснул, что, когда она пришла, громко хлопая дверью, он не проснулся.

— Где ты была? — спросил я у нее.

— Это мое дело, — вызывающе ответила она.

Я больше ничего не сказал ей. На ночь предложил ей помолиться вместе.

— Молись! — буркнула она.

— А почему не хочешь вместе? — пытался расположить я ее.

— Надоело мне все! — махнула она рукой, рванула ворот рубашки.

Я, молясь, слышал, как она нервно завсхлипывала.

Я никак не мог понять, что с ней делается. Неужели она изменяет мне, борясь с собой? Неужели толкает ее на это страх иудейский?

Наутро я ей сказал, что меня снова вызывают к епископу, она потеплела ко мне и спросила:

— А зачем?

— Не знаю.

Она взволнованно заходила по комнате, когда я уже оделся, дотронулась своей рукой до моей руки:

— Послушай, Коля, я уже два дня встречаюсь с одним молодым человеком. — Она подавилась этими словами и нечленораздельно сказала: — Он предложил мне выйти за него замуж.

Я обессиленно сел, теребя шляпу, руки дрожали, я не знал, что сказать ей. А она уже оправилась от своего заикания и решительно заговорила:

— Я все равно не выдержу, мне страшно с тобой. Ты уж отпусти меня, — как-то у нее по-детски сорвалось, хотя в словах не слышалось мольбы.

Я сам не знаю даже, как упал перед ней и отчаянно замолил:

— Тоня, Тоня, что ты делаешь? Неужели ты меня никогда не любила? Неужели у тебя нет веры?

— Не знаю, — раздраженно сказала она. — Мне все надоело. Ну ладно, поезжай к епископу, а там видно будет. — Как будто начала передумывать она, на прощанье все-таки поцеловала меня, искренне, нежно, не то прощаясь, не то этим выражая свою прежнюю любовь.

У епископа на этот раз посетителей было не так много, может быть, потому, что я приехал рано. Встретил меня секретарь, как-то печально и даже жалеючи глядя на меня.

— Я сейчас доложу владыке.

Я стал надевать рясу, не успел как следует застегнуть пуговицы, меня позвали, и крест я уже надевал на ходу.

За мной закрылась дверь, и я остался один на один с епископом. Я предчувствовал какую-то большую неприятность.

Епископ очень медленно садился, очень медленно смотрел на меня, очень медленно доставал какие-то бумаги из толстой папки. Я стоял, непонимающе глядя. Я чувствовал что-то очень нехорошее, но я не понимал что. Епископ посмотрел на меня в упор, смерил меня с головы до ног и бодро и решительно сказал осуждающим голосом:

— Садитесь.

Я сел, машинально теребя рясу.

— Слушайте, батюшка, мне вот поступило заявление от одной гражданки. — И выжидающе посмотрел.

У меня быстро заработала мысль, я подумал, что поступило заявление о том, что я затягиваю службы, и вдруг мысль переключилась на то, что заявление о том, что я часто проповедую, а может быть, и еще в чем-то обвиняют, хотя я и догадывался, в чем могут, но еще не договаривал и самому себе.

Епископ положил заявление перед собой, придавил его толстой рукой, с какой-то озорной лукавинкой посмотрел на меня:

— Скажи, а в который раз ты женат?

Этого вопроса я никак не ожидал, облегченно вздохнул и чуть не рассмеялся:

— В который раз? Конечно, в первый...

— А алименты кому ты платил?

Краска сразу ударила мне в лицо, я весь загорелся, мне стало душно.

— Теперь не платишь?..

Епископ торжествовал, он поймал меня, я сидел, смотрел на него и ничего не видел. Я ничего не мог ответить. Все ведь сущая ложь, но ничего, по существу, и не опровергнешь.

В дверь мягко постучали, так мягко, как будто кошка зацарапала лапками. В кабинет епископа вползла староста нашего храма. Я сразу хотел вскочить и убежать,

но потом сел и решил выслушать все до конца. Староста на меня смотрела нагло.

— Ну как, нечего ответить? — медленно произнес епископ. — Так сказать, поймали с поличным?

Я вздохнул, посмотрел открытыми глазами на старосту.

— Полина Иосифовна, ведь вы же знаете, что это неправда?

— Да какой дурак тебе поверит? — Она достала большую кипу бумаг. — А это от кого?

Оказывается, она хранила все квитанции, чтоб в своем грехе уличить меня, готовила для меня такой дьявольский удар.

— Ну Бог с вами...

— И Бог с тобой, — находчиво сказал епископ.

Он ниже склонился к нам, староста уже села рядом со мной, признаться, ее присутствие было мне противно, даже изо рта у нее как-то противно воняло, но я собирал все свое терпение, чтоб все вынести.

Епископ наставительно продолжал:

— Вот что, мы тебе запретим пока в служении, а ты постарайся алименты все выплатить, со временем, может, и восстановим.

Я ничего не ответил, я ничего не соображал, я ничего не мог понять и только и мог произнести:

— Бог с вами, добивайте. Запрещайте, лишайте сана, Бог все видит. — Я поднялся: — Разрешите, я уйду. — Я пошел, пошатываясь.

Я немного еще постоял около двери, думал, что остановят, что-то скажут доброе, но епископ торжествующе молчал, староста молчала победоносно.

Мне показалось, что я вдруг сильно сгорбился, голова как-то втянулась в плечи, я как-то постарался выпрямиться и поднял голову, наверно, слишком высоко.

— Смотрите на него, он еще гордится, — злорадно уколола староста.

Я пошел, сам не зная куда, глядя себе под ноги.

Мне показалось, я стукнулся обо что-то лбом, поднял глаза, передо мной стояла жена диакона.

— О. Николай, — сказала она сочувственно, — что с вами? Вы заболели?

Хотя я сейчас и понимал, что она неравнодушна ко мне, но я искренне обрадовался ей, такими любящими добрыми глазами она смотрела на меня, так на меня еще никто не смотрел. В ее тихих глазах были и какая-то виноватость, и нежная осторожная любовь, и неподдельная материнская сострадательность. Признаться, я хотел бы сейчас обнять ее и крепко с благодарностью расцеловать, но я вдруг заметил, что в ее глазах накипели горькие слезы:

— А мой муж на вас поехал жаловаться, что вы будто на исповеди целовали меня, вот я хочу предупредить владыку...

— Добрая вы женщина, ничего уже сделать нельзя, без этого уже все сделали, я больше не служу...

— Не служите? — испуганно вскричала она. — Какие же жестокие люди! Пойду хоть накричу там.

— Идите, — сказал я, не понимая что, и поплелся дальше.

Домой я приехал поздно вечером, несколько раз ехал не в ту сторону, я даже уже было испугался, не с головой ли у меня случилось что-то. Выручила прихожанка нашего храма.

— Батюшка, родимый, что с вами? Вы заболели, на вас лица нет?

— Да, — невнятно сказал я и попросил: — Проводите меня домой.

Старушка прихожанка, кряхтя, но крепко держа меня за руку, привела меня домой.

— Матушка, — закричала она с порога моей жене. — Возьмите батюшку, он заболел.

— Заболел? — подхватила она меня под руку, на старушку махнула рукой. — Идите, без вашей помощи обойдемся.

Старушка непонятливо посмотрела на нее и, так же кряхтя, медленно ушла.

Я грузно повалился на кушетку, мне ни с кем не хотелось говорить, я рад был, что жена со мной не заговаривала. Я закрыл глаза и не то погрузился в сон, не то в думы».

КОЛОКОЛ СЗЫВАЕТ...

С этого дня начинаются скитальческие дни священника Николая Давыдкова.

Он откровенно объяснился со своей женой, она тоже открылась ему во всем, они как будто нашли общий язык, но уже не было первоначального понимания, жене, по всей вероятности, было скучно с мужем.

Старушки раскрыли старосту как аферистку, узнали даже, что ника-кого ребенка у нее не было, донесли об этом епископу, тот обещал даже восстановить о. Николая в служении, но уполномоченный отказался зарегистрировать его, потому что он не рассчитался с налогом.

И вот, возвращаясь от уполномоченного, священник Николай Давыдков и оказался у антирелигиозной афиши, расклеенной в их городе, на этом и застало его наше описание.

Его записки к нам попали тогда, когда он уже служил вместе с о. Гавриилом, об этом и будет следующее наше повествование.

В храме начались каждый день волнения, службу нормально вести было невозможно, даже те, которые, казалось бы, были мирны и спокойны, подходили к старосте с рассвирепелым видом и требовали, чтоб она приняла на служение о. Николая. Староста, ни на кого не глядя, пыталась убедить их:

— Но вы поймите, что он запрещен...

Слово «запрещен» вконец взорвало верующих.

— Ах ты шкура, — закричали они, — что ты выдумываешь, аферистка? Мы на тебя в суд подадим за клевету.

Она самоуверенно махнула рукой.

— Подавайте, куда хотите, а по-вашему не выйдет, с вами никто считаться не станет. — И так мгновенно зах-

лопнула за собой дверь, что никто не успел опомниться. Несколько человек дружно застучали в дверь, но их стук проглатывала тишина, наступившая в храме.

В это время кончалась литургия.

— Благословение Господне на вас, — произносил о. Гавриил еле слышимым голосом, со страдальческим выражением лица, глядя на верующих. Вдруг верующие опомнились, что в храме шуметь нельзя, некоторые часто-часто закрестились, а у некоторых заблестели слезы.

— Боже мой, что же это делается? — послышался чей-то тяжелый вздох.

О. Гавриил выходил с Чашей, голова его тряслась, кто-то пронзительно закричал:

— Он падает!

Какой-то старичок быстро подбежал к нему и схватил его изо всех сил за руку.

— Чашу уронит, держите Чашу.

Но тут все растерялись, видимо, боязнь непосвященному прикоснуться к Чаше остановила их.

О. Гавриил окрепшей рукой сжал Чашу и внес ее в алтарь, поставил на жертвенник, по лицу его катились крупные слезы, он вытер их и сказал тихо:

— Ничего, дорогие, это со мной бывает...

Никто не заметил, как из своей комнаты вышла староста, уперлась по-купечески в свои бока и победоносно глядела. Заметив, некоторые хотели подбежать к ней, но им тут же загородили путь двое высоких милиционеров.

— Граждане, что за безобразие в общественном месте? Пойдемте с нами.

Все находящиеся в храме попятились назад, была задержана только одна беспомощная и нерасторопная старушка.

Служба пошла своим чередом, милиционеры увели старушку, и на этом все затихло, только по углам осторожно шептались:

— Вот шкура, заявила.

— Бабоньки, ее надо беречься.

— В гепею работает.

— Вот рази меня, в гепею работает.

Когда о. Гавриил после службы вышел из алтаря, его обступили.

— Дорогие мои, — слышался его старческий голос. — Ничего не сделаем. Я знаю, что о. Николай — хороший человек... Ну что ж, дожили до такого времени.

— Патриарху надо написать.

Резкий голос позвал о. Гавриила.

— О. Гавриил, зайдите ко мне, — повелительно сказала староста.

Он, наклонив голову, покорно заковылял на ее зов.

Никто не посмел зайти туда, однако никто и не уходил из храма.

В кабинете старосты сидели: какой-то в штатском и милиционер. Староста была на своем обычном месте, в штатском примостился рядом с ней.

Староста вежливо, даже подчеркнуто вежливо предложила о. Гавриилу сесть.

— Благодарю вас, дорогая. — Он явно заискивал перед ней и явно робел, украдкой посматривая на непонятных людей, находящихся здесь.

— О. Гавриил, почему так долго не служит о. Василий?

— А разве вам неизвестно, что он взял отпуск, у него с горлом плохо?

— Взял отпуск? — повторила она, думая о чем-то.

Достала из своего стола газету, раскрыла ее и ткнула пальцем:

— Читайте.

О. Гавриил поправил очки, поднял дрожащими руками газету, положил ее на стол, посмотрел на старосту.

— Зачем читать, что такое?

— Читайте, — также подчеркнуто вежливо, но настойчивее предложила она.

— Что такое, я не понимаю.

До о. Гавриила никак не могло дойти, чего от него требуют. Наконец, когда все заговорили, что нужно читать, он, подняв очки на лоб, стал читать про себя. Он

видел только заголовки: «Марксизм-ленинизм — наше знамя, наше боевое оружие», «Ленинская партия — вождь и организатор народа», «Вести решительную борьбу против буржуазной идеологии», — и ничего не понимал, остальные строчки у него рябили в глазах, сливались в серые линии, он как-то слегка покачнулся.

Человек в штатском, не повышая и не понижая тона, тем же голосом, который неизвестно что выражает, снова вставил:

— Вы опустите очки.

— Ах, — догадался о. Гавриил, благодарно и растерянно улыбнулся ему и стал читать вслух: «Всемирный конгресс женщин».

Староста снисходительно улыбнулась.

— О. Гавриил, да я вам не на это показываю. Вот где читайте. — И она ткнула пальцем в заголовок, напечатанный на четвертой странице:

«От мрака — к свету» (Открытое письмо бывшего священника о. Василия).

В статье писалось о том, что о. Василий прозрел, понял, какую жизнь ведут священнослужители, обличал их жадность, склоки, в частности, указывал на о. Николая как на аморального человека, который, помимо законной жены, имеет другую, незаконную, которой в последнее время отказался платить алименты. Правда, ни имени, ни фамилии этой второй жены не называлось. В заключение говорилось: «Все это заставило меня сделать вывод, что никакого Бога нет, и я поэтому порываю окончательно с религией».

Далее восхвалялась наша советская действительность, говорилось о том, какое счастье строить коммунизм, призывались и все, еще не порвавшие с религией, следовать его примеру.

О. Гавриил положил газету на стол, затуманенными глазами посмотрел кругом.

— Так кто же это, не наш ли о. Василий? — испуганно и взволнованно произнес о. Гавриил, он только сейчас понял, чего от него добивались. — Так что же это

такое, как же это? Взял отпуск и отказался, об этом надо владыке доложить.

Староста откровенно расхохоталась.

— Поздно уже.

Человек в штатском внушительно посмотрел на нее, она стала серьезнее.

Заговорил человек в штатском, отрекомендовался антирелигиозным пропагандистом.

— Ну и что? — спросил о. Гавриил.

— А вот что, ваш о. Василий понял, в чем дело, и отказался публично, вы на такой решительный шаг не способны, хотя бы ввиду вашей старости...

Староста перебила пропагандиста.

— Подождите, вот в чем дело. О. Гавриил, — обратилась она к настоятелю, — нужно написать епископу, что о. Николая ни в коем случае нельзя допускать в наш храм, видите, какой сегодня скандал был, пришлось вызвать даже милицию.

О. Гавриил пожал плечами.

— Это можно.

Староста положила перед ним лист чистой бумаги, ручку, настоятель опустил очки и стал писать: «Прошу, Ваше Преосвященство, не допускать к служению в нашем храме о. Николая Давыдкова ввиду создавшейся обстановки».

— Хорошо? — спросил он у старосты.

Она глянула и сразу возвратила написанное:

— Добавьте, что он груб, не уживается с церковным советом.

О. Гавриил немного помялся.

— Но ведь это же правда? — уговаривала она.

О. Гавриил покряхтел и написал так, как она сказала.

— Ну все? — спросил о. Гавриил, он слишком устал и от волнения, и от того, что ему пришлось подряд служить целую неделю.

— У меня все, — выходя из-за стола, сказала староста. — Вот еще с вами займется этот гражданин. — Указала на человека в штатском.

Староста ушла с милиционером.

О. Гавриил, измученный, трясущийся, и человек в штатском, благожелательно ему улыбающийся, молодой и энергичный, остались вдвоем.

— Очищайте храм, уходите, — слышались голоса.

— Не уйдем.

— Товарищ милиционер, что же это такое? Она же клевещет на о. Николая.

— Потом разберемся, очищайте храм, — басил милиционер.

— Меня вот какой вопрос интересует, сколько вам лет? — спросил человек в штатском у о. Гавриила.

— А уже восемьдесят, пожил-таки. Всего повидал на своем веку, — плачущим голосом говорил о. Гавриил. — И хорошее и плохое.

— Ну, а дальше как?

— А вот как. Не трогайте меня, я хочу умереть у престола.

— Зачем же умирать? — благодушно говорил ему человек в штатском. — Мы еще с вами в космос слетаем.

— Нет, летайте уж вы, а мне пора на покой.

— На покой? — просиял человек в штатском. — Ну что ж, напишите прошение епископу, и дело с концом, в чем же дело?

— Да нет, я не об этом покое.

Человек в штатском не хотел отступать, он настаивал на том, чтоб о. Гавриил написал заявление об уходе на покой.

— А здесь же кто будет?

— А об этом не беспокойтесь, найдем человека, молодого, притом окончившего семинарию.

— Найдете? — обрадовался чистосердечно о. Гавриил. — Вот спасибо, дорогие. Теперь со спокойной совестью могу и за штат уйти.

И он, ничего не соображая, тут же написал прошение на имя епископа, потом почему-то сложил листок бумаги и задумался, человек в штатском ожидал.

— Так, может быть, вы и отнесете? — попросил о. Гавриил человека в штатском.

— Ну конечно, — дружески согласился тот.

О. Гавриил отдал ему заявление, усердно перекрестился и вышел из храма, его ожидала взволнованная толпа.

— Ну что ж, дорогие мои, — обрадованно заговорил о. Гавриил. — Будет у вас теперь другой священник, молодой, а я на покой ухожу, устал...

— Как на покой? — испуганно спросил тот старик, который сегодня по окончании литургии поддерживал руку о. Гавриила.

— Так. Вот так, написал прошение.

— Кому?

— А вот гражданин понесет.

Из двери кабинета старосты смотрел человек в штатском, его тонкий большой нос как будто что-то вынюхивал.

— Что вы сделали? — в один голос закричали верующие. — Вас обманули.

Тотчас закрылись все двери храма, человек в штатском скрылся, о. Гавриил остался растерянно стоять один. Наверно, только теперь о. Гавриил понял, что его обманули, оглянулся кругом, поднял руки, как при богослужении или как при сдаче в плен.

Народ метался, некоторые стучали в двери, а некоторые уже забрались на окна.

Вдруг кто-то взобрался на колокольню и ударил изо всей силы.

Колокол загудел, потом задребезжал, а потом полился ровный призывный гул. В храме раскрылись все двери, и оттуда выглянули сначала со злым лицом милиционер, потом за ним, оглядываясь по сторонам и чего-то боясь, человек в штатском, и как привидение выползла староста, угрюмо глядя на всех, раскрыла свой большой рот и глотала воздух, как лягушка, видимо, у нее начиналась одышка.

Со всех сторон стекался народ, шли не только верующие, шли просто любопытствующие, пожилые и моло-

дые, запрудили всю площадь перед храмом, стояли и смотрели на храм. А колокол, не переставая, гудел. Так, может быть, в древности гудели колокола, сзывая ратный люд на войну, так, может быть, сзывают на пожар. Никто ничего не делал, стояли и галдели. Милиционер и человек в штатском чего-то выжидали, староста вскоре скрылась в свой кабинет.

Сквозь толпу шло несколько человек молодежи, когда они протиснулись к храму, стали отталкивать народ от храма.

— Сыночки, что вы делаете? — замолили старухи. — Зачем вы нас обижаете?

«Сыночки», не глядя на своих «матерей», толкали их в грудь, и все дальше и дальше оттесняли от храма.

Колокол неожиданно смолк, звуки, оборвавшись, повисли в воздухе, еще чуть-чуть жалобно дребезжа оборванными концами.

На ступеньках храма встал человек в штатском.

— Граждане верующие, слушайте: ваша церковь закрывается на время ввиду отсутствия священнослужителей. Как вам известно из газеты, о. Василий отрекся от Бога, о. Гавриил попросился за штат...

Его возмущенно перебили:

— Неправда, ложь!

— Не имеете права!

— Безобразие!

— Ну чего вы галдите, кто у вас будет служить? — отбивался человек в штатском.

— Найдем священника! — кричали ему.

— Ну вот и находите, а пока расходитесь по домам.

— О. Николай будет служить, — не унимались верующие.

— Он запрещен в служении.

— Его аферистка оклеветала.

Народ никуда не расходился, кто-то выкрикнул:

— Давайте петь.

Полились, хотя и вразнобой, могучие звуки:

— Снятый Боже,
Святый Крепкий,
Святый Бессмертный,
Помилуй нас...

СЛУЖБА СТРАСТНОЙ СЕДМИЦЫ

На рассвете к о. Николаю кто-то постучался. Он решил, что это его жена, и, не раздумывая, открыл дверь. Перед ним стояла жена о. диакона. О. Николай слегка смутился, хотя и обрадовался ей. Она заговорила первая:

— О. Николай, надо действовать, проходимка староста сделала свое дело: закрыла наш храм.

— Вы зайдите, — пригласил ее о. Николай. — Расскажите толком.

— Толком я и сама не знаю. Но у храма всю ночь дежурили люди. Там, говорят, были столкновения. Вызвали целый взвод милиции. Есть раненые. Но вот что интересно. В наш город прибыла иностранная делегация, и с ними из Москвы какой-то депутат. Некоторые пошли к ним. А самое главное, мой муж сообщил под большим секретом, староста разделила церковные деньги: дала уполномоченному, о. Василию и взяла себе. Нужно их накрыть, пока деньги еще не ушли.

Глаза у о. Николая заблестели, он ожил.

— Молодец, молодец. Знаешь что, иди-ка ты к о. Константину, тому, который не служит...

— Ему обо всем уже сказано.

О. Николай оделся и вышел.

Было прохладное утро. Поеживаясь, он вышел из калитки, повернул за угол, прошел кривым переулком и вышел на церковную площадь. Две-три группы незнакомых людей о чем-то горячо беседовали, на их лицах, как ни удивительно, не было печали, они даже довольно улыбались.

Через несколько шагов о. Николай столкнулся с знакомым пропагандистом, тот как-то оторопело остановился, подернул головой:

— А знаете, Бога нет, — бросил тот, как камень, увесистое слово.

— В вашей душе, — в ответ бросил о. Николай. Пропагандист от неожиданности остановился, постоял, подумал и пошел как ни в чем не бывало своим путем.

Приблизившись к одной группе людей, о. Николай узнал интересную новость. Все дело обернулось иначе благодаря иностранной делегации.

— Мы спешно выбираем, вернее, подбираем церковную двадцатку, — говорили те... — Надеемся, что служить у нас будете теперь и вы, о. Николай, и о. Константин. Можно, конечно, пригласить и бывшего настоятеля, хотя он и старик, но послужит.

Чего не бывает в жизни!

Бывает так, что, казалось бы, все погибло, но как-то все оживает, и снова ободряются люди, и все идет своим чередом. И можно жить, дышать полной грудью, насколько это возможно в наше время.

О. Николай верил, что все в Божьих руках, но чтобы все так неожиданно повернулось в лучшую сторону, этого он не ожидал. И затрепетало сердце по своей испугавшейся жене, заныло о своем сынишке, но все-таки не так крепко сокрушало его, потому что основное было хорошо.

Но и все-таки не так легко все устраивается, как думается. Уже все было доказано и даже подписано, что уполномоченный занимался взяточничеством, староста дала ему крупную сумму, поэтому так ее легко взяли на работу в храм, но новую двадцатку хотя везде и принимали вежливо, но зарегистрировать священников о. Николая и о. Константина не то что отказывали, а все откладывали на завтра и на завтра. Ходили они, ходили, хотели уже было махнуть рукой, как вдруг, непонятно почему, зарегистрировали. Тот, который раньше вызывал о. Николая, предупредил:

— Вы уж смотрите, особенно не усердствуйте, как-никак мы идем к коммунизму.

О. Николай ничего не ответил.

Первая служба была на Страстной Седмице. Тягуче и печально зазвонил колокол, потянулись длинными вереницами молящиеся. Может быть, даже пошли и те, которые никогда в храме не бывали, происшедшее событие разбудило их. Такого стечения еще не знали, установлено было даже дежурство милиции.

Когда несли плащаницу с пением «Святый Боже», кто-то захрипел в храме. Говорили, что это о. Василий, он валялся в ногах, плакал, просил прощения. Одни говорили, что он был просто пьян, другие — что пробудилась совесть.

Ничего этого не видел и не слышал о. Николай, но когда уже Плащаницу поставили посреди храма, почувствовал, что его пронзают чьи-то глаза, и когда он обернулся, увидел пугливые и печальные глаза жены о. диакона, сам о. диакон был пьян, его уже не взяли служить в этот храм, о. Николай решил никуда больше не смотреть, но снова обернулся, хотя и в противоположную сторону, и там он увидел свою жену со слезами на глазах. Быстро забилось его сердце, и он уже не мог отвести своих глаз от нее, и она тоже смотрела на него не переставая. В рядах верующих произошло замешательство, так как о. Николаю нужно было уже уходить в алтарь, а он не уходил, а они ему оставляли место для прохода.

После службы о. Николай, усталый, сразу же лег спать, назавтра снова вставать рано, все тело ныло, глаза сами закрывались, а он никак не мог уснуть, весь изворочался на кушетке, кряхтел, чесался, видимо, устремленные на него глаза жены в храме не давали ему уснуть, перед ним и сейчас стояли эти глаза, звали, прогоняли сон.

Когда ему стало известно о ее измене, он решил окончательно, что ему с ней не по пути, а вот сейчас согласен все простить, старался даже уговорить себя, что и измены никакой не было, может быть, она просто ревновала его и таким образом хотела больше привязать к себе.

Чутко прислушивался он к ночной тишине, ему чудился крик Андрюши, вспоминались ссоры с женой, и они ему были чем-то милы, что-то говорили его душе,

ему казалось, что вот сейчас кто-то придет, может быть, она?

Посмотрел на часы, было без четверти двенадцать. Нет, не придет, Горестно вздохнул он и в который раз повернулся на бок. И вдруг как будто послышался легкий стук, кто-то тихо барабанил, легонько, по-женски. Тут он вспомнил, что дверь забыл запереть, и ожидал, когда снова забарабанят, чтоб сказать: открывайте сами, не заперто, но стояла тишина, под кроватью заскреблась мышь, и он решил, что это она барабанила. Но стук снова скоро повторился, более громкий и настойчивый, он обрадованно крикнул: заходите, и сам испугался: кто может быть? Ведь двенадцать ночи, хотел было вскочить с постели, чтоб успеть запереть, может быть, кто-то нежелательный там, но в дверь уже входила высокая мужская фигура в знакомой шляпе. И вдруг о. Николай узнал, кто это и зачем идет. Узнал, как только увидел тонкий и длинный нос.

Пожалуй, так неожиданно черт являлся Ивану Карамазову, и о. Николай, так же как Иван Карамазов, спохватился, встревожился, машинально схватил рясу, лежавшую на стуле, натянул на себя. И тут же подумал: не от усталости ли это ему мерещится? Протер кулаком глаза, поправил волосы, но перед ним теперь отчетливо и явственно стояла фигура антирелигиозного пропагандиста, стояла мрачно, с печальными поникшими глазами. Под кустистыми черными бровями лежала тревожащая дума, пропагандист чем-то был взволнован, что-то мучительно соображая.

— Извините меня, что я к вам в неурочный час, — извинился он вежливо, — но меня заставило вот что прийти...

О. Николай подумал, что, наверно, насчет жены, ему все это было неприятно, и он не знал, что ему сказать. Пропагандист, не дав о. Николаю подумать как следует, выпалил:

— А знаете, что Бога нет, докажите мне Его существование, — заговорил с явным жаром, как обычно пропагандисты не говорят. И видно было по его лицу, что это его тревожило, и он с этим не мог справиться.

О. Николай снисходительно улыбнулся и с досадливостью заявил:

— О, как вы скучны с вашими доказательствами. Вы, наверно, шагу не можете ступить, чтоб не потребовать доказательств. Да знаете ли вы, что в этом неимоверная скука. Смотрите проще на жизнь и делайте так, как велит сердце.

— Сказки вы мне рассказываете, — приняв вызов, перебил его пропагандист, потоптался немного, машинально пододвинул стул к дивану о. Николая, уселся. — Я насмотрелся на вас. Ну вот вы говорите все о правде, а посмотрите, чего только нет среди нас. Вы выродились со своим Богом, у вас полное разложение. Если бы был Бог...

— А вы мне рассказываете басни. Уже на тысячи ладов расписывали: попы плохи — значит, нет Бога. А Он вот существует вопреки всему, и вы с Ним продолжаете бороться. Ну зачем вы ко мне пришли, да еще в такое время? Что вас взволновало: сказка, басня?

Пропагандист заговорил спокойнее:

— Нет, не это волнует. Я никак не могу понять, как вот вы, вся ваша масса, верят, думают о каком-то Боге, а где Он?

— Где Он? — захохотал священник. Тут о. Николай с некоторым сарказмом посмотрел на пропагандиста.

— А вам, наверно, хочется Его взять, запереть, как вы вот запираете наши храмы, затворяете уста верующих?

Пропагандист растерянно заморгал острыми глазами, хотел что-то возразить, но о. Николай не дал ему сообразить и заговорил напрямоту:

— Будемте откровенны хоть раз. Не пытайтесь что-то возразить... Да знаете ли вы, что вы несправедливы к нам тем, что не даете нам свободы. Вы не считаетесь со своими «темными» материями и издеваетесь над их светлыми чувствами. То, что вы хотите нас заставить не верить, то, что вы, наконец, все извращаете, — это уже есть доказательство того, что Бог существует. И простите, Он не жестокий палач, как вы думаете, а любящий Бог, рас-

пятый за нас, за все человечество. Гонимое — всегда правда. И правда не у вас, а правда у нас, как бы мы ни были плохи. В этом лживом мире правда всегда гонима. Вот и откройте глаза и внимательно посмотрите. А вы все ищете доказательств. Да поймите не газетную правду, а правду жизни, и вы без доказательств увидите, что сейчас Страстная Седмица и наш Бог мучается за нас, потому что мы с вами стали слишком плохи. Нельзя всегда жить заученными фразами, когда-либо да должно же пробудиться сознание, должна же заговорить совесть.

Пропагандист очумел. Такой откровенности и такой прямоты он не ожидал. Он, признаться, пришел за тем, чтоб разрешить свое недоумение, он видел, что в самом деле верующие — плохие люди, и поэтому как можно верить в Бога, Его нет, а тут этот поп так ловко вывернулся. Ему все же оставалось непонятным, что такое заставляет людей отдавать свои жизни за какую-то химеру, пока он еще не выражался иначе, что-то их волнует и тянет к себе, что-то вот и нас беспокоит, и мы, признаться, пускаем порой все в ход, чтоб искоренить самую мысль о Боге, а она вот в век прогресса, в век культуры, в этом он был уверен, все существует.

Его взгляд скользнул по плохо выкрашенной рамке, хотел было спросить, зачем поп ее держит, как увидел в рамке Распятого с поднятыми страдальческими глазами. Что-то человечески-трогательное было в этой растянувшейся фигуре, что-то было всеобъемлющее в этих пробитых раскинувшихся руках. «Так не это ли их Бог? — чуть не вскрикнул он. — Как же в Него верить? Бог, по их представлению, бородатый деспот, повелевающий пешками-людьми, а этот Бог страдает. Да, в этом есть какой-то смысл. Но какой? — попытался пропагандист поставить вопрос себе и на него ответить. — Зачем эти страдания? — Ему было жалко распятого Бога. А Христос смотрел страдальческими глазами спокойно. — Бог спокоен, — неожиданно поразился пропагандист, — Бог спокоен», — повторил он, не понимая, что говорит.

— Слушай, объясни ты мне все это, я ничего не понимаю, в чем тут смысл? — попросил пропагандист священника.

— Вот с этого и надо было начинать, — сказал о. Николай.

В стену кто-то громко стукнул. Оба переглянулись. Священник догадался, что это стучит старуха сторожиха, видимо, они так громко разговаривали, что не давали ей спать. Но и спать уже было некогда, в окне светлело, приближался рассвет.

Пропагандиста вдруг потянуло к откровенности.

— Виноват я перед вами. Жену вашу я не любил, я просто хотел ее отвести от вас. И добился, она потянулась ко мне, а теперь она увидела что-то другое и стала сама не своя. Я хотел бы попросить вас: простите ее, она вас любит.

Это для священника было и приятно и неожиданно, сначала его глаза просияли, потом затуманились. Пропагандисту стало жаль священника: ведь это он, считающий себя правым, прибавил страданий ему. Он не назвал его попом, а назвал как и надо. Неужели и в том смысл страдающего Бога, что Он страданиями пробуждает в нас человека? «Перед собой я видел жадного попа, а теперь вижу человека, и по-человечески мне его жалко, а себя чувствую виноватым». Он пока это только думал, не зная, как все обосновать и сформулировать.

— Разрешите, я буду одеваться, — сказал о. Николай. — Мне нужно идти на службу.

— Вы и не отдохнули, — сочувственно проговорил пропагандист. — Это я виноват, простите меня.

Священник был очень усталым. Он снял рясу, чтоб надеть брюки и рубашку, и такой сгорбленной, худенькой была его фигура, что теперь пропагандист, вспоминая прежний плакат, не сказал бы: кому вы несете свои деньги, перед вами — обманщик.

Да, христианский Бог — это распятый Бог, и, пожалуй, в этом Его сила, верующие в Него — мученики, и этим

они вызывают жалость и пробуждают в нас добрые чувства. Как ни странно, но факт.

Пропагандист пожал доброжелательно руку улыбнувшемуся ему священнику и тихо сказал:

— Простите?

Еще раз взглянул на Распятие, вздохнул и вышел.

Священник направился в храм, вышел он рано. Он знал, что в последнее время после переполоха прилив в храм верующих увеличился, но чтоб было столько, сколько он увидел, этого не ожидал. Все были по-особому сосредоточенны и серьезны. У храма столпились, там что-то происходило. Когда о. Николай подошел ближе, увидел нескольких бойких парней, разгуливавших у церковных ворот. Они бесцеремонно останавливали не только подростков, но и молодых людей, говоря одни и те же слова:

— Вам там делать нечего.

Когда старушки молили, что как они в такую пору отпустят от себя внучат, парни, не глядя им в глаза, односложно резали:

— Нельзя.

Когда старушки хотели провести силой, парни, применяя насилие, отталкивали в сторону и старушек.

Войдя в храм, о. Николай увидел, что там полно народу, и удивительное дело, было очень много молодежи и даже подростков, последние все-таки прятались за спины своих бабушек. Как выяснилось, в церковном заборе выломали доски и туда свободно проходили.

К Плащанице шли молчаливой цепочкой. Сумрачные лица освещал молитвенный трепет жарких свечей.

Взглянув на этих жаждущих людей, о. Николай почувствовал их горе, с которым они пришли к Страждущему Христу. К горлу о. Николая подкатил ком слез, нужно было большое усилие, чтоб не расплакаться. Но в алтаре он все-таки разрыдался, упав навзничь перед престолом.

Ему всех стало невыносимо жаль. Жаль тех, которые рвутся ко Христу, а их не пускают. В эту минуту сердца жаждущих он, вероятно, понимал больше, чем сами жаж-

дущие. Может быть, многие даже пришли из-за любопытства, может быть, потому, что не пускают: запретный плод всегда привлекает, но он ясно видел, что пришли они прежде всего потому, что жаждали веры, что хотели верить, что вера пробивалась вопреки всему, вопреки этому комсомольскому заслону. Да и этих заблудших комсомольцев ему было тоже жаль. Он их именно представлял как заблудших, как несчастных. Ему и лица их виделись какими-то жалкими, искривленными злобой. И злоба их вызывала у него не раздражение, а именно жалость. Он отчетливо представил себе, что они ничего не понимают. Не понимают того, какое великое дело совершается этим Распятым; молчаливый, Он сильнее всех. Он лежит во гробе, и в то же время Он торжествует.

— Господи, вразуми и наставь, спаси нас, помилуй, — ему было хорошо сознавать в эту минуту, что недавно он пострадал во имя Распятого. Он готов страдать больше, готов мучиться, но чтобы хоть что-то дать этим жаждущим людям. Вот когда он осознал, что в наше время нет ничего лучше, как быть священником и мучиться за людей, чтоб они приходили ко Христу, в этом их спасение, в этом заключается их выход из всех трудностей.

О. Константин, придя к службе, застал о. Николая распростертым перед престолом, остановился, боясь вспугнуть его молитву.

О. Николай как-то почувствовал присутствие о. Константина, как-то мгновенно высохли у него и слезы, и он приподнялся с тихой улыбкой. О. Константин смущенно поздоровался, ему показалось, что он ошибся насчет молитвы о. Николая, они разговорились. О. Константин рассказал, что безбожники на Страстную и Пасхальную Седмицы готовят зрелища, вход предполагают сделать свободным и бесплатным; но, видимо, мало кто к ним пойдет, хотя бы ради любопытства пойдут к нам.

К службе пришла и жена о. Николая. После службы она долго и терпеливо ждала его у выхода, обиженно и как-то виновато смотрела, скоро ли он пойдет?

Заметив его, сразу же последовала за ним. У дома он обернулся, приостановился, остановилась и она.

— А где сын? — почему-то спросил он у нее.

В ее глазах стояли слезы, он больше ничего не решился ей сказать и пригласил в дом.

В ящике для газет и писем лежало письмо, о. Николаю показалось в этом что-то тревожное, писем он ни от кого не ждал и подумал: не от епископа ли, а может быть, даже из органов. Почему-то в последнее время он ждал каких-то неприятностей. Волнуясь, открыл ящик. Письмо было со штампом нарсуда, его вызывали в суд и именно на сегодняшнее число к шести часам, сейчас было около часа.

Его руки начали немного подрагивать, машинально вошел в свою комнату, забыв, что у порога осталась его жена, она внимательно наблюдала, что его так взволновало, не решалась спросить. Он прочел:

«Народный суд вызывает Вас к восемнадцати часам 23 апреля в качестве ответчика по делу райфо».

Было приложено и заявление самого райфо.

«Гражданину Давыдкову Николаю Петровичу, священнику церкви Преображения, на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 30/4 43 г. вручено платежное извещение по подоходному налогу на сумму 2028 рублей 50 копеек с уплатой в следующие сроки: 15/II — 436 р. 60 к., 20/П — 795 р. 95 к., 24/П — 795 р. 95 к. Несмотря на истечение 24/II срока уплаты, гр. Давыдков Н.П. до настоящего времени не уплатил 2028 р. 50 к. В связи с этим городской финансовый отдел на основании постановления ЦИК и СНК СССР от 11 апреля 1943 г. просит Народный суд вынести Решение об обращении взыскания на зарплату с гр. Давыдкова для пога-шения недоимки, а также пени в размере 1114 р. 97 к.».

Это касалось дополнительного налога, а еще текущий?..

Вот оно, снова испытание, просверлила мысль его мозг.

Созревали всякие решения. То ему хотелось пойти в суд и сказать, что это бесчеловечно, грабеж, то вообще ничего не хотелось предпринимать, будь что будет.

Наконец решил написать письмо в суд. Тольке подвинул стул и хотел усесться на него, как заметил, что жена стоит у порога.

— Прости, пожалуйста, — сказал он ей ласково.

У нее в глазах по-прежнему стояли слезы, она ничего ему не говорила.

— А где сын? — снова повторил он вопрос. — С ним что-то случилось? — ему захотелось увидеть невинные глазенки, и тут же себе нарисовал, что с сыном произошло какое-то несчастье.

Но с сыном было все в порядке, она его оставила у знакомых.

Наступило неловкое молчание, как его разрядить, ни тот ни другой не могли придумать.

Жена смотрела с горькой мольбой, искренние глаза ее говорили: прости меня.

Он не вспомнит обид, он готов все простить, только бы увидеть сына, но как снова с женой начать жизнь, ведь сразу донесут епископу, что она сходилась с антирелигиозным пропагандистом, и тот может поступить формально, лишить сана — ведь с такой по закону нужно развестись. И если в самом деле она жила с ним — значит, нарушена та единица, которая бывает в плоть едину, а если так, то жизни чистой и беспорочной не будет. Это было самое страшное. Он обхватил руками свою голову, задумался.

Жена все время молча смотрела на него, она ничего не говорила и не плакала, сложные чувства ворочались в ее душе.

Давно у нее не было близости с антирелигиозным пропагандистом, она сейчас очень пожалела своего мужа и хотела бы возвратиться к нему, тем более что и пропагандист стал к ней холоден, особенно с того момента... Этот момент она боялась назвать и себе самой.

А о. Николаю хотелось бы помириться с ней, чтоб все стало по-хорошему. Разлука с сыном была невыносима, ведь за него он в ответе перед Богом, да и за нее. Господи, что делать?

Решение как-то созрело само по себе, он просиял, на душе стало легко, шепотком сказал:

— Приводи…

Кого привести, ей сразу стало понятно — сына, а если сына, то и ее не выгонит.

Ничего не сказав от радости, она тот же повернулась уходить, он ее ласково остановил, задушевно сказав:

— Тоня, я пойду в райфо.

— Иди, иди, — не соображая от радости, что сказать, машинально ответила она и моментально побежала.

Когда она ушла, о. Николай все-таки решил написать письмо в суд.

«В Народный суд, Каланчевская, 11.

В связи с подачей на меня в суд Куйбышевским райфинотделом о неуплате дополнительного налога в сумме 2028 р. 50 к. и пени в сумме 1114 р. 97 к. хочу заявить следующее.

Уплатить такую большую сумму у меня нет никаких возможностей. За 1960,61,62 гг. дополнительный налог я платил неоднократно. На этот раз он оказался самым большим.

Все, что имел, я уже отдал. Единственный источник существования у меня — зарплата, которую я получаю с апреля 62 г. На кружковом сборе находился месяцев 14. Вещей, которые я мог бы продать для уплаты, у меня никаких нет, о чем может подтвердить и сам райфинотдел, который приходил ко мне с описью и ничего не нашел, что мог бы описать. Притом из зарплаты, которую я получаю, я большую половину плачу на текущий налог. Если уплатить мне этот дополнительный налог с зарплаты, то приблизительно в течение года я должен оставаться без копейки.

Надеюсь, что суд учтет мое заявление и подойдет к решению моего дела объективно.

В заключение хочу сказать, что не уплатил не потому, что не хочу, а потому, что не имею никакой возможности».

Послать ли заявление письмом или отнесли лично? — соображал о. Николай. Лично не хочется, пошлю пись-

мом, тем более при разговоре можно сказать лишнее, а свой характер, прямой и горячий, он прекрасно знал.

Усталость как-то понемногу свалилась с плеч, только вот глаза, казалось, куда-то проваливались и как будто в них было что-то насыпано. Пройдя метров двести, повернул на почту, решил отправить письмом. Созревало и решение зайти в райфо поговорить дипломатически, это ему иногда удавалось.

На почте девушка, худенькая, с жиденькой косичкой, посмотрела на него с состраданием, словно понимала его горе. И от этого искреннего доброго взгляда почему-то стало не легче, а тяжелее, голос его как-то захрипел, но он был благодарен этой доброй девушке, настроение все-таки изменилось к лучшему. Тем более что он тут же вспомнил, что сегодня, может быть, увидится с сынишкой, да и с женой отношения наладятся. Тяжесть как-то сменялась на легкость. Такое состояние бывает редко, и такого состояния он боялся, ведь сейчас Страстная Седмица — Господь страдает, да и вообще легкости он боялся. Обычно после легкости становилось трудно, так он заметил.

Не успел он выйти из помещения, как какой-то мальчик с озорными глазами дерзко крикнул:

— Поп!

Второй подбежавший насмешливо добавил:

— Господи, помилуй!

На эту их выходку он ничего не сказал и продолжал идти, но как-то было грустно. В последнее время от взрослых он мало слышал оскорбительных слов, зато вот от мальчишек! Впрочем, это вообще было бы ничего, тем более что в этой насмешке было более глупого озорства; когда, бывает, их приласкаешь, они смотрят так виновато и так добродушно, если б не чья-то здесь злая направляющая рука. Видимо, агитация, глухо доходящая до детей, да и внушение в школе, что попы — тунеядцы, что религия — обман, портят их характер.

Он грустно продвигался по улице.

Впереди показался автобус, вывернув из-за угла. Взглянув на него, о. Николай решил поехать в райфо. Он

смерил взглядом расстояние между собой и автобусом и подумал, что нужно ускорить шаг, чтобы успеть к остановке. Зашагал быстрее, чуть было не поскользнулся, слегка покачнулся и ухватился за чью-то руку. То оказался молодой человек, посмотрел насмешливо и презрительно и не так, как дети, а более резко сказал:

— Что, батя, пьяный?

Второй, проходя мимо, бросил злую реплику:

— Пропагандист.

Впрочем, в этой реплике послышалось и враждебное, его считают своим врагом.

До остановки оставалось несколько шагов, уже садился последний человек, когда о. Николай подбежал. И только бы ухватиться за поручень, даже ногу поставил на ступеньку, но дверь резко захлопнулась, автобус пошел быстро. В этом была явная неприязнь к нему, шофер тоже хотел показать свою враждебность. И все эти случаи испортили окончательно настроение, а самое главное, что он почувствовал себя отверженным и одиноким.

Следующего автобуса пришлось ждать долго. На остановке он находился один, не считая старушки, которая была и подслеповатая, и глухая; она у него спросила:

— Давно ли отошел автобус?

Он ответил, а она все время кричала:

— Когда?

Наконец замолчала, посмотрела в противоположную сторону и стояла насупленно и сердито.

Автобус пришел переполненный, времени у него оставалось в обрез, а хотелось бы успеть в райфо до начала суда.

Он ухватился за дверь, которая уже закрывалась, защемило пальцы, какой-то молодой человек рывком открыл ее, и грубо, как какую-то вещь, подхватил о. Николая.

— Живее, батя, а то можно и без руки остаться.

А та старушка, подслеповатая и глухая, которая с ним стояла на остановке, живо заговорила, обращаясь к молодой женщине:

— Ты, молодка, уступи место, — указала на о. Николая.

«Молодка» посмотрела недовольно, хотела что-то возразить, но старушка не дала ей открыть рта, снова указала на о. Николая:

— Ну, ну, живее, старичку надо сесть.

Молодая женщина поднялась, покосившись на старушку и одновременно на о. Николая, отошла в сторону. О. Николаю стало неловко, он хотел было отказаться, но старушка насильно усадила его:

— Садитесь, садитесь, они, молодые, постоят.

— Вы бы сели, — предложил ей о. Николай уважительно.

— А я уже насиделась, — как-то сразу расслышала или догадалась старушка. — Восемьдесят пять годочков, слава Богу. Теперь бы мне лечь, а если посижу, трудно бывает вставать. Ну вы садитесь, что на них смотреть.

О. Николай сел, поблагодарив старушку, она с чувством выполненного долга отвернулась от него, привалилась успокоенно к стенке.

Сначала о. Николай стал смотреть вниз, потом как-то стало тревожно ему, посмотрел вправо, и тут он столкнулся с сердитыми глазами молодой женщины, та рассерженно и с обидой в голосе сказала:

— Да он еще молодой, только бородой оброс.

Кто-то хихикнул, но в основном ее не поддержали, о. Николаю после этого стало неловко и стыдно, он виновато опустил глаза.

Приехал довольно быстро. Быстро проскочил по узкому коридору райфо, тихо постучал в дверь, на которой была табличка: «Инспектор райфо». Там сидело три человека: двое мужчин и одна женщина, каждый за своим столом, столы были расположены по углам.

— А, Николай Петрович, — встретили его иронически-дружески. — Зачем к нам пожаловали?

— Вы в суд на меня подали? — спросил серьезно о. Николай.

— Да, подали, пришлось. Не хотели, но вынуждены.

— Вы ведь знаете, что я не в состоянии всего уплатить?

Налоговый агент, еврей с усиками, сначала предложил ему сесть, потом заговорил располагающе:

— Можно сделать так, что суд и отменят. Возьмите ссуду в храме, староста у вас теперь прежний, к вам расположенный...

О. Николай не сомневался, что староста ему поможет, об этом он уже даже говорил с ним, но брать ссуду, те горькие копейки, которые приносят верующие, не хотелось, тем более что этот налог совершенно незаконный.

О. Николай хотел схитрить и дипломатично сказал, не ожидая, что это возымеет такое действие:

— Так вы помогите мне, поговорите сами со старостой.

Они обрадовались предложению, еврей с усиками набрал номер храмового телефона. Женщина, круглолицая, простоватая, но, видимо, добрая, придвинулась к о. Николаю и стала доброжелательно уговаривать его:

— Платить надо, Николай Петрович, вам могут приписать срыв государственного плана, политическую диверсию...

— Но с чего платить? — сделал обиженный вид о. Николай. — Вот давайте мы с вами рассудим. Где это слыхано, чтоб в четвертый раз за один и тот же год брали налог, притом четвертый, превышающий все разы.

Женщина переглянулась с молодым человеком, сидевшим за столом в противоположном углу к ней. Молодой человек с белесыми волосами и с выцветшим продолговатым лицом, опустив глаза и незамедлительно подняв их, хитровато улыбнулся:

— Николай Петрович многого еще не понимает.

О. Николай скромно улыбнулся ему:

— Может быть.

Еврей, который звонил по телефону, сообщил, что староста сейчас приедет сюда.

— Надо выручать человека, — заключил он одобрительно.

Женщине хотелось продолжить прерванный разговор:

— А знаете, что этого налога могло бы и не быть? Виноваты в этом вы сами, — обратилась она к о. Николаю, помолчав, загадочно добавила:

— И из наших многие пострадали.

О. Николай подумал, что она, видимо, намекает на то, что донесли на старосту и уполномоченного, большую роль, конечно, сыграл здесь о. Константин, да и сам он чувствовал себя замешанным, хотя практически ничего не предпринимал, но слегка покраснел, женщина заметила это и ободрила его:

— Вас лично это не касается, — еще раз переглянувшись с молодым человеком, добавила: — Сама староста в этом виновата. Дала взятку и тут же донесла, и их накрыли. И вот начальник райфо наш парится в тюрьме, а у него трое детей. Безжалостная она, — выждала какое-то время и добавила: — А то, что накрыли их, это хорошо сделали. Но удалось это все-таки благодаря иностранной делегации и депутату из Москвы.

Еврей с усиками добавил от себя:

— К сожалению, говорят, что скоро выпустят. Уполномоченному, пожалуй, придется сидеть, а ее выпустят. Самое большее у нее будет изъятие имущества. А жаль, что только это. Такого человека нужно было бы посадить надолго, не одного она уже подвела.

У о. Николая открывались на все глаза: так вот в чем дело, вот откуда была вся смута в храме, и как это им удалось избавиться от такого опасного человека, еще много бы она зла сделала.

Задумчивость опечалила лицо о. Николая, он давно уже ничего не слушал, рассеянно чертя пальцем по столу. Вывела его из этого состояния женщина, одобряюще сказав ему:

— А у вас теперь стало хорошо. Народу видимо-невидимо прибыло. Наши пропагандисты сильно обеспокоились, затеяли на Страстной всякие спектакли, кино, притом все бесплатно. Но напрасно стараются, у них ничего не выйдет. Даже вот наш Соломон Давидович, —

показала на еврея с усиками, — вчера был у вас в храме и простоял всю службу зачарованно.

Еврей не то смущенно, не то согласно улыбнулся, но улыбка по-лучилась такой, чтоб догадаться, что все верно. Молодой человек сердито надулся.

— Ну уж не расписывайте. Я вот не был и не пойду.

Женщина осуждающе махнула рукой:

— Да что с вами говорить, вы из числа активистов, небось и в спектакле участвуете. Но посмотрите, что к вам никто не пойдет, а в церкви все за душу хватает. Я не знаю, верующая я или нет, но вот меня все так трогало, что я невольно плакала.

Молодой человек что-то намеревался возразить, но в это время в дверь постучали, он привычно опустил глаза.

Вошли Иван Романович, покрывшийся большей сединой, чем прежде, и неизменная его спутница Анастасия Петровна, более постаревшая и посерьезневшая.

Женщина встала из-за стола и услужливо предложила им стулья. Анастасия Петровна по-старушечьи мило улыбнулась и спросила:

— Зачем нас решили видеть?

Все как-то мгновенно окружили их, стояли все, кроме женщины да о. Николая, виновато улыбавшегося. Не знали, кому начинать. Находчивее и смелее всех оказался еврей с усиками:

— Вот в чем дело, по какому поводу мы с вами хотели говорить. — Он участливо посмотрел на о. Николая. — Выручайте своего служителя.

Обычно о. Николая он называл по имени отчеству, а тут, чтоб более подчеркнуть свое расположение к нему, выбирал слова подходящие, хотел даже сказать «священника», но это показалось неудобным ему, и он остановился на слове «служитель».

Анастасия Петровна понимающе посмотрела на о. Николая, задержала на нем свой участливый взгляд, словно спрашивала: «Что, решил платить?» Иван Романович помнил, как уговаривались, что платить не надо, пусть судят, скороговоркой выговорил:

— Нет, нет, помогать нам не с чего. Та аферистка совсем ограбила храм.

Еврей рассудительно его остановил:

— Но вы понимаете, что таким образом Николая Петровича ставите под удар. Если не с чего будет взять, его лишат регистрации.

Иван Романович почесал загадочно затылок, а Анастасия Петровна, взвесив ситуацию, спросила:

— А сколько же нужно платить? Сколько там у вас? — обратилась она к священнику.

О. Николай медлил с ответом.

Еврей с усиками, раскрыв книгу, начал объяснять:

— А мы вот сейчас скажем точно. Текущий налог вы уплатили? — спросил он у священника.

— Да, — односложно ответил тот.

— Значит, остался дополнительный? — Потрогал усики, забегал глазами по написанному. — Две тысячи двадцать восемь рублей пятьдесят копеек. — Открыл другую книгу и добавил: — Пени вдобавок тысяча сто четырнадцать рублей девяносто семь копеек, — переложил на счетах. — Многовато, конечно, но если вам дорог священник, — он посмотрел с неподдельным уважением на о. Николая и без смущения назвал его священником, — приложите все, чтоб выручить.

Анастасия Петровна заворочалась на стуле, печально повздыхала, но она давно уже сообразила, что платить придется, и сказала, хотя, может быть, и вынужденно, но определенно:

— Придется помочь.

Все облегченно вздохнули, радостнее всех женщина, работница райфо, ей, несомненно, хотелось выручить священника.

— Ну вот и все в порядке, а мы прекратим дело в суде.

Иван Романович, будто об этом ничего не знал, удивленно спросил:

— А что, уже и дело даже завели?

— Не только дело, — ответил еврей пугающе, — сегодня уже надо было идти в суд. А в суде как? Не пла-

тишь — принимаем меры. К вашему брату поблажки нет. Так что выручайте, и поскорее, — с тонкой добродушной усмешкой добавил: — И служите хорошо, я и сегодня приду послушать.

— И я с вами, — заторопилась женщина.

Недовольно посмотрел молодой человек, но обессиленно опустил глаза.

О. Николай, Анастасия Петровна и Иван Романович вышли вместе. Отойдя немного от райфо, остановились договориться. Анастасия Петровна пусть едет сейчас в храм, возьмет деньги и повезет сдать, остальные пусть уходят по своим делам.

Анастасия Петровна внимательно и участливо посмотрела в глаза о. Николая и пожалела его:

— Вам, батюшка, наверно, надо отдохнуть, слишком вы устало выглядите.

Эти теплые слова доброй женщины и согрели озябшую душу о. Николая от несправедливости, и легли дополнительной тяжестью на его усталые плечи; он настолько почувствовал себя разбитым, что впору бы присесть, в глазах забились неугомонные слезы. Анастасия Петровна все это увидела и поняла и, чтоб лишний раз не смутить, бодрясь, по-старушечьи попрыгала к автобусу.

О. Николай и Иван Романович, не торопясь, пошли.

— Знаете, о. Николай, атеисты не на шутку забеспокоились: никто не идет к ним. Сегодня вот у них была лекция с показом кино, а пришло пять-шесть сопляков, и только.

Глаза о. Николая оживились, он сразу почувствовал себя бодрым:

— Слава Богу, слава Богу, — зашептал как молитву.

Иван Романович не с тем чувством, как о. Николай, продолжал:

— Слава-то слава Богу, но боюсь, что обратят особое внимание, и именно на вас, о. Николай, — подчеркнул он. — Ведь это ваши проповеди привлекают многих. Я наблюдал как-то, как один молодой человек, прослушав вашу проповедь, пришел и в другой раз и наконец гово-

рит: «Дайте свечу, хочу поставить перед иконой». Наблюдал и еще, как слушают и другие. Не буду говорить о старушках, те слушают так, что не слышат себя, скажу о молодых. Сначала они с какой-то насмешкой поближе пробираются к вам, останавливаются вразвалку, потом, смотришь, лица вытягиваются, становятся серьезными, а когда кончаете говорить, с подобревшими глазами провожают вас. И я заметил, что такие нет-нет да и еще понаведаются в храм.

О. Николай знал, что его проповеди слушают внимательно, об этом можно догадаться по наступившей тишине, но чтоб они оказывали такое сверхожидаемое действие — это для него все-таки было новостью. И умиленно просветлело сердце, как будто луч солнца пробился туда, несмотря на ненастную погоду, и ему стало радостно, что ему приходится много терпеть и в обществе, и дома. И хотелось именно и жить только для того, чтобы пробуждать людские души. И этот крест и для него становился спасительным, в его душу пробивались весенние реки счастья и затопляли ее. Да, блаженство посещает нас и в скорбной земной жизни.

Иван Романович не понимал состояния о. Николая, ему показалось, что тот на него за что-то обиделся, нахмурился слегка и решил было перевести разговор на другую тему, но почему-то неожиданно спросил:

— А как ваша жена? — хотя знал, что она ушла от него.

Очередные заботы и огорчения заглушили память о семье у о. Николая, и сейчас вот он встряхнулся от этого вопроса, вспомнив, что дома ждет его жена, а особенно, наверно, ждет сынишка. Все вздрогнуло внутри, о. Николай поежился, как от озноба.

— Пришла, — выпалил он с какой-то непонятной радостью.

— Как пришла? — вскрикнул от непонимания Иван Романович. — А с пропагандистом?..

— Пришла, — подтвердил о. Николай с прояснившейся радостью, глаза восторженно загорелись.

— Ну, тогда, дорогой, — расплываясь в добродушной улыбке, оживленно сказал Иван Романович, — спешите домой, надо повидаться. Сегодня снова служба будет продолжительной. Признаться, на Страстной и устанешь, и нарадуешься. Я больше всего люблю службу Страстной Седмицы.

И они расстались по согласию, Иван Романович поехал и еще куда-то по делам, а о. Николай сел на подошедший автобус и направился к себе домой.

Дома было все в порядке, во всем виделась женская рука: на окнах сменены занавески, ширмой, как и раньше, отгорожена спальня для сынишки, пол вымыт, везде стало чисто и уютно. Жена, видимо, скучала в ожидании его. Когда он вошел, она сидела за столом, а теперь поднялась навстречу ему. На лице лежала несколько испуганная улыбка, в глазах была скрытая печаль.

О. Николай невольно улыбнулся ей открытой улыбкой и сразу почувствовал облегчение на душе, словно пришел, как и прежде, в свой нерушимый дом, у порога остались все треволнения дня.

— А где же Андрюша? — был первый вопрос о. Николая.

— Спит уже, намаялся...

Она тихонько отодвинула ширму, показала на сынишку, тот спал безмятежно, не слышно было даже его дыхания. Обе ручки положил под щечку, ножки подобрал под себя, лежал на правом боку, как приучал его спать отец.

О. Николай перекрестил сына. Обычно раньше, благословляя сына, он благословлял и жену, и теперь она ожидала, что благословит и ее, и он, не раздумывая, благословил ее. Тревога и грусть сошли с ее повеселевшего лица, она заговорила спокойно, как и раньше, чувствуя себя полновластной хозяйкой, голос был ровный, невозмутимый:

— Был о. Константин, оставил тебе свою тетрадь, сказал, что это его упражнения...

Тетрадь в черном переплете лежала на его столе, о. Николай, еще не раздеваясь, перелистнул ее.

— А, — произнес про себя догадливо. — Дневник. А не сказал, почему он мне принес его?

— Не знаю. — Потом как будто вспомнила: — Видимо, он думал тебя видеть дома, а застал меня и, чтоб напомнить о себе, оставил вот этот дневник.

О. Николай разделся, жена предупредительно, но не навязчиво взяла его пальто, повесила, достала простыню, чтобы прикрыть от пыли, проверила пуговицы, и, не обнаружив одной, сняла пальто, стала пришивать. О. Николай надежно уселся за столом, облегченно вздохнул: как хорошо, что все хорошо. Спит милый сынишка, рядом любящая жена.

— А как я сегодня устал, — удрученно произнес он.

— А как с налогом? — с умеренной тревогой спросила жена.

— Помогла церковь, суда не будет.

— Хорошо, — произнесла она, как будто подвела под жизненными дрязгами черту.

Пуговица была пришита, с треском оборвана нитка, пальто повешено на прежнее место, жена уселась напротив мужа в ожидании разговора. А разговора все-таки не получалось. Лицо печально затуманивалось, в глазах жены появлялось что-то непонятное, и вдруг она глубоко вздохнула, мужу показалось, что она собиралась что-то сообщить. За ширмой заворочался Андрюша, и, как ему показалось, жена с облегчением ушла туда, избегая какого-то непонятного признания. Его сердце щемяще забилось, предчувствуя что-то. А не жила ли она с пропагандистом как жена с мужем, подумал он, и неужели об этом она хотела сказать и не решалась? Конечно, это была бы для него роковая и страшная тайна, может, спросить самому об этом? — расходилось колотившееся сердце. Эта тайна решала все дальнейшее, всю их совместную жизнь. Господи, неужели это случилось? Господи, как же это? Как тогда выдержать разлуку с сыном? Не перенесу, изнемогаю — лоб его покрылся холодным потом.

Жена долго не возвращалась, вышла оттуда с веселой улыбкой, сказала, что сын видел что-то интересное во сне...

— Так доволен, ты бы посмотрел.

О. Николай поднялся, его немножко качало, шагнул за ширму, и вдруг радостный и пронзительный крик сына:

— Папа! — Он еще не увидел папу и тревожно закричал маме: — Мама, а где же папа? — И тут появился о. Николай, и мама запоздало сказала сыну:

— А вот и папа.

Сынишка безразличными глазами посмотрел вокруг, снова улегся в том же положении, положив так же обе ручки под щечку и так же согнув коленки, жена прикрыла его одеяльцем. Видимо, это он во сне. О. Николай осторожно вышел от сына, уныло уселся за своим столом и решил ни о чем не расспрашивать жену, и она, сначала собравшаяся что-то сказать, теперь тоже решила ничего не говорить, но, немного подумав, заговорила об о. Константине.

— У о. Константина что-то с тещей неладно... А ты бы слышал, что они пережили во время родов жены, ее забирали в психиатрическую больницу.

— Как это? — поразился этой вестью о. Николай.

— А вот так. Попала она в роддом, и у нее сразу потребовали снять крестик, она отказалась. Тогда они придумали посадить ее в сумасшедший дом. Говорят, врач был еврей...

У о. Николая моментально загорелась вся грудь, вспыхнула с небывалой силой:

— Вот оно, отношение... Это же идиотизм, это же самое невероятное преступление: оторвать мать от ребенка и посадить в сумасшедший дом.

Тут все переплеталось у о. Николая: и собственное положение, и судьба жены о. Константина, он был резок в словах, сильно взволновался, не владея собой. Жена, чтобы убавить эти волнения, постаралась перевести разговор на другую тему:

— А пропагандисты волнуются, спешно созывают свой актив.

Она хотела этим отвлечь мужа, забыв о том, что напоминание о пропагандистах вызовет у него неприятные чувства.

О. Николай, вдруг представив страшный образ пропагандиста, который с ней встречался, как-то не думая, решительно спросил:

— А ты жила с ним?

— С кем? — от неожиданности вздрогнула жена, не сразу догадавшись.

Она не спешила признаваться, зная характер своего мужа, зная, чем это может кончиться, но, помимо своей воли, сокрушенно прошептала:

— Да. — И этот еле слышимый ее ответ потряс все существо мужа.

Он перестал представлять, где сейчас находится, кто вокруг него, что с ним делается, ему хотелось бы, чтоб это было во сне, но, к сожалению, это была страшная явь. Жена сидела вся красная, с выпученными глазами, в застывшей мертвенной позе. А у него похолодел затылок, под коленками забились жилы, по спине пробежала горячая волна. Перед собой он ничего не видел, барабанил отчаянно по тетрадке, надсадно повторил:

— Все кончено, все кончено! Страстная Седмица...

Придя немного в себя, но боясь взглянуть на жену, открыл дневник о. Константина.

СУДЬБЫ ПЕРЕПЛЕТАЮТСЯ
(Дневник о. Константина)

Начато 25 января.

Я никогда не стал бы прибегать к дневниковой записи, если бы не переживания последних дней. Эти переживания настолько сокрушили меня, что я вот начинаю делиться ими с бумагой, может быть, в этом как-то и сумею забыться.

С чего начать? Начну с того, что не выходит из моей головы до сих пор.

Я только закончил ремонт храма, до этого храм не только был запущен, но и обезображен, построил возле храма дом для священника и думал по земному забла-

женствовать, но, видно, христианину в наше время не до блаженства.

На меня подали в суд, обвиняя в том, что я незаконным образом приобрел материал, обвинения я легко опроверг теми документами, которые у меня имелись. Я оправдался, суд был закрыт. Казалось бы, неприятности кончились. Но не тут-то было. И хотя бы эти неприятности исходили от неприятелей! Нет, они исходили оттуда, откуда их меньше всего можно было ожидать. На следующий день меня вызвал епископ и голосом, не терпящим возражения, сказал:

— Священник в наши дни — патриот своей страны. Прежде чем что-либо предпринять, ты должен был подумать: в пользу ли это твоей родине? Вы же, — тут он перешел с «ты» на «вы», чтоб подчеркнуть ко мне свое казенное отношение, — допустили политическую ошибку...

Обвинения в политической ошибке я не ожидал, хотя многого наслышался об этом епископе, под началом которого приходится быть. Я от неожиданности вскрикнул:

— Что Вы, Ваше Преосвященство, разве можно так?

Он с важностью усадил меня.

— Сиди. Пока ты, — он снова перешел на «ты», — запрещаешься в служении, а там видно будет.

— За что?

— Об этом не спрашивают. Священник — воин и должен выполнять приказ своего главнокомандующего, иначе за строптивость можете быть наказаны больше.

Я недовольно поморщился и перестал возражать, ибо, во-первых, бесполезно, а во-вторых, могу быть наказан и больше.

К сожалению, смирение в обиходе православных сводят к раболепию, к покорности вышестоящим. Я не из раболепных, и смирение прежде всего понимаю в покорности правде Божьей, но что поделать, если поставлен в бесправное положение? Пришлось взять благословение и удалиться.

Дома меня ожидала жена с радостной вестью: под сердцем ее бился ребенок. Я улыбнулся, поцеловав ее. Она внимательно посмотрела на меня и грустно спросила:

— Ты, кажется, недоволен?

В ее маленьком детском личике выражалась та скорбь, которая нас ожидала, и мне так ее стало жаль.

Я опять хотел ей улыбнуться, но она слишком все понимала:

— Костя, перестань, тут что-то не так. Что ты недоволен тем, что у нас будет ребенок, я в это не верю, но что-то случилось, скажи по правде?

Я рассказал ей обо всем.

— Да, — сжала она губы. — Придется помучиться. Пожалуй, теперь нас отсюда выселят, и придется снова податься к теще.

Мы переселились к теще, жившей на окраине города. Она занимала в общем доме барачного типа хотя большую, но все-таки одну комнату, всю заставленную шкафами, мешочками и прочим барахлом. Это в обычае многих старых женщин, давно овдовевших. Она была не мать, а тетя моей жены. Когда у моей жены (она была в то время трехлетним ребенком) умер ее отец, ее родной матери нечем было кормить троих детей, в колхозе почти ничего не давали (это было перед войной), и теща, то есть ее тетя, взяла ее к себе в город.

Странная была у тещи любовь к моей жене: то она любила ее до беспамятства, то обращалась с ней так жестоко, как не обращаются враги. И вот она выросла кроткой, запуганной, покорной, научившейся выносить всякие трудности. Маленькие глазки ее и сейчас, когда ей около тридцати лет, смотрят по-детски невинно и с какой-то покорной детской грустью. За эти глаза я ее и полюбил. За эту ее дорогую грусть в глазах. Есть девушки, может быть, лучше ее, у нее же был недостаток, бросающийся в глаза, — плоскостопие, она шагает так, как будто тянет ночи, но мне в ней все было мило.

Почти с первого дня нашей жизни с женой у нас начались раздоры с тещей. Если бы не умиротворяющая ласка жены, я не знаю, что бы я делал.

Мне вспоминается тот священник, с которым судилась его жена, когда и меня судили. Он был, видимо, очень порядочный человек (служил в другом городе, не в нашем, жена его из нашего), на суд явился в рясе и с крестом, со всем своим священническим достоинством, был геройски выдержан. Жена его очень нервная, накрашенная, затравленно смотрела на всех, ища в них себе какой-то поддержки. Судья-женщина, нужно отдать ей должное, хотя и молодая, суд вела по всем законам.

— Почему вы хотите развестись с мужем? — спросила она у нее резонно.

— А потому, что он священник, — не задумываясь, ответила та.

— Но вы же знали, за кого выходили?

Она, оставив этот вопрос без ответа, продолжала с циничной откровенностью:

— Я молодая и хочу жить по-человечески. А у него то пост, то среда и пятница, то ему нужно служить...

Священник молчал, только с каждым словом его голова склонялась все ниже и ниже.

— Но вы забываете, что у вас четверо детей. Не совсем чтобы он с вами не жил?

И тут случилось совершенно невероятное, она как-то вскрикнула и как-то неожиданно для себя бестактно выпалила:

— Двое детей — это не его.

После этих слов она так же неожиданно присела, как неожиданно и вскрикнула, видимо, догадалась, что этого нельзя было говорить.

В зале поднялся шум.

Но нужно было видеть того священника: он медленно поднялся, весь бледный, посмотрел на нее испуганно и тут же рухнул обессиленно на пол.

Я никогда этого не забуду! Что было бы делать и мне, если б и моя жена была такая?

Да, жена священника очень много значит. Иногда священников обвиняют, не будем говорить в чем, но, может быть, здесь много виноваты их жены.

Еще было рано, держались утренние сумерки. Теща ходит по комнате и что-то недовольно говорит про себя. Наконец до моего слуха долетает:

— Во лежебоки, теперь будут день и ночь дрыхнуть.

Я осторожно толкнул жену:

— Мама недовольна, спроси, что ей нужно?

— Лежи. Я ее знаю, поворчит, да и замолчит.

Жена повернулась на бок и тут же снова заснула.

Теща, однако, не унималась, она почти закричала:

— Воды хотя бы принесли. Везде я и я. В магазин сходи — я, обед сготовь — я, да зачем вы мне такие нахлебники?

Мне было не до сна, жена, видимо, зная такие сцены и раньше за ней, продолжала спать.

— Марина, наверно, придется встать, — толкнул я ее.

Жена недовольно встала, потягиваясь и хорохорясь, стала одеваться. Теща тут же ходила взад и вперед. Хотя бы вышла куда-то, при ней мне было неловко вставать, и я продолжал лежать, она метнула на меня злобный взгляд:

— Ну что, так и будешь лежать? Теща да жена будут работать?

Я еще не привык к ее скандалам и не знал, что говорить мне, только не понимал: откуда у нее столько злости? Марина робко заметила ей:

— Ну, мама, выйди на минутку.

— А чего я буду выходить? Нужен он больно, чтоб на него смотреть.

Но все-таки вышла, бросив на ходу:

— В колхоз надо идти или на завод. Ведь инженер же, иначе нищими будете.

Я захотел даже что-то сказать, но поморщился и стал натягивать брюки. Нужно было торопиться, ибо теща тут же вошла, рубашку я уже натягивал на себя при ней.

— Ну скажи, почему тебя прогнали из храма? Не умеешь жить с людьми. Тогда и не надо было обзаводиться семьей.

Я по-прежнему не находился, что ей отвечать, мне только досадно было, почему она не может говорить по-че-

ловечески? Впоследствии я ее пойму и буду объяснять ее скандалы тем, что она женщина больная, хотя некоторые говорили, что просто у нее такой характер, такой она человек.

Одевшись, я вышел принести воду, она мне вдогонку крикнула:

— Куда пошел? Думаешь, что буду ждать, когда вы раскачаетесь?

Утро было испорчено. Чтоб как-то рассеяться, я решил прогуляться, предупредив об этом жену:

— Марина, я пошел прогуляться.

— Иди, Костя, — сказала жена, посмотрела на меня примиряющими глазами: — Ты не обращай на нее внимания. Она уж и не такая плохая, к ней нужно только привыкнуть. Ну иди, иди.

Теща закричала на нее:

— Отпускай, потом будешь плакать. Теперь времени у него много, найдет другую.

При всей вздорности тещи она была еще и ревнива. Жена что-то ей возразила, она назвала ее попадьей.

— Вот спасибо, — сказала жена. — Никто чужой так меня не называет, безбожники не называют, а мать верующая называет...

Мне было не по себе; возвратиться, ввязаться в ссору, но что из этого выйдет? И я, буквально стиснув зубы, ушел, еще не зная, куда направиться.

Случайно подойдя к магазину уцененных товаров, решил зайти туда, увидев довольно приличную ширму, притом недорогую, всего восемь рублей стоила, купил ее и довольный побежал домой.

Теща сидела в углу, уткнувшись лицом в руки, жена сидела за столом вся в слезах.

Я остановился перед этой немой картиной, растерянно держа ширму в руках. Теща подскочила ко мне, замахала на меня руками.

— Зачем мне всякий хлам, вон выброшу. Барин какой-то. Голодранец. Зачем ты мне разбиваешь семью? Этот поток ее бранных слов летел, как увесистые камни хулиганов.

Выкричавшись, она вышла.

Я поставил ширму у нашей кровати и подошел к жене.

— Марина, что тут у вас произошло?

— Ну разве ты не знаешь ее?

— Да, я именно ее не знаю. Ведь когда мы венчались с тобой, она говорила, что очень довольна мной, даже не знает, где меня посадить от радости... Она эгоистка страшная, вот в чем дело.

Жена вытерла слезы и с незначительным укором обратилась ко мне:

— Ну зачем ты это купил?

— Ну как же? А знаешь, сколько я отдал, всего восемь рублей, ведь это почти даром.

Я развернул ширму. Ширма была голубая, цвет этот любили я и жена, глаза у нее просияли, она захотела рассмотреть ширму как следует, как неожиданно вошла теща и выхватила ширму из моих рук.

— Вон из моей комнаты.

Я, сдерживаясь, сказал:

— Ну что ж, будете так обращаться, уйдем.

Она опустилась на колени и перекрестилась широким крестом:

— Идите, я хотя вздохну свободно.

Ширму она вынесла в коридор, я, опешив, стоял, ничего не понимая.

Так началась наша жизнь у тещи.

Я стал вставать рано и уходить на весь день, конечно, заранее предупредив жену.

Сначала я думал, что таким образом избавлюсь от недоразумений, в самом деле, теща со мной перестала ругаться, жена тоже ничего не говорила, только почему-то грустно вздыхала, казалось бы, чего-то достиг, но это было не так. У жены с тещей происходили ежедневные скандалы, даже, как выяснилось потом, теща заставляла жену сделать аборт. Но когда я, казалось бы, успокоился, найдя себе занятие, ходил и обслуживал нелегально верующих, жена мне сказала с досадой:

— Ну где ты все пропадаешь, разве ты не понимаешь, что мне без тебя тяжело? — И в первый раз по-настоящему заплакала.

И я в этих ее прорвавшихся слезах понял, сколько она перенесла неизвестных мне мук. Мне стало жаль ее, я ее обнял и поцеловал, она еще больше расплакалась.

— Грустная наша жизнь. Ну в самом деле, что мы будем делать, как жить, а ведь скоро еще появится человек? Я об этом думаю со страхом.

— Марина, ну разве я тебе ничего не приношу, ведь мне сколько-то дают верующие.

— Нет, Костя, мне такая жизнь не нравится, не могу я жить от подачек.

— Ну а что же мне, по-твоему, делать?

— Не знаю, — что-то от меня тая, сказала она. — Трудно мне. Да я и скучаю, когда тебя нет. А и придешь ты, мало со мной разговариваешь. Ну разве ты мне рассказываешь, где ты бываешь, что делаешь?

Я, конечно, ей кое о чем рассказывал, но все это скупо и мало, так что она, оказывается, ничего не знает. Я понял, что у меня нормальная трудовая жизнь, более того, я стал многое видеть и понимать, а жене оставалось выслушивать брань ее неродной матери, моей тещи.

С работы я ее снял сразу же, как стал служить священником. Потому что она работала на вредном производстве, дело имела со ртутью, оттого и выглядела бледно и болезненно. Она уже была готова снова пойти на ту же работу, но приближалось время родов. Иногда в грустные минуты она раздраженно говорила:

— Вот рожу какого-то идиота. — У нее стали появляться резкие выражения, она все более становилась раздражительной.

Чтобы чем-то утешить ее, я стал чаще оставаться дома, записывать свои впечатления о моих похождениях, вечером я с ней старался выходить на прогулку. На прогулку и с прогулки нас провожала и встречала теща, постоянно ворча. Я ей как-то заметил, указав на свою жену:

— Вы бы хотя пощадили ее, она на девятом месяце беременности.

— Это ты щади, я-то щажу. Другую завел, знаю я тебя... — ни с того ни с сего сказала она.

— Что вы говорите, одумайтесь.

— А что надо, то и говорю. Дурочкой будет, если тебя не бросит.

Я остолбенел от этого, сказано было обнаженно и с цинизмом.

— Как вам не стыдно! — повысил я голос.

— Тише кричи, — уставилась она на меня злобно, — все слышат.

Я внимательно вгляделся в нее, глаза злые, с опущенными веками, зубы почернелые, руки тряслись, сама маленькая, одутловатая.

— Ты посмотри, до чего ты мою дочь довел! — кричала она.

— Мама, да замолчи ты, — прервала ее Марина.

— Не замолчу, еще пойду и заявлю...

— Ну и идите, буду знать тогда, кто вы есть, — упрекнул я ее.

— Меня все знают, кто я такая, а вот кто ты? Идиот какой-то навязался на мою шею.

Она вышла из комнаты, я предложил Марине:

— Давай отгородимся от нее ширмой.

— Городись, но думаю, что из этого ничего не выйдет.

На следующий день, когда теща куда-то надолго ушла, я переставил кое-какие вещи, передвинул шкафы, отгородился ширмой, поставив по сторонам ее шкафы с книгами, получилось как бы две комнаты. Теще мы оставили более светлую, себе взяли несколько мрачную, но этот образовавшийся сумрак даже навевал какую-то успокоенность и расположенность к тихой жизни; Марина просияла:

— А в самом деле хорошо.

Я вдохновился от ее слов и сказал, что в дальнейшем я сделаю настоящие перегородки, не случайно же у меня профессия инженера.

— Делай, только вот не знаю, что будет, когда она придет.

Мы зажгли настольную лампу и сидели в своей комнате, наслаждаясь беседой. Я рассказал жене в подробностях, что я делал, как я попал в нормальную колею. Сначала я пошел в свой храм и стал помогать вынимать частички из просфорок, это мне удалось благодаря тому, что в тот день служил о. Гавриил, настоятель, но на следующий день он заболел. Пришел о. Василий, сначала он взглянул на меня с неудовольствием, ничего не сказав мне, стал вынимать частички сам, потом заметил, что здесь нечего делать одному. Я, перестав вынимать частички, начал читать поминовения о здравии и за упокой, он, крякнув, рассерженно сказал:

— Знаешь что, надо было уметь жить. Не смог, пеняй на себя. А тебе у нас нечего делать.

— Я ведь бесплатно.

Он снисходительно улыбнулся и переменил тон:

— Ну как знаешь, бесплатно — другое дело.

Его глаза забегали несколько виновато, он отошел к престолу и продолжал службу, по обычаю крякая.

— Ну и тянут там, — заметил по поводу певчих и пошел к ним.

Несколько дней прошло нормально, я приходил и читал записки.

Признаться, теперь, все делая бесплатно, я с большим усердием все делал, чем тогда, когда служил. Каждую частичку вынимал с любовью и верой, каждую записку прочитывал с особым молитвенным настроением.

Но скоро это кончилось.

Однажды, когда служба уже отошла и мы вместе с о. Василием вышли из алтаря, ко мне, как назло, многие стали подходить под благословение, игнорируя о. Василия, советовались со мной, он метеором убежал от меня. Дрогнуло мое сердце: не зависть ли ко мне погнала его? И я решил про себя, что больше не буду выходить из алтаря вместе с ним и буду стараться, чтоб ко мне немногие подходили под благословение.

О. Василий дожидался меня в священнической комнате, уже одевшись, нетерпеливо стоял у стола. Староста и его помощница чем-то были заняты своим.

— Ну что, о. Константин, наговорился, отвел душеньку? — язвительно бросил он мне упрек. — Если ты так будешь делать, стараться искать контакт с народом, нас всех прогонят отсюда и закроют храм.

Помощница старосты живо отреагировала:

— Это почему же так?

— А вот потому, — сердито, без объяснений отрезал о. Василий. — С завтрашнего дня чтоб ноги здесь не было о. Константина.

Громко хлопнув дверью, вышел.

Мы остались одни: я, староста и его помощница. Да, грустно и обидно. Хорошо было бы, издевались враги, а то свои ведь.

— Вы успокойтесь, дорогой о. Константин, — заворковал Иван Романович, — не оставим вас. Анастасия Петровна, — обратился он к своей помощнице, — не найдется там чего-то?

— Найдется, — охотно согласилась она, — Пожалуйста, — достала около пятидесяти рублей.

В первый раз я получил, не заработав. Это мне показалось неловким, щеки мои загорелись, и я почувствовал себя таким маленьким и обиженным, хотя тем не менее тронула меня их заботливость обо мне.

— Ничего, и еще придумаем что-либо, вы позванивайте нам, — напутствовал меня староста на прощанье.

Но все-таки тот раз я в подавленном настроении ушел от них, я трезво взвешивал и не мог придумать, что теперь мне делать.

Выйдя из храма, я тянулся очень медленно и не видел ничего перед собой.

— О Господи, да что вы это, не видите, что ли? — кто-то вскрикнул.

Я натолкнулся на сгорбленную старушку. Она, протерев свои слезящиеся глаза и разглядев меня как следует, стала извиняться.

— Простите, батюшка, виновата, не заметила, — принимала она на себя вину.

— Нет, это вы простите, — в свою очередь извинялся я.

Мы не заметили, как остановились, старуха заговорила со мной уважительным голосом:

— Батюшка, а мне с вами давно хотелось поговорить. Поскольку вы не заняты по службе в храме, не смогли бы вы пособоровать и причастить одну старушку? Правда, платы там не будет, она бедна и одинока, всеми покинута...

Мы отошли в сторону, я объяснил ей свое положение, она сокрушенно покачала головой.

— Кто же это вам так подстроил? А я думала, у вас все в порядке, часто вас вижу здесь.

— Я просто приходил молиться, а теперь и этого лишили.

Она догадливо подняла глаза:

— Кто же это, не о. Василий?

Мне было неловко говорить о собрате, но она все сама понимала.

— Вот скажи-ка ты, все ему мало. Дом какой отгрохал, и все мало. Вот уже Господь наказал его, ведь по-козлиному блеет, а не сочувствует другому.

Она сделала обеспокоенный вид.

— А нельзя ли здесь все-таки что-то сделать?

— Не знаю, — и стал прощаться с ней.

Она все качала мне вслед головой, ковыляя вперед, и вдруг остановилась, крикнула мне:

— Постойте, батюшка.

Я остановился.

— Я поговорю с настоятелем, благословляете?

— К сожалению, настоятель заболел.

— Вишь как, — заохала она. — Не везет так уж не везет. — И, о чем-то упорно думая, ушла.

Потом снова окликнула меня:

— Я съезжу к настоятелю домой, надо же вам с чего-то жить?

— Как хотите.

Но меня тут осенила внезапно мысль: пойду-ка я, чем чего-то добиваться, навещать всех больных и престарелых. Эта мысль не только мне понравилась, но она умилила меня и прибавила мне сил. И я, тут же вспомнив об одной слепой и скорченной старушке, не раздумывая, направился к ней. Я ее как-то причащал по просьбе ее соседки. Сын ей отвел сырой угол в своем доме над рекой, ни разу ее не навестил, она смирилась со своей долей и не роптала на судьбу, и когда я сказал ей, что же это ваш сын так жестоко вас забыл, она вступилась за него.

— Не говорите, батюшка, у него дети, забот — полон рот, пусть хоть живут сами, а мне много ли нужно? Вот водицы иногда хочется испить, а исть, признаться, и не хочется, — прошамкала она эти слова, а я почувствовал в них ее скрытую боль, от растерянности не знал, что ей сказать, то ли пытаться ее утешить, то ли ругать ее сына.

И вот я к ней постучался, ответа не послышалось. Не умерла ли? — мелькнула мысль, и вижу, как незаметно дверь стала приоткрываться и настолько раскрылась, что я заметил длинную палку, открывающую дверь, раздался замогильный голос:

— Кто там?

— Это я, — тихо сказал я, не решаясь входить.

— Кто там? — более громко повторила несчастная, видимо, не расслышав моих слов.

Я раскрыл дверь настолько, чтобы мне можно было свободно пройти, старуха на ощупь поставила палку рядом со своей кроватью.

Она как-то стала всматриваться своими слепыми глазами и вслушиваться, высвобождаясь из тряпья, кто к ней пришел. Лучики-морщинки разбежались около провалившихся глаз, какая-то заиграла улыбка на мертвом лице, видимо, к ней давно никто не приходил, и она так обрадовалась моему приходу, узнавающе вскрикнула:

— Да кого же Бог мне прислал, это вы, батюшка? Недаром я такой хороший сон сегодня видела. Пора на покой, причаститься бы. Я уже передавала, чтоб попро-

сили священника, да сказали, кто без денег пойдет. А тут вот вы и пришли, слава Те, Господи.

Она хотела перекреститься, но руку до конца не могла поднять.

Я долго пробыл у нее, у меня у ее постели созрело твердое решение — ходить и причащать всех беспомощных и покинутых.

Выйдя от старухи, я позвонил старосте. К счастью, он был еще в храме, хотя вечерняя служба давно отошла.

— Мне нужно к вам сию минуту, — сказал я.

— Приезжайте.

Приехав, я объяснил ему, в чем дело.

— Пожалуйста, дорогой, — согласился он.

Не задумываясь о том, можно ли так поступать, узнав — могут наказать, я взял лишнюю Дарохранительницу, положил в нее Дары и отнес своим хорошим знакомым.

— Ты не можешь себе представить, Мариночка, каких несчастных я видел, какому горю смотрел в лицо и как эти покинутые всеми люди радовались моему приходу. Вот пусть после этого говорят о бесполезности Церкви в наше время, я ожил сам и других оживлял.

Жена была растрогана моим рассказом.

— Я понимаю тебя, — шептала она мне сочувственно, — прости меня, что я тебя упрекала...

В эту минуту нашей высокой настроенности за дверью послышались знакомые шаги.

— Как она сейчас посмотрит на все? — переглянулись мы с женой.

Мы уже чувствовали, что теща вошла, мы еще боялись подать свой голос. Мы не слышали ее дыхания, а обычно с дороги она тяжело дышала. И нам показалось, что ошиблись мы, хотели выглянуть из-за ширмы, как все наши перегородки попадали с грохотом.

— Что ты, идиотина этакая, делаешь? Кто тебе дал право распоряжаться в моем доме? Что ты нагородил тут? — Она стояла перед нами раскраснелая и рассерженная, путаясь в свернутых занавесках. Я, привыкший всегда возражать, тут не нашелся, что сказать. Жена мол-

чала, белая как мел. Ей, видимо, стало жаль меня и обидно за маму.

Ночью с женой стало плохо. Началось еще с вечера, но лишь к утру мне она осторожно сказала:

— Костя, проснись, я боюсь, не роды ли преждевременные? Мне плохо...

Я засуетился, услышав мой стук, теща закричала:

— И спать не дадут как следует. Всю ночь чего-то ворочались.

Я, насколько можно ласково, объяснил:

— С Мариной плохо.

— Конечно, будет плохо. Такой муж до чего хочешь доведет.

Но она тотчас встала, отдуваясь, подошла к Марине.

— Ну что?

Они обе зашептались, я расслышал только укоряющий голос тещи:

— Я тебе говорила, делай... Не послушалась, вот теперь помучаешься.

Я пошел за такси, чтоб отправить жену в больницу, теща мне вослед крикнула:

— Не смей никуда ходить, ни за машиной, ни за врачами, сами все сделаем.

Она вообще подозрительно относилась к врачам, самоуверенно считала, что она может лучше сделать, врачи только приносят вред.

Машину я поймал попутную, когда приехал, жена уже сидела бледная и измученная.

Она как-то испуганно ойкнула и покорно пошла за мной.

— Не ходи, я тебе говорю, — кричала теща моей жене, но в ее крике уже не было озлобленности, на глаза ее навертывались непрошеные слезы, ей, видно, становилось жаль нородной дочери.

В больницу устроить не так-то легко было, в той, которая находилась недалеко от нас, не было места, пришлось везти за город.

Мрачной и унылой была жена, когда я провожал ее в больницу, на прощанье посмотрела так, как будто уходит на казнь.

— Ну, ну, — подтолкнула ее медсестра. — Поскорее, гражданочка, наговоритесь потом, нам некогда с вами возиться.

Сразу же начиналось какое-то раздражение.

Впоследствии жена объяснит, что всему задал тон принимающий врач, но об это потом, ибо тут целая история.

Когда я проводил жену, ее взгляд, болезненно острый и пронзительный, застрял в моем сердце, разрывал его. Мне вспомнились слова Апостола: «Жаль мне вас, ибо вы будете иметь скорбь по плоти...» Я еще не испытывал, что так можно скучать, переживать, волноваться. Разные мысли приходили в голову. Весь следующий день я пробродил по городу, не обедая в тот день и ничего не видя перед собой. Когда возвратился домой, теща меня встретила бранью. Я ей ничего не отвечал, да и не слушал, она, долго побранившись в одиночку, стала плакать. Я лежал, уткнувшись в подушку.

А жена в это время восходила на Голгофу. Голгофа началась, как только врач (женщина) заметила у нее крестик. Врач была худощавая желчная еврейка.

Сделав удивленные и презрительные глаза, потянулась своей рукой к крестику. Жена резко оттолкнула ее и так же резко заметила:

— Крестик — это моя святыня, и вы не имеете права своими руками касаться ее.

Жене хотелось что-то многое сказать, но у нее не хватило слов, и она сильно волновалась. И когда поняла, что она все время повторяется, досадливо заплакала.

Врач смотрела на нее пристально, потом злорадно улыбнулась. Это жене показалось обидным, она сразу потребовала, чтоб ее отпустили... Врач поднялась и, ничего не говоря, куда-то ушла. Через некоторое время пришла с другим врачом. Тот был мужчина, но тоже еврей, более вежливый и внимательный, но несколько двусмысленно спросил:

— Это у вас часто бывает?

— Что — часто?

— Да вот это самое, — и посмотрел на принимающего врача.

Он старался быть деликатным.

Жена догадалась, что ее принимают за ненормальную, и по-настоящему разрыдалась от этой обиды, и этот ее плач решил все дальнейшее.

После родов жену поместили в психиатрическое отделение. Об этом узнала теща раньше меня, взбешенно прибежала ко мне.

— Все выброшу теперь. Смотри, что ты сделал, в сумасшедший дом запрятал жену.

— Как? — вздрогнул я.

— А вот так, — развела она руками.

Я тотчас уехал в роддом, желая все самому выяснить, никак не веря в такой оборот. У меня все кипело, я догадывался об истинной причине всего этого.

Об этом можно было догадаться еще тогда, когда ее принимали, — рассуждал я.

Мне вспомнилось, как рассказывали семинаристы, что одного из них при прохождении военной комиссии отправили в психиатрическое отде-ление, хотя он был совершенно здоров, никаких признаков ненормальности никогда не замечалось, только он был смел и прямолинеен в своих религиозных убеждениях. Оттуда вышел он в самом деле ненормальным. Когда его навещали семинаристы, врач им прямо и нагло заявлял:

— Вы все ненормальны, вас всех надо посадить сюда.

Один из них не выдержал и бросил, как плевок, ему в лицо такие слова:

— Так всегда говорят ненормальные. Они себя только считают нормальными, но это и есть настоящий признак ненормальности.

Врач растерялся от неожиданности и не нашелся, что возразить, только у всех спрашивал фамилию семинариста.

Семинаристы сразу ушли, но семинариста, сказавшего так резко, все-таки отыскали и посадили в психиатри-

ческую больницу. С крепкой психикой был семинарист, выдержал весь «курс лечения», найдя в себе силу воли не препираться с врачами, и вышел, к великому удивлению всех врачей и семинаристов, вполне здоровым, так даже психиатры засвидетельствовали.

Вспомнились мне сейчас и рассказы заключенных, сидевших во времена Сталина, как тогда самых идейных и смелых сажали в сумасшедший дом, это была самая страшная пытка, чего боялись самые смелые заключенные.

Неужели и с моей женой так поступали?

На этот вопрос мне было страшно ответить, я боялся, что сам в самом деле сойду с ума. Мне так и виделась моя кроткая жена, которую мучают палачи-врачи.

За что? Что они делают, и главное, в тот момент, когда она только родила, когда ее нужно поддержать?

Я остановился посреди улицы, не зная, куда мне идти.

— Гражданин, — кто-то крикнул мне. — Отойдите в сторону, вас может сшибить машина.

Я, услышав этот голос, повернулся в ту сторону, откуда слышался крик, но я свернул к дереву в конце улицы и остановился под ним. Что делать, что делать? — задавал я себе этот мучительный вопрос. Идти в таком состоянии, чтоб разговаривать с врачом, нельзя, чего доброго, еще и меня посадят в психиатрическое отделение.

Вполне возможно, что тот ужас я в то время себе напридумывал, но что поделаешь, бывают моменты в нашей жизни, когда нервы напрягаются до предела.

Ко мне подошел молодой человек лет двадцати пяти, довольно спокойный и с открытым лицом, отпустивший жидкую бородку.

— Простите меня, вы батюшка? Я вижу, что вы чем-то расстроены?

«Откуда этот добрый человек?» — просиял я.

Мы разговорились с ним. Оказалось, что это бывший студент Московского университета с юридического факультета, а ныне юрист. У него, когда он учился в университете, произошел такой случай. Кто-то донес, что он

прислуживает в храме, даже зафотографировал его в тот момент. Его вызвали в деканат, там был представитель от органов. Сначала пытались его уговаривать, что никакого Бога нет, но, когда увидели, что этим ничего не добиваются, стали говорить, что, веруя в Бога, он работает на руку врагам, а когда возразил, сославшись на советские законы, они ему сказали, что он просто лицемер, хамелеон. Как можно в одном портфеле держать книги по марксизму и Библию? Как он будет сдавать на экзаменах науки, отвергающие Бога, и в то же время веровать? Он долго не думал, поставил им вопрос:

— А как по-вашему, Ленин, когда сдавал закон Божий на «пять» и был атеист, тоже лицемер?

Этот довод был как выстрел в них, они прекратили споры и, еле сдерживая себя от ярости, с миром отпустили его. Долго он находился на положении, когда неизвестно было, разрешат ли ему продолжать учение. Окольным путем он узнал, что якобы отчислен из университета. Наконец он решил пойти к ректору. Ректор принял его вежливо и спросил в третьем лице:

— А он посещает лекции?

— Да.

— А верует ли сейчас в Бога?

На что он ответил также:

— Да.

Тогда ректор, ничего не говоря более, протянул ему руку на прощанье:

— Ну, желаю успеха.

И непонятно было, к чему это относится, не то вообще с ним прощается, не то желает ему успеха в вере. Есть сведения, что ректор сам верующий.

Студент остался в институте.

Впоследствии его все-таки исключили за то, что он из одного учреждения тайком взял Библию, видя, как над этой книгой там глумятся, но, будучи исключенным, он не растерялся и поступил в другом городе в экстернатуру, и когда его товарищам оставалось еще год учиться, он уже имел на руках диплом.

Этот рассказ и сам вид молодого человека, уравновешенного, энергичного, вселили в меня бодрость. Я, в свою очередь, поведал ему о своем горе. Он мне поведал еще о том, как в одной газете писали о талантливом студенте, которого оклеветал директор, и студента отправили в психиатрическое отделение. Он мне даже дал вырезку из этой газеты. Оказалось, это газета «Известия» от 7 декабря 1963 года, статья называется «Жрецы Минервы». Студент-юрист мне посоветовал, когда узнал, что у меня есть знакомый врач-психиатр, сходить к нему. Я решил так и сделать.

Мы простились с молодым человеком, и я, несколько успокоившись, направился к знакомому врачу. Ее — это была женщина — давно уже я не видел, познакомился я с ней в одном храме.

Но тут меня ожидало новое горе с самим врачом. И как ни парадоксально, горе подействовало на меня успокоительно, уже после всего этого к вечеру я пришел в роддом совершенно спокойным и разговор там вел, на мой взгляд, тактично и сдержанно.

У врача было такое горе. Ее муж, историк-преподаватель, донес на нее, что она верующая, выкрал у нее дневник и отнес в редакцию газеты. Не проверив материала, опубликовали в газете заметку про нее, назвав шарлатанкой, она была ведущим врачом. После заметки ее понизили в должности.

Но это все полбеды. С ней стали работать, подсылать к ней всяких провокаторов, ко всему придираться. Наконец, по суду (подал муж) ее лишили материнства, с такими, мол, убеждениями, как у нее, она не может воспитывать свою дочь, дочери было десять лет. На этом настаивал отец.

После лишения ее материнства ей почему-то показались подозрительными отношения между ним и дочерью, она стала наблюдать за ними, и что оказалось: отец жил с дочерью, она накрыла их в самый момент, ворвалась в комнату, в бешенстве била мужа всем, что попадалось под руку, и как-то так ударила, что вышибла у него

глаз, и тут же пожаловалась на него в партком, его вызвали туда, о чем говорили, осталось ей неизвестным.

Несколько времени продолжался мир исподлобья, но закончилось тем, что ему и дочери предоставили новую квартиру, а ее оставили в старой. Был суд. На суде было сказано, что такая мать, как она, не может воспитывать ребенка. Свидетели с его стороны показали, что ничего подобного, в чем его обвиняет жена, за ним не наблюдалось, донесла, мол, по злобе. Он ее великодушно простил. И вот осталась она теперь одна в четырех стенах комнаты в отчаянном положении.

Моему приходу она страшно обрадовалась и, как говорится, не переводя дыхания, рассказала эту жуткую историю. Я слушал ее заинтересованно, я понимал, о чем она говорила. Окончив рассказ, она уставилась на меня пытливыми глазами, они были у нее такие маленькие, как у моей жены, только зрачки более острые и живые. Она, видимо, ждала, что я ей скажу что-то в утешение, но я ей начал рассказывать о своем горе. Когда уже начал, вспомнил, что не нужно было этого делать, извинился за свою бестактность, что обременяю ее своим горем, она, глубоко вздохнув, сказала: «Продолжайте». Перед собой я увидел спокойного, выдержанного психиатра.

— Вот что, дорогой о. Константин, — сказала она, выслушав меня, — что я вам скажу. К сожалению, такие случаи отклонения во время родов бывают. Правда, тут должно быть предрасположение к этому, вы за ней ничего не наблюдали?

— Абсолютно ничего, Марья Ефимовна. Она вполне здоровая, по-моему, с более крепкой психикой, чем я. — Немного помолчав, добавил: — По-моему, они все-таки спровоцировали сумасшествие. Боже, что они делают? — вскрикнул я, схватившись за голову.

В добрых кротких глазах Марьи Ефимовны я снова увидел печальные глаза моей жены.

Марья Ефимовна, мне показалось, волновалась, она понимала, в чем дело, но спокойным голосом заключила:

— Я не думаю, чтоб врач пошел на это... Врачебная этика не позволит, да и какое ему дело до религии?

— Что вы говорите, Марья Ефимовна, ведь такие случаи бывают, ведь есть они! — закричал в отчаянии я.

Она долго молчала, потом, опустив голову, призналась:

— Да, есть...

На ее страдальческом лице я прочел, что ей больно сознавать это, она не может этого понять и допустить.

Да, многое мы не можем понять и допустить, но вопреки нашему пониманию все бывает.

От нее в роддом я ушел успокоенным, я был уверен, что смогу вести нормальный разговор.

Я постучал в ту дверь, в которую стучала моя жена при приеме. Мне открыла незнакомая женщина и шепотком предупредила:

— Врач занят, немного подождите.

В ожидании, когда меня вызовут, я присел в прихожей к столу. Прихожая была пуста. Справа от меня висело расписание дней и часов посещения. Параллельно моему столу был другой стол, вскоре за ним уселись молодые люди, видимо, муж и жена, разговор между ними и мной завязался сразу.

— А вы к кому, дедушка? — задали они мне вопрос и смотрели неуверенно: в самом ли деле я дедушка?

Я всегда отличался моложавостью, и борода меня не особенно старила, тем более что росла она у меня аккуратно, не расползалась беспорядочно по щекам.

Я улыбнулся им:

— А разве я так уж на дедушку и похож?

Женщина застеснялась и сказала:

— Нисколечко.

— А к кому же вы, если не секрет? — спросил мужчина, выше ее ростом, с простодушным видом.

— К жене, — ответил я.

— Она рожает? — встревоженно спросила женщина.

— Уже родила, но...

— А что означает это «но»? — любопытствовала женщина, вдруг испуганно глянув: — Неудачные роды?

Пришлось раскрыть секрет.

— Я священник, и вот некоторое недоразумение.

Мужчина и женщина облегченно вздохнули. При дальнейшем разговоре выяснилось, что женщина боялась рожать, сегодня, почувствовав какую-то боль, потащила мужа сюда.

— Успокойтесь, — как старший, улыбнулся одобрительно я, — теперь рожать нетрудно, ведь почти не бывает несчастных случаев.

— Да, не бывает... — возразила недоверчиво женщина, — в нашем доме одна умерла от родов, другая заболела гипертонией.

Я, чтоб успокоить их, невозмутимо продолжал:

— Это единичные случаи. Роды всегда благоприятны для организма, чего нельзя сказать про аборты, они нарушают весь процесс в организме.

— И все-таки аборты менее страшно, чем рожать, — снова возразила боязливая женщина.

Вмешался ее муж, видимо, он очень хотел ребенка.

— Трусиха ты, Люся, а я хочу ребенка, понимаешь ты?

Она стыдливо потерлась о его плечо головой.

Вошла женщина, которая открыла мне, захлопнув за собой дверь.

— Вам зачем? — обратилась она ко мне.

— Мне нужно поговорить с врачом.

— А что, неудачные роды? — в вопросе послышался какой-то вызов.

— Мне нужно поговорить с врачом, понимаете вы меня? — повысил я голос.

— Но по какому поводу, что я доложу врачу? — начиналось препирательство.

— Скажите, что муж Забельской, роженицы, хочет говорить с врачом, разве этого не достаточно?

Она, видимо, сообразила, в чем дело, повернулась своей большой тушей, очень уж растолстелая, вскоре меня позвали к врачу.

При моем входе врач, не взглянув, продолжала писать. Помогающая ей сестра с любопытством смотрела

то на меня, то на врача, видимо, она была в курсе дела. Я терпеливо выжидал. Врач, из-под руки взглянув на меня, качнула мне головой:

— Садитесь.

Она сложила свои бумаги, отодвинула их медленно от себя, этими замедленными движениями принуждая себя к выдержке, но это ей не удалось, она заметно заволновалась. Ноздри ее вздрагивали, как крылья, она посапывала.

— Что вы хотели, как ваша фамилия?

Я, назвав свою фамилию, кратко, как мне казалось, вполне понятно изложил свою просьбу.

— А, — как будто вспоминая между прочим, промычала она: — Супруга ваша с неуравновешенной психикой.

— Как так? — не повышая голоса, внушительно продолжал я. — Никогда за ней ничего подобного не наблюдалось.

Врач не выдержала своей роли, начала говорить нервно и сбивчиво:

— Я вам скажу откровенно. Не только она больная, но и вы больны. В наше время могут веровать только ненормальные люди.

— И это вы говорите серьезно? — я пристально посмотрел на врача.

Она не выдержала моего настойчивого взгляда, забегала своими виноватыми глазами.

— Да, серьезно, — отвечала она.

Я опять посмотрел на нее в упор.

— Что вы на меня так смотрите? — начала отступать она. — Ваша жена находится в психиатрической больнице № 10 на улице Пирогова. Ребенок ваш находится у нас. Через определенное время вы можете его взять. Для вас ясно?

— Для меня, пожалуй, ясно, но мне хотелось бы, чтоб и для вас стало ясно.

— Гражданин, можете уходить, мне некогда, — заюлила пугливо она, я понял, что такие бывают смелы до времени.

Я посмотрел на нее еще раз более снисходительно и решил, что здесь мне больше нечего делать; когда уже закрывал дверь, до слуха моего долетела неприкрытая брань врача:

— У, назойливый поп! Как я их, этих попов, ненавижу!

Я захотел обернуться и посмотреть ей в глаза, чтобы понять, откуда такая ненависть, она приказала своей толстухе плотнее захлопнуть за мной дверь.

Мне оставалось теперь единственное — ехать в психиатрическую больницу.

Было уже сравнительно поздно, улицы закрывались непроницаемыми сумерками, слабый свет лампочек не освещал как следует дорогу.

В психиатрическую больницу из-за позднего времени попасть не удалось, и я с горьким чувством возвращался домой, так ничего и не узнав как следует.

Теща была в большом волнении.

— Ну что? — тревожно спросила она.

Глаза у нее были красные, видимо, она плакала. Я старался ей все дружески объяснить, забыв ее злобное отношение ко мне, она слушала меня недоверчиво, и, когда я кончил рассказ, она, засопев, ушла от меня. Через некоторое время послышалось ее всхлипывание.

Что делать, как поступить? Мне становилось жаль тещу, она, может быть, сама по себе неплохой человек, не может только совладать со своим характером.

Мне было грустно оттого, что я и сам не могу людям дать то, что подобало бы священнику, и мне захотелось заплакать подобно теще, но как-то взор мой упал на икону Христа в терновом венце, я вгляделся в мужественные спокойные глаза божественного Страдальца и сразу почувствовал облегчение: таков путь земной, совершается восхождение на Голгофу, только потом будет воскресение; утихли мои волнения, успокоилось сердце. Я сознавал свое горе, но не чувствовал его огромной тяжести. Этот момент я потом часто вспоминал в трудные минуты своей жизни.

Всю ночь мне не спалось, встал рано, но теща уже была на ногах. «Что вы, не ложились?» — спросил я, она мне не ответила. Я не понимал до конца причину ее обиды, но где-то стал догадываться: я как камень, брошенный в ее воду. Она жила своим миром, а я нарушил этот мир, и потому она протестует, считает меня своим врагом. С того времени она надолго прекратила всякие разговоры со мной, а свою дочь, мою супругу, полюбила больше прежнего. Прежде чем я что-то узнавал, она уже все знала, даже сумела навестить мою жену в психиатрической больнице, это она мне сама сказала при добром расположении духа.

В этот день мне везло на встречи. Первая состоялась на улице, остановил меня человек средних лет. Как пощечину, ни с того ни с сего влепил такой вопрос:

— Что вы так заросли? Ведь вы молодой человек, на стилягу вроде не похожи?

Я хотел сначала отделаться встречным вопросом.

— Почему это вас так интересует?

Потом шуткой:

— Чтоб не быть на всех похожим, только на Фиделя Кастро.

Но не шутя задал этот вопрос встретившийся человек, и я это понял и ответил ему прямо:

— Я — священник.

— И веруете в Бога? — сразу поставил он мне вопрос.

— Конечно. — Хотел было доказывать существование Бога, но он меня хладнокровно остановил:

— Вы мне этого не говорите. Я вот хочу что спросить. Почему вы обманываете, грабите народ?

Я хотел растолковать ему, что он не знает церковной жизни, что священники теперь получают оклад, а верующие приносят сами, кто сколько может...

И нужно было видеть, как он моментально перекосился:

— Что вы выкручиваетесь? По правде сказать, я не знаю, верую я в Бога или нет, но вот мне как-то пришось отпевать свою мать. Так сколько ж с меня взяли? Бук-

вально за все нужно было заплатить, даже за электросвет, который зажгли...

Этим он меня здорово прижал, тут была горькая правда и горькая неправда. Я продолжал выкручиваться, как он выразился.

— А вы знаете, какой налог с нас берут? Приходит фининспектор и начинает считать: сколько-то было отпеваний, сколько-то сорокоустов, и попробуй ему доказать, что не брал ничего... и приходится требовать у верующих...

Мои доводы были для него неубедительны, наконец он беззлобно улыбнулся и дружески сказал на прощанье:

— Ну что ж, батя, живите. Всяк живет, как может, такой век, — заключил он и пошел от меня.

Признаться, он меня сразил, крепко я задумался над его словами, вывел меня из задумчивости еще не совсем пожилой человек, нескладно сложенный, шел как-то животом вперед, а ноги вразвалку, в лице же было что-то обаятельное, добродушное, и глаза умные. Несколько он напоминал еврея, но непонятно, отчего он христианин такой искренний. Он дотронулся рукой до моего плеча и деликатно спросил:

— Послушайте, вы, наверно, священник?

Не успел я ему ответить, как он протянул руку и сказал просто:

— Будемте знакомы! — И мы разговорились. Говорил больше он, я слушал.

Он из интеллигентной семьи, отец — еврей, мать — русская, артистка, жива и поныне, он изредка ее навещает, она принимает его в прихожей, спрашивает сухо про здоровье и, ни о чем больше не поговорив, как с чужим человеком расстается. Он приучил себя к одиночеству и не горюет об этом.

Он был хорошо знаком с обновленческим митрополитом, одно время сидел в заключении. Профессия у него — учитель, двадцать пять лет проработал в школе. Както дернуло его написать отповедь на антирелигиозную брошюру, всем понравилась, читал даже директор шко-

лы, хвалил, но, когда попала она в редакцию газеты «Комсомольская правда» и оттуда последовал сигнал, директор вызвал его и сказал:

— Больше держать вас не могу, уходите по собственному желанию. Если не сейчас, то после вас все равно прогонят, но вы подмочите мою репутацию.

Подумал он, почесал затылок и подал заявление об уходе, и теперь живет как птица небесная: ни пенсии, ни жалованья, он переключился исключительно на писание религиозных статей. Я догадался, с кем имею дело, его статей нельзя не знать, их читает вся Россия, а может быть, и заграница.

Он стоял передо мной, благодушно улыбался, вывалив свой живот и покачиваясь на ногах, а я смотрел на него и умилялся. Еврей, кого обвиняют в сребролюбии, такой бессребреник, притом рискует, ведь его снова могут посадить. Вот оно, настоящее христианство!

Я ему откровенно рассказал про свою жизнь и удивился, как он сочувственно отнесся к моему горю:

— Тяжело вам, дорогой, понимаю, понимаю... Знаете, поедемте сейчас в больницу, не будет терять времени.

Мы с ним вместе поехали в психиатрическую больницу. У него было несколько копеек, несколько у меня, поймали такси и вскоре были там. Ну, конечно, нас ожидала неудача.

До времени, пока я не назвал свою фамилию, со мной разговаривали, но как только узнали, кто я, категорически заявили:

— Она в тяжелом состоянии, ее тревожить нельзя.

— Я же муж.

Упрашивать было бесполезно, но я все-таки упирался, мой спутник потянул меня за руку и посоветовал:

— Разве вы не видите, дорогой, что с ними разговаривать нет смысла.

Мы долго топтались на месте, разговорились, даже поспорили, к нам подошла пожилая женщина, тяжело дыша, не сумев как следует отдышаться, обратилась ко мне:

— Батюшка, я работаю здесь сестрой. Приходите вечерком, я все устрою. Нам известно, что у нас лежит жена священника, но толком никто ничего не знает. Но это пока, у нас всюду так: сначала секрет, потом сами же и раскрывают.

У моего спутника заискрились глаза, в ободрение он потряс мою руку:

— Ну вот видите, дорогой, как все устраивается.

День закончился относительно хорошо, но что готовит мне вечер?

Надо было идти к теще и что-то говорить ей, а что сказать?

Мне не хотелось идти домой, но это было бы жестоко с моей стороны — заботиться только о своем спокойствии. Может быть, она только внешне не воспринимает меня, а внутренне радуется, что вот я пришел, пытаюсь говорить с ней, беспокоюсь о ее дочери. Мне думается, что она забывает, что Марина не только ее дочь, а моя жена, а жена — значит, моя половина, и если болит одна половина, то и другой больно.

Как и следовало ожидать, теща посмотрела на меня, засопела, ушла и вскоре легла спать, что редко бывает, чтоб так рано ложилась. Я погасил свет и тоже улегся, уснуть не мог; что день грядущий мне готовит, куда пойти, но я чувствовал, что теперь я не одинок в своих страданиях, еще кто-то есть со мной понимающий, а самое главное — образ распятого Христа настолько становился близким, что я почти физически ощущал Его присутствие.

В самом деле, какой это большой смысл — распятый Христос! В Нем наши страдания выявляются не как миф, а как правда, которая в конце концов восторжествует! Много я думал в эту ночь и, чтоб не забылись мысли, решил все записать, излить душу и в этом почувствовал успокоение и уснул. Проснувшись, перечитал, что было записано. Вот эти мысли.

Неужели непонятно, что религия — не обман, а лучшие человеческие чувства?

Как жестоко глумление над религией. Не случайно умные люди при всем давлении сверху не хотят заниматься антирелигиозной пропагандою. Журнал «Наука и религия» негодует, что писатели и ученые не принимают участия. Антирелигиозное дело передано в руки самых невежественных и тупых людей. Каких парадоксов только не бывает! Меня вот что удивляет: за последнее время многие стали высказываться смело и прямо, но подать голос за верующих никто не дерзает, боятся. Поэтому какой карикатурной кажется мнимая смелость. Смелый бывает смелый во всем, а смелость за чьей-то спиной — трусость.

Конечно, есть и среди верующих нечестные люди, против них бы и выступать, но им покровительствуют.

Меня очень коробят сборы церковные, эти хождения с тарелками по храму во время службы, обязательная плата за требы. Не лучше ли поступить так: поставить в определенном месте кружку, и пусть кладут, кто сколько может. И все делать по требованию, не за деньги. Я думаю, что будет больше пользы, уйдут только те, кто приходит в церковь поживиться.

Настоящая вера — это большие чувства, она делает человека неузнаваемым.

Без веры жить невозможно.

Я помню, как-то беседовал с одним человеком, тот с такой жадностью смотрел мне в глаза, в заключение сказал: «Вам легче жить, раз вы имеете веру, вы счастливее меня». Эти его тоскующие глаза до сих пор стоят передо мной, мне его до боли жаль.

Одному человеку, заявившему мне, что он неверующий, но не умеющий ответить почему, я сказал: «Вы незнающий». Он согласился со мной:

— Это верно, батюшка, мы ничего не знаем.

Я встречался с людьми, которых одолевала непонятная тоска, один даже хотел покончить с собой из-за этой тоски.

Был и такой случай. Пришла раз ко мне взрослая, лет двадцати пяти, креститься. Когда я подошел к ней, она плакала.

— Почему вы плачете?

— Мне очень тоскливо. Вот мне посоветовали: если крестишься, тоска пройдет.

Сначала, как я начал крестить, она продолжала плакать, потом, к концу крещения, успокоилась, после крещения смотрела кротко. Кроткая овца — это очень точное выражение.

Что может заменить Церковь? Ни наука, ни что-либо другое не будут столько возиться с человеком, как Церковь. Приходят в Церковь со всякой скорбью, уходят утешенными. Мне говорили, что даже когда берут благословение у священника, и то становится легче.

«Умники» считают это иллюзией, какие они нереальные люди, эти умники! Они не понимают того, что эту «иллюзию» ничто заменить не может. Когда уже все человеку изменит, он ляжет на смертный одр, и тогда эта «иллюзия» остается единственным утешением.

Нет, эта «иллюзия» реальнее всякой реальности. Религиозные чувства самые глубокие и святые чувства. Какие преступники те, кто смеется над этими чувствами, объявляя себя борцом с суеверием! Часто борются не с религией, а со своей выдумкой. Выдумывают Бога и Его опровергают. Неудивительно, что бывают самые невероятные ляпсусы. В печати пишут о том, чего совершенно на знают. Может быть, потому и боятся диспутов.

А вообще смешно: религия как будто лежит поверженной, все у нее отобрали, не дают ей свободы, но ее боятся, всех зовут на борьбу с религией, не смешно ли?

Самое подлое в антирелигиозной пропаганде — материальное ущемление, хотя говорят, что нельзя административно воздействовать.

Рассказывали мне такой случай. Была одна учительница, которую заставляли делать антирелигиозные доклады, а она была верующая. Боясь потерять место, она делала доклады и после каждого доклада приходила домой и плакала; какая пытка человеческой души!

Рассказывали и еще более интересный случай. Был один профессор, который писал антирелигиозные статьи и книги. После опубликования своих работ он всегда причащался.

Задавали ему каверзные вопросы. Видели его как-то в храме, спросили намеком:

— Вы, кажется, были там-то?

— Значит, и вы были там? А вы чего были там?

Совопросник замолкал.

Раз поставили ему вопрос прямо:

— Вы слишком часто ходите в храм, как это вяжется с вашими убеждениями?

— А смог ли бы я писать антирелигиозные статьи? Я хожу, чтобы знать...

И нужно было сознаться, что его статьи были написаны со знанием дела. Особенно он упирал на эстетическое воздействие и говорил: чтобы победить религию, надо создать что-то в пику ей, а у нас ничего нет, да и может ли быть?

Но когда он умер, оставил завещание, чтоб его хоронили по церковному обряду, он верующий. А о том, что он был верующим говорит хотя бы на первый взгляд такой незначительный документ. Он с большой тщательностью переписывал молитву перед Причастием и слово «Бог» писал с большой буквы — не так, как в статьях. Когда слышишь обо всем этом, хочется рыдать: бедный русский народ, как его пытают!

Нет, это в тысячу раз большие пытки, чем какие бы то ни было другие. Некоторые не выдерживают их, кривят душой. Таких людей я не могу судить, мне их жаль. Вдуматься только, какую пытку они несут в своей душе! Эти рыдания учительницы, посмертный крик профессора — хоронить по церковному обряду, — это душу раздирающие крики.

Как-то в храме подошла ко мне старушка с семилетней девочкой, я в это время кропил святой водой.

— Окропите ее, батюшка, она замучила меня, хочет, чтоб я ее крестила, а родители не разрешают.

Девочка с такой недетской мольбой смотрела на меня: не допускают детей приходить ко Христу!

Детскую душу можно коверкать, учить ее ненависти к священникам, а вот дать ей, что она хочет, нельзя — несовершеннолетняя.

Недавно мне рассказали то, чего я никак не могу понять. У одной жены был муж-пьяница, он ее бросил, оставив ей четверых детей. Что она делала, как выжили, Богу ведомо. Муж, чтоб сделать ей большую подлость, подал на нее в суд, заявив, что она с таким мракобесным настроением воспитывать детей в настоящем духе не может, таскает их по храмам. И вот суд присуждает: отобрать у нее детей и сдать в приют. Когда пришли забирать детей, шестилетняя девочка залезла на дерево и закричала:

— Никуда я не пойду, я с мамочкой останусь.

Нужно почувствовать эту потрясающую картину. Забыл сказать, что женщина пошла в храм, чтоб както отвлечься от горя, когда ее бросил муж, она еще была неверующая. В храме ее сразу все так покорило, что она больше из него не выходила, каждый день бывала там со своими детьми, добрые женщины собирали ей по копеечке на пропитание. Я так был потрясен этим рассказом, что несколько дней ходил под впечатлением.

Когда мать головой билась о стенку, этого не видели, а когда кое-как улучшилось ее положение благодаря Церкви, разлучили с детьми. Такая жестокость может быть только у безбожников: мать разлучить с детьми!

Рассказывают как правду, но это может выглядеть как анекдот. Пятилетний мальчик просит, чтоб его окрестили, откуда у него такое желание, никто не знает. Наконец родители внимают его просьбе, и бабушка повела крестить, тогда еще не спрашивали паспорта ни отца, ни матери, теперь без паспорта нельзя. Окрестили, и мальчик умудрил такую штуку. Взял зонтик и выпрыгнул с пятого этажа. Папа бросился вниз, мама упала в обморок, а мальчик как ни в чем не бывало стоит среди людей и рассказывает:

— А я был с парашютом, — показывает он на зонтик, — Да и меня Тетя подхватила и поставила на землю. Такая Тетя, Какая у бабульки есть на картине.

Люди догадались, что это была Матерь Божия.

Атеисты не поверят, скажут — сказка.

Но вот я недавно читал в газете, как мальчик двух лет упал с четвертого этажа, задержался на козырьке первого, с которого поймал его проходящий человек. Об этом человеке пишут как о находчивом и герое, но какое геройство поймать с первого этажа: ребенок три пролетел и не разбился: не Матерь ли Божия и тут помогла?

Умилили раз меня таким рассказом. Заболела монголка раком. Пошла ее навестить соседка, соображает, что ей понести, есть она уже ничего не может, и решила почему-то понести крестик. Только увидела крестик монголка, сразу схватила его и надела на себя, и стала такой радостной. После смерти монголки, говорят, на ней обнаружили крестик, и поэтому собравшиеся доброжелатели хоронили ее по христианскому обряду. Медсестры передавали: нам теперь понятно, почему она в последнее время стойко переносила свои муки. Когда узнала об этом соседка, которая приносила крестик, во время похорон она болела, сказала: разве можно ее было хоронить по-христиански, она не была крещена?

Но, видимо, можно, теперь, наверно, одно благоговейное прикосновение к святыне, тем более ко кресту, освящает человека, делает его христианином.

Вспоминается еще такой случай, рассказала мне простая крестьянка. Умер у нее ребенок некрещеным, она очень переживала. И раз, придя на кладбище, увидела там церковь, хотя на самом деле церкви не было, из церкви вышел человек в белом и взял с собой ее ребенка. Она говорит, что это был не сон, она видела въяве, как выразилась.

Все может быть! Наше время полно всяких чудес, только, к сожа-лению, мы их не видим или не желаем видеть. И, может быть, как никогда, оправдываются в

наше время слова: дети освящаются верующими родителями.

В заключение хочется рассказать еще такой случай. Рассказал юрист, о котором я писал в своем дневнике. Крестился в их университете один человек, об этом узнали и вынесли на суд общественности, как теперь делают. Но что поразительно, этот человек заявил о своих убеждениях смело, сколько его ни срамили, и после этого его еще больше стали уважать студенты. Оказалось даже, что не один он верующий в университете.

Довольно, если обо всех случаях писать, то, выражаясь словами апостола Иоанна Богослова: всему миру не вместить пишемых книг, Христос, как говориться, вчера и сегодня Тот же.

Перечитал свои мысли, записанные в минуту горького раздумья, и решил: Христос на земле распятый, и Он делает свое дело там, где, казалось бы, ничего не должно получиться.

На следующий день у меня была интересная встреча, устроил ее еврей, духовный писатель, с которым я вчера познакомился.

Теща меня неожиданно перестала упрекать и мне приказывать, предоставив меня самому себе: что хочешь, то и делай. Хотя я знал, что одной ей трудно, что хочется с кем-то перемолвиться хотя словечком, я уходил на весь день, чтоб как-то рассеяться. Мне было очень тяжело, мне было жаль моей доброй кроткой жены, и я неприкаянно бродил по городу.

— Вот интересно, а ведь я именно сегодня хотел вас видеть! — хлопнул меня по плечу Ионов (под этим псевдонимом еврей-писатель распространял свои сочинения).

С ним рядом стоял высокий, с былой стройностью человек. Хотя красота его была уже помята, но он был еще красив: густые черные волосы, черные глаза. Наверно, эти глаза многих женщин сводили с ума. И, как выяснилось потом, этот человек и был из тех, кто ничего не выпускает из рук: он пьянствовал, развратничал.

— Я вас хочу познакомить с моим другом.

Я хотел пожать этому другу руку, но тот снял шапку и попросил у меня благословения, притом заявив:

— О. Константин, нам не надо ни бояться, ни стесняться этих прохвостов, — так он называл безбожников. — Нам надо самим преследовать их. Только не так, как они делают, а смелым исповеданием своих убеждений.

Алексей Яковлевич тут же рассказал про его случай. Как-то был его друг в Кремле, зашел в Успенский собор. Ну там посетители всякие, и вот он, преподобный этот Олег (в этих словах не было насмешки, они как-то звучали ласково и нежно, и тот не обижался, только переминался с ноги на ногу и улыбался понимающе из-под больших своих бровей), достал акафист святителю Ермогену и стал читать. Откуда-то появились женщины и стали подпевать: святителю отче Ермогене, моли Бога о нас. Представляете, как это всех заинтересовало, собралась большая толпа, а он как ни в чем не бывало читает, а женщины со всем старанием подпевают. Какие-то люди забегали, засуетились. Невиданное, в Кремле, где давно не раздавалось Слово Божие, звучит: святителю отче Ермогене, моли Бога о нас. Прочел он акафист, перекрестился и говорит директору этого храма или музея: откройте нам мощи, мы желаем приложиться, вы слышите нас?

— Извините, пойду узнаю, — сказал директор, робея.

— Ах, вы узнаете, а сами не имеете смелости? Вы пешки, выполняющие чью-то волю?

Быстро вскакивает на амвон, ему кричат: туда нельзя, а он не слушает и говорит получасовую проповедь. Полнейший переполох. Закончил, перекрестился и ушел. И представляете, через полчаса открыли мощи.

— Здесь желает кто-то приложиться к мощам, пожалуйста.

И повалил народ прикладываться к мощам.

— И вам за это ничего не было? — обратился я к Олегу.

— А что же может быть? Я моряк, привык делать без робости.

Алексей Яковлевич продолжал:

— У него бывали еще и похлеще случаи. Был он както на американской выставке в Москве, кто-то по доброте достал ему билет, тогда еще не так свободно можно было достать. И вот он там стал рассказывать всем, как у нас преследуют религию. Смотрит, зашныряли шпики. Выговорился он и направился к выходу. И тут один предъявляет ему свою книжечку — работник органов безопасности! — и шепчет тихо:

— Следуйте со мной. — Рядом с тем еще несколько таких, как он. Олег и тут не растерялся:

— Смотрите, они уже хотят схватить меня, а ведь где-то говорят, что у нас никого не преследуют. — И эти шпики все врассыпную, нет ни одного. А Олег сам направляется прямо в милицию.

— Вот я говорю открыто, что у нас свобода, а они меня, — указывает на шпиков, — хотят арестовать.

Начальник милиции уже в курсе дела.

— Вы успокойтесь. Хотите еще сходить? Вот вам еще два билета.

И тут мне вспомнились слова поэта:

Смелого пуля боится,

Смелого штык не берет.

А Олег, герой этот, стоял и скромно улыбался, переминаясь с ноги на ногу.

Я его теперь лучше разглядел. Он был со страдальческим выражением лица, измученный жизнью и болезнью. Он был несколько раз ранен, контужен, шесть лет отсидел в лагерях.

Да, по-разному Бог ведет людей в наше время.

А ведь он сын крупного чекиста, такие подробности я узнал уже потом, был неверующим, развращенным до мозга костей, а вот коснулась благодать Божия, и стал иным. Случилось это в заключении. Получил он пропуск в первый раз за зону. Вспомнил свою покойную бабушку, и как-то потянуло его в церковь. Где церковь, не знает. Но такие люди не теряются. Узнал и поехал. И тут совершилось чудо. Только он входит в храм, как

подходит к нему незнакомая женщина, ее все там почитали блаженной, называет его по имени, он так и остолбенел. Предсказывает ему день его освобождения, что в точности исполнилось, и говорит ему, что он сегодня причастник. Он в самом деле в тот день причастился, даже не думая про это.

Я смотрел на Олега и умилялся. О, очень я в ту минуту задумался: может быть, именно и нужно то, что сейчас делается?

Эти убогие, ненормальные (Олег внешне-таки напоминал ненормального) больше делают, чем налаженное человеческое общество. Как знать? Все ведомо Богу, но раз Он допустил до того, что есть у нас, значит, так нужно!

И с того момента я окончательно успокоился и во всем видел благой промысл Божий.

При других встречах Олег рассказал мне об одном герое-епископе. Тот сумел, когда закрывают храмы, построить собор.

— И хватились прохвосты тогда («прохвосты» — любимое выражение Олега в адрес безбожников), когда храм был освящен. И как досадно, — Олег покряхтел и поморщился, — что этого епископа свои же запретили в служении. Но, слава Богу, сейчас он служит где-то в Сибири. Пишет письма Хрущеву, требуя человеческих отношений к Церкви и верующим. Письма его юридически обоснованные. Его письма, как и сочинения Алексея Яковлевича, распространяются в народе.

Нужно еще добавить, что и в Сибири епископ сумел открыть две церкви.

— Да, вот как надо делать! — воскликнул Олег.

Удивительное дело: после этих встреч у меня все пошло на улучшение.

Вскоре мне разрешили свидание с женой, теща забрала ребенка домой. Ребенок, хотя был бледненький, но такой хороший, спокойный, и этот ребенок внес мир и в наш дом. Теща так подобрела, что ее нельзя было узнать.

Свидание с женой устроила та добрая женщина, которая тогда, когда я был в первый раз, обещала мне. Были

мы все вместе: и Алексей Яковлевич, и Олег, и я. Были вечером. Привела жену медсестра. Жена вошла робко, тихо, несколько испуганно и даже, чего я страшно испугался, как-то ненормально глядя кругом. Она мне потом объяснила, почему это. Ведь ее окружали в самом деле сумасшедшие, и ей всегда нужно было смотреть, как бы кто не набросился.

— И представляешь, самое интересное, как перекрещу их, отступают, только как-то долго, подозрительно улыбаются.

— Ну, как ты? — вздохнув, спросил я у жены.

— Все хорошо, — тихо сказала она, — но пережила я многое.

С ее глаз сорвалась слеза, но она улыбнулась, и эта слеза засветилась на ее реснице. Эту светящуюся ее слезинку на реснице я никогда не забуду!

Больше я у нее ни о чем не спрашивал, она у меня спросила о ребенке:

— Как она там, моя крошка?

— Все хорошо, — старался бодро отвечать я.

— А с тещей не ругаешься? — печально улыбнулась она.

— Представь, она стала другой, получив ребенка.

На прощание я все-таки спросил у нее:

— А что с тобой делают?

— Лечат.

— Но ты же не больная! — чуть не закричал я.

— Костя, ничего ты не знаешь. Нужно покориться, чтоб не было хуже, — и добавила мне в утешение: — Успокойся, со мной ничего не случится плохого, главное уже пережито. Думаю, что скоро меня выпишут.

Алексей Яковлевич воскликнул, когда мы вышли на свежий воздух:

— Всего можно ожидать, но чтоб этого — никогда. Здоровую женщину запрятать в сумасшедший дом, и в то время, когда она только родила! Мать оторвать от ребенка — это никак в моей голове не укладывается!

Олег перебил его:

— Всего можно ожидать от сумасшедших, особенно когда они считают себя лучше всех, а остальных ничтожеством.

Жену вскоре выписали. Я удивился, как у них повернулась рука написать: «Отклонения от нормы не наблюдалось».

А держали три месяца в сумасшедшем доме!

* * *

В конце дневниковой записи о. Константина было написано: «Дневник окончен 25 декабря, сегодня меня зарегистрировали к храму. Снова служить! Господи, какое это счастье — стоять у Престола Божия! Вот когда мне стало понятно, что значит служить Богу. Тому Богу, который распялся за нас. Аминь. 10 апреля».

О. Николай закрыл дневник. Его взгляд невольно остановился на той картинке, которую когда-то он вырезал из одного старинного журнала, — распятый Христос.

В доме никого не было, да он и не вспомнил ни о ком, на лице его лежала умиротворенная улыбка, может быть, он и сам еще не понимал, какое сильное впечатление произвело на него чтение дневника о. Константина.

— Да, есть и в наше время люди, а что я перед ними? — воскликнул он.

ЗАЧЕМ ПОЖАЛОВАЛИ?..

О. Николай встал и решил пойти к старосте.

Он, кажется, совсем забыл, что у него в доме возвратившаяся жена и что с ней его ребенок. Решение созрело помимо его воли. Он даже забыл, что не помнит точно адрес, но решил идти. Что побудило его к этому, не хотел разбираться, скорее всего добрые чувства, а может быть, желание поближе узнать психологию враждебно настроенных и найти тем самым с ними удобопонимаемый язык.

Машинально посмотрел на часы, подумал, что до службы у него времени еще много. Подойдя, постучал, сердитый голос ответил:

— Ну открывайте, что стучите?

Он открыл. В комнате, довольно обширной, все было перевернуто, как будто здесь побывали воры, что-то недоеденное лежало на столе, что-то в тарелке, что-то даже на сковородке. Сама хозяйка была без пояса, с непричесанными волосами, что-то перебирала у комода.

— Здравствуйте, — нерешительно сказал о. Николай.

— Здравствуйте, а зачем вы пожаловали ко мне? — не глядя, говорила хозяйка.

— Я... я... — не находился что сказать о. Николай.

Хозяйка сердитым голосом оборвала его, почти вскрикнув:

— Я! А что — я? Понимаю, что вы.

И тут она подняла голову

и испуганно вытаращила глаза, по-лягушечьи раскрыв свой большой рот.

— Так кто ж это вы?

Она стала укладывать назад что перебирала, какие-то тряпки, кажется, даже были и деньги, и торопилась рассмотреть его возбужденными глазами.

Она как-то обессиленно присела, расплылась в улыбке, но черное платье на ней, лоснящееся грязью, делало эту улыбку отвратительной.

— Так проходите же, дорогой о. Николай, — запела она елейным голосом. — Вот кого Господь послал мне, какого утешителя... Ах, как вы добры! — сложила она молитвенно руки.

И вдруг насупилась, поморщилась и обычным своим сердитым голосом отчеканила:

— Вы думали, что погубили меня, но не на тот орешек напали, я еще повоюю с вами. Полина Иосифовна, ваша староста, на воле! — знайте это, и никто с ней ничего не может сделать.

О. Николай, ничего не говоря, прошел дальше, сел с ней рядом на табуретку, посмотрел на нее со всей ласковостью:

— Зачем вы так говорите, Полина Иосифовна, разве я вам что-либо плохое сделал?

Она деланно улыбнулась:

— Что вы, о. Николай, да разве вы можете делать плохое, вы же святой человек! — выводила она не то серьезно, не то шутливо, то вдруг хмурилась, то улыбка появлялась на ее лице, широкая, открытая, светлая.

— Но зачем вы пожаловали? А, понимаю, страдающий Христос. Да знаете ли вы, что я ни в какого Бога не верю? Не нужно мне ничье сострадание, и если бы вы, придя ко мне, ударили меня, мне было бы легче, чем ваше сочувствие? Но знайте, что я ваша староста и заявляю прямо, что я люблю деньги, а вас, дураков, легко обманывать. И уйдите от меня, пока я еще хорошая, и ждите от меня визита. Визитика ждите. Я к вам пожалую! — выкрикнула она по Достоевскому, хотя Достоевского никогда не читала.

О. Николай робко встал, поклонился ей молча и молча вышел, теперь только по-настоящему обдумывая свой поступок. Не успел он отойти от ее дома, как раздался истошный крик.

— Спасите, он изнасиловать меня приходил, этот поп! Он грабить меня приходил. Держите его, ловите попа, — закричала она, высунувшись в окно.

И тут о. Николай почувствовал удар в голову. Он хотел обернуться и посмотреть, кто его бьет, как последовал удар по ногам, снова в голову. Что-то горячее побежало по лицу, в каком-то тумане он увидел злое лицо пропагандиста, его злые глаза. Кажется, такие злые глаза у него он видит в первый раз. Он хотел спросить: за что? — объяснить, что по христианскому состраданию он решил навестить в беде своего врага, как тут же увидел милиционера и двух растерявшихся подростков. «Не они ли били?» — подумал он.

— Пойдемте, — обратился милиционер ко всем. И они все, и избивающие и избытый, пошли в милицию.

* * *

— Что вы наделали, разве так ведется пропаганда? Вы сыграли на руку попам...

— Я не мог больше терпеть. Я не понимаю, что я сделал, но я должен был так сделать...

Он заходил по просторному кабинету секретаря партийной организации.

Высоко под потолком висел большой портрет Карла Маркса, и его большая борода как будто опускалась на огромную лысину секретаря. Секретарь расстроенно смотрел на Ахундова.

— Вас придется судить...

На самом деле Ахундов не думал так делать, как получилось. Когда он услышал истошный крик бывшей старосты и увидел жалкую фигуру попа, он почему-то сразу подумал, что поп — это его личный враг, с которым он никак не может справиться, и такая злоба вскипела! Он хотел только задержать его, привести куда следует и представить как разложившийся элемент, но как только подошел к попу, схватил его злобно, тут же подвернулись два паренька-школьника, и он сказал им: «Возьмите!» — и те стали бить попа, и он тоже с каким-то остервенением колотил его, и чем больше бил, тем больше хотелось бить, как будто кто-то посторонний вдохновлял его. И сейчас он не поймет, как еще этого попа он не убил и тот отделался только ушибами. Говорят, скоро выпишут из больницы. И больше всего досадно не то, что его, Ахундова, пропагандиста, будут судить... это все чепуха! А больно будет то, что этот поп скажет, что он его, Ахундова, прощает... О, это лицемерное христианское всепрощение. Он нервно заходил по комнате, его остановил голос секретаря партийной организации:

— Ну так что, Василий Васильевич, будем делать?

Задавая такой вопрос, секретарь в самом деле еще не знал, что делать, он, может быть, даже думал ограничиться предупреждением, как-то замять дело, с этой целью и вызвал Иванова, чтоб замять, но Ахундов категорически сказал:

— Я этого попа все равно убью!

Секретарь недоуменно посмотрел.

— Да, убью, — серьезно и твердо подтвердил Ахундов.

— Ну так вот, сначала сдайте партбилет...

Ахундов смущенно улыбнулся, до его сознания не доходило, что у него требуют сдать партбилет.

— Как, за что это?

— Сдайте партбилет, — настойчиво повторил секретарь.

Ахундов медленно достал партбилет, извлек его из целлофановой бумаги, медленно положил.

Секретарь сердито взял билет, протер его слегка и положил в стол.

— Теперь у нас с вами будет разговор другой. — И никто, наверное, не ожидал, как Ахундов упал на колени и униженно стал ползать в ногах.

По молодому лицу секретаря партийной организации медленно проползла брезгливая улыбка.

НАЧАЛО ПАСХАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Тоня не помнит, кто прибежал к ней, она была дома одна.

Она ночевала у знакомых, сегодня пришла с утра. Она хотела найти общий язык, согласна быть его прислугой, но только бы с ним. Особенно ей больно смотреть, как скучает сынишка.

— Мама, пойдем к папочке, я его люблю. Мама, мне скучно без папы, почему мы от него все время уходим?

Дверь заперта, все было так, как она оставила, на столе лежал дневник о. Константина.

— О. Николая убили!.. — закричал кто-то, как только она хотела расположиться по-домашнему. — Его уже принесли в храм отпевать...

Она от неожиданности опустилась на стул, потом сообразила, что принесли в храм, и помнит отчетливо, как она схватила ребенка, когда он пытался заплакать, сказала ему:

— Пойдем к папочке.

Тот успокоился.

Не помнит она, как бежала с ребенком, кто-то взял его у нее. Помнит, как растолкала народ, как прорвалась

сквозь плотные ряды, взглянула на гроб и не узнала... Лежал глубокий старец, кротко, спокойно, примиренно. Именно примиренно. По сторонам стояли два молодых человека. Она считала себя недостойной стоять у головы, прошла к ногам, потом — снова к голове, и странно, вместо головы она видела какое-то покрывало и тут упала перед гробом и стала кричать:

— Прости меня... Да, я виновата перед тобою.

В храме начиналась служба.

— Волною морскою, — тихим голосом запел хор, и звуки плыли, как тихие волны, приближались, слегка шумели, нарастала могучая волна: — Гонителя, мучителя...

Она помнит, что кто-то поднял ее, что-то говорил ей, как будто это умер о. Гавриил, и когда она сказала: «Что вы обманываете меня?» — молодой человек, стоящий у гроба, улыбнулся ей:

— Ну зачем мне вас обманывать, я его сын...

С лица молодого человека тут же исчезла улыбка, и она увидела глубокую грусть в молодых глазах, и только по этой грусти она определила, что ее не обманывают, и тогда она стала смотреть вперед, почему-то думая увидеть своего мужа, и ей казалось, что она видит его.

С перевязанной головой он в это время кадил, и она вдруг расслышала, как он произнес:

— Христос воскресе!

— Воистину воскресе! — закричала она, хотела подвинуться к нему ближе, но не могла пробиться сквозь плотные ряды.

Церковь наполнялась светом, все жарче разгорались свечи. Кто-то закричал позади, и сразу покатилась другая волна человеческая, закричали женщины, доносились еще чьи-то голоса.

— Комсомольцы безобразничают, когда же на них будет управа?

— Мужчины, выведите их.

Она обернулась, хотя ей было и трудно, и увидела хватающую руку пропагандиста, и услышала его негодующий голос:

— Теперь я с вами разделаюсь по-своему...

Она еще не знала того, что пропагандист избил ее мужа и за это у него отобрали партбилет, ей было непонятно, почему он так ратует за порядок в храме? Она, может быть, никогда не смотрела на пропагандиста с такой любовью, как сейчас.

Началась пасхальная служба.

ВОЛНОЮ МОРСКОЮ

О. Гавриила отпевали на второй день Пасхи. Все только сейчас увидели, как этот незаметный скромный человек, вечно трясущийся и боязливый, мог иметь такое огромное влияние на людей.

Провожать его пришли очень многие, даже из соседних деревень и городов, многие плакали так сдержанно, как и жил этот старец.

Особенно бросалось в глаза, каких он воспитал троих сыновей. Все были с высшим образованием, один из них был доцентом педагогического института, двое — инженерами. И никто не потерял веру, они усердно молились, не отходя от гроба. Переживания легко было заметить на их лицах, но никто не показывал человеческой слабости, мужественно провожали любимого отца.

Супруга, сгорбившаяся, приткнулась у гроба — то ли молилась, то ли думала. Иногда очень скорбно поглядывала на людей, но не уронила ни одной слезы.

Когда собрались отпевать, уже облачились о. Константин-настоятель и о. Николай, молящиеся зажгли свечи, приехал епископ. Произошло небольшое замешательство, не знали, как поступить, надо ли организовать встречу епископу. Епископ дружественно махнул рукой, быстро прошел в алтарь, никого не благословив по пути. Иподьякон, еще молодой, рассеянно держал его одежды, епископ облачался сам. Когда попытался помочь о. Николай, епископ двусмысленно улыбнулся:

— Не старайтесь, это не дело академиков...

О. Николай пожал плечами, улыбнулся своей младенческой улыбкой и стал в стороне. Епископ нахмурился, видимо, ему хотелось, чтоб помогал священник с академическим образованием.

Перед отпеванием епископ, выйдя на солею, окинув всех недовольным взглядом, произнес несколько слов, в которых тепло отозвался о почившем, и единственное, что поставил ему в вину, — безволие, может быть, это у него уже было от старости, добавил смягчающе. Он не мог постоять за дело церковное до конца, шел на поводу у старосты — вообще было странно слышать такие слова у гроба, но и еще более потому, что это безволие и нравилось епископу, может быть, даже за безволие он и держал его настоятелем. Впоследствии сыновья почившего рассказали, что папа очень горевал о своем безволии, особенно его упрекала совесть, что тогда, под диктовку старосты, он написал на о. Николая. И, уже совсем умирая, сказал, что он всегда не совсем верно понимал покорность и смирение, у него оно граничило с раболепием, и, горько вздохнув, добавил:

— Наследие старой школы.

Очень тепло отзывался об о. Николае, просил, чтоб его позвали проститься, за ним поехали, но он не мог, с ним в то время было приключение. Умер о. Гавриил примиренно со всеми, с ясной улыбкой на устах. Умер, как уснул, без вздоха и слов.

Только начали отпевать, храм наполнился шумом, покатилась бурная людская волна. Расталкивая народ, несли огромный венок четверо дюжих мужчин, за ними следовала бывшая староста, вся в черном, с унылым видом. Венок возложили сначала на гроб, но, так как он все закрыл, епископ, снисходительно улыбнувшись, сказал, чтоб поставили в стороне. Бывшая староста, молча переглянувшись с епископом, кивнула своим подчиненным, и те моментально поставили венок к решетке у солеи. Через некоторое время в руках старосты и тех, кто с ней, оказались огромные свечи, каких в храме никогда не бывало.

Начало было испорчено, потом все выправилось, даже епископ, сначала читавший гнусавейшим голосом, исправился, и отпевание прошло вообще неплохо, если бы не замечание епископа в то время, когда все сосредоточенно молились. Ему не понравилось, как давал возглас о. Николай, и он крикнул ему во весь голос:

— Ну что это за возглас, так подают только недоучившиеся семинаристы, а вы ведь академик!

Говорят, что епископ вообще не мог терпеть людей с каким бы то ни было образованием, тем более духовным.

О. Николай что-то сказал в оправдание, епископ то ли не расслышал, то ли хор запел так, что заглушил всякие голоса, препирательства не получилось.

После отпевания епископ снова сказал слово, попросил прощения у покойного за свою к нему строгость.

Тут к епископу подошла бывшая староста.

— Святой отец, дорогой наш владыка, вы уж не огорчайте нас, — о чем-то замолила она.

Епископ долго не мог разобрать, в чем дело, блаженно просиял, чуть не захохотав, оказалось, что она просила, чтоб он простил о. Николая.

— Он настоящий пастырь, — говорила она, — я виновата перед ним.

— Ну, ну, успокойтесь, я не гневлив.

Бывшая староста подошла под благословение, со слезами поцеловала епископскую руку.

Сначала гроб хотели везти на машине, вроде так распорядились сыновья, но верующие подхватили его на руки, и гроб, весь в цветах, заколыхался над людскими головами. Весь путь тоже был выстлан цветами, а расстояние неблизкое, около трех километров. А уж на кладбище было настоящее пение, были искренние слезы и плач, от всего сердца, с молитвой.

О. Гавриила все знали как настоящего священника, но он был настолько скромен, что недооценивал своих возможностей, старался, чтоб в нем не видели с великим духом пастыря, и вот сейчас его духовный образ предстал перед верующими во всем величии.

Сорок дней чувствовалось присутствие о. Гавриила в храме и среди верующих, и среди обслуживающих храм — у всех было какое-то благодатное состояние. Храм всегда переполнялся, бывала даже и бывшая староста.

О. Николай не знал, как теперь ему поступить со своей женой, нашел какое-то компромиссное решение, они стали жить вместе, но как брат с сестрой, на это их благословил и сам епископ.

Так бы все и продолжалось, но...

О. Николай заметил перемену в о. Константине-настоятеле, тот почему-то нервничал при встрече с ним и придирался. То о. Николай читает больше молитв, чем положено, то поминает слишком уж много имен, то уж очень часто говорит проповеди. Это было неожиданно для о. Николая, и он не мог разобраться, в чем тут дело. Ведь раньше о. Константин никаких замечаний не делал, всегда был доволен о. Николаем, что случилось? Доходили глухие слухи, что у о. Константина очень нездоровая семейная обстановка, в последнее время участились ссоры с женой. Наконец о. Константин произнес такую фразу:

— Ты стал дружен с бывшей старостой.

И это многое объяснило. В самом деле, бывшая староста стала очень хорошо относиться к о. Николаю, поговаривали, что он с ней нашел общий язык: не хочет ли пробраться в настоятели, а ее поставить старостой? И то, что, когда избили о. Николая, это он ходил к ней о чем-то договариваться. До о. Николая доходили и такие слухи, что в храме разделился народ: некоторые стали против о. Николая, обвиняя его в лицемерии.

О. Николай густо покраснел, когда сказал ему откровенно о. Константин, что он дружен со старостой, в этом о. Константин заметил, что, значит, нечиста совесть у о. Николая, тем более что и оправдываться не стал о. Николай, только молча указал на престол и свое сердце, но, видимо, не сумел рассеять подозрений. О. Константин как будто даже заморгал виновато глазами, но не протянул руку к примирению, вражда была загнана в глубину сердца.

Как-то староста храма пригласил всех на новоселье. Неожиданно он получил новую квартиру, правда, у него и старая была не особенно плохая, но вот удалось получить новую в новом доме со всеми удобствами: и туалет, и ванная, и всегда горячая вода, что не так уж часто бывает в их городе.

О. Николай поехал с женой и с ребенком, поехал рано, но оказалось, что там уже был и о. Константин со своей женой, хотя и без ребенка, молебен уже кончали, о. Николай успел только к молитве. Поздоровались как будто дружественно, но что-то не давало раскрыться их сердцам, это было особенно больно о. Николаю при его повышенной мнительности; не знал, что предпринять, сидел как чужой. Матушки их сразу нашли общий язык, обе понравились друг дружке, правда, тут большую роль сыграла Анастасия Петровна, она как-то умела расположить людей. Матушка о. Константина поведала матушке о. Николая, что у них как-то не налаживается мир между ними и тещей. День как будто хорошо, а на второй день все нарушается уже на неделю, теща и сама переживает, иногда плачет, жалуется в это время на головную боль, но вот ничего с собой поделать не может, и добавила шепотком:

— И между нами с батюшкой не все хорошо. Начались ссоры, правда, небольшие, но все же… Мне кажется, он мало внимания уделяет семье, все у людей, иногда даже я его ревную…

Матушка о. Николая зашептала ей на ушко:

— Это общее положение у нас, у матушек, мы все немножко ревнуем своих мужей, ведь их почти не видим. И тут у нее на глазах появились даже слезы.

Матушка о. Константина никак не могла понять, отчего та заплакала, ревновать-то ей нечего, она сама ему изменила, но на самом деле матушка о. Николая заплакала оттого, что утеряла своего мужа. Она, кажется, сейчас его по-настоящему любить начинает, видит как следует его добрый характер; как только раньше не замечала. Ей очень горько и больно, что он такую ее терпит в своем доме, но примирилась с этой долей.

У мужей в это время шел разговор напрямую.

— Дыма, как говорят, без огня не бывает, — говорил о. Константин. — Льнут к тебе смутьяны почему-то, видимо, какой-то повод даешь.

Иван Романович недовольно вставил:

— А нужно сказать, мы к тебе неплохо относимся.

О. Николай молчал, краснел, терялся. Догадливый человек в этом увидел бы чистоту характера, неумение лгать, изворачиваться, но вот закравшаяся подозрительность ослепила глаза умного делового о. Константина, он как-то стал завистлив к славе о. Николая. А недалекий человек Иван Романович и совсем озлобился, возненавидел о. Николая, немного его сдерживала Анастасия Петровна, без нее он был бы в совершенно страшной вражде.

Вечер прошел средне, ничего нового никому не дал, только еще грустнее стало о. Николаю. Он в этом увидел для себя новое испытание и принимал его покорно: все может рассеять только время, молитва сейчас нужна, без нее не избавиться от подозрений. А тут, как назло, на следующий день бывшая староста открыто подошла к о. Николаю, попросила у него благословение и попросила уделить ей несколько минут внимания. О. Николай привык никому не отказывать. Они отошли с ней в сторонку, а на них уже направились недоверчивые глаза. Все смотрели: и о. Константин, и староста Иван Романович, и даже объективная Анастасия Петровна.

Полина Иосифовна говорила и как будто тихо, но слова слышались отчетливо:

— Мы вас думаем сделать здесь настоятелем. Скоро полетят отсюда и о. Константин, и староста. Вы не знаете их, какие они все проходимцы.

— Не говорите вы мне этого, — робко запротестовал о. Николай и попытался уйти.

— Я вас понимаю, — вкрадчиво зашептала староста. — Вы их боитесь, они вас запугали.

О. Николай отошел он нее весь раскрасневшийся, а его прокалывали недоверчивыми глазами, он окончательно растерялся. А тут через несколько дней вызвали Ивана

Романовича в райисполком. С большим нетерпением все ждали его возвращения оттуда, в храме шептались:

— Получил незаконную квартиру.

— Дал взятку.

— Говорят, донес о. Николай.

— Вот и верь людям.

— А может, не он? — кто-то поставил вопрос.

Староста пришел поздно вечером мрачный. О. Николай в это время направился на антирелигиозный вечер, интересовался всем, хотел знать и своих врагов, что ему потом и поставили в обвинение. Хотя на вечере он оказался случайно, даже не зная, кто из пропагандистов будет выступать. Вошел, сел незаметно позади всех. Народу было очень мало, сидели небольшими группками. Беседовали о чем-то постороннем, казалось, их ничто здесь не интересовало, и на самом деле, на вечер идти обязывали, чуть ли не принуждали. О. Николая никто не замечал, но он все-таки думал: в зале сейчас первопришедшие, соберутся многие.

Но вдруг начался вечер. Все друг другу что-то сказали и повернулись в одну сторону. На сцену вышел молодой человек, чисто одетый, с галстуком. Но первое хорошее впечатление сразу портилось тем, что у молодого человека был неприятный вид. Передняя часть лица вытянута, нижняя губа оттянута, так что были видны все нижние зубы, из верхних зубов было два вставленных, и они как-то неприятно блестели.

— А знаешь что, — кто-то кому-то сказал, — это бывший поп.

— Да неужели? — вскрикнул тот.

— А смотри, он молодой еще.

— Интересно бы знать, верил ли он вообще?

— А разве теперь во что-либо верят?

— Ищет где лучше, — продолжался разговор.

— Там надоело обманывать, перешел сюда.

— Тише вы!

— Послушаем, что этот попище нам загнет.

Кто-то обратил внимание и на о. Николая, хотя он и сидел незаметно, и все повернулись к нему, доносился полушепот.

— А вон и другой поп.

— А он что, тоже отрекся?

— Да кто их разберет.

Докладчик долго откашливался, пил воду из графина, о. Николай смотрел на него внимательно, и его лицо показалось ему знакомым, но он никак не мог узнать, кто же это?

На сцену вышло и еще несколько человек, и молодые и пожилые, уселись рядками. Переваливаясь, на коротких ногах, толстая женщина еще принесла графин с водой, теперь на столе стояло два графина, из последнего, только что принесенного, все почему-то стали пить воду, как будто она была сладкая или они наелись чего-то соленого.

— А это что, тоже все попы? — пронесся шепот.

— Да нет, это уже такие... Впрочем, кто их разберет? Теперь все перепуталось.

Зал все больше наполнялся, в дверях слышался голос:

— Проходите, товарищи, что стоите?

Докладчик уже начал говорить, но поднялся почему-то шум и трудно было расслышать, о чем шумят, докладчик замолчал, налил в стакан из графина воды и стал отпивать мелкими глотками. Лицо его было утомленное, он все-таки чем-то был взволнован, хотя глаза этого не выражали, были какие-то стеклянные, невыспавшиеся.

Последними в зал пришли Олег и Алексей Яковлевич, они ушли в конец.

Докладчик заговорил снова, по хрипловатому голосу о. Николай в нем узнал бывшего священника о. Василия.

Докладчик говорил вяло, путано, чувствовалось, что рассуждать он совсем не умеет, только постоянно повторяет: «Наука несовместима с религией, доказали ученые...» Кто-то выкрикнул, чтоб он назвал имена этих

ученых, он сразу растерялся, замолчал, посмотрел уповательно на рядом сидевших, сказал неуверенно:

— Ну известно какие, все ученые.

Когда все-таки настояли, чтоб назвал конкретно имена ученых, он назвал Пушкина и Шолохова. Олег, усевшийся в задних рядах, чтобы послушать, не выдержал этого и порывался выбежать на сцену, его еле за руку удержал Алексей Яковлевич, он, не успокаиваясь, сел, продолжая говорить:

— Как же тут молчать? Человек не знает ни одного имени ученого неверующего, а ссылается на ученых. Да и Пушкин, которого он назвал, хотя и не ученый, но верующий. Нет, я все-таки пойду, — рванул снова Олег, но его кто-то еще усадил.

Барахтание в задних рядах заметили со сцены и сказали:

— Гражданин, — обращаясь к Олегу, — если есть вопросы, зададите потом, у нас намечено большое собрание.

Докладчик перешел к фактам, и тут его стали слушать, даже со вниманием, он говорил свободно и как-то по-своему складно и интересно.

— Попы теперь умудряются устраивать даже в алтаре телефон. Допустим, служит поп, ему звонят. «Скоро там закончишь?» — спрашивает девушка. «Эй, милашка, — говорит он, — осталось немного дослужить, потерпи немного, я это быстро смогу». Или еще, подходит к попу старушка, надо крестить, но у нее не хватает на крещение денег, поп ни за что бесплатно не соглашается. А вообще все попы — жадный народ, развратники, сами ни во что не верят, — все в таком духе говорит докладчик, и зал весело реагирует.

Алексей Яковлевич насупился, он раскаивается, что пошел сюда: все ведь на таком уровне, что не выдерживает никакой критики, думает он.

Наконец пришло время вопросов. Докладчик, окончив свой доклад, выпив в последний раз воды из графина, уселся за столом среди других — здесь были и партий-

ный актив, и учителя из разных школ. Вопросы можно было задавать и в письменной, и в устной форме.

Когда наступило некоторое затишье, длинная фигура быстро проследовала на сцену из зала, его никто не мог задержать, только кто-то запоздало ахнул. То был Олег, прежде всего он обратился к докладчику:

— Вот вы, докладчик, сейчас со сцены всех поливали грязью, я имею в виду священников, а вы кто, позвольте вас спросить, не тот ли вы проходимец, о котором упоминали в докладе?

Докладчик весь напружинился, осторожно поглядывал по сторонам, не решаясь заговорить, на этот раз он, видимо, боялся, за него заговорил один из сидевших рядом, учитель по профессии; тактично, но с явным укором заметил Олегу:

— Вы не умеете себя вести, оскорблять кого бы то ни было здесь вам не позволят.

Олег, не вслушиваясь в слова этого учителя, продолжал:

— Да оскорбить этого проходимца мало, его нужно с позором прогнать отсюда. Он ведь настоящий проходимец: в храме обманывал, а теперь сюда пришел обманывать. За деньги он может все что угодно сделать. — Олег постучал себя по лбу. — А голова-то у него пуста, не знает ни одного имени ученого.

Бывший отец Василий выкрикнул:

— А Пушкин, а Шолохов?

— Да ты же баран: Пушкин никогда ученым не был.

— А кто же он такой по-вашему, если не ученый? — спросил непонимающе тот.

— Ну, вот смотрите на него, — обратился Олег к аудитории. — Он не умеет отличить писателя от ученого.

О. Василий понял свой промах, слегка смутился, за него заговорил учитель, приподняв руку, как будто останавливая наступающего Олега.

— Ну хорошо, молодой человек, пусть докладчик немного ошибся...

Олег не мог удержаться, чуть не расхохотался.

— Хорошо себе немного. Не знать, кто такой Пушкин, а еще браться учить людей, так может делать только именно проходимец. Скорее надо выбрасывать его из своих рядов, пока он вас окончательно не осрамил.

Зал захохотал, все оживились.

— Браво, браво! — кто-то уже выкрикивал. Некоторые даже перестали жалеть, что их загнали сюда, собрание принимало интересный поворот.

Учитель, не замечая, что говорил Олег, спокойным голосом продолжал:

— Спокойнее, молодой человек. Если хотите вести спор, то таким путем ничего не достигнете, у вас получается сплошная брань.

Олег горячился, он уже не мог сдерживать себя, нервы давали знать:

— С таким проходимцем, как этот докладчик, иначе и разговаривать нельзя.

Учитель продолжал спокойно:

— Возьмем Пушкина как писателя. Вы же не станете отрицать, что он неверующий человек?

— Нет, стану, — утвердительно сказал Олег.

— Тогда объясните, как могло случиться, что Пушкин — верующий — пишет антирелигиозное произведение «Гавриилиаду»?

— Вы этим меня с толку не сбивайте. Пушкин пишет и «Отцы пустынники и жены непорочны» — глубоко религиозную вещь. Да и не беритесь судить о Пушкине по одному произведению. И «Гавриилиада», если на то пошло, не настолько антирелигиозна, скорей это дань молодости, вольности... Вообще же «Гавриилиаду» написал Горчаков, это уже всеми доказано...

Учитель немного растерялся, слыша категоричное утверждение, и, чтоб не быть профаном, решил сделать задумчивый вид, наморщив лоб.

Олег торжествовал, казалось, весь зал становился на его сторону. Тут вдруг неожиданно вынырнул из-под руки учителя докладчик.

— А вы кто такой? — обратился он к Олегу. — Кем вы были — я спрашиваю?

— Заело попа, — кто-то выкрикнул. — Улю-лю!

— Да, я не скрываю, что и я не такой хороший, — отвечал Олег, успокоившись. — Я был развратником, хулиганом, как и все, кто не верует в Бога, но по милости Божией я становлюсь иным. Но ты ведь не исправляешься, проходимец, уйдя от Бога, а хочешь всех уверить, что ты честный человек. Баран, пустая башка, — снова начал раздражаться Олег.

На сцене раздался звонок, поднялся пожилой человек, призывая всех к порядку, он обратился к Олегу:

— Я вас лишаю слова, вы недопустимо себя ведете.

— А вы допустимо? — не сдавался Олег. — Вы, ничего не зная толком, всем нам плюете в лица, топчете лучшие чувства, а говорите, что вы культурные. Да вы знаете, что я защищал родину, весь изранен? — Он провел по своей груди, на которой выстроились в ряд ордена и медали, при случае Олег любил этим щегольнуть. — И если я раздражился, мне простительно, я кровью заслужил это право, а этого проходимца, который у вас выступает, надо гнать.

— Я вас лишаю слова! — закричал пожилой человек, видимо, председательствующий. — У кого еще какие будут вопросы? — обратился он к публике.

— Мы желаем слушать, пусть говорит.

— Не запрещайте.

— У нас свобода!

— Не имеете права.

Собрание принимало нежелательный характер. Олег, сказав, что нет больше смысла разговаривать, сошел со сцены и направился к выходу. Его остановили, кто-то подошел к нему, потребовал документы, Олега куда-то увели. Тут же и народ стал расходиться, оживленно толкуя о Боге.

— Интересно.

— Откуда такой молодец появился?

— А его увели не чекисты ли?

— Вот и говори, да оглядывайся.
— А говорят, свобода?
Олега, пока еще не разошелся народ, выпустили, да его и не хотели забирать, просто хотели отвести от народа.
Подходя к дому, о. Николай неожиданно столкнулся с женой бывшего о. диакона, она вздрогнула, смущенно отвела глаза. И у о. Николая вздрогнуло сердце, ему стало понятно ее смущение. Он прошел, как бы не замечая, даже не поздоровался, но ее смущенные и тоскующие глаза поразили его, и это ему было страшно.
На следующий день о. Николая в храме встретили сдержанно, староста бросил упрек:
— По антирелигиозным собраниям ходите, а меня снимают... — староста так смотрел на о. Николая, как будто тот был в этом виноват.
О. Николай ничего не ответил.
Староста с подозрительностью ушел от него, его вскоре в самом деле сняли с работы. Вызвала секретарь райисполкома, женщина нерусского вида, даже говорила с акцентом, хотя на самом деле была русская:
— Мы вас отстраняем от работы... за недоверие... — какое, не уточнила.
Хотя староста и ждал этого, но все-таки было неожиданно, он растерялся, оглушенный этой вестью, но собрался, спросил:
— Какое же недоверие?
Секретарь глянула в бумаги, подумала, окинула лукавым глазом старосту и полушепотом сказала:
— Взятки даете, — сказала так, как будто их кто-то подслушивает.
Больше говорить было не о чем.
Но староста все-таки продолжал работать, двадцатка растерялась, не зная, что предпринять, ей сообщили, что староста снят, выбирайте другого. Хотя и двадцатка все делает, снимает или оставляет, но верховодит райисполком. Самое главное — боялись, чтоб не прислали такого старосту, который все разложит, боялись прежней... Когда обратились с этим к о. Константину, тот сказал, что

нужно выбрать старосту из своих, указал на Анастасию Петровну. Анастасия Петровна не соглашалась, она не хотела быть старостой, зная, как это трудно, уклончиво спросила:

— А почему снимают?

— Да вот снимают...

— Но по какому праву?

— Да где ты найдешь это право, тем более нам.

— Право можно найти, только надо быть сплоченными, — заявила она.

В конце концов решили: одной половине двадцатки идти в райисполком, чтоб дали разрешение на проведение собрания об избрании старосты, другой — к уполномоченному.

После такого решения староста вышел из своей канцелярии и встретил о. Николая.

О. Николай, поговорив со старостой, направился в алтарь, там был недовольный о. Константин, на приветствие не ответил. О. Николай приложился к престолу и отошел к жертвеннику, о. Константин то ходил взад-вперед, то перекладывал что-то с места на место и вдруг неожиданно выпалил:

— Да, ничего не дает академия сейчас...

О. Николай посмотрел на о. Константина и продолжал молчать. О. Константин ворчал:

— Кончают академию, а служить не могут, они просто гордецы.

О. Николай со всем вниманием посмотрел на о. Константина, тот заметно нервничал, по-настоящему чем-то раздражался, и о. Николай понял, что не академия его раздражает, а что-то другое.

О. Николай робко попытался возразить.

— И раньше кончали академию и тоже не умели служить, значит, надо работать над собой.

О. Константин, не слушая о. Николая, продолжал ворчать:

— Да и предатели какие-то, кончающие сейчас академию.

О. Николай начинал понимать, к нему это клонится, все эти обвинения сыпались в его адрес. Он серьезно посмотрел на о. Константина и решил сказать прямо, без уклонений:

— Вы обвиняете меня, но поверьте, что я тут ни при чем.

О. Николай совсем раздраженно проговорил эти слова, о. Константин побагровел, более нервно заходил по алтарю.

Что сказать? — подумал о. Николай, вступать в прения бесполезно, и, не придумав ничего, попросил, чтоб о. Константин отпустил его дня на два отдохнуть.

— Иди, — буркнул о. Константин.

Больше ничего не говоря, о. Николай направился из алтаря, в храме стоял народ группами и что-то обсуждал. Когда проходил мимо них о. Николай, все замолчали, проводили его недовольными глазами.

Такого одиночества о. Николай еще никогда не испытывал.

Дома жена его встретила ласково, сынишка подбежал к нему и попросился на руки, он взял, подбросил его вверх, поставил на пол и сел за стол, обхватив голову руками.

— Что случилось? — спросила жена.

— Да ничего, — отмахнулся он.

— Видимо, в храме неладно? — продолжала спрашивать она, хотя о. Николай говорил ей раньше, что в храме все в порядке, и сейчас сказал, что все в порядке.

— Да нет, не все в порядке, — продолжала она, помолчав, спросила: — А к тебе приходила жена диакона?

О. Николай глянул тревожно, наверно, покраснел, ему показалось, что и жена покраснела. После молчания жена осторожно сказала:

— Знаешь что, Коля, нам нужно что-то решать.

— Что, в чем дело?

— Да вот с нашей жизнью.

— А у нас все решено, ты свободна, мы живем как брат с сестрой.

Она с каким-то нежным укором и с любовной нежностью посмотрела на него и, наверно, не заметила, как повисла на реснице слеза, она не сморгнула ее, размазала кулаком по щеке.

— Коля, это жестоко. Я больше, чем ты, осуждаю себя, ты не знаешь того, какие пытки я ношу в своей душе, я виновата, я тысячу раз виновата, но я теперь не меньше, чем прежде, люблю тебя, я без тебя жить не могу.

— Но я не гоню тебя, — не совсем ее понимая, сказал он ей, как потом показалось, ледяным голосом.

— Нет, ты не поймешь, прости меня, ты сухарь, — сорвалось у нее от досады.

О. Николай посмотрел обидчиво на нее. Разжалобившийся от разговора с ней, сейчас подумал, что она эгоистка, заботится только о своем счастье, желает невозможного, хотел сказать, что у него тяжело на душе, но ты этого не видишь, ты думаешь лишь о своем.

Тоня вздрогнула непонятно отчего, заволновалась, попросила немножко побыть с Андрюшкой, сама выйдет на минутку. Ушла огорченная, с тихим укором посмотрела на мужа. Тут же вошла жена диакона, робко, смущаясь, и о. Николаю стало понятно, почему ушла жена. Она ревнует, женщина вообще догадливее мужчины.

О. Николай растерялся, он и рад был приходу жены о. диакона, подумал — вот у него была бы такая верная жена, незаметно для себя ей улыбнулся и тут же испугался этой улыбки, хотел спрятать ее, а улыбка расплывалась, освещала его лицо, проливала в сердце радость, но... он стал внимательно смотреть в лицо жены диакона и видел, что и она ему улыбается, и эта радость стала страшной для него, и прежде всего потому, что боялся — вот сейчас войдет его жена, что скажет? Он стал догадываться, что между ним и женой диакона что-то есть, он это сознавал, вернее, чувствовал и в то же время хотел, чтоб этого не было. Он метнулся к двери, закрыл ее на крючок, посмотрел, что Андрюшка здесь, забавляется мишкой, отвел малыша за перегородку. Жена диакона виновато смотрела по сторонам, она была такая малень-

кая, миниатюрная и такая миленькая. О. Николай подошел близко к ней, она впилась в него глазами, нервно вздрогнула, как от озноба, потерла руки и хотела куда-то спрятать их, о. Николай боялся дальше двигаться и в то же время чувствовал, что сейчас сами протянутся руки. Вспомнилась ему проповедь XVI века, в которой рассказывалось, как согрешил один очень хороший епископ, как потом сознался в этом перед всем народом и просил у мирян решить его судьбу, как те его простили... «Они его простили!» — пронзила мысль, и тут о. Николай сделал движение руками, даже, кажется, хотел дотронуться до нее, она заговорила:

— Я ничего не хочу от вас, но мне хотелось бы, чтоб вы хотя раз поцеловали меня.

О. Николаю стало невыносимо стыдно, перед ним моментально прошла одна картина из его жизни, это было еще в молодости. Однажды под наплывом чувств он потерял контроль над собой и пошел к одной девушке, только переступил порог, она была дома одна, как ему вдруг стало стыдно, он, ничего не сказав ей, выбежал от нее, громко хлопнув дверью. Так и сейчас... Он подумал о себе как о человеке, ни на что не годном, ни на что не способном, есть только добрые порывы, но именно только порывы, а на добро он не способен. Жена диакона сильно наклонилась в его сторону, кто-то стукнул в дверь.

— Боже! — вскрикнул о. Николай и отбежал от жены диакона, в дверь стукнули сильнее.

— Откройте, — сказала жена диакона, — а я уйду к вашему сыну.

Дрожащими руками о. Николай отбросил крючок, в дверях стоял о. Константин, мрачный, чем-то сильно взволнованный.

— Проходите, — предложил о. Николай, не в силах перевести дыхания.

— Ну все, — произнес упадочническим голосом о. Константин.

— Что все? — вскричал о. Николай.

— Все! — повторил о. Константин тем же тоном. — Теперь все. Все кончено, — добавил он. — Простите меня, о. Николай, я виноват перед вами, я напрасно обвинял вас, а все заключалось в другом. Боже мой, как теперь быть?

— Сядьте, о. Константин, расскажите, пожалуйста, в чем же все-таки все заключается?

— Храм закрывают... в связи с волнениями... Об этом сказал и уполномоченный, и в райисполкоме так сказали, еще даже будут вести следствие. Что теперь делается в храме, если б вы видели, а что было в райисполкоме! Какая ругань, какая жадность! Видимо, так надо, мы ни на что не годны.

Услышав последние слова, жена о. диакона вышла из-за перегородки и сказала, обращаясь к о. Николаю:

— А я хотела утешиться у вас, поговорить насчет своего мужа, спился окончательно. А оказывается, вот как. Ну благословите меня.

Она сложила руки для благословения, когда он благословлял ее, и она наклонилась, чтоб поцеловать благословляющего, сунула ему бумажку, он зажал ее в своей руке. Она еще попросила благословение и у о. Константина, улыбнулась сочувственно им обоим и пожелала всего хорошего.

— Ну что теперь делать? — удрученно спросил о. Николай.

— Ничего сделать нельзя, — так же удрученно ответил о. Константин. — Рвутся к церковному ящику не потому, что веруют, а потому, что хотят иметь деньги. Постоять могут за храм только верующие... Но вы, о. Николай, простите меня, вы совсем невиновны, а я с моим практицизмом во всем виноват, да устроит все Бог.

И у того и у другого невольно взгляд упал на картинку, вырезанную когда-то о. Николаем из журнала. Рамку уже подточил червяк, сама картинка пожелтела, оставался нетронутым только один ЛИК — Христос молится Отцу Небесному.

— Слушай, где ты достал эту картину? — спросил о. Константин. — Знаешь ли ты, что ее написал один знаменитый художник?

Вошла жена о. Николая, поздоровалась с о. Константином, улыбнулась, для порядка посетовала:

— Давно уж вы не были у нас.

— Занят все, теперь вот обязываюсь ходить почаще.

— А что такое происходит в храме, зачем-то поехала милиция, что-то случилось?

— Случилось многое, — загадочно ответил о. Константин и добавил разгаданно: — Храм закрывают.

— Наверно, торопятся к маю?

— Да, скоро и май, спасибо, что напомнили. Пойду посмотрю, что там делается.

О. Константин в раздумье вышел.

Жена спросила:

— Коля, а Фрося не была?

— Была, а что?

— И ушла уже?

— Да, — он забыл, что зловредная бумажка лежала в его руке, он старался положить ее в карман, но как сделать, чтоб жена не заметила, ему кажется, она наблюдает за всеми его движениями.

— Коля, не кажется ли тебе, что она влюблена в тебя? — продолжала жена.

— Ну что ты...

— Коля, дорогой мой, я все понимаю... Я виновата, ну прости меня, но давай жить как надо, я все-таки жена, а не сестра. Неужели Бог настолько жесток, что не простит мою слабость? Я обещаю тебе, что это больше никогда не повторится. И что ты будешь делать, когда закроют храм и лишат тебя работы? А я буду работать, и будем жить. Пойми, что ты человек, не приспособленный к жизни, а я люблю тебя.

— Тоня, и ты прости меня, — сказал он, вторя ей.

— Ну вот и хорошо, — просияла она.

— Прости, я не меньше твоего виноват, — продолжал муж.

— Значит, будем жить вместе?

— Прости меня, — еще раз повторил о. Николай, ему хотелось даже виновато заплакать.

Всю ночь о. Николай не спал, он волновался за храм, переживал о том, как ему теперь быть, как устроиться на работу, ведь никуда не примут, не потребовав отречения от Бога. В то же время и на душе было так гадко и скверно, не мог простить себе подкравшегося искушения. Случайно обнаружил в кармане бумажку, вспомнил, откуда она, хотелось разорвать, не читая, но все-таки раскрыл, прочел, Фрося писала:

«Вы неправильно поняли меня: я не такая женщина, какой вы меня себе представили. К вам я приходила затем, чтоб вы напутствовали моего мужа, с ним сегодня случился паралич. Ухожу с расстроенным сердцем».

— Боже, да что ж это такое? — О. Николаю еще стало более стыдно и гадко. Значит, грязен я в душе! Но как это хорошо, что постигла такая освежающая гроза. Так надо, так надо.

...Он схватил шляпу, сказал жене, что уходит.

— Куда? — спросила она.

— Надо.

— Коля, пойдем вместе, ты очень расстроен, я боюсь за тебя.

— Ну, пойдем вместе.

Она быстро оделась, взяв с собой полусонного ребенка. Утро было солнечное, улицы украшены флагами, но народу никого не было.

— Пойдем скорей, — торопила жена. — Скоро пойдёт демонстрация, и нас не пропустят. — Но их уже не пропустили, милиционер вежливо остановил их:

— Нельзя.

Доносились далекие песни, то приближались, то удалялись.

Милиционер сердито закричал, заметив шедшего через всю улицу:

— Вот поп, откуда он появился?

Когда подошел шедший ближе, о. Николай узнал в нем епископа.

— Скорее, скорее, — замахал ему милиционер. Епископ ускорил шаг.

Он был немного выше среднего роста, худенький, с небольшой бородкой, на всем лице лежало какое-то страдальческое выражение, особенно выделялись глаза, большие, мягкие и в то же время решительные.

Демонстранты приближались, не только слышались песни, но и топот их ног.

Вдруг непонятным образом вынырнула из-за угла длинная фигура Олега, за руку он тащил неуклюжего Алексея Яковлевича.

— Скорее! — закричал на них милиционер раздраженно.

— Нечего меня торопить, — огрызнулся Олег. Спокойным шагом подошел к епископу, сложил спокойно руки и попросил благословения.

Улица заполнялась, пройти уже было невозможно, милиционер направил всех, стоявших около него, в ближайший переулок, тенистый, весь в деревьях, длинные ветви прикрыли всех, как будто кто-то добрый и сильный прикрывал их своими руками.

— Ну что тут у вас делается? — спросил епископ.

Это был тот епископ, о котором рассказывал Олег, он проездом, узнав от старушек, что храм закрывают, решил выяснить, в чем дело.

С улиц уже отчетливо доносились веселые первомайские песни.

«Не оттого, что плохие люди есть, нет Бога, а потому Он есть, чтоб плохие стали хорошими, иначе везде кошмар, а я в кошмар не хочу верить. Бегу от жизни, верую в Бога!» — так думал о. Николай, забывая даже, где он сейчас находится. Епископ почувствовал эти его мысли, повернулся к нему с ободряющей улыбкой:

— Не грустите, священником вы останетесь всегда, Церковь уничтожить нельзя, она всегда будет спасать людей. Давайте споем. — И епископ начал тихим уми-

ленным голосом: — Волною морскою... скрывшего древле гонителя, мучителя...

Сначала как будто никто не понял, что это епископ запел и всех пригласил поддержать его, все были погружены в свои удручающие думы, все думали о том, что вот закроют храм и что с ними будет, думали о своей неустроенности, а епископ пел, голос был тихий и не совсем звучный, первое время как-то срывался, но задушевные звуки пения постепенно проникали в сердце, подымали дух, и вдруг все почувствовали, как это пение оживляет их, тонким хладом проходит по телу, увлажняются глаза, и не обиды, не досады, а слезы радости, и видится Бог, страдающий за них и вместе с ними.

Первым подхватил пение Олег, и сразу все запели:

— Под землею скрыта спасенных отроцы, но мы яко отроковицы Господеви поем, славно бо прославися, — эту минуту пения всех вместе потом никто никогда не мог забыть, она была решающей в их жизни, с нее начинался новый поворот.

Они настолько увлеклись, что не заметили, как вокруг собираются какие-то женщины, образовывается огромная толпа, а они все поют и поют ирмосы канона.

— Не рыдай Мене, Мати, зряще во гробе, Его же во чреве без Семене зачала еси Сына: востану бо и прославлюся и вознесу со славою непрестанно, яко Бог, верою и любовию Тя величающие.

Первым, кто вышел из этого религиозного экстаза, был епископ, он с просветленным лицом и вдохновенными глазами сказал:

— Ну хватит, смотрите, сколько народу, надо знать меру.

Священники на него смотрели с упованием и покорностью.

— Пошли, — сказали друг другу.

Сначала хотели было идти к о. Константину, но так как тот отозвался неохотно, ссылаясь на то, что у него маленькая комнатка, а самое главное — теща с характером, да и Тоня, жена о. Николая, отсоветовала и предло-

жила пойти к ним. Тут были тоже свои неудобства, к ним может пойти масса людей, так как они жили недалеко отсюда, и тем навлекут на себя подозрение, но делать было нечего.

Всю ночь шли обсуждения, какой найти выход из создавшегося положения. Епископ долгое время слушал молча, высказывался больше о. Константин, его поддерживал о. Николай, и по-женски иногда дельные советы подавала Тоня. Она не знала, как держать себя при епископе, краснела, выглядела умницей и скромницей, и сам о. Николай удивлялся, как в ней в то же время могли уживаться и бесы?

Наконец сказал свое слово епископ. Предварительно он спросил: что по этому поводу предпринимает местный епископ? О. Константин и о. Николай недоуменно переглянулись между собой, пожали плечами, и разочарованно сказал о. Константин:

— Думаю, ничего.

Жена о. Николая добавила:

— Может быть, даже доволен...

Епископ перебил ее:

— Не думаю, что доволен. Насколько я знаю, вера у него есть, но он захвачен современной стихией и плывет по течению.

Все с надеждой смотрели на епископа, он продолжал:

— Я считаю, что бороться нужно, хотя храм этим не отстоять, борьба в какой-то степени будет тормозить их разрушительное дело. Можно написать Хрущеву, хотя этот человек с большой ненавистью относится к Церкви и вообще к религии, можете написать вы, напишу и я.

Поздно ночью легли немного отдохнуть. Раньше всех проснулся о. Константин и пошел к себе домой, так как он никого не предупредил, куда уходит. Теща его встретила очень неприветливо, назвала бродягой, растерянно как-то смотрела жена и вдруг уронила слезу.

— Что такое? — всполошился о. Константин. — С мамой поругалась?

— Да нет, остаемся на произвол судьбы.

Они сели за стол, она выбросила свои руки с каким-то отчаянием.

— Боюсь за себя, выдержу ли?

— Опасного ведь ничего нет.

— Как нет, храм закрывают. Прибегала бывшая староста, тебя просят прийти. Раз вмешалась эта женщина, добра не жди.

— Поедем вместе, — предложил о. Константин.

— Спрошу у мамы, боюсь, что не отпустит.

Теща никуда ее не отпускала, хотя и к ребенку не подпускала, занималась сама, но стоило только выразить желание куда-то пойти, как сразу подымался скандал.

— Все только бродяжничать, достаточно того, что бродяжничает один, нет, еще тянет и жену. Заимели ребенка, сами и глядите, а мне надо отдохнуть.

В комнату жена вошла расстроенной.

— Поезжай один, не отпускает.

За женой вошла теща, нервно бросила тарелку, села на свою маленькую кровать.

— Ну, этого я никогда тебе не прощу, — обратилась к о. Константину, тот ничего не понимал.

— Чего не простите, чем я вас обидел?

— Молчи, дурак, попадьи твоей не прощу. Всю душу вкладываю в ребенка, ночей не сплю, и все я нехорошая. Не буду больше, не буду.

О. Константин и жена молчали, жена кивнула головой: поезжай, мол.

О. Константин на дорогу перекрестился, благословил жену. Теща, поняв его намерение, закричала:

— Опять бродяжничать? И ты, дура, посмотришь, будешь ходить нищенкой, надо его бросать тебе, вот что.

Больно ударили в сердце эти слова, о. Константин молча поцеловал жену и, ничего не сказав теще, ушел.

Около храма и в храме было очень много народу, все возбужденные. Оказывается, уже приезжали из райисполкома и официально объявили, что храм закрывается ввиду расширения улицы, намечается большое строительство.

Кто-то им громко закричал:

— Не имеете права!

Этого крика было достаточно, чтоб поднялся невообразимый шум:

— Так в Америке с неграми не обращаются, как вы с нами.

— Свободная страна называется?

— А какое притеснение!

Секретарь райисполкома еще что-то хотела сказать, но поняла, что с этой рассвирепелой толпой шутки опасны, в ее адрес полетели слова:

— Шкура!

— Убирайся отсюда, пока не поздно.

Кто-то запустил в нее свечой.

Она еле протиснулась в боковую дверь и тут же спешно уехала. Бывшая староста вышла на амвон:

— Граждане, товарищи! — не могла попасть в нужный тон. — Дорогие верующие, послушайте меня, я вам хочу сказать дельное. Надо избрать старосту, у вас его нет. Предлагаю свою кандидатуру.

— Не нужна нам такая!

— Ты с ними заодно.

— Убирайся!

Бывшая продолжала:

— Я знаю, что вы меня ненавидите, но только я могу спасти положение. Из вас никто не знает их махинаций, а я знаю. Сейчас надо делать так, как только я умею делать.

Тут вышел мужчина на амвон, как будто постоянно посещающий этот храм, властно поднял руку, шум затих, он заговорил дельно:

— Она правду говорит. Староста этого храма — хороший человек, но многого не понимает.

— А, и ты с ними заодно, — закричала на этого мужчину какая-то женщина.

— Да тише вы, крикуньи, горлом хотите взять только, что ли? — вставил кто-то из толпы.

— Я тоже предлагаю в старосты Полину Иосифовну.

— Не надо.

— Нет, надо, пусть она будет.

— Не надо.

— Пусть будет, посмотрим.

— Будет.

— Будет.

Без всякого избрания ключ от храма перешел в руки Полины Иосифовны.

— Граждане верующие, — потрясая ключами, говорила Полина Иосифовна, — заявляю вам торжественно, что оправдаю ваше доверие. Посмотрите, храм будет работать. Разобьюсь, но добьюсь своего.

Люди ей поверили, в храме установилось дежурство, она это поощряла. Люди стояли на коленках и с поднятыми руками молились Богу. Кто-то начинал всем известное пение, его подхватывали, катилась могучая волна, потом кто-то читал молитвы, за ним исступленно повторяли.

На четвертый день к храму подъехали люди на легковых машинах; с еще большим исступлением начали петь и молиться верующие, на вошедших не обращали внимания. То были обыкновенные рабочие в спецовках, их прислали разбирать стены.

— Марш отсюда! — кто-то закричал на них неистово.

— Да при чем тут мы? — спокойно заявили те. — Нас послали, и мы должны выполнять приказание, мы — маленькие люди.

— Марш, вам говорят, — еще кто-то добавил таким же неистовым голосом. — Не дадим и не пытайтесь.

— Не оскверняйте святыни!

— Не рвите наши души! — добавились голоса.

Рабочие без всякого сопротивления повернули из храма, сели в свои машины и уехали, многие из дежуривших ликовали, как будто одержали какую-то победу, и с еще большим неистовством продолжали петь — нужно было видеть их лица в то время, так, может быть, шли старообрядцы в огонь. Тут было все: и мрак, и свет, и ярость и любовь, и в то же время что-то простое от наших далеких предков.

После посещения рабочими храма из райисполкома больше никто не показывался, и некоторые был и готовы сказать, что атака отбита, больше ничто не грозит. Самочинная староста с ликующим видом обходила храм и повторяла:

— Ну вот видите, храм и не закроют. Я ходила, просила, умоляла, — с притворным видом советовала: — Надо попросить о. Константина, чтоб начинал служить.

Увидела одну старушку, истомившуюся от дежурства, глаза полусонные, красные, попросила ее: — Сходите, милая, вы.

Та истово перекрестилась, вздохнула, рот искривился от странной улыбки, пошла, за ней и еще некоторые, и остались в храме немногие, которые не верили, что атака отбита.

Рано утром третьего дня пришел участковый милиционер.

— Ну что, дежурим? — спросил он весело. — Дежурьте, дежурьте.

Поглядел по сторонам, заглянул в алтарь, сходил на колокольню, еще раз зашел в храм: — Вы, поди, еще и не ели.

— Да где есть, — закричали в один голос, — многие уже по три дня ничего не ели.

— Надо подкрепиться, нельзя так, — вкрадчивым голосом нашептывал милиционер. Он все время что-то выглядывал по сторонам.

— Гражданин милиционер, а скажите, не закроют наш храм? — кто-то осмелился спросить.

Он как-то понимающе улыбался:

— А я этого не знаю, я маленький человек, это высшее начальство только знает.

— Но ведь незаконно закрывать, правда, как вот вы рассудите?

— А что рассуждать, надо улицу расширять, а храм мешает. Вы тоже это должны понять.

— А вы должны понять, что храм — это все в нашей жизни. Тут крестились, венчались и отпевались наши деды и отцы, тут и мы хотим быть отпетыми.

— А мы вас с музыкой похороним, — захохотал милиционер.

— А зачем нам музыка? — засокрушалась какая-то ослабевшая старушка. — Со святыми упокой — вот что нам нужно.

— Вишь чего захотела: со святыми, а с грешными не хочешь? — сверкнул глазами милиционер и добродушно засмеялся.

Старушка, грустно улыбнувшись ему, добавила:

— Да уж так говорится, сама-то я великая грешница.

Разговаривая, милиционер непрестанно смотрел по сторонам.

— Чего тут вы все ищете, бомбы никакой нет, — заметил кто-то ему.

— А если есть? — двусмысленно заявил милиционер.

Еще раз окинув все кругом внимательным взглядом и намереваясь уходить, спросил:

— Что-то вас, как я вижу, защитниц, мало?

— Перекусить пошли, — догадливо ответили.

— А вы-то что, не хотите перекусывать? — спросил у них милиционер.

— Нам обещали принести.

— Ну, ну, дежурьте.

Милиционер ушел.

— Бабоньки, а не случайно он приходил, поверьте мне, что-то замышляют, — стала догадываться одна из старушек, крепкая на вид.

— Вот не встань я с этого места, если не замышляют, — присоединилась и другая старушка, больше всех действующая, лицо ее было заточившееся, но глаза светлые, как светлячки.

— Да нет, я думаю, ничего, просто поинтересовался, — с неопределенным видом стала успокаивать молодая женщина.

— У них просто не бывает, что-то замышляют, — стояли некоторые на своем.

— Надо выслать дежурство на улицу, — посоветовала старушка, опираясь на палку.

И только некоторые попытались выйти на улицу, как в храм ввалилось сразу несколько милиционеров, пронесся общий вздох, страх насторожил всех, все повскакали со своих мест, даже те, которые дремали, сидя перед иконами, или полулежали на полу.

Милиционеры рассыпались по храму, один поднялся на амвон и небрежно спросил:

— А вы что здесь делаете, ведь службы нет?

— Молимся Богу.

— Можно и дома молиться.

Старушка, недавно высказывавшая подозрение, робко спросила:

— А вы не закроете наш храм?

— Посмотрим, — улыбнулся милиционер и сошел с амвона. — А где ваша староста? — спросил он у первой попавшейся.

— Не знаю.

— А ключи у кого?

Слово «ключ» всполошило всех, подняло на ноги.

— Бабоньки, караул! — закричали. — Закрывать пришли.

— Не дадим!

— Не имеете права! — понеслось.

— У нас свобода!

— Побойтесь Бога!

— Пожалейте своих матерей!

— Сыночки, не обижайте нас, — кто-то замолил слезно.

А на улице уже несся крик:

— На помощь!

— Люди добрые, на помощь!

— Храм пришли взрывать!

Милиционеры исподлобья и затравленно начинали смотреть на свирепевших старух.

— Успокойтесь, ну что вы так всполошились, — говорили некоторые милиционеры.

Но старух ни уговорить, ни остановить больше было нельзя.

— Только переступив наш труп, закроете.

— Уходите от нас, это наш храм!
— Уходите, безбожники!
— Убирайтесь отсюда!
— Хамы!
— Дьявольское отродье!
— А я вот твое лицо запомню, — сказал милиционер в погонах капитана.
Но запомнить никого уже нельзя было, храм наполнялся хлынувшим народом. На фоне женских платков запестрели мужские лысины и бороды. Вот уже кто-то в очках быстро поднялся на амвон, в нем сразу узнали Алексея Яковлевича.
— Да откуда он, такой молодец? — кто-то заликовал.
Алексей Яковлевич заговорил спокойным голосом:
— Верующие, стойте до последнего, будьте мужественны!
К нему подлетела длинная фигура Олега; быстро выбросив руку, он закричал:
— Не дадим! Мы десять тысяч подписей собрали, должны послушаться. Будем стоять, если жаждут нашей крови, пусть захлебнуться в ней!
Кто-то догадливо запел:
— Святый Боже, — понеслась пока нестройная, но тем не менее могучая волна: — Святый Крепкий... помилуй нас!
Кончали одно, запевали другое, храм уже до отказа был набит людьми.
К Олегу подошел милиционер, намереваясь увести отсюда.
— Не имеете права, это произвол! — огрызнулся он. — Не трогайте меня, я инвалид! — Он как-то рванул плечом, и милиционер выпустил его из рук.
На амвоне был уже другой, говорил тихо, его нельзя было расслышать, взметнулся неистовый крик Олега:
— Люди, слушайте, бывший антирелигиозный пропагандист говорит! — То был Ахундов, он еще говорил неумело и как-то испуганно:
— Я был безбожником, я был пропагандистом, агитатором, но чтоб так издеваться, я этого не могу себе при-

думать! — И вдруг до хрипоты в голосе заорал: — Я верю в Бога! Я теперь знаю, что Он есть!

— Верую во единого Бога, — кто-то запел чистым голосом, долгое время не присоединялись к нему, казалось, хотели слушать, но когда он дошел до слов: «Распятого же за ны», — запел весь храм. И сразу же пение захлебнулось, начались снова крики, брань, проклятия.

— Ой, ой, голову пробили.

— Ой, рученька моя!

— Что же эти звери делают?

— Спасите!

— Разбой!

— Бандитизм!

Милиционеры, крепко взявшись за руки с какими-то в штатском, выталкивали народ из храма. Некоторые пытались просочиться под руки, тех хватали стоящие за цепью из милиционеров и бросали с ожесточением на пол.

— Караул!

— Они пьяные!

— Посмотрите на эти хари!

— Фанатики! — огрызались из сцепившихся рядов.

— Вы фанатики! — кричали им в ответ.

— Николай Угодник, что же эти звери делают, что же ты молчишь? — плакала совсем ослабевшая старушка.

— Пресвятая Богородица, неужели ты нас забыла? — вторила ей такая же другая.

Храм очищался от народа, были раненые, спешила «скорая помощь», выносили в беспамятстве старух с расцарапанными до крови лицами, огромная толпа вокруг храма клокотала.

На паперть взошел милиционер с погонами капитана, вновь избранная староста совала ключ в дверь, заперев, обратилась к толпе:

— Товарищи верующие, — она не смущалась от выражений, — не надо шуметь, храм наш не будут закрывать, вот ключи у меня, вот и начальник подтвердит.

— Да, да, не будут, — промычал капитан.

— А чего же закрываете?

— Да ведь староста закрывает.

Поздно ночью разошелся народ, милиция уехала сразу, шли толки.

— Самоволия эта озверела, — рассказывала старушка, имея в виду комсомольцев. — В трамвае кто-то толкнул беременную женщину, муж вступился. Так один самоволец этот, яспид етот, сказал: ты толкни его так, как мы толкали фанатиков.

— А в Москве, в Измайлове, был и такой случай, беременная женщина что-то сказала проходящим фызушникам, так они ее сначала изнасиловали, а потом положили на нее доску и выдавили двойняшку.

— Озверел народ.

— Без Бога строят, поэтому так и выходит.

Молодая женщина, прилично одетая, в беретке, проходя мимо, спрашивает:

— А чего собралось столько народа?

— Храм отстаивают.

— Гм, — поджала она тонкие губы. — Я бы этих фанатиков... А с ними еще возятся... — И пошла размеренным шагом.

Площадь пустела.

А когда наутро из-за хмурых туч показались первые лучи восходящего солнца, около груды кирпичей вместо храма стояло много молчаливого, безмолвствующего народа, не было ни плача, ни крика, невыразимая скорбь лежала на всех и всем. И долго потом скитался этот народ, не находя себе пристанища и не зная, что теперь делать и что предпринять.

В душе бился вопрос: с чем борются?

Не только в наше время, а с первых веков христианства проливается кровь, разрушаются храмы, оплевываются лучшие чувства.

Христос распят, но Он живет в сердцах людских, Его ничем нельзя победить.

А все, что совершается, только морская волна, только приливы и отливы, бьются в бессильной ярости волны,

лижут берега, а к Христу будут идти, в Него будут веровать, Ему будут поклоняться, Им жить.

Уже потом, когда прошла первая волна скорби, рассказывали, как взрывали храм. В три часа ночи завыла сирена, и последовал мгновенный взрыв. Люди выбежали на улицу, стоял сплошной дым и оседающая пыль. Храм как будто взлетел на воздух, было как-то жутко видеть этот взлетевший храм, стены стали рассыпаться, крыша постепенно оседала. Вдруг в проломе крыши показался церковный столп с изображением Распятого, верующие, ахнув, бросились к кресту.

— Нельзя, назад! — закричали им.

Последовал второй взрыв, после которого осталась только груда развалин.

Дым рассеивался медленно, подымающееся солнце плавало как будто в тумане.

ПО ВОЛНАМ МОРСКИМ

Я думал на этом поставить точку.

Что можно еще добавить, житейская волна ударила в веками созидаемый храм и опрокинула его. Но жизнь говорит, что рано ставить точку, надо продолжать...

Церковь взорвана, людские души взорваны, но что-то все-таки осталось?

Как поплыли по волнам герои? Впрочем, за кого вы меня принимаете?

Разумеется, у вас готов ответ: вы автор повести «Волною морскою»...

Все это так и не так. Лучше меня назвать собирателем фактов, а повесть пишут сами мои герои.

Вот через некоторое время я снова передам перо в руки о. Константина, а пока — что сталось со всеми?

После разыгравшихся событий о. Николай и о. Константин потеряли голову, хотя они и надеялись на Бога, но что-то нужно делать, кормить свои семьи, все хотят есть.

И как ни странно, у беспомощного в житейском отношении о. Николая все устроилось в скором времени, не-

дельки так через две пригласил его к себе владыко Ермоген, помните, который проездом? Пригласил официально, через местного епископа. Вызов совпал с тем моментом, когда молчавшая жена начала понемножку пилить. Сначала она ходила в поисках работы, стучалась во все двери.

— Пожалуй, работа найдется, — отвечали ей, — но вот кто ваш муж?

— А разве это что-то значит? — спрашивала она.

— Гм, — пожимали плечами они. — Конечно, ничего не значит, а все же? Кстати, вы сами верующая?

Жена смущалась, невольно заикалась.

— Впрочем, если не желаете, можете не отвечать, — успокаивали они. — Это ваше личное дело, а к нам зайдите завтра. — Пока до свидания, я поговорю с сотрудниками, — переходил начальник на официальный тон.

Она уходила, приходила на следующий день, мало на что рассчитывая, переступала порог, ее любезно встречали, задавали еще вопрос:

— А вы не можете повлиять на своего мужа, чтоб он заявил в печати о том, что Бога нет, и все такое, ведь, право, странно, вы молодые люди, мы все живем в век атома, идем к коммунизму, и верить в какие-то сказки, ей-Богу, я отказываюсь тут понимать что-либо.

— Ну хорошо, я поговорю, — тянула она, стояла и чего-то ожидала.

Начальник подымал голову от бумаг, как будто вспомнив о том, что кто-то перед ним стоит.

— Работы пока нет, — говорил он загадочно, — но вы не теряйте надежды, заходите...

Она заходила и еще на всякий случай, и не раз, но было все одно и то же, и тут она начала пилить мужа.

— Коля, Бог ведь не такой жестокий, чтоб не видеть, в чем дело. Ну напиши, что Его нет, а сам в душе веруй. Такое время пришло, ничего не поделаешь. Я устроюсь на работу, и будем жить, а потом и ты устроишься.

— А ты думаешь, о чем говоришь? — спросил у нее о. Николай.

— А что, лучше будет, если мы умрем с голоду?

Смотрела она с искренним простодушием, что еще сказать этой боязливой душе? Лучше было бы больше с ней не сходиться, он так и думал сделать, а вот епископ Ермоген, казалось бы, строгий монах, посоветовал иначе.

— Ты прав, — говорил он ему, — но не надо забывать и ее. У нее жизнь тоже испорчена, раз она была замужем за тобой. Ну, найдется и еще какой-либо, поживет с ней и бросит, а ребенок, он ведь твой. Как хочешь, можешь жить как брат с сестрой, но не забывай, что и ты сам молодой человек, и сможешь ли пройти путь один?

О. Николай покраснел, вспомнив свой соблазн, епископ Ермоген продолжал:

— Мой совет: помолясь Богу, живи с ней.

О. Николай так и сделал. Но, видимо, раз получилась трещина, она должна увеличиваться. И тут, когда стало все напряженным, пришла телеграмма от местного епископа. «Что он хочет? — подумал про епископа о. Николай, — неужели хочет предложить место?» — но это он только думал, а не был уверен, он закричал жене, чтоб чем-то ободрить ее:

— Тоня, епископ вызывает!

— Вызывает, значит, место предложит, — обрадовалась она, ей так показалось.

И только они стали собираться, чтоб поехать вдвоем, даже ребенка прихватить с собой, как около дома остановилась легковая машина. Бодро вбежал в их квартиру молодой шофер, рано начавший лысеть.

— Здесь живет о. Николай Давыдков?

— Здесь.

— Вас вызывает владыко, срочно, я его шофер, готовы? Поехали.

— Можно с женой?

— Нет, только вы.

Шофер гнал машину очень быстро, так что о. Николай не успел продумать, как ему подойти к епископу. Епископ встретил его благодушно, раскрыл объятия как другу.

— Ну, как, о. Николай поди, все дуешься на меня, но я незлопамятный, хочешь служить?

— Конечно.

— Конечно, конечно, а все же у тебя такой-то светский тон, надо бы: если благословите, владыко, приму со смирением это высокое служение... А ты?.. Ну так и быть, служи.

О. Николай не мог удержать выползавшую улыбку, она, как утренний луч солнца, осветила лицо, и глаза загорелись в луче этой восходящей радости.

— Только служить ты будешь не у меня, а у владыки Ермогена, но все зависит от меня, а я, видишь, зла не помню. Поговорил с уполномоченным, уломал его, долго не соглашался: не воспринимает почему-то он тебя. Завтра поедешь к епископу Ермогену, вот его адрес.

Епископ протянул заранее записанный адрес на небольшом клочке бумаги.

Когда о. Николай сложил руки для благословения, епископ остановил его.

— Ты не спеши, я так быстро тебя не отпущу. — Полез в карман, отвернул рясу, стоял во весь свой рост, и, так же как и тогда, открылись его ноги в отлично выглаженных брюках... — Вот тебе на дорогу.

— Что вы, владыко, — засмущался о. Николай.

— Бери, когда дают. Помни старика, он тоже человек, и не задирай нос, учись жить. Теперь, брат, — время не то. Не только «Господи, помилуй» надо знать, но и что-то другое. А я незлопамятный, — епископ, благословив о. Николая, поцеловал его в лоб. О. Николаю показалось, что мудрее и добрее этого епископа никого нет, и только поражался тому, что когда-то он раздражался на него и говорил ему резкие слова, пробилась слеза:

— Вы меня простите, владыко, что я вам когда-то грубил...

— Ну, ну, иди, я незлопамятный, — прервал его епископ, — а то нюни распустишь. — Подмигнул весело, по-светски: — Я уже все забыл.

И когда о. Николай был у самого выхода, бросил ему вдогонку: — И ты прости меня, служи там хорошо, не забывай и меня. Только вот меня мало кто понимает.

— Владыко, — остановился о. Николай.

— Ну, ну, иди, жена, наверно, ждет не дождется.

О. Николай вскоре переехал к епископу Ермогену, стал служить в кафедральном соборе и одновременно же был секретарем у него.

О. Константину все как-то не везло, казалось бы, деловой, мастер на все руки, а устроиться не может, ему заявляли прямо:

— Откажись от Бога, сними сан, и твоя жизнь наладится.

— Нет, буду умирать священником, — с неменьшей прямотой заявлял он.

— Смотри, тебе видней, не пожалел бы...

О. Константин часто неофициально исполнял требы на дому, рисковал, конечно, могли бы запретить в служении, не гнушался и работой в колхозе — чинил трактора — и с голоду не умер бы, но теща его ела поедом, да и жена стала иной...

Как-то о. Константин встретился с Алексеем Яковлевичем, тот недавно возвратился от епископа Ермогена, рассказал, что к нему, Алексею Яковлевичу, приезжали из милиции и заявили, что, если не устроится на работу, вышлют из города, вот с этой целью и ездил, не поможет ли как-то епископ Ермоген?

— Ну и что? — спросил о. Константин.

— Не помог, — разочарованно ответил Алексей Яковлевич, замолчал, пошли молча.

— Этот Владыко с дальним прицелом, — продолжал Алексей Яковлевич. — Деятельный, вне всякого сомнения. Дал я ему прочесть свои сочинения, похвалил и хоть бы на дорогу сколько-нибудь дал, зная, что мне негде взять. Накормил, конечно, икрой, вручил свое письмо, адресованное Хрущеву, с этим мы и расстались.

О. Константин ничего не сказал ему на это, нелегко понять, в чем тут дело, тем более что не хотел разочаро-

вываться в личности епископа Ермогена, ведь на сегодняшний день это самая светлая точка на церковном небосклоне. Немного выждал и осторожно спросил:

— А вы о. Николая там видели?

— Видел. Он хорошо живет. Если бы не он, мне пришлось бы пешком оттуда топать. Но денег хватило только в одну сторону.

Алексей Яковлевич что-то вспомнил, оживился:

— Знаете что, поезжайте-ка вы к о. Николаю — а вдруг он и вас там устроит?

— Пожалуй, дело, — согласился о. Константин. — Попробую. А вы сейчас куда направляетесь?

— К Олегу. Погибает человек. Зачем-то женился, жена оказалась такая, что он запил от нее. Вспомнился ему лагерь, как глотал наркотики, чтоб забыться от трудностей. Наркотики, пожалуй, хуже водки. Погибает человек. А по душе золотой. Да, как часто ломает жизнь людей.

Вскоре после разговора с Алексеем Яковлевичем о. Константин, списавшись с о. Николаем, уехал к нему. Жена в это время пошла брать сороковую молитву, хотя уже гораздо больше прошло времени, чем сорок дней.

О. Константин сразу направился в канцелярию епископа. Канцелярия помещалась в большом особнячке, там же и жил епископ. Туда можно было попасть через узкий коридор. В коридоре дежурил старичок, полудремал, сидя у телефона.

— Скажите, пожалуйста, как мне пройти к епископу? — разбудил его о. Константин.

— А вот прямо, — встряхнулся тот, — и налево небольшая дверь, там находится секретарь, он вам все и объяснит.

— Спасибо.

Тихо постучал.

— Зайдите, — послышался знакомый голос.

Робко отворил дверь и сразу узнал о. Николая, тот что-то писал, не глядя, предложил проходить.

О. Константин молча остановился у двери.

— Что же вы там стоите, берите вон стул, — указал на место недалеко от стола. Закончив писать, поднял глаза.

— Боже мой, о. Константин! — вскочил обрадованно о. Николай, выбежал из-за стола, расцеловались. Отойдя к столу, о. Николай вгляделся в о. Константина и заметил, как тот исхудал, выпирали кости на лице и глаза глубокие, как две колдобины.

— Садись, садись, как я рад. Ты так до сих пор нигде и не служишь?

— Как видишь.

— Слушай, будем говорить с епископом, я думаю, он устроит. Он может. Правда, его все здесь ненавидят, но он так упирает на закон, что им возразить нечего и все кончается благополучно.

Раздался тихий звонок от епископа.

— Сейчас и поговорю, — уходя, уверил о. Николай. — Побудь пока здесь, только, пожалуйста, не стой, садись.

Через какое-то мгновение вышел сам епископ и попросил о. Константина зайти к нему.

Епископ усадил о. Константина на диван напротив своего стола, сам уселся в кресло за столом.

— Ну рассказывайте, батюшка, как у вас там дела?

— Да все так же, — вздохнул о. Константин.

— Храм не думают восстанавливать? — грустно улыбнулся епископ.

— Да где там? — о. Константин переменил положение на диване, положил руку на стол. — Но вообще поговаривают, что влетит тому, кто дал разрешение взорвать храм. Только что-то не находят того человека, все подписи перепутаны. Говорят, все только ссылаются друг на друга, а кто виноват, и не могут узнать. Определенно только стоит подпись нашей самочинной старосты.

Епископ принял строгий вид:

— Да, это так всегда и бывает: кто делает, никто не знает, тем более если еще и мы молчим.

Епископ по-деловому обратился к о. Константину:

— Вы нигде так и не служите?

— Да, нигде.

— Хорошо, подумаем. О. Николай, — обратился епископ к своему секретарю, — можете идти с о. Константином к себе домой, я здесь как-либо обойдусь один.

— Владыко, сегодня прием большой, — возразил о. Николай.

— Иди, — повелительно сказал епископ.

О. Николай знал, что этот мягкий добросердечный епископ не любил повторять, он ушел с о. Константином.

Нужно было ехать автобусом остановок пять, но автобус ходил плохо, пришлось бы долго ждать, и они решили идти пешком. Сначала шли скорым шагом, потом сбавили, разговорились.

— Ну, как тебе здесь? — спросил о. Константин.

— Да мне вроде ничего, но уполномоченные вмешиваются во все, старосты в основном продажные. Чтоб удержаться на месте, готовы на любую подлость. Если бы не епископ, все давно бы развалилось.

— А народ?

— Народ даже хуже, чем у нас. Бывают такие случаи, что приходят в храм не молиться, а шуметь. Задумают, допустим, съесть какого-то священника, женщины кричат открыто: «Он с нами жил, от него ребенок...» Приходится или перемещать священника, или, если настойчиво повторяют, до выяснения дела удалять в заштат...

Прошли несколько молча, каждый со своей думой, о. Николай грустно добавил:

— К сожалению, бывают случаи действительные...

— Да, — проглотил комок слюны о. Константин, — а как у тебя лично?

О. Николай, как будто не понимая, переспросил:

— А что?

— Как здоровье жены?

— Здорова, — неохотно ответил о. Николай.

— А Андрюша?

— Андрюша? — засиял о. Николай. — Андрюша — хороший мальчик, вот придем и увидишь сам.

За разговором они не заметили, как подошли к дому.

О. Николай снимал две маленькие комнатки у одной вдовы, очень неразговорчивой и подозрительной. Залаяла собака, вышла сгорбленная старуха.

— Кто там?

— Да это мы, мать.

— Кто мы?

— О. Николай с товарищем.

За дверью послышался звонкий крик Андрюши.

— Папа, папочка! — Повис на шею, побежал к маме: — Мама, папа пришел!

Старуха угрюмо скрылась в свою боковую комнату.

Переступили порог передней, за столом сидел с нахальным видом молодой человек, по всему столу разбросана закуска, вино, видно, успели выпить, стоял только опорожненный стакан.

— А я не ждала так рано тебя, — заговорила жена, выйдя с Андрюшкой.

О. Николай промолчал, проходя мимо нее, они с о. Константином скрылись в заднюю комнату. За ними последовал и присмиревший Андрюша, он виновато смотрел то на папу, то на дверь, за которой осталась мама, детское сердце понимает всякие огорчения, может быть, больше, чем мы.

— Вам что-либо приготовить? — встала на пороге жена.

Молодой человек в спину ей развязно бросил:

— Ну что, надо собираться, как-либо зайду в другой раз... Договоримся...

— Идите, — будто без участия, сказала она ему.

— Ты о нас не беспокойся, — махнул рукой о. Николай, стараясь быть спокойным. — Займи чем-либо сына, у нас тут разговор...

Жена увела запечалившегося Андрюшу.

— Значит, дело неважно, — сказал определенно о. Константин.

О. Николай тоже определенно подтвердил:

— Я этого ждал. Раз стала катиться, покатится.

О. Константин, не стараясь продолжать разговор, полез в боковой карман, достал какую-то помятую тетрадку и положил перед о. Николаем.

— Это что? — спросил тот.

— Прочтите.

О. Николай, не посмотрев, хотел было спрятать в стол, но о. Константин сказал, чтоб он прочел сейчас же:

— А я посижу, поразмышляю, тем более что говорить больше не о чем, — добавил он, заметив, что о. Николай хотел было что-то возразить.

Оставалось, следовательно, только читать, о. Константин, чтоб не мешать его чтению, пошел к жене о. Николая.

Послышался приглушенный разговор, но его вскоре сменил веселый беззаботный смех Андрюши, и вдруг все прекратилось, после этого начался разговор Андрюши и о. Константина, спокойный, понимающий.

Как впоследствии выяснилось, жена о. Николая, неохотно поговорив с о. Константином, пошла искать своего молодого человека, возвратилась уже тогда, когда Андрюша спал, и о. Николай и о. Константин, все переговорив, на всякий случай поджидали ее. На первом листе тетради о. Константина было написано:

«МОЯ ИСПОВЕДЬ».

Никогда мне не могло даже прийти в голову, что я буду кропать, (так о. Константин презрительно называл «писать»), стану философом, к чему я всегда подозрительно и с насмешкой относился. А вышло именно так: стал кропать и стал философом.

Началось все с очень простого. Жена моя очень усердно занималась ребенком, все время находилась с ним, никуда не выходя, похудела и побледнела.

Как-то пришел к нам Алексей Яковлевич и пригласил в гости к одному молодому юристу. Пригласил меня, жена в гости не ходила, я посмотрел на нее с состраданием и пригласил ее от себя. Она долго и искренне отказывалась, потом переговорила с мамой, и та — удивитель-ное дело — отпустила ее сразу, согласилась. Быстро собрались и пошли. Бледность на свежем воздухе у жены стала более заметной, похудела она настолько, что пальто висело на ней, как на вешалке. Мне ее было очень жаль. Мы решили идти пешком, хотя было далеко. Жена

взяла сначала под руку меня, потом Алексея Яковлевича и сама, таким образом, оказалась между нами. Мне сразу как-то стало ясно, что ей это приятно, она уже разговорилась, и больше с Алексеем Яковлевичем, хотел было заревновать в душе, но все-таки прогнал эту мысль. Это мне кажется, уговаривал я себя. Переходя ручеек, где можно было перейти в крайнем случае вдвоем, она отпустила меня, а пошла с ним. Я с неприятным ощущением пошел следом. Она попридержала Алексея Яковлевича и простерла ко мне руку. Подойдя к магазину, мы решили что-то купить в подарок, и тут (мне совсем стало неприятно) она даже в магазин пошла под руку с Алексеем Яковлевичем. И как-то не под руку, а держалась за него. Я топтался около магазина, пока они покупали конфеты. Потом все пошло благополучно.

В гостях было очень хорошо, мне особенно понравились крепкие устои хозяев. Муж, хотя он лет на пятнадцать старше жены, был глава семьи, все его слушались, жена, хотя и выглядела молодо, вела себя скромно. Это особенно стало заметно тогда, когда упился Алексей Яковлевич. Я не знал того, что, когда он пьян, вел себя нехорошо. Он цинично стал хватать за руки женщин, прижимать к себе, хозяйка тут же ушла от него и больше не появлялась. Заметив такое поведение Алексея Яковлевича, один незнакомый нам рыжебородый человек сказал:

— Что это за свинью вы привели сюда?

Тот, наверно, не знал Алексея Яковлевича и не читал его талантливых произведений, иначе бы воздержался от своих высказываний.

Возвращались мы в одиннадцатом часу вечера, и тут произошло, на мой взгляд, невероятное. Алексей Яковлевич, когда мы вышли, подхватил мою жену под руку, и не успел я оглянуться, как они убежали далеко вперед. Я топал с рыжебородым человеком, который с легким юмором мне заметил:

— Смотри, уведет, — и добродушно рассмеялся.

— Ничего, — пока тоже с юмором сказал я.

Но мне было неприятно, что они убежали. Добежав до перекрестка дорог, они резко повернули обратно, и мне показалось, что Алексей Яковлевич, наклонился к моей жене... и... и... Еще не поравнявшись с нами, то есть со мной и рыжебородым человеком, весело улыбнулись нам и снова побежали тем же путем.

Я начал нервничать, хотя внешне этого не показывал.

К дороге мы подошли все вместе, нужно было ее переходить. Алексей Яковлевич сказал, что он сейчас найдет такси, и с собою потянул мою жену. Она не успевала за ним, и как-то было неприятно видеть ее бегущую. Такси скоро попалось, мы уселись и уехали. Нам с женой нужно было выходить раньше, простились, поцеловались между собой мы, мужчины, чего ни разу не было, Алексей Яковлевич полез целоваться и с моей женой, у меня все закипело. Отойдя несколько шагов, я решил высказать все жене, но в легкой форме:

— Ты не умеешь себя вести.

Она в упор посмотрела на меня с искренним недоумением:

— Как так?

— Да вот так. Ты видела хозяйку, как она сразу ушла от Алексея Яковлевича, когда он позволил с ней вольности, а ты согласилась с ним, пьяным, бегать по дорогам. Мне было это очень неприятно.

— Ты что, подозреваешь меня? — спросила она.

— Я ничего не подозреваю. Если бы подозревал, разговор был бы другой, я только говорю: ты не умеешь вести себя.

— А ты попридержи свой язык. Сам ты подумал, что, так разговаривая с женой, ты ее оскорбляешь?

Она начинала нервничать, начинался спор. Через некоторое время — слезы, и мы с ней рассорились. Рассорились, как говорится, крупно.

Это было в первый раз, но это не стало в последний, у нас нарушился нормальный семейный ход. Нет, тут не было измены, тут только было своеволие жены, но как сказать, не отсюда ли и начинается измена?

На следующий день как ни в чем не бывало пришел к нам Алексей Яковлевич.

— А знаете ли вы, как вчера вели себя отвратительно? — встретил я его вопросом и рассказал ему все подробно, что было. Он виновато смотрел на меня и попросил прощения, говоря, что он ничего не помнит: ни как бегал, ни что говорил.

— Пьяный я вообще человек нехороший.

Я этому поверил.

Он заверил меня, что этого больше не повторится, и мы об этом с ним условились.

Но как сказать, с этого момента у меня все-таки началась ревность. Мне казалось, что он слишком усердно целует руку моей жены, уходя и приходя, что, приходя к нам, слишком близко садится к ней, и они особенно усердно разговаривают, когда я ухожу из комнаты.

Я стал с ним разговаривать резко, и, когда он стал убеждать меня, что тот случай — это мне показалось, и совсем было не так, как я рисую, я заявил ему прямо:

— Раз так, то больше ходить ко мне незачем.

Жена стала за него заступаться, говоря, что я не прав, и даже заплакала, что я и ее оскорбляю в том числе.

Все-таки и после такого разговора он умудрялся приходить к нам. Мы с женой снова поссорились. Потом я стал доказывать ей ласково:

— Ну вот давай представим себе, что я с кем-то так пошел, тебе было бы приятно?

Она согласилась с тем, что да, неприятно, но все-таки говорила, что в этом ничего плохого нет.

— Да пойми ты, что я тебя в плохом и не обвиняю, тогда у нас был бы разговор другой.

— Ну а в чем же ты мне не веришь?

— Ты знаешь, что такое поведение сошло бы в другой семье, но не в семье священника. Семья священника особая...

— Я вообще знаю, что ты фанатик.

У нас началось непонимание. И наконец, я вообще перестал понимать жену. Нужно было ехать в деревню,

я был против, и средств мало, и мне скучно без нее. А она настаивала. Теща тоже настаивала на том, чтобы ехать, я стал умолять жену.

— Что ты меня держишь, как собаку на привязи? — бросила она мне резкие слова.

— Поезжай. Собаки мне не нужны, мне нужен друг.

Они уехали: теща, дочь и жена, а я остался один. Вот тут я понял, что значит скука, одиночество, что значит семья, и пришел к выводу, что я, наверно бы, так не скучал, если бы был неженатым.

Я все перебрал и передумал. Я, казалось бы, очень практичный человек, не знаю, что делать. Конечно, там встречаться с Алексеем Яковлевичем она не могла, да и он приходил ко мне, я его видел, но у меня были подозрения, а особенно то, что жена меня не понимает и не желает меня слушать, это было хуже всего. Та жена, которая казалась такой скромной, преданной.

Наконец я не выдержал и тоже уехал в деревню. Мой приезд для них был неожиданным, по лицам их я заметил, что они умиротворились и были довольны: свежий воздух, к тому времени созрела малина, что может быть лучше?

Дочь меня встретила радостно.

— Папа? — И такими сияющими добрыми глазенками уставилась на меня, попросилась на руки. Я ее поцеловал, подбросил несколько раз, подошла жена. Не скажу, что ей мой приезд был неприятен, она искренне улыбалась, но если б я не приехал, тоже ничего бы не случилось. Теща встретила насупленно и, не ответив на приветствие, бросила колючий вопрос:

— А дом на кого оставил?

Жена тихо заметила:

— Мама, успокойся, с домом ничего не сделается.

— Не сделается? Вам, лежебокам, все равно, даже здесь не дает покоя. Вот навязался на голову.

Оказывается, я всему виной.

Я грустно остановился на пороге. Настоящая мать жены стояла и сострадательно рассматривала меня, тяжело дыша, перед тем что-то делала по дому.

Теща, или, вернее, тетя, сердито продолжала:

— Вот брошу вас всех здесь и уеду. Подумаешь, соскучился...

Жена поняла, что мира сегодня не будет, взяла на руки ребенка, и мы ушли. День был хороший, ясный, солнечный, лес рядом.

Когда нашему взору открылся деревенский простор, я забыл обо всем, и так умиротворенно стало на душе. Рядом дочка, и жена смотрит ласково, все-таки заметно, что она соскучилась. Мы шли медленно, поднимаясь на горку у самого леса, я взял дочь на руки, пригладил ее путаные кудряшки. Она потерлась о мое лицо и нежно, по-детски поцеловала меня в щеку.

— Как хорошо! — невольно воскликнул я.

Жена согласилась.

Я ей сказал, что я здесь буду немного, всего три дня, давай проведем их как следует.

Посидев немного, мы стали собирать малину, заходить в кусты далеко я им не позволял, заходил сам. Набрав в руку малины, выходил и по ягодке клал в рот дочери и жене, себе оставлял только раздавленные.

Поздно мы возвратились домой, ругани больше не было, обед приготовили хороший, даже к обеду достали деревенской самогонки. Я быстро упился, склонил голову на стол и задремал, когда очнулся, за столом никого не было. Через некоторое время возвратилась жена и сказала, что она укладывала спать ребенка.

— Ну, ты наелся? — спросила она у меня.

— Да.

— Может, ты ляжешь спать, а мы с мамой пойдем за малиной?

Такое ее предложение меня обидело, ведь договорились идти вместе, я напомнил ей об этом.

— Я не знаю мест, где хорошая малина, а мама знает, а завтра мы пойдем с тобой, — продолжала она упрашивать меня.

— Слушай, да нам же не малина нужна, я хочу быть вместе, — начал я раздражаться.

Жена сразу надулась:

— Вот ты всегда так, держишь меня как на привязи, или ты не доверяешь мне, или я тебя не понимаю, чего ты хочешь.

— Можешь идти куда угодно, — рассерженно я вышел из-за стола и ушел в сад.

За малиной пошли обе матери, жена, надувшись, осталась дома, карауля сон ребенка.

«Что случилось, отчего такая перемена? — обдумывал я, сидя в саду. — Ведь, казалось, она не такая?» И тут мне вспомнилось. Вспомнилось то, что мы с ней быстро поженились, через два месяца после знакомства, могла ли тут быть любовь? Вспомнился и такой случай. Мы уже встречались около месяца: но еще ни о чем не договаривались. Позвала она меня к себе, угостила, выпили. И чтобы что-то сказать, я сказал ей, что мы будем счастливы, чуть ли не то, что я в нее безумно влюблен. Слушая меня, жена, тогда моя невеста, ровно улыбалась, теща изучающе присматривалась ко мне, простые старушечьи глаза в тот момент были мудры, и я, признаться, радовался тому, что у меня будет такая хорошая теща. Когда мы с женой, то есть невестой, после такого моего излияния пошли гулять, я ей сказал, что нам нужно подумать о том, когда соединить свои жизни. Она испуганно вздрогнула, но глянула на меня доверчиво и ласково, и совсем спокойно, и, казалось, равнодушно сказала:

— А мы только еще знакомые...

После этого не о чем мне было говорить с ней, я долго шел молча, она заглядывала мне в лицо, что-то хотела сказать, виновато улыбалась.

— Отчего ты запечалился? — спросила она.

— Да так, настроение плохое.

— Ну что ж, может, тогда ты проводишь меня домой?

Я проводил ее, холодно распрощался, следующее свидание она назначила сама.

Я тогда, уходя от нее, решил твердо, что с ней мне нужно все разорвать, хотя впоследствии думал иначе, а

что ей можно было тогда сказать? Тоже объясниться в скороспелой любви, которая чуть завязалась в сердце?

На следующее свидание она пришла совершенно другой, я немного успокоился, очень много говорил, она слушала грустно, и когда мы стали расставаться, не договорившись ни до чего определенного, она мне сама напомнила:

— Я согласна, что нам нужно подумать серьезно.

— Когда? — радостно воскликнул я, напоминая о времени.

Мы договорились расписаться через месяц.

Но в назначенный день я непонятно почему заболел, как будто простудился, немного ломало, но температуры не было, была какая-то слабость, так что я был даже не в силах побриться, хотел послать к ней знакомую старушку сказать, что отложим до моего выздоровления, но решил идти сам. Встретила она, невеста моя, взволнованно, потому что я немного запоздал. Я начал бестактно:

— Знаешь что, давай отложим, я не побрился...

Глаза ее быстро прыгнули вверх, маленькие, острые, казалось мне, они выбирали место, куда бы вгвоздиться в меня. Я добавил:

— Я себя очень плохо чувствую, ну хотя бы до завтра.

Она заплакала, и эти слезы решили все, она уже согласилась подождать, но я настоял, мы расписались. И сам не знаю, то ли я забыл о своей болезни, но из ЗАГСа я выходил совершенно здоровым, она наставительно говорила:

— В таких вещах должна быть серьезность.

И вот теперь, сидя в одиночестве в саду, я и перебирал все это, и спрашивал себя: неужели она вышла замуж без любви?

Я пытался проверить себя, а есть ли у меня любовь? Мне казалось, я ее любил горячо. Любил за скромность, любил за то, что она много страдала, любил за детское выражение глаз, а теперь?

«Что теперь? — заспорил я с собой. — Допустим, мы бы расстались, слишком была бы большая рана, это, наверно, любовь? Но отчего жена такая непонятная?»

Я возвратился из сада, она с дочерью сидела на скамейке, молчаливая и грустная, я не знал, с чего начать. Заговорить с ней первым я не хотел, хотя и не был мстительным, видимо, гордость мешала, и я сказал дочери:

— Пойдем прогуляемся. — И, посмотрев на жену, снисходительно добавил: — Если мама с нами не хочет идти.

— Дома некому остаться, — вставила она несердито.

Мы ушли с дочерью, возвратились поздно вечером, вернее, даже не так. К вечеру собралась гроза, вот-вот закапает дождь, я не хотел уходить из леса, чтоб не промокнуть в дороге, негде будет укрыться, медлил. Неожиданно прибежала жена, схватила рассерженно ребенка и помчалась домой. Мне казалось, не в том была причина ее сердитости, что я не возвратился домой вовремя, а в том, что я не остался с ней дома или не настоял, чтобы она все-таки пошла с нами, пойми женщину! Дома у нас совершилось примирение, спать мы легли в очень хорошем настроении, теща легла с дочерью, а мы спали на террасе. Свежий воздух вливался оздоровляющей волной в открытые окна, деревенское небо со множеством ярких звезд, каких в городе никогда не бывает, низко склонилось к нашему окну.

— Какой ты хороший! — обняла она меня. — Ты лучше всех, прости, что я иногда тебя обижаю.

Эта долгожданная ласка заглушила всякую накопившуюся обиду, я ответил тем же, мы разговорились откровенно, больше говорил я, о том, какая должна быть семья у священника, как нужно хранить верность друг к другу.

— Костя, неужели ты думаешь, — спросила она, — что кто-то может встать между нами? Я никогда тебе не изменю.

Я ее крепко прижал к себе.

— А знаешь, как я боюсь того... ведь если совершится падение...

Она мне не дала закончить, толкнула в бок, через некоторое время шепнула на ухо:

— А все-таки еще ребенка я боюсь, нам будет трудно.

— А в Бога ты веришь?

— Бог-то Бог, но и сам не будь плох, как говорится, нужно смотреть и на жизнь, какая она, ведь еле концы с концами сводим.

— Трусиха ты, — укорял я ее ласково.

На следующий день мы снова с ней рассорились, я даже забыл, отчего, она мне сказала:

— Я тебе скажу прямо: когда ты с нами, у нас в доме скандал, а когда тебя нет, у нас все мирно.

Я взглянул с грустью на нее, она стояла маленькая, по-детски сердитая и по-детски обиженная, на таком лице не может бушевать буря.

— Значит, отсюда вывод: мне нужно уйти?

Она молчала, к вечеру я решил уйти, провожала она меня с дочерью.

— Папочка! — крикнула дочь.

— Не пускай папу, — посоветовала она дочери, и на ее маленьких глазах навернулись слезы, отчего ей было грустно.

Я помахал им рукой, они долго стояли, провожая меня.

Я шел медленно, все обдумывая про себя, нужно было идти лесом, на автобус мне не хотелось садиться, приятно пройти пешком.

Прежде всего снова встал передо мной вопрос: любит ли она меня? И я решил, что, может быть, не совсем, но все-таки любит и страдает. Может быть, ревнует, но к кому меня ревновать? Но я решил, что, может быть, и ревнует, но вот все-таки меня поразило, она не понимает меня, не понимает моего дела. Ей нужно, чтоб у нее все в доме было хорошо, чтоб я ей был помощник, а какой я помощник? Вот уже сколько времени не приношу в дом ни копейки, перебиваемся пенсией тещи, да что она получит, заработав на пишущей машинке, но это работа случайная. Как я не учел раньше, что в нашем деле нужна прежде всего самоотверженность, без этого при любом характере жены жизни не будет.

Возвратился я к себе поздно, в моих дверях торчала записка от Алексея Яковлевича: «Буду, жди. Нужно поговорить».

Алексей Яковлевич пришел ко мне часа в два ночи, пришел с каким-то молодым человеком, который очень похож был на еврея. Поздоровались, оказалось, что этот молодой человек в самом деле еврей, сын крупного коммуниста из другого города, интересуется религиозными вопросами. Он сам, этот молодой человек, рассказал, близко познакомившись со мной, что, когда его отец заметил в нем этот интерес, начались между ними дикие скандалы.

Алексей Яковлевич добавил:

— Его отец — это обыкновенный тип современного деятеля. Религия — мракобесие, и не смей ею интересоваться, а сын сказал: нет! — тем самым бросив вызов отцу, ушел из дому. Тогда его каждый раз мать и отец стали подстерегать на дороге из института, зазывать к себе. Отец мучается, любит сына, но ничем не выражает к нему этой любви, кричит на него, тем самым отдаляя от себя. Мать плачет, просит возвратиться в семью. Сын сказал, что он уже не маленький, и сам решил, что религия ему дороже, чем их партия. Отец взбесился и на следующий день вгорячах пошел в институт, наделал там переполоху, сына вызвали к директору. Туда собралась вся корпорация института, и отец его там же в погонах подполковника КГБ. Задавал тон отец, сын был резок.

— А что вы мне дадите взамен религии, сытую животную жизнь, лицемерие, подхалимство? Я не способен на это.

И пока они решали, что предпринять, сын подал заявление об уходе из института, притом еще добавил устно, что намерен идти учиться в Духовную Семинарию.

Закончил Алексей Яковлевич свой рассказ тем, что его, то есть молодого человека, надо крестить.

Его звали Зяма. Залман, брюнет, глаза упрямые, сосредоточенные, такой человек, мне кажется, решится на все, а ростом был мал и даже сутуловат не по возрасту.

Разговаривали мы очень дружно и понимающе всю ночь, молодой человек оказался очень начитанным, философски подкованным, следил за современной литературой.

— Ну что появилось нового по антирелигиозным вопросам? — спросил я.

— Что может появиться нового, тянут все одну и ту же жвачку.

— Скажите, пожалуйста, что вас заставило быть верующим и именно православным, когда есть другие исповедания, более сильные и воинственные, а вы по своей натуре, как мне кажется, очень воинственны?

Он, не думая, сразу ответил:

— То, что Церковь существует, несмотря на все гонения, значит, есть Бог и Его распятие — это могущество, и я не боюсь быть христианином и именно православным! — сказано было решительно и прямо.

Крестил я его перед тем, как приехать моим из деревни.

— Опять гости, — закричала теща. — Как мне опротивели эти гости, у самого копейки нет, а все угощает.

Жена также смотрела сердито.

— Ну. приехала гроза, — сказал я как бы про себя еле слышным голосом.

— Идиот ты, дурак! Вот кто ты. Еще грозой называет, а жить не умеет.

Я, сдерживая себя, обратился к жене:

— Неужели это тебе приятно слышать о своем муже?

— А что я могу сделать, если вы грызетесь меж собой? Надо уметь жить!

Трудно, когда тебя не понимают самые близкие, но вот тут-то и испытывается твоя вера, подумал я. Кто для тебя Христос, пожертвовал ли ты всем для него? Но как бы ни рассуждал я, все-таки было тяжело.

Через несколько дней скандал как-то сам по себе улегся, теща заговорила необычайно ласково, жена стала внимательна ко мне. Я немного успокоился, хотя не особенно верилось, что наступит в доме тишина, но что делать? Нужно как-то жить и исполнять свое дело.

Однажды жена встала очень рано, мне показалось, что ее посылает куда-то мама. Встала, прикрыла меня одеялом, поцеловала в лоб. Сказала, что, когда встану, все

будет на столе. Поспи побольше, ты устал — на лице выразила неожиданное сострадание.

Я сказал, что сегодня мне нужно идти крестить на дом.

— Ну вот и хорошо, — еще раз поцеловала меня, тихо, сдержанно, улыбнулась как-то, проникновенно глядя на меня.

Я снова уснул.

Проснулся, сам не зная отчего, с тревожной мыслью: обычно я спал дольше всех, и к тому времени, как мне проснуться, приходила жена, а тут ее не было.

— Где Марина? — спросил я у угрюмой тещи.

— Пошла в магазин. Она сказала, чтоб ты завтракал один и шел по своим делам, она придет не скоро.

Это мне было неприятно. Я не стал завтракать, молча собрался и ушел. Уходя, спросил:

— Когда придет Марина?

«Что-то неладно, — подумал я. — Неужели измена, неужели кто-то настолько увлек ее, что она решила бегством спасаться от меня, а как же ребенок?» На душе стало спокойней. Ну что ж, пусть, приму и этот крест. Но мысли угнетали, они не покидали меня даже тогда, когда я крестил ребенка на дому, лезли, назойливые, удручающие. Домой я не спешил, хотел, чтоб жена пришла первой. Переступил порог робко, вошла теща, ничего не говоря.

— Есть будешь? — спросила насупленно.

— А где Марина? — спросил я несколько сурово.

— Она тебе оставила письмо...

«Что-то совершилось? — заволновался я. — Что это, как это?» — понеслись мысли, обгоняя одна другую.

— Куда она ушла? — спросил я, казалось мне, сдержанно, но, наверно, я закричал.

Теща вздрогнула, как от удара.

— А я откуда знаю, куда вы уходите? Что вы ко мне привязываетесь?

— Куда она ушла, что вы задумали? — не отступал я.

— Не кричи, людей позову.

Дрожащими руками я разорвал ненадписанный конверт.

«Дорогой Костя, я в положении два месяца, уехала в больницу. Вернусь дня через два-три. Прости, я иначе не могу. Маму ни в чем не вини, она узнала только вчера. Если можешь, никому не говори. Целую, Марина».

— В какую больницу она ушла? — спросил я более спокойно.

— А откуда я знаю, отвяжись ты от меня, — разбранилась теща и выбежала из комнаты.

Вот оно, предчувствие!

Я не помню сейчас, о чем я думал тогда. Я помню только, как мне было тяжело. Удручало то, что в семье священника — аборт, то, о чем я постоянно предупреждал верующих на исповеди как о тяжком грехе, случилось в моем доме. Удручало и то, что жена не посоветовалась со мной, пренебрегла моим мнением. Что делать теперь? Как поступить? Мне казалось, что все кончилось, особенно было жаль ребенка, как она теперь будет, моя бедная крошка? Я оделся и при выходе из комнаты столкнулся с тещей, она при виде меня сразу сжалась в комок, как будто я ударил ее, я сказал ей, что не приду на ночь, она раскрыла рот, но ничего не спросила.

Я не знал, куда идти, сейчас было нужно на исповедь к опытному духовнику, старцу, хотелось бы поговорить с о. Николаем, но он далеко. Я его не считал настолько опытным, чтоб он мог судить обо всем, но именно его неопытность, детскость в подходе к любому вопросу меня трогали и настраивали на верный лад. Я, считавший себя опытным, и другие меня таким считали, находил пристанище у него. Но он далеко сейчас от меня. Я бродил по улицам как потерянный, порошил легкий снежок, порой взметался от ветра.

Вспомнилось мне, когда приехала Марина из деревни, мне показалось вдруг, что я ее мало ласкаю, и захотел приласкать...

Придя как-то домой, я услышал от нее, что ее тошнило, что-то появился одновременно волчий аппетит, как тогда при беременности.

Мы стали спать отдельно. Я с тревогой поглядывал на нее, она, вставая после ночи, о чем-то все думала, молчаливость сковывала ее. Я подозревал, что она забеременела. Я взвешивал: иметь еще ребенка сейчас, когда мы в таком положении, в самом деле тяжело для нас, да и здоровье ее ухудшилось, но допустить мысль до аборта я не мог... Боже, что делать? Если не забеременела, а это что-то с ней другое, надо жить, как брату с сестрой. Но сможем ли, сможет ли она? Боже! Как трудно решить, устрой, помоги...

Прошло уже продолжительное время, мы снова стали спать вместе, я касался ее, она невольно вздрагивала. Както сорвался у меня вопрос:

— Менструация у тебя была?

— Да, — неохотно ответила она.

Я поверил, потому что хотел поверить. И вот, ничего подобного, она в больнице, аборт! Что теперь делать? Для чего Бог допустил меня до этого? Видимо, я горд для смирения. Но ведь молился, просил — пробивался ропот. Лучше еще большая бедность, чем аборт! — говорил я, и Бог не услышал меня. Мне казалось, я слышу крик нерожденного ребенка, страшней этой минуты я ничего никогда не испытывал! Уже к ночи я потянулся, как побитая собака, домой, теша еще не спала, дверь не была на замке. Я переступил роковой порог, девочка както жутко залепетала:

— Папа, а мама заблудила, пошла далеко и заблудила. — Именно не заблудилась, а заблудила, как будто этим хотела подчеркнуть, что мама умышленно заблудилась. Дочь еще что-то спрашивала у меня, я не слышал ее и не отвечал. Я не отвечал ни ей, ни с тещей не разговаривал.

Ребенок уснул очень не скоро, спал тревожно, детское сердце чувствовало большое горе в нашем доме.

А я, кажется, совсем не спал в эту ночь, проснувшись рано, ничего никому не сказав, ушел из дому. Бродил по всем улицам, есть не хотелось, хотя я со вчерашнего дня не ел.

Случайно столкнулся с Алексеем Яковлевичем, того вызывали в райисполком, видимо, что-то хотят с ним сделать.

Еврей, которого я недавно крестил, оказался очень деятельным человеком: недавно приезжавшего агитатора, из бывших священников, обрезал вопросом:

— Вот вы всех священников называете проходимцами, а ведь вы сами были священником, тогда, выходит, вы один из них честный проходимец, а бывают ли проходимцы честными?

Еврея задержали, проверили документы, предупредили...

— Что же делать, если я не могу удержаться от вопросов, когда агитаторы настолько бездарны, что сами напрашиваются на вопрос? — сказал он им, улыбаясь.

— Смотрите, как бы не случилось худшее, — сказали они ему в напутствие.

С Олегом дело хуже, запил. Больной человек, но Бог у него все равно на первом месте, при любых падениях.

Алексей Яковлевич посоветовал мне съездить к о. Николаю, я рассказал ему, что у нас горе, жену срочно увезли в больницу на операцию, предполагают аппендицит. Правды я ему не сказал, да, пожалуй, этого и никому не скажу, мне вдруг почему-то захотелось всю вину принять на себя.

Да и в самом деле я виноват, — рассуждал я. — Надо было не жить, и все-таки где-то бился бесенок, а смогла бы она?

Через неделю возвратилась жена из больницы. Я вошел угрюмо, поздоровался с ней, разделся, сел за стол и уставился в одну точку, говорить ничего не мог.

Она мыла ребенка, стояла наклонившись. Я посмотрел на нее, кожа на лбу свисала, как будто это не кожа, а небрежно одетый мешок. И мне ее стало жалко. Ребенок был удивительно серьезен и задумчив, и вдруг, глядя в сторону, как будто хотел там кого-то увидеть, спросил у мамы:

— Мама, а где Павлушка?

Мать суеверно вздрогнула.

— Какой Павлушка?

— Как же, Павлуша. Такой, в красной рубашечке, я с ним играла...

Мать, притихнув, испуганно замолчала, и я молчал, и теща, входя и выходя из комнаты, прислушивалась с каким-то таинственным страхом. Ощутимо было, что в нашей семье покойник, убит не ребенок...

Кого винить? Я не думал винить в этом только жену, я не знал только, что мне делать?

На третий день я спросил у жены, как ее здоровье? Мне все эти дни было нестерпимо ее жаль: бедная, боится креста.

— Ничего, — нехотя ответила она и добавила: — Мне врач не разрешил рожать...

Я склонил голову к столу, положил ее на скрещенные свои руки.

— Ей-Богу, ты фанатик, — послышался какой-то чужой голос над моей головой, — ведь все так делают, такое время...

Я хотел возразить ей, что я священник, что другие мне не пример, я должен идти за Христом, но я ничего не сказал, я продолжал лежать на скрещенных руках.

— А мне как, ты обо мне подумал? — закричала, возбуждаясь, она. — Ты себялюбец!

Я поднял голову, ее лицо было бескровным, глаза полны слез, я жалел, очень жалел ее, но я молчал, ничего не говорил ей в утешение. При виде покойника хотелось молчать, всякие слова были лишними.

НЕУЖЕЛИ ПРИСТАНЬ?

Тетрадь прочитана, в прихожей тишина, о. Николай открыл занавеску. О. Константин дремал за столом, а может быть, просто положил голову на свои скрещенные руки, как у него было написано в тетрадке.

Андрюша спал в кроватке, жены не было. О. Николай слегка прикоснулся своей рукой ко лбу о. Константина, тот сразу приподнял голову.

— Пойдемте туда, — сказал он ему, указав на вторую комнату.

— Я вас очень утомил своей исповедью? — спросил о. Константин. — Простите, я не знал, что у вас еще хуже.

— Нет, я с большим вниманием прочел вашу исповедь и задумался: почему так складывается жизнь у священника, и ответил себе: видимо, потому, чтоб не привязывался к земле. — Немного помолчал. — Знаете что, на днях я думаю принимать монашество.

Сказано было так неожиданно и буднично, что как будто не произвело особого впечатления, и о. Константин спросил спокойно:

— А какой выход, где оно, монашество, теперь?

— Но можно хотя бы как следует отдаться своему делу, — возразил о. Николай.

— А ребенок?

О. Николай прикусил язык, ничего не ответил. В это время пришла его жена, она не входила к ним. Услышав шорох ее шагов, они замолчали, наступила тишина, и долго ни один звук не нарушал этой тишины. Потом жена кашлянула и постучала к ним, чего никогда не бывало, когда о. Николай оставался один. Вошла она с заплаканными глазами, села. Никто ее ни о чем не спрашивал, и она ничего не говорила, посидела и ушла. Через несколько дней выяснилось, что тот молодой человек, с которым она выпивала, посмеялся над ней. Когда она сказала ему о том, что вот мы живем уже долго, это не может все время оставаться тайной и нужно что-то предпринимать.

«Ха, предпринимать. — Тут он выругался. — Дешевка, да разве таких, как ты, у меня мало? Откровенно говоря, ты мне уже надоела, так что проваливай и не оглядывайся». Он залихватски засвистел и ушел от нее.

Она остолбенело остановилась среди улицы, вдруг почувствовала себя вконец осмеянной и покинутой. Придя домой, она хотела что-то сказать своему бывшему мужу, да, это она уже сознавала — бывшему, но не хватило смелости, а может быть, и стыдно стало: о чем говорить?

Все понятно, даже при всей наивности мужа. Вот как можно запутаться в жизни. Ей было жаль своей загубленной жизни и совершенно стало понятно, что прошлого не вернешь.

У о. Николая держалась жалость в душе ко всем и всему. О. Константин сидел и благодарил Бога, что у него не так еще плохо.

О. Николай тоже об этом думал, что надо сказать, но вот что-то зажало его сердце, держит и никак не отпускает, и что сказать, он не может придумать.

О. Константин вышел к жене о. Николая. Она лежала на диване, приоткрыла один глаз, ненавидяще посмотрела, повернулась на другой бок.

— Нет, с ней не поговоришь, — сказал шепотом о. Константин о. Николаю, входя к нему.

Спать они легли в комнате о. Николая: о. Николай на раскладушке, о. Константин на его кровати.

Рано утром жена о. Николая куда-то ушла с ребенком, а они ушли к епископу.

Епископ их встретил в бодром расположении духа, показал письмо, присланное ему одним священником.

— Представляете, какой молодец этот священник, — говорил епископ. — А она-то какая, его жена. Я знаю их хорошо. Он образованный, консерваторию кончил, и она тоже по музыке была, хотя и не закончила... Ах, какие молодцы! Да что это я вам все рассказываю вокруг да около, а сути не расскажу, все только удивляюсь. — Епископ почему-то все время смотрел на о. Константина, а тот смущался, хотя в самом деле епископ на о. Константина бросал взор рассеянно и случайно. — Так вот в чем дело, дорогие мои батюшки. У этого отца уже трое детей есть, а жена-то больная, сердечница, четвертого надо рожать... — Епископ здесь как-то радостно вскричал: — Бабушка, мама, отец даже, ну, словом, весь семейный синклит против, а она вот... Вот как он пишет: «Она, моя дорогая, посмотрела на меня своим круглым глазком, и грусть там, и некоторая растерянность, и опустила покорно головку. Значит, мне нужно слово сказать, — ре-

шил я. У меня все вздрогнуло... Ваше преосвященство, поверьте, что как будто я сам должен восходить на крест... Нет, лучше сказать, что если б это мне нужно было, это было легче, и вдруг у меня какая-то твердость: благословляю рожать. Тут все семейные на меня зашипели: «Да что ты делаешь, ведь ты ее убьешь. Посмотри на нее, на кого она похожа, ведь лучше кладут в гроб». Я не знал, где я нахожусь, не от этих криков, а от того, что предстоит жене. Она им с достоинством ответила: «Успокойтесь, я буду рожать, ничего со мной не случится. Я знала, куда шла».

— И представьте, родила! — стукнул епископ по столу. — Родила мальчика. Уж какая там радость, вы представить не можете. — Тут епископ сознательно посмотрел на о. Константина, тот, видимо, плакал, плечи его высоко подымались, носовой платок его был весь мокр.

— Да что с вами, батюшка? — испуганно спросил епископ у о. Константина. — У вас дома трудно? Да, понимаю, ведь вы нигде не работаете. Ничего, я думаю, устроим... — Видимо, чтобы поднять его настроение, епископ рассказал такой случай.

— На днях у меня вот что было. Ну, этого уполномоченного я взял на крючок, он будет меня помнить. Представляете, разослал запрещение старостам, чтоб детей не причащали. А народ и повалил ко мне.

— Что это, да по какому такому закону не причащать? Что вы, все красными стали?

Я их спрашиваю:

— Расскажите, что случилось?

— Не знаете, что случилось? — сердито спрашивают.

— Конечно, не знаю, — отвечаю я.

— Мы пришли в храм Божий с детьми, а нас гонят. Зараза, мол, здесь.

— Да сам он зараза, такой священник.

Я этого священника, конечно, взял на заметку, а он хихикнул и прямо мне сказал с такой наглостью:

— Я не от вас поставлен... — И хитрый: один на один сказал. А при всех говорит: — Ваше преосвященство! — и низко кланяется.

Я народ направил к уполномоченному и сам позвонил ему:

— По какому праву вы запрещаете причащать детей? Вы знаете, что это вмешательство во внутренние дела Церкви?

Уполномоченный заюлил:

— Это не я, это старосты... Теперь старосты все решают.

— Где это сказано? Старосты только за хозяйственную жизнь отвечают, а Причастие — это чисто духовная сторона. Я завтра же еду в Москву к Куроедову с жалобой на вас.

Назавтра прибегает ко мне сам уполномоченный...

— Так что вас, о. Константин, я устрою... Да вы все плачете, как я вижу? — вскрикнул, серьезно встревожившись, епископ, встал и подошел к о. Константину.

— Скажите, что с вами? — спросил епископ.

Он положил руку на плечо о. Константина, и тот не выдержал, разрыдался больше, хотел было что-то сказать, но душили слезы.

Тогда епископ обратился к о. Николаю.

— Вы не знаете, что с ним?

О. Константин, всхлипывая, сам произнес:

— Жена сделала аборт.

Епископ смотрел некоторое время растерянно, он знал, может быть, думал, что некоторые жены священников делают аборты, но об этом никто ему не докладывал и вопрос об абортах у него оставался как-то непродуманным, а сейчас вот надо что-то сказать, поддержать батюшку. Он вспоминал правила, постановления и что-то плохо вспоминал, какие правила есть на этот счет. Конечно, ясно, что такой грех недопустим в семье священника, но время-то перевернуло все постановления, жизнь усложнилась.

Епископ еще раз положил руку на вздрагивающее плечо о. Константина.

— Успокойтесь, — произнес властно.

И тот успокоился, встал перед епископом, ожидая своей участи.

— Запрещать в служении я вас не буду, вы и так не служите. Скажите мне только вот что. Вы-то сами не соизволяли на аборт?

О. Константин хотел горячо возразить.

— Ясно, будем молить Бога, а вас я устрою...

И в самом деле, через две недели о. Константин уже приступил к служению. Приехал сначала на место служения без семьи, но вскоре епископ дал ему недельный отпуск, сам подыскал ему двухкомнатную квартирку у одной очень древней старухи.

У о. Николая начались искушения. После того как он окончательно принял решение о своем монашестве и перед тем, как уже ему об этом нужно было говорить с епископом, заболел его сын. И, глядя, как тот мечется, зовет папу, ему стало очень жаль сына, сердце разрывалось: «Боже, на кого я его оставлю? Ведь он будет несчастным, что делать, помоги». Он хотел было броситься на колени, хотел излить свою душу в слезной молитве, но было пусто в душе, все там пересохло, а слух невольно ловил тревожное дыхание сына. Жена спала отдельно и от мужа, и от сына, в последнее время вообще отгородилась занавеской. О. Николай приоткрыл занавеску, жена лежала с полуоткрытой грудью, немного бледная, была полуоткрыта и правая нога. Женился он на ней по любви, но чтоб она ему так стала соблазнительна, как сейчас, этого не бывало. Его взгляд невольно остановился; как будто почувствовав это, она вдруг открыла глаза и ласково попросила:

— А, это ты? Ложись, — и отодвинулась к стенке.

Он стоял, его начало знобить.

Она сочувственно и внимательно глядела на него.

— Ты что, замерз? — сказала так просто, так сердечно. — Ну ложись, что стоишь? Согреешься, — говорила она так, как будто с ними ничего не случилось и они всегда жили дружно. Он знал, он отчетливо представлял себе, что она не жена ему, но он ничего не говорил, стоял и дрожал.

— Ну что, дурачок мой хороший, — ласково и незлобно улыбнулась она. — Ложись, говорю, согреешься. Ты замерз. — Она дальше отодвинулась к стенке, чтоб было ему больше места. — Ложись, Николенька, ложись, ведь я тебя люблю. — И она схватила его своими сильными руками, и тут он рванулся от нее, прикосновение ее рук все для него решило, он сердито сказал ей:

— Надо к ребенку встать, он заболел.

— Ну и что с того, — безразлично сказала она. — Я об этом знаю, ну вот и будь с ним, он же и твой. А других я постараюсь убрать куда следует, — цинично заявила она. — Песня моя спета. Не подходи ко мне! — крикнула она.

Тут только увидел о. Николай, что она, бывшая его жена, пьяна. И после уже никогда к о. Николаю не возвращался подобный соблазн. Если же что-то представлялось такое, он всегда вспоминал пьяную свою жену, и все мгновенно проходило.

У сына была обыкновенная простуда, на следующий день он встал бодрый и веселый.

Жене, небрежно причесывающейся, о. Николай сказал:

— Нам нужно с тобой серьезно поговорить.

— Ха, поговорить... А о чем? Я сама знаю, что я тебе не жена, а ты мне не муж. Я пропащая, гулящая, ненавидящая... Все равно. Живут раз в жизни, а там ничего нет. Умрем, сгнием, и все тут. У меня сейчас открылись глаза на жизнь. Когда-то я боялась всего, а теперь ничего не боюсь. Сына я отдам в приют, уже договорилась. А тебе по секрету скажу, иди, на ушко.

О. Николай не подходил.

— Ну все равно слушай: заболела сифилисом.

Это был предел, семейная жизнь окончилась.

Вечером он пошел к епископу на дом. Пришел поздно, епископ закончил вечернее правило и собирался отходить ко сну. Постучал.

— Кто там? — спросила прислуга, не совсем пожилая женщина, из-за нее епископу чуть не влетело.

Донесли о ней патриарху, тот вызвал епископа и сказал:
— Это правда?
— Да, правда.
— Почему вы ее держите у себя? Ведь это соблазн для других?
— А что делать, Ваше Святейшество, если эта женщина, когда я находился в лагерях и все от меня отвернулись, не забывала меня, помогала из последнего? Что, я ее должен поэтому прогнать теперь?
— Но вы можете ей помогать, а зачем вы ее держите у себя?
— Да она для меня как родная, вот потому и держу.
Доводы патриарха не были для него убедительными, чувство благодарности побеждало все у епископа, и патриарх согласился с ним.
Женщина эта очень странная, она до безумия предана епископу, ревнует его ко всем, но в то же время и для самого епископа она — нелегкий крест, самолюбивая и властная.
Прислуга не хотела впускать о. Николая, она сказала, что поздно уже и епископ спит, но епископ случайно услышал их разговор и сказал ей, чтоб она впустила о. Николая.
— Не впущу, что ему делать ночью? И вам надо отдыхать. Посмотрите, на кого вы стали похожи.
Епископ начал ее уговаривать, он понимал, что ее не возьмешь приказанием.
— Ты пойми, у него дело ко мне, это мой секретарь.
— Впущу, Владыко, только на минутку. Ну-ну, иди, полуночник, — пропустила она о. Николая.
О. Николай вошел в спальню епископа. Епископ сказал о. Николаю, чтоб он его извинил, что будет лежать — за день набегался.
— Садись вот в это кресло, — подвинул о. Николаю довольно старое и довольно хорошее кресло, заметно отличающееся от современных. — Рассказывай, что там у тебя, что привело так поздно? Между прочим, к твоему сведению, о. Константин уехал за семьей.

— Да?
— Ну как, по-твоему, он доволен?
О. Николай отвечал односложно:
— Да.
— Что «да»?
— Да, да, да, — трижды повторил о. Николай.
— Отче, да с тобой что-то неладно, — перешел епископ на дружеский тон.
— Именно со мной теперь все ладно.
— Ну что все-таки, с чем ты пришел?
— Думаю принимать монашество, — определенно сказал о. Николай.
— Жена опять загуляла? — догадливо спросил епископ и сочувственно уставился маленькими умными глазами.
— Даже сифилисом заболела, — гадливо добавил о. Николай.
Епископ задумался, облокотился о подушку.
— Да, да... Все верно. Что мне с тобой делать? Значит, хочешь быть монахом? — поставил епископ зачем-то вопрос. — Слушай, откровенного говоря, желаешь избавиться от семейной неприятности, семейных дрязг или что-то другое?
— Просто другого пути нет. Я вам откровенно скажу. Когда мне было шестнадцать лет, я хотел быть монахом, молил Бога об этом, а потом увидел, что монашества как такового нет, и остыл к нему. Думал создать семью, дать миру хороших людей. Но здесь, в миру, еще хуже, ничего не получилось, мне это очень больно. Я жалею и свою жену, в чем-то виноват я пред ней. Не в чем-то, а, наверно, во многом, — поправился. — Я ее не понял, чего-то недоглядел, а теперь уже поздно, все погибло. Не знаю и того, получится ли из меня традиционный монах. Откровенно говоря, я думаю, что такие монахи и не нужны, монахи должны быть в миру, среди людей, и монашеское их правило должно быть — служить людям. Всего себя отдать на служение людям. Не знаю, смогу ли я быть и таким, но желание у меня есть. Я очень жалею людей, и

больше их еще пожалел, когда увидел, как сбилась с дороги моя жена. И горькие глазки, грустные глазки моего сынишки мне о многом говорят, эти глазки ребенка я никогда не забуду.

— Я вас понимаю, — грустно сказал епископ. — Другого пути у вас нет, вы поставлены в такие условия. Тяжел ваш крест.

— Да, это я понимаю и не боюсь. Мне мир с его прелестями нисколько не нужен, я думаю, что для мира умер. Тут он после некоторых колебаний рассказал последнее свое искушение, как он соблазнился и как своим цинизмом жена убила в нем всякое тяготение к ней.

— Стоит мне вспомнить тот момент, как я готов бежать на край света.

— Да, все это так, — продолжал уговаривать епископ. — Но вы понимаете, что вы еще молоды?

— Ваше Преосвященство, говорить об этом не стоит. Второй раз мне не жениться, сама жизнь заставила меня стать монахом, и я это, не раздумывая, принимаю.

Епископ встал, накинул на себя епитрахильку и опустился на колени, рядом с ним стал и о. Николай, как агнец, ожидающий заклания, на душе было спокойно. Помолясь, епископ благословил его.

— В Загорске ты закончил Академию, в Троице-Сергиевой Лавре я постригу тебя, а пока готовься. Все пусть остается до времени в тайне, иди домой.

О. Николай возвращался к себе поздней ночью, шел медленно, кажется, ни о чем не думал, но голова была чем-то занята особым, он настолько сосредоточился на этом непонятном особом, что не замечал, где идет. Вышел он из этого состояния тогда, когда над его головой раздался чей-то дурной хохот и послышалось очень скверное слово. Оно почему-то его особенно встревожило и насторожило, так что он долго думал о том слове, даже в день своего пострижения, и только потом оно само по себе забылось. Но еще потом оно стало для него еще одним гвоздем к его кресту. Кто сказал это скверное слово, он не видел, и на хохот тот не обернулся.

Жена его еще не спала.

— Ты где так поздно бываешь? — встревоженно спросила она.

— У епископа был, — спокойно ответил он.

— Не в монахи ли ты собираешься? — Она говорила это как будто полушутливо, но в то же время чувствовалось, что это ее интересует и тревожит.

О. Николай решил не отвечать. Она грустно улыбнулась:

— Молчание — знак согласия?

О. Николай молчал.

— Не желаешь со мной говорить, гадко?

О. Николай молчал, она тоже замолчала, заходила по комнате.

— А я сына уже сдала в приют.

— В приют? — испугался о. Николай. — И не дождалась, чтоб я простился? — Это его очень огорчило, но в этом он видел указание свыше, ему нужно все оставить во имя Христа.

Ему вдруг почему-то почудилось за занавеской легкое дыхание сына и послышался его милый голосок:

— Папа...

Он вздрогнул, испуганно побледнел.

— Что с тобой? — заметила это Тоня.

— Мне послышался голос Андрюши, — растерянно сказал о. Николай.

Она расхохоталась.

— Какой голос, у тебя галлюцинация начинается, а еще хочешь быть монахом? Видишь, какой ты земляной. А еще послышится и мой грешный голос, так что и сифилиса не побоишься.

Этот цинизм жены убил в нем окончательно всякие чувства к ней. Он, сильно волнуясь, хотел пройти в свою комнату, занавеска вдруг как бы сама по себе отдернулась, и в самом деле перед ним предстал в грязной рубашонке его милый Андрюша с ранними мешочками под глазами, бледный и грустный.

— Папочка, — вскричал он, — где ты был?

О. Николай схватился за голову, его покачнуло.

— Так шутить нельзя, — упрекнул он жену с обидой в голосе, благословил сына, уложил его в постельку.

Андрюша лепетал:

— Папочка, мне без тебя грустно. Не ходи ты никуда. Скажи, не пойдешь?

Неужели детское сердце чувствовало?

О. Николай долго стоял над сыном, пока тот не задремал. Не раздеваясь, лег на диван, к счастью, сразу уснул. Приснился ему сон, которого он не мог разгадать, но который не забывался.

Приснился ему крест, весь в грязи, забросанный разным мусором. Собралось много народу, желающего очистить его, больше всего женщин. А он должен был руководить этой работой, себя он сознавал только священником. Крест полированный, очень большой. Не помнит, очистили ли этот крест, но его надо было водрузить. И вот о. Николай спускается в какой-то подвал по ступеньками, и на его руках вместо креста оказался Христос измученный, это он отчетливо помнит, как Он был измучен. Христос по-человечески ослабел, о. Николай видел, как Его исхудалые ноги протянулись, голова повисла. И вроде Христос так думает, о. Николай знает Его мысли, как надоело постоянно распинаться за народ. И в то же время о. Николай сознавал, что Христос — это Бог, и о. Николай так думает про себя: «Вот сойду в подвал и поклонюсь Христу», — но это решение было как будто и не совсем искренне. Сойдя с Христом в подвал, он понял, что Христа и его в том числе должны засыпать землей. Он поставил Христа на ноги и склонился перед ним, пал ниц со слезами: «Прости меня, Господи, что и я своими грехами возвожу Тебя на крест». И тут Христос также склонился перед о. Николаем до земли.

На этом о. Николай проснулся, но последний момент, когда Христос ему поклонился, он не мог рассказывать без слез. Его умиляло, его покоряло это снисхождение Христа к человеку, и он готов теперь был куда угодно пойти за Христом.

Проснулся о. Николай довольно рано, еще было темно, но в комнате жены горел свет. Он думал, что, может быть, заболел снова сын, и заглянул туда. Нет, то встала жена, она выглядела страшно, лицо какое-то обрюзгшее, под глазами черные круги и мешки. На него она взглянула угрюмо и, кажется, безразлично. Говорить с ней, следовательно, было не о чем, он повернул в свою комнату, она его заметила.

— Коля, — попросила она его. — Зайди сюда. Скажи, что ты задумал? Я тревожусь, я догадываюсь и боюсь этой догадки. Скажи, ты решил окончательно меня бросить? Да, я гадкая, но вот ты хороший. Ну спаси меня, я все святое потеряла, это я понимаю. Спаси меня, что ты стоишь бездушно? Спаси, иначе я погибну.

В ее истерическом крике о. Николай видел новое искушение, но он сознавал уже, что поворота больше не будет, что надо безжалостно рубить все связи.

Он затворил за собою дверь.

Тоня сумасшедшим голосом закричала:

— Будь ты проклят! Я ненавижу тебя, проклятый святоша! А, спасаться захотел? Так нет же... Ты думал, сдам сына в приют? Нет, повешу тебе на шею. Слышишь, повешу на шею! Найду тебя, где бы ты ни был.

О. Николай молчал, и только сами губы неслышно шептали слова молитвы.

К переезду о. Константина как будто было уже все готово. Теща на переезд реагировала отрицательно, она говорила, обращаясь к дочери: «Этот поп, — она выражаться стала именно так, — завезет тебя на край света. Лучше бы тебе его сейчас бросить, чем потом бросать, все равно ты его бросишь».

Марина молчала, только иногда вздрагивали маленькие губы и глаза наполнялись слезами, и наконец она тихо сказала:

— Костя, а не остаться ли нам здесь? И мне не хочется ехать. В конце концов там ведь не на постоянно? И начнут нас гонять с места на место, а ты знаешь, как пло-

хо срываться оттуда, где все знакомо? — Она села и заявила: — Не поеду я.

— Ну хорошо, не поедешь, а дальше что будет, ты представляешь? И еще пойми, что нам нужно жить отдельно.

Тут жена вспыхнула:

— Ну чем тебя обидела моя мама?

— Да ничем, она просто больной человек, и ей нужно дать ей отдохнуть от нас.

— А мне без нее трудно будет.

Наконец пришел день отъезда, теща увидела, что это окончательно, и посмотрела злыми глазами.

— И ехал бы один, зачем ты ее везешь?

— А затем, что она моя жена.

— Да какой ты муж, ты же ни на что не годен.

О. Константин молча выносил вещи на машину, и в то время, когда он вспотел, теща, чтоб чем-то допечь его, раскрыла форточку.

— Закройте, ведь я весь мокрый. Ну вынесем, потом откроете, — и закрыл форточку. Теща подбежала, вся побледнев, с яростью рванула форточку. О. Константин снова закрыл, она снова стала рвать, тогда он придержал ее за руку. Марина думала, что начнется драка, и стала между мужем и матерью.

На следующий день по переезде теща все-таки к ним приехала. Приехала молча, ко всему присматриваясь. О. Константин ей ничего не говорил. И вообще не разговаривал с ней. Тогда она стала плакать, что ее все забыли, никто не любит. Жена сказала, чтоб муж пригласил ее хотя бы к обеду.

— Пусть живет, как ей хочется, она не чужая и приглашать я ее не буду.

— Ну и гордец ты, ну что тебе составляет...

По прошествии недели теща стала указывать, что у них все здесь не по-людски, что делать надо не так, что они не могут жить...

О. Константин не выдержал, назвав ее по имени-отчеству, а ей, видимо, хотелось, чтоб он называл ее мамой. О. Константин не мог назвать ее так, «мама» для него было

священное слово, она у него очень рано умерла, но он помнит ее. Помнит, с какой любовью она относилась к нему.

— Так вот, Пелагея Титовна, — повторил о. Константин, — когда я был у вас, вы были хозяйкой, а теперь я — хозяин!

— Хозяин? — высокомерно протянула она. — Такому хозяину грош цена в базарный день, вот какой ты хозяин.

О. Константин хотел сказать сдержанно, но как-то сразу вспыхнул и заговорил резко:

— Вот что, хотите по-хорошему, будьте с нами, а не хотите, можете оставить нас.

— Ха-ха, оставить, — притопнула она ногой. — А вот никуда не уйду, что ты мне сделаешь? Ударишь? Попробуй только, — смотрела нахальными и ненавидящими глазами.

На этом сцена оборвалась, о. Константину нужно было идти на службу; расстроенный, трясущийся, пришел он в храм и долго не мог сосредоточиться на молитве.

Эта сцена удручающе подействовала на жену, она притихла, но глаза были влажны, она сказала мужу:

— Ну этой сцены я никогда не забуду. Не забуду, как ты мою мать гнал из дому. И умирать буду, не прощу тебя, — жена не понимала его.

— Я не хочу ее оскорблять, я только хочу, чтоб она не вмешивалась в наши дела.

Теща уехала к себе обиженная и насупленная, но через некоторое время снова приехала, более сдержанно стала вести себя.

Раз как-то она прибежала взволнованная и запыхавшаяся:

— О. Николай уходит в монашество, все об этом уже говорят. Что ж это такое, а на кого он жену бросает?

— Уходит? — переспросила жена и обратилась к мужу: — Что ж ты раньше об этом не говорил?

Видимо, эта весть их взволновала, и, может быть, они догадывались, что здесь причиной послужил семейный разлад.

После того как стало известно о монашестве о. Николая, они часто спрашивали у о. Константина, когда будут постригать? И где после этого он будет.

Теща заметила:

— Его уже нет дома.

— Да, готовится, — скупо ответил о. Константин.

По городу ходили разные слухи. Одни винили жену, что это она его довела до монашества, другие о. Николая, что он допустил до того, что жена уходила из дому, что он, бессердечный, покидает сына. Больше всего интересовало всех, когда будут постригать, некоторые хотели поехать посмотреть.

Как постригать о. Николая и где, была трудная задача. Постричь в Троице-Сергиевой Лавре не разрешат, у него нет загорской прописки, а без прописки по государственным законам нельзя. В другой какой-либо монастырь тоже ничего не получится: где они теперь, монастыри? Говорили о Почаеве, но там, рассказывают, делают то, что не приведи Бог. Монахов разгоняют и избивают, Алексей Яковлевич в курсе всех событий, он об этом-то и рассказал. Остаться целибатом, против этого восстал сам епископ, как с юмором выразился:

— Ни рыба, ни мясо.

А один кто-то чуть ли не с цинизмом по поводу этого сказал:

— Целибат — целит в баб.

Да и сам о. Николай не желал быть целибатом. Что делать? А он уж так успокоился на том, что будет монахом. Когда он в таком раздумье проходил по территории Лавры, какой-то мужчина, в очках, с видом профессора, остановил его, сначала стал расспрашивать о достопримечательностях Лавры, о. Николай указал на музей, профессор с грустью произнес:

— Да, конечно, был бы лучший музей, если б были только монахи, — и слово за слово разговорились. Поругали журнал «Наука и религия», несколькими словами перебросились насчет притеснений, и о. Николай стал думать, а кто же перед ним? Провокатор? Но солидный

вид, серьезность разговора не давали повода утвердиться в этой мысли, и о. Николай решил спросить, заранее предполагая: если скажет — верующий, значит, провокатор, потому что он много расспрашивал о Боге; если скажет — неверующий, тогда другое дело. О. Николай хотел сначала спросить о его профессии и вдруг прямо спросил:

— Скажите, пожалуйста, а вы верующий?

Профессор снисходительно улыбнулся.

— Откровенно сказать — нет, но меня вопрос веры несколько интересует. Я не раз слышал ваши проповеди, в них есть мысль и они наталкивают на некоторые раздумья. Что Христос был, в этом я тоже не сомневаюсь, но что это Бог, я представить не могу. И вообще мне непонятно, для чего придумали Бога, разве без Него так уж и обойтись нельзя?

О. Николай попытался доказать, что это не придумали, а это ход вещей заставляет так думать, что должен быть Творец, ведь все имеет свою причину, неужели только мир не имеет своего Творца? Стал ссылаться на ученых.

Профессор взял его слегка за руку:

— Батюшка, не трудитесь, все это я не меньше вашего знаю. Я — сотрудник журнала «Наука и религия», у меня только какая-то пустота в душе, вот я и думаю, не в самом ли деле мне не хватает Бога? Но этого доказать нельзя, нужно самому понять. А сам понять-то я и не могу.

Перед о. Николаем стоял человек, как будто вплотную подошедший к признанию Бога, но в то же время о. Николай не знал, как с ним заговорить. Проще было бы опровергать возражения, а этот знает «за» и «против», и с ним не знаешь, как и о чем говорить.

Сотрудник продолжал:

— Я очень сложный путь прошел. Я с оружием в руках отвоевывал Советскую власть, был самым идейным...

Тут о. Николай хотел поставить вопрос: «А сейчас что, не идейный?» Потом удержался и внимательно слушал.

— Во время культа личности я попал в заключение, отгрохал десять лет, реабилитирован, но то, что увидел я там, подорвало веру в то, что мы строим, и теперь стою на распутье, сотрудничаю в журнале потому, что надо с чего-то жить, на самом же деле интересует вопрос бытия Бога... — Тут он заглянул более внимательно в глаза о. Николая, улыбнулся себе под нос и каким-то дрожащим голосом произнес: — Меня в вас подкупает ваша искренность и убежденность, вы не традиционный священник. О вас у нас есть подробные сведения, — тяжеловесным языком заговорил профессор. — Знаем, что у вас и с семьей неладно. Меня не раз заставляли про вас написать статью, я сказал, что собираю материал...

О. Николай как-то сразу изменился в лице, это заметил и профессор-журналист и тут же уверил его:

— Не беспокойтесь, писать я о вас не буду, а если уж напишу, то печатать не станут. Я хочу, чтоб материал о вас не передавали другому, ибо все исказят, поэтому и оттягиваю.

О. Николай верил. Верил всему, что говорил этот незнакомый человек, и даже признался ему, что хочет принимать монашество...

— Только не знаю, как это удастся, еще бродят всякие раздумья.

Журналист горячо его перебил:

— По-моему, раздумывать вам нечего, с женой у вас ничего не получится, а монашество — это то, что надо, последовательность до конца.

Они некоторое время помолчали, журналист, глядя на колокольню, где горланили собравшиеся на ночь вороны, сказал:

— А вы знаете, что стало с Ахундовым, который ухлестывал за вашей женой? Сделался сектантом, кажется, баптистом, да таким яростным. — Немного подумал: — Это люди, шарахающиеся от одной крайности к другой, да таких и немало теперь. Вот вы для меня, если только не идеализирую вас, — идеал. У вас, кажется, это настолько твердо, что все случающееся с вами не может

свернуть вас с намеченной дороги, вы извините меня за комплименты, но они от души, если только есть душа, — закончил он со скептической ноткой.

О. Николай просиял. Просиял, конечно, не от комплиментов, а оттого, что этот незнакомец поддержал его намерение принимать монашество. Да, в самом деле это последовательность до конца — согласился он, даже, кажется, сейчас не против бы пройти весь искус традиционного монах. Они расстались, на прощание журналист сказал:

— Адрес мне ваш не нужен, я и так вас найду, если понадобится, ну а меня вам искать незачем.

— А я хотел бы еще с вами встретиться, — пожелал о. Николай.

Журналист скептически заметил:

— Вот этого бы я не хотел: убеждать меня бесполезно, я этими убеждениями насквозь пронизан и во всех разочарован. Вас бы я хотел наблюдать со стороны, вы какой-то своеобразный луч религии для меня.

В этот же день о. Николаю пришлось встретиться и со своим епископом, который рассказал о том, что ему удалось получить разрешение на пострижение в Лавре.

— Неделю ты здесь побудешь, а потом поедешь со мной, я пошлю тебя на самый трудный приход, подымать его. Так что крест ты взял большой. Ну что ж, в такие ты поставлен условия, другого выхода у тебя нет. — Прошли немного молча. — Твоя жена сегодня приходила ко мне, плакала. — «Жалко ее все-таки», — подумал и спросил: — В самом деле она заболела венерической болезнью или это она выдумала?

— Вполне возможно, ибо последнее ее знакомство было страшным.

— Да, скажи-ка ты, как поворачивается жизнь. — И еще прошли молча, епископ, испытующе-пристально посмотрев на о. Николая, сказал в упор: — Скажи, чего тебе сейчас жаль?

— Мира мне нисколько не жаль. Жаль разлуки с женой, как с человеком, а больше всего тревожит меня разлука с сыном.

— Ну ты ведь его не кинешь, впоследствии можешь к себе даже взять, ведь твое монашество — в миру.

Разговор с епископом совершенно успокоил о. Николая, с сегодняшнего дня до пострижения он решил проводить время в келье, а пока, простившись с епископом, у того были свои дела, пошел прогуляться. Епископ посвящал в свои дела о. Николая, он и об этом будет думать, как удастся собрать единомышленников в протесте против беззаконного собора, поставившего церковь в зависимость от мирян.

Видимо, с работы возвращалась молодежь, больше всего женщин. О. Николай шел, наклонившись, и вдруг мелькающие точеные женские ноги заходили по его сердцу. Он не понимал, что с ним сделалось, сразу воскресло искушение, которое, казалось бы, исчезло навсегда после безобразной сцены с женой. Ноги шли, топтали его сердце, ему становилось стыдно. Не лицо, не что-то другое привлекало, а ноги... «Боже!» — взмолился он. На него налетела старуха, больно ударилась, выпала сумочка из ее рук, она хотела разбраниться, но, взглянув, что перед ней священник, сдержалась и тихо сказала:

— Простите... простите! — Ее сморщенное лицо, грустные глаза отрезвили его.

«Сколько все-таки животного в человеке! — подумал о. Николай. — Как мы часто смотрим плохо на женщину, а ведь у нее есть свой мир, интерес, есть боль, вот это прежде всего нужно понять». Он, больше не оглядываясь, побежал в келью. Келья была пуста, кровать в углу, небольшая икона и тусклая лампадка — вот и все убранство. Он, не раздеваясь, сел на кровать, положил голову на руки, закрыл глаза, и тут его внутреннему взору явился сынишка, бледный, с ранними мешочками под глазами. «Папа, не уходи, мне без тебя скучно», — слышался его тоненький голосок, и этот тоненький голосок резал как бритвой его сердце. Ему захотелось закричать, позвать кого-то на помощь, ему становилось невыносимо, ему казалось, что его все кинули, все его забыли, и кому он теперь нужен? Вот сынишка его бы пожалел, но он

сам его оставляет. Ему вдруг представилось, что сын вырос и узнает о том, что папа его бросил. Какими глазами тогда нужно будет смотреть? Он повернулся, заскрипела кровать, и вместе со скрипом кровати послышался развязный голос жены:

«Ха, монахом захотел быть? Да ведь ты земляной: сначала почудится голос сына, а потом послышится и мой, и не побоишься сифилиса, придешь ко мне».

— Боже, что это такое? — нервно вскочил, заходил по келье, прислушался, стояла гробовая тишина.

— Здесь мертвечина! — кто-то сказал явственно, сказал с насмешкой. — На что ты себя обрекаешь? Встань, иди, помирись с женой. Вот она приходила к епископу, значит, жалеет тебя, а может, одумается? А кто знает: не возвратятся ли к тебе искушения? И, может быть, не в лице женщины, а в лице мужчины. Ведь среди монахов мужеложство процветает, а это такая грязь, что хуже сифилиса жены...

На него навалились старинные тяжелые стены, он смотрел на этот вековой слежавшийся камень, холодный, мрачный. Да не самоубийство ли это? Зачем губишь себя? И вдруг в сердце заверещал бесенок.

Под коленками прокатилась дрожь, о. Николай вороавто оглянулся кругом, подошел, потрогал решетку на окне. «Уходить!» Губы как-то радостно расплылись, намерение совсем созрело, но он еще боялся сделать первый шаг, и вдруг — шагнул, его как будто кто-то подхватил.

В дверь послышался стук и бодрый голос:

— Молитвами святых отец наших Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас...

Он так же бодро ответил:

— Аминь.

Вошел монах, он узнал этого монаха, с живыми глазами, с очень длинной бородой, он помнит, как его постригали в монашество, он присутствовал на постриге. Единственный сын в семье, родители состоятельные. Была девушка, и он все отверг, принял монашество.

— Ну как? — спросил вошедший. — Обуревают искушения? — О. Николай вздрогнул, монах прозревал, что делалось в его душе. — Не поддавайся, разве ты не видишь, что делается в мире?

— А у вас не было искушений? — тревожно спросил о. Николай.

— А у кого их не бывает? Монах немыслим без искушений, помню, перед пострижением я хотел убежать, а потом перекрестился и сказал: «Куда, разве ты забыл Христа? Посмотри на Распятие», — монах указал на икону.

Хотя изображение распятого Христа здесь было иное, чем у о. Николая дома, но что-то в красках было знакомое, о. Николай вздрогнул, его стало знобить.

— Я к тебе на минутку, — продолжал монах. — Когда постригать?

— Послезавтра.

— Значит, готовься. Молись, брат, да не внидишь в напасть.

Монах перекрестился и ушел скорым шагом, тихо прикрыв дверь, и снова о. Николай остался один.

Ни женские ноги, ни крик ребенка больше его не тревожили, но в сердце была все-таки какая-то пустота, молитва не приходила. Он вглядывался в образ Христа, в Его глаза, терновый венец. О. Николай не понимал, что происходит в его душе, его ни мир не тянул, ни...

— Господи! Неужели Ты оставил меня? — как-то само по себе вырвалось из его груди, и хлынули слезы, он упал на колени и не помнит, что с ним было потом. Сколько времени прошло, не знает, помнит только то, что ему хотелось молиться и молиться, было какое-то светлое блаженное состояние.

Что такое, отчего вздрогнули стены, задрожали окна, так только бывает, когда из пушек бьют, — прислушался, за дверью послышался голос:

— Молитвами святых отец... — Вошел прежний монах, сказал по-славянски: — И бысть трус велий. Что у тебя тут происходит? Ты всех монахов перепугал, все стены всколыхнулись.

О. Николай недоуменно покачал головой:

— Ничего как будто... А сколько времени?

— Три часа ночи. Ложись, брат.

На пострижение о. Николай шел абсолютно спокойным, как будто так надо. Вспомнился сынишка, вспомнилась жена, но они не тревожили его, он думал спокойно: «Я им буду помогать, а может быть, таким путем я смогу и жену спасти?»

В последний момент снова что-то обрушилось на о. Николая, но эту тяжесть он принимал как крест, который нужно поднять во имя Христа. От этого креста легко было на душе, становились очень понятными слова Христа: «Иго Мое благо и бремя легко есть...»

Пострижение хотели провести втихомолку, чуть ли ни при закрытых дверях, день пострижения даже самому о. Николаю был объявлен почти накануне, час пострижения объявили только студентам, но к назначенному времени неожиданно как будто праздношатающимися богомольцами наполнилась Лавра, и когда студенты гуськом пошли в Трапезный храм, народ хлынул во все двери. Сразу заполнились все закоулки, каждый хотел пройти вперед. Хотя и сейчас говорили, что никакого пострига не будет, народ этому не верил, и уже знали в подробностях, кого будут постригать. Многие жалели о. Николая и осуждали его жену: довела до чего. Погналась за длинным рублем, но увидела трудности и сразу на попятный. Многие хотели увидеть о. Николая, его имя повторялось с благоговением, он вырос в глазах верующих до большого героя, волевого, честного. «А какие он проповеди хорошие говорил, если бы вы слышали» — умилялись многие.

— А сегодня он скажет проповедь? — кто-то спросил из старух.

— Нет, это когда в епископы посвящают, тогда говорят.

— Сейчас он готовится.

— Выведут его в одном белье.

— Только монахи накроют мантиями.

— Бедный, как его жалко, говорят, такой хороший был.

Вдруг пронесся слух, что и его жена здесь, пришла с ребенком.

— Где она?

— Говорят, вперед полезла.

— Зачем она пришла?

— Да, наверно, дрогнуло сердце.

— Сначала довела до монашества, а теперь жалко.

— А сколько лет о. Николаю?

— Говорят, совсем еще молодой.

— Ох, жалко как.

— Тише, — пронесся шепот, и гудевшая масса примолкла.

— Ведут, ведут.

Но видать ничего нельзя было, шли монахи, тесно сомкнувшись.

О чем-то завязался разговор между о. Николаем и епископом; о. Николай, бледный, обескровленный, отвечал тихим голосом, женщины зашмыгали носами, заблестели слезы. Когда звякнули ножницы, как будто нервно брошенные епископом, и когда о. Николай пополз за ними, послышался приглушенный плач и среди этого плача сначала тонкий голос ребенка:

— Папа, папочка!..

Потом истошный крик женщины:

— Спасите! Ой, спасите! — голос сразу обессилел.

О. Николай остановился, епископ сурово приказал:

— Подай ножницы.

О. Николай взял ножницы и поднес их епископу. Раздался второй крик, уже не этой, другой женщины:

— О. Николай, что ты делаешь? Не иди... Тебя любят...

Пострижение шло своим чередом, кричавших женщин и ребенка вскоре увели.

Больше ничего особенного не случилось. О. Николая постригли и назвали Никоном, имя ему это чем-то понравилось.

Когда окончилось пострижение, все мысли и волнения утихли, как будто он в самом деле умер. Он знал,

что там где-то есть милый Андрюша, бедный ребенок, что там у него есть несчастная жена, он знал, что она в большом смятении, но ему все как будто стало чужим. Переплыли бурное море, пристань. Ему стало грустно, когда народ после его пострижения ушел из храма, а он остался один, наедине с Богом, ему было отчетливо ясно, что цепляться за прелести мира нет никакого смысла, что нужно всего себя посвятить Богу и людям, об этом он только и молил Бога.

О. Николай должен был оставаться в этом храме в течение недели, но он не прочь бы остаться и долее, както понравилась ему монашеская тишина, а может быть, беспокойное сердце захотело покоя. Не прочь бы он остаться и традиционным монахом, жаль только, что этого не будет. Но как будет, так и хорошо, он теперь согласен на все.

Молитвенное настроение неожиданно прервалось на третий день, за ним пришли из милиции, нужно было взять у него какие-то свидетельские показания, назвали арестованного, последний оказался любовником его жены, предложили пойти в гражданской одежде. «Что случилось, неужели жена как-то хитрит, чтоб его удержать?» — думал о. Николай, идя по дороге в милицию.

Вели его двое в гражданской одежде, лица их были угрюмыми, у того и другого по шраму на лице, как будто по заказу. У одного лицо несколько нежнее, у другого — большие руки, и он все время прятал их, видны были наколки. Мелькнула мысль: уж не хулиганы ли это ведут его куда-то? Шли недолго, пришли к милиции. Все, как следует: мрачные коридоры, бегают озабоченные женщины и уверенные мужчины в форме. Провели в конец коридора, открыли пустую комнату, в которой стоял стол, ничем не покрытый. Завели за стол, сами стали по сторонам, смотрят испытующе.

— Ну как, догадываетесь?

О. Никон посмотрел рассеянно на них.

— Нет, — качнул он головой, в самом деле не догадывался.

Не предлагая садиться, тот, кто в наколке, попросил рассказать... О. Николай думал, что о последнем любовнике жены, так было и начал, тот нагло улыбнулся и грубо заметил:

— Ты нам, батя, брось свои махинации. Ты скажи нам прямо, чего он в твой дом приходил?

— А это уж спросите у жены.

Милиционер сурово уставился на него.

— Ты нам на жену не указывай. А, впрочем, скажи, поп, почему ты с женой разошелся? — Прищурил злой глаз, сел на стол, свесив одну ногу.

О. Никон растерялся — выкладывать им все, что было между ними, ему не хотелось, уклончиво сказал:

— Это мое личное дело.

— Нет, не личное, — язвительно запротестовал допрашивающий. — Педерастией заниматься — это не личное дело, а общественное, и ты нам об этом скажи, а не скажешь, так заставим. И на зад твой посмотреть, и на эти женские руки, сразу видно. Так что, батя, не уклоняйся, а поподробнее нам все изложи, если хочешь, чтоб с тобой мягко обращались.

Лицо о. Никона омрачилось, наползла грозовая туча печали, он спрятался в себя. Ему припомнились тот хохот и то скверное словцо, которое он тогда, возвращаясь от епископа, услышал над своей головой: педерастия. Вот оно что! Вот чего он не предвидел, вот чего он не мог себе представить! Это было самое скверное и самое страшное! Он тогда не видел, кто бросил в него это увесистое слово, сейчас он медленно повернул голову и вопрошающе посмотрел на милиционера, неужели этот — тот? Или в сговоре с тем? Милиционеру взгляд о. Николая показался очень сердитым, злым, даже угрожающим.

— Ты на меня, поп, так не гляди, — ощерился милиционер. — Я не таких грозных видывал. Ну так скажи, где вы с ним тово...

О. Никон молчал.

— Что, думаешь в молчанку отыграться? Не выйдет. В монастырь запрятался, педерастию разводить. При-

знавайся, как следует, и мы тебя отпустим, а там получишь лет пять, наживешь своей ж... капиталец и возвратишься... кум-королем...

О. Никон решил молчать, этот крест был самым тяжелым для него, а он уже думал, что свалился, и к нему не готовился. Как он сейчас жалел, что не поддерживал хотя бы формальные отношения со своей женой, теперь на него начнут лить всякую грязь. Господи, — он не заметил, как голова его склонялась все ниже и ниже, стоящие вокруг него расценили это как то, что совесть упрекает...

О. Никон не поднимал головы, над ним что-то заговорили, до слуха долетело: «Приведи».

Когда о. Никон поднял голову, перед ним стоял улыбающийся любовник его жены.

— Ну так скажи своей супруге, как она тебе отдавалась? — сказали тому, указывая на о. Никона.

— А он что, не говорит? — покосился тот.

— Да делает из себя невинную проститутку.

— Заставьте заговорить!

Того увели, о. Никон снова опустил голову.

Неужели все, неужели не придется ничего больше сделать, как только быть с отребьем человеческим? Он с ужасом представил себе, как его посадят вместе с ними, его это очень страшило, озноб пронизал всего. В комнате было тихо, о. Никону показалось, что его оставили одного, но когда он поднял голову, на него молчаливо уставились четыре ненавидящих глаза, они больше ни о чем не стали расспрашивать и милостиво отпустили:

— Иди пока и сделай определенные выводы.

О. Никону не верилось, что его отпустили, когда он шел по улице в Лавру, натыкался на людей...

— Да что ты, слепой, поп, что ли? Не видишь разве, куда идешь?

О. Никон побежал прямо к Преподобному, упал молча на колени, шла служба, стояла молитвенная тишина, только слышался голос:

— Преподобный отче наш Сергие, моли Бога о нас.

Молящихся был полон храм, казалось, все, находящиеся здесь, убежали от какого-то великого горя и прижались к раке Преподобного, как испуганные дети, и молят о помощи.

Из глаз полились слезы. Вышел от Преподобного о. Никон последним, дежурный монах снял с себя епитрахиль. Только вышел, навстречу с радушной улыбкой, как будто давно знакомый, — молодой человек. О. Никон вгляделся в него и, хотя не мог узнать, улыбнулся ответной улыбкой.

— Скажите, пожалуйста, — заговорил молодой человек, — не смогу ли я с вами поговорить?

— О чем? — испуганно спросил о. Никон. «Неужели какая-то провокация?» — подумал. Он осмотрел молодого человека с ног до головы, хотел извиниться занятостью, потом зазвучали в сердце слова Апостола: «Всякому вопрошающему нужно дать ответ», — переспросил успокоенным голосом:

— О чем мы будем с вами говорить?

— Я вам хотел бы рассказать свою жизнь...

Они уселись на близстоящую скамейку.

— Ну говорите, послушаю. — О. Никон нашел в себе силы сдержать волнение, слегка оглянулся кругом, на них уже смотрели, ведь любопытное явление: священник и рядом с ним молодой человек, что у них может быть общее? Молодой человек начал сразу:

— Я ищу духовного отца, хочу руководства...

— Но почему вы обратились ко мне? Ни я вас не знаю, ни вы, наверно, меня...

— Это безразлично, я к вам почувствовал расположение.

О. Никон незаметно вглядывался в глаза молодого человека, хотел в них прочесть что-то провокаторское, но видел только доверчивость, откровенность. Ему досадно и больно было, что нужно подозревать, ссылаясь на время, но, вспомнив, как он только был в милиции и как с ним там обращались, невольно боялся и, не желая, подозревал, а молодой человек уже рассказывал:

— Началось все с того, что я увлекся Достоевским. Федор Михайлович. — Молодой человек с благоговением назвал это имя. — И представьте, что меня поразило... — Молодой человек не умел еще подобающим образом держать себя с духовным лицом, резко повернулся, чуть не дернув за пальто, о. Никон был без формы. — Поразило то, как Федор Михайлович описывает психику атеиста. Я ужаснулся, я увидел бездну, которая может разочаровать в жизни. Я увидел бессмыслицу жизни. Неужели нет смысла? — поставил я себе этот роковой вопрос. Я еще тогда не знал, что Достоевский верующий человек. Я пошел к своему дяде, идейному коммунисту, и говорю ему: «Ну в чем вы видите смысл, скажите мне», — он снисходительно улыбнулся и ответил: «Как в чем? В построении коммунистического общества». — «В построении? — закричал я. — Это когда все будут сознательными, работать по способности, а получать по потребности? И вы, дядя, в это верите?» — Я пристально вгляделся в его лицо...

Тут и о. Никон вгляделся в лицо рассказчика, тот этого не замечал, ему хотелось поскорее изложить все, что накипело в душе.

— Но когда же мы достигнем этого? — вскричал рассказчик. — Вот уже полвека строим, а народ становится все менее сознательным, все более и более не хватает хлеба насущного...

— Как не хватает? — возразил дядя. — Разве бывшая Россия имела автомобили, самолеты, радио?

— Я саркастически улыбнулся, — продолжал рассказчик. — Но на кой черт, вы простите меня, батюшка, — обратился он к о. Никону, извиняясь, — на кой черт мне самолеты, если мне нечего жрать? И даже не это беда. Я согласен быть голодным, но посмотрите, какая неправда кругом, сколько Сталин загубил людей? Да и только ли Сталин? Мы об этом сейчас только благоразумно умалчиваем.

Дядя вытаращил глаза, он не узнавал своего племянника.

— Где ты набрался такой антисоветчины? — закричал он.

— Я тут повернулся и ушел, — заключил рассказчик. — Что говорить с таким, кто все сводит к антисоветчине?

...Я зашел в тупик. «Зачем мне работать? — думал я. — Зачем что-то строить? Ни мне это не нужно, ни кому-то другому. Всех нас ожидает смерть, к чему убаюкивать себя?»

Хватать, что попадется под руки, пойти на легкий промысел, грабить и без меня окончательно ограбленных людей я не мог. Я бросил работать, лег на кушетку. Прошел день, второй. «Что с тобой, почему не идешь на работу? — мимоходом спросила старуха, у которой я снимал комнату. — В отпуске?» — «Да», — процедил я сквозь зубы, собрался и ушел от нее. С этого дня я приспособился ходить по столовым и собирать на столах оставшийся хлеб, надо что-то есть. Меня начала тревожить мысль: не покончить ли с собой? — но на это или у меня не хватило мужества, или что-то другое, какой-то ангел-хранитель ограждал меня, мысль о самоубийстве не овладела мной. Тогда я как-то подумал пойти к психиатру и наговорить на себя. Пришел и говорю ему: я не вижу ни в чем смысла! Мне хочется половину людей убить, чтоб не воняли, хочу я и себя убить, у меня сидит какой-то чертик, который, наверно, сидит и у вас... Психиатр долго не расспрашивал меня, позвал сестру, и меня посадили в буйное отделение...

— Ну и как, не страшно там вам было? — спросил о. Никон.

— А чего страшиться? Сумасшедшие никогда тебя не тронут, они все заняты своим миром. Ну правда, случается, когда тарелку наденут на голову кому-то, и все, а вообще — это милый народ. И довольно веселый, приветливый. Знаете, батюшка, откровенно говоря, я там даже повеселел. Как они могут заразительно смеяться, и какие они вещи умные говорят, куда нам до них? Сидел я там дня четыре, перевели в тихое...

— Ну и чем вас лечили?

— Кололи инсулин, это трудные уколы, говорят, некоторые с трудом переносят их, бывают разные осложнения, а я перенес сравнительно легко. — Рассказчик в это время держал свои руки на коленках, и о. Никон видел, как они слегка вздрагивали, и эта дрожь его рук расположила как-то о. Никона к нему, он поверил в его искренность и слушал с доверчивым вниманием.

— После двух месяцев лечения я из больницы вышел, — продолжал рассказчик. — Сознание как будто просветлело, но что мне делать, я все-таки не знал, и тут мне повезло, мне в руки попался философ Бердяев, я стал его читать запоем, все перечитал, что издавалось до революции. Потом прочел Булгакова и понял, что Достоевский верующий и что смысл жизни — в Боге. Как мне стало радостно. Батюшка, радость, когда обретешь веру в Бога, ни с чем не сравнима. Ни эти трудности, ни бессмысленность нашей жизни не страшны, даже еще это поддает уверенности. Чем труднее, тем лучше. Бог — это любовь, я почувствовал Его любовь и согрелся ею. Рассказчик как будто закончил, сидел зачарованно, куда-то всматриваясь. «Может быть, он и в самом деле больной человек, — подумал о. Никон, — но разве это что-то значит?» Он видел перед собой человека, нашедшего смысл жизни в Боге, о. Никон спросил:

— Ну и что вы хотите от меня?

— А вот что, батюшка. — Рассказчик повернулся к о. Никону, немного придвинулся к нему. — В Бога я верю, но я больше ничего не знаю, а ведь есть Церковь, есть церковные таинства... Хочу, чтоб вы руководили мной. Будьте моим духовным отцом, или как это у вас называется?

— Хорошо, но только вот что, — сказал о. Никон, — я не здешний. Я здесь только зако нчил Духовную Академию, принял недавно монашество и должен на днях уехать отсюда.

— Все равно, — сказал молодой человек, — я буду к вам приезжать туда. Свободного времени у меня много,

я работаю в военизированной охране, дежурю через двое суток на третьи.

— Тогда оставьте мне свой адрес, — сказал о. Никон, — я вам напишу.

Молодой человек улыбнулся, записал свой адрес и не стал больше задерживать о. Никона. Состояние у о. Никона было такое, как будто это исповедовался не молодой человек, а он сам, на душе стало спокойно, казалось, о чем можно жалеть, нужно искать другой жизни, другого града взыскать... — спокойным шагом направился к себе в келью.

У входной калитки туда стояла женщина, видимо, кого-то поджидая, по-старушечьи закутанная и даже сгорбленная. Он, не обращая на нее внимания, хотел пройти мимо, но женщина отступила от решетки и загородила ему дорогу. Он поднял глаза и увидел бледное лицо своей жены, остановился, ничего не спрашивая, она заговорила сама:

— Слушай, — никак не обращаясь к нему, — ребенка я отдала о. Константину... — Она неожиданно закашлялась. — Он принял, будешь платить... — Кашель, кажется, случайный, не проходил, сквозь кашель она добавила: — Тебя хотел оклеветать мой хахаль, — она говорила цинично, но в голосе чувствовалась какая-то надломленность и тяжелая боль. — Я ходила в милицию и рассказала, в чем дело. Он погорел на чем-то крупном и хотел отыграться на тебе, потому тебя и обвиняли в связи с ним... В то время, когда ты был там, и я там была, совпадение случайное... Ты теперь свободен, больше тревожить не будут. Вот и все, не вспоминай меня, как говорят, лихом. Я, может, лягу в больницу, а может... — Она не договорила, щелкнула пальцами. — Где наша не пропадала... — Немного пошла, повернула голову. — Не забывай сына, обо мне можешь не вспоминать.

Она решительно пошла, о. Никон стоял и смотрел на фигуру, исчезающую в начинающихся сумерках, сердце зажималось какими-то тисками, не то боль появилась, не

то тоска охватила его, он быстро пошел к себе в келью, глаза накипали слезами.

Келья была пустынна и слегка сыра. Лампадка чуть мерцала перед образом неярко вырисовывающегося Христа, только глаза, полные тоски и грусти за все человечество, были отчетливо видны.

— Боже! — воскликнул о. Никон и тут же опустился на коленки; о чем он молился, это, наверно, всякий может представить. Эта молитва его окончательно успокоила, придала силы и уверенности.

Удивительно все-таки стало легко о. Никону после недельного пребывания в Лавре.

В милицию его больше не вызывали, собратьям он сказал, что вызывали его в качестве свидетеля, по поводу чего, не сказал, да они особенно и не расспрашивали, тем более что и мало его знали. Знал только студент, принявший монашество, но тот его вообще ни о чем не расспрашивал.

О. Никон направился к своему епископу. Епископа в это время в области не было, уехал куда-то по делам, так сказал дежурный в канцелярии, занимаясь генеральной уборкой: протирал окна, смахивал пыль со стола, передвигал диваны. Тогда о. Никон направился к о. Константину, был уже девятый час вечера. Сердце билось учащенно — как встретят, и особенно сынишка, но где-то застряла мысль: может быть, неправда, что жена поручила сына о. Константину. Постучал в дверь, звонка не было.

— Кого надо? — послышался старческий голос женщины.

— Надо о. Константина, он здесь живет?

— А вы кто такие будете, зачем он вам? Если на требы звать, приходите завтра, он отдыхает.

О. Никон потоптался немного у двери, ему, признаться, было боязно входить, стоял в нерешительности. Старуха, не дожидаясь повторного голоса, открыла дверь.

— О. Константин спит, — произнесла она, но, увидев, что перед ней священник, вгляделась в лицо. — Да это не вы ли, о. Николай? — воскликнула она.

— Был о. Николай, а стал Никон, — слегка улыбнулся о. Никон.

— Проходите, — пригласила старуха.

К нему навстречу выходили о. Константин, его жена и теща, последняя несла на руках девочку. «Андрюши, значит, нет», — подумал о. Никон. Он хотел было спросить: правда ли? — как о. Константин заметил, что здесь кого-то нет, и попросил жену, чтоб она привела Андрюшу, та моментально пошла за ним, но на ласковый голос послышался сердитый окрик ребенка:

— Не пойду, папы у меня нет, он умер...

У о. Никона потемнело в глазах, все стало горьким упреком: и жена, и ребенок, и его собственная беспомощность. Делать нечего, нужно было самому идти к сыну, и он, не раздеваясь, пошел. Сын сидел, забившись в угол, озираясь на всех, как затравленный зверек. Отца не сразу узнал, долго смотрел недоверчиво, но потом как-то встревожился, уставился так внимательно, что незаметно для себя поднялся, вскочил опрометью и бросился на шею отца.

— Папочка, папочка, ты не умер, а кто же умер? Мама? Он обнимал его, целовал, прижимался к нему, весь вечер сын не отходил от отца, спать лег охотно, чего не бывало раньше, и девочке, дочери о. Константина, с гордостью заявил: — А у меня есть папа.

— И у меня есть папа, — тоже с гордостью ответила та.

Когда все легли спать, о. Константин и о. Никон продолжали беседу.

— Ну, куда теперь? — спросил о Константин.

— Куда угодно, — спокойно ответил о. Никон. — Владыко обещал послать в глухую местность.

О. Константин поднялся, вышел в другую комнату и возвратился с толстой тетрадью.

— Это что? — улыбнулся с некоторым юмором о. Никон. — Писателем стали?

— Да, прочтите.

— И снова не откладывая?

— Да.

О. Никон тут же развернул тетрадь и стал читать.

КРЕСТ ХРИСТОВ!
(Снова дневник о. Константина)

Очень трудный и сложный путь священника в наше время. Современный человек, да и не только современный, часто смотрит на священника предвзято, его взору рисуется непонятная фигура: заросший бородой, с длинными волосами (и не потому ли стало очень частым явлением, когда священники укорачивают бороду и подстригают волосы?), с несовременным взглядом на мир и общество, отсталый человек в культурном отношении, но никому невдомек, что среди священников были такие культурные люди, как Булгаков, и Флоренский, и совсем недавно скончавшийся Войно-Ясенецкий, архиепископ Лука. Конечно, это только к слову, не в этом ведь дело. В нравственном отношении им рисуется священник как вечный пьяница и алчный к деньгам. Много, может быть, во всем этом есть правды, но много и неправды.

За последнее время в литературе начали вскрывать предвзятые мнения и выводить на свет Божий когда-то невинно похороненных, выступать в защиту невинно гонимых, но за священника и до сих пор никто не подал никакого голоса в защиту. А ведь как он нужен, именно нужен хороший священник, и за него должен быть подан голос. Сколько жаждущих душ, сколько скрытой веры в русском народе, как побелели нивы и как мало делателей! Виноваты в этом отчасти и правящие сановники церкви, чего бояться, когда все заговорили?

Впрочем, я пишу не для того, чтобы вызвать жалость к священнику, наверно, еще долго не узнает никто, что я написал на этих страницах в минуты горького раздумья. Да я и склонен к тому, чтобы признать, что так должно быть, что в Церкви идет процесс своим путем, не совсем сходным с путем этого мира. Христос, постоянно распинаемый не только тогда, когда иудеи Его пригвождали ко кресту, но и сейчас, когда все ополчились на Христа и говорят о Нем, что Его не было и нет, хотя с Ним спорят и Его ненавидят.

Так и священник... должен быть Его последователем. Христос побеждал и побеждает, и священник, если он настоящий, победит и, оплеванный, окажет большее влияние на мир, чем кто бы то ни было. Современная молодежь, чего никак нельзя было предполагать, начинает переоценивать все ценности, обратит внимание и на священника.

Рассказывали мне такой случай. Один инженер, увидев, как разоряют храм, как образованные люди издеваются над безграмотными старушками, бросил все и ушел служить Богу, стал священником.

Известны мне и такие случаи, когда научные работники мечтают поступить в Семинарию и быть священниками.

К священнику среди народа отношение меняется, теперь уже нет того неприкрытого зубоскальства, которое было когда-то, может быть, только раздается еще со страниц газет да беззубого журнальчика «Наука и религия», но что это?

Вообще же жизнь священника очень сложная и трудная, и чем он честнее, тем у него как-то жизнь складывается хуже, ему как будто кто-то мстит. Один священник, очень честный, мне так и говорит: дух злобы мстит. Хотя у священника, так выразившегося, очень хозяйственная жена, воспитанные дети и сам он, как говорят, на высоте положения. К слову, одна деталь. Из наблюдений известно, что семья священника и сейчас — образец семьи, нет той сплошной измены, абортов, разврата, одним словом, семья священника нравственно устойчивее, чем другие семьи. Но, к сожалению, я сейчас должен рассказать о развалившейся семье моего товарища-священника.

Мы с ним учились вместе, он был моложе меня, бледный и с характером юноша, украинец — настойчивый, как все украинцы, но честный, правдивый, отзывчивый человек. Вместе учились мы с ним мало, вскоре он перешел учиться в Духовную Академию, но я с ним продолжал встречаться. Познакомился он в Академии с девушкой, очень милое производила впечатление. Полная, набожная и невероятно скромная. Когда он угощал ее, она

стеснительно отказывалась. Каюсь, я даже завидовал их будущему счастью: вот бы мне такая жена.

Несколько последних лет я с ним не встречался, както он узнал мой адрес и пришел ко мне, в это время я был на службе. Прихожу, жена говорит, что у нас гость.

— Кто?

— Узнаешь.

— А где он сейчас?

— Пошел прогуляться.

Через некоторое время приходит о. Петр с покупками, в том числе захватил с собой и горькинького, очень трогательная черта у этого человека — никого не обременять, пришел в гости с собственной выпивкой и закуской.

— Зачем это? — говорю я.

Он улыбнулся в большую бороду, и я в складках его бледных губ увидел знакомую юношескую улыбку, так улыбаются только невинные дети, а сколько он пережил?

Прежде всего внешне. Ему лет тридцать семь, а выглядит он почтенным старцем, с лысиной и поседелой бородой. Страдает болезнью сердца. Сели за стол, и как-то само по себе началось, что он стал рассказывать о Верочке, так он и сейчас называет свою бывшую жену, у него нет ненависти к ней, хотя и не проявляет явной жалости. Долгое время он жалел детей, приходя к ним, приносил гостинцы. И вот как-то в Светлую Седмицу, наложив всего, пошел к ней. Долго стучал, не открывали, потом открыла, вернее, приоткрыла дверь жена, она узнала, что это он стучит.

— Что нужно? — спрашивает, он сначала опешил от этого холодного голоса, потом говорит:

— Вот, хочу похристосоваться.

Она резко бросает ему в лицо слова:

— Ни я, ни дети не нуждаются в тебе, — и захлопывает дверь, и с того времени у него были отбиты всякие желания посещать их, раздал он гостинцы соседям и больше не ходил к детям, зачем травмировать, вырастут, най-

дут его сами, а деньги по исполнительному листу он постоянно посылает им. И теперь живет один, трудно, но привык. Интересно, как она судилась. До этого они уже жили отдельно, но он был прописан у нее, он давал на детей больше, чем она могла бы добиться по суду.

— Может, как-либо уладите, — сказала судья. — Ведь вы меньше будете получать.

— Не хочу.

— Но почему вы с ним расходитесь?

— У нас разные взгляды на жизнь: я хочу учиться, а он мне не разрешает. Я хочу воспитывать детей в современном духе, а он их заставляет отбивать поклоны.

— Но вы сами верующая?

Ответила уклончиво:

— Это мое личное дело, к делу не относится.

Потом спросили у него:

— Признаете ли вы себя виновным в том, что распалась ваша семья, правильны ли обвинения вашей жены?

Он только ответил на первую часть вопроса:

— Виновным признаю. Прежде всего в том, что создал ей хорошие условия, не заставлял работать, и она избаловалась…

— Хитрый вы, — бросили ему упрек.

Их развели.

Интересно еще вот что. Дом, в котором жили, подлежал сносу, следовательно, прописанный в нем имел право на жилплощадь. Жилплощадь для него много значила, может быть, в связи с этим оставили бы для него одного ребенка (было трое), и это было бы большим утешением, ведь священнику жениться второй раз по церковным канонам нельзя. А имея семью, потом оказаться одиноким — это очень тяжело, но мало кто это понимает. Позубоскалить над священником есть охотники. Так она, его Верочка, он только так называет ее, и в голосе, может быть, помимо его воли, слышится теплота, добилась того, что за день до получения ордера выписала его, и он оказался выброшенным на улицу, пришлось ехать в деревню.

Моя жена, слушавшая этот рассказ, прослезилась, потом она мне говорила, что это самая страшная бесчеловечность. Я улыбнулся:

— Видишь, какие женщины бессердечные!

— Не все, — заметила мне.

— С чего же все-таки у вас началось? — спросил я у о. Петра.

— Да началось с простого, она хотела жить в большом городе, а я хотел служить Церкви и быть там, куда меня посылают, то есть быть послушным.

Его голос дрогнул, он остановился, пожевал что-то, я боялся, что с его глаз сорвутся слезы.

— Признаться, я сейчас живу лучше. А то бывало так. Когда я служу, у меня никого нет, приезжает раз в месяц поругаться со мной и получить зарплату, а я отдавал ей все, но она, бывало, еще проверяла мои карманы. А теперь я свободен.

Я вставил:

— В моем сознании никак не укладывается, чтоб та скромная, стеснительная Вера оказалась такой...

— Но как видишь. Сейчас она ведет двойную жизнь. Закончила институт, но нигде не работает. Если разговаривает с верующими, то говорит, что я ее бил, что я даже неверующий; неверующим говорит, что я фанатик, что хочу сделать всех послушными рабами. Но ее уже раскусили. Раньше ей что-то давали знакомые священники, теперь от нее все отвернулись, поет где-то в хоре и получает гроши.

О. Петр, что-то вспомнив, задумался, на его бледном лбу вспухли морщины, и засинели вены на висках.

— А после еще написали про меня в газету, — продолжал о. Петр. — Написали в том духе, в котором она показывала. Впрочем, одну деталь надо добавить: это что я не давал ей на детей. Пошел я в газету и сказал: вы написали неверно. Вот все данные, что я ей платил, вот квитанции переводов.

— А для чего нам нужно опровержение? — спрашивают у меня. — Что, вас притесняют по работе?

— Нет, — говорю.

— Так для чего же?

— Для правды.

Улыбнулся редактор:

— Смешной вы человек. Не трогают, сидите, как бы не было хуже. Мягко выражаясь, вас надо судить за одни ваши убеждения, вы чуждый нам элемент.

— Но ведь Конституция?

Он не стал со мной разговаривать, отрезал:

— Опровержения напечатать не можем.

— Скажите, кто автор статьи, я его хочу видеть.

— Подавайте в суд, автор под псевдонимом. Если найдет суд нужным, скажут. Но я вам советую: идите и служите, пока вас не трогают.

Пошел к юристу, тот мне говорит:

— Вы юридически малограмотный. Вот вы проповедуете то, за что вас надо судить, но мы вас терпим потому, что вы проповедуете в силу вашей профессии, а атеист тоже пишет в силу своей профессии. Вас он избрал совершенно случайно, он, может, вас бы даже уважал, но как пропагандист он должен это делать, ему дан определенный план. Так что судиться я вам не советую, как бы не оказаться второй раз осужденным...

Подумал я, да и решил: чем растрачивать силы на такие мелочи, лучше заняться делом, и я весь отдался служению: проповедую, навещаю больных, помогаю страдающим и, признаться, успокоился и мало даже вспоминаю о семье.

Он наклонился над столом, потер лоб.

— Расскажу я вам еще вот что, как я был благочинным. — На этот раз его глаза наполнились слезами, он начал: — К епископу поступили жалобы. Священник двоеженец, пьет. Приезжаю, встречаю священника, еще молодого. В доме женщина, двое детей. Спрашиваю у нее, как только муж вышел:

— Вы кто ему?

Она смущенно посмотрела на меня:

— Жена.

— Вторая?

— Да, — и тут же заплакала. — Что вы с нами думаете делать? — спрашивает у меня. — Лишать мужа сана? А что будет с нами в таком случае, вы подумали? На кого останутся эти, — указывает на детей дошкольного возраста. — Вы прекрасно знаете, что с его профессией на работу будет не так легко устроиться, нужно будет заявить о своем неверии в Бога. А мы все-таки верующие, поэтому прошу: пожалейте нас, — плачет искренне.

Приходит муж, то есть священник, я ему говорю, что на вас поступила жалоба о том, что вы пьете. Он на меня смотрит смущенно и что-то хочет спросить, потом, ничего не сказав на мое заявление, спрашивает у меня:

— А вы только этим интересуетесь?

— Да, а разве еще что-то есть?

Он переглянулся с женой и прошептал:

— Нет, больше ничего.

— Так вот, — говорю я, — перестаньте пить, иначе будет плохо: запретят вас в служении, как вы будете тогда жить, а у вас, не забывайте, дети.

Он растрогался и заплакал, видимо, оттого, что я не расспрашиваю о том, что он второй раз женат, приготовил мне угощение, я от всего отказался и уехал и сам всю дорогу плакал. Ну что делать? Да, по канонам его надо лишать сана, но это значит — четверых человек обречь на очень страшное положение, что будет с ними? Сейчас у них есть вера, а потом, может быть, потеряют и веру?

Не успел я приехать домой, ко мне делегация от прихожан.

— В чем дело? — спрашиваю. — Зачем приехали?

Начинают издалека, расхваливают священника, что жена у него немного больна и иногда заговаривается и наговаривает на себя, что она не жена, а сестра... — И смотрят на меня пытливо.

— А как перед Богом будет правда? — спросил я решительным голосом, и они поняли, что мне все известно, они бух мне в ноги:

— Не обижайте нас, ради Бога. Церковь для всех нас — единственное утешение. Если вы снимете его, к нам больше никто не пойдет. И если это случится, закроют церковь, власти только этого момента и ждут. Пожалейте нас. У нас жизнь очень трудная, а то придешь в церковь, наплачешься, и легче станет. Не обижайте нас, и без того обиженных.

Ползают в ногах, хватают мои ботинки, целуют. Я тоже поплакал с ними.

— Идите, — говорю, — молитесь.

Как они обрадовались! Достают яички, одна женщина курочку принесла, луку, чесноку принесли.

— Вот возьми, от души даем. Станем богаче, отблагодарим больше.

Я говорю им, еле сдерживаясь от слез:

— Идите молитесь, мне ничего этого не нужно.

— Да вы уж нас не обижайте, — умоляют меня, — примите от нас: чем богаты, тем и рады. А будем богаче, еще отблагодарим.

Я говорю им, что мне ничего не нужно. Они запели снова свою песню:

— Да вы уж примите, не побрезгайте нами. От души даем. Вы нам такую радость сделали. Ведь у нас форменная берлога, никто к нам не пойдет, а он, этот священник, сжился с нами, и ничего. Он с нами научился и без хлеба быть, на одной картошке сидеть. Он хороший, наш батюшка, золотой человек, такого нам не найти. Вот только судьба его обидела, рано умерла его жена, а двое детей осталось. Это благодарение Богу, что эта сиротка — его вторая жена — согласилась. Сиротка эта, она тоже золотой человек. Он теперь пить стал меньше, а раньше запоем пил, под забором валялся, да где он только не валялся. А мы вже, — сказали вместо уже вже, и это как бритвой резануло меня, — будем всем миром молить Бога, чтоб простил ему его тяжкий грех.

Я отпустил их, обращаюсь к своей Верочке:

— Ну как, что ты мне посоветуешь, правильно я поступил?

И она безучастно и безразлично говорит:

— А мне какое дело, смотри сам. Только подумай и о себе: будешь к другим снисходительным, как бы самому не лишиться места.

Она тогда еще ездила ко мне в провинцию и иногда жила со мной по неделе там.

Больше не стал я у нее спрашивать, уединился и стал молиться Богу, от души помолился. Так плакалось хорошо. Боже, Ты все видишь, прости нас и научи, как делать?

На третий день приезжаю к епископу.

— Ну как? — спрашивает он меня.

Не поднимая на него глаз, говорю:

— Сведения не подтвердились.

Он мне сует донесения, и все одной рукой написанные. Ох, как любят иногда у нас ябедничать, и нет им пользы от этого, а все ябедничают.

— Нет, не верю тебе, — заявляет епископ, дает мне бумагу и говорит строго: — Пиши рапорт.

Я беру бумагу и пишу: «Прошу освободить меня от благочиния, — подумав, добавляю: — За недоверие», — и тут же подаю.

Епископ поражается:

— Так быстро написали? — Читает, подымает удивленные глаза:

— Это что вы написали?

— А вот то, что не могу я быть благочинным, — и разошелся: — А знаете ли вы, что он, может, самый лучший их священник. Он знает нужду прихожан, он свой им, их батюшка. А вы бы посмотрели, как взволновался там народ? А кого вы туда пошлете, ведь там окажется дыра, которую нечем будет закрыть. А властям-то это и нужно будет, им на руку. Месяц побудет храм без священника, и закроют.

Подействовало это на епископа, смягчился.

— Ну скажи между нами. Все-таки она не сестра его? — спрашивает.

Я улыбнулся ему.

— Горячий ты у меня, — растрогался епископ, подошел, расцеловал меня.

А епископ, нужно заметить, он крутой, может так распалить, что не будешь знать, что делать.

Далее в тетрадке о. Константина написано: «Умилился этому повествованию и подумал о своей жизни».

С переходом на новую квартиру у нас отношения как будто утряслись, но все-таки грустен мой анализ. Я вижу, что и моя хорошая жена не подготовлена к тому, чтоб быть женой священника, матушкой, как правильно ее называют. В последнее время у нее стала проявляться какая-то скупость. Как только придут ко мне гости, так и скандал: чем угощать, у самих, мол, ничего нет?

— Да ведь надо делиться, — говорю ей я.

А она продолжает:

— У тебя есть семья, ты об этом должен думать.

— Знаю, думаю, но ведь тот, кто делится, не останется в нужде.

— А все-таки остаемся.

Переспорить в данном случае трудно.

Трудна и сложна жизнь священника, так сложна, как ни у кого другого.

А надо служить, поскольку это мой путь. Я очень часто задумываюсь над своими трудностями, иногда спрашиваю себя: если б мне сейчас пришлось выбирать путь, выбрал бы я путь священника?

На этом записки о. Константина кончались.

О. Никон машинально перевернул страничку, там лежало отдельно два листка, исписанных знакомым почерком.

— Неужели? — как-то испуганно подумал я и не удержался, чтоб не прочитать, там было написано:

«Прости меня, мой дорогой муж, — писала моя бывшая жена Тоня. — Я, может быть, не совсем такая, какой казалась, но я погибла. Не знаю, может быть, мне осталось жить недолго, и я хотела, чтобы ты знал правду.

Я тебя никогда не переставала любить, но я боязливая, боязливость — мой врожденный порок. Я с детства все-

го боялась, может быть, потому, что на меня, как сироту, все нападали, но это не в оправдание. Когда я увидела, что тебя могут лишить места, я испугалась, а тут стал мне забивать голову пропагандист, я поддалась ему, но он, взяв от меня, что ему нужно было (я этого не скрыла от тебя, хотя и могла бы), разочаровался во мне, и уже о женитьбе на мне не было никакой речи. Я снова пришла к тебе, поверь мне, что я искренне раскаялась, я думала, что больше того не повторится. Но я теперь понимаю, что, раз попустив, пойдешь и дальше. Второму я поддалась легче, но второй меня оскорбил до глубины души, назвав дешевкой, хотя, как я думаю теперь, такая я на самом деле и есть. Я тебе говорила, что он меня заразил сифилисом, на анализы я не пойду. Отчаявшись, я стала пить и теперь не могу, чтоб не пить.

Ты правильно сделал, что принял монашество. Мне говорили, чтоб я на тебя подала в суд, я от всего отказалась. Береги сына, а меня прости, если можешь, я погибла.

Если б можно было поисповедоваться и причаститься, но поймет ли меня теперь кто-либо? А в Бога я верю, верю и что за гробом есть жизнь, хотя я тебе говорила, помнишь, не верю. Самоубийством кончать поэтому боюсь.

Если услышишь о моей смерти, помолись, а отпевать по церковному обряду, может, и не надо. Прощай навсегда».

О. Никон поднялся и забегал по комнате, он хватался за голову, принимался молиться, снова бегал, в доме уже спали. О. Константин, услышав необычно бегающие шаги, вышел к о. Никону в халате и сразу остолбенел: на о. Никоне, как говорится, лица не было, глаза блуждающие, волосы взъерошенные, что-то про себя шепчет.

О. Константин, посмотрев на тетрадь и записку возле нее, понял, какую допустил оплошность, той записки он не хотел о. Никону сейчас показывать.

— О. Никон, — позвал он.

Тот не отзывался.

— О. Никон? — продолжал звать о. Константин.

— А, что? — произнес наконец о. Никон и тут же стал винить себя: — А ведь я виноват, я не мог понять ее как

следует. Где теперь она? Что она вам говорила, когда отдавала ребенка, куда пойдет? Припоминайте, пожалуйста.

Но что мог сказать о. Константин?

Ребенка к нему она принесла совершенно пьяной; в кармане у нее была в запасе бутылка.

— Пойду пить, — заявила она, насильно улыбнувшись.

— Лягте, — сказал о. Константин, сострадательно посмотрев на о. Никона. — Утро вечера мудренее, завтра поищем ее...

— Идите к себе, — что-то подумав, успокоенно сказал о. Никон, — а я еще посижу, это пройдет, ничего, все бывает в жизни.

О. Константин оставил о. Никона, хотя долго прислушивался, но шагов никаких не слышалось, только иногда раздавался глубокий вздох.

О. Никон долго сидел молча над столом. Несколько раз он принимался целовать буквы в записке жены, целовал безотчетно, ему было приятно целовать. Эта приятность была не экзальтированная, это была любовь к несчастной своей жене, любовь христианская. Во всем он винил только себя и ничем не хотел оправдываться. Ему было жаль жены, жаль сына, который не по-детски чувствовал трагедию семьи. Бедняжка! О. Никон сознавал, что никаких поворотов не может быть, он стал на другой путь, он только ломал голову над тем, как помочь жене. Идти в розыски завтра же нужно, на этой мысли он, кажется, и задремал. И вдруг ему открылось огромное пустынное поле, и по этому полю идет одинокая женщина, идет и качается, чего она качается? — поставил он себе вопрос и тут же поразился своей недогадливости. Да это же ветер гуляет, страшный ветер гуляет, и вдруг поднялся буран, и почему-то вспомнилась «Метель» Пушкина: буран, барин. И это не кто-то, а он тайком приехал венчаться, ждет, а жены нет. Она не приехала, заблудилась в метель, и вдруг слышит он отчетливый зовущий голос:

— Помогите! — Помогите! — И хотя он не узнает, чей это голос, но ему кажется, что кричит это его жена.

— Помоги, — кричит голос не во множественном числе, а в единственном, и обращается именно к нему, голос оборвался, захлестнулся набежавшей волной бурана, и он проснулся. В доме тишина, тишина какой-то тоски и одиночества. Прошел осторожно по комнате. Заглянул в спальню, где спали дети, стоял полусумрак, но уже показывалась луна и разливала небрежно свой свет. В уголке что-то чернело, он подошел туда и увидел, что это его сынишка сидит с открытыми глазами и перебирает на себе рубашечку. Он подошел, наверно, так тихо, что сын не расслышал его шагов и не подымал свою склоненную головку.

— Андрюшенька, ты что же это не спишь?

Тот спокойно повернул головку, на щечках были размазаны слезы так обильно, что их можно было заметить при тусклом лунном свете, проникающем сквозь узкое окно спаленки.

— Мне грустно, — прошептал сын.

— А чего же тебе грустно?

— А мамы нет... То тебя не было, а теперь мамы...

— Она придет, — попытался успокоить сынишку. — А ты ложись.

— Нет, не придет, я видел, она лежит под забором мертвая.

— Откуда ты знаешь, когда ты ее видел? — допытывался о. Никон.

— А вот сейчас спал и видел. Папа, мне маму жалко, иди принеси ее.

— Спи, она сама придет. — О. Никон перекрестил сына, поцеловал его в лобик, попытался уложить. Сын покорно лег, но не хотел засыпать.

— Папа, посиди со мной, мне скучно.

— Ну хорошо, я посижу, только ты спи, закрой глазки.

Сын закрыл глазки и тут же заснул, о. Никон хотел подняться и уйти на свое место, сын приоткрыл один глазок, поискал, наверно, отца и тут же закрыл. О. Никон еще немного постоял над сыном и тихо удалился.

Поразительное дело, тоска и одиночество после разговора с сыном как-то свалились с него, освободили его душу, но пошли раздумья, он вспомнил первые встречи со своей женой, мирную жизнь первого года, начинавшиеся скандалы и... разрыв. Почему так случилось, видимо, она верно пишет: «убоялась креста», испугалась его, а крест вместо того свалился более тяжкий и неблагодатный. Да, все проходит, набегают волны, захлестывают человека, и эти волны разбиваются только о подножие креста Христова. Только крест Христов спасителен, и о. Никону почему-то показалось, что люди в жизни часто создают себе кумиров, создают авторитеты, подобные божеству, и от этого много страдают. А нужно только веровать в Христа, и эта мысль окончательно его успокоила, как-то стало легко и безмятежно на душе, словно нашел разгадку всех своих недоразумений, и тут же спокойно уснул. И видит он сон. Он куда-то отправляется в путь, идет решительными шагами, на душе спокойно, и все впереди ясно, и эта ясность придает ему мужество. Он понимает, что ему много нужно сделать и за себя и за других, потому что он священник, он скорбь всех людей должен облегчать именем Христовым. Не просто даже именем, приобщать их к страданиям Христовым. У людей очень много всяких страданий, но эти страдания не просветляют их, люди остаются мрачными и озлобленными, а надо их приобщать к страданиям Христовым, только тогда просветятся. Вдруг послышался слабый стон, в это время он проходил мимо покосившегося забора.

— Помогите! — послышался снова тот же голос, как и в первом сне, он сейчас узнал, без всякого сомнения, что это голос его жены, наклонился.

В самом деле лежала она, смертельно пьяна. Он назвал ее по имени.

— Коля, Николай, ты здесь? — откликнулась она, приподняла голову, но не могла удержать ее, снова положила на землю, про себя зашептала: — Ты ведь не Коля, Николай, ты о. Никон. О если б ты меня причастил. Я так хочу поисповедоваться, рассказать тебе все. Все, все

тебе рассказать, не как жена, а как твоя духовная дочь. И чтоб ты меня понял, как я страдаю. И не только я страдаю, страдают все, и многие, как я, заливают горе вином. Но в вине нет забвения. Мне тяжело. Тяжело! — закричала она. — Помоги мне, — прохрипела. — Помоги, я так страдаю и так желаю причаститься. Приобщиться к страданиям Христовым, ну помоги же мне. — Он проснулся.

В окно глядела какая-то древняя луна с далекого какого-то древнего неба, и кругом стояла глубокая древняя тишина.

— Что делать? — произнес о. Никон вслух, вздохнул тяжело, встал на ноги, достал бумажку и написал: «Я ушел искать жену».

Наутро о. Константин, проснувшись раньше всех и заглянув в комнату, где с вечера был о. Никон, не нашел его там, подошел к столу и прочел им оставленную записку.

НЕЛЬЗЯ МОЛЧАТЬ
(Добавление к дневнику о. Константина)

Вот уже скоро год, как об о. Никоне ничего не слышно, ничего не известно и о ней, его жене. Правда, случалось мне сталкиваться с некоторыми возвратившимися из заключения, они рассказывают об одном священнике, который твердо стоял за свои убеждения, проповедовал среди заключенных Христа, его уважали все заключенные, называя его — наш батя. Рассказывали, что он отказывался работать на коммунистов, его постоянно держали в изоляторе, но как-то и туда ухитрялись заключенные передавать ему пищу, но этот священник, кажется, старше о. Никона.

Где в самом деле о. Никон неизвестно, его и епископ жалеет, приготовил неплохой приход.

О ней, его бывшей жене, тоже доходят кое-какие слухи. Первый — ее подобрали где-то на улице в буйном состоянии, вроде умерла в больнице, все каялась, просила, чтоб ее причастили, о ребенке, говорят, вроде даже и

не вспоминала. Второй — раз как-то она удрала из больницы через окно и возвратилась очень радостной, говорит, что причастилась, перед смертью вспомнила и о сыне, кажется, назвала его даже по имени, но только, кажется, не тем именем.

Но так ли это или не так, трудно судить, так как ни о том, ни о другом нет достоверных сведений.

Сын о. Никона живет у нас, я его, признаться, полюбил больше, чем свою дочь, за что меня постоянно упрекает моя жена: «Ты, говорит, находишь любовь для всех, только не для своей семьи».

Какой хороший, умный Андрюша! Он к нам привязался, как к родным, меня называет папой, жену никак не называет и, кажется, побаивается ее, на лице его все-таки печать угрюмости. Очень сообразительный и обладает хорошей памятью, много молитв знает наизусть. Часто, просыпаясь ночью, не по-детски молится, но это старается скрывать, чтоб никто не заметил. Я раз как-то подслушал его молитву, он просил Бога, чтоб простил его маму за то, что она изменила папе. Я поразился тогда его детской понятливости. Оказывается, он все понимал. Утром на следующий день я сделал оплошность, спросил у него, где его папа и почему он о нем не молится? Бедный ребенок посмотрел испуганно на меня, бросился ко мне, обнял мои ноги и навзрыд закричал: «Ты у меня папочка, нет у меня другого папы, не выгоняй меня». И я понял, потому он не называет родного папу, что боится — его выгоню. Бедный ребенок, ангельская душенька, сколько ему уже нужно перенести всего, все испытать. Не бойся, не выгоню я тебя, мой дорогой Андрюшенька!

Жена в последнее время его возненавидела и даже стала бить, говорит, что у самих ничего нет, а тут еще этот нахлебник.

Я не понимаю, что с ней случилось, кажется, с добрым чувствительным сердцем, а вот возненавидела.

Недавно мы с ней очень поругались. Возвращался я как-то с детьми с прогулки, они очень уж оба разыгрались. Когда уже подходили к дому, они, резвясь, оба уд-

рали от меня. Жена выбежала, схватила палку и стала бить Андрюшу, била сильно, не щадя, по чем попало. Ему было, видимо, очень больно, но он как-то жалобно скорчился, чтоб не закричать, укусил до крови свой палец, не подбежал ко мне пожаловаться, а сел молча в углу.

— Что ты сидишь, постреленок, раздевайся! — не владея собой, кричала она и снова схватилась за палку, ребенок инстинктивно побежал ко мне, но снова укусил свой палец и сказал ей:

— Бей! — сказал как-то по-взрослому, вызывающе.

Это окончательно раздражило жену, и она, закричав: «Ах, ты, выродок!» — схватила тарелку и, наверно, обрушила бы на голову бедного ребенка, но тут я не выдержал и схватил ее крепко за руку.

— Ах, так! — бросила она тарелку на пол, разбила ее, схватила ключи от квартиры и, сказав: — Ну, вот, занимайся теперь сам детьми, а я ухожу, приду когда, не знаю, — хлопнула громко дверью и выбежала, губы ее посинели и дрожали, я ей крикнул вдогонку:

— Вернись!

Она меня не слушала, и тут я догадался, что нужно проявить мужскую твердость. Заперев дверь, чтоб не вышли дети, я пошел за ней, она направлялась к автобусной остановке.

— Вернись! — еще повторил я.

Она, не оборачиваясь, торопливо шагала. Я, не обращая внимания на то, что на нас уже уставились любопытствующие глаза, — очень им нравилось, видимо, зрелище — у попа скандал, жена уходит, — подбежал, взял ее за руку, она сопротивлялась.

— Не пойду, занимайся сам.

— Нет, будешь заниматься ты, — сердито говорил я. — Я тебя научу… — я уже начинал говорить лишние слова.

— Не пойду. Сказала, не пойду, значит — не пойду, — сопротивлялась она и снова поворачивала к автобусам.

Я ее легонько толкнул, и то ли она оступилась, то ли

что-то еще, упала.

— Ах ты, дурак. Ты посмотри, как все смотрят, вот дурак.

— Пусть смотрят, — мне уже было все безразлично.

Она поднялась, не отряхнулась и снова направилась к автобусам, я сильно сжал ее руку, она поморщилась.

— Что ты делаешь, завтра же пойду к врачу, тебе покажут… Я свободна, это тебе не старинка, пусти.

— Хорошо, пойдешь к врачу, но сегодня ты будешь с детьми.

— Нет, не буду, пусти, дурак.

Я не отпускал ее, сопротивляться, видимо, она была бессильна, я втолкнул ее в квартиру и запер дверь. Хорошо, что теща уехала к себе, какой бы разыгрался сейчас скандал!

Вспоминается, как жена как-то раз намеревалась ударить Андрюшу и я удержал ее за руку, так теща закричала:

— Караул, бьют…

Жена тогда тоже опешила от такого крика. Я тогда очень поразился нахальству тещи, а она как ни в чем не бывало притопнула ногой и произнесла скверное слово…

— Наша воля. Ничего вот ты не сделаешь. Вот хотел бы и ничего не сделаешь. А заявим, так еще будешь отвечать.

Я ничего не мог сказать, жена наконец сказала сама:

— Мама, перестань, — сказала нехотя.

Сейчас я закричал на жену:

— Корми детей.

— Нет, не буду. И уйду, сказала уйду, значит, уйду, — пошла к двери.

Дети робко сидели на диване и глядели со страхом, Андрюша порывался вскочить.

— Вернись, — я толкнул ее. — Корми детей, — снова повысил я голос. — С тобой иначе нельзя обращаться.

— Я свободна, не имеешь права, это тебе не домострой, я не раба твоя…

— Ты мне больше не нужна, — начал я выходить из

себя. — Но пока ты нужна детям, корми детей.

— Нет, не буду.

Я взглянул на нее, она была бледная, губы дрожали, глаза, как пуговицы, стали маленькими, и я понял, что с ней ничего сейчас не сделаешь, решил кормить детей сам, она ушла в другую комнату.

Дочь, хотя была очень шаловливой, скромно села за стол, Андрюша последовал ей, взяли ложечки и принялись есть.

— Все равно уйду, не удержишь, мне надоело у тебя, пойду, хоть будет и хуже, но пойду.

— Пойдешь, только не сегодня.

— Сегодня пойду, не держи, дурак.

Что было бы дальше, не знаю, если бы не раздался стук в дверь, стучал кто-то незнакомый, стучал робко и с большими перерывами, теща стучала всегда требовательно.

Дочь продолжала есть, а Андрюша как-то просиял, вопросительно посмотрел на меня, встал из-за стола, потом что-то подумал и присел снова к столу, стал есть. Бедный ребенок, какие думы проносились в его голове, и как он уже по-взрослому соображал.

Я пошел открывать. Стоял молодой человек, чем-то взволнованный.

— Простите, мне нужно видеть о. Никона.

— Его здесь нет.

— Как нет? — переспросил он и недоверчиво посмотрел на меня. — Мне очень нужно его видеть.

— Ну вот его нет, а вы кто такой будете?

Он замялся.

— Да знаете... — он не находил подходящего слова. — Знаете... я его сын...

Я удивленно вытаращил глаза, он чуть покраснел и сразу понял, что допустил какую-то оплошность.

— Простите, извинился он, — я еще неопытен в религии и, наверно, неправильно выражаюсь, разрешите мне к вам зайти.

— Проходите, — вяло пригласил я.

Мы с ним уселись в передней, жена была на кухне, дети

притихли, видимо, они послушно ели. Он продолжал:

— Ну как бы сказать, я с ним недавно познакомился и просил его руководить меня в духовной жизни.

Я догадался:

— Вы его духовный сын?

— Да, да, — обрадованно подтвердил он. Он обстоятельно рассказал про встречу с о. Никоном в Загорске, про то, о чем они условились...

— Мне его нужно очень видеть, у меня сейчас творится то, что я не знаю, что со мной будет...

— К сожалению, вот уже год скоро, как о нем я ничего не знаю, сын его у меня.

У молодого человека тряслись руки., он то бледнел, то краснел, видимо, о чем-то переживал. Он долго молчал, не находил, что дальше говорить. Я его оставил одного, во-первых, чтоб он немного успокоился, и во-вторых, чтоб узнать, в каком состоянии моя семья... Дети прилежно ели, жена, насупленная, ходила возле них, на меня глянула угрюмо и опустила глаза, не спрашивая, кто ко мне пришел. Я повернулся и ушел к молодому человеку. Вскоре жена тихо прошла с детьми через нашу комнату и к нам больше не появлялась. Мы долго беседовали с молодым человеком, я понял его так, что он с какими-то большими задатками, недавно нашел веру, — какое это для него большое счастье, а теперь с ним происходит что-то невероятное. Но что такое, по его рассказу, я не мог определить, как будто какое-то имеет отношение к жене одного священника, который, по его рассказам, бьет ее. Потом я все-таки немного понял, в чем дело, она и он стали неравнодушны друг к другу, он заключил:

— Если я оставлю, священник ее может убить... Главное — это мироносицы, — то есть те, которые окружают священника, они сплетничают...

— А где сейчас жена того священника?

— Она, наверно, сегодня ушла в больницу...

— Что, он избил ее?

— Да нет, мироносицы...

Молодой человек замялся, через некоторое время от-

четливо сказал:

— Он требует у нее развода или порвать со мной...

Я понял, что у этого молодого человека с женой священника какой-то роман, я высказался прямо:

— Что, вы с ней жили?

Он страшно заволновался, весь затрясся:

— Что вы, я ее только уважаю, я ее навещал, помогал... Мне просто ее жалко...

— Вам нужно исповедоваться...

— Да, мне нужно исповедоваться, за этим я и приехал.

— К сожалению, о. Никона нет.

— Что же мне делать? — Он поднялся и заходил по комнате. — Что мне делать? Оставить ее я не могу, они ее убьют. Не священник этот, хотя и священник бил, особенно эти мироносицы, сплетницы...

Долгое время я не мог понять, кто эти мироносицы, потом понял — это у каждого священника есть ряд женщин, его почитающих. Да, в самом деле, эти люди часто приносят вред, и когда бы здесь не случилось так, что «мироносицы» незаметно для себя влюбились в священника, конечно, платонически, и стали ревновать его к жене, а та, как обычно, мало получая от него ласки из-за бесконечной его занятости, получила ласку вот от этого молодого человека и стала неравнодушна к нему. Насколько здесь серьезно, неизвестно, но что здесь разыгралось что-то тяжелое — это без сомнения.

— Мне нужно исповедоваться.

— Да, вам нужно исповедоваться.

Но я понял, что исповедоваться у меня он не был намерен, и я ему посоветовал исповедоваться у какого-то опытного духовника. Он не выражал такого желания, ему, видимо, хотелось исповедоваться у о. Никона, тот, вероятно, особенно его чем-то привлек.

— Вы разрешите мне к вам еще зайти? — попросил он. — Мне нужна поддержка. Ваш адрес мне дал сам о. Никон.

Я напросился проводить его, он охотно согласился.

Перед тем как идти провожать его, я остановился в некотором раздумье, что сказать жене? Я почувствовал вдруг, что не могу к ней подойти, появилась какая-то неприязнь. Не переборов этого чувства, я с тяжелым сердцем захлопнул за собой дверь. Пусть подумает, — успокоил я себя, сначала в этом намерении я утвердился, потом стало жаль жены. Вспомнил про ее болезни, в последнее время у нее появилось пониженное кровяное давление, особенно ни в чем не выражающееся, кроме периодических головных болей и порой непонятной слабости. Я хотел было возвратиться, но молодому человеку нужно было выговориться, он стал особенно словоохотлив на улице, мы разговорились и ходили по переулкам до позднего вечера. На улице молодой человек стал и более откровенен, он рассказал, что у жены священника одновременно умерли отец и мать, хотя были не особенно пожилыми и болезнь как будто случайная, но вот дала осложнения на легкие, хоронили их в один день. Жена была убита горем, и, как назло, у мужа в это время не было свободного времени, приходил со службы очень усталым, чувствовал, что нужно что-то сказать, и не мог, получалось сухо и официально. Она сначала не показывала вида, что недовольна мужем, старалась сдерживать себя, но горе прорывалось, часто вставала по ночам и плакала. Плакала громко, почти навзрыд, казалось бы, должен проснуться муж и что-то сказать в утешение, а он спал крепким сном, казалось ей, самым безмятежным, утром, вставая, всегда удивлялся, что жена проснулась так рано, а она вообще еще не ложилась.

— Что с тобой? — спрашивал он как-то поспешно, и она научилась притворяться, улыбнувшись деланной улыбкой, говорила:

— Ничего...

— Ты все переживаешь?

Она, подавив вздох, отвечала:

— Нет, успокоилась. — А ее душили спазмы.

Казалось бы, немного нужно внимания, чтоб увидеть в

ее глазах слезы, а муж как будто забывал уже свой вопрос, забывал о том, что она ответила, и торопился на службу.

Она была религиозной, любила молиться, а тут вдруг служба стала противной, в храме стояла рассеянно, иногда выходила из храма даже во время «Херувимской», чего с ней никогда не бывало, торопилась к детям. Муж же и тут не замечал, что ее в храме нет, сначала что-то спрашивал у нее по поводу этого, а потом перестал спрашивать, и ей показалось, что он успокоился, думал, что и она забыла своих родителей, а она что дальше, то больше думала о них. Ей казалось, что к ней теперь никто хорошо относиться не будет, она одинока, муж весь ушел в службу. Наконец ей стали надоедать дети, всегда так нежно относившаяся к ним, она их стала бить, казалось ей, если бы их не было, она бы свободно дышала. Вот особенно последний тревожил, который ей трудно достался, врачи запрещали рожать, а муж настоял, хотя она тут лукавила, она сама с любовью послушалась мужа.

Все это я себе в таких подробностях дорисовал сам, молодой человек рассказывал более скупо и бессвязно, я понял, о ком это идет речь. Я вспомнил, как об этом священнике рассказывал мне епископ, а я тогда плакал о своей трагедии, которая, может быть, и нарушила наш нормальный семейный ход, ворвавшийся грех, как говорится, разворошил наш быт. Я отчаянно воскликнул:

— Ах! — и закрыл глаза, меня немного покачнуло.

— Что с вами? — чутко спросил молодой человек.

— Ничего, продолжайте.

— Нет, вы что-то вспомнили?

— Ничего, продолжайте.

У молодого человека был природный такт, хотя мой ответ был для него недостаточным, но он меня больше ни о чем не спрашивал. Продолжал сам чистосердечно рассказывать. Я прекрасно понял, что такой молодой человек при всей своей болезненности может завладеть вниманием женщины.

— Встретил я ее совершенно случайно, — продолжал

рассказывать он, — выходящей из храма с детьми. Я видел, как ей было трудно, а тут еще нужно было идти за продуктами, и я напросился ей помочь.

«Нет, что вы? Я вам очень благодарна», — отпиралась она.

«Не стесняйтесь», — я пошел с ней.

Я рассказал ей, как я скитался, как хотел покончить с собой, как собирал корочки в столовой, как находился в психиатрической больнице, и я увидел, как на нее все это произвело большое впечатление. Я заметил в ее глазах сквозь появившуюся улыбку небольшую слезинку и тепло сказал:

— Вы очень добры, у вас золотая душа.

— Ну что вы, я — эгоистка. Я сейчас так плохо отношусь к своему мужу, а он так устает...

— Ну а он как к вам?

— Да так, устает он очень.

— Вы очень добры, наверно, он сух с вами...

Я тогда еще не знал, что муж ее священник, и сказал по поводу его несколько неприятных слов. Я впоследствии понял, что этого говорить нельзя было, и тут она, улыбнувшись, как всякая женщина, охотно согласилась на услуги.

Мы пошли в магазин, я хорошо разбирался в хозяйственных делах, а тут у нас еще были удачными покупки, и я смотрю, она вся стала неузнаваемой, весело хохотала, пригласила меня к себе домой, захотела познакомить с мужем. Муж пришел, как обычно, усталым, вообще, как я заметил, он был погруженным в свой мир, не любил много разговаривать, все о чем-то думал, а она была очень разговорчивой и жизнерадостной. Притом, как впоследствии я выяснил, он был несколько властным и что говорил он, то нужно было тотчас исполнять. Поэтому понятно, что она беспрекословно согласилась рожать, несмотря на запрет врачей.

— О. Николай, а у нас гость, — сказала она ему, как только муж вошел, он не видел меня, только слышал мой голос.

— Вижу, вижу, что гость, и очень хороший, потому что

ты сегодня в первый раз такая радостная.

Когда он увидел меня, заметно смутился, но приветливо поздоровался, и мы стали с ним разговаривать. Я ему рассказал о себе то, что рассказывал и его жене. На него мой рассказ тоже произвел впечатление, и он предложил мне быть в их доме, я стал бывать у них почти каждый день. Иногда мы с ней и с детьми уезжали куда-либо гулять, мы привыкли друг к другу, и я не стал чувствовать себя одиноким.

Простите, о дальнейшем я умолчу, тут должен быть духовник. Вот бы о. Никон... Разрешите, я закурю, — закончил молодой человек.

— Пожалуй. — Я видел, как у него тряслись руки, он очень волновался.

«Волны, волны, — думал я, — как они захлестывают нас». Мне все стало понятно. Понятно так, как будто он у меня поисповедовался. Одно непонятно было: была ли у них близость? Мне почему-то в это не верилось. В этой мысли я более утвердился тогда, когда познакомился с о. Николаем, мужем жены, о которой шел рассказ. Я вспомнил и о своей жене, и признаться, мне стало ее жаль, и мне показалось, что я тоже сух к своей жене, что я чего-то недопонимаю в ней, и мне тотчас захотелось домой.

Молодой человек так затянулся папироской, что его окутал густой дым, и выделялись только его блестевшие глаза, как у сумасшедших. Да, такие глаза я видел у одного сумасшедшего, которого мне приходилось как-то причащать, когда я скитался без службы; они горели, они были необыкновенно одухотворенны, и большая дума таилась в них.

Мы за разговорами не заметили, как ушли далеко от дома, на улице появилось много людей, особенно из женского пола, одетых стильно, по последней моде, с копной волос, в короткой юбке. Но что особенно поразило меня в них, это то, что они носили крестики, какие-то модные и поверх платья. Это меня очень заинтересовало. Я пристально вглядывался в этих молодых людей, и мне казалось, они были какие-то ветреные, несерьезные; заметив

меня и, казалось бы, догадавшись, что я священник, равнодушно проходили мимо, даже не полюбопытствовав глазами.

— Смотри, кресты, — крикнул я молодому человеку.

Он равнодушно махнул рукой.

— Не обращайте внимания, это не вера, а мода.

— Как, значит, они крест носят как всякую безделушку?

— Да, — продолжая курить, однотонно отвечал молодой человек.

«Боже, — подумал я. — Как же Господь смирился, что крест, такую святыню, допустил носить, как носят медальоны».

Молодой человек проводил меня до самого моего дома, обещался заходить. У меня были гости. Открыла дверь мне жена, хотя исподлобья глядя, но уже расположенно.

— А у нас гости, — желая что-то сказать и, может быть, примириться со мной, произнесла она.

Я не понимаю даже почему, то ли оттого, что я задумался, или отчего-то другого, но я ей ничего не сказал и прошел молча в ту комнату, в которой были гости.

Гостей было много, в основном священники, притом все почти молодые люди. Первое впечатление было такое, что они все какие-то одухотворенные, казалось, у них было все единым, мне даже казалось, что они даже были похожи друг на друга. Хотя потом я убедился, что во всех отношениях они были разными и с разными методами делания, хотя официально все считались православными священниками. Тут были и католики по убеждению, и протестанты, и еще Бог знает кто. У них в голове был такой винегрет, что, казалось, такого нельзя и придумать. Но, конечно, все они были живыми людьми, по-своему честными, все сформировались при Советской власти и разными путями пришли к Богу. И подумал я тогда: «С кем же воюют атеисты, в своем воображении рисуя жирных попов со средневековыми методами, а это плоть от плоти наши пролетарские люди». Очень они

были все мне симпатичны, мне как-то было радостно смотреть на них.

Сразу из всех гостей я выделил о. Николая, того, о котором только что рассказывал мне молодой человек, он, может быть, был моложе всех, с короткой бородкой и чуть ли не с короткими волосами, впечатление длинных они, может быть, производили оттого, что он давно не причесывал. Лицо грустное, глаза куда-то неподвижно устремленные. Он, казалось, ничего не видел, кроме своего никому не ведомого мира. Был он также и очень угрюм, угрюмость, может быть, была оттого, что у него сейчас такая трагедия. Я хотел бы, чтоб он сам рассказал о том, что произошло у него с женой, но как попросить, чтоб не задеть того, что можно задеть в данное время, мне бы очень не хотелось причинить ему какую-то боль. У меня еще было свежее впечатление о нем по рассказу епископа, и мне не хотелось признавать того, что это именно в его семье разыгралось такое, что не входит ни в какие берега. Мне казалось, это единственная идеальная семья сейчас. А вдруг там уже совершился грех? Я боялся об этом расспрашивать. Вывел меня из такого состояния сидевший позади всех рыженький священник. Есть люди, о которых можно сказать «добряк»: что б они ни делали, ты никогда на них не можешь обидеться. Помимо всего, это был человек без всякого самолюбия, мне казалось, всякое свое «я» он забыл и горел общими интересами, горел так, что мог пожертвовать чем угодно. Поэтому ему все прощалось, что бы он ни сделал и что бы ни сказал.

Надо заметить, что характеристики всем присутствующим я даю не по тем первым впечатлениям, которые сложились тогда, я характеристики даю за все время моего знакомства с ними.

Так вот этот священник, назовем его о. Андрей, вывел меня из моего затруднительного положения.

— О. Константин, вы послушайте только, что произошло у о. Николая.

Надо еще заметить, что со всеми священниками в той или иной мере я уже был знаком.

— Вот пусть расскажет. Расскажи-ка, о. Николай, — и тут же сделал свой вывод: — Это все провиденциально, все имеет свой смысл. Видимо, чтоб мы не привязывались к земле, понимали, что мы священники и у нас в первую очередь должно быть — дело Божие.

— Да, дело Божие, — подтвердил священник, о. Нестор. — Но мы это дело Божие часто забываем.

Этот священник был очень смелым и деловым человеком, о нем рассказывают невероятные случаи.

Как известно, у нас крестят при наличии необходимых документов, таково установление гражданских властей. А он сделал так. Принесли как-то к нему крестить, каких-то документов не хватало, староста не оформляет, он говорит:

— Ваше дело хозяйственное, оформляйте как хотите, а мне раз принесли крестить, должен крестить, — и сразу окрестил.

Староста имела на него зуб, тут же побежала к уполномоченному и донесла ему об этом. Вызывает его уполномоченный, усаживает вежливо, как иногда делают подобные люди, чтоб потом с большей яростью наброситься:

— Ну как у вас там дела? — спрашивает.

— Все в порядке, — четко отвечает о. Нестор.

Уполномоченный нахмурился, закрыл один глаз и с явной ядовитостью спрашивает:

— А как вы крестите?

О. Нестор как будто ничего не подозревает и не понимает, к чему все это клонится, с этакой веселой улыбочкой говорит:

— Люди приносят, а я крещу.

— Без всякого оформления?

— Я не знаю, как там оформляют, это дело старосты, мое дело крестить.

— А разве вы не знаете, что если нет согласия двух сторон, отца и матери, и нет соответствующих документов, то крестить вы не имеете права?

— Вот этого я не знаю, — развел руками о. Нестор. — Я думал так, что раз Церковь отделена от Государства, то Государство и не имеет права вмешиваться в церковные дела, — и пытливо поглядел на уполномоченного.

Ненависть начала искажать ранее приличные черты, глаза торчали, как два гвоздя, выставленные острием на вас, рот у него открылся, и казалось, там были клыки, хотя на самом деле у уполномоченного были вставные зубы.

— А вот мы вас лишим регистрации.

О. Нестор спокойно заметил:

— На основании каких же законов?

— А вот таких, — пугал уполномоченный, не называя.

— Я таких законов не знаю, — говорил о. Нестор. — Покажите мне их, иначе я вам регистрации не отдам, — заявил определенно.

Тут уполномоченный растерялся, потому что он действовал в силу неписаных законов, прыть его убавилась, в заключение разговора он участливо сказал:

— Ну вы там будьте осторожны, не обостряйте отношений со старостой, вам ведь с ней работать вместе.

— Хорошо, — отчеканил о. Нестор. Возвратившись в храм, рассказал обо всем близким ему верующим, деловым людям, еще и настроил их: староста — атеист, действует разлагающе, те пошли в райисполком и потребовали разрешения о созыве собрания для переизбрания старосты. Там заупрямились, они и еще раз потребовали, сказав, что это чисто церковные дела и они не имеют права им не разрешать...

— Нет, имеем, — сказала секретарь райисполкома, по национальности молдаванка, тупая, заносчивая женщина.

— Тогда вот вам заявление, подпишите, что не разрешаете.

Она подписала, верующие к о. Нестору, тот им говорит:

— Не прекращать, ходить во все учреждения.

Наконец добились того, что секретарю райисполкома сделали нагоняй, старосту храма переизбрали. Может быть, это получилось потому, что Хрущев только что ушел

в отставку и еще не знали, как повернуть антирелигиозные наступления.

И еще рассказывают про о. Нестора.

Есть у него сын, ходит в школу, того как-то заставили снять крестик, вступить в пионерскую организацию.

Отец приходит в школу и заявляет:

— Вы знаете, кто я?

— Ну представляем, знаем. Вы, как бы помягче сказать, — поп, а погрубее — мракобес, вы уж нас извините.

— Пожалуйста, — сказал, не смутившись, о. Нестор. — Собака лает, ветер разносит. Вы уж и меня извините. А я вам заявляю, что я священник и ребенка буду воспитывать в религиозном духе, ни пионером, ни безбожником он не будет.

Они так растерялись, что нашлись сказать только:

— Так вы против партии?

Он спокойно ответил:

— Да.

Они переглянулись и видимо, подумали, что перед ними стоит сумасшедший; говорят, что теперь есть специальное отделение, где верующих признают ненормальными людьми и устанавливают степень ненормальности: можно ли лечить или уже не поддаются.

— Да, я против партии, — продолжал о. Нестор, — поскольку партия против Бога.

Они вышли из столбняка и закричали на него:

— Мы не позволим калечить ребенка, мы вас лишим ребенка, вы не имеете права воспитывать, — кричали они, наверно, так, что в самом деле можно было подумать, что пришли из сумасшедшего дома.

О. Нестор поднял руку и спокойно сказал:

— Потише. Вы знаете о том, что есть документ под названием Международная конвенция и что наше государство подписало его, и эта Конвенция уже в силе?

Они с тревогой прислушались, некоторые об этой Конвенции слыхали, но еще не знали, в чем дело, им казалось, что там говорится о праве на образование, против расовой дискриминации, и не представляли того, что там гово-

рится о религии...

О. Нестор отчетливо произнес:

— Так вот, по этой Конвенции не только родители, а даже опекуны имеют право воспитывать детей в религиозном духе; до свидания, — повернулся и ушел.

После такого разговора его сына никто не трогал, хотя между ним и учителями и даже школьниками установилась стена. И это было не по силам детским плечам. Но сын был в отца, он знал учебу и ни на что не обращал внимания. Потом дети его полюбили за такую самостоятельность, даже уважали, а некоторые в знак солидарности оставили пионерские ряды, и когда их спросили:

— Что вы делаете?

Ответили:

— Раз ему можно, почему нам нельзя?

Сын священника разлагающе действует на школьников — так констатировали факт учителя. Что делать? — не могли придумать, пока искали случая, к чему бы придраться, чтоб можно было исключить из школы.

...О. Николай, ходя по комнате, послушался о. Андрея и стал рассказывать, рассказ настолько захватил всех, что все слушали, как будто в первый раз, хотя это всем было знакомо во всех подробностях, рассказывал он без всякого волнения, трезво все взвешивая.

— Началось это с простого, они стали часто уезжать на прогулки за город, сначала на день, потом на два, потом на неделю. Я замечаю жене: прекрати, это кладет тень на меня как на священника. «Ты думаешь, между нами что-то есть?» — взволновалась она. «Я пока ничего не думаю, я только говорю: прекрати». Она как будто послушалась, задумалась, потом сказала: «А все-таки ты жесток к своей жене, ей нельзя и прогуляться?» — «Можно, но только в пределах нормы». — «Ну что ж, приковывай на цепь. Не поеду». И через день они все же уехали, и уже на две недели. Через две недели я их увидел в своем доме за столом, распивающими чай. Я жене тогда сказал прямо: подавай на развод, мотивируй тем, что ты полюбила молодого человека, а мужа не любишь.

Молодой человек смущенно, трясясь, заявляет: «Но у нас ничего нет». — «Я вас ни в чем не обвиняю, я только говорю, что жена, уходящая от мужа с другим человеком на две недели, в любых случаях подает повод к разным толкам, а на священника кладет пятно такое, что по каноническим правилам он с ней не должен жить...» Молодой человек ничего не сказал, поднялся и ушел. Жена взбесилась, вцепилась в мою бороду и закричала: «Убийца! Ты убийца, я его все равно не оставлю. Да, я его люблю, а тебя я не любила. Я об этом всем заявлю». И это все сказала при детях. Все бы я вынес, все бы простил, но когда я вспомню детей, как они окаменело стояли и смотрели на нас... Когда я перевел свой печальный взгляд на детей, старший меня понял, присел на пол, опустил глазки, мне казалось, он сейчас заплачет, но он не заплакал, только пальчиком рассеянно чертил по полу... Этого я не могу забыть... Во всяком случае, долго не мог забыть.

О. Николай надолго замолчал, медленно ходя взад-вперед, не поднимая глаз, потом поднял, просветленные, приветливые, ласковые и решительные. Мы все поразились его необычным глазам. Казалось, у него не должны быть такими глаза, должны быть угрюмыми и несколько отчужденными, он нам сказал тихо, спокойно и решительно:

— Теперь уже все позади, я понял, что, кто любит мать, отца или детей более Христа, тот недостоин Его...

Все мы знали эти евангельские слова, но сейчас они прозвучали для нас как какое-то откровение, и все мы осознали, во всяком случае, мне так показалось (для меня это было чем-то необычным!), как ответственно служение священника и какой крест он должен постоянно нести.

О. Николай, казалось, на этом желал закончить, мне хотелось узнать дальнейшее, и я попросил его продолжить рассказ. Вообще это было жестоко с моей стороны, но что делать, наши чувства у нас сильнее иногда, чем наш рассудок. Я потом раскаялся, особенно тогда, когда услышал полный рассказ. О. Николай как будто стал

меньше ростом, голова вошла в плечи, ему было очень больно рассказывать, но он рассказал:

— Она стала метаться между мной и им. То вдруг падала на коленки, просила простить ее, что больше она этого делать не будет, что любит только одного меня, что готова лежать у моих ног послушной собакой, то вдруг кричала, что я изверг, что она меня никогда не любила и любить не может, что она уже жила с ним и ждет от него ребенка, схватывала меня за бороду, трясла. И я как-то ударил ее раз и второй по щеке. Вот этот удар я не могу себе простить. Она присела, замолчала, уставила на меня глаза, как затравленный зверек, и долго ничего не могла произнести. Я не могу передать, как мне ее стало жалко, я упал перед ней, обнимал ее ноги, целовал, просил простить меня...

— Простить? — закричала она неистово. — Умирать буду, не прощу. Караул! Убивает...

И что случилось, я не могу себе представить, в самом ли деле я ее так ударил, что у нее изо рта хлынула кровь, на полу стояла лужа крови. Тут пришел этот молодой человек, она бросилась к нему, измазала его всего кровью и закричала: — Уйдем от него, это изверг. Вот он, поп, глядите на него.

Молодой человек увел ее. Вечером забрали детей, я не протестовал...

— Развод оформлен? — спросил кто-то, но, видимо, не для себя, потому что всем все было известно, кроме меня.

— Нет... Более того, — добавил о. Николай. — Она меня теперь, как никогда, стала ревновать ко всем, кто бы ни пришел ко мне, на всех смотрит подозрительно.

Я хотел спросить, а как же она говорит, что ждет ребенка от этого молодого человека, но это было бы явно нетактично, да о. Николай и не намерен был говорить об этом, да и всех уже интересовало другое...

Священник с очень приличной бородой, веселыми и живыми глазами, типичной еврейской наружности начал рассказывать о том, как у него делали обыск и как потом он был лишен регистрации. Очень жаль ему было рас-

ставаться с приходом, столько было положено всяких трудов.

Несколько слов об этом священнике. Имя ему Иоаким, он в самом деле еврей. Очень деловой. Еще его прабабушке Иоанн Кронштадтский предсказал, что в ее родстве все будут христианами, и так в самом деле это вышло, не христианин только отец о. Иоакима, но он, кажется, вообще индифферентен ко всякой религии.

С женой у о. Иоакима нормальные отношения, он както все умело поставил, хотя вначале что-то и было, она знает семью, детей, его делу не мешает, не прочь иногда и помочь. А деятельность он развел большую, у него необычная способность находить общий язык с молодежью, они к нему валят валом, даже один милиционер из молодых к нему ходит и кое в чем помогает. Однажды из неотстроенного метро принес дверь, и ее навесили в храме. В храме у него тишина, свечной ящик вынесен за стены храма, в храме ничем не торгуют. Иконы расписал сам, одно время учился в художественной школе. Правда, иногда в росписи есть переусердствование, отдает несколько агиткой; над алтарем написал: «Бог есть любовь».

В его религиозном мировоззрении есть некоторая странность. Например, Священное писание чуть ли не все считают мифом. Очень большое уважение питает к католикам, роется в буддийской литературе, но себя считает православным священником.

Из-за плеча о. Иоакима выглядывал пожилой священник с седой небольшой бородой, в очках, похожий на профессора. Очень умный, живой, деятельный. Много пишет, одно его письмо, адресованное к отказавшемуся от сана священнику, передавали по ино-странному радио, напечатали в иностранных журналах.

Он не служит. Долгое время его гоняли с прихода на приход, наконец запретили в служении. В прошлом он обновленец, сейчас официально православный. Сильно помешался на науке, все в религии хочет подогнать под науку. Вознесение Господне отрицает, Святой Троицы не

признает, потому что не может объяснить научно, но что хочет признать, например, Вознесение Христово, считает тайной.

А вообще человек он очень добрый, особенно жалостлив к детям, хотя сам не женат. Он-то и произнес из-за спины о. Иоакима:

— Пора приступить к делу, отцы.

Все зашевелились, сели за стол, начал о. Нестор:

— Так вот, отцы и братия... — тут была и братия, Алексей Яковлевич и другие. — Положение в Церкви на сегодняшний день бедственное. Патриарх и вся наша церковная верхушка бездействуют, а гражданские власти слишком усердствуют, наложили свою руку на все. Так вот мы, помолясь, как говорится, Богу, и решили что-то делать. Надо заявить свой протест. Кто за это? Собственно, голосовать нам нечего, все, думаю, согласны с этим. Тут только проверяется наша смелость...

О. Андрей не утерпел и добавил:

— Отче, — так в этом кругу священников кратко обращались друг к другу. — Ты изложи тезисы.

— Какие тезисы? — возразил о. Нестор. — Они каждому известны. — Но все-таки кратко стал излагать. — Прежде всего мы протестуем против незаконного собора 1961 года, по которому, как известно, вся власть в Церкви отошла мирянам. А миряне кто, это поставленные от гражданских властей, что хотят, то и делают. Второе, раз Церковь отделена от государства, то и государство не должно вмешиваться в церковные дела. Вот, собственно, и все. Что под этим подразумевается, мы все понимаем, не стоит и говорить. Что мы мыслим сделать? Написать открытое письмо патриарху. Конечно, от него мы ничего не ждем, он, видимо, на старости лет ничего не думает предпринимать, хочет спокойно отойти туда... Но не в этом дело, письмо будет написано с приведением массы фактов беззакония, и чтоб это письмо широко распространилось, в этом и заключается вся суть нашего протеста.

Все сидели молча, своим молчанием они, как говорит-

ся, выражали согласие, изредка только кое-кто из них обращал взоры на меня и я понял, что за мной слово. Признаться, я не труслив, но дать ответ сейчас я не был готов, все заметили мою заминку. Раньше всех высказался Алексей Яковлевич, говоря, он не смотрел на меня, как бы беседовал с другими.

— Поразительный застой у нас в духовной среде, у тех, кто должен быть смелее других. Писатели протестуют, а у нас только поговорят и на этом успокаиваются. Рабская психология, веками вколачиваемая в наше сознание...

О. Нестор остановил его пыл.

— Ты слишком декларативно, — заметил он Алексею Яковлевичу; обратившись ко мне, сказал: — О. Константин, мы ждем, что вы скажете?

Я не знаю, что бы я сказал, я еще не сформулировал даже вчерне, но мне казалось, во всем этом есть что-то от демагогии, от болтовни, чем мы так все грешим. Я понимал, что все, о чем они говорили, — верно, я и сам так порой высказывался и обвинял кое-кого в трусости, но вот когда дошло до дела, я сам оказался трусом. Прежде всего у меня мелькнула мысль: а какой толк из всего этого? Ну пусть дадут свободу, а мы внутренне не будем способны на дело Божие — толку будет мало. Еще в недавнее время, при Сталине, дали какую-то свободу, и мы не могли ею пользоваться, увлеклись деньгами и разлагались морально. Теперь горе нас как-то встряхнуло. Может быть, нам пока крест нужен и больше ничего.

— Крест — это революция духа, — высказалось у меня как-то по-бердяевски, но все-таки мне стало жаль жены и ребенка, вдруг нас всех пересажают. Я пойду, допустим, на муки, а они? А нужно и их согласие. Впрочем, все это у меня было более туманно, чем я здесь изложил. Вспомнились и евангельские слова: кто любит мать, отца, жену и детей более... — Не знаю, что бы я дальше сказал, но в дверь кто-то постучал, я извинился и пошел открывать. Обычно я спрашивал, кто там, но сейчас я не спросил, машинально открыл дверь, передо мной стояли

три человека, среди них женщина, очень печальная. Раньше всех бросился мне в глаза молодой человек, хотя он стоял позади всех, я подумал, почему вдруг он и еще с посторонними, ведь он только был у меня? А это кто же с реденькой бородкой, худощавый и с лукавинкой в знакомых глазах, я так-то растерянно перед ними остановился, хотя все понятливо на меня смотрели, одного, наверно, не понимали, почему я на них смотрю непонятливо?

— Проходите, — сказал я несколько вяло.

— Значит, разрешаете проходить? — лукаво улыбнулся человек с бородой. — Что ж, пройдем. — Он погасил в своем лице улыбку, и по тому страдальческому выражению, которое осталось после улыбки, я узнал о. Николая, вернее, о. Никона.

— Это ты? — вскрикнул я обрадованно.

— Да, как видишь.

— Вижу, вижу. — Я схватил его в свои объятия и крепко прижал к себе, я как-то сразу обессилел от переполнивших, меня чувств.

Я Бог знает что думал о нем, а он вот живой! Сынок его, кажется, спит? — припоминал я.

— Папа, папа, папочка! — пронесся звонкий крик. — Дорогой мой папочка пришел... — Из спальни, раздетый, бежал Андрюша, добежав, смущенно остановился. К двери подошла и моя жена, и она улыбалась очень доброй улыбкой, и эта улыбка сразу смыла все чувства, которые сегодня у меня были против нее. Сколько в человеке бывает зла, и как оно все-таки быстро проходит.

— Проходите, проходите, — попросила она о. Никона.

Андрюша любовно приник к старенькому пальто своего папы и нежно гладил ручкой. О. Никона провели на кухню, туда пошли моя жена и дети. Теперь я хорошо разглядел, кто были остальные, да и молодой человек представил:

— Вот это жена о. Николая, а вот это я, — указал он на себя, — нас привел сюда о. Никон, мы с ним встретились случайно. После разговора с вами я направился к ней, мне нужно было ее успокоить. В самом деле, я ее

застал очень расстроенной, а ее муж мало находится дома, он куда-то ушел...

Я испуганно смотрел на эту незадачливую пару и соображал, что мне с ними делать? В общей комнате наступила абсолютная тишина, там, видимо, все догадались, кто пришел, но никто из них не мог, вероятно, придумать, что теперь предпринять.

— Что с вами? — спросил молодой человек, заметив мое замешательство. — Мы, может, не в урочное время?

— Да нет, все хорошо, — старался улыбаться я. — Проходите на кухню, у меня в комнате пока ералаш. Посидите там.

Андрюша улыбался вовсю, его бледненькое личико преобразилось, порозовело, он был на руках у отца, перебирал своими маленькими ручонками его небольшую бороду.

— О. Никон, можно с вами посекретничать? Хотя вы только что пришли, а уж у нас секреты есть, — улыбнулся я.

Мы с о. Никоном вышли в коридор, я шепотком спросил у него:

— Вы представляете, какая складывается ситуация?

— Представляю, все это мне понятно, — заторопился о. Никон, — греха здесь никакого нет, потянулись друг к другу, хотя об этом оба и переживают...

— Не об этом речь, — перебил я его, — ведь у меня сейчас и о. Николай, и другие...

О. Никон сначала ахнул, а потом что-то сообразил и бодро сказал:

— Это к лучшему, вот мы сразу все и утрясем. Галя, — позвал он жену о. Николая.

Она смущенно вышла в коридор.

— Тут вот и твой муж.

— Ой, — вскрикнула она. — Нет, не надо, не надо. Прошу вас, не надо... Не надо! — она закрыла руками лицо.

— Не волнуйся, успокойся, — о. Никон положил на ее плечо руку. — Вот что, раз вы доверились мне, то и должны слушаться меня. Позови молодого человека. —

Она пошла на кухню.

— Папа, — несся звонкий голос Андрюши. — Где ты? Я тебя не вижу.

— Посиди, сынок, я сейчас.

Я их привел в общую комнату, там все сидели за столом, только о. Николай топтался возле стола, он устремил на нас свои — сейчас они мне такими виделись! — суровые глаза, они, казалось, спрашивали, что нужно ей от него? Он уже все вырвал из сердца.

— Здравствуйте, — сказал о. Никон. — Многих из вас я знаю, и вы, должно быть, знаете меня.

Он нервно взмахнул руками и тут же, не раздумывая, спросил:

— Что тут у вас разыгралось, разве можно такую невинность, — он указал на жену о. Николая, — обвинять в смертных грехах?

— Вы что-то все перепутали, — как обычно горячий и ничего не взвешивавший, выскочил о. Андрей. — По-нашему, вы, о. Никон, все перепутали, тут Бог знает что творится...

— Да поверьте мне, ничего не творится, одно недоразумение... Сплошное недоразумение.

О. Андрей продолжал горячиться:

— Нет, не только.

Галина вытирала глаза.

— Отцы, — торжественно произнес о. Никон. — Не будем размениваться на мелочи, нам более серьезные дела предстоят. Мы должны не отталкивать, а спасать... А ведь все это хорошие люди. О. Николай, протяните руку жене и забудьте мелкие обиды.

На лице о. Николая отражалась борьба, он, видимо, колебался, потом решительно протянул руку, жена упала ему на грудь.

— А как же я? — растерялся молодой человек.

О. Никон находчиво сказал:

— А ты — друг жениха... Вот что, — обратился ко всем о. Никон. — Не будем сегодня решать семейные дела, мне бы хотелось поговорить с вами о многом. Я с

дороги и, может, снова в дорогу. О моей жизни, наверно, многим известно: жену я похоронил, остался сын... А сам я монах...

— Отцы, — заговорил о. Нестор. — Надо место отцу дать.

— Ничего, — отказывался о. Никон, — не беспокойтесь, я постою.

О. Нестор окинул всех вопрашающим взглядом:

— Вообще, отцы и братия, нужно сказать: день у нас сегодня символический, не напрасно мы собрались. Садитесь, о. Никон, мы тут в самом деле обсуждаем важные дела: как быть в дальнейшем? Ведь нас совсем задавили, не дают дохнуть.

— Надо в любых условиях находить, что и как делать, — сказал о. Никон. — Придерживаться мертвых канонов нет смысла. — Тут о. Никон выразился не совсем точно, по его словам можно было понять, что церковные каноны он считает мертвыми, меж тем как он имел в виду, что мы сами их сделали для себя мертвыми. — Я сейчас издалека, я был странствующим попом, как когда-то на Руси бывало... Миссия была такой: ходить по деревням и некоторым городам и крестить некрещеных детей.

— Вот это дело! — закричал о. Нестор. — Вот это дело! Правильно! Наше дело крестить, а не смотреть на то, есть документ или нет. Правильно, о. Никон, разрешите вас обнять.

До утра шел оживленный разговор.

По сути дела, только один я не принимал участия в разговоре, мне все-таки было тяжело. Хотя не только у о. Николая, но и у меня произошло примирение с женой, мы даже с ней поцеловались на сон грядущий, но когда все уснули в спальне, я устремил свои глаза на икону Спасителя.

— Боже, как во всем разобраться? — молился я.

Я отчетливо себе представил, что делается сейчас в церкви, что происходит в семье, какой народ стал, представилось и то, как крест, святыню, посредством которой

Бог спасает мир, попирают, мне как-то очень тяжело было видеть, что крестик молодые люди носят, как медальон, и мне казалось — это хуже того, когда крест отвергают или над ним смеются. Такое равнодушие страшнее всего, думал я, мне вспомнилось, как мне рассказывал один товарищ, то ль читал он сам, то ль слышал от кого-то, что один подвижник в минуты искушений, молясь, вдруг увидел на кресте не Христа, а змею, мне тогда от рассказа стало жутко, а теперь вдруг я вспомнил: «И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Я потом выписал эти слова из Евангелия, заучил наизусть.

— Вот в чем дело! — стукнул я себя в грудь. — Понятно!

В общей комнате все спали, и спали так крепко, что никто не услышал моего крика, но я подумал, что это не просто отяжелели их веки, это спят солдаты перед великой битвой.

КНИГА ВТОРАЯ

НАПЕРЕКОР ВОЛНАМ

Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в нас Христос.
Гал. 4, 19

Первое междукнижие

АПОЛОГЕТЫ

Из записок о. Константина

Казалось бы, такое собрание, которые было у нас, должно внести сплоченность в наши ряды — наконец появляются силы для борьбы и русской церкви будет чем гордиться, но, как бы то ни было, с этого и началось разногласие, искушение, что ли, выявляло искусных, по слову Апостола.

Прежде всего о форме борьбы.

Когда дело дошло до того, чтобы подписать Петицию, как назвали письмо на имя Патриарха, некоторые пошли на попятный, мол, кое с чем не согласны, кое-что нужно смягчить, я и о. Никон отказались вообще подписать. Я твердо решил, что все это демагогия и не так нужно действовать. Нужно выращивать силы, допустим, мы добьемся свободы, а будем плохими служителями, мало будет толку. Нужно во всяких условиях уметь делать...

— Но как? — возразили мне.

— Борьбой со старостами, допустим, и со всеми, кто мешает делу, — ответил.

— Работой с верующими, — добавил о. Никон. — Нужно учиться быть христианами не на словах, а на деле.

Мне не очень стали возражать, только о. Андрей, не придумав, выпалил;

— Так и провокаторы рассуждают.

Я хотел было обидеться, но так как о. Андрей был только горячий, а не опытный человек, я слегка лишь показал вид обиженного.

Алексей Яковлевич посчитал меня трусом, о. Иоаким, еврей, долго тянул, все не подписывал письмо, о. Николай над ним зло подшутил:

— Он хочет быть христианским воином, но воевать еврейским оружием из-за угла.

Алексей Яковлевич вступился за него и сказал, что именно евреи смелые, а не русские.

Началась словесная перепалка, которая ни к чему доброму не вела.

Наконец условились собирать факты и письмо послать только за подписью о. Андрея. Он был моложе всех, может быть, потому более и последовательный. Через некоторое время к нему присоединился о. Нестор.

Факты собирались очень долго, еще и сейчас письмо где-то лежит замороженным, страсти несколько поостыли, и каждый продолжает в одиночку делать свое дело, я и о. Никон после этого вообще остались в стороне ото всех. И вот в это время я познакомился с очень интересным человеком-апологетом. В Алексее Яковлевиче я к тому времени стал разочаровываться, так как он все копался на задворках церковных и весь сор выносил наружу, некоторые стали считать его провокатором. Я ему как-то об это и напомнил, посоветовал ему что-то изменить в своем поведении, он обиделся на меня и перестал со мной встречаться и разговаривать.

Апологет был из далекой провинции, привел его ко мне в храм верующий юрист.

Апологет очень терпеливо ждал меня, пока я закончу службу в храме. У него бвл вид аскета: худой, длинные уши, большие молодые глаза смотрели живо, с небольшой хитринкой и задумчивостью.

Он мне показал свою работу, напечатанную на машинке. Работу он принялся расхваливать, полезная, мол, для всех, очень много интересных сведений. Расхваливание меня несколько насторожило, и я скептически стал перелистывать ее, кое-что нравилось, кое с чем был не согласен. Сказал неохотно:

— У меня по апологетике есть много работ, если кто будет спрашивать, предложу, лично мне она не нужна.

Мы перебросились несколькими фразами по вопросам богословия и философии и на этом сухо расстались. Придя домой, я стал внимательно читать его работу, она мне теперь показалась очень интересной, своевременной, написанной с жаром и большой эрудицией. Как же я жалел, что не познакомился с автором ближе. К счастью, я взял у него адрес и тут же написал ему, работу же его я передал другим, чтобы перепечатали и распространили. Автор мне ответил, и мы с ним завязали переписку. Работу скоро изъяли у одной машинистки, и тот человек, который давал ее для перепечатки, пострадал, над ним устроили суд общественности, лишили выгодной работы, и ему пришлось устроиться в другое место, что его стеснило.

И вот этот апологет приехал ко мне, Звонов Игорь Семенович, работу свою по апологетике он стал расширять и переделывать, я ему предоставил свою комнату, потеснив себя. Моя жена сначала была против этого, потом успокоилась. Работал он больше по ночам, на весь день куда-то уходил, иногда говорил, что ходит брать консультацию. Иногда мы с ним беседовали. Я был откровенен и рассказал ему про свои отношения с женой, познакомил его с некоторыми людьми, предоставил ему свою библиотеку. Он очень был тронут моим вниманием, но иногда мне все-таки казалось, что он от меня что-то скрывает, хотя это было и неприятно, но я старался победить свои чувства. Работал он долго, несколько месяцев на моем обеспечении жил. За это время случилось со мной следующее. Кто-то выкрал мои записки религиозно-философского содержания, и они в отрывках были напечатаны за границей, были напечатаны также и отрывки из моего дневника. Мне могла грозить какая-то неприятность, во всяком случае, я мог оказаться под усиленным наблюдением. Я посоветовался со Звоновым. Он не особенно на это среагировал. Когда я сказал, что ему лучше бы

уехать сейчас к себе, тем более что в Москве арестован литератор, печатавшийся за границей, и есть случаи обысков, он обвинил меня в трусости и сказал, что священнику, конечно, сейчас лучше быть неженатым, женатый дрожит за семью...

— Игорь Семенович, вы понимаете, что я несу ответственность и за семью, но поверьте, что я не трушу, я только хочу быть осторожным...

— Это вы ищете оправдание.

Я замолчал. На следующий день я обо всем этом заговорил со своей женой. Откровенно говоря, я боялся, что, когда она узнает, что я напечатан за границей, побоится держать в своем доме подозрительного человека. К большому моему удивлению, она приняла все довольно спокойно, во всяком случае, не выражала никаких страхов и не говорила, чтоб я попросил Игоря Семеновича уехать от нас. Правда, слегка все-таки напоминала. Он оставался жить у нас.

Алексея Яковлевича за это время вызывали власть имущие, беседовали с ним разные представители, он всем отвечал смело и прямо и заявил определенно, что до тех пор, пока у нас будут ненормальные отношения государства с церковью, он писал и писать будет. К нему никаких мер не принимали, он окончательно потерял всякую осторожность и писал все, что приходило ему в голову, и тут же распространял. Молодежь на него смотрена как на героя, более опытные, особенно священники, смотрели подозрительно. То, что он провокатор, — в этом его мало кто обвинял, все-таки он был довольно открытая личность, но что действия его провокационные, об этом многие говорили. С ним не предпринимают ничего потому, что он для властей находка и посредством его легко выявить инакомыслящих. Самые интимные тайны церкви он выбалтывал в своих статьях, и это было на руку кому-то. А что еще хуже, непроверенные факты он часто втискивал в свои статьи, на замечания друзей по-мальчишески обижался, хотя был человек уже пожилой.

Как-то Алексей Яковлевич прислал мне телеграмму, что хочет приехать к нам и увидеться со Звоновым. Вообще я не хотел видеть Алексея Яковлевича в своем доме из-за фамильярных отношений с моей женой, и — больше из-за этого — я сказал

ему при встрече, что Игорь Семенович у нас не живет, а сам плохо сделал, что прислал телеграмму на мое имя, тем самым выдал тайну тем, кто следит за нашим домом. Он сначала извинился, потом все-таки обвинил меня в трусости. Я ему заметил:

— Алексей Яковлевич, кто трус, судить будет Бог. Себя я не считаю трусом, я смело делаю свое дело, а осторожность необходима, а вот ваша неосторожность дает повод подозревать вас в провокаторстве...

Он мгновенно вспыхнул и обиделся, мы с ним и до сих пор в обиде. Мне непонятна его обида, лично я никогда не считал его провокатором, всегда считал честным, порядочным человеком, я ему сказал только то, что говорили другие. При встречах со мной он перестал здороваться и в памятные дни присылать поздравления.

Игорь Семенович подтвердил, что я в самом деле обидел Алексея Яковлевича, и, как-то сразу переключившись, стал обвинять всех русских людей в хамстве. Я понял, что это направлено против меня, и сказал резко:

— Знаете что, перестаньте вы оплевывать себя, достаточно того, что нас другие оплевывают. И уж не такие русские все плохие, Если б они были плохие, не было бы у них Достоевского, Толстого, Бердяева...

— Это было раньше...

— А сейчас? Кто так смело и без всякой фальши заговорил, как не русский Солженицын. Илья Эренбург хочет быть смелым, но он как вилял, так и виляет. А Солженицын без единого слова фальши говорит.

Игорь Семенович сразу сообразил и замолчал. Работа его подходила к концу, я ему нашел машинистку с помощью одного священника, сам он нашел переплетчика. Я надеялся, что один экземпляр своей работы он предложит мне. Конечно, я тоже что-то заплачу... И вдруг, как-то он сказал мне:

— Я не хочу с вас драть много, не берите вы этот экземпляр, он дорогой, сто двадцать пять рублей, вот перефотографируют работу, и вы достанете дешевле.

Я смутился, сначала хотел сказать, что я тоже заплачу сколько надо, а потом, подумав и взвесив кое-что, отказался. Наш разговор подслушала моя жена, она со слезами на глазах мне сказала:

— Его нужно сейчас же прогнать, он скряга. Как ему не стыдно, живет на всем готовом, да как у него поворачивается язык говорить о плате?

Мне действительно было обидно, но я сказал жене:

— Вот что, работа у него в самом деле хорошая, может быть, единственная научная защита. И я ему помог не потому, что от него ждал чего-то, а по-христиански, для общей пользы.

Она продолжала протестовать:

— Мне обидно за тебя, я его прогоню.

— Не смей этого делать! — настаивал я.

И жена согласилась со мной, по-прежнему относится к нему хорошо, он продолжает жить у нас.

Один экземпляр его работы возвратил ему священник, посредством которого нашли машинистку, Игорь Семенович рассердился:

— Свинья этот священник, сначала взял, а потом возвратил, кому я теперь предложу?

Я вышел из себя:

— Игорь Семенович, поймите, что он не обязан покупать вашу работу, он не издатель, и потом, не такие мы богатые, чтоб платить по 125 рублей за книгу.

Он замолчал. Узнал и Алексей Яковлевич, что Звонов так дорого продает свою работу, для него это было тоже странным.

— Что это он торгуется, он должен радоваться, что его работу вообще берут.

Апологет утерял свое значение в моих глаза. Я стал замечать у него недостатки и указывать ему на них.

— У вас неправильный взгляд, — сказал я ему однажды. — Вы проводите мысль, что только немногие могут веровать, и основную церковную массу ставите ни во что. А кто, как не эта масса, старушки, вами оплеванные, содержат сейчас церковь. Да, они бестолковы, порой приносят зло, но они на своих плечах сами и выносят это зло, об этом не надо забывать.

— Но ориентироваться надо на молодежь.

— Перед Богом все ценны: и молодой и старый. Вы превращаете христианство в какую-то политику, а христианство — это спасение для всех.

— Вот католики так не делают, они активны, — возразил он мне.

— У нас с католиками разные пути, православие идет по-другому...

Итак, мы с апологетом разошлись во мнениях, перед его отъездом как-то все-таки примирились. Уже похолодало, он был в летних ботинках. Увидев у меня теплые ботинки, попросил их для себя, сначала сказал, что заплатит, а потом, уезжая, сказал, что на обмен, оставил взамен свои худые ботинки.

С этим мы расстались, мне было очень горько, было досадно.

«Да нужно ли защищать христианство? — раздражался я. — Нужно учиться быть христианином, это более ценно, мы все стали плохими христианами. Я его все-таки не хотел обвинять, работа его, мне казалось, написана искренне, с настроением. Он неплохой человек», — старался я убедить себя и извинял его тем, что все большие люди имеют странности. Мне почему-то в моей снисходительности к нему показался он большим человеком, но как бы я ни убеждал себя, а невольно о нем думал плохо.

И вдруг снова у нас разразился семейный скандал.

Однажды сквозь сон я расслышал, как теща и жена о чем-то шепчутся. Когда проснулся, тещи с моей дочкой уже не было, жена мне сказала, что дочь ушла с бабушкой.

Проходит день, второй, не возвращаются.

— Что это значит? — спрашиваю я у жены.

— Я сама не знаю что, — невинно отвечает она, грустно глядя на меня.

Я рассердился. Рассердился потому, что со мной не считаются, и еще потому, что дочку я не доверял теще. Непонятное что-то, когда теща наедине побывает с дочкой, дочка ко мне не идет, не берет благословения.

Я поехал к теще, но, когда приехал туда, теща уже уехала обратно, мне так сказали, что жена и теща обо всем заранее договорились, и я сам вспомнил, как жена и теща не раз говорили, что хорошо было бы, если бы дочка жила у бабушки. Приехав домой, я упрекнул в этом жену, сказал, что она обманщица, она надулась и ушла от меня.

Раз как-то проснулся от сильного стука в окно, стучала жена, она куда-то уходила и, возвратившись, не могла дозвониться в дверь. Когда ей открыли, она яростно набросилась на меня:

— Паразит, идиот, разве ты не слышишь?

Я ничего ей не сказал, стал молча одеваться, одевшись, я вышел к ней:

— Я думал, что из тебя человек будет, но, видно, ничего не получится, ты стала страшной, злой...

Жена замолчала, теща нервно сопела, я позвал к себе жену и закрыл за ней дверь.

— Марина, нам нужно что-то решать.

— А что такое? — У жены дрожали губы, она была бледная.

— Эти постоянные скандалы невыносимы. Вот что. Подумай как следует, даю тебе три дня на размышления. Если сама не решишь, позовем людей, пусть они нас рассудят. Я священник, так жить нельзя...

За дверью зашумели дети, видимо, их настраивала теща. Жена собрала все свое спокойствие и сказала мне вкладчиво-ласково:

— Костя, ну подумай, ведь ты же из мухи делаешь слона.

— Да, случившийся факт сам по себе ничего не значит, но то, что жена не считается с мужем, очень много значит.

— Ты эгоист, ты только думаешь о себе, — закривлялись ее губы, она начала всхлипывать, в дверь настойчиво застучали дети, потом рванула теща, я не открывал.

— Вот и Игорь Семенович говорит, что ты эгоист, — продолжала она. — Он все время собирался сказать тебе об этом, но говорит, что тебе говорить бесполезно, ты упрямец!

Теща еще раз рванула дверь, я открыл, она закричала:

— Что ты делаешь, паразит? Вот заберу жену и детей, уеду от тебя. Зачем ты уродуешь семью?

Я долго сдерживался, но не выдержал и заорал:

— Марш отсюда, и чтоб больше вашей ноги здесь не было!..

— А вот не уеду.

Я разошелся и гнал ее, она завсхлипывала, что на свою пенсию нас кормит и тут к ней такое отношение, собралась, попросила у меня прощения и в тот же день ушла. Жена весь вечер со мной не разговаривала.

На следующий день я получил печальное известие: епископ Ермоген отстранен от служения. Сначала говорили, что гражданские власти потребовали отстранить, так как не соблюдает советских законов, потом выяснилась настоящая при-

чина: за то, что он протестовал против беззаконного собора 1961 года.

Дня три мы не разговаривали с женой, но, когда я долго не возвращался домой, она меня поджидала, старалась чем-то попотчевать вкусным.

У меня было тяжело на душе, и больше всего оттого, что жена забеременела, даже на службе я об этом думал, мысли лезли, как разбойники, открывая всякие запоры. Я не мог спать. Я чувствовал, что я нахожусь в чьей-то власти, не так ли с ума сходят? Я молился, клал по ночам поклоны, соглашался выносить всякие трудности, только бы не аборт, жена молча и страдальчески смотрела на меня, мне было ее жаль. Мне казалось, что, как и тогда, она сделает все тайно. Я хотел ни во что не вмешиваться, но совесть начинала мучить: как такой трудный вопрос оставляешь решать ей одной, нужно вмешаться. Хотелось сказать ей: «Сходи к врачу и, если найдет опасным рожать, делай аборт». Я подходил к ней, пытался заговорить, она как-то смотрела на меня очень страдающе, и я не мог ничего сказать ей, мучаясь, отходил.

В последнее время она перестала молиться Богу, обижалась на меня, когда я просил ее вместе помолиться. В нашем доме воцарялась тишина, тяжелая и тоскливая тишина, мы становились одинокими. В минуту бессонницы я вдруг отчетливо представлял, что в нашем доме должны убить нашего ребенка, и мне хотелось кричать от отчаяния, я начинал бояться себя. Иногда мне вдруг начинало казаться, что, может быть, и в самом — деле мечта, что есть Бог, но от этого мне еще становилось страшнее: тогда что же есть? Я закрывал глаза, и мне ощутимо представлялась Голгофа, три чернеющих креста. Я слышал, как ругается над Христом разбойник, задыхающийся в страшных муках. Я слышал, как скрипели зубы у второго разбойника и он прнрывающимся голосом говорил: «Помяни мя, Господи, во Царствии Твоем...» А посреди них был Христос, не менее их мучающийся и говорящий: «Боже, Боже Мой, почему Ты меня оставил?» Я слышал, как Он испустил последний вздох, заворочались камни...

«Боже! Ты мучаешься вместе с нами», — дошло до моего сознания, я упал перед крестом, большим старым крестом, кото-

рый мне недавно подарили. Я не знаю, отчего я упал, у меня даже не было молитвы, но я упал перед крестом и не мог не упасть. Мне как-то по-особому поверилось, что не может быть, чтоб такие муки были напрасными.

Тихо открылась дверь, вошла жена, как-то просветленно улыбнулась, сказала спокойно:

— Давай поговорим.

Лицо ее было умиротворенно, я смотрел на нее внимательно, разглядывал ее тонкие морщинки, пугливые глаза. Я смотрел на нее так, как будто видел ее в первый раз.

— Знаешь что, у меня были все признаки беременности? Больше ничего не сказала.

Не знаю, понимала ли она, отчего у меня скатилась большая слеза? Вбежали нежданно разыгравшиеся дети. Андрюша закричал:

— Папа идет...

Через некоторое время раздался стук в дверь, вошел о. Никон, он ездил к епископу. Сообщил сразу две новости: первая — епископ устроил его на приход, что было сделать трудно — препятствовал уполномоченный, вторая, что епископа уволили на покой, но это не было новостью для меня.

О. Никон помолчал и с грустью сказал:

— И еще некоторых удалили на покой, связанных с Ермогеном и сочувствующих ему. — Решительно добавил: — Время коллективных выступлений, может быть, отошло не только в церкви, а и в политике, единицы должны действовать. Одна единица одухотворенная может преобразить многих. А все эти коллективные выступления только выдают тайну, служат как бы провокацией. Притом в христианстве единица не единица, за ней стоит Христос. И еще можно добавить: коллектив связывает свободу, стесняет личность.

Я ему так же решительно возразил:

— Вы что же, проповедуете индивидуализм?

Он мягко меня поправил:

— Индивидуальность. Надо личность развивать. Хорошо развитая личность многое может сделать. А коллектив — это толпа, а от толпы, от стадности я мало жду пользы.

Я задумался, эти высказывания были что-то спорное, что-то носящееся в воздухе. Немного подумав, я все-таки снова возразил:

— А церковь разве не коллектив? И Сам Христос сказал: «Где двое или трое...»

О. Никон недоуменно покачал головой:

— Это совсем другое, вы меня не так поняли.

Меня осенило: в самом деле, если будет свободная одухотворенная развитая личность, то зачем какая-то пропаганда? Огонь этой личности невольно передастся другим, и это уже будет не коллектив, а соборность.

— Я вас понимаю! — воскликнул я.

— Ну хорошо, — он указал на Распятие. — И об этом не мне кричите, а Ему: «Помяни мя, Господи, егда придеши во Царствии Твом...».

На днях я видел картину «Нюрнбергский процесс» американского производства, она навеяла некоторые размышления: кто виноват? Кто судьи, а кто подсудимые? Мне кажется: виноваты все, и все подсудимые. Вот там немцы натравливали на евреев, а здесь натравливают на верующих, какая разница?

Когда я шел из кино, остановился перед газетой «Известия» от 26 ноября 1965 года: ЛЕКЦИЯ НЕ СОСТОЯЛАСЬ, — и опять это толкнуло на размышления. Антирелигиозная лекция на Руси все-таки не состоялась! Это символически: лекция не состоялась, пропаганда антирелигиозная опозорилась. Радость моя усугублялась еще тем, что я вспомнил, как у одного художника я сегодня видел картину, над которой он работает — «Святая Русь», он написал храмы в шлемах.

Вопреки всему в России идет подспудная христианская жизнь. Только я оглянулся, тут же увидел о. Никона, тот тоже читал эту статью, и по его лицу расплылась улыбка.

— Что, святые отцы, читаете? Наверно, что-то хорошее? — остановился какой-то прохожий, уткнулся носом рядом с нами. — Я вот сейчас смотрел кинокартину «Нюрнбергский процесс», правильно судят немецких преступников, а у нас таких разве мало? А у нас разве не было концлагерей? Да, отцы, без Христа мы все звереем. До свидания. — Он зашагал от нас. А мы еще постояли у газеты и побеседовали от души.

Когда я возвратился домой, на моем столе лежало письмо от Игоря Семеновича, он писал: «Выражаю Вам свою искреннюю благодарность и глубокую признательность за Вашу доброту и внимание, главным образом за Ваше чуткое понимание значения моей работы. Я очень сожалею, что, Марина Ивановна на меня обиделась. Я скоро устраню причину ее справедливого недовольства. Все сразу не сделаешь».

Все стало по своим местам, мне хотелось за все благодарить Бога. Видимо, около меня прошел ветер хлада тонка.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Не раз я уже ставил точку, не раз заканчивал свои записки, обманывал читателя, но вот приходится снова все ломать, поступил новый материал, и рука, как говорится, просится к перу, перо — к бумаге.

Кто, бишь, теперь будет писать? Последним писал, кажется, о. Константин Забельский, пусть он и сейчас пишет. Итак, записки о. Константина.

* * *

Боже, я не придумаю, что делать? Снова скандал в семье, и снова именно в большой праздник, тут какой-то рок.

Вообще нужно сказать, в последнее время у меня скверное настроение, устал, что ли?

Я давно не был на исповеди, все никак не соберусь. Сознаю, что грешен, надо очиститься, а вот не соберусь. Я думаю, не потому ли попустил Господь, что в последнее время я служу без всякого подъема? И поэтому, может быть, и скандал на Рождество?

Приезжаю домой, Андрюша на улице, с лопаткой. Я, говорит, делаю дорожку.

Вхожу в дом, всех поздравляю с праздником. Жена вроде любезно ответила, в это время расчесывала голову, теща что-то готовила, не помню, что я ещё сказал, жена посмотрела с недовольством.

— Что вы какие-то злые? — заметил я. Жена смолчала, стала кормить дочку.

Я, не дождавшись, когда она пригласит к праздничному столу, говорю:

— Ну давай разговляться. Она вяло у меня спрашивает:

— Ты будешь есть кашу молочную?

Боже, как все буднично: есть кашу молочную? Неужели нельзя как-то иначе отметить этот день? Меня взорвало, я закричал:

— Да слушайте, вы готовились к встрече праздника? Кроме каши молочной, вам нечего больше и предложить? Все люди этот день отмечают по-особому!

Смотрю, на ее глазах слезы:

— Да, у меня нет праздника, думала, что ты принесешь радость, а ты пришел злой. — Со слезами стала готовить на стол, нарезала колбасы... — Есть еще щи, — добавила она. — Ну что тебе нужно, разве в еде дело?

Все это так: не в еде дело, но как все это обставляют, вот в чем дело.

— Что, снова поругались, это она наделала? — указал я на тещу. Теща угрюмо ушла в другую комнату, я недовольно пошел на постель. Через несколько минут приглашает жена:

— Иди, готово.

Я полежал еще, потом все-таки решил пойти. Стол был готов, даже было вино.

Сели за стол молча, подняли тост молчаливо. Потом снова рассорились, не знаю из-за чего. Я выбежал из-за стола, меня возвратили дети, вцепились в руки, тянут.

— Нет, пойдем, надо кушать...

Итак, настроение испорчено, идут рождественские дни, а мы не разговариваем.

Я виню во всем тещу, ее присутствие в нашем доме все портит, жена не выходит из-под ее влияния. Мне кажется, большая часть скандалов у нас происходит из-за нее, как быть?

Я уже выгонял ее из дому, она снова приходит. Дни, когда она не бывает у нас, для меня праздник, я отдыхаю душой. Я говорю жене:

Давай найдем прислугу, я понимаю, что тебе трудно одной».

Она не соглашается.

— Зачем мне кто-то, если у меня есть мама?

Я начинаю плохо думать о жене, она не понимает меня и, вероятно, не желает понять?

Вообще это не ее путь, может быть, она была бы хорошей женой другого человека, но не священника.

В последнее время она не молится и, кажется, не интересуется церковью. Иногда винит меня: «Ты закабалил меня, мне некогда ни о чем подумать».

Чем я ее закабалил, разве дети — кабала? Она и детей ругает, бьет их.

Не придумаю, что тут предпринять? Может быть, у нее нет любви ко мне?

Но вот как-то я долго не был дома, и, когда пришел, она, увидев меня, радостно просияла, предложила мне любимое кушанье. Пойми женщину!

Мне кажется, она гордая, не терпит замечаний, хотя сама любит делать их.

Мне ее все-таки очень жаль, она — мученица! Я тоже мучаюсь, но я знаю за что, муки мне делаются приятны, они освящаются моей идеей. А мучиться только муками, без просвета — это тяжело.

Почему скрестились наши дороги?

В такое время для меня вдруг Открытое письмо двух священников!

Прочитав его, так и кажется, не Бог ли воздвигает пророков в свое время?

Письмо написано сильно, на этом все сходятся. У меня мысль: не слишком ли много мы внимания уделяем всяким житейским дрязгам? Не забыли ли мы снова Христовы: «Кто любит детей, жену более Меня, не достоин Меня»? Письмо меня зажгло, в прежней редакции я отказался его подписать, в этой — не задумываясь, подписал бы.

Этим двум героям нужно отвести особое место в моей повести. Они жили между нами, мы все разговаривали с ними и не знали, что они так могут.

Письмо страниц на сто машинописи.

Сначала о том, как заговорили о письме, первое впечатление, потом из личной жизни составителей.

Письмо разослано. Я звоню матери о. Андрея, она говорит как-то холодно со мной:

— Приезжайте и все узнаете.

Приезжаю, она больна. Вообще она всю жизнь болеет, сидит с грелкой.

За перегородкой из шкафов жена о. Андрея с дочкой. Мать приглашает меня на диван, сидим.

— Ну как?

— Да пока все хорошо, — довольно улыбается, немного помолчав, делает свое заключение: — Терпение кончилось, нужно было идти на все. — Смотрит на меня с осуждением: — Испугался?

Немного обидно, начинаю оправдываться:

— Нет, я не испугался, но я не хотел сломя голову бросаться.

— А он вот бросился.

— Я делаю свое дело, я на сделки с совестью не иду.

Чисто по-женски переходит на другое:

— Ты пресмыкаешься перед женой. Какие же вы священники? Кто не может управлять своим домом, как может управлять церковью?

— А разве в том дело, чтобы упрекать или кричать на жену?

— Вы им дали слишком большую свободу, они от жиру бесятся. Вышли б они за другого, получили бы тумаков, тогда бы узнали...

— Бить я не намерен, но я в ответе и за жену...

— Пресмыкаетесь вы, — снова повторяет мать о. Андрея.

— Но что мне делать? — повышаю я голос.

— А вот как делал один простой священник, деревенский. Приходит со службы, жена: «Стирай пеленки». — «Что? — повышает он голос. — Я стою у престола — и стирай пеленки? Чтоб больше таких разговоров не было». Поартачилась, да и смирилась, а вы покорились. — Она имела в виду и своего сына. Наконец перешла только на него: — Валечка, Валечка, — только ей и говорит. А маму больную упрекает: ты не умеешь жить. Вы думаете, мне не больно? Легко мне было его растить в самую войну, в разруху? А теперь вот... Пресмыкаетесь вы, — заключила она.

Я проглатываю ее упрек и задаю ей вопрос:

— Ну вы мне расскажите, как и что, вызывали?

Тут она восторженно улыбается и говорит ласковым голосом:

— Вызывал митрополит. Сначала о. Нестора, закричал на него: «Вы знаете, что это неканонически? Если это неканонически в одном, то вы во всем поступаете неканонически, вы предали Церковь. Это начало, будем сражаться». Вызывает моего, и он, такой мямля, нашелся.

«Мы вас лишим сана» — кричит митрополит.

«Попробуйте. Будем жаловаться восточным патриархам», — отвечает мой.

«Вы с Ермогеном связались, но вот он уже на покое, не служит».

«Будет служить!» — кричит мой.

Потом волна скатилась, заговорили тихо.

«Ну зачем вы разослали везде и всюду? — говорит дружественно митрополит. — Подали б жалобу Патриарху...»

«Мы вас знаем, — отвечают ему. — Вы бы положили дело под сукно, а нас бы удалили, как удалили Еромогена».

Кстати о Ермогене. Этот же митрополит (он в самом деле искренне верующий) говорит как-то епископу Ермогену:

«Что вы все воду мутите? Связались вот со священниками (дело идет об этих героях), они не вашей епархии...»

«А почему я не могу иметь друзей в другой епархии?»

«Можете, но о чем вы разговаривает с ними? — И саркастически: — Конечно, не о еде и не о погоде?»

Ермоген грустно улыбнулся:

«Плохой тот архиерей, который разговаривает только о еде и о погоде. Да и вообще он не архиерей».

— Ну вот пока и все, — закончила мать о. Андрея. — Вообще пока ничего плохого нет.

— А у вас нет лишнего экземпляра? — прошу я. — Я еще не читал...

— Нет, да и вам не стоило бы давать, побоялись.

Мне стало немного обидно, поднимаюсь.

— Постойте, я скажу, чтоб принесли. — Называет женщину, еще более обидно: женщине можно, а мне, священнику, нельзя, — ушел с огорчением.

Какие распространяются слухи?

Открытое письмо получил Генеральный прокурор СССР, переслал в ЦК. Сделали запрос в Совет по делам церкви: дать объяснение.

К написавшим отцам бесконечные звонки, письма. Поздравляют, благодарят, ободряют. Смело выступили, единственный голос за столько лет. Принесли себя в жертву. Если и ничего не выйдет из письма, и тогда это важный документ. История, а ее не зачеркнуть.

Есть и такие отзывы: мальчишки, гордыня обуяла. Неканонично. Кто досадит епископу, лишается сана. Какая наивность.

А письмо гуляет по России, его хватают, жадно читают, перепечатывают и посылают дальше. Должно быть, и за границу переметнулось?

Недавно я видел о. Андрея, лицо какое-то постаревшее, рыхловатое. Видимо, очень устал. Несколько дней напряженной работы без сна должны сказаться. Блестят одни глаза, живые и решительные.

Сам он неказист, прост. Скорее не священник, а дореволюционный студент.

О. Нестора я еще не видел, у него внушительная внешность, пышные волосы, борода, и сам солиден, и впрямь похож на пророка, и голос солидный.

О. Андрей сказал:

— Сначала было указание, это тайные слухи, нас стереть. А потом предупреждение — не трогать, может быть, есть за границей, как будут реагировать?

Поражает поведение наших: всем епископам разослали указание — возвратить Открытое письмо.

— Молодцы! — говорю я сочувственно. Ухожу от о. Андрея радостный.

Вспоминается сегодняшний день. Крестился один студент, причащался. Смотрит улыбающимися глазами. Немного сутуловат. Что поразительно? В то время, когда все жестоки друг к другу, он помогает одной девушке, старается поставить ее на ноги, а она дошла до последнего падения. И помогает бескорыстно, под ругань своих родителей и улюлюканье сверстников.

Вспоминается и еще. Видел одного преподавателя семинарии, студентов всех удалили, заставили разъехаться, остались он и ректор. Ректора вызывают:

— Ну вы же умный человек, зачем напрасно боретесь? Нам дано указание закрыть, и мы закроем. Уезжайте. Мы от вас ничего не требуем, устраивайтесь в другом месте. Иначе будет плохо. Нам нетрудно вас и посадить.

Ректор скрепя сердце уехал, остался один этот преподаватель.

— Не уеду, — заявляет он.

— Вышлем как тунеядца.

— Но я работаю преподавателем.

— А где студенты?

— Не уеду, — остался до последнего.

Как-то присылает ему брат маслины. На почту идут представители органов безопасности, райисполкома...

— Какое вы имеете право?

Дают санкцию прокурора.

У него опустились руки, полное беззаконие. Все, что угодно, могут сделать, ничего не придерживаются.

Этого преподавателя теперь нигде не прописывают.

Слышал и еще. Много стало убийств. Появилась фашистская организация имени Муссолини в Ленинграде, в нее входят подростки лет пятнадцати-шестнадцати.

Бог знает что стало твориться.

И наряду с этим Открытое письмо. Наряду с этим смелый и решительный голос. Вызов Патриарху, правительству, вызов каждому сердцу!

Бог воздвигает своих пророков. Что будет?

Заходил к тете о. Андрея, она сияющая, праздничная.

— Да, молчать больше нельзя.

— Дайте прочесть.

Беспокоится сначала, чем бы угостить, родственники о. Андрея отличаются особым гостеприимством, останавливаю:

— Не беспокойтесь, дайте прочесть, мне это важнее. Признаюсь, я ожидал худшего, письмо превзошло мои ожидания.

Три часа читал без перерыва. Попросил для себя экземпляр, нужно перепечатать и пустить в ход. Пришлось уговаривать, все-таки экземпляр дала.

Долгое время ниоткуда не слышно никаких сигналов, священники продолжают служить.

За это время я виделся с ними не раз. О. Нестор производил впечатление человека больного, у него что-то с суставами. На вид бледный, постоянно температурит, но человек непреклонной воли.

Хотят, чтоб еще выступила группа священников в поддержку.

В патриархию поступают письма разного содержания.

Рядовые верующие поддерживают, епископы в основном осуждают, говорят — это провокационное письмо, антисоветское. Иные, если соглашаются с содержанием письма, говорят, что написано в резкой форме, оскорбительно для Патриарха.

Оказывается, что большое участие в составлении письма принимал один мирянин, как он называет себя — смиренный православный христианин.

О нем стоит кое-что сказать. Сын крупного чекиста, еврей, уверовал в Бога в лагере. В лагере распространялись его письма о том, как он уверовал. В письмах было много ссылок на Блока, вообще на художественную литературу. Освободившись из лагеря, он увлекся святоотеческой литературой, стоял на чисто православных позициях. Потом стал толкователем Апокалипсиса, очень убедительно говорил, все его со вниманием слушали.

И вдруг на некоторое время исчез с поля зрения, но оказалось, ездил ко многим епископам, чтоб рукоположиться. Ему когда-то была выдана справка, что он шизофреник, и это портило все дело. Он нервничал. Жена, которую он привел ко Христу, оставила его: артистка, ей хотелось чего-то другого. К двум священникам он примкнул с радостью и сослужил большую службу. Он знал прекрасно советские законы, знал также все каноны церковные. Я его видел у о. Нестора на даче. С рано поседевшей бородкой, улыбающиеся острые глаза. При разговоре очень нервничает, не соглашается, через некоторое время, остынув, просит прощения.

Вдруг непонятный звонок к о. Андрею, ему стало подозрительно, ушел черным ходом из дому к о. Нестору предупредить его, там был и этот еврей Самуил.

И только о. Андрей хотел сказать о том... как постучались и к ним. Вошло два человека из органов безопасности, нужно

разговаривать в определенном месте. Ни на право обыска, ни на арест документов не предъявляют. О. Андрей и Самуил решили очистить свои карманы в уборной, чтоб не было никаких записей, на всякий случай.

Один из пришедших пошел в уборную и забрал ими выброшенные записные книжки, о. Андрей догадался и сказал прямо:

— Отдайте, иначе никуда не пойду. Пока вы нам не предъявили ордера на обыск, не имеете право ничего брать.

Тот стал упираться, о. Нестор сказал, что сейчас будет звонить…

Записные книжки возвратили.

В органах разговаривали долго, грозили, что письмо — клевета на советскую власть, но они им сказали, что это только против нарушения советской законности, письмо имеет внутрицерковное значение.

Отпуская, их предупредили:

— Ну вот, письмо — ваше дело, не трогайте только государство.

Вскоре последовало запрещение этих двух священников в служении за антицерковную деятельность, а между тем есть слухи — письмо сам Патриарх одобрил, сказал, что написано правильно и ни о каком оскорблении не было речи. Сказал вроде так, что иначе и писать нельзя, и все-таки запрещение подписано его рукой.

О. Андрей запрещение встретил с улыбкой, как будто ничего особенного не случилось. В последнее время он духовно вырос, стал одержим определенной идеей. Борьба с беззакониями, смелее — и враги отступят! — таков его девиз.

К патриархии у него появилась неприязнь. Предатели, предают интерес церкви ради своих интересов.

Говорит убедительно, с ним спорить трудно. Все, кто говорит с ним, остаются очень хорошего мнения о нем. Узнав о запрещении, выпалил жене:

— Ну вот, запретили…

Жена растерялась, а потом:

— Чего ты улыбаешься? Ты понимаешь, что может быть? Прежде всего есть нечего будет, на мои шестьдесят рублей не проживем, не устроишься на работу, вышлют как тунеядца. Так что радостного тут очень мало.

Но он уже не слушал ее, в его голову влетела какая-то мысль, он побежал к книгам и даже не заметил, что жена ушла плакать.

Положение его жены действительно печальное. Он почти никогда не бывает дома, все время занят своим делом, друзья. Она ждет, а придет он — и снова личные заботы. Но она, видимо, крепко привязана к нему, не предъявляет ему никаких счетов. Производит впечатление смирившейся, вышла замуж за него по любви. Да, любовь много значит.

В этот день я приехал в гости к о. Андрею. Спустя некоторое время после моего приезда приехали из того места, где он служил, приехал и о. Нестор с женой. У о. Нестора вид был задумчивого, сосредоточенного человека, но мне кажется, его одолевает грусть. Может быть, потому, что долго не придется служить, а без службы священнику очень трудно.

Жена его, худощавая, высокого роста, бодрилась, но грусть была и у нее. У о. Андрея один ребенок, у него двое, один школьного возраста. Жена работает преподавателем и, конечно, получает гроши. Правда, о. Нестор художник и может работать реставратором, но нужно еще устроиться. Приехавшие из того места, где служил о. Андрей, рассказывают, что верующие сильно взволнованы, хотят идти в патриархию и устроить скандал. В приходе, где о. Нестор, скандал уже был, там обвиняли во всем старосту. Тот поднялся на амвон, хотел что-то сказать, но ему не дали, он позвонил в милицию. Милиция приехала, посмотрела, что все происходит в храме, и не стала вмешиваться. Ваше, мол, личное дело, если б не в храме... А может быть, есть и какие-то указания?

Приехал к о. Андрею и Самуил, смотрел как-то в пространство, как будто там старался что-то разглядеть.

Надо написать ответ на запрещение. Запрещение ведь не ссылается ни на какие каноны. Если ошибся, почему бьешь, а не объясняешь? Помимо ответа на запрещение, хорошо, если бы выступила группа священников. Договорились всем встретиться у о. Николая, тем более что у него отдельная квартира, живет за городом. После о. Андрея я направился к моему давнему знакомому, у которого я давно уже не был, так как редко бываю в Москве. По пути мне встретилась знакомая, тоже дав-

няя. Когда я жил недалеко от Москвы, она часто заходила к нам. Она еще девушка, но уже в годах, человек с высшим образованием, интеллигентная и не из последних по внешности. Особенно хороши были большие черные глаза.

Судьба у нее складывается трудно, никак не может выйти замуж. Того, кто к ней сватается, она сама отвергает, а кого она хочет, тот ее отвергает. Ей хочется выйти замуж за духовного, как она выражается. Был у нее какой-то роман с преподавателем семинарии, о котором я упоминал, но он, кажется, ее испугался, она чем-то его насторожила.

Все новости церковной жизни она прекрасно знает. Сразу же, как увидела меня, заговорила о судьбе двух священников. Сказала, что письмо она читала и давала его читать другим, это просто пророческий голос. Слегка улыбнулась и добавила:

— В патриархии по поводу выступления острят. Между прочим, там знают, что Самуил принимал участие в написании письма. Всех троих принимают за евреев. Самуил, конечно, еврей, о. Андрей по своему воспитанию русский, со стороны его отца есть что-то польское, у о. Нестора что-то шведское. Говорят там так: три еврея стали в четыре шеренги и защищают интерес Русской церкви. Острота мне понравилась, она рисует с хорошей стороны евреев, они очень активны. И хорошо, что евреи примыкают к церкви, может быть, это признак последних времен? Существует мнение, что к концу времен евреи примут христианство.

— Может быть, это и так, — возразила девушка, — но евреи — самые заклятые враги христианства. Их задача — сломить Православие в России, это им удалось. Евреи ненавидят всех русских. Мне приходится сталкиваться с ними по работе, на русских они смотрят как на гоев.

Я ей, в свою очередь, возражаю:

— Ненависть евреев мне понятна. Знаю я одну еврейку, так та рассказывает из своего детства, что к ней русские дети все относились с ненавистью, никогда не принимали к себе играть. Она всегда была одна. Поразительно, что в советское время к евреям такое презрительное отношение...

— И правильно, — снова возразила девушка, — потому что они при советской власти все посты видные позанимали, обманывают русских.

— Есть, что и русские обманывают, — продолжал возражать я. — В народе говорят, что теперь русские стали хуже евреев.

— Ну уж не так, — загорячилась девушка, потом с таинственным видом зашептала: — А вам приходилось слышать о сионистском движении? Читали «Протоколы сионских мудрецов»? Я читала, знаю, что там... И вот у нас все идет по той программе. Все, что в России, — это дело рук евреев.

— Но они сейчас не в почете, их ограничивают во всем.

— Так уж и ограничивают. Куда ни пойди, всюду на хороших местах евреи. Да и все эти ограничения — хитрость еврейская, — не сдавалась девушка. — Это их тактика. Как вот тактика и с кремлевскими врачами...

Я оторопел. Дело кремлевских врачей теперь как будто ясное: оно было спровоцировано при Сталине...

На это мне она возразила тем, что спросила:

— Как вы объясните такое положение? Женщина, которая выдала группу врачей, погибает в автомобильной катастрофе?

Я не знаю всех подробностей и не берусь ей объяснять, однако замечаю, что она антисемитка и это тем более странно, что у нее самой тоже есть что-то еврейское...

— Будешь антисемиткой, если будешь знать то, что я знаю. — И тут она мне рассказала: — Там, где я работаю, на руководящих постах два еврея: он и она. Она меня принимает за еврейку. Как-то вызывает меня и говорит: «Слушай, когда будешь выходить замуж, не выходи за русского, они — гои, мы их должны ненавидеть». Рассказывают, что у него и у нее видели шестиконечную звезду — знак сионистов. И теперь я ненавижу евреев...

Да, в самом деле запутанное что-то. Запутанное не то, что есть сионистское движение, а то, как развивается ненависть, и, чтоб ей что-то сказать, я спросил:

— А как вы относитесь к тем евреям, которые защищают христианство?

— Это евреи другие, они уже не евреи.

Я вспомнил священника Иоакима, еврея, и Алексея Яковлевича. Первый с национальными еврейскими взглядами, болезненно реагирующий на всякую неприязнь к евреям, Алексей Яковлевич более спокойный, может рассказать анекдот про

евреев, но сионистское движение считает мифом, выдумкой, об этом я ей сказал, правда, не назвав имена этих евреев.

Она продолжала свое:

— В Ленинграде есть сатанисты, совершают черную мессу, и музыка Скрябина навеяна сатанинскими мотивами. Сатанисты считают, что зло сильнее добра и нужно злу воздавать честь...

Я остановил ее:

— А вы не думаете о том, что все это делает дух злобы? Дух злобы разными путями развивает в нас ненависть друг к другу, и, чтоб ненависть отпала, нам нужно быть добрыми христианами и развивать в себе любовь...

Наш путь кончался, мы подходили к храму, в котором служил знакомый мне священник, которого я давно не видел. Оказалось, что эта девушка часто бывает в этом храме и уважает этого священника, она рассказала, что он говорит чудесные проповеди, и тут же добавила:

— Этого священника здесь гонят, староста храма не дает жизни. — Рассказала также и некоторые подробности из его жизни. — Он сколько-то немец, из очень интеллигентной семьи, чуть ли не дворянской...

Я не успел ей ничего сказать на это, как мы вошли в церковную калитку, я снял шапку и перекрестился, как-то взор мой пал на закусочную, которая была рядом с храмом, и это произвело неприятное впечатление.

Да, все восстало на Церковь, все вооружилось на Христа, но тут же и бодрое чувство: «Голгофа — не смерть, а победа. Интересно, как Бог выведет Церковь из создавшегося положения, но выведет, в это я несомненно верю».

ГЛАВА ВТОРАЯ

СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ. ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

Я несколько волновался, застану ли своего знакомого за службой, был он уже пожилой, и, наверно, думал я, он по вечерам к службе не приходит. Когда я вошел в храм, ектенью читал священник, еще молодой, мне незнакомый, — диакон, видимо, был в отпуске. Народу было не особенно много, был не-

большой праздник. Я направился прямо в алтарь, чтоб узнать о своем знакомом. В правой стороне стоял поседелый и полыселый человек, щеки отвисли, и глаза были опущены долу, как и подобает старцу. Он был погружен в думу. На клиросе в это время пели, у служащего священника оказался перерыв, когда можно о чем-то поговорить. Я поздоровался со служащим священником, заметно приветливым, но с улыбкой несколько юмористической, этой своей улыбкой он как бы подбадривал вас: ну что унывать? — все эти страхи так смешны...

— А где о. Валериан? — спросил я у него.

— А вон он, — слегка указал рукой служащий священник на священника, стоящего с правой стороны.

О. Валериан поднял на меня глаза, поприветствовал с обычной любезностью и снова погрузился в покоряющие его думы.

— Вы не узнаете меня? — спросил я.

Он поднял большие глаза, вгляделся в меня и вдруг улыбнулся:

— О. Константин?

— Ну да, он самый...

Мы вторично облобызались.

— Ну что нового, как живы?

— Да так, как обычно, а у вас как? Слышно, что нехорошо...

— Нехорошо, — с огорчением произнес о. Валериан. — Вот все восстали, старосты и патриархия. И как досадно, что этого старосту я рекомендовал сам. Сын священника, с духовным образованием, думал — будет польза церкви, а он оказался приспособленцем. Что потребуют где-то там, то и делает, а на церковные дела — никакого внимания. А в последнее время занялся доносами, выставляет меня как антисоветски настроенного...

— То же самое. Был как-то у нас архиепископ Антоний из Лондона, я и скажи ему в частной беседе на вопрос «как дела?»: «Да, как, — говорю, — мы теперь наемники, а наемникам приказывают, священник поставлен в подчинение старосты. В руках старосты не только хозяйственная, но и духовная жизнь церкви. А староста или свои корыстные цели преследует, или волю врагов церкви проводит». Был с архиепископом Антонием сопровождающий из патриархии, тот и записал наш частный раз-

говор слово в слово, хотя не понял внутреннего смысла нашей беседы. После этого вызывает меня митрополит Никодим. «Вы говорили так-то?» — спрашивает. «Говорил». — «А почему?» — «Да потому, что считаю настоящее положение в церкви ненормальным». — «Ну напишите докладную записку об этом». Вот теперь приходится думать, что писать. Конечно, докладную записку я напишу. Потом разговорились с митрополитом, разговор был откровенным, он спрашивает меня: «Вы что, считаете нас предателями церкви, а может быть, и неверующими?» — «Вся беда в том, — говорю я, — что у вас мозги наизнанку. Вы, предавая церковь, думаете, что ее спасаете. Любое положение, которое вам выдвинут, вы стараетесь подогнать под Священное Писание. Лучше, конечно, чтоб вы были безбожниками, самое плохое, что вы верующие. Впрочем, это вполне понятно. Вас церковь поразила своей красотой, но вы эту красоту восприняли по-своему и действуете своими методами». Митрополит — сын секретаря обкома, порвал с отцом, бросил институт, окончил духовную школу. Страшное явление — предатели церкви, — продолжал о. Валериан. — В этом многие, к сожалению, запутались. Правда, знал я одного священника, которого хотели приспособить, так тот, как понял это, ушел и больше не пришел. Вызывал сам патриарх, все равно не пришел.

— А вы слышали о письме двух священников? — спросил я.

— Слышал, — раздумывая, ответил он.

— Ну и как?

— Да что как? Все, что изложено, правильно, но форма должна быть другой. Но что сделано, то сделано. Главное теперь, чтоб не предпринимали другого, не раскалывали бы церковь.

Я подхватил его мысль:

— Да, и я боюсь, чтоб именно не было раскола. Раскол на руку врагам церкви. Но вообще-то, конечно, молодцы, смелый шаг.

Немного подумали, вспомнили о запрещении патриарха.

— Да, патриарх запретил, — продолжал о. Валериан. — Много, конечно, для нас неясного здесь остается. Осудить легко, понять трудно. И я за то, что надо быть потверже, собор 61-го года — лазейка для врагов церкви. Конечно, все мы во многом виноваты. Если б мы были лучшими христианами, смогли бы

отстоять интересы церкви. А то одного бьют, а другие убегают. А еще хуже, что за спиной избиваемого устраивают свои шкурные дела...

Долго мы с ним говорили обо всем, после службы он пригласил меня к себе. Жил он вдвоем со своей женой в двух комнатах, комнаты большие, отдельная квартира, хорошо меблированная, вся в книгах. Книги стояли не только на полках, лежали всюду: на столе и даже диване. Жена пожилая, болезненная женщина — душит бронхиальная астма. У него был гость — бывший преподаватель Ленинградской Духовной Академии, которого я тоже немного знал.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

НОВАЯ АПОЛОГИЯ. РАССКАЗ О. КИРИЛЛА

За чашкой чая мы разговаривали почти всю ночь. О. Валериан возлежал на кресле с подушками, жена также, и это вот — как они сидели — говорило о том, подумалось мне, что они оба происхождения барского, они и выглядели оба как аристократы, отошедшие в прошлое и глядящие на нас как будто с забытых портретов. Мы тоже все устроились на мягких сиденьях, но сидели неловко и неудобно, и это говорило о том, в какой мы живем век, — мне лично было сидеть совсем непривычно. Рассказывал гость, о. Кирилл, еще сравнительно молодой, но весь уже в седине.

Трудно сложилась его жизнь, был в заключении при Сталине. Жена в это время вышла замуж. Думал он, как ему быть, и наконец решил отдаться полностью служению церкви, принял монашество. После окончания Академии оставили преподавателем, был он со способностями, знал языки, вот это знание языков и сыграло роковую роль. Конечно, все, что ни делается, идет на пользу, при Академии он сделал бы меньше, чем там, в глуши, куда его сослали на приход. О митрополите Никодиме говорит как о человеке с чекистскими способностями.

— Священников часто к себе вызывает ночью, как это делают чекисты. Верить митрополиту трудно: может сказать одно, а сделать другое. Когда я, — рассказывает о. Кирилл, — понял, что меня хотят использовать как сексота, я сказал: «Нет!» —

«Почему не хочешь?» — спросили они прямо. — Другие могут быть хуже, чем мы?» Я им ответил: «В деле предательства нет худших или лучших, предательство в целом плохо, и предательством церкви не спасешь». Я сразу почувствовал, что со мной что-то сделают. Хотелось каникулы летние использовать все-таки для отдыха, устал на академической безблагодатной работе. Работы много, но, по сути, никому не нужной. Студентам не можешь дать того, что бы хотел. Сказал в Академии, что уезжаю туда-то, а уехал совсем в другое место. Так что ж, Никодим узнал, куда я уехал, и вызвал меня к себе телеграммой, чтоб вручить направление на приход.

— Ну и как?

— Да сейчас уже хорошо, а было страшно.

— Расскажите подробно, это очень интересно.

О. Кирилл уселся как следует, сидел он как-то прочно и уверенно.

Есть люди, которые сидят, как перелетная птица, разбросав руки и ноги — свои неуверенные крылья, а он сидел прочно, не было лишнего движения, как будто уселся, рассчитав запас своих сил. Была небольшая сутулинка, смотрел как будто исподлобья, но от этого не было угрюмости, как обычно бывает у таких людей. Смотрел исподлобья потому, что навалили очень много на него тяжелого, так что и глаза как будто покачнулись, но в глазах стоял ровный свет звезд, которые светят в позднюю ночь, и этот свет их — не мятущийся свет дня. Он слегка улыбнулся и начал:

— Ну вот, дал мне митрополит направление и сказал: поезжай. Вот тут-то я возблагодарил Бога, что сейчас не женат. Что было бы делать вместе с женой? А приход глухой, самый что ни на есть плохой, об этом мне сказал сам митрополит, да и я так слышал, но всего еще не представлял как следует. Священник, который был там, очень обрадовался, что сменяю его.

Прежде всего, что собой представляет храм? Чудо искусства, на берегу реки, на горке, и кругом лес. А запустение страшное. Стены ободраны, крыша сорвана, крест покосился. Кругом нагажено, захламлено, как будто здесь не было живой души. Внутри еще хуже. Жертвенник покрыт какой-то грязной тряпкой, престол покрыт старой фелонью, чаши грязные, все иконы

закопчены. Ни подсвечника, ничего нет. Кадильница держится на веревке. Страшная сырость. Сырость выступила слезами и на стенах, и на иконах. Хора никакого. Кое-как читает беззубая старушка. Верующих два-три человека.

Подходит ко мне староста, женщина еще непожилая, на глазах слезы.

— Вы, батюшка, к нам? — посмотрела на меня сострадательно.

— Да, к вам.

— А вы не боитесь? — улыбнулась ободряюще мне. — Доход у нас маленький. — Поправилась: — Да почти никакого. Вот стараемся делать что-то, чтоб только не закрыли храма...

— А есть хотя бы какое-то жилье для священника? — спрашиваю я у нее.

— Да вон сторожка, — указала она.

Стоит избушка на курьих ножках, окно заткнуто тряпкой. Подумала и, чтоб ободрить меня, добавила:

— Жилье мы вам найдем, вот только бы вы служили. Перед вами священник не служил...

— А что же он делал?

— Пьянствовал. Приходишь звать на службу, а он пьяный. Оденем его, приведем, а он зайдет в алтарь и сидит, потом покадит немного и скажет: «Ну хватит, расходитесь по домам». И люди перестали ходить в дом Божий. «Один соблазн», — говорят. Мы только вот несколько человек и ходим. Как бы не закрыли храма, выжидаем лучших времен...

Жутко мне стало, мурашки пошли по коже. Вот, думаю, крест, как его поднять? Стою и не знаю, что ответить. Тут мне вспомнился лагерь, второй раз сажают, думаю. А староста смотрит испытующими глазами, смотрит в самую глубину души. А на глазах — вся русская скорбь. Веки нависли, и так я читаю по этим глазам: «Ну что, испугался?» Одета сама в рваную телогрейку, руки заскорузлые, в трещинах. И тут меня осенило. Перекрестился, улыбнулся, хотя мне не улыбалось, и говорю бодро:

— Буду служить, будем молиться Богу.

— Ой, это правда? — вскрикнула она, хватает мою руку. — Вы посмотрите, какая здесь красота! Это только запустили все

здесь так. И верующие будут ходить, молиться Богу будем! — кричит она мне.

Обошел я весь храм, зашел в сторожку и в тот же день принялся за дело. Прежде всего убрал алтарь. Взял ведро с тряпкой и начал мыть. Сшил своими руками облачение на престол. Приехал я в понедельник, а работал всю неделю, с утра до вечера. Поработаю, сяду и отдыхаю. Не отдыхаю, а думаю: что дальше делать? Смотрю, появились любопытствующие. Сначала повертятся, посмотрят и уходят. А потом, смотрю, принялись за дело. И старушки и молодые. Не разгибая спины, а меж тем как еще в колхозе надо работать. Когда я наконец хотел убрать сторожку, свое жилье, смотрю, там уже все чисто. И занавески есть, и даже цветы стоят.

В субботу пришло на службу, говорят, больше, чем обычно, но было их человек десять-одиннадцать. Петь некому. Старушка хотела все читать, но я запел сам. Читаю ектенью и сам пою. Слышу, кто-то среди молящихся подпевает. Я зову: идите сюда. Пришло два человека, поем. Нескладно, но поем.

На литургию пришло больше, человек тридцать. И через месяц мой храм стал наполняться. Идут крестить. Думаю, живем. Доход прибавился. Староста смотрит на меня как на своего спасителя. Опекает меня, как мать ребенка.

Заметили оживление в храме местные власти. Прежде всего стали требовать сведения, сколько каких треб. Это было бы ничего. А вот насчет крестин требовали, чтоб указывали фамилию родителей ребенка и адрес. А это плохо. Таким образом, мы должны доносить на этих верующих. А их потом вызывают и снимают с работы. Я говорю старосте: скажите им, что мы можем давать только статистические данные, а если нужны фамилии, пусть на это дают письменные указания. А они требуют только на словах — ну какие, мол, письменные, так всегда было.

— Нет, фамилии мы указывать не можем...

Повоевали немного и успокоились. Одна атака отбита.

Через некоторое время приходит какая-то непонятная женщина и просит, чтоб крестили ее ребенка. Никаких документов не представляет. Ни крестных, никого нет.

— Что-то подозрительно, — говорит мне староста. — Женщины этой я никогда в храме нашем не видела...

— Ну что делать? Надо проверить, — говорю я.

Проверить? Ох как это трудно, заниматься проверкой... Но ничего не сделаешь, такое время. Говорю женщине:

— Приходите завтра и приведите хотя бы мужа.

Только вышла эта женщина, вбегает разъяренный мужчина.

— А, вы крестили моего ребенка? По какому праву? Я сейчас акт составлю. Я не желаю, чтоб крестили моего ребенка.

Но провокация не удалась, договориться с женой-то они договорились, но не как следует. Поленились кое-что проверить.

— Нет, ребенка мы не крестили.

— Как не крестили? Вот от вас сейчас вышла моя жена.

— Вышла и пошла за вами.

Вторая атака отбита.

Третья атака — это насчет ремонта храма. Оказывается, чтоб ремонтировать храм, нужно брать разрешение в сельсовете. А я сказал старосте: «Вы ставьте их только в известность, что мы начинаем такой-то ремонт».

Сам я доставал краску, сам находил рабочих. Спасибо студентам из Академии, они очень помогли. И давали нам справку, что работают бесплатно. Кое-что мы, конечно, им платили. И храм засиял, как игрушка стоит, дух радуется. Народу прибыло как никогда, наверно. Не только ходят местные, а из окрестных сел. Из Ленинграда приезжают. И девушка одна очень помогла. Особенно в доставании кисточек и краски.

О. Кирилл перевел дыхание, слегка отвалился на спинку кресла. Когда мы стали разговаривать подробнее об этой девушке, она оказалась и моей знакомой, с которой я сегодня шел в храм к о. Валериану. О. Кирилл что-то вспомнил.

— Были в некотором роде и чудеса, — просиял он. — Нужна мне была одна кисточка, которую мне было трудно достать, а без этого работа оставалась незавершенной. Ломал я, ломал голову, где достать, и хотел было уже махнуть рукой: пусть остается так до лучших времен. А праздник наступал... Ох, думаю... И вдруг прихожу, лежит кисточка именно такая и краска такая, как надо. Я кричу старосте: «Кто принес?» Говорит: «Девушка». Мы-то ее и звали не по имени, а девушка, а некоторые даже: дева. «А куда она пошла?» — «Да ничего не сказала. Принесла, положила и ушла». И что поразительно: краски именно столько, сколько мне нужно. Потом я у этой

девушки спрашивал: «Ты приносила мне кисточку и краску?» — «Нет, — говорит, — я не приносила».

Кто же принес, мы так до сих пор и не знаем. О. Кирилл почесал лоб.

— Значит, это какая атака отбита? — спросил он у нас, чуть улыбаясь, и эта тихая улыбка его создала такое хорошее настроение у нас, что мы развеселились и, шутя, в один голос сказали:

— Третья. А теперь, наверно, будет четвертая и т.д.?

— Вы правы, — продолжал о. Кирилл. — На нас обратили особое внимание власти. Вызывают меня и старосту не в сельсовет, а в районное отделение. Сначала председатель райисполкома беседовал с нами, я ему сказал, что могу отвечать только по вопросам религии, хозяйственная жизнь находится в руках церковного совета.

Староста научилась от меня, как отвечать. На все вопросы она отвечала, что мы все делаем по закону. Если нам дадут письменные предписания — выполняем, а слова для нас — не закон. Что-то он хотел ей возразить, потом посмотрел на меня и, то ли понял, что я понимаю законы, сказал старосте:

— Ну вы идите, а священник пусть останется, с ним хочет поговорить один товарищ...

Сам ушел, и вошел в его кабинет человек средних лет, нужно сказать, приятной наружности, сел на председательское место. Представился как секретарь парткома. Спросил мои фамилию, имя, отчество, год рождения, какую окончил светскую школу, где учился в духовной? Потом говорит:

— Вы человек с образованием, неужели не видите, что религия отживает свой век?

— Нет, этого я не вижу. Я вижу, что религия возводится на крест, но так в этом ее и сила. Сила в крестоношении...

— А вы никогда не задумывались над тем, что вас могут отправить в заключение? Откровенно говоря, с вашим братом не церемонятся...

— Нет, не задумывался, — спокойно отвечаю я. — Заключение мне знакомо, я уже там был.

Он долго молчал, потом посмотрел на меня, вздохнул, уставился долгим взглядом, долго, долго смотрел, и как будто что-то злое в нем было, и как будто что-то доброе. И вдруг просиял:

— Я удивляюсь вашему мужеству. Это геройство: все ополчились, а вы не уходите со своего поста. Так говорите: крестоношение — сила?

— Да, — коротко ответил я.

— Ну, воюйте, всего вам хорошего. Я ушел.

О. Кирилл улыбнулся скупой улыбкой, немного склонился к нам.

— И сейчас у меня два партийных человека, друга, кое-где защищают, а кое в чем и помогают. — О. Кирилл не договаривал, он что-то скрывал.

— Ну и на этом вы решили закончить свой рассказ? — спросил о. Валериан.

— Нет, могу немного продолжить, — сказал о. Кирилл. — Сейчас моя основная трудность приносить воду зимой, когда все замерзнет и занесет снегом. От самого дома прокапывают тропинку, а ее заносит. Потом обрубаю лед на колодце, опускаю бадью, достаю. А тропинки уже нет, снова прокапываю, несу. И вот самое страшное, когда поскользнусь, а бывает и это. Снова все повторять сначала!

— Да, — сказали мы в один голос с о. Валерианом.

— Это тоже письмо, только которое действеннее и убедительнее? — поставил я вопрос.

О. Кирилл ответил как будто не на вопрос, но высказал ту мысль, которая была нужна.

— Каждый трудится в своем звании, была бы искренность. По-моему, нужны выступления и таких священников.

Уже укладываясь спать, я тоже остался на ночь у о. Валериана, мы договорились как-либо навестить о. Кирилла, это наше желание понравилось и о. Кириллу, он был тронут тем, что к нему приедут...

— Воду носить я вас не заставлю, — пошутил он.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

МОНАХ ИЗ ПОЧАЕВСКОЙ ЛАВРЫ

На встречи мне везло, только я хотел утром уехать к себе, как к о. Валериану постучали: пришел тот еврейчик, которого я крестил по просьбе Алексея Яковлевича, на этот раз мы назо-

вем его Семен, некоторые называли его Симеоном. Он привел с собой человека, еще не пожилого, но с длинной бородой и длинными волосами. Лицо бледное, болезненное, а глаза какие-то особенные. Они были очень простоватые, как у деревенских ребятишек, невозмутимые и как будто ни на что не реагирующие. Но стоит вам заговорить с ним, как они оживлялись и вы понимали, что этот человек не отступит ни от каких трудностей. Я думал, что он священник, но когда он разделся, опустил свою рясу и подошел под благословение, я спросил:

— А вы не священник?

— Нет, я простой монах.

Оказалось, он был монахом из Почаевской Лавры. С собой он принес длинное письмо о том, что творится в Лавре, показал нам и прошение, написанное на имя Патриарха.

Монаха мы усадили на стул, а сами уселись вокруг него, кто мог, например Симеон, даже на корточках.

— Ну вы нам расскажите по порядку, как это и с чего началось?

— Ну как с чего? Ну, пришло от епископа распоряжение: такой-то переводится в другой монастырь — и вдруг массовый перевод. Что-то неладно, решили мы. А главное — в Лавре оставляют только старых, наверно, в расчете на то, что они скоро умрут и никого больше не останется. И без шума можно закрыть Лавру. Но недаром Матерь Божия покровительствует нашей Лавре, там Ее и стопа есть. Мы, как-то даже не сговариваясь друг с другом, решили одно: стоять! Будем защищаться до конца!

— Ну а наместник Лавры как, он тоже решил стоять? — этот вопрос несколько передернул монаха.

— Что наместник, знаем мы этих наместников. Он похвалялся тем, это я подслушал случайно, что он закрыл пятьдесят церквей, будучи благочинным. Правда, другой голос ему возразил: «А я открыл». Разговор далее пошел полушепотом, но я все-таки расслышал... Этот наместник все возражал: «Но я же не виноват, заставляют, против закона не пойдешь».

Был и еще случай с этим наместником; указывая на икону Ильи-пророка, он как-то закричал:

«Что ты этого жида здесь держишь?»

Этот наместник рад стараться, что ему ни скажут там, все готов сделать. Пришло распоряжение от епископа, он говорит: «Надо подчиниться...»

«Но ведь распоряжение епископа, — отвечает. — Пойдешь против, будет плохо». — «А епископ такой, давая такое распоряжение, не идет против Бога? Он об этом думает?»

— Ну нам нечего рассуждать, должны покориться! — вот его довод. А власти тут как тут. Всех, которые должны быть переведены из Лавры, лишили прописки, выписали и стали судить за нарушение паспортного режима. Чего тут только не было. Было и избиение. Один иеродиакон, после того как побывал в милиции, на следующий день Богу душу отдал. Многих забрали в тюрьму. Был в тюрьме в том числе и я. — Тут неожиданная улыбка покрыла бледное лицо монаха. — В заключении я чувствовал себя хорошо, меня там все уважали. Бригадир говорил: ты мне заранее сообщай, когда у тебя праздник, я буду тебя освобождать от работы. Один коммунист, правда, запротестовал: «Это что же, сколько тогда ему выходных?» — говорит. Так того коммуниста за это чуть не спихнули с обрыва: молчи, а то мы тебе покажем.

За разное там сидели. Конечно, народ, как говорится, отпетый: и хулиганство, и воровство, и изнасилование. А любили слушать божественное. Я и начинаю о видениях, о явлениях, смотришь, и сами начинают припоминать, кто что слышал, что видел. И говорят потом: Бог есть, и лица становятся другими; смотришь, на следующий день мат исчезает. Сильная, хотя и подсознательная, тяга к Богу есть у русского народа... Бога им сейчас не хватает, это чувствуют многие.

Тут я вставил вопрос:

— И сколько вы сидели?

— Год.

— А потом?

— А что потом, снова в Лавру.

— Прописали?

— Нет. Прописался недалеко в селе у родных, а в Лавре каждый день бывал.

— Ну и сколько сейчас монахов в Лавре?

— Человек тридцать.

— Держатся?

— Есть которые держатся.

О. Валериан перебил нас:

— О. Константин, — обратился он ко мне, — вы не отвлекайте, пусть рассказывает, как дальше все происходило.

Монах продолжал.

— А дальше в защиту Лавры встали верующие, и вот тут плакать хочется. Что было, не поддается никакому описанию, я там все изложил в записке. Не буду я рассказывать, вы сами прочтете. — Видимо, монаху было трудно рассказывать, он как-то по-детски заморгал глазами, но все-таки согласился, несколько недовольно крякнув и махнув рукой. — На верующих делали облаву, забирали в милицию. На машину их бросали, как дрова. В милиции били, выбивали зубы, женщин и девушек насиловали. Одну даже восьмидесятилетнюю изнасиловали.

Кто-то сказал:

— Не может быть. Что он, ненормальный был, кто насиловал?

Тут вмешался до сих пор молчавший Симеон:

— Да, в самом деле это было так. Я был там и узнал обо всем. Милиции даны были полные права, всеми силами постараться закрыть Лавру, милиция использовала для своего дела самых отъявленных бандитов. А некоторые из милиции рады были не делать, но их заставляли. Приказ, говорят, свыше. А ведь у нас все боятся лишиться места. За место готовы перегрызть горло друг другу.

Незаметно монах перевел разговор на другое:

— Недавно в Лавре была делегация иностранная, я это узнал и прорвался к ней. Вот, говорю, слушайте, что делается у нас. Делегаты поглядывают друг на друга, слушают. Я рассказал все, потом даю свою записку, так не взяли. «Нельзя», — говорят.

Тут, кажется, добродушное лицо монаха стало суровым, гневным.

— Им-то чего бояться? Мол, нас не трогают, и ладно, а вы, мол, варитесь в своем соку. Вот этого я не могу понять и простить... — как-то сорвалось у монаха это грозное слово.

Среди нас, слушающих, начался шум, все стали обсуждать поступок иностранной делегации.

— Их не печет, и ладно.

— А может, и им придется.

— Нет, на них надежда слабая. Надежда на Бога да на себя, своими силами выстоим.

Монах, наверно, понял, что среди нас разгорается крайний спор, вдруг улыбнулся, как это он делал всегда, когда хотел создать хорошее настроение.

— Недавно я был в Патриархии, пустился на некоторую хитрость. «Вот вы, говорю, дали согласие, чтоб нас перевели из Лавры, а вы знаете, что наш перевод — это закрытие Лавры? Вы выполняете волю безбожников, продались!» Митрополит нахмурился. Вот, думаю, сейчас скажет: выйдите, так я ему говорю: «У нас во время унии было так. Когда один епископ согласился на унию, его застрелили». Тут митрополит вздрогнул, побледнел, я это все выдумал, чтоб пригрозить... После нашего разговора митрополит заговорил с нами иначе. Мы, мол, не виноваты, нас заставляют, как-нибудь, может, устроим, вы напишите прошение. А на следующий день я узнал, как митрополит одному человеку говорил: почаевские монахи — разбойники, с ними шутки плохи. И все-таки то, что я пригрозил, наверно, подействовало: вскоре митрополит оставил пост управляющего Московской патриархией.

Хотя здесь ничего смешного не было, но всем стало весело, понравилось, как монах припугнул митрополита. Не помню кто, сказал:

— Видимо, так и поступать нужно.

Но после таких слов лицо монаха вдруг сморщилось, он робким растерянным голосом произнес:

— А может, так не надо, я грешу так? Может, надо терпеть? Может, это все только на руку врагам церкви?

И это его виноватое обращение ко всем как-то всех смирило, и некоторые даже стали называть митрополита мучеником. Кажется, о. Кирилл сказал, что этот митрополит говорил своему другу: «Если б вы знали, как мне тяжело! Некому доверить своих мыслей, а тут выступление двух священников, монахов. Готов бы бежать куда глаза глядят». Некоторые припомнили, что этот митрополит ходит в холщовой рясе, и это как-то у всех вызвало к нему сострадание.

— А что слышно про Ермогена? — обратился о. Кирилл к о. Валериану.

— Находится в Жировицком монастыре под запрещением. Но, говорят, делает все по-прежнему: служит, пишет письма...

Неожиданно о. Валериан вздохнул.

— О чем вы? — спросил я.

— Да так, грустно стало. — Немного помолчал и добавил: — Недавно мне одна девушка, видевшая Ермогена, по секрету передала: грустно он смотрит на Русскую церковь. Говорит: доживает свой век, единственная сила теперь: католики.

— Ну и пусть надеется на католиков, а мы будем надеяться на Христа, — вырвалось у меня. — Крест — это не гибель, а спасение.

О. Валериан добавил:

— Ермоген говорит: христианство России досталось без боли, а все народы его выстрадали.

— Ну что ж, теперь мы выстрадаем, — возразил я о. Валериану, как будто Ермогену. — Нужно только не отчаиваться и верить в силу креста.

Тут, кажется, начинался спор, и началось было делиться мнение: Симеон, наверно, желая это как-то прекратить, сказал:

— Я вот, собственно говоря, отцы, зачем пришел сюда с Нестором, — так звали монаха. — Он желает сходить в посольство, советуете ли вы ему или нет?

И тут снова начали делиться мнения. Сказали, что не всякое посольство возьмется за это дело, смелее всех американское, но туда трудно прорваться: у посольства усиленная охрана...

Монах добавил, что он уже пытался прорваться, но его задержал милиционер... И тут все пришли к тому мнению, что в посольство ходить незачем, но записку за границу стоит передать, а самое главное — нужно распространять ее в России, будить общественное мнение...

— Правильно, — заключил о. Валериан. — Тем более что среди современных писателей подымается голос в защиту памятников старины.

Уже было позднее утро; наспех позавтракав, мы разошлись, каждый на свое дело.

ГЛАВА ПЯТАЯ

КРЕСТ! ВСЮДУ КРЕСТ!..

О. Николай Давыдков как-то возвращался с крестин, которые он совершал нелегально. Он считал, что подчиняться сейчас распоряжениям епископов — подчиняться просто человеческому установлению и забывать Божие, которое одинаково относится и к епископам, и к простым священникам, поэтому игнорировал распоряжения епископов и никому ни в чем не отказывал, тем более что терять ему было нечего: что терять монаху, когда он сам добровольно от всего отказался?

Возвращаясь к себе домой, он решил навестить Олега, о котором в последнее время до него доходили разноречивые слухи: спился, распустился и, может быть, еще что-то худшее. Он знал, что Олег, несмотря ни на что, все-таки тянется к Богу, и, может быть, о. Николай — Никон даже как-то хотел повлиять на Олега — остепенился бы и взялся бы за разум. Ведь, с одной стороны, говорить о Боге, а с другой — вести такую жизнь, ни с чем не вяжется. Как-то о. Никон читал у философа Франка, что дорого не просто моральное состояние человека, а дорого то, что тянется к Богу, это в конце концов спасает человека, не мораль же? — размышлял о. Никон над этими словами и не хотел осуждать Олега.

А вообще шел о. Никон медленно и думал о многом.

Когда-то он высказывался против коллективных выступлений, считал, что это почти равносильно крику толпы, которую нужно направлять. Ему казалось самым правильным сейчас — выращивать силы, растить единицы, которые незаметным образом поведут толпу. А тут вот выступление двух священников толкало и на другие размышления: доколе же можно терпеть предательство, ложь, которые сейчас в церкви, среди русской иерархии? Да, конечно, когда плывет корабль в море и взбушуются волны, желая проглотить этот корабль, плохо, если в то время команда на корабле станет ругаться между собой, обвинять друг друга в то время, когда нужно ободрять и указывать на опасность, — это не дело. Да и человек всегда остается человеком, со своими недостатками и пороками. Приводили и такой пример. Идет бой. Десять человек. Семеро предают

или, вернее, не предают, а желают сдаться в руки врагов. Трое против, что делать? Одни говорят: перестрелять этих семерых, другие возражают: а может, эти они перестреляют троих? Рассуждать всегда легко, в жизни это несколько иначе.

Письма этих священников внесли раскол в сердца и мысли людей. Письма стали широко известны за границей. Он слушал передачи у знакомых. Первые передачи – мужественный голос, потом кое в чем стали обвинять этих священников, обвиняли и в том, что они оскорбили старца-патриарха, не надо забывать, что и он что-то выстрадал. Советовали принести покаяние. Покаяние за резкость и неканоничность формы, советовали провести резкую грань между содержанием письма и формой. Содержание все оправдывали. Стало известно и другое письмо, о. Валериана, вернее, не письмо, а записка к митрополиту Никодиму. Слушал о. Никон и выступление по заграничному радио митрополита Никодима, мол, они, священники, занимают незначительные посты в церкви и полностью сути не знают, защищал правительство, что это перегибы на местах, а в целом ничего страшного нет. Противоречивые мнения были и о самом митрополите Никодиме. Говорили, что это талантливый человек, что он хитрит, как бы спасти церковь, говорили, что он искренне верующий, говорили и о его тайном грехе... Много говорят всего. И о. Никон обо всем этом думал и думал. Действительно, очень трудное и сложное положение создалось. Думал он и о себе, правильно ли он сам поступает, а вдруг нет?

Он прислушался, о чем разговаривают две старушки, идущие впереди его, замедлил шаг. Они говорили довольно громко и, вероятно, не видели, что идет за ними священник, и не просто священник, а монах. Он в последнее время стал ходить в подряснике, но начинался уже вечер и, может быть, подрясник не замечали. Две старушки говорили:

– А ты слыхала, милая, что случилось недавно? На одну девушку напало четверо мужчин, изнасиловали ее на глазах у всех. Но этого мало, милая. Изнасиловать-то изнасиловали, но еще отрезали ей грудь...

– Ай, ай! А я слышала и еще вот что. Вышла четырнадцатилетняя прогуляться, напало на нее пятеро таких же лет, как она. И тоже изнасиловали, а потом изрубили на куски и броси-

ли в реку. Вот так, милая, без Богу, вишь, живут. Зверь пробудился в человеке, убить человека — это раз плюнуть.

— Ну а поймали их? — перебила первая.

— А что с того, что поймали? Ну расстреляют их всех. Была одна жертва, а станет пять-шесть. Что с этого? А как насиловали, так и насиловать будут. Закон куда поверни, туда и пойдет, а вот Бога нет в сердце, отсюда — беда наша.

Первая снова перебила:

— А Бог-то и не нравится, вон храмы взрывают последние, в школах пичкают всякой чертовщиной. Прости меня, Господи, за это черное слово. Ну чего ждать? Раз я иду дорогой и вижу, что один карапуз другого обижает. Я и скажи ему: «Ты что же делаешь, разве можно обижать?» Он вылупил на меня свои гляделки, такие нахальные, и прямо мне в глаза шмякнул: «А почему же нельзя? Сейчас я его кулаком огрею, а потом буду ножом пырять». Да так серьезно говорит. Вот страсти-то какие! Вот до чего мы дожили.

Наступило некоторое молчание. После молчания первые слова трудно было разобрать, но, когда отчетливее стал доноситься голос, о. Никон понял, что разговор шел на другую тему, шел разговор о церкви, а именно говорили о двух священниках.

— Ты слышала, милая, два молодых батюшки выступили, обвиняют Патриарха, что с его согласия в церкви творятся всякие беззакония. «Надо прекратить!» — пишут. А то что же, Патриарх и его приближенные ездят по заграницам, на машинах разъезжают, а о церкви не заботятся. И священники — прости, Господи! — стали какие-то. Придешь в церковь помолиться, а видишь то, что не приведи Бог…

— Все мы хороши, — перебивает друга. — И священники, и все мы. А в церкву приходим, разве мы молимся? Обсуждаем всякие базарные дела. Все хороши, милая, судить легко, а делать трудно.

Тут разговор снова пошел тише, отчетливее стали доноситься слова, когда снова заговорили о двух священниках.

— А ты слыхала, милая, что их запретили в служении?

— Это за что же?

— Да за то, что правду сказали. Правду-то, видишь, не все любят, и Патриарху, вишь, не нравится правда.

— Аи, аи, а Патриарх... •
— Ну что Патриарх, он тоже из плоти и костей состоит. Патриарх и мы все стали негодны. Так-то вот, милая.
— Да, тяжелые времена...
Тут первая стала усиленно креститься широким крестом, приговаривая:
— Прости нас, Господи! Прости нас, Господи! Все мы теперь язва на теле Господа. Страсти Господни — вот что мы.
— А как я люблю Страстную. Вот когда намолишься и наплачешься. Господь наш страдает, крест несет за нас.
— И мы должны нести: Господь страдал и нам велел.
— Разные бывают кресты.
И тут две старухи повернули за угол. Только о. Никон хотел ускорить шаг, как столкнулся с о. Константином.
— Ты откуда? — спросил о, Константин.
— С крестин.
— Что-то Андрюша твой скучает, надо бы навестить.
— Ах да, забыл. Надо, надо. А ты откуда же? — смущенно заговорил о. Никон.
— От Олега.
— А я туда как раз иду.
— Не советую.
— Почему же?
— Да не советую, пойдем лучше...
— Ты про письмо слыхал?
— Слыхал, слыхал. Все-таки молодцы. Всколыхнули Россию, пробудили дремлющую совесть.
— Да не только Россию, говорят, весь мир встряхнулся, заговорили в один голос: нужно задуматься о совести.
— Ну а почему же ты не советуешь идти к Олегу?
— Да вот лучше я тебе расскажу.
Они пошли в сквер, сели на скамейке в стороне ото всех.
— Попал я к Олегу случайно, — начал о. Константин. — Не помню даже, зачем шел. Кажется, хотел у него «Исповедь» взять, ту, которую он написал.
О. Никон тут же перебил:
— А разве ты не слыхал, что Олег спился?

— Слыхать-то слыхал, но ты слушай дальше. Что увидел там — это больше всякой выпивки.

О. Никон насторожился, в тайнике души он несколько радовался, что оправдываются его слова: надо растить человека, а не заниматься демагогией. А человек растет в уединении, в тишине. Но эта мысль ему показалась греховной, и он хотел заставить себя пожалеть Олега и не осуждать его.

О. Константин продолжал:

— Поднимаюсь я на второй этаж, останавливаюсь перед дверью. Слышу крик, смех, песни, топот и все перекрывающий голос Олега:

— Бога-то, Бога надо помнить?

Но этот голос покрылся визгливыми женскими голосами, и тут снова громовой смех Олега:

— Ах, сука ты моя дорогая.

Я нажимаю звонок.

— Олег, еще кто-то, открывать, что ли? — спрашивают у него.

— Открывай! — кричит Олег. — Гулять так гулять...

— Постой, я открою, — перебивает их всех тоже не совсем трезвый голос Алексея Яковлевича. — Вы не в состоянии, а я еще пока не сдался, ибо пил сего зелия зело мало.

— Нет, я сам открою. Марш от двери, по местам! Последний парад наступает, — скомандовал Олег, и слышу, щелкнул ключ в двери. — Пожалуйста, для всех двери открыты, — сделал он широкий жест рукой.

Я готов был убежать куда угодно, но было поздно. Дверь передо мной широко распахнулась, и вот что я увидел.

Олег был в одних трусах, несколько девчонок, пьяных, качающихся, тоже в трусах, и еще какие-то молодые люди так же. Больше, чем у других, прикрыта нагота у Алексея Яковлевича. Девушки на меня никакого внимания не обратили. Олег немного вздрогнул, как будто увидел что-то страшное, потом, кажется, узнал меня и просиял:

— А, о. Константин... Пожалуйста. Штрафную ему!

Алексей Яковлевич смутился.

— О. Константин, проходите. Извините нас, что мы в таком виде вот, — кажется, по инстинкту больше, чем сознательно, стал извиняться он.

Я не знал, что делать — входить или нет? Олег заметил мое смущение и, схватив меня за руку, втащил в комнату.

— О. Константин, что же, одни безбожники могут пить? Мы тоже можем. Штрафную о. Константину! — закричал он снова.

Какой-то молодой человек, еле держась на ногах, поднес мне стакан с вином. Две девушки, пьяные до без сознания, стаскивали с меня пальто. Они, наверно, не замечали, что я с бородой и, должно быть, священник, одна, кажется, даже полезла целоваться со мной.

— Ну ты, девушка, тише, поосторожнее на поворотах. Не видишь ты разве, кто это?

Она оставила пальто на мне, не успев снять с левого плеча, и ушла за стол, вторая все же помогла мне снять пальто и повесила на вешалку, меня провели к столу. Я сел, около меня оказался Алексей Яковлевич.

— О. Константин, а вы слышали? О. Сергий... того... совсем отвергает церковь. Издавал, издавал свой журнальчик, я таки спорил с ним. Рационалист он, хочет понять своим умом все, разложить по полочкам. Бога хочет понять, ему непонятна Святая Троица... Ну, вы что не закусываете? Понимаете... Он теперь сектант... Вот пойми его... Пойми и нас попробуй. Видите, сколько у Олега икон? — Он указал на правый угол, весь заставленный иконами, скорбным светом светилась перед ними зеленая лампадка. — А какой бардак сегодня устроил по случаю дня своего рождения! А завтра побежит во все храмы и будет бухаться на колени, будет плакать. Вот пойми... Эх, мы — рационалисты! Да я и сам рационалист. Я считаю, что все нужно доказать. А жизнь-то не вмещается в эти рамки. — Он, кажется, тоже не давал себе ясного отчета, что говорил, схватил чье-то голое плечо и притянул к себе.

— Я — христианский социалист! Христос — мой старший друг. Ну, о. Константин, выпейте, о высоких материях не будем сегодня говорить. А откровенно говоря, жизнь стала дрянь, у нас нет свободы и верующим и атеистам. Я за свободу всем!

Тут кто-то подхватил эти слова: «За свободу!» — и все стали наливать себе в стаканы и чокаться, на меня никто не обращал внимания, и я решил незаметно уйти. Под крик, смех я незаметно оделся, хотел было что-то сказать, но потом решил

ничего не говорить. Когда хлопнула дверь, Олег в который раз закричал:

— О. Константин, штрафную!

Кажется, Алексей Яковлевич его остановил:

— Не надо, ну разве ты не понимаешь, что ему здесь не место?

— Нет, я верну...

Поднялся женский крик, я сбежал с лесенки и вот никак не могу опомниться, а тут и вы.

— Да, крест... Всюду крест! — простонал о. Никон.

Послушав рассказ о. Константина, он не стал никого осуждать, ему всех стало жалко. Не только Олега, а и безбожников, даже не знает почему, но всех стало жаль. И, кажется, стал считать себя хорошим человеком потому, как о. Константин вывел его из этого состояния тем, что напомнил ему о его сыне Андрюше... О. Константину явно не понравился тон, каким о. Никон произнес слово «крест», ему показалось, что в голосе о. Никона слышались ноты осуждения, и он раздраженно заговорил:

— Забыли вы своего сынишку, а надо бы навестить... Нет, все-таки я вам скажу: вы многого не понимаете. У нас с вами и тогда были стычки, и сейчас они будут. — О. Константин хотел спорить, о. Никон не понимал, почему вдруг ни с того ни с сего такая раздражительность.

— О. Константин, хорошо, завтра я приду, — примиряюще сказал о. Никон.

О. Константин сдержался, хотя зло его так и распирало, простились они холодно.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

О. НИКОН НАВЕЩАЕТ ВРАГА

В подавленном состоянии о. Никон пошел дальше, и вдруг он стал так плохо думать о себе, что ему захотелось чем-то покарать себя, и, вспомнив, как его избили при посещении им старосты Полины Иосифовны, направился к ней. Она переехала на новую квартиру, кто-то при разговоре сообщил ему ее адрес, и, часто многое забывающий, адрес он отчетливо запомнил, и это теперь было кстати. Иногда бывает так в жизни, что

как начнет везти, так везет, так случилось и сейчас. О. Никону не нужно было разыскивать квартиру бывшей старосты, только он отошел немного, как оказался на той именно улице, которая была нужна. В горбатом переулке вырос огромный двенадцатиэтажный дом, каменный, наряду с раскоряченными, покривившимися от тяжелой обиды маленькими домишками. Квартиру отыскал сразу, попал именно в тот подъезд, который был нужен, но, остановившись перед нужной дверью, он немного сробел: о чем он будет с ней говорить? Помнит, что у нее был большой сын, которого она долго лечила и не могла вылечить, и только после соборования бывшим о. Василием ему стало лучше. И тут, кажется, Полина Иосифовна обрела веру, так, во всяком случае, рассказывали, а до этого она и в церковь не ходила, и не имела никакого понятия о Боге.

О. Никон нажал кнопку звонока, нажал слегка, звонок же задребезжал очень громко, и хорошо, что он нажал слегка, а то звонок перепугал всех в доме, но у двери ждал долго, никто не подходил, нажал второй раз, третий. Полнейшая тишина. Наконец зашлепали шаги, у него громко застучало сердце. Так, кажется, он в школьные годы ходил на экзамен. Сейчас он увидит ее, что сказать? И вдруг он вспомнил, что она очень много содействовала взрыву храма, говорили, что сама ходила и просила, чтобы поскорей взорвали, ей надоело изворачиваться. Вот она и подумает, что я пришел по этому поводу, и, наверно, начнет ругаться, выгонит из квартиры, и, может быть, и сын ее в этом ей поможет. Но он вспомнил, что сын ее умер, и от этого несколько стало легче.

Шаги, оказалось, были на лестнице, какая-то старуха зашлепала выше, украдкой бросив на него, кажется, доброжелательный взгляд. Снова нажал, прислушался, никто не подходил. А может быть, ее дома нет? — подумал он и на всякий случай нажал несколько раз подряд, остановился, прислушался и нажал снова несколько раз. И только хотел повернуть, чтоб уйти, как послышались шаги. Он посмотрел кругом — не на лестнице ли снова? Нет, никого на лестнице не было, шаги раздавались в квартире и, дойдя до двери, остановились, по всей вероятности, хозяйка прислушалась. Он молчал, шаги стали удаляться, он снова нажал, быстро щелкнул замок — и перед ним ока-

залась незнакомая старуха, с насупленным лицом, согнувшаяся, кажется, тряслась голова.

— Мне нужна Полина Иосифовна.

— Проходите, о. Николай, — несколько дрожащим голосом сказала старуха. — Я Полина Иосифовна и есть, не узнаете?

Он бесцеремонно вгляделся в чуть посветлевшее ее лицо и узнал по широкому рту Полину Иосифовну.

— Проходите, о. Николай, — предложила она вторично.

Он хотел было ее перебить, что он не о. Николай, а о. Никон, но он был рад, что она с ним разговаривает так неузнаваемо вежливо. Провела в довольно просторную комнату, с новой мебелью, был телевизор и приемник, но все, так сразу можно было догадаться, давно было не в действии, на всем лежал толстый слой пыли.

— Квартира у меня хорошая, посмотрите только, три комнаты... — повела в противоположную и сбоку, те были менее уставлены, в одной разбросана постель, видимо, хозяйка только валялась.

— Квартира хорошая, а вот счастья нет, сыночка похоронила. — Она вытерла слезы. Слезы, как ему показалось, были искренними.

О. Никон хотел было ее чем-то утешить, но подумал, что от этой женщины можно ждать всяких парадоксов, не закричит ли она снова так, как когда-то: «Визитика ждите, я ваша староста». Но нет, все как будто на самом деле, за первыми слезами последовали другие слезы, староста беспомощно разрыдалась:

— Кому я нужна? Всем была нужна тогда, и власть увивалась вокруг меня, и льстили всякие подхалимы, а теперь вот посадили в эту пустую комнату, и вой, как собака, бейся о стенку, никому до тебя нет дела. Зачем вы-то пришли, о. Николай? Посмеяться, позлорадствовать? Так вот смейтесь. Да, я подлая, но я и самая несчастная. Вы понимаете это? Нет, никто не поймет меня, никому я не верю. Все подлецы, все до одного. Да, я сама знаю, что подлая. Мир на подлецах стоит и подлецом погоняет, вы-то зачем пришли?

Она подняла голову на о. Никона, глаза красные, заплаканные, мешки под глазами и какая-то очень большая мольба, о чем она его просила? Так именно просят дети да беспомощные

люди о пощаде, но в чем он ее должен пощадить? Разве она от него зависит? Пока он не знал, какое чувство шевельнется в его душе, он только смотрел с недоумением. А ей показалось, что он на нее смотрит изучающе и с подозрением, она вытерла слезы, довсхлипывала немножко и успокоилась, с прежней мольбой смотря на него. «Неужели играет роль?» — думал о. Никон, он еще раз представил, что у нее умер сын, и перед лицом смерти не шутят самые отъявленные клоуны, что-то подобное жалости шевельнулось в его душе, как будто эту жалость уловила и она, облегченно вздохнула и предложила ему сесть.

— О. Николай, — снова стала умолять она его. — Я вам ведь верила, я знала, что вы добрый человек, что вы никому не желаете зла... Я вам делала зло умышленно, я делала потому, что я злая. Но черт создал меня такой, черт играл мной. А вот теперь отыгрался, бросил в эти дьявольские стены, создал мне все удобства и потешается мной. А мне так надоело здесь, я бы все бросила и пошла бы в любую хибарку, но чтобы кто-то жил со мной рядом. Ведь никого живого нет. Как-то я заводила сначала кошку, потом собаку, и что же, сама не знаю, как ушли от меня. Пришла: открыто окно, и никого нет. Даже животные не любят меня. Ну, скажите, вы-то зачем ко мне пришли? Вы такой добрый, неужели потешаться? — Она снова заплакала, но плач длился недолго, скоро она вытерла слезы и опять с мольбой уставилась на него, так смотрят голодные собаки на хозяина, ему ее стало в самом деле жаль.

Как жалок человек! Вот какое одиночество без Бога! К кому прибиться? В муках, если ты не знаешь Христа, всегда одинок. Ему стало жаль не только ее, жаль всех, и ему захотелось заговорить с ней ласково. Он чуть улыбнулся, казалось бы, эта улыбка должна обрадовать ее, улыбнулся, именно жалея ее, послал привет своей любящей души, но она не обрадовалась.

— И вы смеетесь надо мной? — закричала она, глаза, как и когда-то, засверкали злобно. — А я вам так верила, и вы, оказывается, подлец не меньше, чем я, зачем же пришли? — закричала она в который раз. — Зачем вы пришли, посмеяться? Смейтесь, смейтесь, вот я. — Она встала, о. Никон сидел печально, он кротко смотрел на нее и вдруг почему-то сказал:

— Полина Иосифовна, а знаете, я монах... Монашество принял, и зовут меня не Николай, а Никон...

— Как, а жена же где? Вы ее бросили? Ах, да, — как будто вспомнила она, — с агитатором связалась.

— Да, много было всего... Много передумал и теперь монах...

— А ребенок же где? У вас, кажется, ребенок был? С ней остался? — Она, кажется, участливо разделяла его горе, что-то подобное состраданию хотело появиться в ее пустых глазах.

— Жена умерла, — поникнув головой, произнес о. Никон.

— И ребенок?

— Нет, ребенок у о. Константина.

— Как же, так вы ребеночка, выходит, не видите? Как же его хотя зовут? Кажется, Андрюшенькой звали? Бедненький, и он одинок, у чужих людей? Слушайте, да приведите вы его ко мне. Как я его буду любить, за ним ухаживать. Мы с ним будем вместе, это такое счастье — живое существо со мной. Слушайте, о. Николай... Нет, о. Никон, так? Да сделайте такую божескую милость, приведите ко мне ребеночка. Ребеночка приведите, Андрюшеньку милого. Вы молчите, вы не верите мне? Вы боитесь, что я буду на него плохо влиять? В самом деле не верите, я подлая, так мне нужно, чтоб около меня никого не было.

Она не заплакала. О. Никон чуть было даже не согласился на какое-то время привести к ней своего сына, после ее последних слов в самом деле решил, что приводить не надо, нужно щадить ребенка. Наступило какое-то тяжелое молчание. О. Никону хотелось бы сказать ей что-то утешительное, но он не находил слов, тишину нарушила она своим трескучим голосом:

— А зачем, собственно говоря, вы пришли ко мне? — стала в независимую позу. — Утешать меня? Не верю ни вам, не верю никому, все люди подлецы, мир состоит из одних подлецов. Уходите сейчас же! — вдруг резко сказала она.

О. Никон хотел как-то робко возразить, снова невзначай улыбнулся, и эта печальная его улыбка была решительной. Полина Иосифовна оказалась такой, какой была всегда, — злой, нахмуренной, посмотрела на него ненавидящими глазами, и он понял, что уходить надо; что ничего здесь не сделаешь, она

ничему не верит. Он сказал «до свидания», она не ответила, проводила его молча, захлопнула поспешно дверь, и тут вдруг раздался крик, о. Никону показалось, что даже послышались те слова, как когда-то в то далекое злосчастное посещение, он даже пустился бежать по ступенькам, за криком слышалось истерическое рыдание, безжалостный удар головой о стенку:

— Вот тебе, вот тебе...

Он возвратился к захлопнувшейся двери, несчастная продолжала биться головой, он решительно нажал звонок.

— Уходите, не верю. Не верю никому и ничему. Никто не поймет, никого нет доброго, не верю!

Удары головой вдруг прекратились, но слышно было, как шумно дышала несчастная, как не могла сдерживаться от душивших ее всхлипываний. Он постоял продолжительное время и потом спокойно пошел своим путем, неся в сердце своем бездну человеческого одиночества, в подавленном состоянии он вошел в метро, тычась в спешивших пассажиров и в захлопывающиеся двери, и вдруг вывел его из этого состояния крик какой-то женщины:

— Человек упал!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

СПОРЫ О ПИСЬМЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

О. Никон поднял голову и увидел, как на рельсы прыгнул милиционер и вскоре показался оттуда с мужчиной огромного роста, у которого грудь была в орденах, ордена как-то тоскливо позвякивали.

— Что это с ним, смотрите, сколько орденов, что его заставило броситься? — зашептались позади, и толпа нахлынула на о. Никона, прибила его к милиционеру и непонятному человеку, бросившемуся на рельсы, остановившийся поезд набрал недоехавшее расстояние и снова остановился, из вагонов скоро побежал народ.

— Здравствуйте, — кто-то сказал о. Никону.

Он повернул голову вправо и увидел пьяного улыбающегося ему Алексея Яковлевича.

— И надо же, бросился, — продолжал тот в раздумье. — А ведь трудно понять человека, а без Бога он не может... О. Никон, вы не смотрите так на меня, да, я пьян... Олег не случайно бросился, совесть, так сказать, проснулась. — О. Никон вгляделся в человека, которого спас милиционер, и узнал в нем Олега. Алексей Яковлевич зашептал ему на ухо:

— Все мы под Богом ходим, вы не судите его. Тут думают, что он упал, а я-то знаю, что сам он бросился... Попробуй понять человека! — Алексей Яковлевич поднял даже палец и замахал рукой. — О. Никон, так вы не судите меня и не судите его, — попросил отойти в сторону, они отошли. — Ну как ваши дела? — стараясь быть трезвым, продолжал разговор Алексей Яковлевич.

Олега в это время повели милиционер и еще какие-то в гражданском, он неловко махал рукой, его уговаривали.

— Всяко бывает, — не совсем охотно ответил о. Никон.

— Где вы теперь служите? — пытался наладить разговор Алексей Яковлевич.

О. Никону, признаться, не хотелось разговаривать, тем более что он слышал, Алексей Яковлевич пьяный всегда бывает не совсем хорош, об этом тот даже сам заявлял.

Не дав ответить, Алексей Яковлевич продолжал:

— Так где устроил вас владыка Ермоген? — И тут же добавил: — Человек он хороший, этот владыка, а мне все-таки однажды не посочувствовал... Ну Бог с ним, как-либо проживем. А он сейчас в Жировицах, в изгнании...

Разговор на эту тему не вязался, о. Никон мало слушал Алексея Яковлевича, на него тяжелое впечатление произвела бывшая староста и случай с Олегом, он думал об этом, хотел понять, в чем тут причина.

Алексей Яковлевич старался поддержать разговор.

— Скажите, о. Никон, вы осуждаете меня? Да, я пьяный бываю нехорошим, но знаете, в это время мне хочется всех обнять и радостное настроение такое бывает.

Кажется о. Никон благодушно улыбнулся. Алексей Яковлевич поймал эту улыбку, улыбнулся в ответ ему.

— А вы слышали про отцов, на весь мир загремели?

О. Никон улыбнулся еще благодушнее:

— Да я и не только про отцов слышал, и про вас слыхал, передает Би-би-си.

— Да, и про меня. Хотя это помимо моей воли туда попало. Я не хотел, но вот попало.

Алексей Яковлевич вгляделся в глаза о. Никона и серьезно спросил:

— Ну, а вы разделяете нашу точку зрения?

— Это как сказать, — уклончиво ответил о. Никон и тут же стал отвечать на вопрос: — Конечно, высказали вы правду, смело высказали. Но вы кое-что недоучитываете, иногда ведь нужно не в лоб бить, а идти в обход. Самое главное сейчас для нас: растить силы, работать с народом.

— Ну, а это разве не работа?

— Работа, но, может быть, преждевременное выявление того, что у нас есть в наличии. Один из патриархии сказал: самое главное для нас сейчас — выжить, и тогда пусть маленькая горсточка останется, мы сумеем пронести свой свет.

— Куда вам проносить, у вас все прогнило, — брезгливо заговорил Алексей Яковлевич, — вам бы сберечь свою шкуру, — резко бросил.

— Алексей Яковлевич, неужели вы считаете, что я трус?

— Да как сказать, раньше вы были смелее...

Начиналось несогласие, о. Никон это понял и спросил:

— Ну, как у вас личные дела?

— Да как? — забыв свое раздражение, сказал Алексей Яковлевич. — Преследуют, хотят объявить меня тунеядцем. Устроюсь на работу, допустим, сторожем при церкви, вызывают старосту и заставляют, чтоб меня рассчитали. Писал я уже и в ЦК, все безрезультатно. Но все равно не сдамся, — воинственно заявил Алексей Яковлевич и тут же просиял: — А недавно мне моя мамаша прислала письмо: дорогой сын, как твои дела, что с тобой? Заинтересовалась сыном, заговорили о нем, и она заинтересовалась.

О. Никон спросил:

— А как поживают отцы?

— Да, как и я, подаянием добрых людей, мир еще добр. Заговорился я с вами, а друга повели. Ну, до свидания. — Он нахлобучил шапку и, смотря себе под ноги, побыстрее зашагал.

О. Никон остался в раздумье, он отошел к колонне, привалился к ней и вдруг увидел, как кто-то из-под очков пристально смотрит на него и направляется прямо к нему. О. Никон никак не узнавал этого человека, напрягал свою память, чтоб припомнить, что все-таки было в этом человеке знакомое. «Стой, да не в Загорске ли я с ним встречался? Точно». — И он улыбнулся ему.

— Не узнаете? — спросил профессор.

— Как же, узнал: сотрудник журнала «Наука и религия».

— Сотрудник? — несколько иронически произнес профессор. — Знаете, я очень рад вас видеть сегодня. Много накипело в душе и хочется поделиться именно с вами.

— А вам не опасно разговаривать с попом? — спросил о. Никон. Профессор снисходительно и понимающе улыбнулся:

— Если вам не опасно, мне тем более, скажу интересующимся: собираю материал...

— Ну как знаете. Тогда, может, сядем или на улицу пойдем?

— Давайте сядем. Признаться, сегодня набегался, собачья жизнь, — последние два слова выдавали все накипевшее в душе профессора, он сразу начал:

— Молодцы ваши отцы. Так прямо высказаться, это что-то да значит. Не оскудела ваша церковь, не оскудела. Ведь они, отцы эти, на многое решились. А может быть все, может случиться так, что света Божьего не взвидят. Значит, помимо официальной церкви, есть неофициальная, так сказать. Подспудное течение. Растрогали они меня, до слез растрогали... — Профессор в самом деле смахнул что-то наподобие слезы, достал носовой платок, поднес к глазам и, как бы вытерев слезы, просиял, потом снова полез в карман, продолжая разговаривать.

— После этого письма в наших кругах заговорили иначе. Перегнули, мол, палку: голос двух священников — не голос двух, это голос множества. Священники обвиняют Патриарха, что он продался большевикам. А заграница-то как закудахтала. Снесли яичко, крепенькое яичко. Не по зубам многим. А Патриарх их запретил в служении. Ну, конечно, не Патриарх, это дано такое указание. Молодцы отцы.

Разговор пошел как-то отрывистее, говорил больше профессор, о. Никон слушал. И вдруг профессор придвинулся, наклонился:

— А это отцам… передайте…

— Что? — вздрогнул от неожиданности о. Никон.

— Да вы не бойтесь, не змею передаю, немножко денег. Они там бедствуют, наверно. Священника, которого запретили в служении, я понимаю. А еще есть детишки… Вот чем силен христианский Бог, что дает таких воинов… Ну вы передайте.

О. Никон взял деньги в свертке, держа их в руках, изумленно смотрел в лицо профессора: работник атеистического органа помогает «мракобесам» — это что-то невероятное, у о. Никона на самом деле брызнули слезы.

— Ну, ну, — саркастически улыбнулся профессор. — Вы что же, отец, кисейная барышня? Да и не думайте, что у вас только есть герои. И у нас кое-кто есть. Солженицын, например… Вы читали его крохотные рассказы? Хорошо написал. А Солоухин… «Письма из Русского музея», и у нас кое-что есть. Так что не гордитесь. Я просто по-человечески пожалел отцов.

Разговор совсем переменился, перешли на другую тему както неожиданно.

— Вот Китай не дает нам спать, — сказал профессор. — Приходится создавать со своей стороны китайскую стену. Поразительно, социалистическая держава против социалистической, — этот разговор мало интересовал о. Никона, и он не поддерживал его, задал профессору вопрос:

— Вы мне скажите вот что. Как у вас обстоят дела с воспитанием подрастающего поколения?

— Как? Пишем статьи на воспитательные темы, — иронически цедил профессор.

О. Никон тоже сказал в тон иронически:

— А Васька слушает да ест. Чем дальше, чем больше становится хулиганов…

— Законы вот выпускаем, создаем министерства по борьбе с хулиганством, — в тон тоже продолжал профессор.

О. Никон заключил:

— Нет, без религии не обойтись. Если нет Бога в сердце, ничто не удержит от преступлений.

— Понимаю, но ничем не могу помочь, — развел руками профессор. — Идет процесс. Вот во что он выльется, интересно будет узнать. Ну вам, может, скучно со мной говорить, а я рад, что вас встретил.

Уже прощаясь, наклоняясь к о. Никону, профессор прошептал: — Душу отвожу с вами. — На прощанье снял шляпу и помахал: — Всяких благ, всяких благ...

«Вот и пойми этого атеиста, — подумал о. Никон. — А всетаки в интересное время мы живем, в трудное и интересное...» — и эти неожиданно пришедшие в его душу слова вселили в него бодрость.

«Куда же дальше направить свои стопы?» — Он вспомнил, что нужно ехать к сыну.

Приехал к о. Константину рано утром, думал, что нарушит его сон, но оказалось, что у о. Константина был уже о. Андрей. Тот приехал, чтоб сообщить о. Константину, что собираемся для обсуждения у о. Николая...

Сынишка о. Никона и дочь о. Константина еще спали, супруга о. Константина пошла в магазин, тещи не было. С этого и начался разговор: почему нет тещи?

— Стало жить невыносимо. Что бы я ни задумал сделать, она препятствует. Последняя стычка, когда пришел ко мне на ночь почаевский монах. «Не хочу», — запротестовала она, и я ей сказал определенно: «Мне у вас не нравилось, я от вас ушел. Вам не нравится у меня, вы уйдите от меня. А в моем доме будут мои порядки».

— И она ушла?

— Нет, не сразу. То есть сразу как будто ушла. Побыла дня два и снова возвратилась ко мне, и уже больше не уходит. Я говорю Марине: «Ну, как вы решили? Вместе с ней нам быть нельзя». Она решительно мне заявила: «А я без мамы не могу». Конечно, жену тоже нужно понять. Какая ни мама, а она мама, с трех лет воспитывала. И, признаться, любит. Супруга моя понимает ее тяжелый характер, но любит. Как разлучить, не знаю. Жалко мне их, но нужно пожалеть и ребенка, она на него плохо влияет, да и самого себя нужно пожалеть: дальше хуже становится. Я ей заявил: «Ну, как хотите, живите вы вместе, а я уйду». Прихожу как-то со службы, теща не ушла. Поворачиваюсь и ухожу сам. Долго не возвращаюсь, жена идет в розыск, находит меня, не возвращаюсь. Уходит одна, потом снова приходит, мол, кто-то пришел ко мне. Я прихожу домой. Может быть, кто-то и был, но сейчас никого нет. Поворачиваюсь и

снова ухожу, жена со слезами останавливает, начинает уговаривать: теща будет по три дня жить на неделе. Я заявляю, что не верю, что это будет выполняться точно. Решил раз навсегда отрезать. Не хочу, и все. Или я, или она — другого выбора нет. Жена настаивает: я без мамы не могу. Я поворачиваюсь и ухожу, она снова меня останавливает. И, наконец, договариваемся, что теща уйдет завтра. В самом деле назавтра ушла.

— Ну и как?

— Откровенно говоря, жалко и ту и другую. Но результаты есть: мы как-то стали ближе с женой, больше разговариваем меж собой, обсуждаем вместе домашние дела. Как-то я и детей стал чувствовать. А то ведь был как чужой. Правда, и сейчас бывают ссоры, но у кого их не бывает?

О. Андрей утвердительно качнул головой.

— Моя тоже иногда как наляжет, только держись. Правильно, когда вдвоем — лучше.

— А как теща?

— Жена иногда ездит к ней с детьми, я еще ни разу не ездил. Переживает. Передает через жену, чтоб я приехал. Неудобно, мол, что скажут люди. А раз как-то передавала, что пусть приедет, хотя бы я у него попросила прощения.

Пришла жена с покупками, сегодня она почему-то нервничала:

— Ну что, не можешь дверь открыть? — закричала на о. Константина, он моментально вышел к ней, они зашептались; к гостям она пришла рассерженной, но пыталась держаться.

— Здравствуйте, — сказала она им. — Вы что-то сегодня рано?

— Да вот о. Никон приехал к сыну, — сказал о. Константин.

— К сыну? — Она изменилась в лице, забеспокоилась. — Что, забрать хотите? — обратилась она к нему.

О. Никон уже подумывал о том, чтоб забрать сына к себе, тем более что и приход у него теперь определенный, и есть какая-то комнатка, вот только кто будет ухаживать за сыном? — вопрос. В данную минуту о. Никон решил окончательно, что сына нужно забрать с собой, но об этом нерешительно пока сказал:

— Да, и так я уж вас обременял много.

Марина еще более заволновалась:

— Как же так, а как же моя дочушка будет? Они уже привыкли друг к другу, пожалуй, будет плакать, да и мне будет грустно.

Она уставилась своими маленькими детскими глазами, заморгала по-детски, и о. Никон сказал:

— Ну как угодно, — посмотрел вопросительно на о. Константина, вчера они чуть ли не поругались из-за Андрюшеньки, сегодня о. Константин был другой, в хорошем настроении.

У о. Константина что-то характер стал меняться, жизнь задергала, что ли? То бывает вдруг очень хороший, то вдруг не поймешь какой. Марина не дала им вступить в переговоры, обрезала:

— Ну, вот и хорошо, они пока спят. Пусть поспят... — Она обрадовано ушла на кухню, остались одни отцы.

Наступил такой период, когда не знаешь, как перейти к другой теме, хотелось что-то сказать, и не находили, что именно. О. Андрей от неловкости вздохнул, и тут о. Никон вспомнил, что для о. Андрея у него есть передача, о. Никон просиял, и сразу все заметили, что он что-то хочет сказать. О. Андрей все-таки его опередил:

— Отцы, а вы читали докладную записку о. Валериана митрополиту Никодиму? Распространяется, и там уже есть, за границей. Правда, что-то о. Валериан туманное пишет, но не против нас, за нас. А про собор 61 -го года сказал хорошо и крепко. Так что все к одному, растет наша армия.

О. Никон забыл про передачу и спросил недовольным голосом:

— Ну и что, вы на раскол согласны?

— А что же, с ними жить? Они узурпировали власть, сергиянцы эти. Власть дает Бог, а они сами взяли, и поэтому нет у них благодати, так и антихриста примут.

— Слушай, о. Андрей, пусть узурпировали, — перебил его о. Никон, — пусть незаконно, но сейчас в нашей церкви хотя нет внутреннего раскола. А не дай Бог внутренний. Сами внутри будем еще драться. Разделившийся сам в себе не устоит.

О. Андрей сопротивлялся:

— Но и с лжецами жить нельзя, придет время, что патриарха Сергия вынесут из собора, зарядят в пушку, как Лжедимит-

рия, и выстрелят, он церковь приспособил к большевикам, это предательство. Спасают они… Кого и что спасают? — О. Андрей входил в свою роль, глаза блестели, но сам он не нервничал, говорил довольно спокойно, сиял, подбегал то к одному, то к другому и начинал целовать. О. Никон нервничал больше, у него тоже загорелись глаза.

— Ну а что раскол даст, понимаете вы это? Давал ли что когда-либо раскол? Отделились, допустим, от католиков, и что, стали протестантами, нет церкви. Отделились старообрядцы от православных, в посмотрите, в какой тупик зашли, как смотрят на все узко, и сколько появилось у них сект: беспоповцы, разные эти толки. И вы отделитесь… А вообще, куда отделитесь, будете ведь в том же государстве, а оно что? Вас оставит в покое? Вас тоже начнут обрабатывать…

— Ну, посмотрим, если дело Божие…

— Дело Божие, дело Божие… Я допускаю ваше письмо, но дальше идти нельзя, это вас Самуил сбивает…

Тут вмешался в разговор о. Константин, он деликатно обратился к о. Андрею:

— Слушай, о. Андрей, про Самуила ходят нехорошие слухи…

— Ну, мало что ходят, — нерешительно сказал о. Андрей, — но я его знаю, он настоящий верующий.

О. Константин настаивал рассказать про Самуила, о. Андрей не стал отговариваться:

— Да, в прошлом он был сектантом, много заложил людей, он этого не скрывает. Но это было когда-то, еще до принятия им христианства, а теперь я ему верю, теперь он другой.

Наступило такое молчание, когда каждый затаил что-то про себя, и тут о. Никон кстати снова вспомнил о передаче, он попрежнему засиял, и эта улыбка передалась всем, возбуждение как-то быстро исчезло с лиц, и все просияли.

— Узнай, о. Андрей, от кого вам с о. Нестором передача?

О. Андрей довольно заворочался на стуле и не стал отгадывать, а высказал благодарно:

— Да, не оставляют нас люди, спаси их, Господи, — он перекрестился. — Почаевские монахи передают, сами гонимые, а нам помогают. Так что, видите, нам сочувствуют, поддерживают нас,

— он посмотрел на о. Никона, тот понял его взгляд и, чтоб не допустить снова разгореться спору, с неизменной улыбкой сказал:

— Нет, вы все-таки отгадайте.

О. Андрей благодушно улыбался, ему, казалось, безразлично, кто передает, он знает, что их в беде не оставят.

О. Никон достал завернутую в газету пачку денег:

— Может, посчитаем, тогда узнаете, кто?

— Считайте, — разрешил о. Андрей.

Деньги были аккуратно перевязаны, в основном десятками, их легко было считать. Когда отсчитали пятьдесят десяток, у всех глаза расширились, и все дружно ахнули:

— Стой, пятьдесят, это что же? Сколько ж это? Десять десяток — тысяча, а тут пятьдесят, выходит, пять тысяч? Что-то невероятное.

— И еще вот десять десяток, — добавил о. Никон. — Всего шесть тысяч?

— Невероятно, кто это такой благодетель? Поразительно, шесть тысяч.

Их всех отрезвил о. Константин, он оказался практичнее всех:

— Отцы, да вы считать не умеете. Десять десяток — это только сто рублей, по-старому тысяча — верно, и таким образом шестьсот рублей.

— Но тоже много: шестьсот рублей, — добавил о. Андрей. — Передавали нам по триста, но так это не один какой-то человек, а тут, о. Никон, вы говорите, один какой-то человек передает?

— Да, да, — подтвердил о. Никон. — Ну, так что, узнаете? — снова поставил он вопрос.

О. Андрей благодарно и довольно перекрестился:

— Да кто бы ни передавал, спаси его, Господи.

— Спаси, Господи? — с деланной злорадностью улыбнулся о. Никон. — Передает ведь вам сотрудник антирелигиозного журнала...

— Неужели? — снова все воскликнули хором. — «Наука и религия», выходит?

— Отцы, да это совсем невероятно, — встал из-за стола о. Андрей. — Сотрудник антирелигиозного журнала?

Тут о. Никону пришлось рассказать про свое знакомство с так называемым профессором, все слушали с большим вниманием.

— Ну и он говорит, что он неверующий?

— Я думаю, что вера — сложный процесс, и у него, наверно, идет в положительную сторону.

— Интересное наше время! — заключил о. Константин.

— Возвели христианство в России на крест, думали, погибнет, но отсюда-то и начинается его расцвет, — с этим мнением как-то все безоговорочно согласились.

Марина в это время приготовила завтрак и всех попросила к столу. За завтраком продолжался, по сути, тот же разговор, только предметом разговора были не православные, а баптисты. О. Андрей всегда в курсе всех событий, он рассказал:

— Взбунтовались как-то баптисты, не соглашаются с официальным направлением, приехали в Москву, выдвинули свои требования, даже такие: воспитывать детей в христианском духе, обучать их христианству будут сами баптисты. Выходят к ним, это было около Кремля. «Брежнева!» — кричат они, ни с кем другим разговаривать не хотят. Брежнев не выходит. Сидят. Вечереет, баптисты собираются на молитву, и тут самое интересное получилось. Чекисты в ряды баптистов заслали своих. Приближается определенный момент, когда все баптисты должны падать ниц, а чекисты об этом не знают. Баптисты все пали, а чекисты остались стоять, их сразу и раскусили.

О. Андрей, кажется, на этом хотел закончить, тогда о. Никон спросил:

— Ну, а дальше как?

— Наутро получилась стычка, баптистов загнали в тупик, а потом стали бросать их в машину, они стали кусаться, кричать, их, конечно, избивали. О. Андрей стукнул себя по лбу: — А знаете, что интересно: бывший пропагандист Ахундов оказался в рядах баптистов, его арестовали...

— Ахундов? — вскрикнул о. Никон. Он вскрикнул сначала, не понимая, по инстинкту, потом вспомнил, сколько у него было связано с этим Ахундовым, и как-то приуныл, замолчал, о. Константин продолжал спрашивать:

— Но все-таки чего-либо добились баптисты?

— Конечно. Разрешили им провести собрание, выбрать своих.

Чем бы кончился разговор о баптистах, может быть, снова произошел бы спор между о. Андреем и о Никоном, как в дверь постучали, вошли два незнакомых человека. Один высокого роста, стройный, с густой черной бородой и копной густых волос на голове, глаза еще молодые, но лицо с глубокими морщинами, второй тщедушный, не очень высокого роста, но и, наверно, выше среднего, с глазами, как будто спрятавшимися в глазницы, чуть сгорбленный.

— Нам нужно видеть о. Константина.

— Я буду о. Константин.

— Собственно говоря, — сказал заросший бородой, — не вы нам нужны, нужен о. Никон.

— А зачем?

— Случилось несчастье: Марк убит, а он духовный сын о. Никона. Может быть, о. Никон придет на отпевание, завтра Марка будут хоронить.

— Как же это случилось? — ахнул о. Константин. Услышав эту весть, выбежал о. Никон.

— Когда это?

— Дней десять тому назад нашли его раздетого на втором этаже еще недостроенного дома.

— С целью ограбления?

О. Константин пригласил гостей раздеться и пройти к столу, если у них есть время.

Молодые люди переглянулись между собой... Да, это были молодые люди, с первого взгляда только казались старыми, стали раздеваться. Говорил больше заросший бородой. Впрочем, теперь можно их и по именам назвать. С бородой назывался Юра, без бороды — Ваня.

Юра говорил:

— Кто убил, вообще загадочно. Рассказывают, что Марк был влюблен в жену священника, долго боролся с собой, не приходил к ней, а потом пришел. Священника дома не было. Пришел, сел, ничего не говорит. Жена священника тоже ничего не спрашивает. Потом говорит: «Марк, ходить ко мне нельзя». Он посмотрел на нее, вздохнул и ушел, и говорят, запил. Может быть, в пьяной компании его и убили, может, просто хулиганы.

— А человек был хороший, — заговорил Ваня, все время молчавший. — С доброй душой был человек.

— Эх, — крякнул Юра после молчания. — Помню, как освободился я из заключения. Прихожу к Марку, встретил меня как родного.

— И меня, — добавил Ваня и продолжил: — Умный был человек. Сложная душа человеческая... Ах, погиб...

О. Никон поднялся и куда-то ушел, может быть, помолиться за упокой души.

О. Андрей, нетерпеливый в своих расспросах, начал просить пришедших рассказать о себе.

— Что рассказывать, пять лет отсидел в лагерях, уже после смерти Сталина, — сказал Юра.

— За что?

— Да так, русский я человек, люблю все русское, и не нравилось мне все советское.

— Ну что, агитация?

— Измена родине. Был морским офицером, много поездил, а родина тянула...

— Ну и как же вам измену приписали?

— Да вот так. Если б сам не возвратился, наверно, дали бы больше, а так — пять лет, детский срок, как когда-то говорили...

— Много сейчас заключенных?

— Не так много, но зато жмут заключенных не дай Бог.

— А верующие там есть?

— Есть, только их отдельно держат, боятся: будут влиять разлагающе.

Все невольно улыбнулись.

— А я вот все-таки разложился: перед самым освобождением уверовал в Бога...

— И как же это случилось?

— Да и сам не знаю. Страшно почему-то стало освобождение, вспомнил, какой пустотой живут на воле.

— И уверовал потому?

— Да вот, как видите, уверовал.

Сначала не верилось, чтоб можно было так уверовать. Но когда Юра стал развивать свои взгляды, то сомнения всякие

исчезали по мере рассказа, он смотрел в корень, корневые вопросы брал, как он выражался.

— Без Бога жить нельзя.

— Ну а доказательства бытия Божия вам нужны были? — спросил о. Андрей.

— Какие доказательства, нужно смотреть в корень. Будешь стремиться к правде, будешь очищаться от грехов, и Бог явится тебе...

— Ну, а у вас как? — обратился о. Андрей к молчавшему Ване.

У того вокруг глаз собрались морщинки, он улыбнулся, и морщинки просияли, как тоненькие лучики.

— Да и у меня так. Сначала я хотел мстить за горе своих братьев, ушел за границу, но не понравилось мне там. Там нет спасения. Заграница еще больше разложилась, чем мы. Мы от безбожного ученья, а они от сытой жизни. Вернулся. Ну сначала приняли, а потом посадили. И вот, когда я уже сидел под расстрелом, тут я и задумался о Боге. Вот жизнь кончилась, думаю, для чего все нужно было? Какая во всем бессмыслица! Я человек крещеный, хотя и не верил в Бога. Вспомнил, как моя бабка молилась, когда ей было трудно. Давай попробую, решил я. И стал горячо молиться. Такой радости я, наверно, никогда в жизни не испытывал, может быть, не испытаю. Мне так стало хорошо, так во всем ясно, что, если б меня в ту минуту вывели на расстрел, я с большой радостью пошел бы, расстрел вскоре отменили...

Ваня сидел сияющим и зачарованным, по складу своей натуры он, наверно, был созерцателем. Во все время дальнейшего разговора он уже ничем не делился, разговор как-то сразу переменился, кто-то сообщил про Алексея Яковлевича, вроде того, что его сочинения выходят отдельной книгой за границей, Юра сразу резко высказался:

— Не люблю я его, размазня. Христианский социалист. Не понимает он сущности. Да и не нравится мне, что он всех поливает грязью, это большевистская болтовня навыворот. Нужно воспитывать человека, а не бунтовать его, — Юра махнул рукой. — Известное дело — еврей, а евреи всегда бунтари. Непокорный народ. Они нам и Маркса дали, и Ленина дали. А теперь

еще мутят в церкви. Забывают основное, что прежде всего нужно научиться быть человеком.

О. Андрей покраснел и вступил в перебранку:

— Где вы набрались такого антисемитизма? Не никодимовец ли вы, это тот распространяет, что евреи будоражат церковь. А вы читали письмо двух священников?

— Читал, ну и что? Хорошо написано, ничего не скажешь.

— Так вот, к вашему сведению, один из неофициальных составителей этого письма — еврей.

— Еврей, значит, добра не видать. Теперь мне понятно, почему там так написано. Основной удар не по советским законам, а по Патриарху. А Патриарх — это жертва. А они бьют и так уже убитого... Понятно, — в добродушных глазах Юры наплывали как будто облака злобы.

— Юра, — вступил в разговор о. Константин. — Вот вы сейчас так хорошо говорили о нравственности, а злые чувства к кому бы то ни было безнравственны. И знаете, если спросить так строго себя, не все ли мы понемногу виноваты в том, что евреи бывают плохими? Их всегда гонят, бьют. А кого гонят и бьют, тому трудно выбирать средства защиты. Антисемитизм — это зло, и с ним надо бороться, а не развивать его, притом антисемитизм — совсем не христианское чувство.

Юры уже было не узнать, из христианина он делался политиком.

— Эх, это благодушие русское, интеллигентщина эта сиропная, а евреи все забрали в свои руки. Вы посмотрите только, кто распоряжается в России, евреи только. Зайди в любой магазин, в любое учреждение — на главных постах всюду встретишь еврейскую рожу. А они все сюсюкают: антисемитизм. Доконают нас евреи, посмотрите.

— Доконают? — ввязался о. Никон. — А вы в Христа верите? Распятие — это победа...

Юра что-то вспомнил, растерянно как-то сказал:

— Неужели нужно смотреть со стороны, как евреи будут распинать русский народ? Где у вас тогда русское самосознание?

Разговор резко оборвался, Юра растерянно улыбнулся, о. Никон смущенной улыбкой ответил ему.

В дом о. Константина входил о. Валериан, видимо, был взволнован, и ему нужно было чем-то поделиться с о. Константином, смущенно стал извиняться, что он некстати, может, чему-то помешал, его любезно пригласили присаживаться. Разговор завязался на старую тему о положении русской церкви, сначала поспорили насчет письма. Больше всех возражал Юра.

— Это ваше мнение, — запротестовал о. Андрей. — В основном народ нас поддерживает, — стоял он на своем.

Тогда Юра достал еще какое-то письмо.

— Вот я вам прочту, как пишет одна женщина. Вы, может быть, даже ее знаете, интересная такая женщина. Правда, есть у нее что-то экстравагантное, но у кого этого не бывает? Она ведет аскетический образ жизни.

Юра начал читать письмо.

«Еще Патриарх Тихон понял, что революция — не случайное и не временное явление. В конце своей жизни он считал, что Церковь объемлет весь русский народ, независимо от того, как этот народ себя определяет — верующим или неверующим. Полное признание Церковью Советской власти давало возможность всем тем, кто работает, не выбирать между Церковью и Государством, как пришлось бы выбирать, если бы Церковь ушла в подполье. Ответственные за Церковь лица не могли пойти на такое безумие и приняли тот путь, который им судил Бог.

Было много случаев, когда Церковь могла бы опереться на дружественное отношение зарубежных кругов, если бы она пожаловалась на свое тяжелое положение, но она всегда отвергала такие возможности, чтобы не создавать для своего Государства трудное международное положение. Патриарх Тихон только наметил этот путь Церкви, окончательно его утвердил патриарх Сергий. В его лице Церковь приняла на себя в отношении власти подвиг действовать только молитвой. Было совершенно ясно, что столкнулись две силы: с одной стороны, Государство, отрицающее нужность Церкви и ставящее своей целью постепенное ее покорение, и Церковь, которая могла действовать по отношению этого Государства только молитвой и духовным подвигом, ибо это Государство составляли ее сыновья, их спасение было ей вверено Богом, и она должна была дерзнуть опираться лишь на помощь Божию.

Очень трудно для обычного мышления понять, почему Патриарх подчиняется, когда ему докладывают, что закрывают Церковь. Взял бы да не подчинился. Предположим, что дело было бы так. Патриарх отказывается дать санкцию на закрытие конкретной Церкви, ему угрожают и наконец смещают. За него пытаются шуметь верующие — в ответ те Церкви, которые особенно на примете, — закрываются, скажем, вместо одной закрывают две, то есть большее число людей лишится таинств и в более ускоренном темпе.

Описанный пример не является упражнением для нашего воображения, он был в истории. Вот почему путь полного и искреннего подчинения Советской власти является для Церкви путем фактического созидания долгого срока ее существования.

Посмотрим на вышеприведенный пример еще с одной стороны. За Патриарха и Церковью выступает какая-то часть верующих. Их ссылают. Они чисты и прекрасны. Из-за протеста строгость хоть немного, но увеличивается (срок существования Церкви сокращается), и масса негероев забудет в Церковь дорогу совсем. Появится широкое поле для возникновения сект, и возобладает суеверие над верой, и все это потому, что Патриарх свернул с пути смирения. Если взвешивать на весах значимость тех единиц, которые пострадают и получат мученический венец, с той массой, лишившейся необходимого для нее в духовном плане глотка воздуха, то становится понятным, что Глава Церкви должен думать о слабом большинстве своего стада, не приносить его в жертву и растягивать срок существования Церкви с помощью всего своего духовного и жизненного опыта.

Два учителя Церкви, оба причисленные к лику святых, решали этот вопрос противоположно. Один не разрешал принимать в Церковь этих слабых людей, оберегая чистоту Церкви, другой полагал, что без помощи Церкви эти слабые люди совсем погибнут, и шел на то, чтобы снизить уровень чистоты Церкви, лишь бы не осталось за ее бортом слабейших братьев. Русская православная Церковь в лице своих патриархов приняла второй путь.

Преемника Патриарха Сергия — Патриарха Алексия часто судили за верность политике Патриарха Сергия. Некоторые

рьяные москвичи даже обращались к своим наиболее уважаемым старцам с вопросом: что за человек Патриарх Алексий? Мы знаем, что старец о. Митрофан, в прошлом духовник Марфо-Мариинской обители, находящийся далеко от Москвы, дал самую высокую оценку... Духовный сын схимника Алексия, когда его спросили о нем, говорил: «Он всегда на Голгофе. Это подвиг страшный. Помоги ему Бог». Старец о. Александр Воскресенский, любимый и чтимый тысячами жителей г. Москвы, часто окормлял своим советом Патриарха.

...Церковь на опыте знает, что путь подчинения власти для нее самый верный, обеспечивающий ей в данной ситуации самый долгий срок существования (совсем Церковь никогда не исчезнет!). Что же рекомендуется письмами, как авторы предполагают обеспечить Церкви более легкое существование? Для них путь тоже только один, а именно запугать Советскую власть международным общественным мнением и этим заставить сдерживать ее свое негативное отношение к Церкви. На такой шаг могут отважиться миряне, которые отчасти считают государственную власть чем-то внешним. Но как же на этот путь может встать вся церковь в лице ее главы? Тем самым он бы признал, что, кроме воли Божией, можно опираться еще и на земную помощь заведомо враждебных кругов в отношении собственного Государства. Нейтральных групп, к несчастью, в мире нет, поэтому и нельзя использовать помощь извне, нужно себе ясно представлять, что за помощь нужно платить, хотя бы контактом с тем, кто помогает. Последние, независимо от собственного делания, просто в силу своей индивидуальной судьбы и жизни, действуют в совершенно чуждом направлении судьбы того, кто просит помощи. Можно ли так самовольно и легкомысленно назначать себе и своему народу жизнь?! Вообразите инока, которому трудно в монастыре, так как настоятель грешит. Что же, он постарается напустить на него более высокое начальство? Если так, занят ли он делом спасения?.. Как нельзя выбирать себе отца с матерью, а полагается просто нести свой сыновний долг, так точно и с отечеством, в котором ты живешь, ваши судьбы общие, но ты — сын. Непослушание разрешается только в одном случае, когда посягают на догматы, таинства и каноны, но ведь притеснения идут не по этой линии.

Письма — серьезнейшая провокация, ставящая целью действительное разрушение христианства. Внешние гонения пустяк в сравнении со злом, содержащимся в таком понимании христианства. Авторы не понимают, проводниками каких сил они по легкомыслию сделались. Кроме того, спрашивали ли себя авторы, дерзнув на письма к Патриарху, знают ли они суды Божии о каждом народе, а ведь Главе Церкви дается от Бога разумение идти правильным путем. Предлагаем мысли этого письма суду собственной совести авторов».

По окончании чтения даже о. Андрей задумался.

— Интересно рассуждает, можно сказать, не по-женски. Насчет вот слабых у нее получилось что-то как у Великого инквизитора: мы им разрешим все. Конечно, много тут путаного.

О. Константин вставил:

— А не оставляет ли добрый пастырь 99 праведных и ищет одну заблудшую овцу, может быть, одну из слабых? Тем более если их множество?

О. Валериан не хотел делать выводов, он пришел рассказать, что делается у него в храме.

— Староста ни с чем не считается, слушается только райисполком. Тогда я отлучил его от молитвенного общения и сообщил об этом в Патриархию. Меня, в отместку, что ли, решили перевести на другой приход, на окраину города. А на мое место поставили другого, о котором рассказывают, что он радуется закрытию храмов. Если в храм приходит молодой человек, стыдит его. То есть, проще говоря, явный безбожник, и такого на мое место! Но таков суд человеческий. Мне звонит благочинный: сегодня он должен был занять ваше место, суд Божий решил иначе: в четыре часа утра он скончался...

Это сообщение как волной пробежало по лицам слушающих, они все на время притихли. Первым заговорил о. Никон:

— Я согласен с этой женщиной. — Он повернулся лицом к Юре: — В нашей стране совершается процесс, и до тех пор, пока он не дойдет до конца, никакие внешние силы ничего не могут сделать. Нам нужны терпение, молитвы и добрые дела. Я вот думаю на эту тему писать магистерскую работу, но никак не пропускают. То название темы нужно изменить, то дать подробные тезисы, как будто это написанная работа. Основными

вопросами, которые я буду разрабатывать, не удовлетворяются. Название работы «Крест в жизни русского народа».

— Да, конечно, название острое, — первым высказался о. Андрей. — Вот вы можете строго ставить вопросы, почему же вы с нами не согласны?

— Я скажу. В письме вы сказали правду, но вы не понимаете, в чем дело. Так, как вы делаете, можно допустить в политике, но в церковных делах нельзя. Вы бьете на внешнее, забывая или, во всяком случае, умаляя внутреннее.

Накал спора как-то у всех спал.

Любезно распростившись, договорились встретиться в храме о. Иоакима, там будут отпевать Марка.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ПОХОРОНЫ И ВЕНЧАНИЕ

Литургию служил о. Иоаким, диакона не было. Регент в определенное время входил в алтарь и подавал кадило, в основном священник не нуждался в помощи. Служба шла очень быстро, певчие, как говорится, пели в темпе. Вначале народу было немного, потом стали прибывать, особенно из молодежи. Когда прибыли отцы, служба уже кончилась, их желание помолиться за покойника во время литургии не исполнилось, гроб незаметно стоял в левой стороне храма.

В этот день причастников не было. Выйдя делать отпуст, о. Иоаким с крестом в руке начал проповедовать, и тут-то и началась сама служба, тишина установилась необыкновенная, правда, вначале старушки почему-то, недовольно откашлявшись, видимо, им это было непонятно, выходили, молодежь сдвигалась к алтарю, с упоением слушала. Проповедь длилась минут двадцать — двадцать пять, почти столько же, сколько литургия. Но когда произносилось — аминь! — это не означало, что прекращалась проповедь. Вид у священника если во время проповеди был строгий и задумчивый, то сейчас становился несколько игриво-веселым, улыбка долго не исчезала с лица. Прикладываясь ко кресту, многие заговаривали со священником, он, то иногда теребя свою черную густую, хотя и небольшую бороду, то небольшой ус, а иногда переминаясь с ноги на

ногу, говорил. Говорил с доброй улыбкой, иногда глядя в глаза слушавшим, иногда трепля их по спине.

В этот день, помимо отпевания, было еще венчание, поэтому молодежи было более обычного, у всех было праздничное настроение.

— Не люблю я унылости, — говорил о. Иоаким. — Христианство — это религия радости, — иногда тут же рассказывал о своих знакомых священниках, которые в трудные годы находились в лагерях и никогда не унывали. А терпели уж столько, что только бы плакать. А они даже шутили. И другим заповедали — не унывать! Вот я от них и унаследовал радость.

Близким знакомым о. Иоаким показывал фотокарточки своих страдающих священников, на которых они все-таки были унылыми, только глаза, казалось, искрились радостью.

Конечно, не всем была понятна веселость о. Иоакима, некоторым она казалась наигранной, а некоторые говорили, что это он еще не хлебнул горя.

Позже всех пришли Алексей Яковлевич и о. Николай, они прошли ко кресту, что-то сказали о. Иоакиму, отошли в сторону, поставили свечи.

Недалеко от изголовья покойника в углу стояла на коленках женщина, она, казалось, ничего не слышала и не молилась, как будто, наклонив голову, спала. Алексей Яковлевич натолкнулся на нее, отступил на шаг и посмотрел сурово из-под очков. О. Николай вздрогнул, он узнал свою жену, и тут чуть было не вскочил бес ревности, потом одумался: можно ли ревновать к покойнику? Да и, может быть, здесь самые святые чувства, отошел незаметно в сторону, чтобы своим появлением не смущать жену.

Юра и Ваня принесли цветы, положили по сторонам покойника. Лицо покойника было величественно и благородно, сам он вытянулся во весь свой рост, смертельная бледность придавала строгость красоте, и красота оттого была нездешне величественной, даже нельзя было представить, чтоб покойник был так величествен, никаких страданий не было заметно на его лице. А ведь был страшно изуродован, правда, в лице только нос пострадал, в основном пострадали череп, ребра.

— Да, велик ты, чадо, а мы тебя таким и не представляли, — вздохнул о. Николай, благословил его, поцеловал икону, лежащую на его груди.

Вскоре началось отпевание, отпевал священник более пожилой, чем о. Иоаким, с длинной бородой, медлительный. Все он делал с какой-то важностью, не торопясь и не говоря лишнего. Хор пел несколько медленнее, чем за литургией. Молча зажгли свечи, молча молились. Молча подходили и прикладывались, последней подошла жена о. Николая, встала, всмотрелась, поцеловала икону и лоб покойника, отошла, ни на кого не глядя.

Юра и Ваня рассказывали:

— Выясняется, что убили его бандиты, перед тем они изнасиловали женщину, убили старика. На Марка натолкнулись случайно, потребовали часы, он без разговора снял и отдал им, они часы забросили, а его убили, просто из-за потребности убивать.

Вскоре пришла машина и покойника увезли, сопровождали Юра, Ваня и о. Никон. О. Николай пересилил себя и сказал несколько дрогнувшим голосом своей жене:

— Поезжай проводи.

Она посмотрела на него недовольно, ничего не сказала и ушла домой.

В храме оставалась одна молодежь, она разошлась теперь по всему храму. Многие говорили с о. Иоакимом, он что-то им объяснял, смеялся уже в голос, извинился, что ему еще нужно крестить, ушел от них. Тут же принесли ребенка, поставили купель, зажгли свечи. Молитвы о. Иоаким читал про себя, шепотом, иногда бормотал, но определенные слова произносил отчетливо, вслух. Во всем старался выразить свое любовное отношение к пришедшим: ребенка нежно брал на руки, гладил по головке крестных, внимательно смотрел им в глаза. Благословив новокрещенного, сразу побежал к жениху:

— Все. У меня уже все.

Жених высокого роста, веснушчатый, несколько смущенно улыбаясь, сказал:

— И у нас все. Надо поторапливаться, а то как бы наши предки не нагрянули и не испортили бы веселье.

— А ты разве им говорил, что будешь здесь венчаться?

— Не говорил, но они что-то пронюхали, забеспокоились.

— Ну, ничего, готовьтесь.

На середину храма вынесли аналойчик, о. Иоаким вынес крест и Евангелие, зажгли свечи, но венчание началось не сразу. К жениху подошел молодой человек со шрамом на лице и с ним молодая женщина, заговорили. Оказывается, эти молодые люди пришли поддержать жениха и невесту, они узнали, что жених и невеста — дети крупных коммунистов-безбожников, недавно только уверовали, еще не остыла пена на устах у нападающих на них родителей. Молодая чета рассказывала о себе, что они оба студенты: он — химик, она — пианистка, тоже недавно уверовали, венчал их о. Константин (тот из другого угла направлялся к ним), венчал дома...

— Представляете, какая была необыкновенная тишина, и в то же время необыкновенная торжественность. Горят две свечи, на головах венцы из васильков, слышится голос священника, певчих не было. И это до самого сердца дошло, все замерли. А было много атеистов. После венчания одна атеистка сказала:

— Хочу тоже венчаться. .

— Так что держись, — сказал молодой человек жениху. — Не бойся никого и ничего.

— Да я не боюсь, не хочется только в такой день никому портить настроение.

Вышел о. Иоаким и сразу же без всякой подготовительной церемонии увел новобрачующихся к аналою. У невесты не было фаты, вместо этого повязан был белый платочек.

Все службы у о. Иоакима, видимо, проходят быстро, так и сейчас, но какие-то слова он произносит особенно отчетливо и торжественно. Здесь были торжественными слова, которых нет в православном требнике: я, такая-то, перед Крестом и Евангелием и перед лицом Бога клянусь быть верной такому-то, у него требовал того же по отношению к ней. После этих слов служба шла более торжественно, но вскоре же и кончалась, проповедь занимала столько же времени, как и венчание. Говорил о. Иоаким о любви друг к другу, потому эту любовь переносил на всех людей и связывал ее с любовью в Царстве Небесном.

После венчания молодежь была приглашена на брачный пир, о. Иоаким напомнил не забывать отцов. К концу венчания прибыл о. Валериан, в дом жениха о. Иоаким и о. Валериан прибыли после всех, так как много было разговоров по пути.

БЕСЕДА ПО ПУТИ И НОВАЯ ВСТРЕЧА

Прежде всего о. Валериан о. Иоакиму рассказал, что делается у них в храме. Староста как будто одержимый, ничего и никого не желает слушать, кроме райисполкома. О. Владимир продолжает воевать, почти всю двадцатку перетянул на свою сторону, но все-таки верх у старосты.

— У меня здесь тоже не все в порядке, — пожаловался о. Иоаким. — Правда, к старосте я никакого отношения не имею, но зато своя братия не оставляет меня в покое. Одному вот, который сегодня отпевал, не нравятся мои службы. Он любит растягивать, а я этого не терплю. Он придерживается буквы, а я иногда творчество применяю в службе. Грешен, батюшка, — иронически высказался о. Иоаким, — люблю модерн. Не надо забывать жизни и останавливаться на мертвых формах. Второй священник, попросту сказать, стучит. Брат у него, покойный, был кристальной души человек, а у этого как болезнь какая-то. Все, что делается у нас, пойдет и расскажет уполномоченному, а так извне как будто благочестив.

— Да, интересная семья, — подтвердил о. Валериан, — я тоже их знаю. Третий брат у них епископ, хороший человек, подвижник, спит на досках, но страшно труслив. И из-за его трусости почти все храмы закрыты в его епархии, все уступает, сдает без боя.

Немного помолчали.

— А что вообще на литературном фронте? — Оба священника в той или иной степени были причастны к литературе. О. Иоаким в популярной форме излагал происхождение христианства, саму сущность, излагал своими словами Ветхий и Новый завет с учетом научных данных, копался в индийской философии, приспосабливая ее к христианскому пониманию. О. Валериан иногда печатался в журнале московской Патриархии, писал иногда по просьбе для заграницы.

— Идут бои, — сказал о. Валериан. — Процесс над московским литератором оградил других литераторов от репрессий, и нет-нет пробьется свежая мысль. Недавно мне удалось присутствовать при обсуждении нового произведения Солженицына в Доме литераторов. Поразительно, как свободно говорили. Вот

бы, думаю, у нас так заговорили. Один выступающий советских литераторов назвал агентами Третьего отделения. Солженицын в своем произведении поставил вопросы современности и вечности, всех своих героев собрал в раковый корпус и поставил им вопрос: ну вот, что вы делали, для чего жили? Все хвалили Солженицына, ставили наравне с Толстым. Признаться, так мне было интересно там на обсуждении. Солоухин подошел ко мне и говори: «Ну, как?» И отвечает: «Явление Духа». Солоухин недалеко живет от меня, и мы иногда с ним встречаемся. Да, в самом деле, Дух дышит, где хочет. Если в церковной среде не хотят заговорить как следует, говорят светские люди. Когда я слушал их, невольно возникла такая мысль: ведь Солоухин и Солженицын — это из молодого поколения, родились и воспитались при советской власти, казалось бы, должны быть такими, какими их воспитали, а на поверку: старое поколение пресмыкается, а новая их надежда — против них, знаменательное явление.

— Да, чтоб не забыть, — перебил о. Валериана о. Иоаким. — Мне как-то удалось выяснить, чем купил митрополита Антония Блюма митрополит Никодим. Долго не мог я догадаться, наконец установил. Летели как-то на самолете митрополит Никодим и митрополит Антоний, вдруг вынужденная посадка в Свердловске. Ждут, скучают. Митрополит Никодим и шепчет митрополиту Антонию: не хотите ли отслужить панихиду по убиенным, так это магически шепчет...

— Стой, каких это убиенных? — переспросил о. Валериан.

— Ну каких, царская семья ведь расстреляна в Свердловске, бывшем Екатеринбурге.

— А, вот в чем дело, здорово, брат, подошел. В самую точку попал: митрополит Антоний — ярый монархист, у него в кабинете портрет последнего царя — царя-мученика. Да, а я никак не пойму, что случилось. Был митрополит Антоний как-то у меня, я и так ему про митрополита Никодима, и так, а он ни в какую, говорит: митрополит Никодим — это пока наша надежда. Здорово, здорово купил.

— Ну а как по-вашему, что из себя представляет митрополит Антоний?

О. Валериан собрался с мыслями.

— Величина крупная, и умный человек, глубоко предан церкви, пробует все средства, чтоб помочь нам, говорит замечательно.

— А письмо, говорят, двух священников не приветствует?

— Да, против. Сейчас нам нужно единство, а не разбрасывать свои силы, говорит. Хорошие они люди — составители письма, но не понимают, в чем корень зла. Старика Патриарха нам нужно держаться, без него еще хуже будет. Был митрополит Антоний на приеме у Куроедова, говорит, что ждать улучшений для церкви не придется, письмо сыграло в худшую сторону.

— Вообще интересны его суждения, я тоже думаю, что отцы-составители в чем-то не правы...

Только о. Валериан и о. Иоаким хотели повернуть, перейдя линию электрички, как перед ними остановился человек среднего роста, седенький, хотя, судя по лицу, еще не совсем пожилой, блеснул очками на них.

— Ба, сколько лет, сколько зим...

— О. Афанасий, — закричал о. Валериан. — Да каким вас ветром? Из Сибири, и вот в Москве. Куда же?

— Да прямо к вам, соскучился.

— Ну если к нам, милости просим. Мы идем на самое веселое...

— Куда же, если не секрет?

— На брак, в Кану Галилейскую, просим присоединиться, молодежь женится...

— И венчались?

— А как же, вот о. Иоаким венчал.

— Очень рад, очень рад, как это у Достоевского брак описан?

— Пойдем, пойдем, там уже будем все вспоминать.

О. Валериан и о. Афанасий были давними знакомыми, о. Валериан жил одно время за границей, а о. Афанасий в это время сидел в заключении, недавно только списались.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
НА БРАКЕ

На одной из загородных улиц показался домик, сразу привлекший к себе внимание. Он был старенький, стоял в стороне от других домов.

— Его-то и подарила одна добрая старушка молодоженам, — сказал с заметным торжеством в голосе о. Иоаким.

— Приятно, что не оскудела русская земля добрыми людьми, — заключил, счастливо просияв, о. Афанасий.

О. Иоаким услужливо распахнул калитку. Больших деревьев около дома не замечалось, только бросался в глаза кустарник, дико разросшийся, и это, может быть, молодоженов больше всего радовало.

Домик давно не ремонтировался, терраска покосилась и почернела, кое-где позеленела мхом, стекла на терраске были целы, но сквозь них, пожалуй, трудно было что-либо разглядеть. Пол на терраске скрипел, а иногда-таки стонал от шагов. Пройдя терраску, нужно было взбираться на высокий порог, и только тогда вы оказывались в продолговатой комнате. Потолок навис, его поддерживали недавно поставленные столбы. Потолок, видимо, почернел, сейчас была на нем свеженаклеенная газета. Стол стоял во всю длинную комнату, закрыт белой бумагой, ее прикололи кнопками. Вокруг стола стояли четыре скамейки, на которые были положены доски. Гостей собралось много, они сейчас готовили к столу: кто накладывал в тарелки, а кто рубил что-то, а кто-то расставлял бутылки, распаковывал подарки.

— Люба, Люба, смотри, тарелки, а вот и ложки, — закричал молодой человек, это был жених.

Людмила, худощавая девушка, спокойно улыбнулась, лучше сказать, устало:

— Ах, как это кстати, у нас тарелок-то и не хватает, ну скорее их в дело. — Она сама взяла тарелки, пошла с ними на террасу, чтоб наполнить их и передать на стол.

Дом состоял не из одной комнаты, была еще комната, дверь туда трудно было открыть, столько навешано было одежды, но дальше было свободно, был даже диван, можно было понежиться. Самое главное богатство этой комнаты были книги, они аккуратно стояли на стеллажах. О. Иоаким подвел к книгам о. Валериана и о. Афанасия, которые уже успели раздеться.

— Смотрите, какую библиотеку собрал. Вот философия, древняя, новая и современная. Вот история. Вот история искусств. А вот даже стихи: Пастернак, Ахматова, вот и Цветаева.

А вот некоторые журналы, в которых есть что-то особое, он их покупает.

Жених, стоя рядом, смущенно улыбался.

— Ну ты иди туда, мы про тебя немножко посплетничаем, о. Афанасий интересуется...

Жених продолжал улыбаться.

— Да я не слышу, у меня уши заткнуты ватой, — но все-таки он ушел.

— Представляете, это чудо, как они уверовали, как поженились. Еще я помню, как против него вооружались родители, до смешного доходило. Пришел он как-то домой и видит: все его книги разложены по стопкам. Наверно — вредные, менее вредные и опасные. А родители сидят и листают энциклопедический словарь, готовятся по нему переубедить сына.

— Да, молодежь сейчас рвется к Богу, почувствовали, что нечем жить, — поддержал о. Валериан. — Как-то видел я одну женщину, знающую так называемые высшие круги Кремля. И вот она мне рассказала, как она там поставила вопрос: «К пятидесятилетию Советской власти, видимо, будут большие изменения?» — «Нет, — отвечают. — Вот лет через десять-пятнадцать — да! Молодежь совершенно не наша».

Женщина продолжает:

«— А вы знаете, что молодежь разложилась?..

— Знаем, — отвечают. — Влияние Запада.

— А вы знаете, что молодежь начинает искать выход, и многие его находят в религии?

— И это знаем.

— А что же вы будете делать?

— Усиливать антирелигиозную пропаганду».

И в самом деле, пропагандой пичкают всех: детей, стариков, вывешивают плакаты, как не догадаются вывешивать их в уборной, а там бы самое место им было.

О. Иоаким, просматривая книгу и одновременно слушая, спросил у о. Афанасия:

— А у вас как там?

— Тоже есть брожение, — несколько вяло отвечал о. Афанасий. — Но меньше, в основном посещают храм все-таки старики. Но среди молодежи иногда появляются редкие экземп-

ляры. Вот появился у нас как-то учитель, когда о нем узнали, поставили вопрос, как говорится ребром…

«Я не могу не веровать», — ответил он решительно. Прогнали с работы, а потом сделали тунеядцем, выслали. Заболел туберкулезом, отсидел в заключении. Возвратился, и снова не дают место, куда-то еще глубже поехал на Север. Там что-то обещают. Дышит тяжело. Ни копейки денег, я выскреб из своих карманов и дал…

— А отцы как там? — сыпал вопросы о. Иоаким.

— К сожалению, о них мало утешительного можно сказать. Грызутся меж собой, подставляют ногу друг другу, заискивают перед епископом. А епископ у нас — страшный самодур, а может быть, и больной человек. Держит у себя осла. Последняя выходка епископа: заставил священника сесть на осла и поехать по всему городу, иначе места лишит. Священников часто бьет посохом. По секрету сказать, епископа даже уполномоченный побаивается, как бы не донес куда нежелательно.

— За стол! — донеслись голоса, сначала тонкий женский, а потом мужской бас.

К разговаривающим вошел жених и со своей неизменной улыбкой пригласил:

— Просят к столу.

— К столу так к столу, — нехотя встал с дивана о. Валериан, ему на диване было очень удобно. О. Иоаким положил книгу на место и сопроводил отцов за стол.

Во главе стола посадили молодоженов, правда, они отказывались и хотели туда посадить о. Иоакима, их духовного отца, но увидели, что о. Иоаким моложе всех отцов, здесь присутствующих, и неудобно ему, младшему, сидеть на переднем плане. Сначала упирались, кому где сидеть от молодоженов, каждый хотел уступить место другому, но отцы, о. Валериан и о. Афанасий, уселись по правую сторону, а о. Константин и о. Никон (он уже возвратился с кладбища) сели по левую, и рядом с последним на каком-то ломаном стуле уселся и о. Иоаким, все сразу разместились, было тесно, но не обидно. Наступила предобеденная тишина. О. Иоаким понял, что ему надо начинать, пощипал свою бороду, задумался на мгновение и начал:

— Ну что ж, выходит, за мной слово? — Он встал: — У нас сегодня необычный день, даже необычная судьба, — начал он. — Многим присутствующим, наверно, известно, что жених и невеста, будем пока их так называть, из семьи неверующих. Сами они тоже недавно уверовали, но уверовали так, что дай Бог каждому. — О. Иоаким поднял наполненный стакан. — Но не в этом дело. Я хочу сказать, что мы сегодня присутствуем на браке в Кане Галилейской. Если тогда Христос претворил воду в вино, то сегодня, я позволю себе выразиться так: Он более сделал, чем претворил воду, Он многие сердца наполнил новым вином — вином радости Божией, — он повернулся в сторону молодоженов, — никогда не высыхает она не только в сердцах вот этой молодой четы, а и у всех нас...

Все дружно встали, тост всем понравился. Сначала чокнулись с молодоженами, а потом стали чокаться со всеми, начали закусывать. Не успели что-то съесть, как с ответным тостом выступил жених.

— Я хочу поднять бокал за нашего дорогого о. Иоакима, благодаря ему все это получилось. Не только я, но многие, сидящие здесь, обязаны ему, поэтому я сразу предлагаю выпить за о. Иоакима. — О. Иоаким тут же поднялся и предложил, если уж так, выпить за всех отцов, — это было поддержано всеми.

К сожалению, закуски было не так много, и стоило немного приналечь, как пустели тарелки, а наполнять было нечем, поэтому надо было как-то спасать положение, и вот тут-то наступил критический момент: как сделать так, чтоб никому не было скучно. О. Афанасий, серьезно на все смотревший, вдруг глубоко вздохнул, мучительно улыбнулся:

— Растрогали вы меня, друзья, — сказал он проникновенно. — Вы меня обрадовали, но в моем воображении встала другая картина, мне вспомнился лагерь. Простите, что я в такой радостный момент напоминаю о скорби. Но не могу не напомнить, может быть, та скорбь принесла и эту радость, на которую я сегодня попал, совершенно по случайному совпадению. Я ехал к о. Валериану просто развлечься от своих северных дел, коечто узнать об отцах-героях. — Он наклонил голову, ему, видимо, было тяжело бередить скрытые раны. Долго находился в склоненном положении, все молчали, и как-то все обратили вни-

мание на седину, кажется, всем представилось им пережитое, но вдруг он бодро поднял голову:

— Простите, и еще раз прошу: простите. Я хотел бы выпить и за тех, кто остался там... и не может присутствовать на нашем торжестве... — Этот тост понравился больше прежних, все энергично наполнили стаканы и ждали последних слов о. Афанасия, он медлил.

— Я позволю себе кое-что сказать о них... — Все приготовились слушать с поднятыми стаканами. — Помнится мне, — о. Афанасий устремил свой сосредоточенно-грустный взор в пространство, — один очень худой человек. Скелет, а не человек. Он считался дистрофиком, его даже на работу не выгоняли. Ждали, когда он душу Богу отдаст. Правда, он через несколько дней умер. Но перед тем как умереть, он вдруг среди ночи вышел из барака. Была светлая морозная ночь. Вышел и запел: «Христос воскрес из мертвых, смертию смерть поправ...» Пел он очень громко, пел исступлённо. Проснувшись, заключенные спрашивали друг у друга: «Слышите? — голос его проникал в барак, у него был шаляпинский бас: — Христос воскрес из мертвых...» Дневальный вышел из барака и сразу вбежал назад возбужденный, на глазах слезы, а у лагерника трудно добиться слез, потому что многое он видел и ко многому привык. «С ума сошел, от голода с ума сошел», — кричит дневальный.

— Да, запевший сошел с ума, но с какого ума? С ума этого мира, — заключил о. Афанасий. — Этот пасхальный голос я никогда не забуду. Я до этого впадал в уныние, я отчаивался, погибну здесь — думал. И вдруг этот дистрофик, приговоренный к смерти, запел пасхальные песни. Говорят, он был простой крестьянин, посадили его за то, что он с другими крестьянами собирались на Пасху и пели пасхальные ирмосы, и им приписали заговор против Советской власти. Он умер на первый день Пасхи, вернее, накануне, даже, если не изменяет мне память, после двенадцати часов ночи. Именно в тот момент, когда начинается светлая заутреня. И для меня, и для всех других... мы вдруг все как-то посветлели, почувствовали, что есть иная радость... — О. Афанасий пригубил из стакана, никто больше не дерзнул выпить, все считали, что ему позволено, а все остальные этого не заслужили.

Пригубив, о. Афанасий поставил стакан на стол, приготовился, видимо, к многим воспоминаниям. Все также поставили свои стаканы на стол. О. Афанасий продолжал:

— Помню одного иеромонаха. На работу нам ходить было далеко, но не это беда — беда была проходить через обледенелую палку, а ему было особенно трудно. Впоследствии я узнал причину: носил корсет...

«Вы бы его сняли», — посоветовал я ему.

«Нет, — Бог послал мне крест, надо его нести и ничем не облегчать». Помню еще и такой момент: один на табак менял пайку, но что значит сменить на табак пайку, вы можете это себе представить? И вот мы по кусочку отламывали от своей пайки, чтоб он не оставался без пайки...

Помню священника-якута. Доходной, но тоже страсть как любил курить. У всех бывает какая-то слабость, а так человек он был хороший. Табаку, кроме как у блатных, ни у кого не было, и они, чтобы чем-то развлечь себя, говорили: кто споет, получит на папироску. Этому якуту очень хотелось закурить, но песен никаких не знал, блатные разжигали его...

«Спой».

«Да не знаю я песен, кроме церковных».

«Ну, спой церковные».

И вот он запел: «Во Иордане крещающаяся...» Я его толкнул: «Ты что же, завтра Крещение».

«Прости, забыл».

А надо было петь и танцевать. И вот как он кружится и поет «Во Иордане», я воспринимаю как-то мистически.

О. Афанасий резко оборвал свой рассказ: и тут же продолжал.

— Знал я там и таких людей, старичок-священник, добрый. В прошлом профессор. Пристроив своих детей, принял священство. Прослужил два месяца, забрали. Была у него жена Анисья, весь лагерь ее знал, хотя никто никогда ее не видел. Она почти каждый месяц присылала ему посылки, откуда она только их брала? Получив посылку, он делился со всеми, себе выделял такую же часть, как и другим. Блатные так, бывало, ему и кричат:

«Снова посылка, значит, будем гужеваться?» «Посылка, посылка, братцы, молитесь за мою Анисьюшку». «Молимся, батя», — а сами в карты режутся.

О. Афанасий перевел утомленный взгляд.

— Простите меня, довольно.

— Еще расскажите, еще, — послышались голоса.

— Нет, довольно. Простите, как-то невольно вспомнилось.

Ему вдруг пришла мысль встать и пропеть «Вечную память». Он обвел всех вопросительным печальным взглядом, но не решился. Жених как будто понял его мысль, тут же встал и предложил пропеть «Вечную память». Пели тихо, но именно эта тишина и отзывалась громко в сердце каждого.

«Спите, отстрадавшие!

Спите, ушедшие на брак в Царство Небесное».

Когда все уселись, некоторые, не стесняясь, вытирали слезы.

После о. Афанасия поднялся человек средних лет, который поет в храме о. Иоакима.

— Разрешите и мне кое-что рассказать, — попросил он. — Когда я еще был молодой, любил прислуживать в храме. В то время арестовали моего епископа и монахиню, вывели на расстрел. Тогда никаких церемоний не соблюдалось, самая была разруха. Монахиня подошла к епископу, попросила у него благословение, потом поклонилась всем им и сказала:

— Простите меня, окаянную...

Расстреливающие думали, что это она их называет окаянными, и с яростью расстреляли ее и епископа, два дня трупы их лежали не похороненными. Но какой парадокс из всего вышел? На следующий день пришло помилование...

А еще интересно вот что. Эта монахиня как будто все предчувствовала и за день до расстрела сама себя отпела. У епископа было желание сподобиться мученической кончины...

Был и смешной случай; когда взяли эту монахиню, она спрашивает у них:

— За что же это?

— Ты заражена антисоветчиной.

— Нет, мои милые, ничем не заражалась. Я, поди, в жизни ни разу и не болела.

— Эх, так и быть, — расшевелился о. Валериан. — Расскажу, коль на то пошло, и я, но не когда-то бывшее, а в наши дни происходящее. На днях ко мне в храме подходит женщина, очень простая на вид, руки трясутся. Говорит, что она учительница и хочет поговорить со мной.

«Пожалуйста», — говорю я.

И вот мне она о чем рассказала.

Она из Владивостока: работая учительницей в школе, была на хорошем счету. И надо же тому случиться, что, когда она однажды пришла в храм, туда пришел и инструктор гороно, заметил ее, толкнул плечом: смотри, мол, вижу тебя. И сразу же началось. Говорят, есть тайные указания, чтоб выявлять верующих и пресекать их ход в жизни. И вот это оправдалось на этой учительнице. Сначала заговорили с ней о ее убеждениях, попытались дать ей понять, что с такими убеждениями она не может работать учительницей: подавай, мол, об уходе по собственному желанию; она не уходит. Тогда ей заочно дают группу инвалидности — психически ненормальная. Она протестует, протестуют и ее дети. Ложись на экспертизу, советуют ей, через Министерство здравоохранения направляют ее в Москву, сорок дней она находится на экспертизе, оттуда выходит с таким предписанием: работать с коллективом не может, рекомендуется канцелярская работа. По ее словам, ее сделали ненормальной. Правда, один профессор протестовал, так того заставили замолчать. Когда я разговаривал с этой женщиной, она была очень встревожена, все спрашивала у меня: нормальная ли она? «Может, я ненормально говорю? — спрашивает. — Может, у меня вы замечаете что-то ненормальное? Скажите мне». Я не врач и не могу судить об этом. Беседовал я с одним психиатром по поводу ее, тот говорит: не может быть, чтоб нормального человека аттестовали как ненормального, он, мол, сам участвует в экспертизе и знает все. Правда, сказал, что по политическим соображениям все могут делать. Он мне сказал в заключение, что женщина эта была все-таки психически больная. Но пусть даже это будет так, врач этот сказал, что много есть психически ненормальных, и они прекрасно работают. Пусть и она была ненормальной, но она прекрасно работала, была на хорошем счету, зачем так травмировать женщину, тем более если они знают, что она неполноценный человек?

Вот что приходится переживать христианам! Конечно, крест — гордость христианина, и я задумываюсь больше не над ней, этой женщиной, а над теми, кто гонит христиан — нормальны ли они? Нормальное ли это явление, когда со злорадством вы-

искивают христиан, не могут их терпеть в своей среде, как бы они ни работали? Не говорит ли все это именно об их одержимости? Одержимость — страшное явление. С заблудившимся можно разговаривать, с инакомыслящими можно спорить, с одержимыми ничего не сделаешь, их надо жалеть. Зло даже не в них, они только носители зла. Что Ты прежде времени мучаешь нас? — вот их вопрос. Христос мучителен для них, они не могут терпеть христиан... — о. Валериан говорил с вдохновением, его слушали с большим вниманием.

Юра, приятель покойного Марка, под впечатлением рассказа о. Валериана, добавил со своей стороны:

— И я думаю, что они одержимые. Я из Волгограда, так там рассказывают, как одного священника во время разгара гонений засмолили в бочку и подожгли...

— И все-таки, помимо того, что одержимых надо жалеть, еще надо и протестовать против них, — высказался долго молчавший Симеон. — И правильно отцы сделали, что написали «Открытое письмо».

И тут сразу начали разделяться мнения. Кто-то сказал, что письмо нужно было, хотя оно не совсем верно и оскорбительно. Об этом говорят не только православные, но и католики, и отцам надо бы принести покаяние. Вот хотя бы приблизительно такое: «Просим, Ваше Святейшество, простить нас, если Вы в нашем письме усмотрели личное оскорбление, но мы этого не желали, от содержания же письма отказаться не можем».

Симеон горячо запротестовал:

— Но вы понимаете, что это могут использовать как полное покаяние, и тогда все письмо идет насмарку. Нет, правильно отцы делают, что не идут с поклоном. До сих пор церковь только терпела, в лице двух священников обрела свой голос.

— А не гордыня ли это? — слабо подал голос о. Никон.

Свадьба принимала несколько не тот характер; о. Афанасий, взглянув на внимательные и несколько печальные лица молодоженов, заметил:

— А не омрачаем ли мы брачной радости наших уважаемых хозяев?

Жених, слегка захмелевший, запротестовал:

— Что вы, я именно по-настоящему чувствую, что да! Сегодня брак в Кане Галилейской…

Кто-то все-таки включил радиолу, чтоб отвлечь внимание на что-либо другое.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
РАСПЯТЫЙ ХРИСТОС СОБИРАЕТ ЛЮДЕЙ

Все условились через неделю после свадьбы собраться у о. Николая и обсудить все как следует, как дальше поступать? Выступить ли с дополнительными письмами в поддержку двух отцов или подумать о том, чтоб отделиться от продавшейся патриархии? Больше всего на последнее сбивал Самуил, с ним уже беседовал о. Валериан, но он никого не слушал, говорил раздраженно, дерзко, потом крестился, улыбался, просил прощения, доставал из кармана разные выписки и читал о том, что епископат изменит церкви и будут защищать ее рядовые члены. «Так что на нашу долю, может, выпала очень большая миссия», утверждает он.

Возражающие немного замолкают, хотя внутренне не соглашаются с ним, все-таки раскол сейчас не принесет никакой пользы, может только играть на руку врагам.

Раньше всех к о. Николаю пришел о. Никон. Он сегодня был в Академии, ходил насчет своей магистерской работы, и, конечно, отвергли. Придирались к названию работы, придирались к плану, хотя конкретных указаний не давали. С огорчением он взял обратно прошение и подумал: какой тормоз сейчас такая Академия, она все засушивает. Правда, его несколько утешила встреча со старым знакомым, они тогда были в первых классах семинарии, а сейчас на преподавательской работе. Знаний и опыта, конечно, у них мало, но горячие люди и даже смелые, одного из них как-то вызывали в органы.

— Это что, допрос? — вспылил он. Они было сели по правую и левую стороны. — А ну сесть как следует и разговаривать со мной по-человечески! — Те от неожиданности послушались. — Ну а теперь до свидания, — сказал он и ушел. — Мне с вами не о чем говорить.

Думал, что на следующий день выгонят из Академии, вмешался Данила Андреевич, секретарь Патриарха, защитил. Этот человек порой бывает всесилен, как настоящий оберпрокурор бывшего Святейшего Синода.

— И подумал я тогда, — говорил о. Никон жене о. Николая. — Все-таки и в этом есть толк, что существует хоть такая Академия, она служит какой-то собирательной точкой.

— А нужна ли вам магистерская работа? — задала вопрос жена о. Николая.

— Строго говоря, конечно, не нужна, но я преследую некоторую цель: когда за мной утвердят работу, мне предоставляется право на академическую, а может, и другие библиотеки. — Немного подумал: — И еще имеет такое значение, — иронически улыбнулся. — Выявляет мою гордость. Я, оказывается, очень гордый. Я вдруг увидел, что себя я считаю выше их, а их какой-то бездарностью.

— Ну какой вы гордый. — улыбнулась жена о. Николая. — Вы наговариваете на себя... — Эта тема разговора ей несколько была скучновата, она сначала хотела перевести ее на тему о покойном, потом подумала и решила спросить: — А как вы обходитесь без жены?

Вопрос, когда она так его поставила, показался ей неловким, и тут же она поправилась: — У вас есть ребенок, ведь вам трудно одному с ним?

О. Никон не стал отвечать прямо, в комнату вошел о. Николай.

— О. Никон, здравствуйте, одни пока? А о. Константин придет?

— Придет позже, он немного сегодня расстроен...

— Чем же?

— Да так, мелочь.

— Но все же!

Пришлось рассказать.

Вчера жена и дети о. Константина были у о. Андрея. О. Константин звонит туда, о. Андрей передал трубку жене, а жена дочке. Дочка стала мило разговаривать с папой, и вдруг врывается чей-то пьяный голос:

— Что, не можете договориться? Если хотите, приезжайте, — и повесил трубку. О. Константин сначала был ошеломлен,

стал припоминать: кто это может быть? Потом стал догадываться, что это Алексей Яковлевич, приезжает к о. Андрею — в самом деле он.

— Как вам не стыдно? — набросился о. Константин на него.

— Ну, простите, — небрежно извинился Алексей Яковлевич. О. Константин не унимался.

— Было бы простительно простому человеку, а то двадцать пять лет проработал преподавателем, и такое обращение с детьми...

Алексей Яковлевич вспыхнул:

— Да не преувеличивайте вы, с дочкой вашей ничего не случилось, она уже все забыла, а вам надо лечить нервы! — И тут они совсем резко поругались, так что о. Константин сегодня не в духе.

О. Николай что-то хотел еще спросить, потом извинился и сказал, что нужно уйти по делу...

Разговор между о. Никоном и женой о. Николая продолжался, о. Никон говорил:

— Без жены, без помощницы я привык, но вот как человека я ее не могу забыть, мне ее очень жаль. Признаться, после смерти своей жены я как-то с благоговением стал смотреть на русскую женщину, ведь она теперь герой, она очень самоотверженна... Кто отстаивает храмы? — Женщина! Кто молится в храмах? — Женщина! Я раз как-то шел утром рано и смотрю: еще все спят, а старушки с палочками, еле передвигая ноги, уже пошли молиться к ранней обедне. Я, знаете, очень плакал, на меня нашло такое умиление. — О. Никон и сейчас смахнул набежавшую слезу. — Может быть, мы и живем-то по молитвам этих женщин. И содержат храм женщины. По копеечке, по рублику несут, от пенсии отрывают, а, может быть, некоторые и с мужьями ругаются из-за этих копеек. Нет, много делает женщина. Есть у меня знакомый, Юра, так тот рассказывает, как женщины несли ему варенье, деньги предлагали. Им показалось, что у него был грустный вид, хотя и одет он был довольно прилично, только показалось, что человек грустен, они уже готовы помочь.

— Я вас понимаю, — перебила о. Никона жена о. Николая. — Это вы из-за жалости к своей жене. Но ведь женщины бывают и ужасные, из-за них и зла много бывает...

— Бывает, бывает, — растроганно заговорил о. Никон. — я тоже так думал когда-то, а теперь думаю иначе. Был я недавно на свадьбе, шли мы оттуда многие отцы, был среди нас один, который лет десять провел в заключении, так он рассказывал: недавно хоронил друга, с которым сидел вместе, друг провел в лагерях с перерывами семнадцать лет. В последний раз, когда садился, вызвали в качестве свидетеля одну женщину, с которой он недавно познакомился и дружил. Когда она услышала на суде, в чем его обвиняли, услышала его искренний правдивый голос, она сказала: «Я хочу стать его женой-другом», — и когда его посадили, она все время ездила к нему...

— Да, способны женщины иногда на некоторую жертву, — проиронизировала почему-то жена о. Николая.

— Ах, как вы говорите нехорошо, — воскликнул о. Никон. — Вот и этот отец сказал тогда так. И как же на него та женщина, жена друга, обиделась. И права была... Нет, мы не понимаем русской женщины!..

Жена о. Николая все продолжала охлаждать пыл о. Никона:

— Самоотверженность, самоотверженность... А вот скажите мне, какая женщина пошла в ссылку за своим мужем-священником? Некоторые же требовали развода... Ну скажите, было это или нет? — Теперь жена о. Николая была суровой, сердитой и смотрела в упор на о. Никона, он растерялся от такого вопроса и от такого взгляда. — Могу вам в утешение добавить, — переменив тон, сказада она. — Я слышала, только одна еврейка решилась на такой мужественный шаг — пойти за своим мужем в ссылку, жила недалеко от лагеря и ходила почти каждый день смотреть на него, и добивалась свидания тогда, когда никто не добивался. Иногда эта назойливость еврейская как-то неприятна, но здесь это было к месту и очень благородно...

— Ну пусть, — как-то растерянно заговорил о. Никон. — Пусть ни одна не пошла, но разве от этого геройство уменьшается? Я знаю женщину, которая живет исключительно для других. Она вдова, и каждый день выискивает, чем бы помочь людям. У одних она устраивает детей учиться (имеет некоторые связи), иных навещает в больнице, а сама больная, еле двигается, тромбофлебит. Осаждают ее каждый день психические боль-

ные, и с теми она находит время поговорить и успокоить их. Разве это не самоотверженность?

Жена о. Николая чуть не закричала: «Нет!» — но тут же прикусила язык: эта женщина в последнее время стала беспокоиться и о ее детях...

— Да, эта женщина самоотверженна, — сдалась жена о. Николая, — но не все такие, есть страшные женщины!

— Где вы их видели? — вскричал о. Никон.

Жена о. Николая встала с места, бледная, встревоженная.

— Вы видите перед собой эту страшную женщину.

— Как? — испуганно закричал о. Никон. — Вы?

— Да, я! — вызывающе прокричала она. И тут же, закрывшись руками, убежала.

«Неужели?» — молниеносно мелькнула мысль у о. Никона. — Неужели она с покойником?.. Нет, не может быть!» Он встал и заходил по комнате. «Она наговаривает на себя...» И тут его осенила успокоительная мысль: «И еще одно великое качество у русской женщины — это ее покаяние. Так, как каются русские женщины, другие не могут. Другие грешат, может быть, больше, но не могут так каяться», — думал о. Никон, и ему вспомнилось, как приходят брать сороковую молитву после абортов, редко которая не плачет. Исступленно некоторые падают ниц и лежат до тех пор, пока не скажешь: встаньте. А записочки о безымянных младенцах? Другие, может, и не подумают, ведь там был только материал для человека, а русская женщина уже молится о нем как о человеке, об упокоении безымянного младенца. А когда стареют русские женщины, вот когда мучаются они. Вот когда встают все тени загубленных. Иные женщины от таких мук сходят с ума, не находят себе покоя. А только ли женщины виноваты в абортах? Не виноваты ли все мы? Зачем же мы им взвалили эту тяжесть на плечи, еще и осуждаем их? Нет, я готов целовать им ноги, памятник им поставить — памятник великомученице русской женщине...»

В это время пришли о. Константин и Игорь Семенович, оба продолжали начатый разговор на улице, о. Константин говорил:

— А нельзя ли сократить вашу работу?

— Нет, я решил разбить ее на книги, — настаивал Игорь Семенович. — Каждая книга имеет самостоятельное значение...

— А как у вас теперь материально?

— Трудновато. Много денег уходит на машинисток. Спасибо, один епископ немного помогает.

Они не замечали о. Никона, о. Николай предложил сесть.

— А, о. Никон? — заметил его Игорь Семенович. — Здравствуйте, да никак вы расстроены?

— Да нет, ничего.

Разговор снова продолжался с о. Константином, говорил Игорь Семенович:

— Был я у этого епископа и понял, чем покупают нашу церковную верхушку светские власти. Этот епископ хороший, но был смелее, когда не был епископом. Для епископа предоставляют три-четыре комнаты, все отделаны, первоклассно обставлены. Говорят, даже налог у епископа берут не по девятнадцатой статье, как у священников. Может ли такой епископ защищать интерес церкви, пойдет ли на крест, — подумал я.

Гости съезжались, прибыли о. Валериан и о. Иоаким, разговор становился более деловым. О. Валериан рассказал о недавнем приезде епископа Ермогена в Москву — вызывал Патриарх. Когда епископ Ермоген явился к Патриарху, тот спросил:

— А вы кто?

— Епископ Ермоген, вы меня вызывали.

— Я? — удивился Патриарх. — Вызывал? Я вас не знаю. Данила Андреевич, скажите, я вызывал?

Данила Андреевич подтвердил, что в самом деле вызывал...

Потом о. Валериан как будто что-то вспомнил, переключился несколько на другое.

— Случилось мне на днях читать письмо Ермогена Куроедову, министру по делам Церкви...

Игорь Семенович перебил:

— Письмо Ермогена теперь не секрет, оно широко распространилось, только, к сожалению, слишком там лоялен епископ Ермоген. Объясняет такие вещи, о которых не стоило бы распространяться, ссылается на Ленина, на Хрущева. По закону никогда не поступают те, у кого страшная одержимость к религии. У Ленина, например, не было других выражений, как мракобесие, поповщина. Это что, не одержимость?

О. Иоаким перебил всех:

— Попался и мне недавно в руки документ — тайное указание райисполкомам и прочим организациям: создавать специальные комиссии из проверенных лиц, которые следили бы за всеми действиями Церкви. Выявляли бы священников, которые работают с людьми. Стараться избирать двадцатку из своих людей, то есть лишь из безбожников. Так прямо и пишут: двадцатка бы проводила нашу линию. В общем, война по всем фронтам.

О. Никон вставил:

— Короче говоря: дьявол воюет с Богом, и поле битвы — сердца людей.

— Да, Достоевский далеко видел, — подтвердил о. Валериан. О. Иоаким добавил:

— Но не надо унывать, многие из них кое-что понимают. Рассказывают, недавно было выступление Эренбурга, который чуть ли не прямо сказал, что без религии мы не воспитаем молодежь...

О. Константин, со своей стороны, тоже вставил:

— Да и не только Эренбург, вот процесс Синявского, «Открытое письмо» в Союз писателей Лидии Чуковской, статья как гражданина России художника Корина в защиту храмов, «Письма из Русского музея» Солоухина, все творчество Солженицына — исключительно религиозное... Так что сил в России много. Распятый Христос собирает людей... Да и отрицание, одержимость их говорят о том, что за христианством признается великая сила. Отрицание в своей сущности — признание. Не отрицают того, чего нет...

Раздался звонок, короткий и четкий, приехали Самуил и Алексей Яковлевич. Самуил улыбнулся, радостно окинув всех своими чуть хитроватыми, но всегда улыбающимися глазами.

— А у нас сегодня много отцов, это хорошо. Не надо давать передышки, снова нужно выступление, хорошо бы коллективное.

С Самуилом в разговор не вступали, о. Иоаким спросил:

— Кого еще у нас нет?

— Да главных, — ответил о. Николай. — О. Андрея и о. Нестора — авторов письма.

О. Николай предложил послушать магнитофонные записи, прошли в комнату о. Николая, вскоре оттуда полились неторопливые церковные напевы.

Алексей Яковлевич и Игорь Семенович остались в прихожей, у них продолжался свой разговор. Алексей Яковлевич рассказывал о том, что его апологетические вещи напечатаны за границей... О. Константин куда-то выходил и теперь возвратился, Алексей Яковлевич и Игорь Семенович немного смутились, переглянулись друг с другом.

— О. Константин, посидите с нами. Вы, наверное, в обиде на меня? — извинился Алексей Яковлевич. — Бываю я порой такой, что самому себе не нравлюсь, вы простите меня, пожалуйста.

— И меня, — добавил Игорь Семенович. — Я догадываюсь, что вы и на меня обижаетесь?

— Ну что вы решили сегодня извиняться?

— Совесть беспокоит, решаем сложный и большой вопрос, а в мелочах запутались.

О. Константин почувствовал, что больше ни на кого он обижаться не может, что все они хорошие люди, что всякие обиды надо забыть.

В это время раздался звонок, такой же четкий и, может быть, более решительный, чем при приходе Самуила и Алексея Яковлевича.

— Это они, — догадался Самуил. — Я их узнаю по звонку... В самом деле, это были отцы — о. Андрей, молодой, уверенный, о. Нестор, болезненный и грустный, вид последнего вызвал вопрос:

— Как ваше здоровье?

— Да что мое здоровье, тут есть большее, чем мое здоровье, как здоровье Церкви?

С приездом о. Андрея и о. Нестора разговор принимал церковное управление. В гостиную, просторную и ничем не заставленную, внесли стулья, табуретки, на табуретки положили доски, собрание принимало свое направление. О. Нестор предложил:

— Давайте, отцы и братия, как и подобает, перед началом помолимся.

О. Николай достал епитрахиль и хотел было предложить о. Нестору, но он сказал, что есть люди постарше его и по летам, и по хиротонии, — епитрахиль передали о. Валериану. Начался молебен, голоса зазвучали согласованно и проникновенно, чувствовалось, что сюда пришел Христос страдающий. Помолясь,

сели, немного помолчали. Все ждали, кто начнет: начал о. Валериан.

Сначала он много говорил о значительности письма, о том резонансе, который оно получило во всем мире, и вдруг слегка запнулся, стал откашливаться. Все думали, что он откашляется и будет продолжать дальше, но он поставил на этом точку. На него устремились недоуменные глаза, о. Нестор как-то смотрел страдальчески. Самуил вскочил, хотел возразить, но о. Валериан, как будто его не замечая, медленно полез в свой боковой карман, достал бумажку, надел очки:

— «Эпоха чудовищного избиения, во имя христианской веры, явившей высший образец христианской святости в лице Франциска Ассизского. Более того, тот самый папа Иннокентий III, который ответствен за злодейства альбигойской войны, благословил и поддержал дело Франциска Ассизского. Другой пример: эпоха испанской инквизиции была вместе с тем эпохой расцвета великой испанской мистики в лице Терезы из Авилы и Иоанна от Креста — этих великих образцов христианского просветления и обожжения человеческой души. Борьба между силами добра и зла, правды и неправды никогда не прекращается в человеческой жизни», «...в истории христианской церкви наиболее плодотворными, успешными и длительными были не обличения ложности тех или иных догматов или канонов, не расколы, не «реформации» и сектантские обособления, а такие из недр самой церкви рождающиеся усилия нравственного и духовного обновления, как движение монашества, клюнийская реформа, францисканство, нравственное и дисциплинарное возрождение католичества в послереформационную эпоху, или русское старчество». «Люди, которые под активностью разумеют только внешнее делание, всяческие хлопоты, заботы, мероприятия, направленные на внешнее изменение земной реальности и нашей земной судьбы, — такие люди не имеют и понятия о максимально напряженной активности, доступной человеку в глубинах его духа» — так пишет русский философ Франк, — о. Валериан обвел всех испытующими глазами.

Он кончил, все молчали. Даже Самуил, который хотел было возражать, не находился, что говорить. После продолжительного молчания о. Нестор спросил:

— Так что, выходит, на этом нужно поставить точку?

— Да, — утвердительно заключил о. Валериан. О. Никон очень осторожно вставил:

— Идет Божий процесс, наше участие должно быть не внешнее, а внутреннее.

Разговор не вязался, многие казались выбитыми из колеи.

— А как у вас дела в храме? — спросил Самуил у о. Валериана, чтоб как-то продолжить разговор.

— Идет война.

— А какое вы участие, позвольте спросить, принимаете, внешнее или внутреннее?

— Ядовитый вопрос, — догадливо улыбнулся о. Валериан и добавил: — Настоящим христианином быть трудно, а надо быть им.

— Ну что ж, может быть, подавать чай? — предложил о. Николай.

— Давайте!

За чаем разговор зашел о современных мучениях, кто-то сказал, что ему на днях пришлось читать изданную за границей книгу о новых российских мучениках: потрясающая картина. Некоторых священников живьем закапывали в землю, двух или трех распяли на алтарях. Одного епископа разодрали на части, другого окунали в ледяную воду. Страшные пытки, я не мог уснуть после этого. Мне представились вдруг все эти убиенные... «Неужели это бессилие? — задал я себе вопрос и ответил: — Нет, этим-то и сильна церковь... страданиями... Когда я страдаю, тогда я силен, говорит Апостол».

— А как бы прочесть эту книгу?

— Трудно.

— Слушайте, да надо ее перепечатать.

— Добавлю и я со своей стороны, отцы, — вмешался о. Нестор, благоговейно перекрестился. — И меня Бог недавно сподобил прочесть хорошую книжку Жильяра о последних дня последнего русского царя... И я задумался. Вот последнего царя обвиняют... и правые и левые... Неспособный и так далее. А я думаю, что его кровь спасает нас. Это даже символично: царь своей кровью искупает свой народ... — Немного подумал и добавил: — Рассказывали мне чуть ли не очевидцы:

когда царя приговорили к расстрелу, он сказал: не делайте этого, дети, кровь развяжет вам руки. Сначала меня расстреляете, а потом будете стрелять друг в друга.

О. Валериан, как будто ничего этого не слушавший, добавил со своей стороны:

— И наш посильный труд не забудется Богам, не унывайте, друзья. Я вас понимаю, Самуил: вам деятельности нужно. Помоги вам Бог. Будем в меру сил действовать, но откалываться не нужно. Вот и женщина одна пишет, нам читал ее письмо Юра. Так что с дальнейшим подождем. Надо копить силы, как говорит о. Никон.

Собрание заканчивалось с непонятными выводами, многие хотели уже расходиться по своим делам, как в дом о. Николая пришла женщина, которая написала письмо в опровержение письма двух отцов. Может быть, некоторым не хотелось принять ее в свою компанию, да она на это и не рассчитывала, чтоб быть среди них, но коль судьба свела, она без смущения прошла в комнату, хозяйка представила ее гостям:

— Будем знакомы. Екатерина Семеновна, составительница антиписьма...

Но шутливый тон не был принят как шутливый, с ней заговорили серьезно. Первым заговорил о. Валериан.

— Я читал ваше письмо, — сказал он. — Оно производит хорошее впечатление. В самом деле, при внешней убедительности этим двум священникам не хватает духовного понимания происходящего. Они бьют на человеческие пути, а меж тем как Божьи пути иные и неисповедимые, и вы вот эти Божьи пути захотели понять. Мне только непонятно — ваше оправдание действий митрополита Никодима, неужели вы думаете, что та ложь, которую он распространяет о Церкви, для чего-то нужна?

Екатерина Семеновна покраснела, заволновалась, она хотела сразу протестовать, но сдержала себя и немного задыхающимся голосом заговорила:

— Я тоже много об этом думала. Да, то, что он говорит — это ложь, но попробуйте сказать правду, и еще ухудшите положение Церкви. Он, как бы себя в жертву отдал. Пусть его душа погибает, но только была бы жива Церковь. Я знаю митрополита Никодима, он не из трусливых, готов умереть за Церковь.

Он иногда больной, врачи запрещают, а служит, и он знает: то, что он говорит, — никто этому уже не верит, но это кусок хлеба собаке, чтоб не набрасывалась…

— Кусок хлеба собаке? — заиронизировал о. Андрей, он первым прислушался к разговору. — А не просто ли здесь шкурный интерес?

Екатерина Семеновна не выдержала:

— Мальчишка ты, ничего не понимаешь, а лезешь. Ты думаешь, что только вы святые, а все остальные грешные?

О. Валериан остановил ее движением руки, обратился к о. Андрею:

— О. Андрей, и вы не правы, так с плеча рубить.

О. Андрей загорячился:

— Да тут нечего думать, какое может быть общение у правды с ложью? Правда и ложь несовместимы, вот и весь вывод. Предатель он, предает Церковь, я не могу имени Никодима слышать.

— Вот тут и есть опасность, — сказал о. Валериан. — Вы понимаете это? Вы становитесь на путь осуждения, на путь суда… предвосхищаете суд Божий. А надо спасать.

— Такого не спасешь, — несколько остывая, заговорил о. Андрей. — Да и как ты его спасешь?

— Разве так уже и не осталось никаких средств, а молитва? Что это, не средство? Молитвой друг за друга да исцелеем…

— Молиться за Никодима? — засмеялся вдруг пораженный о. Андрей. — Помилуйте… Так вы скажете, что и за дьявола можно молиться? Нет, нет, увольте, не могу.

Перебивая всех, обратилась к о. Андрею Екатерина Семеновна:

— Да вы же в прелести, вас гордость обуяла, вы разрываете церковную ризу.

— А может, Никодим ваш, а не мы. Как это мы разрываем?

Екатерина Семеновна, не слыша вопроса, продолжала:

— Ваше письмо, кроме зла, ничего не принесло, только больше стали друг друга осуждать, разделились люди…

О. Андрей совсем успокоенно и благодушно заметил:

— Так и должно быть. Не мир, но меч. Отныне трое в доме и делятся, нужно отделить пшеницу от плевел…

— Ну вот, разве это не прелесть? Христос говорит: оставьте вместе, чтоб, выдергивая плевелы, не повредить пшеницы, а они отделять...

— Да, да, отделять! — О. Андрей почувствовал, что немного заговорился, смущенно замолчал.

Екатерина Семеновна что-то обдумывала, нервно покусывая губы, о. Валериан решил возвратиться к началу разговора:

— Так вот, вы говорите, что Никодим, говоря неправду, спасает Церковь от больших трудностей? Таким образом, он считает, что ложь стала спасением, а митрополит Никодим — ложью, это что-то новое, неслыханное...

О.Андрей довольно захохотал. Самуил, долго молчавший и нервно пощипывающий свою бородку, решил, что настало время ему вступить в разговор:

— Так вот и примут Антихриста, неужели непонятно, что мир идет к концу?

Разговор принимал другое направление.

— К концу? — спросил о. Валериан. — Это верно, — сам ответил. — Только что считать концом? — снова спросил он.

Перед тем как прийти Екатерине Семеновне, пришедший на собрание Семеон загорячился:

— Мне кажется, что именно уже я буду видеть конец.

— Нет, я не такой пессимист, — ввязался в разговор о. Константин.

— А разве конец — это пессимизм? — загорелись глаза у Симеона. — Это радость, достижение цели.

О. Константин смутился:

— Да, радость. Но я сейчас говорю с человеческой точки зрения, конец этот может быть через десять тысяч лет...

О. Андрей подал свой голос:

— Не через десять, но тысяча может пройти.

— Заблуждаетесь, не ведая сроков, — внушительно заговорил Самуил. — Все уже говорит о конце.

О. Константин запротестовал:

— Нет, еще много есть радующего, еще вера сильна. Я думаю, что сильнее, чем в девятнадцатом веке, еще много есть хороших людей.

— А разве перед концом этого не будет? — спросил улыбающийся Самуил. — Вера всегда будет.

— Христос, придя, найдет ли веру, сказано ведь?

— Вы немного неверно цитируете: вера будет, но только Христос спрашивает: найдет ли? Это совсем другое. Я вот думаю, что самый главный признак конца — восстановление Иерусалима...

Не подававший голос в продолжение всего собрания, о. Петр сказал:

— И Иерусалим восстанавливается... И есть сионизм, что всегда отрицали... — Он высказался так, как будто только что проснулся.

Его никто не поддержал, может быть, потому, что в данном собрании это был щекотливый вопрос, и о. Петр снова замолчал. О. Кирилл, долго ходивший взад-вперед, сказал:

— Не наше дело знать сроки, наше дело делать дело Христово. Если и один день останется, и тогда надо трудиться. Идти на крест за дело Христово. Крест Христов спасает в любое время.

— Все это так, но не нужно и конца забывать, — не унимался Самуил.

Разговор иссякал, страсти остывали, день начинал пробиваться сквозь завешенные окна, ночь как-то прошла незаметно. О. Кирилл, подойдя к окну, раздвинул шторы.

— Солнце посылает нам свой привет... — Его лицо как будто все засветилось. — Друзья, — сказал он. — А мне радостно, что мы живем в наше время и именно в России, давайте помолимся...

— Навстречу Наступающему Дню? Символично. Ей, гряди, Господи!

О. Валериан вдохновился:

— Я думаю, что этот день, прежде чем наступил в ином веке, наступит еще здесь, помолимся. Благословен Бог, — накинув на себя епитрахиль, произнес он, все запели «Царю Небесный».

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?

После ночи, проведенной у о. Николая, как будто все разъехались с определенным намерением: ну что ж, на этом надо остановиться, хотя что-то билось в груди, протестовало: так все-

таки жить нельзя, ждать, быть пассивными созерцателями этого процесса?

Самуил нетерпеливо ждал, когда окончится рабочий день и можно будет навестить своих отцов. После работы он, не заезжая домой, направился к о. Нестору. О. Нестор был дома, сидел на ступеньках террасы. Рядом с ним лежала большая собака, заросшая длинной шерстью, так что глаз совсем не было видно. О. Нестор не заметил, как к нему приблизился Самуил:

— Думаем?

— Да, думаем. Вот рассуждаю с песиком, — ласково сказал о. Нестор. — Не говорит, но все понимает, а мы, люди, чего-то недопонимаем. Ведь день думаю сегодня: о. Валериан — хороший человек, но... Верит он, что ли, им? Что вот придут, скажут: мы вас обижали, а больше не будем, ведь этого же не произойдет? Надо самим делать.

— Да, самим... Разреши, присяду. — Только Самуил хотел присесть, как в калитке показался с чемоданом о. Андрей. Ему обрадовались, и он просиял, увидев их.

— Тоже, наверно, не успокаивается? — улыбнулся о. Нестор о. Андрею.

О. Андрей подтвердил их догадку, но сказал, что прежде нужно куда-то убрать это... — показал на чемодан.

— Пивка захватил, и сухого, и «Русской» немного.

О. Нестор сказал, чтоб о. Андрей отнес чемодан в дом, а сам приходил сюда. О. Андрей, уходя, сказал, что он с собой коечто и еще принес, кое-что может рассказать...

— Поскорее, — поторапливал его Самуил.

О. Андрей возвратился в одной рубашке, пиджак снял в комнате.

Солнце уже приближалось к закату, но тени от деревьев не создавали сумерек, сквозь расступившиеся ветви еще проникали лучи солнца и ласкали лица сидевших.

— Ну что там у тебя, выкладывай.

— Есть что-то, — загадочно улыбался о. Андрей, полез в карман брюк и вытащил оттуда свернутые листы.

— Это что же?

— Да вот есть... Кировские верующие выступили... И читайте, крепенько.

О. Нестор перекрестился и произнес:

— Да воскреснет Бог и расточатся враги Его. — В последнее время такое выражение стало любимым выражением о. Нестора. Самуил подпрыгнул:

— Именно то, что нужно. — Ему в глаза бросились такие строки: «Стремление высшего церковного управления сделать всех епископов и священников послушным орудием в руках власть имущих атеистов, орудием, направленным на разрушение Церкви, — вот главная вина высшего церковного управления!».

Самуил нетерпеливо взял листы из рук о. Андрея, развернул их, просиял, перекрестился:

— Разрешите, отцы, — и начал читать.

«Его Святейшеству, Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси, Алексию.

От верующих Кировской епархии, июнь 1966-го.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Настоящее Открытое письмо адресуется всем верующим Русской Православной Церкви.

Верующие Кировской епархии.., со своей стороны, считают своим христианским долгом заявить следующее:

1. Главная вина церковного управления Русской Православной Церкви.

Ныне Русская Православная Церковь находится в бедственном положении, исчезают христианские семьи, и никто не заботится об укреплении христианских начал семейной жизни.

Дети школьного возраста совсем отстранены от Церкви. Пастыри никогда не говорят о христианском воспитании детей и даже сами отказываются исповедовать и причащать их в открытых храмах.

Христианская вера нигде не защищается от нападок атеистов. Первые иерархи (митрополит Никодим и другие) отказ от апологии христианской веры возводят в нерушимый закон Церкви.

Приходы, как религиозные объединения, заменены «двадцатками», которые в Кировской епархии в большинстве приходов существуют только на бумаге. Юридически приходы представ-

лены церковными советами, которые часто назначены уполномоченными по делам РПЦ, управляют хозяйством общины без ведома верующих и находятся в полном подчинении уполномоченных.

Пастыри превратились в наемных жрецов, не знающих своих пасомых. Они так же, как и церковные советы, безоговорочно исполняют, не объявляя верующим, любые устные распоряжения уполномоченных.

Епископы стали государственными чиновниками, только получающими жалованье от верующих!

Верующие в своем большинстве являются бесприходными посетителями богослужений, не интересующимися церковной жизнью. Огромное число верующих даже лишено возможности посещать богослужения, так как во многих районах на сотни километров закрыты все храмы.

Нет религиозно-нравственного единения верующих!»

Письмо было написано в самом деле крепко, в письме приводились факты беззаконий местного епископа: «Епископ Иоанн, как теперь стало известно, — сообщалось в письме, — должен был своими действиями погасить веру в сердцах людей, чтобы верующие сами закрыли церкви. С первого дня пребывания в г. Кирове он развил энергичную деятельность по разрушению церкви Христовой».

«Патриархия не только не боролась с незаконным закрытием храмов, но когда в 1964 г. за границей стали писать и говорить о насильственном закрытии церквей в СССР, то для «опровержения» этого митрополит Никодим выступил в «Юманите», а митрополит Пимен по радио.

Их выступления сводились в конечном итоге к утверждению, что церкви закрывались добровольно. Они черное называли белым, а белое — черным».

«Мы, верующие Кировской области, согласны со священниками (имеется в виду о. Андрей и о. Нестор) в том, что теперь высшая церковная власть стоит перед неизбежным выбором: либо решительными действиями искупить свою тяжкую вину перед Русской Церковью, либо окончательно перейти в лагерь ее врагов».

Чтение настолько всех захватило, что никто не заметил, что слушателями этого письма были не только они, было тут уже несколько отцов, были даже Юра и Ваня. Когда Самуил кончил чтение и увидел, что кругом столько слушателей, он произнес:

— Не случайно вы все пришли, нам нужно продолжить...

— Здесь или пойдем в комнату? — предложил о. Нестор.

— Я думаю, пока здесь, — сказал о. Андрей. — Погода такая чудная, и здесь так чудесно...

Солнце уже село, но еще не совсем стемнело. Читавшим хотелось бы, чтобы кто-то высказался из слушавших, но все молчали.

— Ты какие там новости принес?

— Да вот насчет Никодима. Встретился я сейчас с молодым человеком, юристом, который все бросил и захотел поступить в Духовную Академию. Так Никодим что придумал? Знаешь, говорит ему, возьми заявление, поступишь на следующий год, в этом году избегает этого молодого человека, а обещал поддержку, а власти устроили травлю...

— Да что говорить о Никодиме, известное дело — предатель, каждому понятно. Поговорим немного о другом, — предложил Самуил...

— Стойте, я чуть было не забыл, — перебил о. Нестор. — О. Иоаким тоже выкинул штучку, пошел ходатайствовать за нас перед Никодимом: так, мол, и так, готовы раскаяться, надо их устроить...

— Кто его просил? — выкрикнул о. Андрей. — Чтоб все письмо пошло насмарку?

— Нерешительный о. Иоаким, мягкостью хочет взять, а здесь нужна решительность... Железная! — высказался Самуил.

— Ну а что же, по-вашему, нужно делать? — вмешался в разговоре. Афанасий, он только что пришел. — Отделиться? А дальше что? Вы задумывались над тем, что, как ни парадоксально, а все, что делается, процесс к лучшему, очищение Церкви. Когда наводится порядок, всегда подымается пыль... Да, пыль! Надо смотреть глубже, настоящая жизнь творится в глубине. Дело Божие идет не по тем законам, по которым движется мир.

Самуил кисло поморщился:

— Может, по тем, каких придерживается Никодим?
— Нет, по закону любви.
— Это как вас понять?
— А вот так. Сегодня я был на приеме у одного митрополита, не буду называть его имени. Говорили мы с ним откровенно, и я заметил, что он любит Церковь и болеет за нее...
— Любит и предает, любую бумажку, которую ему подсунут, готов подписать.
— Да, подписывает... Но я хочу сказать не об этом. Я хочу, чтоб вы поняли его. Вот он подписывает бумажки, знает заранее, что все ложь, запутался уже, подписывая, и хочется ему с кем-то поговорить. А на него смотрят как на зверя, он затравленным стал. И с той, и с другой стороны его теребят. И мне, признаться, его стало очень жалко. Я к чему все это говорю? Говорю, чтоб мы не спешили со своим судом, старались бы понять друг друга. Ведь и этот митрополит со своими недостатками все-таки стремится к Богу, наш он, а не их, хотя много им служит...
Все примолкли, Самуил нервничал. О. Нестор предложил всем зайти в дом, поскольку уже сгустились сумерки. Собралось человек двадцать, многие с собой кое-что принесли, жена о. Нестора принялась готовить на стол. Все разбились на группы, Самуил стал забавляться попугаем, который, нервничая, бегал по клетке, Самуил его раздразнил. О. Константин беседовал с о. Петром.
— Ну, как у тебя деда? — спрашивал у него. — Возврата не может быть?
— Да и не нужно, я уже привык. Вот недавно купил себе домик, а дети подрастут, найдут меня...
— А у меня, знаешь, наладилось. Женщина — сложное существо. Наладилось после того, как я от жены уезжал в деревню. Заскучала она, что ли. Теща тоже другая стала, — немного помолчал. — Правда, тут говорят, сыграл важную роль ее духовник. Как-то теща поехала на исповедь и рассказала ему все, а он и говорит ей: до тех пор пока не попросишь у него, то есть у меня, прощения, не допущу до Причастия. Прощение она у меня не просила, но стала другая...
— Что ж, хорошо, — как-то вяло и неохотно произнес о. Петр. — Дай Бог. — По его равнодушному лицу можно было

догадаться, что он больше не желает вести разговор на эту тему. А о. Константину хотелось выговориться, он продолжал:

— А ты знаешь, и я виноват. Виноват не только перед женой, но и перед тещей. Простая у меня теша, а я несколько гордый. Мне надо бы доступнее быть. Я заметил, что, когда я тещу прошу, допустим, что-либо сделать для меня, она охотно делает и становится добрее. Перед женой же я больше виноват, мне както даже неловко рассказывать, а раз, да и не раз, я ее ревновал. А она ни о чем таком не помышляла. И вот помню я ее последние слезы: «Ну, как ты можешь так про меня думать? — говорит. — Я мать твоих детей», и я понял ее, упал перед ней на колени. «Прости!» — и она упала передо мной. И вот эта взаимная просьба о прощении тоже сделала свое дело...

О. Константин не замечал, что о. Петр за этим разговором скучал. Когда о. Константин сказал, может, и тебе бы надо, о. Петр недовольно встал, может быть, даже обиделся бы, если бы не позвали к столу.

— Ну, отцы, помолимся, за столом поговорим...

Пропели «Отче наш», о. Нестор благословил стол. Начал разговор Самуил:

— Знаменательное мы время переживаем: Иерусалимский храм восстанавливается...

О. Андрей перебил:

— А ты знаешь, анекдот есть. Звонит еврей по телефону из автомата другому еврею и сообщает о взятии Иерусалима, этому еврею стучат в стекло: поторапливайся, мол, он оборачивается и говорит: «Вы воевали, мы не мешали, а теперь мы воюем, вы нам не мешайте».

— Интересно, — не вытерпел Юра. — Вы меня простите, но я буду прям. Кто сделал революцию в России? Евреи. А кто последствия революции расхлебывает? Русские...

Самуил немного насупился, все примолкли, было неловко и останавливать и слушать, кто-то спросил:

— Из чего вы это заключаете?

— Да вот хотя бы из того, работает ли хотя бы один еврей в колхозе?

— Ну, допустим, нет, что с того?

О. Петр как будто проснулся, а может быть, и не слушал разговора, он спросил о сионистской всемирной организации...

— Это миф! — нетерпеливо обрезал его Самуил. — Какая у евреев организация? Это народ, идущий на заклание, сколько Гитлер истребил евреев? Если б у евреев была такая всемогущая организации, как говорят, разве бы они допустили, чтоб истребили столько их братьев? Давайте лучше выпьем, — Самуил живо наполнил стаканы, первым поднялся о. Нестор:

— Ну что ж, выпьем. Да воскреснет Бог и расточатся враги Его... — дружно чокнулись. Немного закусив, Самуил снова повел разговор:

— Нам не делиться с евреями нужно, а объединяться. Не евреи враги, а другие... Конечно, среди евреев есть всякие, богатый народ, широкий...

О. Афанасий спросил Самуилу:

— Как вы мыслите воевать с другими?

— Ну, в законных рамках, с чисто церковных позиций. Против Советской власти воевать не приходится.

— Да, не приходится. Сидел я с одним человеком, он семнадцать лет отсидел, был член организации, активный. Говорил так: если я чего-либо не сделаю против советской власти, такой день считаю потерянным. А потом взял да все и бросил. Говорит: советская власть послана нам для нашего очищения. И говорил, что советская власть — единственная, кто может защитить Россию. А иностранцы все готовы сожрать ее, и плевать им на Россию...

Некоторые неловко посмотрели друг на друга, кто-то все-таки не выдержал:

— А как, по-вашему, советская власть защищает Россию? От русского уже ничего не остается, последних людей, крестьян, кто любил русскую землю, истребляют, их перевели на оклад. А оклад — это казенщина. Крестьянин теперь рассуждает так: мне, кроме рубля, ничего не надо. Урожай ли, дождь ли, мне нужен рубль. Я за рубль болею. Ведь, если задуматься над этим как следует, это ужас. Любовь наша вмещается в рубль, здесь дьявольская игра над русским народом...

— Идет процесс, — высказал свое любимое выражение о. Никон.

— В какую сторону?

— В лучшую... Нам, может быть, не все понятно сейчас, потому что процесс еще не закончился. Задумайтесь над таким

положением: где те партии, которые были в России? Все погибли, а Церковь, как бы то ни было, стоит и собирает вокруг себя людей. Стоит, несмотря ни на что, ни на врагов, ни на бездеятельность русских архиереев, патриархии, ни на развращение наше. Это о многом говорит. Стоит и светит, только ее свет, к сожалению, не всем пока виден. — Подумал и добавил вдохновенно: — Наше время — переоценка всех ценностей, выявляется окончательно добро и зло. После нашего времени зло не может рядиться в одежду добродетели и обольщать неискушенных. И каждому станет понятно, что только добром можно жить. Добро от испытаний не погибает, врата адовы Церкви не одолеют. И мы даже и сейчас можем видеть, как Церковь выживает и очищается от зла. Большое только надо мужество иметь, чтоб устоять в испытаниях...

— Братцы, давайте что-либо споем, — кто-то высказался в умилении, многие начинали хмелеть.

— Милые вы дети, хорошие вы все, — растроганно заговорил о. Афанасий, он выпил меньше всех, но его глаза посоловели, и на лице разлилось светлое благодушие. — Только вот захватило вас трудное время. Но ничего, переживем!

В это время раздался громкий женский крик. Несколько было даже непонятно, откуда в доме появилась незнакомая женщина. О. Нестор вышел в соседнюю комнату, оттуда возвратился с раскраснелым Самуилом.

После этого случая вечер начал как-то комкаться, и все вскоре разошлись несколько с испорченным настроением. Что произошло? Многих интересовало, но как-то не хотелось ставить этого вопроса. Самуил ушел после всех, с какой-то злостью допив остаток вина из всех бутылок.

КОЛОКОЛ НАД ГОЛОВОЙ

От о. Нестора о. Никон пошел на ночь к о. Николаю, пришел поздно. О. Николай готовился к службе, разговаривать не пришлось. Проснулся о. Никон рано и направился по своим делам, ему нужно было сегодня крестить ребенка на дому, венчать одну пару, и все это втайне. Он даже иногда удивлялся, как все сходит, а ведь, наверно, знают, что он не подчиняется никаким запретам.

Солнце бодро выскочило из-за деревьев, протянулись длинные тени, и идти ему было весело и легко. И вдруг из-за одной небольшой избы, притулившейся у речки, она даже углом уперлась в дерево, чтоб не упасть, показалась невысокая женщина; торопливость, ее миниатюрность — все было очень знакомо, и о. Никон безотчетливо стал всматриваться в нее; она его не замечала и спешила куда-то, и случайно обернулась, лицо ее было сердитое и встревоженное, и неожиданно вздрогнула; о. Никон узнал жену покойного диакона. «Снова искушение?» — как-то выдохнул он, но ничего такого запретного не забилось в сердце, он на нее смотрел как на сестру, как можно вообще смотреть на человека, и смущение сразу пропало; она, вздрогнув, вероятно от неожиданной встречи, без смущения приблизилась к нему.

— Здравствуйте, о. Никон, — подошла под благословение, руки ее слегка дрожали, но не оттого, что они неожиданно встретились, а оттого, что она была чем-то расстроена, глаза были влажны.

— Вы чем-то расстроены? — спросил участливо о. Никон.

— Да, расстроена, — гневно и раздраженно сказала она. — Лезут учить других, а сами себя не научат...

— Что такое?

Она, глотая слезы, рассказала.

На рассвете к ней постучался человек: открыла и видит — Самуил, думала, что-то случилось, впустила его.

— Он вошел пьяный, виновато как-то улыбнулся, назвал меня по имени, тронул рукой за грудь.

«Ну, ты знаешь», — говорит. «Что знаешь?» — спрашиваю его. «Знаешь, — продолжает, — меня жена бросила, а я молодой, а у тебя муж умер...» — «Ну и что с того?» — «Давай...» — «Что давай?» — «Ну, сама понимаешь...» Я была возмущена, оскорблена, оплевана, как хотите. Только недавно распространено письмо, призывающее исправить недостатки, и вдруг такие низменные интересы?! Я не знаю, как мне удалось, но я выгнала его. О. Никон, скажите, что это такое? Если недавно я как-то положительно смотрела на всю их затею с письмом, то теперь смотрю как на человеческое честолюбие...

— Не надо так сгоряча, — пытался остановить ее о. Никон. — В письме есть много очень верного...

Она, не слушая, продолжала:

— Мне теперь все вспоминается о нем. Все, что о нем рассказывают. Он предал группу товарищей и, предавая, об этом им сказал: «Я вас предал». За это его и посадили, за то, что он прежде времени сказал, что предал их. В лагере он убил человека за то, что тот доносил на товарищей. Теперь он пишет письмо, это новая его провокация. Притом надо удивляться тому, как он предлагает исправить церковные недостатки — соблюдением советской законности. Как будто сама советская законность не несет в себе отрицательного. Он хочет вбить еще больший клин в церковный организм, чем он есть на самом деле, чтоб всех рассеять и разъединить. Это страшный человек!

О. Никон, кажется, не меньше был расстроен, чем она, в его голове проносились мысли: все увеличивается и увеличивается крест. Боже! Они, кажется, долго стояли у уже отжившей свой век избушки. Вспомнили о прошлом, вспомнили о покойном ее муже, тут ее лицо стало еще более печальным, она, кажется, в чем-то раскаивалась, чувствовала какую-то вину перед мужем. Она посмотрела вопрошающе на о. Никона, остановила свой взгляд на нем.

— А как у вас, вы не забыли свою несчастную жену? — Он, начинал понимать, о чем хотела заговорить с ним Елена, и не знал, что ей на это ответить.

Нет, в его душе не было ничего запретного, но ему становилось до боли ее жаль. «А может быть, можно?» — чем-то затемнялось сознание, и он, кажется, начинал путаться... Опомнились они тогда, когда чуть не над головой ударили в колокол. Звук был обрывистый, чугунный, и впечатление было такое, как будто ударили в голову.

О. Николай уже шел на утреннее богослужение, его ряса мелькнула на повороте.

— Вы не расстраивайтесь, — попытался успокоить ее о. Никон. — Все в жизни бывает. Жизнь — тяжелый крест. Но что бы ни было, все послужит на пользу, крест — спасение!

Теперь сознание о. Никона снова становилось ясным, снова уверенность и определенность наполняли сердце.

— Спасибо вам, но только очень грустно, очень печально, — лицо ее сжалось в кулачок, она сморщилась, как старушка, и по-старушечьи медленно пошла.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

УБИЙСТВО НА ГЛАЗАХ У ВСЕХ

То, что позволил себе Самуил, вскоре стало предметом обсуждения для всех, некоторые, в том числе и о. Иоаким, несмотря на то, что сам еврей, как и Самуил, от него отшатнулись. Самуил делал вид, как будто ничего не случилось, когда же в дружеской обстановке ставился вопрос — что случилось? — Самуил недовольно отмахивался рукой.

— Да что у вас, вся жизнь сошлась на этом, что ли? Ну, распните меня... Ну, виноват... Сорвалось... Но что с того?.. Все это может случиться с каждым, и не это характеризует человека.

Друзья после таких слов его как будто начинали понимать, но все-таки этот случай с Самуилом как будто был предназначен для того, чтоб получился раскол во мнениях. Если раньше предположительно, осторожно говорили, то теперь заговорили со всей серьезностью. Скептики утверждали:

— Ничего письмо не принесло, только разделило людей.

Вдумчивые опровергали:

— Ничего случайного не бывает, письмо и все остальное нужно, но вот как вести себя дальше — в самом деле тревожащий вопрос.

После неудачного собрания у о. Нестора все почему-то направились ко. Валериану. Первым пришел туда о. Никон, о. Валериан в это время сидел за письменным столом.

— А, пожалуйте, о. Никон, я вас-то и жду. Именно вас. Я очень много думал, — заговорил он сразу. — Чистые сердцем отцы, но нереально смотрят на жизнь. Они готовы все сокрушить и строить все заново. А нужно в тех условиях действовать, в которых мы живем. И какой ни епископат, а он епископат, и с ними надо считаться. Сегодня у меня состоялась встреча с иностранными представителями церкви, по поводу моего письма там говорят, что я конкретно поставил вопросы. Власти говорят, что религиозный вопрос в России отпадает, все утрясено, а нам нужно говорить: нет, религиозный вопрос существует... Вот это главное! — О. Валериан говорил несколько сумбурно.

Что ответил бы на все это о. Никон, если бы не ввалилось сразу несколько человек? Пришли один за другим, не сговариваясь между собой, и Алексей Яковлевич, и Игорь Семенович, о. Валериан почему-то тревожился, что может прийти еще и Самуил.

— Простите, гости, я вас, откровенно говоря, не ждал в таком количестве и не готов к встрече. Усаживайтесь, пожалуйста, где кто может и рассказывайте, что нового...

— Да как будто все сказано, — вздохнул о. Афанасий.

Всем хотелось заговорить о Самуиле и попутно о письме, ведь в основном-то это его детище, но никто не решался. После небольшой заминки очень осторожно стал говорить о. Валериан:

— Говорят, что-то с Самуилом произошло, как будто кто-то на него напал?

— Да, на него! — послышался женский голос, это заговорила только что вошедшая жена покойного диакона, она не знала, что здесь будет столько народа, пришла просто навестить матушку о. Валериана. Прошла в комнату к матушке. Когда захлопнулась за ней дверь, Алексей Яковлевич, робко оглянувшись, встал, прошелся по комнате и, глядя себе под ноги, заговорил:

— Мое дело, как апологета, защищать. Вот я и хочу сейчас защитить Самуила. Да, его поступок нехороший, но вы задумывались над тем, как понять человека? Задумались над человеческой природой?

О. Константин нетерпеливо перебил:

— Тогда можно извинить и всякий разврат?

— Но тут, кажется, разврат не совершился? — Алексей Яковлевич начал входить в роль защитника: — И неужели половой вопрос — это самый коренной вопрос? И если строго спросить: неужели в Самуиле этот грех затмил все остальное? И не грешат ли все этим грехом? Кто без греха, брось в него камень!

Это был вызов. Алексей Яковлевич, кажется, торжествующе обвел всех глазами, но грешных в таком деле, кажется, здесь не было, хотя никто не решался что-либо сказать. О. Валериан, дружески улыбнувшись и как будто не слушая этого спора, обратился к Алексею Яковлевичу:

— Алексей Яковлевич, я забыл вас поблагодарить — ваша статья о моем храме напечатана за границей...

Алексей Яковлевич скромно улыбнулся:

— Такое мое дело — защищать всех гонимых и обвиняемых.

— Адвокат! — пошутил кто-то.

— Ну а как у вас в храме? — обратился о. Афанасий к о. Валериану.

— Откровенного говоря, без изменений.

Кто-то незнакомо и неуверенно позвонил.

— Это кто же еще? — спросил о. Валериан, он явно начал пугаться такого множества гостей.

Звонок послышался снова, и за дверью заговорили; находящиеся в комнате переглянулись между собой: не выслеживают ли их? О. Валериан замахал руками:

— Плотнее, плотнее, чтоб не так было много... Сжимайтесь, — он прикрыл дверь в свою комнату и вышел в коридор. Немного постоял, хотел спросить, кто там, как звонок зазвонил нахально, дребезжаще, о. Валериан открыл дверь: — Пожалуйста, — перед ним стояло несколько человек. «Слава Богу, что все в гражданском», — облегченно подумал он и с присущей ему вежливостью предложил зайти, они не решались входить, топтались у двери. О. Валериан осмелел и сказал: — Пожалуйста, неудобно ведь позвонить и не войти, — несколько человек вошли в коридор, выстроились неловко в ряд, человек в очках улыбнулся и сказал:

— Извините, мы к вам по ошибке... Мы, представители общественности, ведем индивидуальную работу с верующими... но... вы священник... и...

— Да что вы извиняетесь? Вот и хорошо. И кстати даже: сегодня у меня памятный день и собратьев моих много пришло. Ну вот и вы. Давно пора быть диалогу верующих с неверующими... Отцы, принимайте гостей, — распахнул дверь о. Валериан.

Когда раскрылась дверь, отцы все стояли, человек в очках оказался давним знакомым о. Никона. Профессор, сотрудник журнала «Наука и религия». Профессор вскрикнул обрадованно:

— Ба, какими судьбами?

— Какими судьбами? — переспросил о. Никон. — Так вот незаметно и поймем друг друга. Встреча наша не случайна.

— Спорить будем! — кричал, шутя, профессор. — Мы вас обрабатывать пришли.

— А если мы вас обработаем? — шутил о. Никон.

О. Валериан под этот шумок прошел в комнату жены, вскоре жена со своей подругой стала готовить на стол.

Дискуссия не замедлила завязаться, начал профессор. Он говорил так, .что его мало кто понимал, только о. Никон улавливал тонкую иронию.

— Вот, отцы, ответьте на такой вопрос: почему вы решили, что нравственность — религиозного происхождения, от Бога? А я думаю, что здесь никакой нравственности нет. Ну какая здесь нравственность, что я буду делать хорошо за награду в Царстве Небесном? Вот делать хорошо ни за какую награду, я понимаю — это нравственно и достойно человека... О. Никон, — переменил тон профессор. — Пожалуйста, откройте окно, душно что-то...

О. Никон подошел к окну, немного помедлил, сосредоточившись на какой-то мысли, Игорь Семенович, встав из-за спины Алексея Яковлевича, обратился к профессору:

— Не знаю, как вас зовут, но я хочу вот о чем вам сказать. Или лучше ответьте мне на такой вопрос: может ли неверующий каяться?

— Каяться? — улыбнулся слегка профессор. — Это не по моей линии, тут у нас есть штатный антирелигиозный пропагандист, по-вашему поп, пусть он и отвечает, — профессор указал на молодого человека, тот встал со стула, принял позу такую, которую принимают, когда выступают.

— Каяться? — повторил он. — А в чем каяться? Человек сам для себя является мерилом, он видит, что плохо, и старается не делать плохого. А перед кем же каяться? Впрочем, можно перед обществом и раскаяться...

— Нет, товарищи пропагандисты, разрешите уж и я вмешаюсь в разговор, — не вставая со стула, заговорил о. Валериан. — Каяться можно перед Богом. А если нет Бога, нет и покаяния. Перед обществом каяться — это все равно что перед собой.

— Нет, не все равно, — запротестовал пропагандист. — Общество может быть чище и выше индивидуума...

— Но вы забываете, что и общество бывает разное, — продолжал о. Валериан.

— Конечно, разное, наше общество — самое передовое!

— Отсюда вывод, — хитровато улыбнулся о. Валериан. — Каково общество — такова и мораль.

— Конечно, — заключил пропагандист и обвел всех взглядом.

— В таком случае я молчу. Профессор обратился к Игорю Семеновичу:

— Простите меня, как вас зовут?

— Игорь Семенович, я не понимаю, к чему ваш вопрос: может ли верующий каяться?

— А к тому, — ответил тот, — что, если нет покаяния, нет и исправления, а следовательно, нет и нравственности.

— Ловко вы, — удивился профессор, и снова с тонкой иронией, — иезуит... Значит, наше общество: какая у нас мораль, та и останется? — покачал он головой. В разговор вступил Алексей Яковлевич:

— Я хочу поддержать своего коллегу. Мы с ним, как вам известно, — современные апологеты. Хочу его мысль пояснить примером. Вот есть у меня друг, Олег, иногда он является и моим соавтором. Многие его, наверно, знают, а кто не знает, тому могу напомнить. Он глубоко верующий, и наряду с этим пьянствует, развратничает. Правда, в последнее время меньше. Что его спасает? То, что он верит в Бога, он находит объект, перед которым может каяться. И вот покаяние дало результат: в конце концов он перестал пить, развратничать, а я еще забыл сказать: бросил наркотические средства. А бросить это — еще больше, чем перестать пить. Да если и о себе сказать, то и меня спасает то, что я знаю, перед Кем мне каяться. Каяться перед человеком — это обманывать себя, удовлетворять свое самолюбие, мы знаем такое покаяние. Видят люди, можно быть приличным, а не видят... Правда, при хороших обстоятельствах еще туда-сюда, а при плохих: с волками жить — по-волчьи выть. Вот цена такому покаянию!

— Разрешите, и я добавлю, — попросил слово о. Константин. — Недавно мне пришлось крестить сына одного крупного партийного работника...

О. Никон перебил:

— Знаменательное явление сейчас: у отпетых атеистов, крупных партийцев, вдруг дети становятся глубоко верующими, это сейчас не единичные случаи. О. Константин, продолжайте. Извините, что перебил вас. А то мог бы забыть мысль, в последнее время страдаю рассеянностью.

О. Константин продолжал:

— Так вот, сын этого партийного работника рассказал про своего отца: он — настоящий коммунист, скольким он устроил судьбу, бескорыстно всем помогает, а детям своим говорит: это моя слабость, вам так жить нельзя, иначе будете нищими...

— Интересно, — подхватил Алексей Яковлевич. — Добро у коммунистов то, что остается от прошлого, а выдохнутся — и становится нечем жить, скатываются до морали: бери, что плохо лежит.

— А что же тут интересного, — заиронизировал профессор. — Разве вы так и думаете, что коммунист не может помогать ближним и притом бескорыстно?

— Нет, — обрезал Алексей Яковлевич. — Задача их — достигнуть изобилия. А если нет изобилия, то к чему и жить? Жить только мечтой, что кто-то будет жить? Об этом только на бумаге говорят.

Пропагандист подал свой голос:

— Вот ваша религиозная мораль: вы даже не понимаете, что значит жить для блага общества...

— Понимаем, — не сдавался Алексей Яковлевич. — Сталин тоже жил для блага общества, но на поверку вышло, что истреблял себе подобных. Именно подобных. Сколько он уничтожил коммунистов! Понимаем, все понимаем, молодой человек, — добавил Алексей Яковлевич, усаживаясь на стуле. — Наверно, все-таки единственный коммунист — это отец того крестившегося, и то в самые интимные минуты... А в остальном вы лицемерите. Извините за прямоту.

— Да откройте, откройте окно, о. Никон, — попросила хозяйка, внося посуду. — Что вы там думаете? Да и помогайте мне, я одна, прислуги нет, — пошутила она, и вдруг у нее из рук вывалились тарелки. — Боже! — закричала она.

Никто еще ничего не понимал, в чем дело, все подумали, что она случайно уронила тарелки, некоторые подбежали на помощь.

— Смотрите, — кричала хозяйка. О. Никон распахнул окно.

В доме напротив на балкон выбежала женщина с девочкой, прижалась к стене. Медленно и уверенно с охотничьим ружьем вышел мужчина. Казалось, он разыгрывает какую-то сцену, только женщина кричала слишком испуганно и серьезно:

— Убивают! Спасите!

Мужчина спокойно выстрелил, женщина упала, прокричала: — Спасите! — Но раздался второй выстрел, и она замолчала, кричала только девочка.

— Мамочка! Дорогая мамочка...

Мужчина медленно, как будто сделал какое-то свое дело, скрылся в доме.

— Что это, в самом деле убивают? — спросил непонятливо профессор.

— Уже убили, — прошептал о. Никон.

Все побежали во двор, из всех подъездов высыпал народ, некоторые пробирались на балкон.

— Вот озверели, — кричали женщины. — При всем народе... На глазах у девочки отец убивать мать... — Заверещали автомобили, замелькали красные погоны милиции.

— Где же «Скорая помощь»? «Скорую помощь» надо.

— Милиция тут не поможет.

— Надо «Скорую помощь».

— Звоните!

— Люди, звоните!

— «Скорую помощь»! — Кто-то закричал истерически, девочка отчаянно плакала на балконе. Голос сразу охрип, дошел до сипоты, она все время повторяла, уже обессилев:

— Мамочка... Дорогая мамочка...

Наконец показалась машина «Скорой помощи». Столпившийся народ притих, шепотком просили друг друга посторониться.

— Не держите! — несся крик из дома. — Не держите меня, все равно убью... Ах вы! Туда вас... — все перекрывал поток вырывающегося мата.

В квартиру о. Валериана все возвратились перепуганными и растерявшимися. Из отрывочных разговоров во дворе выяснилось, что они уже давно немирно жили, часто ругались. Перед тем как застрелить ее муж, навещая ее родных, сказал в шутку:

— Сегодня убью свою морду.

Никто не думал, что это осуществится на самом деле, и вот... Рассказывали и то, что он был связан с какой-то бандой и ему было поручено убить свою жену. Многие стали припоминать, как убивают на улицах без всяких причин, убивают в пьяном виде. Вспомнили, как недавно в Москве появился бандит, который убивал детей, беспомощных женщин, убивал даже не целью ограбления, а с той целью, чтоб убить. Убить человека стало потребностью.

— Убивают потому, что яд убийства носится в воздухе, — сказал, кажется, о. Никон.

— Это как вас понять? — спросил один из общественников.

— Как хотите, но факт налицо.

— Но ведь убийства всегда бывали, — возразили о. Никону.

— То не такие убийства.

— Ну что ж, дошел до аффекта, потерял контроль над собой.

— А почему?

— Понимайте, как хотите.

— Вы хотите сказать, что не знал Христа?

— А вы что хотите сказать?

— А мы хотим вас перевоспитывать, — высказался профессор, снял очки и протер их.

Высказался он иронически, кто-то хихикнул, но смеха не получилось, слишком было трагично и серьезно сегодняшнее событие!

Наступил вынужденный перерыв, некоторые выглянули в окно. Во дворе толпился народ, приглушенно шумел. Сумерки спускались так, как будто прикрывали всех черной сеткой, петли сетки становились все уже и уже, наступала ночь. Вывел всех из молчания о. Кирилл.

— Вот если кто желает, приезжайте ко мне, — сказал он это, кажется, потому, что хотел что-то сказать, но что поразительно, первыми отозвались общественники.

— А где вы служите?

О. Кирилл стал охотно рассказывать про свой храм, о том, сколько труда он положил на него и как теперь храм выглядит.

— А вы не боитесь нас приглашать? — пошутил профессор. — А вдруг после того, как побываем, храм взорвут?

И тут начался разговор откровенный, уже в два часа ночи разошлись от о. Валериана, во дворе все толпился народ.

— Жива? — спросил у одной женщины о. Никон.

— Умерла.

О. Никон перекрестился.

— Царство ей Небесное.

— Страдалица она была, на трех работах работала, хотела собрать на кооператив. Таки ж подымается рука, — завздыхала старуха. — Вот и живи теперь. Живи да и оглядывайся, как бы кто не убил.

— Известное дело, — поддержала другая старуха. — Бога забыли, вот и убивают. А был бы Бог и в сердце, этого б не было.

— Старушечья мораль, — недовольно заключил пропагандист. — Много у нас еще есть фанатиков. Пошли! — и вырвался вперед.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

ТЬМА-ТО ВЕДЬ НЕ НА КРЕСТЕ?

О. Кирилл ждал гостей. Ждал потому, что в последнее время ему особенно становилось невыносимо.

Когда храм был отремонтирован, когда много народу хлынуло, тогда и пришло самое тяжелое. Старосту сменили, не указав на это никакой причины, прислали какого-то неизвестного, который ни разу-то в в храме не был. В последнее время только пришел, ко всему присматриваясь, особенно следил за тем, как бы кто не прошел крестить без оформления, подсчитывал, сколько покойников было, следил, как продают свечи. И как только прежняя староста отвела одного человека в сторону договориться насчет крестин без оформления, как этот подошел и стал напротив.

— Вам что нужно? — спросила прежняя.

— А то, чтоб было все законно.

На следующий день в сельсовет подано было заявление, вызвали прежнюю старосту и сказали, что она больше не может быть старостой. Пришел этот хмурый, подозрительный, глаза бегают, нос широко раздувается. Сразу же все поставил на учет. Записки об упокоении и о здравии стал подсчитывать, требовал, чтоб их приносили на подсчет, как только помянут. И записки несли из алтаря тогда, когда начиналась Херувимская. О. Кирилл запротестовал, но вся обслуга настолько сразу была запугана новым старостой, что не послушалась, повеление священника передали старосте.

— Пусть помалкивает, иначе расторгну с ним договор, — заявил тот. После службы о. Кирилл пошел к старосте сам поговорить по душам.

— Василь Филиппыч, ваше дело подсчитывать или не подсчитывать записки...

Староста не дал ему договорить:

— Подсчитывать буду. Церковь — это тоже учреждение, и все будет здесь на учете, воров всех выявлю. Весь чуждый элемент отсюда вытравлю, свили они себе здесь гнездо и гужуются. Не выйдет. Советская власть всюду есть советская власть, и в церкви тоже. Так что чуждому элементу будет крышка. — Он уставился злобными глазами на священника. — И вам, батюшка, надо подумать, где бы жить. Снимайте квартиру, а при церкви жить нельзя. Крышка!

О. Кирилла нелегко было запугать, он внимательно выслушал и терпеливо снова заговорил:

— Я не о том с вами хочу говорить...

— Как не о том? А о чем же? Записки подсчитывать буду, все поставлю на учет. Каждая копейка должна быть на учете. А у вас, батюшка, еще спросим, где вы брали материал, откуда брали средства на ремонт храма?

— Я не о том с вами хочу говорить... — требовал к себе внимания о. Кирилл. — Я хочу вам сказать, что записки на подсчет носить грех во время Херувимской...

— Какой Херувимской? Что ты, батюшка, каких-то херувимов выдумываешь. А какая разница, когда носить. Когда нужно, тогда и ношу.

О. Кириллу стало понятно, что этот староста не имеет никакого понятия о церковной службе и бесполезно с ним говорить, хотел было повернуть и уйти, как староста его остановил сам:

— Тут вам какая-то записочка есть.

Записочка была частного порядка от митрополита Никодима, в ней митрополит писал о том, что всякий ремонт в храме должен производиться с разрешения начальства, все должно оформляться законным образом.

О. Кирилл прочел, сложил и хотел было положить в карман...

— Стой, батюшка, а устно он передавал вот что. Чтоб перестал усердствовать, иначе загонит туда, где свету Божьего не взвидишь. А тут, смотри, какая красота. Так что намотай себе на ус, батюшка, и сиди тихохонько. Надо знать, что все идет к свертыванию...

— Простите, пожалуйста, — наконец вышел из себя о. Кирилл и заговорил своим голосом, твердым и решительным. — Вы знаете свои обязанности?

Староста рассмеялся, презрительно окинув бодрящуюся фигуру священника.

— Я-то знаю, а вот вы знаете ли?

— Так вот я вам заявляю: ваше дело хозяйственное, а мое — духовное, и все, что касается духовного, — я хозяин, — сказал и вышел.

С этого времени о. Кирилла стали брать измором. В скором времени выселили из церковного дома, заставили снять квартиру для себя в селе, это было даже неплохо. Вскоре верующие нашли о. Кириллу хорошую комнату у одной вдовы, правда, еще не совсем пожилой, и вот тут-то загуляла сплетня, и както на квартиру о. Кирилла пришел староста. Встретила старосту миловидная вдова лет тридцати пяти.

— Хорошая квартирка у батюшки, — покачал головой староста. — Да и хозяйка неплохая. Пожалуй, так можно жить. Скоро и детишки пойдут, — и тут же отрапортовал: — Передайте своему батюшке, что про него ходят всякие слухи, и я должен доложить... Вынужден доложить архиерею, — и вышел.

О. Кирилл сам попытался съездить к архиерею, тот принял его неласково.

— Я тебе говорил... Мы, по-твоему, не люди? Сам должен понимать, какое время. Смотри, как бы не вышло хуже. Лучших приходов у меня нет, худшие — можно...

— Да я не о приходах.

— Во всем остальном ладь со старостой.

— Но как же?

— Не знаю, — развел руками митрополит, сложил их на отросшем животе, вобрал свою голову в плечи, как будто приготовился к какому-то прыжку.

От архиерея о. Кирилл зашел к своему знакомому, партийному человеку. Жил тот в гораздо худшей обстановке, чем митрополит, две комнатки, очень просто обставленные, даже приемника не было. Жена, простая женщина, деревенского склада, гостеприимно пригласила:

— Заходите, он там у себя, прилег на кушетке. — Знакомый услышал, вышел к о. Кириллу человек лет сорока, усталый, с ранними морщинами, сединой и лысинкой, подал руку, поздоровались.

— Садитесь, чем могу быть полезен?

Только о. Кирилл захотел заговорить откровенно, он перебил его:

— Знаю. Все знаю. Может быть, больше, чем вы. Но не могу помочь. На вас обратили внимание не на шутку. Очень мне вас жаль, но здесь я бессилен. Если, как вы говорили: крест — сила, то подымайте его. Вот и все. А теперь, может, чайку попьем, а может, и маленькую раздавим? Эй, Надюш, подь сюда. Приготовь нам что-либо с товарищем...

О. Кирилл улыбнулся, ему вспомнились стихи Блока: «Что ты невеселый, товарищ поп?»

— Не беспокойтесь, Степан Петрович, я пойду.

— Да чего, не стесняйтесь.

— Нет, пойду.

— Ну смотрите.

Оба встали.

— Жаль мне вас, — еще раз сказал знакомый. — Может, надо переждать, на другую работу податься?

— Нет! — решительно сказал о. Кирилл. — Трудности не впервые. Вынесу!

Знакомый заморгал глазами и сказал как бы в напутствие:

— Будьте всегда таким. Я не знаю, есть Бог или нет Его, но если б все были, как вы, Бог бы открылся многим... — На прощание крепко пожал руку.

...Когда на следующий день о. Кирилл пришел служить, у него было очень тяжело на душе. Первые моменты службы проходили с трудом, нужно было большое напряжение, чтоб сосредоточиться на молитве, и вдруг к моменту Херувимской что-то необыкновенное накатило, так стало легко. Легко не оттого, что облегчились страдания, а оттого, что они приобретали смысл. Хор пел слаженно, задушевно, и вдруг вспомнилось все, что творится сейчас, и во всем этом он видел, что это Христос идет на страдания. Это Херувимская песнь. Он взял Чашу и вышел к народу. Столько народа еще никогда не было в храме, стояли благоговейно, плотно друг к другу, сосредоточенные, со страдальческим выражением лиц.

«Да помянет вас Бог во Царствии Своем... Господи, помяни всех. Помяни муки русских людей», — пронеслась у него мысль.

— Господи, помяни, — произнес он вслух.

— Да помянет и ваше священство Бог во Царствии Своем, — слышался ответный шепот.

Боже, такого состояния еще у меня не было. Господи, где я нахожусь, не видение ли это? Не во сне ли? Как хорошо. Как хочется всех любить, за всех молиться. Как несчастны те, которые не знают Тебя. И вдруг стены поплыли, храм закачался. О. Кирилл явственно слышал, как нарастал гул волн. Он чувствовал, что его сейчас подомнет набежавшей волной, и больше всего он боялся того, что уронит Чашу и прольет Пречистую кровь Христову.

У него было двоякое чувство, он ясно сознавал, что находится в храме, что здесь не должны быть волны, что он вышел с Чашей к народу, и в то же время сознавал, что это видение или сон.

А может быть, расстройство нервов, может быть, галлюцинация от перенапряжения? Все может быть. И вдруг среди этих разыгравшихся волн он увидел большой крест. Волны яростно лижут подножие, и видит, кто-то вцепился в крест. Видит сначала дрожащие руки, потом показались волосы, вынырнуло знакомое лицо. И тут он увидел самого себя. Сначала как буд-

то ознобом обдало, страшно стало, что увидел себя со стороны. Когда видят отдельно свое тело, это значит уже в том мире, врачи свидетельствуют — наступила клиническая смерть, но вскоре стало спокойно и хорошо на душе, и он перестал видеть себя, и ему открывался все больший и больший простор. И среди этих волн он увидел сияющий храм, особенно как-то горел золотой крест. Чей это храм, стал соображать о. Кирилл, и ему послышался голос: храм построил епископ Ермоген. Подобного храма о. Кирилл еще не видел. Он напряженно соображал, где мог епископ Ермоген достать материал для такого храма?

Говорят, он законным путем все оформлял, но где все-таки взял материал? А есть ли служба в храме? И вот о. Кирилл как будто оказался в этом храме. Да, служба есть, и служит сам епископ Ермоген, такой радостный. Голоса певчих слышатся очень слаженные, но сколько о. Кирилл ни старался вглядеться, где находится чудесный хор, он не мог разглядеть. Из молящихся сначала он увидел старушек в белых платочках, потом пошла молодежь, и только почему-то много нерусских лиц. И вдруг он оказался вне храма. Городской сад, музыка. А из храма несется пение, на какое-то время все прекращали танцевать и прислушивались, но потом снова молотили своими ногами. О. Кирилл пошел дальше. Интересно, идет по воде и не тонет, ему это очень приятно, и только никак не может понять, а как он все-таки научился ходить по воде. Пройдя довольно продолжительный путь, он увидел что-то страшное. Люди то ныряли, то снова выплывали на поверхность, хватали друг друга за волосы, схлестывались в смертельной схватке и шли ко дну. И среди этого кишащего народа он увидел стоящих на воде нескольких знакомых священников, они умоляли людей не нападать друга на друга, не разжигать ненависти.

И вот тут-то он видит что-то страшное. Видит, как на о. Никона нападала сначала староста храма, потом его жена, потом она изменила ему, он развелся с ней. Мальчик их, Андрюшенька, остался одиноким, смотрит детскими глазами, хочет молить о помощи и боится. Потом видит жену о. Никона, лежащую под забором и молящую: хочу причаститься! О если б вы знали, как я страдаю, говорит она. Потом о. Никон куда-то скрылся, появился о. Константин. Он сначала думал, что это о.

Никон, но нет — не он. О. Константин высокого роста, скитается где-то в пустыне, жена вместе с ним, такая преданная, потом вдруг она сурово посмотрела на о. Константина и отбежала. О. Константин чем-то взволнован. Что случилось с ним? И кто-то о. Кириллу говорит: жена о. Константина сделала аборт. «Какое несчастье! Лучше бы меня возвели на крест ». Жена о. Константина рядом за столом сидит и говорит ему: «А меня ты понимаешь?» И вдруг о. Кирилл видит, что жена о. Константина всходит на крест, простирает руки, и вот протягивается чья-то рука с молотком и гвоздями. О. Кириллу страшно, он хочет закричать. Потом о. Кирилл видит другого священника, о. Петра, тот стоит под дверью своей жены и молит ее: разреши хоть посмотреть на детей, я исстрадался без них. Жена приоткрыла дверь и закричала: уходи, не хочу знать тебя! Потом видит о. Кирилл много суетящихся епископов, волны усилились, и вдруг раздался грохот, взорвали храм. И около взорванного храма, сгорюнившись, сидит сам Патриарх и не подымает голову, кто-то говорит, что он уже не узнает людей, тяжело больной. А епископы мечутся, суетятся и не знают, что делать. И видит, наконец, о. Кирилл властно расхаживающего епископа, у которого он был недавно. Епископ как-то втянул голову в плечи, нахохлился и говорит: «Ничего, все хорошо...»

— Как же все хорошо? — Откуда-то прибежало двое бойких священников. — Посмотрите, что делается. — И видит о. Кирилл волны все усиливающиеся, глотающие храмы, людей, потопляющие землю...

Нахохлившийся епископ замахал на двух священников руками:

— Куда вы, не мешайте нам.

— Что не мешайте?

Епископ хитро улыбнулся и говорит в сторону: «Не слушайте их, это евреи. Евреи всегда возмущают мир. А ваш Самуил и того хуже: развратник и сексот».

И тут о. Кирилл увидел о. Иоакима, еврея. Веселый, жизнерадостный, но вскакивает на волну, взнуздывает ее и кричит:

— За мной! — И за ним множество молодежи, такой веселой, что о. Кириллу радостно стало.

— Ну, как же евреи возмущают? Вот он еврей, а разве он возмущает? И снова о. Кирилл видит волны, уже ослабевшие. Среди волн видит пустыню, пески, там заключенные, видит незнакомого священника, к которому пришла жена, и жена — еврейка. «Ну вот! — радостно вскричал о. Кирилл. — Кто пошел за своим мужем, а эта еврейка пошла...» Дальше о. Кирилл видит войну с немцами, видит Гитлера... Кости, кости, кости. Это расстрелянные евреи, и видит над этой грудой костей русского философа Владимира Соловьева, молящегося о евреях. Потом снова волны, снова пустыня, потом город, дерущаяся молодежь. И неожиданно он увидел фонтаны, подымающиеся из воды, они подымались очень высоко, светились и разрывали на какое-то мгновение сгустившиеся над водой сумерки. Люди смотрели на эти фонтаны, тянулись к ним, как будто в этих фонтанах был выход. Кто их пускает, эти фонтаны? — подумал о. Кирилл и увидел довольно улыбающихся Алексея Яковлевича и Игоря Семеновича, это они придумали такую интересную игру с фонтанами, чтоб ободрить унывающих людей...

В стороне от всех ползал на четвереньках бывший о. Василий, угрюмый, озлобленный, и как будто о. Василию о. Кирилл рассказал все, что он увидел, и это как будто сон...

И вдруг снова как будто вырисовывается взору о. Кирилла храм епископа Ермогена, но когда о. Кирилл вгляделся, то это оказался его храм, о. Кирилла, и ему почему-то стало жаль о. Василия. И вдруг он видит себя уже у Престола, Чашу он уже поставил на место. Когда это все сделал, не помнит, но вот сейчас ему нужно взять Чашу и дискос крестообразно и произнести:

— Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся...

О. Кирилл проснулся, то есть он не проснулся, он почувствовал, что просыпается, и ему стало страшно, что сон может прекратиться, а ему хотелось бы видеть, что будет дальше. Он пытался закрыть глаза, закрывал руками, но чувствовал, что просыпается, действительность просачивалась сквозь пальцы.

— Василий Иванович, вам предстоит поездка, — послышался знакомый голос. — Появился такой о. Кирилл.

— О. Кирилл? — вскочил на ноги бывший о. Василий, а ныне — пропагандист. — Какой о. Кирилл?.. Слушайте, какой я сон видел...

— Сны потом, вам предстоит поездка, вот билет, командировочное, поезжайте...

Бывший священник никак не мог опомниться. Поездка, сон... и какой сон! Таких снов он никогда не видел, да так они вряд ли кому и снятся, чтоб сон видел кто-то и так явственно рассказал, как будто ты сам все увидел.

Василий Иванович тупо смотрел в пространство, ничего не соображал.

— Ну что, не опомнишься? — закричала жена, она в последнее время стала нервничать, одолевали болезни. — Не проснешься никак? Просыпайся, нечего чесать затылок.

Наконец Василий Иванович проснулся, сообразил, что ему нужно ехать на очередную лекцию. О. Кирилл поразил его воображение; только сразу, когда проснулся окончательно, он решил, что о. Кирилл во сне и о. Кирилл наяву — это простое совпадение. Лекции делать он, как иногда говорил, насобачился, поэтому ехал в хорошем расположении духа, его ждали, пришли встречать на станцию.

— Ну как, значит, активизируются антирелигиозники, — и тут же спохватился и поправился: — религиозники, бой предстоит?

— Да, завелся здесь один мракобес по прозвищу о. Кирилл, — говорил завклубом, молодой и энергичный человек, выглядевший спортсменом, хотя спортом и не любил заниматься.

— О. Кирилл? — вздрогнул Василий Иванович, хотя и сейчас он думал, что это совпадение, но все-таки... — А староста какой здесь, тоже мракобес? — с некоторой тревогой спросил Василий Иванович. «Тоже мракобес?» — он спросил нарочно и думал, что сейчас скажут: да, мракобес, — но сказали не так.

— Староста — человек наш, проводит нашу линию.

Василий Иванович на долгое время замолчал, тупо и испуганно уставился в пространство.

— Вы что-то увидели? — спросил зав. клубом.

— Да нет, — рассмеялся Василий Иванович. — Это я так. Значит, не мракобес? Это хорошо...

А мысль зудила: «Странно, странное совпадение...»

— Может, зайдем в храм?

— Можно. Пойдемте. — Они направились в храм. При небольшом повороте храм сразу отчетливо выглянул. Солнце светило, и поэтому особенно сиял крест. Поразительно все было знакомо, точно во сне. Признаться, сначала несколько страшно стало. Василий Иванович поставил к самому себе вопрос: значит, есть Бог? И когда в сердце своем ответил: да, есть! — он почувствовал какую-то непонятную злобу к Нему. «Значит, есть? — напряженно думал он. — А я отказался от Него, и теперь мы — кто? Да, мы — враги». И он чувствовал, что не поп этот, не верующие, а враг ему именно Бог, и с Богом он должен бороться.

— Товарищ лектор, вы что-то очень хмуро выглядите, не случилось ли с вами чего?

— Ничего... Значит, повоюем?

— Повоюем, повоюем, — вторил завклубом, весело подбегая, ибо Василий Иванович очень ускорил шаг.

Как только подошли к церковной ограде, с другой стороны подошел и о. Кирилл, они столкнулись в узкой калитке. О. Кирилл смотрел себе под ноги, Василий Иванович, как зачарованный — на него. Да, точно такого он видел во сне. Все точно, все правильно — Бог есть, и с Ним-то и нужно воевать. Признаться, ему даже о. Кирилла стало жалко, он все вспомнил, что видел о нем во сне.

— О. Кирилл... Вы о. Кирилл? — дружественно окликнул Василий Иванович.

О. Кирилл остановился, вгляделся и не узнал, кто это. Когда увидел рядом стоявшего зав. клубом, смутился. Вроде этот дружественно называет его, но зав. клубом-то не расположен к нему, отчего же они вместе?

— Я вас не знаю, — слегка покачал головой о. Кирилл.

— А я вас знаю. Будемте знакомы, я бывший о. Василий.

— О. Василий? — переспросил о. Кирилл, вглядываясь в его улыбающееся лицо. — А где вы служите? — он как-то не обратил внимания на «бывший», хотя и расслышал.

Василия Ивановича опередил зав. клубом: — Сейчас он служит антирелигиозным лектором.

— Тогда чего вы от меня хотите? — Они вошли в ограду, Василий Иванович посмотрел по сторонам и предложил сесть, увидев у дерева небольшую скамеечку, о. Кирилл согласился.

— Вы в Бога верите? — спросил Василий Иванович у о. Кирилла.

— Странный вопрос, — ответил тот.

— Но что же Бог дает вам? Страдания. Одни страдания! Ваша жизнь — это сплошные пытки. Пытки отовсюду. Я вас знаю. Знаю и то, что вы мучаетесь, вас даже митрополит ненавидит...

О. Кирилл внимательно оглядел Василия Ивановича, ему странно стало, откуда тот все знает.

Василий Иванович продолжал:

— Ненавидит вас и староста вашего храма, скоро распустит слухи, что вы живете с вдовой, а вы — чистый кристалл... — Василий Иванович говорил все это, припоминая, что видел во сне, а о. Кирилл думал, что перед ним сидит чекист, в курсе всех его дел и на какую-то провокацию подбивает. Когда тот сказал: «Откажитесь от Бога и идите к нам», — у о. Кирилла не было сомнения, что это чекист, но он заявил вызывающе:

— Отказаться от Бога? Хорошо. А чем вы все замените? Устроите мою жизнь, я не буду страдать, но в состоянии ли вы это сделать? А гарантированы ли вы сами, что через некоторое время с вами не случиться беда? Вы хотите купить меня за тридцать сребреников? Предлагаете такую мизерную плату. А после этих тридцати сребреников — жить в памяти потомков? Они будут вспоминать нас с вами, и может быть, тут же забудут? Какими иллюзиями вы хотите меня забавить?

— Хорошо, — поднял руку Василий Иванович. — А Бог — это разве не иллюзия? А бессмертие, загробная жизнь — не иллюзия? Пусть тридцать сребреников — иллюзия, мизерно, но это, черт возьми, хоть на минуту, да реально. Вот я получил эти тридцать сребреников, — он сказал это с обидой в голосе, ибо почувствовал, что к нему относится. — А Бог и загробная жизнь — это даже и не тридцать сребреников, это вообще — ничто. Ну что скажете? За что же вы подымаете такие муки? Мне, откровенно говоря, вас жаль, потому что недавно и я был таким.

— Хорошо, — спокойно сказал о. Кирилл, — ответьте мне на такой вопрос: когда вы лучше бываете, когда страдаете или когда не страдаете? Что лучше? Блага земные или страдания,

что вас делает человечнее? Неужели вы не видите, сколько из-за благ земных всякой вражды, а за блага те не надо враждовать, хотя бы потому, что их никто сейчас не видит. Они только наше тайное добро. Но чем и жив человек, как не этим тайным добром? Ведь смысла нет, если нет ни Бога, ни загробной жизни, есть только зло, выходит? Посмотрите на мир, ведь он из зла весь соткан.

Василий Иванович злобно покосился на о. Кирилла.

— Ну и страдайте, несите свой крест, а нам крест неприятен.

О. Кирилл слегка рассмеялся:

— Да, это верно, вы креста боитесь. Между прочим, ответьте мне на такой вопрос: почему (вот я видел сувениры разных храмов) все воспроизводят точно, а крест боятся изображать. Рассказывали мне даже такую вещь... Знаете картину Репина «Запорожцы»? На груди у одного запорожца видели крест? Так доходят до смешного: воспроизводя эту картину, крест убирают, страшно даже изображение. А в школе, как некоторые учителя срывают у детей кресты? Да, крест вам страшен, и простите меня, если я скажу несколько резко: вот вы нас считаете фанатиками, а вы знаете кто — одержимые. Ваша молитва ко Христу такая: что Ты прежде времени пришел мучить нас? Христос для вас мучителен.

Василий Иванович нервно поднялся, нахмурился:

— Все это слова. Но мой вам дружеский совет. Бросайте, пока не поздно, все идет к тому, чтоб не было религии, и вам очень трудно придется...

— Но трудности, крест и выявляют-то настоящего человека, земные блага делают людей мещанами, крест делает людей героями.

О. Кирилл тоже поднялся:

— Какими побрякушками вы хотите нас купить? Вы подумайте о себе, мне вас больше жаль, чем вам меня. Вы живете иллюзиями и этого не понимаете, мы же, верующие, — реалисты. Мы смотрим на суть. Суть жизни в добре. А добро только через крест познается...

— Громкие слова! — иронически ухмыльнулся Василий Иванович. — Будем бороться. Посмотрим, кто победит, — и зашагал назад в калитку.

О. Кирилл проводил его долгим взглядом, благоговейно перекрестился и пошел в храм.

После встречи с о. Кириллом Василий Иванович понял, что сон его необыкновенный, но все-таки все это казалось случайностью. Все это, как говорят более сведущие в науке, просто непонятное явление, а не Бог. Но он, откровенно говоря, согласен признать и Бога, что Он есть, но этот Бог именно для него был врагом. Именно с Богом он должен воевать. Какой же это Бог, который заставляет страдать людей? Ему было по-настоящему жаль о. Кирилла, о загробном возмездии он почему-то не задумывался, реальность все-таки для него оставалось то, чем он жил: тридцать сребреников! «Пусть тридцать сребреников, — восклицал он, — а что там, никто не знает». Но Бог есть, и с Ним надо бороться, вспомнились ему слова одного пропагандиста: «Мы боремся не с верующими, даже не со священнослужителями, мы боремся с Богом. Боремся с Богом — за человека». Тогда над этими словами он не задумывался, а теперь понял их великое значение. За человека — против Бога! — вот его девиз. И самому себе он показался героем. Когда он был попом, он, кроме треб, ничего не знал, а теперь стал почитывать книжки, потерся среди народа, и язык стал подвешен. Встретился бы ему тот психопат Олег, он положил бы его сейчас на обе лопатки, он чувствовал в себе силу. Верующие сказали бы: нечистую силу, а он знает, что это раскованы его естественные силы.

Лекция была назначена на восемь часов вечера в помещении клуба, на всякий случай, чтоб пришло побольше, после лекции состоится просмотр фильма по произведению Тендрякова «Чудотворная».

К восьми часам вдруг сразу привалило много народу, Василий Иванович обрадовался, но когда всмотрелся в лица, то увидел, что все это была молодежь и вряд ли из них кто-либо был верующим. Правда, последним пришел один пожилой человек и уселся одиноко на скамейке, смотрел скучающе по сторонам, неужели тоже неверующий? Он хотел немного подождать и начать лекцию, как пожилому человеку принесли гармонь, и полились разудалые звуки. Уже кто-то запрыгал, кто-то запел частушку, завклубом поднялся на сцену;

— Товарищи, немного внимания... Кузьма Иванович, — обратился он к гармонисту, — перестаньте пока...

— Играй, чего переставать. После работы развлечься маленько надо, — приказали гармонисту.

Завклубом, стараясь перекричать гармонь, продолжал:

— Товарищи, сейчас послушаем лекцию, к нам приехал очень интересный лектор, бывший поп.

Все как-то захохотали:

— А чего нам попа слушать в клубе? Кто хочет попа слушать, пусть в церковь идет. Кузьма, играй. Эх, дай разойтись. Что человеку нужно? Пожрать хорошенько, а потом повеселиться. Вот если бы ты нам поставил хотя бы по маленькой, это было бы дело.

Но завклубом все-таки настоял на своем, Кузьма Иванович сложил гармонь и недовольно хлопнул дверью, уходя, некоторые ушли за ним, кто-то сказал:

— Ну что ж, давайте послушаем.

— А чего слушать, мы и так все знаем. Ну, нет Бога, и нет, а чего еще говорить?

Задребезжал звонок, охрипшим голосом призывая к вниманию. На сцену поднялся Василий Иванович, он уже научился выходить, вышел медленно, с достоинством, положил бумагу, выпил глоток воды, обвел всех глазами. Наступила тишина, и кто-то полоснул своим нетерпеливым голосом:

— Можно вопрос?

— После лекции, — обрезал завклубом. — Товарищи, послушаем, потом посмотрим кино...

— А нельзя ли сразу кино?

— Товарищи, — заговорил Василий Иванович, и к его спокойному голосу прислушались. — Я вас не буду задерживать...

— А почему не говорите: братья и сестры? Попы все говорят: братья и сестры, — кто-то выкрикнул.

Василий Иванович не слушал их, не слышал зазвеневшего беззаботного смеха, он таким же спокойным голосом, как и начал, продолжал:

— Я вас не буду разуверять, что нет Бога, я вам хочу рассказать сон...

— Сон? Это интересно. Слушайте, да перестаньте вы там, поп нам хочет сон рассказать.

— Да что там сон, — кто-то не унимался. — Я вам такой сон расскажу, что никаким попам этого не снилось. Может, он разгадывать сны может, это было бы интереснее.

Василий Иванович начал рассказывать сон. Долго не могли его слушать, потом, когда заговорил, что он видел о. Кирилла, которого в жизни ни разу не видел, прислушались. И совершенно замолчали, когда он сказал, что вот, приехав в их село, он именно увидел все то, что видел во сне, такой же на самом деле о. Кирилл...

— Интересный сон... Выходит, все-таки что-то есть?

Василий Иванович победоносно улыбнулся. — Да, есть. Есть чудесная природа, которую мы должны познать и обратить во благо человека. Товарищи, мы идем к коммунизму, — взял он на самой высокой ноте.

— Эту песню мы уже слышали не раз, — но голос все-таки прозвучал тихо и робко.

— Мы создадим зажиточную жизнь, мы завоюем космос... Товарищи, разве это не вдохновляет нас? Разве вам лучше вот то... — Василий Иванович сделал жест рукой, указав на антирелигиозный плакат, на котором был изображен крест: погасшая свеча, через свечу перекладина, и это составляло крест. В перекладине плачущие глаза, капают слезы, кругом тьма. И внизу красными буквами написано: «ТЬМА».

Кто-то возбужденно выкрикнул:

— Смотрите, да ведь тут-то и есть самое светлое — это крест. Тьма-то оказывается не на кресте, а кругом креста — тьма, крест-то ведь сам светлый...

Такой внимательной тишины, наверно, в клубе никогда не было, неожиданно отчетливо и светло в сгустившейся тьме вырисовывался крест.

1963—1967

Второе междукнижие

КУПЕЛЬ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО АВТОРА СТРАДАНИЯ СВЕТЯТСЯ...

Однажды, когда уже закончилась служба, окончились все требы, и я, сняв епитрахиль, собирался идти домой, к нам в храм незаметно вошел незнакомый человек, он испуганно посмотрел по сторонам, втянул свою небольшую голову в большой горб, даже подернул головой и, нахмурившись, подошел ко мне. Мне казалось, что он подошел ко мне с какими-то претензиями, но он, чуть склонив голову, попросил разрешения обратиться...

— Пожалуйста, — отозвался я.

— Я не знаю, — начал он, — верующий я или неверующий, но меня привлек к Христу тот крест, который несет сейчас ЦЕРКОВЬ.

— Интересно, — заинтересованно воскликнул я и предложил ему сесть на тех маленьких стульчиках, на которых во время службы у нас сидят пожилые и слабые женщины. — Расскажите, пожалуйста, поподробнее.

— Недавно я был в одной деревне под Ленинградом, где служит о. Кирилл...

— О. Кирилл? — переспросил я.

Он рассказал мне немного о нем, и я узнал своего товарища.

— Кланяйтесь ему, это хороший человек...

Незнакомец продолжал:

— Там мне пришлось быть на одном антирелигиозном вечере. Вечер как вечер, ничего особенного. Но было и особенное — это сон, который видел об о. Кирилле докладчик, и тот жест докладчика, который он сделал в сторону креста, он хотел посмеяться над крестом, а получилось наоборот. Когда он указал на крест как на символ мракобесия, я вгляделся в этот крест, вернее, в плакат, который был вывешен в клубе. Плакат был таков. Кругом креста тьма, и только светится крест, и главное — подписана-то «тьма» — красными буквами. Красная тьма... Это меня так поразило, что я вот решил креститься. Я понял, что те страдания, которые несут во имя Христа, светятся в нашей сгустившейся тьме...

— Ну а что вы знаете о христианском учении? Знаете хотя бы, во имя чего крестятся?

— Батюшка, — остановил он меня. — Я к вам пришел не держать экзамен на знание христианина, а пришел потому, что хочу креститься. Меня крест поразил, понимаете вы меня?

— Понимаю, — вяло сказал я.

Вяло я сказал не потому, что мне нужны были его знания, а потому, что он сам был какой-то непонятный, сидел оглядываясь, подергивался, и недоверчивыми были его темные цыганские глаза, я думал, что это провокация, стал немного беседовать с ним. Из беседы выяснилось, что он очень острый на язык, наблюдательный, но, что самое главное, я почувствовал тепло в его словах по отношению к нашей ЦЕРКВИ, он болел за нее.

— Ну что ж, раз верите, во всяком случае, хотите верить, то я вас крещу...

Скупо улыбнулись его глаза, он хотя сдержанно изнутри засветился.

Наш казначей, исполнительная женщина, хотела документально оформить его крещение, на это он посмотрел подозрительно и сказал, что с ним нет никакого документа...

— Как же так? Вы же шли креститься, — стала она упрекать его.

— Я шел креститься со своей верой...

— Так нельзя, у нас требуют...

Глаза незнакомца загорелись, руки его и горбик вдруг поднялись, как у кошки, на которую напала собака.

— Марья Карповна, оставьте нас, — попросил я.

Она посмотрела недовольно, что-то про себя прошептала и неохотно ушла.

Уборщице я сказал, чтоб та приготовила воду, она охотно согласилась, мы зашли в крестильню, небольшую комнату, это же была и канцелярия старосты нашего храма.

Я попросил раздеться пришедшего для крещения, зажгли свечи.

— Как вас зовут? — спросил я.

— Василий.

Крещение началось, я старался с душой вычитывать все молитвы. Когда помазывал елеем, потом мирром, крестящийся

молчал, даже, если можно так сказать, исступленно молчал, когда же пошли с зажженными свечами вокруг купли, новокрещенный, мне показалось, улыбнулся. Когда крещение окончилось, он вдруг выдохнул воздух из своей сдавленной горбом груди и произнес:

— Ух, как интересно!

После крещения он рассказал мне о том, что не знает своих родителей, что жил он, всеми презираемый, что все им понукали и он был озлоблен на всех...

В последнее время его заинтересовала Церковь, может быть, потому, что, как и его, ее теперь презирают, гонят. Он много собрал материала про церковь и при случае обещал показать его мне. Крещение ему открыло глаза. Если он раньше тянулся к Церкви, но ничего не понимал в ней, то теперь ему все здесь понятно и мило, он не чувствует себя одиноким.

Как-то он пригласил меня съездить к о. Кириллу.

— Ну что ж, можно, — сказал я, и мы поехали. Это было на октябрьские торжества, я в этом году не использовал еще десять дней своего отпуска.

О. Кирилла мы застали не одного, у него было несколько священников, они обсуждали октябрьское послание Патриарха и членов Синода.

— Ну как у вас, после службы будут читать послание? — еще не спросив, кто я и откуда, но заметив, что я священник, набросились на меня.

— Конечно, — тут только о. Кирилл узнал меня, и мы с ним облобызались, потом я поздоровался со всеми, многие священники мне были знакомы.

Обсуждение послания продолжалось и после моего прихода.

— Это предел, дальше идти нельзя.

— Я понимаю, пусть бы лично свое выражали, а то заставляют всех исповедовать ту ложь, в которой они сами запутались.

— Предатели.

— Шкурный интерес защищают.

— А вы думает, они не страдают? — послышался чей-то сдерживающий голос. — Это трусость толкнула их на такой путь.

— А трусость — это не добродетель, а преступление. Не могут, пусть уходят. Это полная капитуляция перед безбожниками.

— Патриарха Тихона, мученика, обвиняют.

— Проповедуют союз безбожия и верующих, как будто это союз партийных с беспартийными.

— Самое главное, что плюют на те страдания, которые понесла Церковь. Говорят, что у нас нет никакого гонения.

— Ложь, ложь, ложь!

Конечно, были тут и страсти, были увлечения. Кто-то заговорил:

— Вот находились люди, что обвиняли двух священников, выступивших со своим письмом. А как эти священники оказались правыми! Теперь все видно.

Пожилой священник заворочался позади всех.

— Да, — крякнул он. — Переборщили. Граждане-то мы все граждане, и каждый по-своему выражает свой гражданский долг, но зачем такой подхалимаж?

КОЕ-ЧТО ОТ СЕБЯ...

Хочу кое-что добавить от себя.

Однажды я понес на проверку свою проповедь, которую мне нужно было говорить в патриаршем соборе. Священник, который был поставлен на это дело, то есть проверять проповеди, прочел ее, крякнул, достал бумажку.

— Читайте, — это было октябрьское послание Патриарха, и добавил: — Ваша проповедь будет диссонансом этому посланию... — проповедь должна быть сказанной накануне того дня (воскресенье, 5 ноября), когда намечалось служить торжественный благодарственный молебен за власть и воинство ее.

Начал указывать на недостатки:

— Вот вы пишете, что помощь Божией Матери спасла Москву и Россию от поляков. Само слово «поляков» не подходит. Вы что же, антагонизм проповедуете?

Я перебил:

— Но ведь это история!

— История историей, но запрещают, и мне покойный протоиерей Смирнов в свое время указывал, что ничего подобного не должно быть. Хотите, я покажу, что он написал на моей проповеди.

Я не выразил желания.

— Да и подумайте о том, что в патриаршем соборе будут и безбожники, и что они скажут: ого, значит, — помолись, и все, а где сила оружия?

— Но ведь проповедь для верующих!

Он меня не слушал и продолжал:

— И зачем магометан называть, какое это глумление над святыней, на что это вы намекаете?

Чтобы спасти проповедь, я сказал:

— Ну вы вычеркивайте, с чем не согласны, — думая, что я буду все равно все говорить, главное, добиться бы разрешения!

Чтобы опорочить проповедь, цензор продолжал:

— И что это за проповедь, ни одного молитвенного обращения к Матери Божией. Это скорей статья, чем проповедь. Я поражаюсь, как вы ее составили... — Лицо его сделалось кислым, всегда играющая улыбочка в небольшой бороде сменилась суровостью, недоступностью, перед собой я видел разгневанного человека. Переминаясь с хромой ноги на здоровую, он, то делаясь выше, то ниже, наконец решительно заключил:

— Проповедь надо переделать. В корне переделать!

— Это что же, идеология журнала «Наука и жизнь»? Он меня не слушал:

— Вас не поймут, вы политическую написали, а нам это запрещено.

— Политическую? — подхватил я. — Неужели политика — вера в помощь Матери Божией?

— Это предел, — беседуя об этом священнике с настоятелем в Вишняковском переулке г. Москвы, сказал я, — этот священник раньше служил в его храме.

О. Всеволод спокойно улыбнулся:

— Нет, это уже перешло всякие пределы.

— Он безбожник? — спросил я.

— К сожалению, нет. Но что ему скажут, все готов сделать. Сказали вот как-то ему, что, где находятся его дети, в детской, не должно быть икон, и он вынес их оттуда...

ЖЕЛАНИЕ ПОМОЛИТЬСЯ

Вскоре кто-то рассказал, что слышал: два священника, написавшие письмо, ушли из церкви, они решили, что иметь молитвенное общение с теми, кто лжет на каждом шагу, — значит самому участвовать в этой лжи.

Сначала это как будто всех поразило, даже показалось убедительным, сказали, что, когда будут читать в церкви послание, все молча покинут храм, что так в самом деле и вышло.

— Прихожу я это в храм, — рассказывала одна старуха другой, — что-то народ неспокоен. Спрашиваю, что случилось, мне не отвечают. Я пролезаю вперед, а там, милая моя, митинг начинается. Я перекрестилась да скорее из храма, а про себя шепчу: «Да воскреснет Бог и расточатся врази Его...»

— Отделяться, уходить из церкви — это все-таки пасовать...

— А что же делать, участвовать во лжи?

В это время вошел очень древний старик. Рассказывали, что крестьянин этого села, ему было больше чем сто лет. Был он глуховат и подслеповат. Он как будто никого не видел и не слышал, прикрываясь одной рукой, выглядывал из-под другой, дошел до стола и, наверно, все-таки кого-то заметил, так, во всяком случае, показалось.

— А чего это столько собралось, беда случилась, ась? Матрона, что это такое?

Ему, наверно, показалось, что Матрона что-то ответила, — старик продолжал рассуждать как бы сам с собой:

— Когда беда бывала на русской земле, русские люди молились, накладывали на себя пост. А теперь стали митинговать, на свои силы рассчитывают. А силы наши, вишь, слабые. Грешные мы люди, осуждать можем, а делать что, не знаем...

О чем говорил старик, понять было трудно. Высказавшись, он даже вышел, ничего не сказав хозяйке, но нам стало многое понятно: беда на русской земле, мы мечемся, кричим, обвиняем друг друга, а надо общее покаяние, к Богу обращаться надо... — стали расспрашивать у хозяйки, что это за странный старик.

— Неизвестно откуда, странник Божий. Иногда стоит на паперти, собирает деньги, разносит бедным. Иногда вдруг встретит человека и начинает уличать его в грехах, а старик бодрый еще. Зимой ходит, как летом, иногда даже босиком. На Крещенье Гос-

подне всегда купается в проруби. Во всех храмах бывает, больше всего живет в нашем селе, ночует в бане. Его все жалеют, каждый считает своим долгом зайти к нему и принести ему что-либо. Утром он всегда спит, кто заносит, кладет и уходит молча. По ночам, говорят, слышат, как он молится, со слезами, с плачем...

— Может, это юродивый?

— Почему юродивый, просто принял на себя такой подвиг...

— Праведник?

— Праведник и есть, такими мы и живем, незнаемыми, странными...

— Дело Божие для людей всегда странно.

Не заметили все, как стали разговаривать мирно и спокойно, и снова кто-то нарушил спокойствие тем, что рассказал нам, как Алексей Яковлевич написал письмо папе римскому, рассказывая тому о положении русской церкви. Восхвалял папу, поражался его мужеству, указывал ему на наши недостатки. Говорил, какие видоизменения должно внести в православное богослужение, заявлял о своей вере в Бога...

— А с какой целью он написал?

— От своего имени или от лица всех русских людей?

— От лица русских...

— Еврей от лица русских? — кто-то посмеялся.

— Нет, это уже слишком... Так русский написать не может! — И незаметно перешли в защиту Патриарха: — А знает ли этот еврей, что, если Церковь стоит в таком виде, в каком она есть, со всем церковным укладом, при плохой патриархии она все-таки больше, чем красноречивые статьи.

Тут, кажется, начиналась другая крайность.

— Видно, дело Божие надо тихо и молча делать, — вздохнул о. Кирилл, и это послужило новым поводом к умиротворению; и вот тут-то все почувствовали, как захотелось помолиться, высказать Богу все, что накопилось в душе, только Он может понять и оценить все как следует; тихо, задушевно запели, нашли сразу именно тот тон, который был нужен. За молитвой не заметил, как снова вошел тот старик и молился вместе с нами.

1977

P.S. Третья книга будет посвящена вопросу воскресения, но, прежде чем напишет ее автор, ее должно написать время, а пока на этом конец.

КНИГА ТРЕТЬЯ
ДВОЙНОЕ ТЕЧЕНИЕ

Как бы ни велико было падение наше и унижение наше — верьте, раз чаша выпита до дна — воскреснет Бог и расточатся врази Его. Вместе с Церковью воскреснет и Россия. «Христос воскресе!»

Князь Е. Трубецкой, из письма.

Хочу напомнить читателю, что мою книгу нельзя воспринимать как списанную с натуры. Факты действительные, но люди не те, которых можно сейчас встретить — это собирательные типы, даже те, которые выведены под собственными именами.

Д.Д.

ПЕРЕХОД К ТРЕТЬЕЙ КНИГЕ

Попытка с письмом не дала особых результатов. Слегка пошумели за границей. Правда, говорят, теперь уже не так свободно нашим архиереям, бывающим там, можно говорить о том, что у нас нет гонений на Церковь. Вот однажды, когда митрополит Никодим в одном высокопоставленном собрании заговорил об этом, другой митрополит или даже Патриарх (не из наших!) поднялся и сказал:

— Досадно слышать ложь из уст митрополита. Нам доподлинно известно, что в России не прекращаются гонения. Гонения идут самые жестокие. Об этом говорит и «Открытое письмо» двух московских священников...

Митрополит Никодим поднялся и покинул зал. В знак протеста, наверно?

После неудачи с письмом не собирались так определенно обсуждать текущие дела Церкви, как когда-то, может быть, научились, что всякие собрания расцениваются как политические акции. Собирались случайно, даже не по определенному поводу, и вспыхивали споры.

Любят спорить русские люди. Нет, теперь нужно сказать, что все люди, населяющие Россию, хотя вернее все-таки СССР. Вот и сейчас, не успели собраться, как вспыхнул спор. Я не понимаю, в каком это доме было, да и в доме ли? Может быть, даже в клубе, может быть, в каком-то учреждении.

Прежде всего хотелось бы заметить, что на этом собрании я объявил, что решил писать третью книгу «Волною морскою»...

— Как? — кто-то спросил. — Помнится, что вы говорили: прежде чем вы напишете, ее должно написать время. А, кажется, вы ее хотели писать о воскресении. Неужели вы думаете — воскресение началось?

— Уже есть, — сказал я определенно.

— Как, Россия воскресла?

Я улыбнулся и сказал, что сейчас самый крест-то и есть, девятый вал... Но... — Я уже написал третью книгу, но во время последних обысков была изъята рукопись. — Я немного помолчал и добавил: — И все к лучшему. Во время обыска мне вдруг пришла мысль. Волны, которые теперь гуляют в России, имеют двойное течение: одно на поверхности, другое в глубине. Я так хочу и расположить свою книгу...

Нас на некоторое время установилась тишина. После снова вспыхнул спор. Я помню только отдельные голоса. Я даже забыл последовательность спора. То, что я по окончании вечера записал, предлагаю своему читателю.

— А в самом деле, мыслимо ли это, что после пятидесяти лет Советской власти, когда разгромили и уничтожили всю святыню, когда развратили народ, вдруг всерьез интересует религиозный вопрос...

— Всерьез? — это кто-то хотел возразить. Рассказчик поймал это намерение и ревниво возразил:

— И именно молодежь. Старое поколение, делавшее революцию, отживает, а молодежь... Если так об этом задуматься, то ведь это чудо происходит?

— Но сколько молодежи?

— Да сколько бы ни было, но она есть всюду: в институтах, среди партийных, вернее, в семьях партийных, здесь больше всего, среди евреев... Да всюду!

— И серьезно верит?

— Я думаю, что так в девятнадцатом веке не верили. Вера у каждого имеет свою историю. Какую интересную книгу можно написать об этих уверовавших...

Кто-то перебил и сказал, что такую книгу писал один священник, но ее во время обыска изъяли...

— И как называлась книга?

— «Те, что узрели Бога...»

— Интересно. Люди видят своего Бога. Бог распят в России... Это самое убедительное!

Какие бы гонения еще ни продолжались, какие бы обыски ни были, но люди узрели своего Бога. Это не отвлеченный Бог, а страдающий вместе с нами...

— Вот и крест. Христос возведен на крест, Россия возведена на крест... Казалось бы, гибель, но это, оказывается, воскресение... Вот оно как делается!

— А все-таки, как ни говори, евреи очень много виноваты во всем этом...

— Фарисеи и книжники не успокаиваются и ищут, как бы обвинить Христа и возвести Его на крест...

— Так было, так будет...

— Сейчас на мировой арене: еврейство — сионизм и христианство...

— И нет другой силы?

— А фашисты?

— А вы слышали, что и фашистские душегубки — это еврейское дело? Это их политика. Плебс уничтожают... Чтоб раздуть свои бредовые идеи. Они на крови своих собратий делают свое дьявольское дело. К сожалению, это не все евреи понимают, и сионисты легко играют на их национальных чувствах...

— Не люблю я евреев. Они погубили Россию...

— Антисемитизм — это тоже на руку евреям. Победить сионизм может только христианство. Только любовью достигнем победы. Нам всегда должны слышаться слова Христа: «Прости им, Отче, не знают, что творят...»

— Нет, они знают, что творят.

— Это знание-то и есть незнание. Я еще раз утверждаю, что не знают, что творят...

— Тогда, по-вашему, нужно простить и коммунистов, и фашистов?

— Этих-то скорее всего можно и простить. Если на то пошло, то среди коммунистов есть много святых, мучеников...

— Ба, что я слышу?

Не знаю, откуда в это время вышел на середину Самуил, хмурящийся, уставившийся в одну точку. Все думали, что он заговорит, но он ни к кому не обратился и не подал никакого знака для разговора. Стал, нервно сжал свою бороду, уставился в одну точку. Спор продолжался своим чередом.

— В России появилась новая сила — славянофилы...

— А, это из «Молодой гвардии»?

— Но ведь это фашисты!..

— Тогда я вам скажу вот что. Не появилась славянофильская сила, а она давно уже есть в России, еще, может, раньше Хомякова и Киреевского... И не только в «Молодой гвардии», уверяю вас.

Кто-то молодой и энергичный перебил разговор:

— Я вот думаю, могли бы сами русские додуматься до того, чтоб взрывать храмы, памятники старины, как теперь выражаются? Нет, не могли бы... Можете вы представить, чтоб хозяин в своем доме все разбивал и уничтожал? Только в сумасшедшем состоянии.

— Так в России сумасшествие и есть.

— Нет, не сумасшествие... То есть я выражусь несколько иначе — одержимость. Но ведь это опять-таки чье-то дело?

— Еврейское, чье же!

— Это утку пустили эмгэбисты, хотят реабилитировать себя. Скоро вы станете защищать советскую власть...

— А что же. Я вот так думаю, что единственная власть сейчас в России — советская власть. Не будь советской власти — Россию растащили бы по кусочкам. Евреям она нужна? Более того, коммунизм не нравится евреям. Коммунизм оказался палкой о двух концах. Одним он ударил по нам, другим ударил по ним...

— Единственная страна, где не всем завладели сионисты, — это Россия, за границей они давно всем владеют.

— Но там свобода.

— Какая там свобода? Свобода у нас.

— Ха-ха. Скоро вы Сталина оправдаете.

— И Сталина, и Ленина... И скажу, что это русское явление.

— Ну вот это верно. А хотят Ленина сделать евреем. Даже Сталина... Но вот, оказывается, это русское явление. Да, это правильно!

— А кто убил Царя? Евреи или русские? — кто-то выкрикнул, кажется, пожилой или средних лет человек. Выкрикнул с каким-то надрывом. Крик как будто придавил всех, все растерялись, потом где-то непонятно глухо зашептались:

— В России много монархистов стало...

— Да в России и фашистские организации есть.

— Чего только нет в России!

— В России только нет Небесного Царя.

— Нет, Небесный-то Царь и есть. «Всю тебя, Земля Родная, в рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя».

— Благодушие русское...

— Нет, русская вера, смиренная, всепрощающая.

Волна спора, кажется, стихала. И вот в этот стихнувшей толпе вырисовалась отчетливая фигура Самуила.

— Антихрист грядет, Иерусалим восстанавливается. Быть катастрофе... — он, кажется, немного покачивался. В руках своих он держал стакан с белым вином. И вдруг он улыбнулся. И неожиданно предложил тост:

— Пью за Николая... — не каждый понял, за какого Николая. Поскольку здесь были писатели, то один из них воскликнул:

— За Николая Асеева?

Самуил недовольно посмотрел на того, отмахнулся от него неторопливым движением руки, как будто очертил магический

круг, глаза его загорелись каким-то зловещим светом. Потом он обвел всех своими зловеще загоревшимися глазами, все поняли, что надо и им наполнить свои стаканы. Сначала зашумели, наполняя, но Самуил смотрел на всех магически покоряюще, и все молча вытянули руки с наполненными стаканами.

— Единственный Николай у нас... Царь Николай Второй! Так, как умер Он, может ли кто умереть? Пью за мученика Царя... За царя Героя! — Тост был слишком смел и неожидан. Нерешительность затуманила глаза присутствующих. Стаканы начинали качаться в вытянутых руках, никто не пил. Самуил глядел торжествующе, победоносно. Он и еще улыбнулся. Как будто вырвал из себя улыбку и подобно плевку бросил в вытянувшиеся лица... Была минута, когда казалось, он выпьет один среди робко притихшей толпы, один за русского Царя... Но тут подошел к нему с ласковой улыбкой о. Иоаким:

— А я пью за советскую власть... — и не успел Самуил проглотить горючую влагу, как о. Иоаким выпил, крякнул и поднял опустевший стакан. Самуил помрачнел, но не сдался, он снова повторил настойчиво:

— Кто поддержит мой тост?

Но о. Иоаким сбил тост Самуила, все зашумели и выпили неизвестно за что, а он все еще продолжал стоять, хмурясь, с протянутой рукой. Наконец он покривился, поморщился и выпил молча, подошел к столу, отломил кусочек хлеба, понюхал его, обмакнул в соль и сжевал.

ГЛАВА ПЕРВАЯ
ПЕРВЫЕ ПОМИНКИ

Вечер начинался...

Вернее, это был не вечер, это были поминки по умершей матери о. Андрея. В этом я разобрался тогда, когда написал эти строки.

Помещение мне показалось чуть ли не учреждением. Дело в том, что сестры о. Андрея поменялись квартирами и съехались в одну большую комнату. Метров около сорока, в старом доме с высокими потолками. Одна комната — одна квартира. Правда, тут еще кодидор-прихожая, тут еще кухня. Неудивительно,

что это место, где мы находились, показалось клубом или учреждением.

Выпили слегка еще.

Хмель еще не завладел так головами, чтоб повести их в противоположную сторону. Он только развеселил сердца, развязал языки, и начались воспоминания. Сначала вспомнили о покойной, вспомнили о том, как она всю жизнь мучилась. Не знали, какая болезнь, а оказался огромный камень в печени. После операции, вернее даже не сразу, а когда она вдруг стала поправляться, когда ее причастил о. Иоаким... она удивилась, как он любил ее, даже плакал, исповедуя... после того, как побывал у нее сын, о. Андрей, и убедился: «Ну теперь мама пошла на поправку», он не хотел уходить от нее, а она сказала:

— Иди, надо и с женой побыть... — меж тем, как с женой о. Андрея у нее не все было в порядке, после всего этого рано утром она почувствовала себя плохо. Ее родная сестра, находившаяся здесь, предложила ей снова причаститься. Она вдруг оживилась; как будто дала согласие.

— Отца Константина... Мать махнула рукой:

— Ему, наверно, некогда. Ладно уж, — и в десять часов она умерла.

О. Константин тоже сидел на этом вечере, он слышал обо всем об этом, и ему было даже в чем-то обидно, что причастить позвали о. Иоакима... Он помнит интимный разговор, когда покойная ему говорила:

— Как надоели мне эти евреи, — а вот причастил в последний раз именно еврей.

В продолжение всего вечера о. Константин сидел одиноко, не вступая в разговоры. Вернее, он даже рассказал об одном случае, рассказал интересно, это потом я запишу об этом, но его как будто не замечали на этом вечере. Сейчас встал молодой человек со шрамом на лице, которого крестил и венчал о. Константин, но который потом примкнул к о. Нестору, о. Андрею и Самуилу, ожидая катастрофы, убегал с ними в Грузию, в горы... Он встал, посмотрел на всех.

— Я предлагаю тост за покойную. Может быть, на поминках и не хорошо предлагать тосты, но я предложу. Это была достойная женщина, она воспитала такого сына, который безбо-

язненно поднял голос против той неправды, которая творится у нас. Голос прогремел на весь мир.

Тост поддержали, хотя и не совсем дружно. К тому времени в письме уже начинали разочаровываться и говорили, что в нем не правда, а полуправда, а полуправда хуже иной раз, чем ложь. Иные говорили, что письмо — это очередная провокация Самуила. И все это было причиной тому, что тост поддержали не совсем дружно, и сразу же после тоста о. Никон предложил пропеть «Вечную память». И после того, как пропели «Вечную память», когда все пришли в умиротворенное настроение, о. Константин и предложил свой рассказ. Но только бы ему начать рассказ, он, кажется, уже начал рассказывать, хотя никто не мог понять, о чем он рассказывает, как недалеко от о. Константина кто-то заговорил о книгах, написанных о нашем времени. О нашем времени все почему-то стали судить по лагерю. Тридцать седьмой год описала Гинзбург, сороковые-пятидесятые годы Солженицын, последние годы «Мои показания» — Марченко, а двадцать вторые годы, самое начало, описал Ширяев в «Неугасимой лампаде». Последнюю книгу не все читали. И оказалось, что читал самый молодой человек из нашего общества. У него засветились глаза, он вышел вперед и почти со слезами рассказал, как несколько каторжан соловецких лагерей, улучив момент, ночью служили панихиду по убиенному Императору... Рассказал он простыми словами, сбиваясь, путаясь, мне кажется, что его душили слезы. Но вдруг все так примолкли, как будто к чему-то прислушались, и наступила минута молчания. Все невольно почтили память убиенного Императора. Но после этой минуты молчания, как вихрь, неожиданно пронесся чей-то протест:

— А все-таки он был кровопивец...

Рассказчик растерялся, уставился расширенными и даже обиженными глазами на протестующего, захлопал по-детски веками, даже как будто смахнул слезу и тихо прошептал:

— Разве можно так? Он святой человек... — и этот детский протест, моргающие глаза, маленький кулачок перед глазами снова создали тишину. Но тишина не могла установиться, послышался чей-то бас, с некоторой хрипотцой:

— Пусть Император в чем-то виноват, но дети? — Снова выскочил на середину молодой рассказчик и снова горячо запротестовал:

— Алексей... Он был больной, страдалец, а его расстреляли... За что? — И вот это прозвучавшее «за что?» было брошено, как бомба. Все перепугались, притихли. Но слово-бомба не взорвалось, и кто-то снова стал обвинять Императора:

— Если б он был немного умнее, может, революция не совершилась.

Когда вслушались, кто заговорил, то оказалось, что говорил Самуил, и все поняли, что, коль заговорил он, значит, спор со всякими политическими страстями, и кто-то, чтоб отвлечь внимание всех, начал рассказывать о неведомых миру мучениках. О крестьянах, сосланных на Север, об отказавшихся сражаться на фронте, о том, какие страдания приходится выносить всем, кто уверовал в Бога.

— Да что говорить? Мучений много. Настоящие верующие все сейчас мученики...

И тут о. Константин встал, привалился спиной к столу, и все поняли, что теперь наступил его черед рассказывать. Он какое-то время помолчал, как будто ожидая, пока все сгрудятся вокруг него, и начал спокойно и уверенно. Начал так, что никто в течение всего рассказа не мог перебить его, хотя он много ставил вопросов и делал много недоговоренностей.

— Вы говорите, мученики? А я думаю, что блаженные люди. «Блажен умирающий в Господе». Мученики — они, кто мучает. Вот по Москве ходит такой рассказ. Он (кажется, это было после ранения) позвал к себе митрополита Трифона. О чем говорил с митрополитом — осталось тайной. Надежда Константиновна ходила и ломала руки. Что случилось? Мыслимое ли дело, с мракобесами стал разговаривать... И представьте себе теперь его одиночество! В самую критическую минуту ни с кем не заговорил, кроме как с идеологическим противником. Это были крик и боль его души. Другой, его описал очень жестоко Солженицын. Никому не доверял, всех боялся, затравлен был... Представьте, сплошное славословие, и ни одного друга. Представляете вы его муки?

Это, так сказать, из больших людей. А вот из маленьких, рядовых. Мне рассказывала одна пожилая женщина, профессор на пенсии. Когда она преподавала, с ней почему-то хотел всегда ходить на прогулку один студент. Студент несколько странный, чем-то всегда взволнован, и руки тряслись, как у старика. Она ему раз говорит: «Слушайте, почему вы всегда хотите прогуливаться со мной? Есть много молодых, с ними бы прошлись...» Он в минуту откровенности ей и говорит: «Мне с вами спокойно». И рассказал ей о себе. Он был участником расстрела царской семьи. Рассказал ей, что ему часто снятся расстрелянные, особенно дети, и он нигде не может найти себе покоя. Вот только, говорит, когда хожу с вами, мне становится спокойнее. Женщина-профессор была верующей.

Недалеко стоявший от о. Константина Самуил улыбнулся в бороду, фыркнул, покачал головой и тихо произнес:

— Не может быть, чтоб чекист так переживал. — Но на это никто не обратил внимания, только о. Константин посмотрел на него несколько пристальнее обычного и продолжал прежним голосом:

— А то вот я причащал сам одного чекиста. Не знаю, чем он заболел, но больной был безнадежный. Кто позвал причащать, сейчас тоже не помню. Вхожу. Встречает, наверно, жена, еще молодая, молча, с безучастным взглядом. Молча показывает на комнату в левой стороне и сама молча скрывается в комнату справа. В открытую дверь я увидел, как говорят, такую обстановку, какой у нас ни у кого нет. Вхожу в комнату больного. Затхло. Сыро. Он лежит на небольшой кровати, сам огромного роста, ноги не помещаются, висят... Высох, пожелтел. Начинаю исповедовать. «Мне очень тяжело, — начал больной. — Я не знаю, верю ли я в Бога, но мне почему-то захотелось рассказать вам все. Я очень многих расстрелял из вашего брата. Я многих отправил на Север. Оставлял их там на произвол. Они замерзали. Почему-то очень жаль маленьких детишек. Я и сейчас вижу их испуганные глазенки. По ночам мне снятся кошмары. Нет, они и наяву бывают. Я иногда слышу крик, и именно детский. Я уже несколько дней подряд не сплю». Он закрыл утомленные глаза. Мне показалось, что он хотел еще что-то вспомнить. Я молча стоял над ним и смотрел на него. Я хотел его

пожалеть и, откровенно говоря, пожалеть не мог. Я видел, что передо мной лежит палач. Он поднял на меня глаза. Я думал, что он будет еще что-то рассказывать, а он только смотрел на меня. И я начал вглядываться в его глаза. Боже, что я там увидел! У человека таких глаз не бывает. Они были, как это точнее сказать, страшные, но сейчас я почему-то пожалел его. «Помогите! — вдруг прохрипел больной. — Детишки... Я думал: все, мертвые не могут говорить, а оказывается, мертвые так говорят, как живые говорить не могут...» Он вдруг стал хватать мою руку, целовать ее: «Скажите, Бог может простить меня?» Я, признаться, растерялся, я не знал, что ему ответить. Но мне хотелось что-то ему сказать теплое, но теплых слов я найти-то и не мог. Я только и мог сказать, и то в виде вопроса, и как мне показалось, холодным голосом:

— Но ведь вас же заставляли?

— Заставляли? — подхватил он вопрос, всполошился, куда-то вгляделся. Я думал, что возразит, а он сказал вяло: — Да, заставляли... Вот до последней минуты я тоже успокаивал себя, что, мол, я не виноват, меня заставляли. А теперь вижу: нет, если человек не захочет, его никто заставить не может. А почему я не мог бы сам стать вместе с гонимыми? Нет, я этого не хотел, я хотел расстреливать. А оказывается, я никого не расстрелял, я только стрелял в себя. О как бы я сейчас поменялся с ними местами. Если б меня сейчас расстреляли! Нет... Никому я не нужен, все отступили. Еще в первое время как-то навещали, а сейчас даже жена не заходит. И вы представляете, я остался один перед лицом всех замученных... Что мне сказать? Батюшка, ну что вы молчите?

Я в самом деле молчал, вот как будто кто-то связал мой язык. Знаю, что священник должен приносить всем утешение, но не могу... Я не помню даже, что я ему сказал, молча накрыл епитрахилью. Причастил. Когда он принимал Причастие, искоса посмотрел в Чашу, испуганно отдернул голову и сказал:

— Что это? Это кровь?

— Да, кровь, — сказал я.

— А чья?

— Не надо разговаривать.

Он замолчал, причастился.

— Чем вы меня напоили? — закричал он. — Мне стало дурно. — Он зачесал волосатую грудь.

Признаться, я испугался. Позвал к нему жену.

— Что нужно? — спросила она.

— Да вот что-то с ним.

— Ничего, успокоится, — равнодушно и брезгливо махнула рукой она и снова пошла в свою комнату.

И я тоже ушел. А теперь вот, когда мы разговорились, то я и вспомнил все это. Мученики именно они, и их надо пожалеть. А замученные за Христа — это блаженные люди.

Кто-то в ответ на рассказ о. Константина качнул головой:

— Дети все-таки русский народ. Даже палачей жалеет, — сказано было скептически, насмешливо, но юмора не получилось, и кто-то, наверно, чтоб отвлечь внимание от этого разговора, сказал:

— Кому приходилось читать Жильяра о последних днях Императора Николая Второго?

Никто не отозвался.

Тогда и еще кто-то поставил вопрос:

— А кто расстрелял русского Царя?

— Кто же? Евреи...

И вот тут-то снова закипел спор. Особенно подлил масла в огонь Юра, он недавно пришел.

— Я утверждаю, что евреи убили и Царя, распяли Россию, они виновники русской трагедии, — обвинение было брошено со всей серьезностью.

Алексей Яковлевич выскочил из-за стола, побегал вокруг Юры и, приблизившись к самому его лицу, вопросил:

— Так что вы хотите делать с евреями? Погромы устроить?

Юра благодушно улыбнулся:

— Успокойтесь, я не погромщик...

Остаток вечера разговор был только о евреях. Алексей Яковлевич замолчал и в задумчивости отошел. Юра присоединился к другим и несколько саркастически сказал, как бы про себя:

— Можно, конечно, и погромы, но так, слегка. А в основном я бы их выслал или в Израиль, или отвел бы определенную еврейскую республику, ибо до тех пор, пока им будет свобода в России, добра не ждать.

— А так ли нужна вам Россия? Время идет к тому, чтоб вообще никаких границ не было, было бы Всемирное государство.

Об этом говорили в одном конце комнаты. В другом конце комнаты, словно в чем-то соревнуясь, рассказывали о евреях о. Никон и о. Константин. О. Никон был проеврейского настроения, о. Константин – русского.

— Мне рассказывали, – говорил спокойно о. Константин, – как в первые годы революции евреи занимали главные места и русских отовсюду выбрасывали. И теперь, куда ни погляди, всюду евреи. В печати, в медицине – всюду евреи. Их разве нет только в колхозе, а если есть, то на начальнических местах.

— Все это, – возражал о. Никон, – как реакция на угнетение при царизме. Это вполне естественно, их даже и винить нечего. И сейчас не любят евреев. Вот мне рассказывал один еврей, как его еще в детстве не принимали в общество и как один русский ударил его по лицу. Он никак не мог понять, за что, и этот удар на всю жизнь остался ударом...

— А так ли уж русские их бьют? Есть ненависть – это верно, но евреи сами больше бьют русских. И не только по лицу. В душу бьют, заплевали всю душу. Нет, видно, еще мало бьют, раз не все это понимают.

— Я вот помню из своих школьных лет, – сказал кто-то, – как меня тоже ударил еврей по лицу ни за что, меж тем как все мы мирно играли, и русские, и евреи.

— Евреев много крестится, – вставил кто-то, вероятно, для того, чтоб переключить внимание на другое.

— И это хитрость, войти вовнутрь и все разложить.

Вмешался и еще кто-то:

— Вот вас послушать, то выходит – евреи только и занимаются тем, что хитрят и строят козни. А меж тем это тоже люди со своими достоинствами и слабостями, и если подойти к ним с любовью, то они могут быть очень полезными для России...

Хотя Самуил был далеко от разговаривающих на подобную тему, но вдруг он как будто проснулся и предложил тост за союз русских с евреями и евреев с русскими. У них теперь одна судьба. Как тех, так и других ненавидит весь мир.

Какой был предложен тост, многие не разобрались и закричали, что подымают тост за союз партийных с беспартийными, за союз безбожия с верой...

— Ура! — дружно закричал Самуил, выпил залпом и бросил чашку на пол. Но, выпив, он почувствовал, что ему нужно и еще, подошел к столу, налил водки, настоянной на перце, выпучил глаза и крякнул заплетающимся языком:

— А вообще дрянь у нас. Дрянь и для евреев и для русских. Коммунизм, фашизм — не одно ли это и то же?

— А сионизм? — спросил кто-то с иронией.

— Сионизм? Постой, что такое сионизм? Мессия есть и Мессии нет?

Тут вышел на средину щупленький человек. На первый взгляд он был больной, несколько обиженный природой, чем-то взволнованный, но с очень типичной еврейской наружностью. Волосы рыжие, нос крючком. Он заговорил по отношению о евреях странно пренебрежительно:

— Еврейский народ консерватор, и он уже свое отжил. Нет Торы без хлеба и хлеба без Торы. Что это? Галиматья какая-то. Единственная прогрессивная сила — христианство. И путь евреев — креститься!

Его не особенно слушали.

Как-то неожиданно внимание перешло на высокого роста молодого человека, очень бледного, светлого лицом, как бы не еврейской наружности, но нос хотя и не очень крючкообразный, выдавал его. Он тоже был болезненный, да и рассказывал так, как обычно говорят люди психически неполноценные: замедленно и с большим обдумыванием. Рассказывал о том, как он не мог в детстве понять, за что ненавидят евреев. Он стал любим всеми. Но это стоило ему многого психического напряжения. Он почувствовал, что все ему мешает, даже одежда, и стал раздеваться посреди улицы... И тут его забрали в сумасшедший дом.

Эти рассказы многих заинтересовали, но кто-то все-таки поставил вопрос:

— Все это хорошо. Я вот одного не могу понять, неужели евреи из своего крещения делают политику? Рассказывают ведь, что из истребления евреев Гитлером сионисты сделали политику, а меж тем как сами виноваты в этом...

Тут кто-то не выдержал и возразил:

— Но если так все ставить под сомнение, тогда и жить нельзя. Ведь самое доброе можно поставить под сомнение...

Но тут вдруг донесся непонятный голос, наверно, кто-то новый вошел, и довольно навеселе.

— И христиан и евреев нужно истребить, тогда только вздохнет свободно Россия. — Это голос был решительный и отчаянно злой.

Алексей Яковлевич поежился и прошептал:

— Нужно уходить, русские фашисты пришли...

Кто-то пустил слух, что сюда идут славянофилы. О славянофилах, наверное, здесь присутствующие мало знали и относились к ним подозрительно. Когда тот, кто сказал, что «евреев и христиан нужно истребить», прошел, вернее даже, протиснулся, потому что народу собралось много, его с любопытством стали рассматривать. Его лицо мало чем напоминало обычные русские лица. Выдающиеся скулы, сам очень смуглый — все говорило об его азиатском происхождении, хотя развязный тон и любовь к «зеленому змию», какая-то широкость и открытость говорили о том, что в нем что-то есть и русское.

— Ба, — ударил его в плечо Самуил. — Ты что же, фашистом стал? А у тебя ведь мать христианка, а сестра вышла замуж за еврея. Ты что же, всех их будешь истреблять?

— Истреблять! — сердито проревел он, его черные глаза блеснули, как ножи, решительно. — Истреблять, пока они нас всех не истребили...

Самуил еще что-то хотел добавить, но понял, что с таким говорить больше не стоит, иначе может сразу начать осуществление своего замысла. Самуил несколько пугливо покосился на него, немного протрезвел и направился к выходу.

— Надо уходить, — сказал Алексей Яковлевич. — Хорошая была покойница, но неразборчива в посетителях. Как она только всех вмещала в свое русское сердце?

Тут в комнату вошло несколько молодых людей, кто-то сказал, что среди них есть даже представители журнала «Молодая гвардия», чуть даже не Солоухин. Солоухина Самуил и другие не особенно любили, несколько благожелательнее относился к нему Алексей Яковлевич. Так как Самуил и Алексей

Яковлевич и о. Иоаким были у выхода, они успели разглядеть вошедших. Первое впечатление от вошедших — уж слишком опростившиеся, стилизованные под народность. Грозного фашизма в их старомодном скромном виде нельзя было заметить, а вообще даже можно было бы и поговорить. Но неудобно возвращаться. Алексей Яковлевич и о. Иоаким ушли, Самуил, выйдя было за дверь, возвратился обратно.

— Ну что, выпьем за славянофилов, — не то шутя, не то серьезно проговорил он.

Один из так называемых славянофилов тоже полушутя предложил:

— Давай лучше за почвенников.

— А как вы к Сталину относитесь?

— Русское явление.

— А к Ленину? А к Государю Императору Николаю Второму?

— Тоже русское явление.

— Так за кого же мы первого выпьем?

— За Русь!

Ты и убогая,
Ты и обильная.
Ты и могучая,
Ты и бессильная —
Матушка Русь!

— Хорош Некрасов! На все случаи жизни выгоден.

Но выпивать не стали, хотя Самуил было уже разлил бутылку. Кто-то сообщил интересную новость, что епископ Ермоген вызван из своего заточения в Патриархию.

— Не место ли предложат?

— Наверно, пенсию отобрать хотят?

— Вот герой. — Только за епископа неудобно пить.

— Выпьем, — крикнул Самуил, не разобравшись, в чем дело, потом понял, что речь идет о Ермогене, скептически процедил: — Хороший епископ, но нас не понимает.

— Евреев, что ли?

— Нет, нас, составителей письма... а вообще грядет катастрофа, надо бежать... — как-то таинственно зашептал Самуил,

оставил свой стакан, который приготовил для себя, и поспешно вышел. Его уход показался неожиданным и загадочным. Скоро все стали расходиться, оставались, кажется, только недавно пришедшие славянофилы. Они выразили свое сочувствие сестрам покойной и тоже ушли.

На следующий день или через день разнеслась очень странная весть. Сначала о ней говорили шепотком, потом заговорили открыто. В предыдущую ночь о. Андрей навещал очень многих и внушал им мысль, что надо бежать в горы, в Грузию. Ожидается катастрофа. Это им открылось, они в этом уверены.

Больше всех были потрясены этой вестью сестры о. Андрея. Все их озлобление было перенесено на Самуила.

— Это он, проклятый жид! — никогда никого не называвшие презрительно, они сейчас не стеснялись в словах.

Когда уехали в Грузию, сначала о. Андрей, потом на самолете улетел Самуил, потом другие, — в квартиру о. Константина прибежала взволнованная младшая сестра о. Андрея и выпалила:

— Все увез из дому. Иконы и все. Оставил только нас на произвол. Это какой-то кошмар. А он, жид (это Самуил), стоит и поглаживает брюхо. Когда мне нужно было прощаться с о. Андреем, он стал между мной и им, положил на плечо о. Андрея руку... я так и не простилась. Это какое-то наваждение.

— Ничего, — примирительно сказал о. Константин. — Все нужно. И это нужно. Для России и Православия нужен крест.

Она ничего не понимала, такую кроткую, спокойную, ее теперь душило раздражение против Самуила. Спокойнее всех весть о побеге о. Андрея приняла его жена. Хотя до этого постоянно с ним ругавшаяся за его бродяжничество, теперь сказала так:

— Удерживать не надо. Пусть стукнется лбом о стенку, — это спокойствие ее передалось другим.

Оказалось до смешного поразительным то, что произошло. Были они где-то. Подали чай. Определенное число стаканов, один пуст... И они решили: кто-то предаст дело.

О. Нестор не поехал с ними, он сказал, что все выливается в сектанство, отход от Церкви. О. Андрей про о. Нестора заметил:

— Он горд, любит, чтоб ему подчинялись, не хочет подчиняться общему делу.

И еще.

Выдалось какое-то определенное число камушков, по которым они стали определять положение будущего. После всего этого открылись определенные места из Писания, говорящие о катастрофе. И все это за кружкой пива! Зачинщик всего дела, говорят, Самуил. Очень хитрый, сам ничего о пророчествах не распространяет, распространяет о. Андрей.

Когда о. Андрею указали, что может ли что быть хорошее от Самуила, раз он бросил жену и женился на молоденькой, притом без церковного брака, о. Андрей улыбнулся какой-то доброй и растерянной улыбкой:

— Так и о Христе говорили: может ли что быть доброе от Назарета.

А по поводу жены Самуила заметил:

— Не он ее бросил, а она его. Нет брака в церкви, он и не венчается...

— Может, и не причащается?

— И не только он, а и я. Можно ли причащаться в той церкви, где ложь митрополита Никодима?

Таким образом стало ясно, что они совершенно отошли от Церкви...

Как-то при встрече о. Нестора с о. Константином первый рассказал последнему, что в Грузии, в горах, не все благополучно. Их там обнаружили, сделали обыск, забрали много ценной литературы. Сообщил и то, что скоро кончится отпуск у Самуила и вся компания возвратится обратно.

— Меня удивляет то, что не могут разобраться в этом Самуиле, какая-то магическая личность.

Сестры о. Андрея успокоились, они стали смотреть на побег как на смешную затею.

Над Самуилом, как пророком, подшучивал даже о. Иоаким:

— Ну мы теперь провалимся согласно новому пророчеству, — потом сразу сделал серьезный вид и заключил внушительно: — А человек неплохой, ему бы надо каяться, а он лезет учить других...

— А правда ли, что он состоит на психиатрическом учете?

— Да, — невнятно ответил о. Иоаким.

— А много он все-таки говорит верного. В последнее время будут защищать Церковь только рядовые священники, разве это не так?

— Куда там епископам защищать, их купили привилегиями...

ГЛАВА ВТОРАЯ
ВРЕМЯ МЕЖДУ ПОМИНКАМИ

У о. Константина в последнее время особенно что-то все стало напряженным. В храме настоятель, горбатенький, казалось бы, карлик, а причинял большую обиду, и самым мелочным — составлением расписания служб. Служебные дни разбрасывал так, как ему вздумается: то вдруг даст отдыхать, то зарядит все служить и служить. О. Константин стал нервничать, спорить. Заявил о произволе настоятеля благочинному. Тот, казалось бы, выслушал его внимательно, погладил свою длинную бороду, улыбнулся добродушно и сказал:

— Ну это мы утрясем...

Но когда пришел утрясать, то, переговорив с настоятелем без о. Константина, вдруг изменил свое намерение и на прощанье о. Константину посоветовал:

— Настоятеля надо слушаться...

Чтобы успокоиться, о. Константин побежал к о. Никону, благо тот был в Москве, рассказал обо всем. О. Никон выслушал и спокойно заявил:

— Бывает еще хуже. Вон смотри, что с Ермогеном делают. Говорят, что пенсии лишат. А в одном месте, рассказывают, староста ввел в церкви пятидневку. Два выходных — суббота и воскресенье. И когда священники приходят на службу, заставляет вешать номерки, как на производстве. А моя бывшая староста (о. Никон слегка улыбнулся) пришла в один храм и заявила: «Я ваша староста, сдайте мне дела». Прислал, мол, райисполком. Да, так и заявила прямо. И что ни делали с ней, старостой все-таки осталась. Рассказывали, впоследствии все-таки ее съел один диакон. Видно сильнее ее был. Певчий из той церкви выразился так: «Одна змея съела другую змею». А в одном храме в Москве староста расторгла договор со свя-

щенником и Патриарха не послушалась, когда тот приказал восстановить. Так что у тебя это пустяки. Нужно терпеть.

— Но сколько же терпеть?

— А, видно, терпение и спасет положение. Я вот задумываюсь о том, что сейчас наверху в церкви. Особой активности нет. Думаю, что, если б хороший епископ Ермоген был Патриархом, хуже было бы. Мог бы наломать таких дров... А при таком Патриархе, как есть, хоть рубят лес, но не ломают его. А если еще глубже разобраться, то в церковном деле все должны участвовать. Вот тут и должно проявиться творчество каждого члена церкви. А не только верхушка должна делать. При бездеятельности верхушки волей-неволей, если хотят спасти положение, все становятся активными. Так что, о. Константин, сумей работать в том положении, в которое ты поставлен...

О. Константин, успокоившись было в начале разговора, под конец вознегодовал и сквозь зубы недовольно процедил:

— Хорошо тебе рассуждать, ты монах...

Но о. Никон то ли не расслышал, то ли не хотел возражать, отвернулся, и они холодно расстались. Пришел о. Константин домой расстроенный и даже несколько злой. Жена в это время с дочкой и сыном собирались на вечер.

— К кому? — спросил он.

Жена долго не отвечала, как будто не расслышала, смущенно подняла голову и, не глядя на него, ответила:

— К соседу...

Тревожно и ревниво забилось сердце о. Константина. Соседа он этого знал, тот в последнее время зачастил к ней, и именно тогда, когда его дома не было, приносил ей цветы. Потом жена как будто что-то сообразила и вяло сказала:

— Я только их отведу.

О. Константин больше ничего не спросил. Жена ушла с детьми. Он переставил шкафы в своем кабинете, перебрал книги, а ее все нет. Потемнело во дворе, пробило десять часов вечера, детям пора бы спать. В одиннадцатом часу возвращается жена с детьми. О. Константину показалось, она немного пьяна. Он хотел ее было упрекнуть, но сдержался, подавив все в своем сердце. На ночь не благословил ее, хотя она подошла к нему, намереваясь заговорить с ним. Он сухо сказал:

— Я очень устал.

Она еще посидела у него и ушла спать. А он не спал всю ночь. Заглянул к ней, увидел, что и она все-таки спит тревожно. Наутро дочь чем-то заболела, поднялась температура. Уходя на службу, о. Константин сказал, чтобы вызвала врача. Врача она вызвала, тот, вероятно, был неопытный, предположительно поставил диагноз — грипп. К вечеру температура спала до 37,2. О. Константин посоветовал, чтобы врача вызвала повторно, жена послушалась. И только на третий день, когда дочь стала ходить бочком, вызвали врача, который срочно отправил девочку в больницу. Оказался гнойный аппендицит с прободением. Начались тревожные и томительные дни. Сделали одну операцию, потом вторую. Потом поиски нужного лекарства. А тут теща все время ворчит и ворчит, останавливает внимание на всяких мелочах. Он звонит к знакомым насчет лекарства, а теща кричит:

— Почему ты не спросишь, как у жены здоровье?

О. Константин думал, что он свалится от напряжения, но выдержал все, даже чувствовал себя лучше, чем обычно. Евреи, чего о. Константин никак не предполагал, самое большое участие приняли в помощи о. Константину. Он задумался над их судьбой. В бессонной тишине ночи вспоминалось, как их гонят. Беспокойный народ и своим беспокойством низводит на себя гнев людской. С этого времени о. Константин стал относиться к евреям с повышенной любовью.

После того как дочь выписалась из больницы и рассорившись в который раз с тещей (она сказала, что отправит о. Константина в сумасшедший дом) он, оставшись один дома (жена с дочкой и Андрюшей уехали на некоторое время к матери), услышал телефонный звонок, звонил знакомый и просил разрешения прийти, о. Константин согласился. Через некоторое время снова звонок с той же просьбой. О. Константин решил всех принимать. Наконец позвонил о. Иоаким и тоже просил разрешения прийти. И вечером стали приходить. Пришло много, и мужчины и женщины, принесли выпить и закусить. Женщины стали готовить на стол, о. Константин предоставил им кухню. Наконец явился о. Иоаким, и все сели за стол. О. Константин ничего не понимал, что это за собрание, к чему оно? Он при-

стально вглядывался в лица пришедших, и ему казалось, что все это евреи. Они благожелательно смотрели на него, подняли первый тост за хозяина дома. Он отказался пить, сказав, что ему очень нездоровится.

— А может, выпьете и все пройдет?

— Нет, я еле сижу.

— Может, ляжете?

— Нет, я буду сидеть.

Он решил сидеть, во все всматриваться, ему захотелось понять, что это такое?

После нескольких рюмок все стали несколько пьяны, был трезв один он. Разговор завязался откровенный. Тут были многие из издательства, из философской энциклопедии. Смеялись над тем, как пишутся статьи, как легко обманывать.

— Нет, они еще сильны, — возразил кто-то, имея в виду, вероятно, советскую власть, но подразумевая и все русское. — Еще может появиться сильная личность... Тогда интеллигенции будет круто.

Снова предложил о. Константину выпить. Он снова отказался и удрученно положили голову на стол. Теперь он начинал разбираться, что к чему. И если когда-то он и сам все критиковал, то сейчас его сердце наполнилось любовью, он пожалел... Русских одурачили. Он, признаться, захотел выпрямиться во весь свой рост и закричать им:

— Марш отсюда!

И тут заговорил о. Иоаким. О. Константин знал, что о. Иоаким умный, эрудированный, несколько протестант по убеждению, склонен к католицизму. Хотя сейчас из разговора показалось, что о. Иоаким и не такой уж умный, но он понял, что о. Иоаким искренне старается, чтоб все они просветились христианством, что христианство — единственное спасение... К голосу о. Иоакима как будто прислушались, перестали хихикать. Потом заговорили о чем-то постороннем. О. Иоаким присоединился к их разговору, потом снова заговорил о христианстве. О. Константин полюбил в этот вечер о. Иоакима, даже понял, что о. Иоаким мученик, что он поднимает трудные пласты жизни. Но евреев в этот вечер о. Константин почти возненавидел. А еще больше их возненавидел, когда через месяц

таким же образом стали звонить к о. Константину с просьбой прийти... Снова такой же вечер? О. Константин стиснул зубы и раздраженно заявил:

– Нельзя, нельзя!

Когда пришел к нему о. Никон, о. Константин поведал ему обо всем об этом.

– Ну что скажешь?

– Скажу, что крест, ненависть – не спасение!

– Неужели все погибло?

– Нет, ты видел на вечере бледного еврея, у о. Андрея это было? Вот тот говорил загадочным голосом: «Две ветки, разорванные ненавистью, должны срастись любовью». Любовью все можно победить.

О. Константин схватился за голову. Он понимал, что все верно, но сердце протестовало. Бессонница, семейная неурядица, неполадки в храме выбросили его из нормальной колеи, он ко всему относился с преувеличенным подозрением, остро реагируя, впадая в крайности.

О. Никон рассказал новость. В Ташкенте арестован священник Адельгейм, не то немец, не то еврей. Говорят, очень хороший священник. Построил храм, и за это ему мстят. Приписывают, что он избил несовершеннолетнюю девушку, на квартире его нашли вроде рацию. Но все это ерунда. Мстят за то, что построил храм. Ведь это геройство: когда разрушают – он строит. А дома у этого священника не все в порядке, мальчик тяжело болен.

О. Константин добавил:

– По Москве идут обыски. И все как будто по делу Адельгейма. А на самом деле проверяют, кто чем дышит. Идеологическую диверсию ищут. А того не знают, что начался процесс возвращения ко Христу. – О. Константин немного помолчал, подумал и заключил: – Понимаю, время трудное, но вот срываюсь...

О. Никон улыбнулся, заметно было, что он что-то вспомнил. Угрюмость на лице о. Константина стала проходить, он разгладил свои морщины разлившейся улыбкой, она в самом деле была какая-то очень светлая, и лицо оттого становилось светящимся.

— Ну, что, вспомнил что-то? — спросил о. Константин.

— Да, вспомнил смешные случаи при обысках. Некоторые до того привыкают к обыскам, что на них не реагируют. Приходят к одному, кажется нерусского происхождения, он в дверях сделал глазок по типу тюремного. Смотрит в глазок, стоят непонятные люди, все в гражданском, один только из них в милицейской форме. Сообразил кто. На звонок отвечает: «Подождите», — сам складывает подозрительные бумаги в кастрюлю, зажигает их и, когда бумаги сгорают, несет кастрюлю к двери, открывает и говорит: «Все подозрительное сжег, получите пепелок». Они входят, делают обыск, а он садится, наливает в стакан вино, пьет и закусывает.

— Интересно.

О. Константин заметно оживился.

— А некоторые делают так. Когда приходят к ним с обыском, как-то умудряются позвонить своим знакомым, и те являются. Всех ведь должны задерживать. Набирается полная квартира, курят, смеются. Обыскивающие выглядят затравленно.

— Да, растерялись. При Сталине было проще. Приходят в форме. Ни с места! А тут в либерализм играют, и получается смешно.

— Расшевелил ты меня, — сказал о. Константин. — Недавно читал записки из сумасшедшего дома генерала Григоренко. И поразился — мученик, святой! Чего только не делают с ним, а он говорит: нужно выступать открыто, нелегальщина — большевистское дело. Только открытым путем можно чего-то добиться. Делающий правду не прячется.

— Да, сейчас самое страшное — сумасшедшие дома. Даже такой смелый, как Солженицын, говорит: любую тюрьму вынесу, а сумасшедший дом — не знаю. А любого могут упрятать туда, для этого не нужно быть сумасшедшим. Сумасшедший дом — это не только покушение на физическую личность, а и на духовную.

— А ты говоришь, что лучше стало!

— И хуже и лучше. Чем тяжелее крест, тем ближе спасение.

— Стой, — опять взволновался о. Константин. — А ты знаешь, что евреи говорят насчет Григоренко? Он вырос до национального героя, всюду выступает открыто, смел, но не особен-

но умен, — скептически ухмыляются. Они ум, а вернее, хитрость ставят превыше всего. Вот почему они не хотят признать нас. Всюду выставляют только свое. И еще: почему они не могут признать Солоухина? Бездарный, говорят, а его книг боятся, истребляют. Солоухин — это голос из народа, это народная сила. Интеллигенция может шататься, а народ всегда стоит твердо на ногах...

— А ты хотел бы, чтоб все было гладко?

— Я болею за свой народ. Пойми, о. Никон, болею. Мне жалко, обидно. Все в России живут как люди, только не русские.

— Нервы разошлись...

О. Никон долго и внимательно смотрел на о. Константина. Тот тоже не отводил своих глаз от него и думал: «Молодой, а на старика похож. Поседел, морщин сколько... Да, хватает горя у всех. Приходит ко мне по делу, а на самом деле посмотреть на сына. И сын радуется, когда приходит отец, но глядит украдкой. А однажды прорвалось: «Папа, тебя все нет и нет, а мне скучно».

Отец прослезился.

«Папа, ты плачешь? — всполошился сын. — Не надо, не приходи. Я знаю, что тебе некогда, а на меня не обращай внимания. Поскучаю, да и перестану».

Вот какое сознание у ребенка! Вот где выковывается человек! В муках с ранних лет. А я чуть было не подумал, что ему легче, раз он монах. И на меня глядит сейчас проникновенными глазами, как умудренный старец. «Сейчас что-то скажет в утешение?» — Когда так подумал о. Константин, о. Никон слегка отвел свои глаза в сторону, начал рассказывать:

— Вот я сейчас шел к тебе, и знаешь, что слышал в подъезде? Спор детский... И о чем? О Боге. Один мальчик кричит: «Бога нет, Его никто не видел». А другой возражает: «А Бог невидим, Его и видеть нельзя...» Все прислушались, а мальчик стал рассказывать о Боге, о Церкви...

О. Константин просиял:

— А ты не разобрался, кто это был? Это твой Андрюша. Раз как-то после его споров прибегает одна девочка домой и говорит: «Мама, а почему у меня крестика нет?» — «Ой, доченька, у

меня тоже нет», — всполошилась мать. «А почему ты не ведешь меня в церковь?»

И представляешь, всей семьей ходили в церковь с моей женой. По выходе из церкви мать девочки говорит: «Облегчила душу, а то все некогда. Засуетились мы. Засуетился народ. Его отвлекают всякими спортами, спутниками, чтоб некогда было подумать о Боге, о спасении».

— Удивительное явление — дети спорят о Боге, — сказал о. Никон. О. Константин подхватил:

— Так может быть только в России. Где дети спорят о Боге? За границей даже праздники приспосабливают к земным интересам. Ты видел рождественские фотографии в американском журнале? Ведь это мещанство.

— Да, русский ты человек, — улыбнулся о. Никон, и это в который раз — улыбка придала духу о. Константину. Наконец он окончательно развеселился:

— Прибегает домой моя дочка и говорит: «Мы спорили...» — «О чем же вы спорили?» — спрашивает мать. И дочь рассказывает: «Человек от обезьяны, — говорят мне. — А я говорю: а обезьяна откуда?» Мне отвечают: «Обезьяна от рыбы». — «А рыба откуда? — «От икры». — «А икра откуда?» — «На фабрике делают...» Все ясно, все логично, дальше идти некуда. Вот весь материализм в чистом виде: на фабрике делают... Меня на исповеди как-то удивила одна девочка. Спрашиваю у нее: «Веруешь?» — «Нет». — «А почему пришла?» — «Бабушка привела». Ну что с нее спрашивать? Хорошо уже то, что пришла. Начинаю беседовать: «Вот пред нами аналойчик... Веришь, что он сам может сделаться?» — «Нет, его кто-то сделал». Я ей и говорю: «Значит, ты признаешь, что аналойчик кто-то сделал? Правильно, говорю, кто-то сделал. А кто же сделал Вселенную, все эти планеты?» И ты знаешь, что она мне ответила: «Рабочие...» — «А как же они могли туда добраться?» — спрашиваю серьезно я. Стоит, поняла, что запуталась. Я ей и говорю: «Вот все это создал Бог, веруешь в Бога?» — «Верую», — говорит. Так что все это безбожие налетное что-то, временное.

— Вспомнил и я. Пришли ко мне на исповедь девочка и мальчик. Девочке лет одиннадцать, мальчику пять. Девочка

пускает мальчика вперед. Я говорю: «Он может без исповеди». Она останавливает меня по-взрослому и говорит: «Вы его хотя благословите». Благословляю. Подходит она. «Грешна, детка?» — «Грешна, — говорит сокрушенным голосом. — Вот в школе нас заставляют надевать галстук пионерский, это ж грех?» — спрашивает она у меня. Я молчу, жду, что будет дальше. «Ну мы его освятили, потом надели», — продолжает она. Я чуть не рассмеялся: до этого могут додуматься только дети: освятить галстук. И я подумал: «Идол в мире — ничто. Если галстук освятили, то к ним ничто вражеское не может пристать». Потом спрашиваю у нее: «А кто это — мы?» — «Я и мама». — «А кем работает мама?» — «Никем, она разбита параличом...» — «Боже! — подумал я. — Вся огромная страна со своей идеологией безбожия вооружилась на беспомощных и детей и не может победить. Окропят святой водичкой, и все в порядке». А протестанты говорят, что церковные обряды и таинство — это магические знаки. Единственная сила в России — Церковь, хотя она и унижена, лежит поверженной, но она и побеждает.

— Да, — успокоено произнес о. Константин. — Умеешь утешать. Понимаю.

Но через некоторое время о. Константина снова подстерегало искушение, и именно на еврейском вопросе. Раздался звонок, звонил славянофил. Приглашал в славянофильский клуб, будет интересная лекция.

— Пойдешь со мной? — спросил о. Константин у о. Никона.

— Можно, — согласился не совсем охотно тот. Повесив трубку, о. Константин заговорил:

— Не разочаруешься. Туда хочет проникнуть митрополит Никодим, его не пускают, а нас приглашают...

— Слышал я об этом клубе, как бы не было провокации.

— Ну ладно, потом увидишь. О евреях будут говорить, — не удержался о. Константин.

— Все о евреях? — О. Никон посмотрел на о. Константина в упор. — А что бы мы делали без евреев? Они как возбудитель в русском организме...

— Вот только трудно.

— А что дается без труда? Ну ладно, согласен идти. Как договоримся? Я зайду к тебе или как?

— Нет, они нас будут ждать у Большого театра.

— Нехорошо у Большого театра. Ну да ладно, иногда играют и тогда, когда плакать хочется. На сцене бывают ведь трагедии. «Пир во время чумы» — знаешь Пушкина?

— Ну не будем... Послушаем, посмотрим, потом скажем...

О. Никон вышел раньше времени. Погода была не особенно хорошая. Хотя уже установилось тепло, но сегодня было холодно, он ежился, ветер обхватывал плечи по-осеннему. Тучи, набегая на солнце, задерживали тепло. Только вошел в метро, хотел было повернуться на посадку, остановила, приветливо улыбаясь, какая-то женщина.

— Не узнаете?

О. Никон вгляделся внимательно в нее, растерянно улыбнулся и сказал прямо:

— Не узнаю.

— Не узнаете? — продолжала добродушно улыбаться женщина. Она была слегка располнелая, и плечи и грудь слегка обнажены. — А я была крестной. Помните, вы крестили у Виктора?

О. Никон моментально все вспомнил, вспомнил и эту женщину, теперь она выглядела знакомо, только тогда, во время крещения, она была жизнерадостнее. Тогда собирали материал о Флоренском, об Алексее Мечеве и пересылали за границу, готовили номер очередного Бюллетеня об очередных арестах. У Виктора было вроде штаб-квартиры. Виктор еще не пожилой, но и уже не молодой был полон энергии. Небольшие черные усики придавали бравый вид и начинающую лысеть голову делали молодой. Решив креститься сам, Виктор решил крестить и свою семью, жену и троих детей. О жене он говорил с благоговением.

— Она очень предана мне, ждала меня из заключения и теперь выносит все тревоги моей политической жизни. — Виктор не скрывал, что он считает себя политическим деятелем, он встал на защиту прав человека. В то время Алексей Яковлевич написал свою статью о евреях, восхваляя их смелость и порядочность, делал прогноз, что в России в повороте к лучшей

жизни зададут тон евреи, они интеллигентнее и не так развращены, как русские. Статью наперебой читали, и нельзя было понять, хвалят ее или нет? Только по какой-то радости в глазах можно было догадаться, что статья нравится. О. Никон плохо разбирался в людях, он не умел отличить русского от еврея, даже типичных евреев принимал за русских. Но тут он стал вглядываться, и ему показалось, что все они евреи. Жизнерадостные, энергичные, принимают христианство. Не знал он, Виктор еврей или нет, но жена его еврейка, в глазах, спокойных, но слегка печальных – мужество. Она очень хотела, чтоб ее дети были крещены, очень хотела, чтоб о. Никон поговорил с ее детьми, наставил бы их. О. Никон стал разглядывать детей, они были и школьного и дошкольного возраста. Дети стали рассказывать, как они спасли подбитую кошку. О. Никон их хвалил, а они почему-то не понимали его и смеялись над тем, как спасли кошечку, как она ползала и мяукала. Самый больший из них сказал, что смеяться не надо, надо быть серьезными, самый младший взялся за нагрудный крест о. Никона и дерзко спросил:

– А это зачем? А вот я у тебя сорву крест.

О. Никон смотрел благодушно на ребенка и сказал, что мы тебя крестим и у тебя будет крест.

– А я не хочу креститься, – возразил ребенок. Но когда пришло время креститься, этот ребенок стал первым раздеваться для крещения и во время крещения был сосредоточенным и внимательным.

За столом разговоры были и о христианстве, но в основном о том, что сейчас нет свободы и ее нужно добиваться.

О. Никон ушел от них в хорошем расположении духа. И теперь, встретив эту женщину, он просиял. Спросил о том, как дела у Виктора.

– Слышал, арестовали, потом слышал – выпустили.

– Его осудили, дали высылки пять лет, – несколько раздраженно уточнила женщина.

– Ну а как жена?

Женщина неохотно намеревалась рассказывать, улыбка на лице держалась слабо. О. Никон стал расхваливать жену Виктора за ее мужество, за то, что она имеет троих детей…

— Я вообще люблю, когда имеют много детей. Я на таких смотрю как на героев. В то время, когда сплошь аборты, иметь детей — геройство. Есть у меня еще один знакомый, так у того шестеро детей... Какие герои!

Женщина тихо спросила: — Это у Кости?

— Ну да, у Кости.

Женщина не приходила в радостное расположение, более того, улыбка окончательно исчезла, и смотрела она печально и принужденно. Чуть кашлянув, начала рассказывать о жене Виктора.

— Поехала она в ссылку, а Виктор ее встречает с другой женой, молоденькой...

— Неужели? — ахнул о. Никон.

— Да, — наклонив голову, женщина добавила: — И Костя бросил свою жену... — Теперь женщина улыбнулась, может быть, несколько вымученно, но была на лице и какая-то игривость. — Вот рожай, храни верность, а мужья могут бросать...

— Неужели? — снова ахнул о. Никон и раздосадованно заговорил: — Вот и защита прав человека, а свою жену на произвол бросил...

— Ну он ей в чем-то помогает. И Костя помогает... Что ж сделать, если жена состарилась, а хочется молоденькой, — почему-то решила женщина защищать Виктора.

О. Никон не понимал: не то эта женщина осуждает таких мужей, не то оправдывает. Распростился о. Никон мрачно, разочарованно, и женщина ушла от него печально. Когда о. Никон встретил о. Константина по выходе из метро, тут же ему рассказал обо всем этом.

— Вот, а ты оправдываешь евреев. Хотели показать, что они лучше других, но бросить жену с маленькими детьми — этого ничем не оправдать. Нет, им нужны права не для человека, а для своих выгод, — высказался о. Константин.

— Ты все про евреев, — досадливо заметил о, Никон. — Вот у меня есть духовные дети — еврейки, их ненавидят в семье за то, что они крестились, неужели и нам их ненавидеть?

— Что ты, о. Никон, разве я об этом?

— Ну о чем же? — раздраженно спросил о. Никон.

— Люби сколько угодно, только особенно им не доверяй.

— Нет, без доверия жить нельзя! — отрезал о. Никон и нахмурился. До Большого театра шли молча. Там их ожидал молодой человек у третьей колонны, с очень длинным носом — гоголевским, несколько близорукими глазами.

— А я уже вас жду, — сказал славянофил. — Вы вдвоем? — спросил он.

— Да, вдвоем, — ответил о. Константин. — А что, нельзя?

— Постараюсь провести, хотя будет трудно. Пошли переулками... — По дороге молодой человек больше разговаривал с о. Константином, о. Никон старался немного отстать от них, чтобы дать им свободу посекретничать.

Они в самом деле секретничали. Молодого человека о. Константин знал хорошо, он работал в архитектурном отделе, хотя институт еще не закончил. Очень активный и русского направления. Есть неприязнь к евреям, считает, что они принесли вред России, но гнать их и лишать работы неразумно. Нужно сделать так, чтобы евреям не удавалось паразитировать на русском организме, чтобы они занимали свое место и приносили пользу России. Может быть, на первых порах их придется в чем-то стеснить и ограничить...

Зовут его Владимир Попов. Может, кто был в роду из священников, а может, и нет. Сейчас комсомолец и даже комсорг. Верующий, ходит в храм, исповедуется и причащается, у о. Константина при встречах берет благословение. Комсомольцам старается внушить любовь к прошлому России, особенно к памятникам старины и в первую очередь к храмам. Умеет иногда защитить храмы от разрушения, хотя это бывает очень трудно, и порой он становится унылым и подумывает, не пойти ли работать в церковь. О. Константин ему не советует, всюду нужны люди, и где он работает, там пока он нужней. Владимир соглашается, но иногда кисло морщится.

Когда они ушли вперед, Владимир спросил об о. Никоне. О. Константин сказал кратко:

— Свой человек, но питает симпатии к евреям.

Владимир остановился, вздрогнул, как будто что-то вспомнил.

— Но он любит Россию, может быть, космополит?

О. Константин также ответил кратко:

— Любит. Не космополит. Но считает, что никого нельзя отвергать, и евреев тем более.

Этого было достаточно. Владимир замедлил шаг, о. Никон поравнялся. Владимир посмотрел на него дружественно и доброжелательно, о. Никон понял его и в ответ скромно улыбнулся.

— А вы никогда здесь не были? — спросил Владимир у о. Никона.

— Нет.

— Может быть, вам будет неинтересно? Это чисто русский клуб.

О. Никону теперь в самом деле стало интересно, Владимир понравился своей простотой и какой-то русской задушевностью. Прошли под арку, быстро прошли каким-то коридором и вступили во двор. О. Никон с любопытством оглянулся и определил, что здесь был какой-то монастырь. Москву он знал не особенно и не догадывался, какой это монастырь. Двором шли довольно долго, было два поворота, и потом направо. У большого дерева их ожидало два человека, простоватых на вид, впечатление производили рабочих людей. Они спросили несколько таинственно у Владимира:

— Привел?

— Да. И не одного, а двоих.

Они быстро окинули своим взглядом священников, немного остановились почему-то на о. Никоне, согласованно качнули головой. За ними не последовали. Из этого о. Никон заключил, что они стояли как бы на контроле и, по-видимому, не простые люди. Прошли длинным коридором, по лестнице поднялись на второй этаж. Прошли одно помещение, другое. Со всеми Владимир здоровался, некоторым жал руки, но отцов ни с кем не знакомил, хотя некоторые старались пожимать им руки. Поразило о. Константина и о. Никона, особенно последнего, то, что все здесь находящиеся были какие-то особые. Доверчивость, простота, благожелательность написаны были на их русских лицах, так, во всяком случае, показалось, хотя впоследствии стало известно, что был среди них даже один еврей, а может быть, и не один? Одеты были просто, простота какая-то деревенская, многие с длинными волосами и бородами. Когда прошли в комнату, где предполагалось заседание, о. Констан-

тин и о. Никон уселись рядом на стульях и хотели, чтобы их никто не замечал, но когда усаживались, им приветливо и знакомо качнул головой какой-то старичок, как сказал потом Владимир — историк и религиозный человек. В основном все-таки была молодежь, были и женщины, их немного, все какие-то серьезные, одна только, немного располневшая, все оглядывалась по сторонам и улыбалась. Владимир вышел, но зато через некоторое время подошел Константин, немного старше его, с небольшой бородкой, в очках, благодушно улыбнулся. Познакомили о. Никона с Константином, тот, оказывается, слышал об о. Никоне и немного знал его.

— На сегодня программа интересная, — сообщил Константин.

— А вашу работу не будут обсуждать? — спросил о. Константин у Константина.

— Нет, будут делать доклад о Пскове и о Москве. Некоторые отрывки из моей работы скоро будут напечатаны в журнале «Наука и жизнь».

Подошел Владимир и куда-то позвал Константина. За время их отсутствия о. Константин вкратце сообщил о. Никону о том, кто такой Константин и в чем сущность его работы. Он из бывших князей, но отец его крупный партийный работник. С отцом у него нет разногласий, хотя стоят они на совершенно разных позициях. То есть нет не разногласий, а споров, они терпеливо относятся друг к другу. Отец — атеист, сын тоже долгое время был атеистом, хотя прекрасно понимал значение Церкви и значение прошлого России. Интересно отметить, что, будучи атеистом, он сделал открытие в архитектуре, особенно в градостроительстве и особенно в строительстве города Москвы. Оказывается, Москва застраивалась не случайно, не по чьей-то прихоти, а в строительстве развивалась целая богословская система, выражались верования и упования русского народа. Хотя открытие это для советского архитектора было более чем странно, но настолько оно всем показалось убедительным, что никто не мог возразить ему, и многие из ученых заинтересовались его работой. Нашлись покровители и защитники. Когда о. Константин встретился с Константином у одного молодого художника, развивающего тему Апокалипсиса в своих карти-

нах, и заговорил с ним, о. Константин подумал, что он верующий, но тот заявил о. Константину, что, несмотря на его любовь к Церкви и к прошлому русской истории, он верующим быть не может, что вера уже свое отжила. Когда о. Константин что-то хотел высказать в защиту веры, он ласково его остановил:

— Не трудитесь, батюшка...

И о. Константин понял, что в самом деле Константин веровать не может, в прищуренных и слегка хитроватых глазах горел спокойный огонь атеизма. Понял, что он совершенно равнодушен к религии. Но через два года после этой встречи Константин сам пришел к о. Константину и просил крестить его и его жену и после крещения стал активным верующим.

Не успел о. Константин закончить свой рассказ, как пришли Владимир и Константин. Константин уселся за столом, на котором стоял проекционный аппарат для показа схем и картин, Владимир сел рядом с о. Константином. Тут же наполнилась людьми вся комната, погасили свет. У стены стоял молодой человек с указкой, у него отчетливо выделялись залысины.

— Докладчик, — шепнул Владимир.

Из-за последнего стола поднялся средних лет человек и объявил, что на сегодня наметили совместное заседание архитектурной секции пропаганды и агитации, и только потом заговорил докладчик. Сначала он несколько волновался, даже с трудом подбирал нужное слово, но старался сохранять мужество и достоинство, говорил медленно и отчетливо. Из доклада о Пскове и особенно из той схемы, которую показывал через проекционный фонарь Константин и по которой энергично водил указкой докладчик, для каждого становилось ясно, какая красота в наших памятниках. И особенно было досадно то, что до сих пор с этой красотой обращаются варварски. О. Константин уловил из рассказа докладчика, что и Псков застраивался не случайно. О. Никон лишний раз убеждался, как в России все было пронизано религиозной идеей. Все прошлое России — это гимн Богу. И чтобы спасти Россию, нужно разгадать ее религиозную идею. И хорошо, что молодое поколение стало разгадывать ее. Оно еще не верует, но своим чутьем понимает, что Россия безрелигиозной быть не может. Если мы желаем спасения России, прежде всего нужно восстановить ре-

лигию, и именно Православие. Как выяснилось впоследствии, докладчик не верит в Бога, и это удивительно, что он разгадал религиозную идею России, а разгадав идею, поймет и Бога, как бы он ни отнекивался. Константин понял, поймет и докладчик. Доклад прошел успешно, и казалось, не этот доклад был главным на сегодняшний день.

Вопросов поставлено не было, зажегся свет, и объявили перерыв. Все вышли в соседнюю комнату, кто курить, кто пройтись. Вышли и отцы, скромно остановились у окна. В коридоре было шумно. До слуха отцов долетали обрывки разговора.

— Недавно здесь был прочитан доклад о Православии и сказаны были решительные слова: до тех пор, пока не будет восстановлено Православие, не будет восстановлена крепкая нравственная семья, нечего думать о России.

Для о. Никона все это было откровением. Глядя на его оживленное лицо, торжествующе улыбался о. Константин. Он понимал, что о. Никон побежден. «А что еще будет дальше?» — про себя радостно думал он. К ним приблизились Константин и Владимир.

— Ну, как?

— Замечательно! — в восторге сказал о. Константин.

— Я не ожидал... — добавил о. Никон тоже в восторге, но умеренном. На них издали как-то незаметно поглядывал докладчик. Понемногу все снова стали сходиться в лекционный зал. К тому времени, когда на своем месте появился прежний докладчик и не успел еще развернуть листы своего доклада, установилась полная тишина.

О. Константин вздрогнул, почувствовав, что на него кто-то смотрит в упор. Повернулся влево и увидел очень внимательные глаза сидящего недалеко от него человека. С небольшой лысиной. Человек этот своими глазами его спрашивал:

— Зачем ты здесь? — Этого человека о. Константин как будто где-то видел, может быть, у о. Иоакима. Или не крестил ли он его? «Еврей», — почему-то подумалось о. Константину, хотя на еврея тот похож не был. И сразу вспомнилось о. Константину, как ему рассказывал возвратившийся из заключения про одного молодого сиониста, очень умного. Сионист знал хорошо Евангелие, цитировал из него наизусть. Сионист говорил:

«Большая ошибка евреев в том, что они не хотят признать Христа, и эту ошибку они должны исправить. Готовится заседание Синедриона, на котором должен быть оправдан Христос...»

Недавно о. Константин слышал, что такое заседание уже было и Христос был оправдан, один только голос был против. У каждого сиониста теперь Евангелие стало настольной книгой.

Этот сионист говорил, что, оправдывая Христа, мы многое приобретаем. Евреи, таким образом получается, все дали миру, в том числе и христианскую религию, и это единственный народ...

«И он должен господствовать!» — как будто кто-то дразнил сознание о. Константина.

«А все остальные народы — это гои, выходит?» — начинал возмущаться о. Константин. Он настолько был поглощен своими раздумьями, что не заметил, как начался доклад. Докладчик произнес очень внушительным голосом название своего выступления. Но произнес после продолжительного разъяснения, которого о. Константин не слышал. Он и услышал только: «Москва в опасности», — и снова погрузился в свои воспоминания.

Рассказал ему как-то один священник, учившийся в Парижском богословском институте. Институту этому очень солидную сумму пожертвовал один состоятельный еврей, сначала как будто с возвратом, а потом сказал: «Не надо...» — и еще даже пожертвовал. Евреи раздирали душу о. Константина. Вспомнился художник Левитан. О. Константин почему-то только сейчас догадался, что Левитан — еврей. Этот художник всегда много говорил его душе. Есть и философы-евреи, Франк, например, и его философия нравилась о. Константину. Неужели во всем еврейская хитрость?

— Неужели? — толкнул бесцеремонно в бок о. Константина о. Никон. — Ты слышишь?

О. Константин прислушался, до его слуха долетали страшные слова:

— Русские города в настоящее время застраиваются самым безграмотным образом. То есть они застраиваются так, чтоб

разрушить всю русскую историю. Допустим, метро. Проводится именно там, где сосредоточиваются исторические ценности. Под главными храмами, под историческими музеями, под архивами, даже под зданием госбезопасности. А еще обратите внимание, как все пути сходятся к Кремлю. Нет объездов. И при какой-то катастрофе все сразу взлетит на воздух. Кому это выгодно? Сионистам-евреям. Каганович, бывший ответственным за метро, сионист.

Все замерли, не было даже слышно дыхания. Докладчик стал спокойно и раздельно, выговаривая каждое слово, цитировать из Протоколов сионистских мудрецов: «Администраторы, выбираемые нами из публики в зависимости от их рабских способностей, не будут лицами, приготовленными для управления, и потому они легко сделаются пешками в нашей игре, в руках наших ученых и гениальных советчиков, воспитанных с раннего детства для управления делами всего мира... Гои (не евреи) не руководствуются практикой беспристрастных исторических наблюдений, а теоретической рутиной, без всякого критического отношения к ее результатам... Пусть для них главную роль играет то, что мы внушили им признавать за веления науки (теории). Для этой цели мы постепенно, путем нашей прессы, возбуждаем доверие к ним. Интеллигенты гоев будут кичиться знаниями и без логической их проверки приведут в действие все почерпнутые из науки сведения, скомбинированные нашими агентами с целью воспитания умов в нужном для нас направлении. Мы создадим усиленную централизацию управления, чтобы все общественные силы забрать в руки. Мы урегулируем механически все действия политической жизни наших подданных новыми законами. Законы эти отберут одно за другим все послабления и вольности, которые были допущены гоями, и наше царство ознаменуется таким величественным деспотизмом, что он будет в состоянии во всякое время и во всяком месте прихлопнуть противодействующих и недовольных гоев. Надо, чтобы промышленность высосала из земли и руки и капиталы и через спекуляцию передала бы в наши руки все мировые деньги и тем самым выбросила бы всех гоев в ряды пролетариев. Тогда они поклонятся перед нами, чтобы только получить право на существование. Мы искусно

подкопаем и глубоко подкопаем источники производства, приучив рабочих к анархии и спиртным напиткам, и приняв вместе с этим к изгнанию всех интеллигентных сил гоев. Вы говорите, что против нас поднимутся с оружием в руках, если раскусят, в чем дело, раньше времени, но для этого у нас... такой терроризирующий маневр, что самые храбрые души дрогнут. Метрополитенные подземные ходы-коридоры будут к тому времени проведены во всех столицах, откуда они будут взорваны со всеми своими организациями и документами. Мы устраним выделение индивидуальных умов, которым толпа, руководимая нами, не даст ни выдвинуться, ни даже высказаться: она привыкла слушать только вас, платящих ей за послушание и внимание. Теперь для нас ни в одном государстве не существует запоров, преграждающих нам доступ к так называемым гоевской глупостью государственным тайнам... Мы будем побеждать наших противников наверняка, т.к. у них не будет в распоряжении органов печати, в которых они могли бы высказаться до конца. Мы вычеркнем из памяти людей все факты прежних веков, которые нам нежелательны, оставив из них только те, которые обрисовывают все ошибки гоевских направлений. Вообще наша современная пресса будет изобличать государственные дела, религии, неспособности гоев, и все это в самых беспринципных выражениях, чтобы всячески унизить их так, как это умеет делать только наше гениальное племя».

— Понятно...

— Известно, — доносились голоса.

Некоторые ерзали на стульях, некоторые выходили из зала. Тот, который все смотрел на о. Константина, теперь смотрел на всех заискивающе, обиженно.

— Уходят, боятся... И именно те, которые должны быть рецензентами по докладу, — сказал Владимир.

О. Никон застыл, он смотрел не то испуганными, не то обрадованными глазами на докладчика.

Поднялся молодой тонконогий человек.

— Журналист, — шепнул Владимир.

О. Константину показалось, что этот журналист хотел в чем-то уличить докладчика, сбить его с толку, голос звучал укоризненно. Журналист поставил вопрос:

— А нельзя ли немного конкретнее?

— Конкретнее? Пожалуйста. — Докладчик побагровел, но не от робости, он собирался с силами. — В Талмуде сказано: «Если ты живешь рядом с святыней гоя, отступи от нее и место отступления забросай извержениями».

— А нельзя ли пример? — снова спросил журналист.

— Пожалуйста. Храм Вознесения в Коломенском и Иоанна Предтечи в Дьякове стоят на высоком берегу Москвы, возвышаясь над всей долиной реки. Так вот, новый жилой район Москвы в этой долине не подошел к реке и Коломенскому, а как бы отступил от храмов. На пространстве между жилмассивами и храмами устроены канализационные отстойники Москвы. Вознесение и Иоанн Предтеча — храмы мирового значения. Простыми туалетами от них не отделаешься. Только человеческие экскременты целой Москвы смогли уравновесить, соблюсти пропорцию.

Все, казалось, ахнули, притихли. После этого все вдруг заговорили:

— Пока не поздно, нужно спасать... Нас забросали извержениями. Единственная нация в России бесправная — русская.

Многие встали со своих мест. Человек недалеко от о. Константина тоже встал. Он молчал, ничего не выкрикивал и не задавал никаких вопросов, он только безмолвно перебегал своими испытующими глазами по лицам.

— Градостроительство отдано в безграмотные руки. Градостроительством занимаются не специалисты-архитекторы, а политики... Что понимает в архитектуре политик? Представим, что де Голль занимается градостроительством, французы давно подняли бы бунт, а мы молчим...

Докладчик цитировал из старых газет, приводил примеры, когда ответственный по градостроительству в одно и то же время давал разные указания.

Докладчик, кажется, почувствовал, что зашли далеко, слегка откашлялся и сказал:

— Я хочу, чтоб меня поняли правильно. Я ни в какую политику не вмешиваюсь, я высказываю только архитектурные соображения...

Докладчик окончил, но не отходил от кафедры. Рядом с ним встал высокого роста человек, слишком смуглый, в черной кожаной тужурке. Он был из отдела агитации и пропаганды, как сказал Владимир. Он сказал:

— Доклад слишком серьезен, с обилием фактов. Мы его должны обсудить по-серьезному и сделать заявление в ЦК. Это будет в другой раз. Соберемся более узким кругом.

Все были возбуждены.

Владимир, о. Никон, о. Константин и докладчик возвращались домой вместе. Докладчик шутливо говорил:

— Что-то приготовят мне евреи. Предстоит операция, аппендицит. Могут зарезать. Старушка-матушка одна останется.

— Мы поддержим, — отозвался Владимир.

— Нет, ни на кого не надеюсь. Да и кто это вы? Русские разобщены. Пока надеюсь на свои силы, постараюсь бороться. То, что я понял, от этого не отступлю.

Шагал он как-то уверенно, ступая твердо ногами.

О. Константин пригласил его к себе посмотреть иконы. Скептически и снисходительно на него посмотрел докладчик.

— Потом, сейчас некогда... После операции.

Расстались дружно. Отцы направились в метро.

— Ну как? — спросил о. Константин.

— Страшно, — ответил о. Никон.

— Теперь понимаешь, почему я бываю антисемитом?

— Страшно, — повторил о. Никон, подумал, что-то взвесил и тихо заметил: — И все-таки антисемитизм — не спасение.

Несколько дней подряд о. Никон был не в себе. Ему стало очень жаль своего народа, даже почувствовал какую-то вину перед ним, на всех евреев стал смотреть подозрительно. А тут, как назло, к нему много их нагрянуло.

Евреи любили о. Никона, они у него себя чувствовали, как дома. Предстояло крестить несколько человек евреев. О. Никон робким голосом заикнулся:

— А вы к о. Иоакиму ходили?

Все дружно и испытующе посмотрели, остановились, задумались, казалось, что-то должны были спросить, но никто ничего не спросил и так же, как всегда, откровенно и вдохновенно заговорили:

— Где, в какой стране еще крестится столько евреев?

— И у каждого своя история...

— Послушайте, что говорит Сима.

— Она была у моих родителей сегодня, на нее напали они, — говорила полнотелая Лена. — «К кому ты идешь? — говорят ей. — Христиане — черносотенцы». Смутили немного, но вот она пришла креститься.

Сима, тоненькая миниатюрная женщина с красивыми большими еврейскими глазами, была печальна. Она выразила желание, прежде чем креститься, поговорить с о. Никоном.

— Наедине? — спросил о. Никон. Он посмотрел на всех остальных, и те поняли, что надо выйти. Быстро ушли, Сима вздохнула.

— Знаете, у меня сомнения. А может быть, крестясь, я изменяю своему народу?

— Но чем? Разве Христос несет зло евреям?

— Говорят, христиане ненавидят евреев?

— Христиане всех любят. Любовь, всепрощение — это отличительные качества христиан.

— Мне тяжело...

— Христианство без трудностей, без креста не дается.

— Но как я должна относиться к своему народу?

— С еще большей любовью, чем прежде.

Она подняла глаза, улыбнулась:

— Вы не поймите, что я колеблюсь. Меня ничто теперь не может отклонить от Христа. Я должна креститься. В этом теперь весь смысл. Христос мне дороже всего... — Чувствовалось, что она высказывает заветное, выстраданное. О. Никон облегченно вздохнул: «Нет, подозрения — это муки, я не должен подозревать». Он с любовью посмотрел на Симу, как будто встретил после долгих лет разлуки свою любимую сестру. «Избави Бог чем-либо обидеть эту душу», — думал о. Никон, глядя на задумчивую Симу. Нелегко евреям дается христианство, и тот, кто крестится, — герой.

Вспомним, что рассказывала Лена: она не была воспитана в иудейской религии, и то ей трудно было порвать с верованием своего народа. Если б о. Никон не был такой решительный и в тот раз не крестил, может, она вообще не крестилась бы. Когда

о. Никон ей сказал: «Будем крестить», она чуть в обморок не упала, потемнело в глазах. Крестится в основном молодежь из евреев. Старики на такой шаг еще не способны. Вот в чем польза антирелигиозной пропаганды в СССР — она подготавливает почву для крещения.

Сима глядела на о. Никона с нежностью, глаза светились, она чувствовала открытое, любящее сердце о. Никона.

О. Никон некоторое время старался избегать о. Константина. Ему казалось, что тот спросит: «Ну, как доклад?» — и о. Никону придется изворачиваться, врать. Ему не хотелось.

Он решил навестить о. Иоакима. О. Иоакима перевели в другой храм. Небольшой, меньше того, из которого перевели. Храм стоял на окраине деревни, рядом было кладбище, лес. Уединение, тишина... Хорошее место для отдыха. Тут только творить, собираться с мыслями. Зашел в храм, отпевали покойника. Хор пел нескладно, разноголосо. О. Иоаким читал нудным голосом, казалось, он скучал, был разочарован, переживал о своем переводе. Ходил медленно, ступая как старик. Выглядел очень устало.

Заметив о. Никона, не оживился. Окончив отпевание, подошел, поздоровался, улыбнулся. Сказал, что к нему пришли, отвел о. Никона в церковный домик, предоставил в его распоряжение свои книги. У о. Иоакима было много книг католических, баптистских и меньше всего православных, даже меньше, чем по атеизму. Перелистав небрежно их, о. Никон сел в раздумье. Что-то не нравилось ему. Маленький церковный домик показался настолько хилым, что стало трудно дышать. Вскоре пришла женщина от о. Иоакима, поздоровалась, пыталась развлечь разговором. Через полчаса пришел о. Иоаким. Он был оживленнее, чем вначале, прежняя неизменная улыбка заиграла на лице. Заговорил бодро, уверенно:

— Интеллигенция пробуждается. Если когда-то народ веровал, то сейчас народ (он имел в виду простой народ) индифферентен...

О. Никону хотелось возразить. Возразить потому, что это не так, он знал, что народная вера гораздо сильнее интеллигентской. Интеллигентская вера рассудочная, без корней, народная — с глубокими корнями. О. Никон теперь понимал, поче-

му о. Иоакиму нравится католичество, почему он часто рассуждает по-протестантски.

После о. Иоакима о. Никон встретился с о. Константином. У о. Константина был молодой человек с небольшой бородкой и открытыми, добрыми глазами. «Русскими», — подумалось о. Никону. О. Константин был очень чем-то доволен, сиял.

— Ты послушай, что он рассказывает, — указал о. Константин на молодого человека. — Недавно он был в Саровской пустыни, там сейчас ничего нет, но как чтут там преподобного Серафима! Как там все церковно, хотя и нет церквей.

— Батюшка Серафим с нами. Он ходит между нами. Радость моя, говорит. И какие они все радостные.

На глаза о. Никона навернулись слезы, о. Константин вздрогнул, несколько испуганно вгляделся в о. Никона.

— Ты чем-то расстроен? — спросил участливо.

— Ничего, просто хорошо мне.

Что-то растрогало о. Никона до слез, он не понимал, что это такое, но как будто исполнились какие-то его заветные желания. Он был уверен, что никому не удастся вырвать народной веры. Народ наш верующий вопреки всякому безбожию, и все соприкоснувшиеся с ним уверуют... Хотелось всех обнять, всем пожелать счастья.

Тихо, незаметно открылась дверь. О. Константин ахнул:

— Как, уже приехали?

В квартиру о. Константина неуверенно, робко и даже обиженно входил о. Андрей. Он сделал вид, что вопроса не расслышал, улыбнулся виноватой улыбкой. О. Константин смотрел на него радостно и боялся неосторожным словом отпугнуть о. Андрея, по его виду, по тому, как он входил, можно было догадаться, что случилась неудача. Так оно и было, все так, как носились слухи, и это удручающе действовало на о. Андрея. Но о. Константину нравился о. Андрей, возвратившийся оттуда. Он стал особенным монархистом и особенным православным, в его речи часто стало мелькать словечко «жидо-массоны». Думали, что он порвал с Самуилом, но ничего подобного. О. Андрей по-прежнему был верен Самуилу и отзывался о нем как о хорошем, настоящем человеке.

Разговора никакого не получилось. О. Андрей смолчал, его боялись расспрашивать. На прощанье о. Константин спросил:

— Все возвратились?

О. Андрей снова как будто не расслышал и со своей стороны поставил вопрос:

— Ну как с Ермогеном? Что слышно? Для чего его вызвали в Москву?

— Наверное, хотят кафедру дать? — заметил о. Никон.

— Жди. Наверное, пенсии лишат... Нет, не тем методом надо действовать, — покачал головой о. Андрей.

— Прогнила наша Патриархия, насквозь прогнила, — с прежней неприязнью выпалил о. Андрей, и снова загорелись его глаза.

И о. Никону и о. Константину становилось ясно, что о. Андрей нисколько не изменился, только присмирел. Дальнейшее показало, что он по-прежнему редко навещал церковь и, самое главное, по-прежнему не причащался.

Как-то на улице о. Константин встретился с Самуилом, тот куда-то бежал. Когда окликнул его о. Константин, он вяло и пришибленно посмотрел, неохотно улыбнулся.

— Ну как дела? Патриархия жива? Не доконала Православия? Постой, скоро вы будете читать второе открытое письмо, — и заторопился. Сказал он бодрящим голосом, но вид его был не бодрый, под глазами мешки, лицо обрюзгло.

В скором времени стали доноситься слухи, что в самом деле снова готовится письмо. Самуил никак не мог успокоиться, что под прежним письмом не было выставлено его имя. Очень много он приложил старания к прежнему письму, но оставался неведомым, неофициальным составителем. Говорят, это больше всего его беспокоило. Он, как никто другой, любил Православие наперекор скептическому о. Иоакиму, а никто об этом не знает, более того, почему-то все его ненавидят. О. Константину в то время стало его жалко, он понял его уязвленное самолюбие, понял и то, что человек он действия, и, направь его по верному пути, он принесет огромную пользу. Но теперь Самуил был одиноким, затравленным, единственно рыцарски верным другом ему оставался о. Андрей. И показалось о. Константину, что со стороны Самуила готовится какая-то огромная провокация. Провокация мести за непонимание.

Слышно, что для Самуила о. Нестор стал самым заклятым врагом, да и о. Нестор не мог спокойно слышать имя Самуила, он так и называл его провокатором и сектантом.

А вскоре все переменилось, смешалось. Вдруг все время недомогавший о. Нестор стал что-то ругаться со своей женой и часто беседовать на интимные темы с другими женами... Запил. Стал сомневаться в Промысле Божием и наконец изменил своей жене. Но это тайна, об этом страшно пока говорить.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ВТОРЫЕ ПОМИНКИ

Через несколько дней после своего возвращения из побега о. Андрей отмечал полгода смерти своей матери. Признаться, ему не хотелось созывать всех прежних, но случилось так, что пришли все те, которые были в день смерти. Впрочем, пришло больше, чем было тогда. И именно так же, как и тогда, после всех пришли славянофилы. Только не было тех тостов, что были тогда, вопрос о письме никто не хотел ворошить.

Когда пришел о. Нестор, Самуил был уже там, хмурый, неразговорчивый, только прислушивающийся ко всему. Но как только он подходил, разговаривающие прекращали разговор демонстративно. О. Нестор молча кивнул головой в сторону Самуила. Самуил как будто не заметил этого, прошел подальше и уселся за столом в таком месте, где не мог бы усесться о Нестор.

Перед началом обеда о. Никон предложил пропеть «Вечную память». Юра к тому времени уже принял сан диакона, и ему выпала честь произнести ектенью, он был еще неопытный в богослужебных делах, но согласился охотно и почел это за большое счастье, так как покойницу уважал за ее русский характер. Кто-то не вытерпел и под руку Юре шепотком заметил:

— Но она принимала и евреев... — Заметивший думал, что Юра, вернее, о. Георгий, не расслышит и замечание останется в тайне, но неожиданно для замечавшего о. Георгий хорошо расслышал, благодушно улыбнулся, наклонился к заметившему — это был Алексей Яковлевич — и шепнул ему так, что все расслышали:

— Если б я был Юра, я бы сказал открыто, а поскольку о. Георгий, то говорю только тебе: она мне говорила: как надоели мне эти жиды!

Алексей Яковлевич покраснел, сначала надулся, а потом сказал:

— Пора бы, о. Георгий, быть православным диаконом в отношении евреев...

О. Георгий смутился, слегка виновато поклонился Алексею Яковлевичу и стал произносить заупокойную ектенью. «Вечную память» все пропели с большим чувством. Начало обеда было при полном молчании, все молча выпивали и молча закусывали.

После первой и второй рюмки Самуил не ожидал, пока все себе нальют, наливал себе сам и, ни на кого не глянув, энергично опрокидывал себе в рот. Наконец, почувствовав, что достаточно выпил, важно оглянул честную компанию, хитровато улыбнулся и произнес:

— Ну как живем, честные отцы? Еще Никодимом не задавили Церковь?

Многие посмотрели друг на друга, никто не хотел начинать первым. Когда уже ответа трудно было ожидать, сказал о. Никон:

— А Церковь никто и задавить не может. Ее основал не Никодим, а Христос. Никодимы есть и пройдут, а Церковь будет стоять, и врата адовы Ее не одолеют.

— Все это так, но можно ли молиться в той церкви, где молится Никодим, где молятся такие, которые живут грехом... А более того, по своим убеждениям — еретики. Ведь Никодим — это еретик. Посмотрите, вот когда раскроют его дела, вы ахнете, кого слушались...

Не то обиженно, не то виновато все переглянулись. Переглянулся с о. Андреем и Самуил, что-то непонятное, только о. Андрею, сказал он своими охмелевшими глазами, и они меж собой решили, что, начиная разговор таким путем, не получится разговора, а очень хотелось бы бросить камень в огород Патриархии... Самуил с о. Андреем чокнулись, что-то сказали, за что-то выпили. И снова надолго установилось молчание, и Самуил уже не ожидал того, чтоб он смог задать тон в разговоре,

как в конце стола два человека о чем-то заговорили вполголоса Самуил хорошо расслышал, как один другому рассказывал, что некоторые священники имеют женщин... Один у другого спрашивал, как это может вязаться с их убеждениями, и тот отвечал, как говорят священники-блудники:

— А мы и греха в этом не видим. Против природы не пойдешь. Сам Господь виноват в том, что создал нас такими...

Самуил вдруг вежливо поклонился женщинам, попросил у них прощения за то, что он намерен сообщить.

— Женщины — это, пожалуй, хорошо. Но вот когда мужчина мужчину имеет — это уж просто не могу объяснить. И все это монахи делают. Их, конечно, всех взяли на учет. Да что говорить? — стукнул он ладонью по столу, нервно перекрестился. — Сам Никодим, почти глава Церкви, почему-то очень благоволит к юношам, окружает себя красивыми... и... я ничего не говорю, но слишком подозрительно и слишком правдоподобно...

Женщины сделали вид, как будто ничего не слышат. О. Константин робко запротестовал:

— А может быть, это одни разговоры...

— Как сказать? Может быть, и разговоры, но, как говорят, дыма без огня не бывает...

— Говорят, теперь уже и дым без огня бывает. Пустят «утку» — вот вам и дым без огня. В ЧК, говорят, есть специальный отдел по «уткам».

Протест о. Константина остался гласом вопиющего в пустыне, начался обнаженный разговор:

— Я бы всех этих монахов погнал...

— Забрали посты... Разводят педерастию.

— Ну что вы такие слова, разве можно?

— А разве нельзя? Это же позор для Церкви.

— Мы молчим, а они этим пользуются...

— Пора уже пересмотреть закон о епископах.

— Были же епископы женатые в первые века христианства, почему сейчас не сделать этого?

— На епископский сан пробираются проходимцы и карьеристы.

— А Филарет — монах, а разве плохой?

— А что Филарет? Был и Филарет хорош, когда не был епископом.

— Реформа нужна, давно пора быть реформе.

— А разве в реформах дело? Вот вы хотели ввести реформу, а посмотрите, наш Нестор тоже не святой, жену бросил...

— Посмотрите на себя, какими мы все стали.

— Все дело в человеке!

Стоял сплошной гул, спор переходил в ожесточение. Самуил со злорадством встал над столом, довольно поглаживая свой живот. Он налил себе рюмку и предложил тост:

— Пью за то, чтоб Православие отличалось правым учением, чтоб не было в нашей церкви еретиков... — И внушительно посмотрел на Нестора, тот склонил свою большую голову пророка к столу и долго ее не поднимал. Эта склоненная голова говорила больше всех слов.

Тост был неожиданен, все растерянно смотрели друг на друга и не наполняли рюмок.

О. Георгий глянул рассерженно на растерявшихся и сказал тихо, но тем не менее слышно:

— Я предложил бы такие серьезные дела не решать за рюмкой водки. — Повысил голос: — И прочь все тосты! Нужно смотреть в корень! Сами-то мы каковы?! Можно прогнать жену, жениться на другой, молоденькой, и жить с ней, не обвенчавшись даже в церкви Божией? Это разве не ересь?

Самуил понял, что это камешек в его огород, и, не растерявшись, сказал:

— Ересь и личный грех не одно и то же. Кто без греха, первый брось в меня камень! — выкрикнул он вызывающе.

Все время молчавший о. Иоаким поднялся и умиротворенно провозгласил:

— Мы сегодня собрались почтить память женщины, которая в своем сердце могла вмещать всевозможных людей, и поэтому я попросил бы не превращать поминки в политическую трибуну...

— Ну какая это политика? — недовольно заметил о. Андрей. — Ты со своим примиренчеством, о. Иоаким, иногда говоришь такие вещи... Вроде того, как однажды пошел просить за нас Никодима простить нас...

О. Иоаким старался никого не слушать и продолжал:

— Хорошо было бы, чтоб на поминках вообще не было вина, но поскольку это установилось, то пейте себе на здоровье и каждый разговаривай или со своими близкими, или на такие темы, где нет страстей...

— А без страстей тоже нехорошо. Что мы, кастрированные? — кто-то изрядно охмелевший заметил.

Все на какое-то время успокоились, кто-то спросил:

— А кто слышал о Ермогене, как у него дела?

О. Георгий подхватил:

— А вот тоже монах, а гляди, какой епископ.

— Да, это пока единственная наша надежда.

О. Андрей тоже не утерпел:

— Надежда-то надежда, но как она развивается? Тут нужно бить в лоб, а он все старается в обход.

— Монашество тоже нужно, — о. Георгий хотел защищать монашество, потому что жена его развратилась, и с такой женой тоже ничего не выйдет. Она затянет в такое болото, что хуже всего будет.

— Не нам судить, — кто-то сказал сокрушенно. — Поскольку установился такой обычай, приходится считаться с ним.

О. Никон понял, что надо чем-то разрядить обстановку:

— Я хотел бы рассказать вам, отцы и братия, о той тайной силе, которая пока еще есть в нашей Церкви...

— Сомневаюсь, — покачал головой Самуил. — То есть, нет: силы-то есть, только не в этой церкви, а в другой...

— А где она, другая?

— Ну вы слушайте, — стараясь сохранить мирный тон, продолжал о. Никон. — Я вам расскажу, о чем знаю сам, что видел своими глазами...

— Я хотел бы сделать, со своей стороны, и еще одно предложение, — перебил о. Валериан, все время молчавший. — Среди нас сегодня находится и автор книги «О том, как кто узрел Бога», и если он согласен, испросить бы его, чтоб он нам прочел хотя бы отрывки...

Рядом с о. Валерианам сидел недавно познакомившийся кое с кем о. Димитрий и которого на сегодняшний день пригласил к себе о. Андрей, он приезжий. О. Димитрий, прежде времени облыселый и несколько угрюмый, по-стариковски скромно и

как-то даже виновато качнул своей головой не то в знак согласия, не то в знак протеста. О. Валериан что-то заговорил с о. Димитрием и потом произнес вслух:

— Согласен. Но сначала послушаем о. Никона. Пожалуйста, о. Никон.

Самуил подозрительно и недоверчиво посмотрел на всех, нахмурился, понял, что инициатива будет не в его руках, и, несколько бесцеремонно расталкивая, продвигался к выходу.

Только о. Никон хотел начать свой рассказ, как нетерпеливый о. Георгий попросил разрешить ему сказать два слова, вернее, рассказать.

— А знаете, отцы? — обратился он ко всем с вопросом. — Вы не понимаете русского священника.

Самуил, уже подходивший к двери, заинтересованно остановился.

— Как? — спросил он иронически. — И блудников и педерастов можно оправдать?

О. Георгий, смущенно и стараясь не возмутиться, испытующе посмотрел на Самуила.

— Нет, я хотел бы два слова сказать о пьяницах. Я знал пьяниц-священников, которые никогда не отказывались от Бога, смело делали свое дело. Но самое главное, как они каялись...

— Грешить и каяться, каяться и грешить... Не пойму что-то.

— Нет, вы послушайте, в этом в самом деле есть что-то замечательное. Вот как мне рассказывали об одном пьянице-священнике, он даже раз приходил к епископу и просил, чтоб тот запретил его в служении за пьянство...

— И епископ не запретил, что ли? Сам, наверно, был пьяница?

— Нет, вы послушайте... Епископ бы с удовольствием его запретил, но дело в том, что на его место никого не находилось...

— Надо удивляться, до чего дошло русское священство, что, кроме пьяниц, на трудные места больше никого нет.

О. Георгий вздрогнул от колкого замечания, немного подумал и решил, что не надо обращать внимания на замечание, продолжал:

— Нет, вы послушайте... И не это главное, что никого не находилось, а главное вот что... Как-то приехал к нему из об-

ласти секретарь парткома, ночью, крестить ребенка. Священник не побоялся, крестил, хотя все было подозрительно. И хотя все происходило ночью, но люди заметили... Вызывают священника в область: в чем дело? Разговаривают очень осторожно. Мол, как будто у вас был секретарь парткома. Священник слушает, они продолжают: и вроде крестил у вас своего ребенка, так ли это?

— Так, — говорит священник. — я крестил без оформления, на свой риск, но был ли это секретарь парткома — не знаю.

Они ему принесли вина.

— Вы что, купить хотите меня вином? — прямо спросил у них священник.

— Нет, просто по-приятельски выпить, а может, и нас крестишь?

— Крещу, только не думайте купить. Я люблю выпить, каюсь, это моя слабость и мой грех, но предателем быть не могу. Мне дорог Бог, в Него я верю.

— Ну, зачем же предателем? Нам просто интересно, а Бога вашего мы не намерены трогать.

О. Георгию этот случай показался замечательным, рисующим стойкость и верность Богу священника на грани падения, но рассказ все-таки почему-то прослушали равнодушно. Чтоб привлечь внимание к рассказу, о. Георгий решил добавить еще:

— А как получилось, что секретарь парткома приехал крестить ребенка? — это тоже по-своему интересно. Увидел он как-то сон, какой-то райский сад видит, и в саду играют радостные дети. Ему кто-то сказал, что его здесь нет. Поищи, мол, на окраине. Он пошел искать туда, и вот видит на гноище своего ребенка, копается в грязи и кале. Жутко ему стало. «Сынок, а почему ты здесь, а не там, в саду?» Ребенок поднял на него печальные глаза и говорит: «А ты же меня не крестил, вот меня туда и не пускают». И этот сон так поразил секретаря парткома, что он ночью поехал крестить оставшегося в живых сына.

Но и это добавление прослушали равнодушно, видно, настроились на рассказ о. Никона. Самуил не выдержал и бросил реплику:

— Все это лишний раз подтверждает, что священство у нас низко пало и смелыми, выходит, могут быть только пьяницы...

У о. Георгия злобно заблестели глаза, ему показалось, что не хотят понять русского священства, русской души, рассвирепело глянул, и казалось, сейчас начнется ругань. О. Валериан вежливо к нему обратился:

— О. Георгий, вы закончили? Тогда попросим о. Никона поведать нам о тайной силе Церкви, пожалуй, это будет интереснее всяких споров.

— А знаете, я думаю, что все имеет смысл. Имеет смысл и такая патриархия, какая есть. В Церкви должна быть соборность. Решают дело не одни епископы, а все мы. Все должны чувствовать ответственность и носить немощи друг друга, — заключил о. Валериан.

Кажется, уже и хмель у многих проходил. О. Никон начал свой рассказ. Остался и Самуил, привалился к двери и все время слушал. Напряженно, затаенно и, может быть, злобно, что-то жуткое было в его непонятных глазах.

ТАЙНЫЕ СИЛЫ ЦЕРКВИ
(Рассказ о. Никона)

Как-то ко мне приходит мой знакомый. Я знал его как боязливого, дрожащего от всякого житейского ветерка.

Да, он был верующим, хотя не совсем понятно каким. Иногда по его высказываниям можно было о нем судить как о протестанте. Иногда он пописывал скучные серенькие статейки и печатал в ЖМП. И говорит мне этот человек, мой знакомый:

— Не можете ли вы отпеть одного человека?

— Пожалуйста, — соглашаюсь я.

— Только вот в чем дело. Его знают как переводчика-мирянина, а он священник. Он долго сидел в заключении.

Я понял, что потому он и не служил и его не знали как священника.

— Как вы будете отпевать?

— Конечно, как священника, его же не лишили сана?

— Нет. — Знакомый посмотрел кругом, подернул по привычке шеей. — О. Никон, этот священник часто ходил к вам на службы. Он любил, как вы служите и как проповедуете. О, если б вы знали о нем, сколько вокруг него было всякой моло-

дежи. Скольким он помог! Образованный был человек, знал многие языки. А вот решил быть незамеченным. Это после заключения. А до заключения он был видный священник. А сколько испытал в заключении! Он и на Соловках был, и в других лагерях был. Тридцать два года просидел.

— А сколько ж ему от роду лет? — заинтересованно спросил я. Знакомый мой как-то непонятно улыбнулся, снова подернул шеей.

— Да немного, сто с лишним, с гаком, как украинцы говорят, а в гаке почти столько же. Он наш патриарх был.

Я смотрел на моего знакомого непонятливо и недоуменно, знакомый понял мой взгляд.

— Так и быть. Нужно вам раскрыться. Поскольку вас избрал он, то вы должны все знать. Сюда никто не зайдет? — Служба давно отошла, требы закончились. Я сказал, что нет, разве, может, алтарница. — Ну вот, я тоже священник и тоже сидел в заключении...

— А сколько вам лет?

— Я самый молодой, около шестидесяти пяти. Мы заключили союз...

— Кто вы?

— Да вот мы... Один только ушел из жизни, другой служит открыто, такой суетливый и трус, как вы знаете, — иронически улыбнулся он. — Заключили союз, чтоб отдать все силы для блага Церкви. И чтоб никто нас не знал. На мою долю выпала апологетика, в самиздате вы мои книги читали... — Он назвал одну, особенно нашумевшую. Я расширил глаза, я жадно рассматривал этого подергивающегося, трусливого человека. Книга эта была написана очень эрудированно, до предела смело, все названо своими словами. А указывали автора другого, профессора академии. А оказывается, вот он, незаметный, всего боящийся...

— А за что вы сидели?

— Да за апологетику.

— А покойник за что сидел?

— Да за слишком явную деятельность.

— А потом затворился?

— Он никогда не затворялся, он не любил только шума, похвалы. А делал много. Он много крестил молодежи. Вернее, наставлял, крестили другие. Он любил причащать там, куда обычные священники не могли проникнуть, в сумасшедшие дома, тюрьмы...

— И даже тюрьмы? Но как?

— Да вот так. Вы думаете, что не могут верить чекисты? Милиционеры? Партийные? Веруют, и они и помогают...

Мне больше не нужно было объяснять, мне все становилось понятным. Знакомый даже виновато смотрел на меня и особенно часто подергивал шеей, может быть, ему стало неловко, что раскрывал тайное, но раскрывал, как исполняя послушание, наверно.

— Ну а третий?

— А третьего вы знаете. Может быть, вы сами ходили к нему на исповедь. А так он профессор Духовной академии, пишет и читает скучные лекции, за что ему дали звание доктора богословия. Его основное дело — исповедь. Он — хороший духовник.

— Кто же это?

Он назвал имя. Я сам исповедовался у него, исповеди проводит потрясающие, всю всколыхнет душу, а выходишь умиротворенный, успокоенный. О нем говорят, что, когда его зовут причащать на дом, он всегда под подушку кладет деньги причастившимся. Рассказывают, что он помогал многим заключенным. А так как будто всего боится, многие считают его трусом. Но кто из нас, смелых, мог делать то, что он делал? Боже! Вот как делается Твое дело, а мы шумим, суетимся, осуждаем друг друга. Знакомый меня растрогал, я смотрел на него с удивлением и благоговением, мне хотелось его обнять и крепко прижать к сердцу. Он, видимо, это понял, даже испуганно отступил. Я шагнул к нему...

— Не надо, — что это означало, я так и не понял. То есть не надо высказывать своих чувств или много знать. После этого он замолчал.

— Пойдем посмотрим на покойника. — Я согласился.

— А знаешь, к нему и Патриарх ходил, ныне здравствующий Алексий, любил с ним беседовать... — Это меня поразило, я

остановился и конвульсивно подернулся, до моего сознания доходило: «Может быть, Патриарх и делал по совету этого священника?..» Боже! Я на все сейчас начинал смотреть другими глазами: может быть, именно то нужно, что сейчас есть, попробуй разгадать. Где еще, на какой земле делается то, что у нас? Здесь все. Здесь и строится коммунизм, здесь и строится Царство Божие. Здесь и гонители, здесь и мученики. Отсюда, по словам Достоевского, пойдет на весь мир новое слово...

Мы подошли к покойнику, он лежал как-то бочком, как будто спрятался в гробу, в рубашке-толстовке, подпоясанной пояском...

— А епитрахили нет?

— Нет, мы не знали, как отпевать...

— Конечно, как священника! — я пошел за епитрахилью. Вспомнил по пути, что нужны еще Евангелие и крест. Стал искать, подумал про настоятеля, а вдруг начнет ругаться, если дашь что-либо заметное. И я нашел старую рваную епитрахиль, строе разбитое Евангелие, заваленное разными ненужными вещами, хотя и церковными. Тут же лежал и деревянный крест, источенный червями, один только лик распятого уцелел, за это, наверно, не будет ругать, да, наверно, и не знает, что лежит здесь. Я взял все, и мы облачили покойника. Когда оценивали епитрахиль, мне показалось, что покойник открыл глаза, я даже сказал об этом моему знакомому.

— Какой глаз?

— Да вот этот.

— Этот глаз у него следователь выбил. А под ногти ему загоняли иголки.

Нужно было еще лицо покойника прикрыть воздухом, но решил, что воздух завтра даст сам настоятель, не стал искать. На этом мы со своим знакомым расстались.

Отпевали на следующий день после литургии. Настоятель, придя в храм, укорил меня, что я дал покойнику такую рваную епитрахиль. Воздух он достал совершенно новый. За ночь лицо покойника нисколько не изменилось, даже как будто посвежело. Долго смотрел на лицо покойника настоятель, прежде чем прикрыть его воздухом. К моменту отпевания наполнился весь храм. Пришли знакомые священники, среди них были и незна-

комые, и один или два, кажется, епископы, в застегнутых пальто. Настоятель ушел по делам. Я обратился к священникам, чтоб отпевать соборно, они неловко переглянулись.

— Нет, отпевайте только вы, он хотел, чтоб вы... — я начал очень волноваться, думал, что во время отпевания расплачусь, но нет, сдержался.

Долго длилось отпевание, я вдохновился и не чувствовал утомления. После отпевания сказал слово. Хотел сказать так, что вот если ему не дали здесь служить, то он будет служить там и молиться за всех нас... На меня смотрели многие глаза, и знакомые, и незнакомые. Свечи никто не гасил, они догорали сами. Но с первых слов я почувствовал, как меня душат спазмы, почувствовал, что я отпевал святого человека, и не мог ничего сказать, разволновавшись, кроме того, что там есть жизнь... Я, смутившись и закрывшись руками, убежал в алтарь. Ко мне пришел туда, расплакавшись, мой знакомый.

— А ведь, знаешь, только это и нужно было сказать, больше ничего... Ах!.. Ушел... Остались вдвоем... А у самого шалит сердце... Отпоешь ли и ты меня так? Ну вот... это тебе... — Он развернул из платочка крестик-мощевичок, перевязанный беленькой ниточкой. — Перед этим крестом он служил... Сколько тайных литургий, сколько слез... Возьми, береги... Я уже тоже ухожу.

Я принес крест и с благоговением его поцеловал, мой знакомый вытер слезы. — Только тайна, не надо никому рассказывать.

В алтарь вошел длинный худой человек, изможденный, попросил посидеть. Блестели одни глаза, острые, беспокойные. Рыжая крохотная бороденка торчала в разные стороны.

— Вот мы все и собрались...

О. Никон закончил, никто ничего не посмел сказать, страшно было вспугнуть благодатное молчание. Долго молчали, погрузившись в продолжительное раздумье, потом кто-то тихо сказал:

— Послушаем теперь, что ли, записки о том, как кто уверовал в Бога...

Священник, который их вел, встрепенулся, как-то виновато посмотрел на о. Никона. На этого священника настолько силь-

ное впечатление произвел рассказ, что ему как-то неловко было читать записки, он их так до конца и не прочитал, некоторые факты передавал в беглом пересказе. Ободрял его чтение только благожелательный взгляд о. Никона:

— Читайте, все да будет во славу Божию. Священник откашлялся и робким голосом начал читать:

О ТЕХ, ЧТО УЗРЕЛИ БОГА...

Предисловие

Обычно споры о Боге кончаются вопросом:

— А вы видели Бога? — увидеть Бога — самое убедительное доказательство. Эта книга о тех, кто увидел Бога...

ВОССТАНОВЛЕННЫЕ ЗАПИСКИ (изъятые при обыске)

С чего начать? Пожалуй, начну с себя. Я родился в советское время. Правда, все у нас в семье были верующими, но я в школьные годы был индифферентен к религии. И вот как-то, стоя у окна, я услышал голос:

— Возьми Евангелие и прочти...

Я достал Евангелие и прочел. Меня поразила та правда, которая в нем заключалась. Я не мог себе простить, как я до сих пор не читал эту книгу.

Я каждый день открывал Евангелие наугад и читал... Помню, мне постоянно попадались слова: «О несмысленные галаты...»

Я ходил по деревням потом, подпоясавшись бечевкой, и читал Евангелие другим, меня всегда ждали, собирались в избу и слушали. Я бредил Евангелием и жил им. А время было такое, когда храмы были закрыты, верующие, если были, то где-то тайно. Первое время в моем сознании встал вопрос: «Неужели нет никого из верующих?» — и помню, отвечал себе так:

— Если и никого нет, я все равно буду веровать.

Я старался жить по Евангелию. Надо мной смеялись, считали, что я сошел с ума, даже родители мои, ныне кажется, смотре-

ли на меня как на немного свихнувшегося. Один человек мне предсказывал:

— Пойдешь в армию, и ничего не останется от твоей веры.

Я был не только в армии, был на фронте, где все гибло, где было полное моральное разложение, и вера меня вела и удерживала от всего плохого. Я даже не был ранен, ни разу не выстрелил, хотя был на передовой около года пехотинцем, мне кажется, что меня вел Бог.

Сейчас я думаю, что чудо не в том, что я остался жив, не ранен, а в том, что я ни разу не выстрелил в человека. Не приходилось. Это смешно кажется, чтоб в такую войну не стрелять, но это факт.

Сейчас, когда я священник, приношу Бескровную Жертву, вспоминать о том, что я проливал кровь человеческую, было бы страшно. Особенно я благодарю Бога за то, что не проливал кровь человеческую...

Был после фронта в заключении, восемь с половиной лет отсидел, и там я тоже жил верой. Я видел, как люди кончали с собой, не имеющие веры. Один профессор неверующий с завистью мне говорил:

— Вам, верующим, легче жить.

Особенность лагеря. Помню, как однажды мы возвращались с работы и кто-то заругался в Бога, на него все закричали: — Не смей ругать Бога!

Там можно было встретить матерщинников, хулиганов, но не было ругателей Бога.

Один мой товарищ, полуеврей, в лагере крестился, в этом он нашел выход из бессмыслицы жизни. Я восполнил его крещение, то есть миропомазал уже на воле.

Рассказывали в лагере, что один полублатной уверовал так. Теперь везде обман, рассуждал он, и все, что говорят — обман. Говорят, что нет Бога, и это обман, поэтому буду веровать. И уверовал всерьез.

Я сам видел его. Образованный, писал стихи.

Мне показывали в лагере бывшего бандита, сорок человек было убито им.

Не знаю, как он уверовал, видел я его уже тогда, когда он был верующим. Нельзя было себе представить, чтоб такое смирение, такая кротость когда-то убивала людей.

Но обращение к Богу в мое пребывание в лагерях было не так значительно, сейчас, после смерти Сталина обращение к Богу в лагерях приобретает массовый характер. Я сам встречался со многими, которые оттуда возвратились уверовавшими, крестившимися, с определенным религиозным убеждением.

Брат моего товарища спорил со своим братом, говорил так:

— Вот обрушился бы храм и подавил бы фанатиков-верующих, я был бы рад, почему до сих пор существуют церкви?

А через некоторое время сам уверовал.

Пришел к его брату товарищ, уверовавший в лагере по-католически, И пригласил в костел, он пошел. Вдруг, когда я как-то пришел к своему товарищу, брат моего товарища сказал мне:

— Помоги креститься, — крестился по-православному, сейчас убежденный православный христианин.

Был один коммунист, я сам его лично знал. Послали его с пропагандистской целью по селам. Как-то он достал там Библию, зачитался ею, и ему открылись глаза. Возвратившись в город, сдал партийный билет.

— Я теперь верующий, — сказал. — Библию читаю. — Его репрессировали, отсидел пять лет.

В настоящее время — священник.

Знаю и другого партийного, уверовавшего. Тоже сдал партийный билет. Этот рассказывал так:

— Первый год, когда уверовал, пребывание в партии так-то не тяготило, на второй год стало беспокоить, на третий год почувствовал, что невыносимо. И сейчас, когда сдал партийный билет, так легко на сердце.

Исповедуются у меня партийные, и первый грех, который выставляют, тот, что они состоят в партии, не у всех хватает мужества сдать билет.

Знал одну партийную, которая двадцать пять лет была в партии. Уверовала, похоронив своего мужа. Зашла в храм в Троицын день, все было в зелени.

— И вот, когда люди, молясь Богу, опускались на колени, и я стала опускаться, — рассказывала она. — И мне легко стало, я почувствовала другой мир.

Веровала пока тайно. Однажды уронила крестик в ванной, нашел сосед и отнес в партком. Ее вызвали туда. Она сказала, что верующая...

— Тогда сдайте партийный билет, — заявили ей.

Она охотно стала доставать. Ее начали уговаривать, дали испытательный срок. Наконец она пришла и сказала:

— Все, я окончательно верующая, возьмите партийный билет.

— Ну и дала ты нам пощечину, — сказали ей на прощанье. Умерла настоящей христианкой, соборовалась и причащалась.

Один возвратившийся из заключения рассказал мне, как он уверовал. Приговорили его к расстрелу как изменника родины. Тридцать суток сидел под расстрелом. «Ну вот, жизнь окончена, к чему все было и зачем?» — задумался он. И вспомнил, как в детстве бабушка его учила молиться Богу. Попробовал. «Так стало хорошо на душе, такого благодатного состояния, — рассказывал он, — я никогда не испытывал. И не страшен стал расстрел». Просыпаясь, услышал голос:

— Расстрелян не будешь, — и в самом деле расстрел отменили. Он с высшим образованием.

Крестятся многие художники. Знаю одного художника, которого я крестил. Беспробудный пьяница был, развратник. После крещения перестал пить, ведет трезвую жизнь. В последнее время, кажется, даже курить бросил.

Все крестившиеся в один голос заявляют, что крещение для них — особое событие, они чувствуют необычно хорошее настроение, как бы это сказать, медовый месяц.

Крестил одного писателя из семьи лютеранина. Православный храм — это небо, — заявил он. Здесь ему все нравится, поэтому принял православие.

Показывали мне одного француза, который перешел из католичества в православие. В католичестве внутренне нечем жить, несмотря на стройную внешнюю организацию. В православии увидел жизнь, особенно его интересует русское старчество. Спрашивает, есть ли оно сейчас?

Несомненно, сейчас есть великие подвижники, старцы, их ищут. Видел и я одного старца современного, десять лет отсидел в заключении. Я у него исповедовался. Исповедовал очень истово, убежденно, со властью. Я мучился одной дурной привычкой, после исповеди у него все как рукой сняло.

В Москве, в Донском монастыре, был один семейный священник, о. Николай Голубцов. Говорят, он унаследовал тради-

ции старчества, даже жил под руководством одного старца. К нему ездила вся Москва за всевозможными советами. Всегда уходили успокоенными, целеустремленными.

Когда умер, отпевало его двенадцать священников и один епископ. Отпевание было грандиозное, запрудили всю улицу. Гроб несли на руках около трех километров, весь путь до кладбища усеян был цветами. Такова была любовь к нему.

Не только когда-то в старину было, но и в настоящее время есть много юродивых, кликуш, которые кричат в храмах во время службы. Присматривался я к ним. Говорят, что есть из них озорные, не знаю, так ли? Я знаю их все-таки как глубоко верующих, мучениц.

Вот она, форма веры, не для всех понятная.

Из современной молодежи есть много нервнобольных, психически ненормальных. Удивительно в них то, что большинство из них веруют, тянутся к Церкви, ищут всего церковного. Я знаком с ними, в их обществе гораздо приятнее быть, чем среди пьяниц, хулиганов.

Многие старух в церкви осуждают, ненавидят, говорят, они портят все дело.

Да, они бестолковы, даже злобны, способны неустойчивых оттолкнуть от Церкви, но они каждый день ходят в храм, пусть даже пошептаться, но не в этом дело. В критическую минуту эти старухи преображаются, становятся самоотверженными, добрыми, смелыми. Откуда трусливо уйдут интеллигенты, они, ничего не боясь, останутся. Как их судить? Что сделать, если у них так преломляется вера?

Есть и дети такие, которые сами бабушек просят окрестить их. Что мы как басурмане, — заявляют.

Рассказывали мне, как один девятилетний мальчик все присматривался к краскам на иконах, полюбил икону и просил своих неверующих родителей водить его в храм, чтоб посмотреть на иконы.

Одна бабушка с трехлетним ребенком как-то подошла ко мне, взяла благословение, через некоторое время подходит снова, уже со слезами, и говорит: «Внук мне сейчас сказал — ты, бабушка, не бойся, что мы с тобой в храме, этого никто не будет знать. Ты да я, и все. Ни маме, ни папе я не скажу». Родители неверующие.

Какая недетская сообразительность!

Крестятся ученые. Крестил одного ученого, который уверовал так. Сидел на балконе, смотрел на природу. И вдруг какое-то особое состояние стало. И я почувствовал, говорил он, что я идеалист. Выбежал в коридор и закричал соседке:

— Я — идеалист.

Она скептически сказал:

— Какой ты идеалист? Ты — материалист.

И вот я попробовал представить себе, что я снова материалист. Такая навалилась скука, что я почувствовал, что материалистом уже никогда быть не могу. И вот теперь он верующий.

Крестился недавно у меня один художник, родившийся в семье атеиста. К тридцати годам стал задумываться над религиозными вопросами. Бросался из крайности в крайность: буддизм, мусульманство, даже в иудаизм, потом все-таки пришел к той мысли, что русский может быть только православным.

— Наши предки сами выбрали для себя православие, — сказал он. Теперь глубоко верующий православный христианин.

Крестятся много детей, даже в семьях неверующих, некоторые на всякий случай.

Знаю таких родителей, которые говорят так:

— Сами некрещеные, пусть дети будут крещеными, на всякий, мол, случай.

Нужно заметить, что во время революционных праздников особенно много бывает крестин.

Интересно еще отметить.

В семьях неверующих коммунистов, видных партийных работников дети становятся верующими, убежденными, никакие доводы антирелигиозников на них не действуют.

— А что вы нам можете дать, вашу жвачку? — заявляют они. Некоторые порывают с семьями, идут учиться в Духовные школы.

Был однажды смешной случай. Приходит сын к своим родителям, они разложили его книги на три стопки. Вероятно, опасные, менее опасные и дозволенные, и сами лазают по словарю.

— Убедить хотели по словарю, — улыбнулся он. — Выписали на дом атеистического агитатора, тот ушел ни с чем.

Крестятся еврейские дети, я сам крестил многих. Родители растеряны, ничего не могут понять. Крещение принимают убежденно и потом становятся очень активными.

Вера становится модной. Есть случаи, когда девушки, еще не уверовав, носят крестики, неверие теряет даже моду…

Отец Димитрий хотел на этом закончить чтение своих записок, но так как от него ждали еще чего-то, он добавил, не глядя в записки:

— Недавно я крестил одного поэта. Пришлось тому быть как-то в пустыне, и вот пришла ему мысль. Допустим, нет Бога, а есть только эта пустыня? Ведь жизнь без Бога — это пустыня! И он стал кричать себе: «Есть Бог! Есть Бог!» — ему стало страшно без Бога, испугался своего неверия.

Крестил еще недавно ученого, который настолько опростился, что я его принял за неграмотного.

До этого он пьянствовал, развратничал, разбросал своих детей не знал где. Теперь устроился на работу в больнице санитаром, хочет еще прислуживать в храме. Собрал своих разбросанных детей и кормит их, а сам живет почти впроголодь.

А недавно один математик рассказывал, как он крестился. Просто захотелось креститься. Несмотря на то, что ни случая особого не было, ни литературы особой не читал. А родные все безрелигиозные. Почувствовал, что там внутри что-то созрело.

Теперь он духовно образован, глубоко верующий.

От о. Димитрия и еще ждали чего-то, но он решил на этом закончить.

— Ну вот приблизительно таковы мои записки. Это я их восстановил. А там я старался, чтоб сами уверовавшие написали, как уверовали. К сожалению, изъяли…

— Да, жаль, но все-таки жалеть нечего. Такими случаями полна жизнь. Скоро нужно писать книгу о том, как вся Россия вновь уверовала в Бога.

— А разве она не веровала?

— Веровала всегда, но теперь особенно.

— Вот бы написать такую книгу: «Второе крещение Руси». В муках, в страданиях, в гонениях! Это ведь небывалое чудо.

Расходились по домам в каком-то умиротворенном настроения. Правда, дорогой вспыхнул спор между Самуилом и молодым славянофилом.

— Почему вы нас не любите? — спросил Самуил. Славянофил понял, рассмеялся.

— А нужно, пожалуй, и это. Все нужно, что делается. Споры, гонения, ненависть… При водительстве Божьем все придется к лучшему.

— Воскреснет Русь и все живущие в ней, — добавил шагавший сзади (не Самуил!).

Славянофил еще раз улыбнулся с какой-то преднамеренностью. Самуил понял, хотел даже сказать что-то, потом махнул рукой — все равно, мол. За него высказалась женщина еврейской наружности:

— Самуил — политик. Он — религиозный человек, но он политик и без политики не может жить.

— А политика в религии нужна ли? — заметил кто-то.

— А почему же нужна? — вспыхнул Самуил, потом что-то вспомнил, подумал, поглядел на благодушного славянофила, благо, тот разговаривал спокойно.

Славянофил еще улыбнулся, на этот раз саркастически:

— Ты вот расскажи, как ты на Афонскую гору забирался и хотел переждать там катастрофу?

Самуил недовольно нахмурился и про себя буркнул:

— Катастрофа еще будет, еще не все, — зашагал вперед быстро, не оглядываясь, сумерки поглотили его стремительную фигуру.

— Не успокаивается, хочет быть вождем… А вождь в христианстве — покаяние. Покаяние отверзи ми двери, Жизнодавче…

Славянофил не унимался:

— И всерьез они на гору лазали?

— Вполне.

— Поразительно то, что Самуил всю Русскую Церковь обвинил в сектантстве, в адвентизме, а сам стал настоящим сектантом…

— Жалко вот о. Андрея. О. Нестор отошел, а о. Андрей еще верит в него.

— Кажется, уже остается видимость, что верит. Слышно, что начинает причащаться и подумывает писать прошение о восстановлении его в служении, но это пока секрет.

— У всех у них уже надломленный хребет, придут к покаянию. А пока идет спор, может быть, с самим собой...

— А что слышно о Ермогене?

— Да вот вызвали в Москву, в Патриархию...

— А кто сейчас правит Патриархией?

— Вообще Русской Церковью?

Ставились вопросы, как-то на них отвечалось, но все сознавали, что просто так ответить нельзя, что нельзя искать правых и виноватых... Христос всех ведет, а мы все грешные, слабые, всех нас захватила разгулявшаяся стихия, морская волна...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

МЕЖДУ ВТОРЫМИ И ТРЕТЬИМИ ПОМИНКАМИ

Так не раз уже хотели оправдать Патриархию, но когда вдруг приоткрывалась завеса над темными делами, все терялись и не знали, что говорить и что делать.

В самом деле, кто правит Русской Церковью? Девяностолетний старец Патриарх? Да он ли правит?

А может быть, и он? Ведь его подпись мелькает на документах?

Рассказывают, что Ермогена он принимает любезно и удивляется, что тот не служит... У митрополита Евлогия в его воспоминаниях есть характерное местечко. Пришел он (нынешний Патриарх) к Евлогию, кажется, когда тот был ректором академии, Евлогий его спрашивает:

— Ну как?

— Функционируем, — отвечает.

Это очень характерное слово — функционируем.

А кто знает, может быть, мы на большее и не способны?

А Патриарх Алексий любит Церковь, любит богослужение, у него приятный голос. Бывает и строг, правда, строг не до конца, надо, мол, и помиловать.

Вот как-то при разрухе, в начале еще, голодные революционеры зашли к нему. Он в первую очередь и побеспокоился накормить их. Они поехали, но сделали свое дело, а на него сказали:

— Это поп культурный, его можно и не трогать. И все-таки Патриарх — это фигура!

Рассказывали как-то, чудо совершилось по его молитвам, это недавно было. Летели в самолете, много было пассажиров. И вдруг то ли моторы отказали, пилот прямо сказал:

— Катастрофа... — и все тогда обратились в сторону Патриарха. Он сидел углубленный, спокойный. Потом заметил растерявшихся бледных людей и как-то механически спросил:

— Что случилось?

— Катастрофа...

— Бог милостив, все обойдется... — и тут же заработал мотор. Пилот сказал, что произошло чудо, он был в полной уверенности, что случится катастрофа.

Есть при Патриархе Данила Андреевич, говорят, его дворецкий. Сейчас он заведует хозяйственной частью, выполняет функции личного секретаря Патриарха. Им недовольно все высшее духовенство, распространяют слухи, что он взяточник... а вот один священник рассказывал, что когда не него напал епископ, то единственный, кто помог, Данила Андреевич. К Патриарху пробраться трудно, а Данила Андреевич помог. И говорят, если он даст слово, то уж сдержит. А кто в наше время может сдержать слово, даже из епископов?

И другой священник рассказывал, что Данила Андреевич устроил его на место и обязал говорить проповеди, и защищает его. А на священника нападают светские власти... Вот с властями Данила Андреевич не якшается, то есть не стучит, но умеет с ними говорить... Наверно, прикрывается авторитетом Патриарха? Что ж, и для этого надо иметь способности!

Данилу Андреевича, верно, некоторые побаиваются и недолюбливают... Ну известно, на всех не угодишь!

Вот еще митрополит Никодим. Кажется, недавно был простым монахом, потом епископом, и вдруг выскочил в митрополиты, управляет иностранным отделом. Говорят о нем много хорошего и плохого, больше плохого, и распространяют про него то, о чем стыдно говорить... И все-таки он неразгаданная личность!

Все-то он врет, без сомнения, но может говорить и умно, быстро схватывает, что нужно в текущий момент для Церкви. И властей умеет обводить, говорят. Сначала выставляет просьбу явно, которая ему не нужна, упираются по привычке, тогда он

выставляет нужную, и они, что ли, не раскусят и выполняют, а потом одумаются, да поздно. И где он появляется, там не закрывают храмы и священников без места нет.

Молодых людей у него много, любит молодежь. Неужели у него только низменная цель, ищет авторитета?

Митрополит Пимен — старейший по хиротонии. Никто не станет отрицать, что он верующий. Впрочем, несколько странно, что основное достоинство митрополита, что он верующий, как будто митрополит может быть и неверующим. В митрополите Никодиме могут сомневаться, верующий ли он или нет, а в Пимене не сомневаются.

Любит служить...

Говорят, когда он еще был на фронте, не митрополитом, солдатом, в разведке, над ним совершилось чудо. После того случая он очень часто молится Нечаянной радости Матери Божией.

Любит помогать нуждающимся. Тайком, конечно, чтоб никто не знал, благотворительность в Церкви запрещена властями.

Скромности у него не отберешь. Дикция хорошая, читает внятно, несколько суховато как будто.

И проповеди говорит хорошие. Впрочем, когда был наместником Троицкой лавры, говорил лучше. В настоящее время он митрополит Крутицкий и Коломенский. Им власти вертят, как хотят, любит подписывать беспрекословно всякие бумажки. А может быть, подписывает с болью в сердце, кто весть, что может быть в человеке?

Постоять, говорят, ни за что не может... А кто знает, может, быть, и может?

Знать-то мы знаем — не может. Посочувствовать может, вздохнуть вместе может, послать Божие благословение может... А может, и этого достаточно при современном положении, как сказать?

Митрополит Алексий. Совсем молодой, очень вежливый. Мягко стелет, любит цветочки. Любит украшать монастырь в Эстонии. Он митрополит Таллинский, а заведует Московской патриархией, управляющий. Тихий, никто не догадается, чем живет. А некоторые говорят, что скажут там, наверху, не в патриархии, а там... то он и выполнит.

Вот такие сейчас во главе Церкви!

Вызвали в патриархию Ермогена. Архиепископа Ермогена!

Приехал он как будто робкий, растерянный. Беленький весь, худенький, задумчивый.

Зашел к знакомому московскому священнику о. Валериану. Пошли они к нему на колоколенку. Там обычно располагались священники.

— Неужели место? А пора бы, — тревожится архиепископ Ермоген. О. Валериан улыбнулся, любит он улыбаться саркастически.

— А вы, владыко, пенсию получаете?

— Да.

— Ну, наверно, думают надбавить?

И снова улыбается саркастически, непонятно чему.

— Отберут?

— Да нет... зачем отбирать? Они вас только похвалят за ваши милые письма...

— Да, последнее я написал-таки резкое. Замахнулся на всех, чуть не всех обвинил в неканоничности... Справку о патриархах привел... И фактов много вопиющих! На епископа указал одного. Как тот раза три женился, раза три в священника рукополагался, два раза в епископа. И теперь при месте — митрополит такой-то! Не мог удержаться...

— Ну вот, может, вас за это и похвалят. Орден Владимира дадут...

Архиепископ понял, мягко улыбнулся.

Замолчал, задумался.

— Пойду.

И пошел. Его ожидали.

Было много епископов других, собор целый.

На переднем плане, конечно, сидели вышеперечисленные.

С длинной бородкой, нахохлившийся митрополит Никодим. Забегал глазами, как вошел Ермоген. Как будто было намерение спрятаться. А потом уставился в одну точку. Неприступный. С большими мешками под глазами. Глубокий старец, а всего-то лет тридцать шесть.

Митрополит Пимен не повернул голову. Суровый, иконописный сидел. Видимо, очень больной, страдание все-таки на его лице явное.

Митрополит Алексий радушный, как будто вскочит и скажет:

— Садитесь, пожалуйста, — но это так казалось. Он только глазками водил.

Другие по-всякому смотрели, были даже злобные взгляды. Поклонился архиепископ Ермоген честному собору.

Слегка кто-то ответил. И тишина. Тишина деловая, натянувшаяся до предела. Сейчас что-то произойдет. Тишина всегда натягивается, и обязательно она должна лопнуть.

Она сразу и лопнула.

Заговорит митрополит Никодим, глядя в какие-то бумаги:

— Мы вас, выше высокопреосвященство, вызвали по поводу вашего неканонического действия. Вы смущаете Церковь Божию.

Тишина так лопнула, что сзади послышался чей-то трескучий голос, как будто осколки летели от взорвавшейся бомбы.

— Вы на антисоветские действия нас сбиваете. Не дадимся на провокацию...

— Вас надо под арест, — так и сказали. Кто-то все-таки поправил:

— Сослать в монастырь на покаяние...

— Пенсию отобрать, пусть потом пишет.

— Заелся слишком, — и так сказано было.

— Злоупотребляет нашим расположением.

— Мы уважаем вас, как умного.

— А что, и мы б не хотели?..

— Надо уметь ладить...

— А то не уживается ни в одной епархии.

— С уполномоченными везде ссорится.

— Наводнил все письмами.

— Патриарху не подчиняется.

Архиепископ Ермоген стоял, слушал, смотрел долу. Голова то опускалась, то подымалась.

Он пока ничего не мог понять и не знал, что ответить. Стоял и слушал. Стоял и молчал. Худенький, седенький...

Казалось, воды не замутит. А глазки хотя и печальные, но живые, умно и решительно смотрят. Тишина снова натянулась, но тишина такая, которая не лопается.

Митрополит Пимен, кажется, постучал по столу.

— Ваше Высокопреосвященство, мы просим, чтоб вы нам ответили...

А он сказал два слова и снова замолчал.

— Я ничего неканонического не делаю. Против Советской власти не выступаю. Я хочу именно канонического...

Он хотел что-то сказать более, но запнулся, решил не раздражать их.

А они уже раздражились.

— Так мы против канонов?

— А почему, если мы неканоническая власть, вы получили сан архиепископа от этой власти?

— Почему тогда молчали?

— По-вашему, Патриарх незаконный?

Архиепископ Ермоген попытался было робко защищаться.

— Вы поймите меня. Я чтоб именно все было хорошо. Вы читали мои письма?

— Да они канонически неграмотные...

— И кто вам дал право писать?

— Профессора только могут писать.

— Заграница вас подхватила.

В такой обстановке все проходило. Это был не собор, даже не собрание. Скорее всего — это был самосуд. И постановили: ЛИШИТЬ ПЕНСИИ.

Быть ему, архиепископу Ермогену, простым монахом на покаянии... Поклонился архиепископ Ермоген честному собору и тихо вышел.

На колоколенке его ожидали уже. Было много там честных священников и честных мирян.

Были все, кого могла вместить колоколенка.

Появился архиепископ. Перекрестился и поклонился другому честному собранию. Здесь никто не ставил вопросов, только пытливо и осторожно смотрели.

Ермоген сел, потер виски, посмотрел открыто.

— Может, чайку? — попросил робко.

И сам засуетился. Взял у о. Владимира из рук чайник и разливал всем. Пришел не чтоб Ему служили, а чтоб послужить...

Самуил потом рассказывал, что вот за это, за такое, он готов был все ему простить, хотя не так нужно...

Алексей Яковлевич, когда все уже немного отпили чайку, попросил благословения у архиепископа прочесть «Сон в Патриархии».

Он уже читал другим.

Архиепископ вздохнул.

— А что это?

— Послушайте.

Во время чтения архиепископ, кажется, улыбался, потом пристально вгляделся в Алексея Яковлевича, задумался.

СОН В ПАТРИАРХИИ

На стогны града спустилась ночь. Хотя ночь теперь не с той тишиной, как когда-то бывало, но, какая бы ни была ночь, сны все-таки снятся.

Итак, спит Москва, спит в том числе и патриархия.

Так как сон на этот раз снился всем один и тот же, то мы не будем пока называть ничьего имени.

Спит, допустим, Икс.

Он отчетливо помнит, что, перед тем как ложиться спать, он забыл закрыть дверь, и, уже улегшись в постель, вспомнил об этом, но не хотелось вставать, веки отяжелели, все мускулы ослабли...

И, кажется, началось блаженное засыпание. И вдруг в его спальню вваливаются незнакомые люди. Может быть, на первый взгляд незнакомые, а в самом деле он их, кажется, узнал. Потом, когда они закричали, затопали и наконец стали хохотать, он понял, что их знает, только не может припомнить... Напряг память и вспомнил: они часто приходили в патриархию с определенными требованиями. Требования ему не нравились, он даже пытался их уговаривать, но они стояли на своем, он переставал сопротивляться и говорил:

— Ваше Высокопреосвященство, как же мне теперь быть? Детишки ведь у меня...

— Я тебе говорил, — отвечал Икс. — Нужно быть податливее...

— Да ведь совесть не позволяет, — пытался возразить священник. Икс хмурился.

— Совесть, совесть... А у меня, что ли, совести нет? А вот податлив. Требуют — значит, соглашаюсь. Не мы, так другой сделает. А мы, может быть, и не так плохо. Все-таки мы, а не другие. А главное — место цело. А там Бог разберет, кто виноват. Так что теперь обижайся на себя самого...

Потом Иксу становилось жалко этого священника, и он ободрял его: — Ну, Бог милостив, подыщем местечко. Только ты уж не артачься. Такое время. Как мы делаем, так и ты делай. Не выделяйся. Не будь гордым, смири свою выю...

— Да какое гордый?.. Вот совесть... — снова пытался говорить о совести священник.

Икс выходил из себя:

— Ты мне эту совесть брось, нашелся тут святоша. Иди. Совесть... Тут не до совести, быть бы целу.

Священник уходил.

А через некоторое время снова приходил, согнувшийся в три погибели, и проводил с собой своих деток, хотел разжалобить, что ли?

И в самом деле, достиг бы цели. Но как только Икс завидел их бледные личики, сразу закричал рассерженно:

— Гнать его отсюда, здесь не богадельня, — боялся, может быть, чтоб совесть не проснулась, он ведь говорил, что и у него совесть есть.

И священник уходил, уводя испуганных детишек. Этот испуг детишек Икс долго не мог забыть. Одно время хотел было их отыскать, дать что-то из своих сбережений, но тут приспела заграница, он направлялся туда главой делегации... И всякие выступления там, успех стирали из памяти Икса этого священника с его испуганными детишками, он его забыл: что, где, куда его Бог определил? Может быть, его прошение и сейчас лежит в патриархии без движения? Но ведь их много, всех этих бедствующих священников, всех не припомнишь, всех не нажалеешься, надо пожалеть и себя.

Ввалившиеся в спальню Икса меж тем расселись на стульях. Кто-то внес большой стол, накрыл чем-то красным. «Что они такое задумали и кто это?» Икс спал и одним глазом по-

сматривал на них, и вдруг вспомнил: это церковный совет, да, видимо, и не одного храма?.. Как будто стены спальни раздвинулись, и перед его кроватью оказалась огромная толпа.

«Чего же они хотят? – соображал Икс. – Какие еще требования будут выдвигать? Ах, злосчастный Собор шестьдесят первого года! В печенках он у нас сидит, а ничего не сделаешь: близок локоток, да не укусишь».

– Вы все спите? Товарищ, просыпайтесь... – такого обращения Икс стерпеть не мог, он вскочил с постели и закричал:

– Это что еще такое, я – епископ!

А они преспокойнейшим образом улыбаются:

– Вы радуйтесь, что мы вас назвали товарищем. – Потом переглянулись друг с другом, моргнули своими хитрыми глазами: – Ну что ж, этот поп не хочет быть товарищем, не будем его так называть, объявить ему свое решение. – И заговорили сурово и непреклонно: – Так вот, бывший мракобес, с сегодняшнего дня мы решили, что нам церкви больше не нужны и вы тоже. Убирайтесь куда хотите. Впрочем, мы вас можем выслать теперь как тунеядца, если не устроитесь на работу, хватит нас обманывать.

Икс помнит, что его это очень взорвало, как будто это было и не во сне, а наяву. Он еще не сдавался, тут же схватил телефонную трубку и начал звонить. К телефону долго не подходили, потом подошли, и вяло знакомый голос произнес:

– Это кто?

– Епископ такой-то, – даже, кажется, сказал: митрополит, как это и в самом деле было.

– Какой епископ?

Он назвал себя по имени-отчеству, как обычно его там величали. Наконец его узнали:

– Чего же вы хотите?

– Да вот пришло несколько церковных советов и заявили мне, что я лишаюсь места...

– Это меня не касается, это ваши внутренние дела. Притом вам, кажется, известно, что вся власть теперь у церковного совета. Раз они так постановили – значит, так и должно быть. Мы во внутренние дела Церкви не вмешиваемся.

— Но я и вам служил, я выполнял ваши приказания, — замолил Икс, но там повесили трубку. Что делать? Ввалившиеся в спальню люди предъявили документ, по которому выходило, что Икс теперь не нужен и с ним договор расторгнут. Только сейчас он понял все трагическое положение, понял, что был в числе наемников...

Вспомнились, кажется, ему и евангельские слова: «Пастырь добрый душу свою полагает за овцы своя, а наемник не пастырь, он видит волка грядуща, оставляет стадо и бежит, и волк расхищает стадо». Он окончательно проснулся, сел на постель и задумался... ах, допустил оплошность: перед сном оставил открытой дверь, вот и вошли эти люди... Куда же теперь податься? Между прочим, в спальне уже никого не было, из спальни все было вынесено: не осталось ни одного кресла, даже постель была вынесена, и Икс сидел на голых досках. Стал перебирать в памяти, какую бы работу он мог теперь выполнять? — и ничего не мог придумать.

Пойти военным — не примут.

Грузчиком — не в состоянии. И решил он все-таки искать такой храм, в котором, может быть, еще нуждаются в священнике.

Многие обошел он храмы: большинство было закрыто, большой замок висел на дверях, некоторые разбирались уже на кирпичи... И вдруг около одного храма он увидел горбатенького человека, сидел тот на паперти и думал какую-то великую думу. Дверь в храм была полуоткрыта, и в храме шел какой-то оживленный разговор. Сначала как будто показалось, что поют там, но прислушался и решил, что разговаривают.

— Здравствуйте, добрый человек, — низко поклонился Икс сидевшему на паперти.

— Здравствуйте... — горбатенький человек внимательно вглядывался, он, кажется, узнавал в лице Икс священнослужителя, так как тот был в рясе и с панагией. Добрые глаза горбатенького человека засветились, скрюченные пальцы растопырились, и он выпрямил свои длинные ноги и оказался таким огромным, настоящим громовержцем. Ильей Муромцем! Нет, лучше Ильей-пророком.

— Вы священник? — тепло, ласково, сердечно спросил горбатенький и тут же поправился: — Вы — епископ?

Куда там епископ, он рад быть самым рядовым священником, только бы не искать другой работы, иначе с голоду можно умереть.

— Да, я священник, ваше боголюбие, — смиренно произнес Икс.

— А как ваше святое имя?

И только Икс назвал свое имя, как в глазах горбатенького человека засверкали молнии, нахмурилось доброе небо глаз.

— Нет, нет, мы вас не желаем, вы и этот последний храм закроете, вы все подпишете... А он с таким трудом нам достался. Нет, нет, не желаем...

И тут же поднялся со ступенек, и заковылял в храм, и закрыл за собой дверь, плотно закрыл дверь — сюда не войдешь! Это только Икс оставлял открытой дверь. А этот закрыл!..

Кажется, собиралась гроза. Черная, черная туча надвигалась. Икс смотрел на нее с ужасом и думал: куда же теперь скрыться? Но Икс пока еще не предвидел всего ужаса. Он все-таки в глубине души думал, что туча будет двигаться медленно, а она с неимоверной скоростью росла. Стало так темно, как в самую темную ночь. Все закрылось ее страшным мохнатым пологом.

Да, туча была похожа на мохнатого зверя, который заносит над тобой свою страшную пасть, и вот чувствуешь, что он сейчас схватит тебя, и все-таки не знаешь, в какую долю секунды. И ожидание того, когда же он схватит, было самым мучительным, лучше бы сразу схватил.

Но еще было страшнее то, когда туча вдруг раскололась, и как будто все небо обрушилось на тебя, вот сейчас задавит.

И опять ожидание того, когда задавит, длилось самым мучительным образом.

Но еще страшнее было то, когда Икс поднял глаза и хотел взмолиться Богу, как увидел Илью-пророка на огненной колеснице. С такой он неимоверной скоростью несся, тройка с огромными копытами вот-вот, казалось, наступит на голову и все размозжит.

А еще страшнее было, когда увидел Икс в руках Ильи-пророка меч и вспомнил, как тот истреблял... Тут Икс от ужаса хотел спрятаться в самого себя...

И какое счастье! — вдруг Икс проснулся самым естественным образом. Под малиновым абажуром горела настольная лампа и разливала мягкий убаюкивающий свет. Он, оказывается, забыл не дверь закрыть, а выключить лампу. Скорее выключил ее и побежал в патриархию рассказывать свой сон.

— Ваше Высокопреосвященство, а вы знаете, какой я сон видел?

— И я видел, — отвечало другое высокопреосвященство.

— А ну какой...

И тот начинал рассказывать, другой перебивал:

— Так стой, и я же такой сон видел... Вот скажи, бывают и в нашей жизни чудеса. Ну да, пришли люди и сказали, что ты, то есть я, нам больше не нужен... И я пошел искать храм, где еще, может быть, совершается служба...

— И увидел горбатенького на паперти?

— Ну да. И ты так видел?

— Вот именно и я так, что это значит? А ну давай спроси еще у одного Владыки?

— Ваше Высокопреосвященство, а вы никакого сна сегодня не видели?

— Да, знаете, интересный сон видел. Будто я теперь больше никому не нужен...

— А горбатенького видели?

— Да, да, видел...

— Он сидел на паперти?

— И как только назвал свое имя, он захлопнул за мной дверь...

— Ну да. Вот именно так.

— А ну спросим и еще у одного Владыки...

— Ваше Высокопреосвященство, не скажете ли вы нам...

Пятый Владыко, еще они не договорили, как сам догадался, в чем дело.

— Да, скажите, видел... И знаете, какой страшный сон видел?

— И горбатенького видели?

— И что он за вами захлопнул дверь?

— И грозу, может, видели?

— Да, и грозу видел, похожую на мохнатого зверя...

— И Илью-пророка, может, видели?

— Да, и Илью-пророка... И что он занес надо мной меч...

И у кого потом ни спрашивали, оказывается, все работники патриархии видели один и тот же сон.

Что это значит?

В этот день в патриархии нарушился привычный ритм работы: все разгадывали взбудораживший всех сон.

— Э! Это не так просто, ваше Высокопреосвященство...

— Но вот все-таки, что значит этот сон?

— Вы хотите сказать, как по Фрейду будет?

— Да что по Фрейду? Комплекс неполноценности у каждого из нас есть. Но я говорю, что это не случайно, и нам нужно что-то придумать...

— А может, передумать?

— Придумать, передумать, думать... За нас все это делают.

— А нам все-таки отвечать.

— Вы, кажется, всерьез начинаете разгадывать сон?

— А как же. Бывают же сны от Бога? Мы не басурмане, мы верим в Бога...

Так ли это было или иначе, но одно определенно, что в патриархии сейчас сон...

На стогны града спустилась ночь. Спит первопрестольный град Москва, спит Московская патриархия. И вы не забывайте, что мы продвигаемся в сумерках.

Устали, должно быть?

Вот бы не свалиться! Не одолел бы страшный сон.

Когда кончилось чтение, Владыко нахмурился. Снова молчание, тишина. Надо ставить какие-то вопросы, и о. Валериан поставил.

— Ну как, для чего вас вызывали?

— Пенсии лишили, — неожиданно выпалил архиепископ Ермоген, улыбнулся довольно.

— Это уж слишком, даже я не ждал, — сказал Самуил. — Совсем несерьезно...

— К чему мы придем? — с просил кто-то, этот вопрос повис над всеми, как дамоклов меч.

Архиепископ вздохнул:

— О. Владимир, нельзя ли еще чайку?

На этот раз разливал о. Владимир, а архиепископ подавал, все спешили подхватить свою чашку.

О. Никон только возвратился со службы усталый и чуть было не улегся в своей комнатушке (он в летний период жил при церкви), как к нему постучали, неохотно встал и недовольно спросил:

— Кто там?

— Откройте, о. Никон, — голос как будто знакомый, но он боялся даже верить, что это Тот, и более мягко переспросил:

— Говорите, кто?

— Ну откройте и увидите... Не бойтесь, я вас не унесу.

На этот раз сомнений никаких не было, и о. Никон, на всякий случай накинув рясу, открыл.

— Простите, о. Никон, но мне нужно было с вами увидеться, я к вам на минутку.

— Да, пожалуйста, проходите.

У о. Никона как будто и усталость прошла, и он почти за рукав втянул в комнату своего профессора. Профессор на этот раз особенно дружественно улыбнулся.

— Помните, я вам обещал, что напишу про вас, так вот написал... — Профессор достал тетрадку из портфеля и держал в руках, о. Никон даже забыл, о чем идет речь.

Профессор снова стал извиняться.

— Прочтите, когда будет время... Я в другой раз загляну.

— Нет уж, пришли, я вас не выпущу. Садитесь, а я буду читать. Это срочно?

— Ну как угодно, — согласился профессор.

О. Никон немного прилег на диване, профессор сел с ним рядом.

— А я, кстати, тоже почитаю... — Профессор достал книгу.

Тишина, как обычно, сопутствует этому, натягивается, как будто подрагивает, и потом взрывается.

Чтение о. Никона сразу увлекло, он сразу стал довольно улыбаться. Бросил косой взгляд на профессора, профессор углубился в чтение, в его руках находилась небольшая книга без переплета... Новый Завет! — сразу догадался о. Никон, глянув на расположение строчек. Больше о. Никон на профессора не смотрел, чтоб тому не мешать читать, и сам со всей серьезностью и с захватывающим интересом читал.

ВТОРОЕ КРЕЩЕНИЕ РУСИ
(Заметки к будущей книге)

Вошли в храм два человека, оба были журналистами. Один высокого роста, уже пожилой, в очках и с изможденным лицом, другой — среднего роста, с лицом без единой морщины, тоже в очках, но в очках темных, от солнца.

Им срочно нужен материал, заставили написать антирелигиозную статью и про тот храм, в который они вошли. Храм был незаметный, отдаленный, но слишком известным был в нем священник.

В храме шла служба. Поразило обоих журналистов то, что служба шла истово, без всякой скороговорки, что не входило в расчет журналистов, особенно молодого, священник выделял каждое слово, оно как будто вкладывалось в уши слушающих.

Но что еще больше поразило и удивило журналистов — это то, для чего так старается священник, вернее, для кого: в храме находилось несколько старушек, совершенно не слушающих службу.

Две или три из них торговались у ящика, отдельно от них старуха молча стояла у ящика и как шпион наблюдала за всеми, кто входил. Со злыми острыми глазами, с бледным полумертвецким лицом, так и ворочалась из стороны в сторону. На журналистов она тотчас нацелилась, но из каких-то тактических соображений отвернулась от них, стала как будто наблюдать за девушкой, растерянной и чем-то взволнованной. Девушка стояла в очень укромном месте на коленках перед большой иконой Матери Божией.

Журналисты постояли немного у входа и стали осторожно проходить дальше, украдкой бросили взгляд на злую старушку, убедились, что она оставила их в покое, и пошли смелее по храму. Зайдя в такое место, где их старушка не могла бы видеть, они бесцеремонно стали рассматривать живопись. Живопись была старинная, впечатляющая, так что даже молодой ахнул и задрал голову, говоря:

— Ну это взять нужно на государственный учет, зачем этим мракобесам такая красота? Вы смотрите только...

— Возьмем, все возьмем, — произнес пожилой журналист. — Дай только время, и храм этот закроем... — журналист настолько был молод, что в голосе пожилого журналиста не расслышал иронических нот, и уже было хотел водить пальцем по лику какого-то святого, как откуда ни возьмись подбежала рассвирепевшая старуха-шпион, схватила за рукав молодого журналиста и затормошила его:

— Чего тебе нужно здеся? Не видишь, что это святой? Водишь своим грязным пальцем по его ясному лику. А ну убирайся, безбожник окаянный...

Молодой журналист свысока и пренебрежительно посмотрел на старуху, но не двигался с места, пожилой сделал испуганный вид и хотел ретироваться, сказав внушительно своему спутнику:

— Пойдем, а то она еще бить нас начнет.

Молодой журналист был не из робких, он насмешливо посмотрел на старуху, на всякий случай бросил взгляд и на других старух, о чем-то усиленно шептавшихся, и грозно зарычал на старуху:

— Что привязалась? Посмотрим и уйдем, не унесем же мы твои иконы.

— А что смотреть? Надо молиться, а не смотреть. Здеся молятся...

— Ну уж и молятся? Болтают...

— Не тебе судить, сопляк. А ну перекрестись! Ты и креститься, гляди, не умеешь.

— Не умею и не желаю, не считаю нужным...

— Ах, не считаешь нужным? Так убирайся, не видишь разе, что здеся храм? — наступала неробеющая старуха.

Молодой журналист намерен был дать отпор, какой только?. В это время в храм входил пожилой человек, довольно интеллигентный, почтенного вида, и с ним рядом шел мальчик школьного возраста. Молодой журналист хотел было направиться к этому человеку, нервно махнул рукой в сторону старухи, чтоб она отстала от него, да пожилой журналист дернул его за рукав:

— Ты что задумал?

— Да ведь нельзя, пионера привел. Сам он темнота — пусть, но зачем пионера привел?

— А ты знаешь, с какой целью он вошел, да и кто это? Может, это новый Павлов?

Молодой журналист вопросительно посмотрел в лицо пожилого журналиста, тот качнул головой — пойдем, мол, отсюда. Молодой согласился было уходить, они уже были недалеко от двери на выход, как с противоположной стороны в боковую дверь вошло несколько молодых людей. Они моментально сняли шапки, и было такое впечатление, что они должны были перекреститься, но почему-то не перекрестились, благоговейно огляделись кругом и почтительно остановились. Остановились и журналисты, их заинтересовали вошедшие кто они и откуда? За этими молодыми людьми вскоре вошли и другие молодые люди, храм наполнялся молодежью. Самому старшему из них было не больше двадцати пяти лет, младшему лет четырнадцать-пятнадцать. Они не любопытствовали, они были как будто чем-то поражены, вернее, потрясены. Такой вид был у всех, как будто им хочется молиться, да не знают, как начать. Лица были всякие: и светлые русские, и темные восточные, и были даже с узкими глазами, раскосые, были и библейские лица евреев, вдохновенные и решительные.

Служба кончалась. Священник с острой и редкой бородой вышел с крестом на амвон, старухи с благочестивыми лицами потянулись прикладываться к кресту. Пошла и злая старуха-шпион, на ходу косясь на молодого журналиста. Крепко, видимо, он не понравился ей.

В это время пожилой журналист притянул к себе молодого журналиста.

— Смотри сюда, — указал ему пожилой журналист: к церковному ящику выстраивалась очередь. Это журналистов очень заинтересовало, и они с большим любопытством приблизились так, чтоб можно было расслышать, о чем говорят молодые люди. Слышались голоса. Сначала молодому журналисту показались голоса насмешливыми, он сказал об этом:

— Разыгрывают какую-то шутку, — но тот не слушал его.

Молодой журналист более внимательно прислушался и поразился, говорили вполне серьезно и очень любопытно.

— Как можно креститься?

— А кому креститься? — подняла лицо торгующая за ящиком, очки сползли с ее бледного лица.

— Да вот нам...

В этом месте разговора молодому журналисту показалось, что они в самом деле смеются, так их поняла и женщина за ящиком и даже отмахнулась от них:

— Не мешайте работать...

— Мамаша, почему вы не хотите нам отвечать?

Женщина снова подняла на них удивленные глаза:

— Вы что, серьезно хотите креститься?

— Да, да, серьезно...

— А кто хочет?

— Да вот все мы...

— Все вы? А сколько вас человек?

Молодой журналист в этом месте разговора подумал: «Неужели всерьез?» — и всерьез сам заинтересовался разговором.

— Человек пятьдесят...

— Пятьдесят? — ахнула женщина, ее лицо засияло, она быстро всех окинула ожившими глазами и впала в сомнение: ей все-таки показалось, что не может быть всерьез, она знала, какая сейчас молодежь распутная, несерьезная. Снова став рыться в ящике, недовольно пробурчала:

— Не мешайте работать. Скажите, что вам нужно, и уходите. Может, свечу хотите поставить по какому-то поводу?

Молодые люди не отступали, переглянулись вопрошающе между собой, молодой журналист, к ужасу своему, заметил, что все здесь всерьез. Пожилой журналист стоял с загоревшимися и просветленными глазами. Признаться, этого он не ожидал, хотя уже встречал много всего неожиданного.

— Мамаша, почему вы нам не хотите ответить?

Мамаша смотрела растерянно.

— А что вам ответить? — она со страхом начала догадываться, что они в самом деле хотят креститься, и соображала, как все это оформить, да и заинтересует кое-кого массовое крещение, и как бы чего не вышло.

— Да вот все мы хотим креститься, что для этого нужно?

Женщина перестала копаться в ящике и глядела на молодых людей как бы она ни хотела быть угрюмой, но ее лицо засияло, засияло каждой складкой рано собравшихся морщин.

— Ой, деточки, — заговорила она подобревшим голосом. — Я и сама не знаю, пойду спрошу у старосты, такого не бывало...

Молодые люди стояли выжидательно, серьезно и с какой-то ранней тревожной думой: таких серьезных лиц у современных молодых людей не бывает.

Староста, полная женщина, которой перевалило за пятьдесят, давно уже наблюдала со стороны, она медленно подвигалась к ящику, осторожно прося посторониться молодых людей, те очень медленно отступили в сторону. Женщина за ящиком заметила старосту и почти закричала ей:

— Марья Петровна, вот молодые люди креститься хотят...

Староста ничего не отвечала, молча подвигалась; поднявшись и закрыв дверцы ящика, стала спрашивать с возвышения, она была тактичная староста, тактичная и дипломатичная.

— Ну вот теперь говорите, что вы хотите?

Впереди стоявший молодой человек повторил просьбу:

— Мы хотим креститься, что для этого нужно?

— Как что нужно? — староста еще не нашлась что сказать, но уже давно все поняла, и не знала, что на это сказать. И отказать не хотелось, и если крестить всех, будет чрезвычайное происшествие, ее сразу затаскают, и как бы даже не закрыли храма, она все почему-то боялась, что из-за «незаконных крестин» могут закрыть храм.

— А у вас документы есть?

— Есть паспорта, студенческие удостоверения, ну а некоторые школьники...

— Школьники? — повторила староста. — А комсомольцы среди вас есть?

— Да мы все комсомольцы...

Молодые люди заметили перемену на лице старосты и почти почувствовали, что откажет в крещении, стали изворачиваться:

— А что, нельзя комсомольцам? Нельзя? Мы сразу бросим комсомол.

Лицо старосты изменилось еще к худшему. Молодые люди почувствовали, что допустили роковую ошибку. Староста, испуганно оглядываясь по сторонам, чуть не перекрестилась, когда закрылись царские врата, но и после время от времени с

тревогой поглядывала туда. Молодые люди придавленно молчали. Пожилой журналист понимал, в чем дело: староста боялась. Не дай Бог, выйдет сейчас из алтаря священник, он всех с триумфом крестит. Священника этого он знал, ему терять было нечего, он уже все потерял. А старосте надо бояться: лишиться такого теплого места в храме — очень неблагоразумно. Староста собрала всю свою расторопность и дипломатичность и стала уговаривать молодых людей:

— А куда вы торопитесь? Вы, наверно, не знаете «Верую»? Во всяком случае, не все?

— Не все, но все-таки кое-кто знает.

— А обязательно нужно наизусть?

— А как же!

— Да что, мы экзамен сдаем в Духовную школу?

— Мы, главное, веруем.

— Веруете — это хорошо, надо и знать...

— Мы будем знать.

— А пока надо торопиться.

— А чего торопиться?

— Может быть поздно.

— Поздно никогда не будет.

— А может быть поздно...

И кто-то недипломатично выпустил слова:

— Может, завтра нас всех пересажают. — этого было достаточно. Староста, испугавшись, мгновенно побледнела, она теперь с особой тревогой поглядывала на боковую дверь в левом приделе, как бы не появился священник. И с не меньшей тревогой поглядывала на журналистов. Пожилой журналист уже отошел в сторону, чтоб не смущать. Ему было все понятно: в пикантное положение попала староста, он догадывался, что молодые люди эти смоговцы, в Чехословакии в это время разыгрывались события, да и у нас готовились выступления на Красной площади. Староста решила во что бы то ни стало отделаться от молодых людей:

— Я вам советую идти пока домой, выучить «Верую», взять своих родителей...

Сразу чей-то протестующий голос:

— Зачем родителей? Родители — безбожники...

— Мы сами взрослые люди.

— Того родители не понимают, что нам понятно стало.

— Выходит, что и в храме правды нет?

Староста как ни в чем не бывало продолжала уговаривать:

— Нужны восприемники, поручители, как это бывает при приеме в партию...

— Какое в партию? Мы же креститься хотим, а не вступать в партию.

— Всюду нужен порядок, — отбивалась староста. — Без порядка нельзя... Вот так. Ищите восприемников, поручителей, одним словом...

Но тут некстати вмешались старухи, они не выходили из храма и все время, оказывается, слушали интересный разговор.

— Мы будем поручителями, — закричали они.

— Марья Петровна, не отказывайте им.

— Грех вам будет.

— Мы знаем этих молодых людей.

— Они хотят креститься.

— А вы не лезьте не в свое дело, — рассердилась староста на них. — Служба кончилась, и идите из храма.

Злая старуха-шпион накинулась на старосту.

— Как это не наше дело? Наши дети крестятся, а мы уходить должны? А вот кто ты сама, мы еще у тебя спросим? Может, ты подослана? Храм наш, и марш отсюда.

— Не лезьте не в свое дело, вам говорят.

— А это наше дело. На наши гроши содержится храм, и ты на наших грошах живешь, и как это выходит, что не наше дело? — Злая старуха умела говорить бойко, ее еще к тому же поддерживали другие старухи.

— Вот в одном месте отказали молодому человеку креститься, а он попал под машину — и насмерть, каково было матери отправлять на тот свет некрещеным своего сына?

Молодые люди, видя поддержку старух, тоже стали наступать на старосту:

— Мы должны креститься!

— Нам надоела безбожная жизнь!

— В знак протеста должны креститься!..

— Мы должны креститься!

— На муки идем!..

— Крест должны принять.

Молодые люди пошли в лоб. Староста стояла дрожала: не вышел бы только из алтаря священник, иначе... Что будет? Ей страшно было подумать, явно политическое дело. Она обшаривала храм беспокойными глазами и уже замечала явно подозрительных людей. Вон там притаился в углу, в очках. Вон стоит с торжествующим лицом, похожим на маститого еврея.

— Да у нас и купелей столько не найдется. Да и воды столько нет. Вас, гляди, вон полон храм.

— Мы поможем, — снова ввязались назойливые старухи.

— Мы натаскаем воды, — дружно закричали молодые люди, им становилось интересным все это, почувствовали себя в наступательном положении. Лица загорелись, вдохновились... Может быть, им показалось, что пришли на Красную площадь? Может быть, даже показалось, что пришли к Днепру, сбросив старых идолов, начнется массовое крещение? Второе крещение Руси?! «Блажен, кто достигнет второго крещения, над ним вторая смерть не властна», — из Апокалипсиса в перефразе припомнилось пожилому журналисту. Он решил подойти к старосте, показать ей свой журналистский билет и взять на свою ответственность крещение молодых людей.

Молодой журналист не знал, что думал его коллега, он стоял растерявшийся, с глупым видом. В мозгу его стучала мозглявая мысль: «Донести, надо донести. Вот оно, что делает Церковь, какие антисоветские страсти подогревает...»

В это время вышел священник в облачении, наверно, он все слышал и только хотел выждать момент. И этот момент наступил. Вышел с крестом, с доброй дружественной улыбкой. Молодые люди так и поняли, что он им говорит: «Вы друзья мои...»

— Батюшка! — закричали ему.

— Креститься? — догадался он.

— Креститься хотим!

— А нам не дают...

— Ведь сказано в Писании: «Не препятствуйте».

— Таковых есть Царство Небесное, — торжествующе добавил священник. — Хотите — крестим!

Все ахнули: молодые люди — облегченно, староста — удрученно.

— Агриппина, закрывай ящик. Скорее уходим. Пусть берет на свою ответственность. И надо же: настоятеля нету. Он осторожный, а этот погубит все дело. Храм закроют. Вот посмотрите: закроют храм.

Священник хотел было потребовать, чтоб отпустили свечи, но за ящиком никого уже не было, он так и понял: дезертировали, нужно действовать самому.

Старухи уже тащили купель, баки с водой... Вдруг вспомнил священник про крестики, где крестики достать? На всякий случай спросил у молодых людей:

— А крестики у вас есть?

— Есть, есть, — закричали они, и каждый вытащил свой крестик показал. Крестики были разные, видно, готовились, по заказу сделали.

— Раздевайтесь и становитесь...

Пока священник сходил в алтарь за крестильным ящиком, все были раздеты и в несколько рядов выстроились вокруг купели. Уже и свечи горели, и удивительное дело: злая старуха-шпион стаскивала подсвчники со всего храма и обставляла кругом крестившихся. Храм начинал пылать. Священник вынес две диаконские свечи из алтаря и укрепил их около аналойчика, на котором был крестильный ящик. Свечи стали гореть ровным спокойным светом. Крещение началось... Была тишина.

— Благословен Бог, — как будто неуверенно произнес священник, оглянулся назад. Все стояли серьезно, и кто их научил: как древние христиане (вспоминались такие картины), сложили руки на груди. К горлу священника подступали предательские спазмы, он почувствовал, что сейчас расплачется от умиления: на самом деле в наше время происходит второе крещение Руси. Он вспомнил, сколько уже крестил молодых людей. Крестятся все, кто живет в России, крестятся евреи... Где, в какой стране еще столько крестится евреев? Вспомнил он доброй памятью и о. Иоакима, много потрудившегося в этом добром деле.

— Отрицаешься ли сатаны? — стараясь сдерживать свое волнение, спрашивал священник.

В один голос слышался ответ:

— Отрицаюся сатаны и всех дел его.

— Подуйте и плюньте... — нужно было сказать священнику, он чуть запнулся, говорить ли это? Не будет ли соблазнительно? Но тут подсказали старухи:

— Надо плюнуть...

— На сатану надо плюнуть, — добавила злая старуха.

— Ах!.. — Но все-таки на лицах молодых людей появилась растерянность: как это делать, в храме ведь? А на сатану хотелось бы плюнуть, и увесистым плевком.

— Ну вы так...

Подули и плюнули так, как будто буря поднялась, и заиграли довольные улыбки на лицах.

— Сочетоваетесь ли Христу?

— Сочетоваемся...

— Хотим быть со Христом.

— Скажите, верую яко Царю и Богу.

— Веруем!

— Веруем!

— Верую во Единого Бога...

Священник не знал, как поступить, читать ли ему «Верую», а они чтоб за ним повторяли, или запеть? И как-то само по себе запелось, его голос подхватили тотчас, запели сразу стройно. Как только кто чувствовал, что поет не в тон, прекращал петь, старухи плакали. Пение неслось задушевно-дружественно, не особенного громко, в самую такую умеренность, которая составляла особое настроение.

— Распятого же за ны...

— И воскресшего в третий день по писанием...

— И восшедшего на небеса...

— И паки грядущего...

— Чаю воскресения мертвых!

— И жизни будущего века...

— Аминь!

«Надо успеть! — пронзила мысль сердце священника. — Так не могут оставить... Наверно, уже пришли?» — И он начал помазывать елеем. «Вот бы сейчас другой священник, я бы помазывал, а он крестил... Или наоборот». Он оглянулся: рядом с ним стоял Алексей Яковлевич, а поодаль кто-то с боро-

дой. «Неужели священник?» – вгляделся и огорчился: то был Самуил, но чего он пришел? Что-то политическое, он так бы не пришел, он политик и в церковном деле, это больше всего тревожило священника. Он спешил помазывать, молодые люди были расторопны. Когда обошел три или четыре круга и почувствовал, что он около двери, глянул в том направлении... Там уже стояли в форме, он еще раз глянул, какие лица? Непонятные, но и им, видно, любопытно и интересно. Глянул в открытую дверь: людей был полон двор, теснились с детьми даже. Кто-то тихо попросил:

– А внука можно? Мать согласна, а отец нет... Боится, партийный... А так он тоже согласен...

– А у меня оба согласны, но боятся прийти, нельзя ли, чтоб им не приходить?

– И внучек согласен. Он давно меня просит: бабушка, крести. Что я как басурман буду? Откуда знает такое словечко: басурман?

– Крести, батюшка... Век буду Бога молить за тебя...

– Я уже все храмы обошла.

– Боятся?

– А ты не боишься...

Священник, помазывая, все это слушал. Он готов был всех крестить сегодня, он готов на все! Только бы успеть, только бы не запретили... Еще немного... Немного! Господи, помоги!

Кажется, обошел всех, помазал. Ну крестить – это скорее пойдет. Молодые люди входили в таз с водой около купели, руки опускались в купель, большой купели не было. Священник энергично возливал на их голову воду.

– Крещается раб Божий... во имя Отца и Сына и Святаго Духа...

– Аминь! – вздрагивал крестившийся и рад был, что с него стекала святая вода.

– Крестики сами надевайте.

Кто-то слегка толкнул священника, оглянулся: Алексей Яковлевич держал в руках большой пук свечей.

– Откуда это? – спросил растерявшийся и обрадовавшийся священник.

– Вот старухи принесли, из другого храма.

«Старухи? – задумался священник. – Злые и добрые старухи. А что бы мы делали без этих злых и добрых старух? Самоотверженных, святых старух?! Нет, их нужно понять!» – думал с благоговением священник.

– Зажигайте...

– Благословите. Священник благословил.

– Разрешите и мне раздавать? – попросил Самуил.

– Раздавайте...

Священник узнал о. Андрея.

– О. Андрей, это ты? Помогай крестить...

– Не могу, я в запрещении, – ответил тот нерешительно.

– Да кто тебя запретил? Помогай. Не стой в стороне. Надо успеть...

– Не могу...

Не заметил священник, как к нему протискался о. Нестор.

– Вы всех помазали?

– Всех, надо только крестить, успеть бы... Пришли уже соглядатаи.

– Не волнуйтесь, батюшка, сейчас они ничего не сделают. Потом... потом, может быть... Ну мы на то пошли. Надо петь. – О. Нестор запел: «Елицы во Христа...» – на этот раз запели лучше, чем пели до этого.

– Елицы во Христа крестистсся во Христа облекостеся. Аллилуйа.

Горящие круги, как на Пасху, светятся свечи. Крестятся молодые люди.

– А нам сказали: здесь хулиганят... – Это заговорили в форме. – Продолжайте – значит, все в порядке? – И в форме ушли, но не остались ли без формы?

– Теперь уже успеем.

– Миропомазать, и все.

– Дары Святого Духа...

В храме было много священников. Весть о том, что в таком-то храме происходит массовое крещение, облетела всю Москву, и многие пришли, этого еще не бывало!

– Успели?

– Успели!

Алексей Яковлевич своим надтреснутым голосом, но очень старательно прочел Апостол: «Братие, елицы во Христа Иисуса крестихомся, в смерть Его крестихомся. Еще бо сообразни быхом подобию смерти Его, то и воскресению будем.

...Аще ли умрохом со Христом, веруем, яко живи будем с Ним: веряще, яко Христос воста от мертвых: к тому же не умирать, смерть Ему к тому не обладает.

Такожде и вы помышляйте себе мертвых убо быти греху, живых же Богови, о Христе Иисусе Господе нашем».

Евангелие читал о. Нестор, слышался его отчетливый выразительный голос; конец прочел с особым чувством: «Шедше научите вся языки, крестяще их, во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, учаще их блюсти вся, елика заповеда вам. И ее Аз с вами семь во вся дни, до скончания века, аминь».

— Вы еще не знаете, какие силы таятся в русском народе, — сказал пожилой журналист.

Молодой явно был в растерянности и невнятно прошептал:

— Неужели все всерьез крестятся? Это, я думаю, все-таки мода...

— Да, модна становится вера, а неверие теряет даже моду в России...

О. Никон закончил чтение, поднял утомленную голову от тетрадки.

— Вы это о ком, и в каком храме это происходило? — спросил у своего профессора.

— Да в вашем храме, и вы это делали...

— Я? — испуганно как-то спросил о. Никон. — Когда? Я не знаю. — «Неужели? Стой, когда это было? — напряженно припоминал он. — Неужели там было около пятидесяти? А если собрать всех молодых людей, которых я крестил не в одно время, их будет не пятьдесят, а пятьсот...» — радостно улыбнулся. Профессор сказал:

— Я пришел к вам сегодня креститься. Я верующий. Я хочу сознательно участвовать во втором крещении Руси. Я ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века...

— Аминь, — сказал о. Никон, все-таки испытующе окидывая фигуру профессора. Хотелось спросить, а почему вы до сих

пор не крестились? — да подумал, что это будет нетактичном перед лицом его светлого крещения. Много ведь может быть причин, самых неожиданных и интимных.

На этот раз никакого сарказма, никакой насмешки не было на его ясном лице, только в усталых глазах да в морщинах возле глаз залегло огромное страдание не только этого профессора. О. Никон представил, сколько бессонных ночей обдумывал профессор, чтоб прийти креститься... Теперь это было окончательно. То, что было недодумано тогда, додумалось теперь, додумалось в великих страданиях русского народа.

ГЛАВА ПЯТАЯ
ТРЕТЬИ ПОМИНКИ

В церковной жизни особых изменений не происходило: все одно и то же. Беспокоил архиепископ Ермоген, но его упрятали в монастырь под надзор. Стал следить за ним один угодливый монашек: кто бы ни пришел к епископу, он тут как тут. Пенсию продолжали пока выдавать, но не совсем регулярно. Епископ, под надзором коего Ермоген находится, не разговаривает с ним, да и не о чем разговаривать: Ермоген не его ориентации, его ориентация митрополит Никодим. Даже дуется на архиепископа, как будто тот в чем-то его лично обидел.

В светской жизни тоже затишье. Правда, хроника выходит регулярно, но процессов особых нет, выступают только с протестующими письмами, зато усилилась кампания по ловле людей в психиатрические дома. Приезжают человек шесть врачей и непонятные с ними, забирают на принудительное лечение, и сколько будут лечить — неизвестно, но оттуда можно выйти и идиотом. Хотя в Греции, говорят, еще хуже, как знать? В такую полосу жизни мы попали.

Самуил ходит мрачный, обрюзглый какой-то, — говорят так о нем те, кто его видел. О. Андрей, хотя слышно, его не покидает, но что-то как будто в нем переменилось, даже говорит так, что за старца-патриарха надо молиться... Что-то особенно стал монархического настроения, за убиенного Царя готов сражаться с кем угодно. К католичеству относится отрицательно, считает, что православие — это настоящая религия, да и Русь-

матушка — религиозная страна, несмотря на то, что в ней происходит. Там, на Западе, давно уже выдохлись.

Алексея Яковлевича предупреждали-предупреждали, говорили ему: «Пиши сколько угодно и что угодно о Церкви, но не лезь в политику», — а он именно в политику-то и полез. Всех репрессированных защищает и говорит, что они настоящие религиозные-то люди и есть, хотя и безбожники некоторые среди них. Приехали вечерком, только что получил квартиру, отмечал вроде новоселье, были друзья у него — арестовали... Его друга Олега тоже взяли, когда тот стал протестовать, подержали немного и выпустили. Он захирел окончательно, говорит о Боге, по-прежнему проклинает безбожников, но пьет беспробудно. Наркотики и женщины — то, без чего он не может жить. Никто уже не может его остановить.

Зимой снова о. Андрей отмечал поминки по своей матери. Крутило и выло за окном, а гости собрались и уютно расселись, погоревали-повздыхали об Алексее Яковлевиче. Вдруг почему-то он предстал перед ними в невиданном свете. Тогда, когда он был на воле, и спорили с ним, и критиковали его, а тут вот, как забрали, почувствовали, что лишились очень многого. Во-первых, так защищать уже никто не может, перо его бойкое было, хлестко он стегал беззаконников. Во-вторых, оказывается, он бескорыстным был, многих устраивал самым искренним образом и успевал в этом. Первое время о нем ходатайствовали, писали жалобы, собирали пожертвования, а потом все меньше и меньше. Теперь только рассказывают, как ведет он себя на следствии, приходит, как на приятный разговор, подает дружескую руку следователю, и беседуют дружественно, потом прощаются. И уже прошло столько времени, когда пора бы и осудить, а осудить не могут, переследствие назначено, что ли?

А другой апологет в кусты спрятался. Его вызвали на какой-то разговор, он что-то говорил, вроде того, что он пишет, а распространяет не он, а другие люди. Одному священнику написал откровенно циничное письмо: я, мол, сказал там, что это ты распространяешь мои вещи, ты, мол, знай об этом, тебе, мол, ничего не будет, а про меня не говори. Не говори, что я даже ломил бешеные деньги за свои опусы. Прости, Господи, смелы бывают многие, а героев мало...

— К чему мы придем? — остается вздыхать, глядя, как, казалось бы, смелые люди в критические моменты прячутся в кусты...

И вдруг общим вздохом вздохнули об о. Несторе. У него уже родилась дочь от незаконной жены, подал прошение о снятии с себя сана.

ЧУДО ВОСКРЕСЕНИЯ

Поговорили-поговорили обо всем об этом, потом кто-то сказал:

— Вот когда жива была покойная, она говорила, что ей прислала письмо та, что воскресла из мертвых... Это в самом деле правда?

Сестры о. Андрея, и первая и вторая, в один голос подхватили:

— Все это правда, — старшая пошла даже искать письмо, пришла раздосадованная, но сказала, что она все равно найдет письмо, а воскресшую эту все видели, она приезжала в Загорск, в Лавру, показывала швы на животе...

Показывали даже вырезку из местной газеты, как о ней писали там, что она в самом деле ожила, а умерла от рака во время операции... Сама воскресшая говорит, что выбросили ее в трупельню и что туда к ней пришла Матерь Божия и оживила ее... А до этого она даже безбожницей была, и развратной не меньше... а теперь ездит по святым местам, какие остались в России, и рассказывает о своем воскресении, говорит, что молчать не будет! — ее уже заставляли молчать... Даже сажали за это, но остановить не могут...

— Чудо!

— Вот вам и чудо!

— А говорят, чудес нет, — заговорили другие.

— Да наше время — сплошное чудо, мы только чудом и живем.

— Чудо нас и спасти может!

— Не патриархия же, не высшая иерархия? — воскликнул о. Андрей.

— Патриарх уже очень плохо чувствует себя, не встает с постели. Но как лучше станет, выезжает служить, занимается церковными делами.

Кто-то из женщин вздохнул:

— Что будет, когда он умрет, может, и еще хуже?

— Ну, хуже этого не может быть, — запротестовал о. Андрей: у него патриархия стала личной обидой, но в последнее время он не заострял на этом своей мысли, и сейчас сказал да и перешел на другое, о чудесах заговорил:

— А про Зою все слышали?

— Все, все, но интересно и еще послушать, как это было...

— А как было. Была вечеринка, все стали танцевать, а одной девушке не хватило пары. Разухабистая такая была, нетеряющаяся. Схватила икону святителя Николая да и закружилась с ней. Закружилась, прошла один круг и стала, в чем дело? Хотят сдвинуть с места, не могут, как приросла... к полу... Ну вечеринка испортилась. Стоит Зоя день как истукан и держит икону. Стоит два, три... Дом оцепили, никого не пускают. Хотят укол ей сделать, а тело как камень стало, иголка ломается. Кричит бедная девушка и день и ночь:

— Под нами земля горит. Кайтесь, люди!

На какой-то день приходит старичок:

— Ну что, голубушка, натанцевалась? — старичок, похожий на святителя Николая. Сказал и разрешил ее от окаменения, сам скрылся в киот, а она на следующий день умерла. Все слышали об этом, всю Россию облетело Зоино стояние.

Никто не возразил, не было сомневающихся. Одна девушка, для пущей убедительности, что ли, сказала, что туда ездил сам митрополит Николай, покойный, и в проповеди говорил об этом?...

— А вот как смотреть на митрополита Николая? Сначала он тоже здорово заигрывал с властями, все говорил, что у нас нет гонений...

— Говорил-то говорил, но он честный был. Никого не продал...

— А эмигрантов все-таки обманул. Сказал: возвращайтесь на родину, вам все простили, и возвратились многие, а их все-таки посажали...

— Да, было... Но последние три года какие он проповеди смелые говорил, умер мучеником...

— Мученик-то он и был: и когда заигрывал, и когда не заигрывал...

— Наше время — время мучеников!

— А что вы думаете: сейчас святых нет?

Один молодой человек зашевелился, говорили про него, что он на юриста готовится... Все поняли, что он хочет что-то сказать, и он заговорил несколько даже таинственным голосом.

— Может, кто-то читал в газете, как в районную милицию поступил пакет с паспортами: сдаем за ненадобностью... Я читал об этом, меня все эти факты очень интересуют. В газете и адрес был указан. Разыскал я по этому адресу, прихожу туда...

— Здесь проживают такие-то?

— Здесь, — отвечают и приглашают пройти в комнату. Я удивился: незнакомого человека приглашают пройти. Обычно боятся всякой провокации, а тут смело... Я говорю по поводу чего я пришел, как это с вами было? Мать — хозяйка дома мне и рассказала.

— А вот как это было. Муж, мой хозяин, теперь здоров, а был при смерти. Мы ждали: вот-вот умрет.

— А где он теперь? — перебиваю я.

— А теперь он в психиатричке, — отвечает она. — Но обращаются там с ним хорошо, даже посетителей к нему пускают, и он всем говорит о Боге. Ему ведь святители сказали, сколько ему осталось жить, поэтому спешит, чтоб успеть, спешит наверстать упущенное.

— Надо сказать, что мы все безбожники были, — продолжает хозяйка. — Семья у нас большая, все с образованием. Может, оттого и скептиками стали.

Меня все это очень интересовало. Я попросил, чтоб она мне рассказала все подробности.

— Дело было так, — начала хозяйка. — Умирал муж. Врачи не говорили от чего, но, наверно, рак был. Теперь рак всех косит, и не могут избавиться от него: бич Божий... Сказали нам: вот-вот умрет, муж потерял уже и память. Сначала мы стояли около него, а потом оставили. Затих. Собрались всей семьей и обсуждаем, как будем хоронить. И вдруг муж входит на своих ногах, а давно уже перестал вставать с постели, и говорит:

— Были святые: Василий, Григорий и Иоанн... — Мы тогда не знали, что это вселенские святители. — Исцелили меня, го-

ворит, сказали, что тебе, то есть мне, осталось жить еще три года...

— Чудо! — мы смотрим на него и понять не можем: ведь умирал...

— Боже! Есть Бог!

— А раз есть Бог, — говорит муж, — а в этом сомневаться нельзя, то отсюда вывод: кто не крещен — всем креститься! Так и святители мне сказали. И жить только для Бога... — и мы все, что имели, раздали, оставили только дневное пропитание, по одной одежде, даже смены не оставили. Собрали все свои паспорта, сделали пакет и отправили в милицию: нам они теперь не нужны, как и все земное.

— И вы все крестились, и все веруете теперь? — спрашиваю я.

— Нет, не все: зять высокопартийный не захотел креститься.

— А где он сейчас?

— Уехал от нас. А дочь с ним не поехала. А младшего моего сынка вы, если бываете в храмах, встречали, наверно? С длинными волосами ходит. Ему старушки пытаются что-то опустить в карман на пропитание, а он, если обнаружит что там, раздает.

— А дочь где?

— Поет в церковном хоре.

— А все остальные?

— Да все поближе к церкви. Навещают больницы и так далее, — дальше хозяйка заговорила неохотно, да меня уже больше и не интересовало.

Чудо! Да еще какое чудо! Мы живем среди чудес и не видим этого. Поблагодарил я ее, ушел оттуда и задумался.

Кто-то догадался спросить, а был ли до этого времени рассказчик верующим? Не успели спросить, рассказчик сам догадался.

— Тогда верующим я еще не был. Уверовал потом и крестился.

— Вас это побудило?

— Нет, не это. Современного человека и чудо не может поразить. Я — современный человек, окончил два факультета: филологический и юридический. Даже три, если институт марксизма и ленинизма можно считать институтом. Не чудо побу-

дило, оно заставило меня задуматься, стал много читать, по философии особенно. Самое решающее значение сыграл Бердяев, он на первых порах очень хорош…

— А потом?

— Потом, по-моему, надо другое.

Кто-то стал на защиту Бердяева, осмотрелись и только сейчас заметили, что среди них находится о. Сергий. Странный это был священник. С добрым нежным сердцем, он казался очень суровым к своим противникам, мистичный и даже церковный по натуре, смеялся и издевался над церковными догматами, старался все осмыслить своим хотя и острым умом, но малофилософским, узкоконкретным.

Это он-то и сказал:

— Бердяев и потом хорош, это он кажется прост, а в самом деле не так прост: он — глубокий мыслитель…

Кто-то еще заговорил, кто-то еще что-то сказал, начинался спор. Рассказчик рассудительно всех умиротворил:

— Дальше, по-моему, нужно Добротолюбие, святые отцы…

Все успокоились, кроме отца Сергия, притихли. Наступила такая восторженная тишина, что, казалось, вот сейчас войдет та, кого они собрались помянуть, войдет и скажет:

— Ну вот и я, с брака Господня… — И запоет: — Воскресение Христово видевши…

Воскресение Христово о. Сергий хотел и не мог осмыслить своим умом, но верил в него. Вот Вознесение считал лишним, и никак оно не укладывалось в его ум. Он суетился, гладил бородку и то ли чего-то боялся, не хотел раздражаться.

Воспоминания еще не кончились.

Сначала что-то хотела рассказать сестра о. Андрея, да увидела, что кто-то молодой что-то хочет сказать, не то художник, не то писатель. Он хотел рассказывать или нет, но все к нему повернулись, и он сказал, что получил письмо с Севера.

— Пишут вот о чем… Как известно, — начал он, — на Севере церквей нет, и вот умирает мать у одних сыновей, ей уже лет девяносто было. Ослепла. Долго болела, уже забыли, как она и разговаривает, все молчала. Ушла в свой темный мир. Перед смертью вдруг заговорила, улыбнулась, подозвала сыновей.

— Дети, умираю, но как умирать с такими грехами?

— Да какие грехи у тебя? Ты же и в Бога веровала и всем все делала только хорошее, вот это у нас грехи...

А она все свое:

— Грехи большие... — называет и аборты, и измену, и убийства... «Помешалась старуха, — думают сыновья. — Никогда у нее таких грехов не было...»

— Умираю, — продолжала старуха. — Хочу исповедоваться и причаститься...

Легко сказать: исповедоваться и причаститься! — а где церкви? А где достать священника? — сыновья попытались объяснить ей все это, а она вдобавок оглохла, ничего не слышит, да и не желает слышать.

— Хочу исповедоваться и причаститься, — твердит со слезами. — Сделайте мне это, окажите такую милость, — просит у сыновей, как выпрашивает милостыню. Ну что делать? Ехать за священником — это тысячи верст. Да сыновья и отвыкли от этого дела. Один и додумался: «Стой, схожу к одному на всякий случай...» Это был ссыльный, говорят, в церкви когда-то работал, много сидел, а теперь пьяница беспробудный, но за Бога стоит.

— Не трожь Бога, — ругается со всеми. — Мы никуда не годны, но Бога не трожь!

Приходит к нему.

— Так и так, умирает старуха, надо исповедовать и причастить, не сможете ли вы?

— Нет, — говорит, — я ведь только псаломщиком был, не могу...

— А может, можете? Ну водички дайте или как там? Бог простит. Он ведь знает, что ничего нет, а по вере ее все и будет ей.

— Да как это можно? — возражает псаломщик и все за голову держится, с похмелья голова болит.

Сын и догадался. Выпить, говорит, дам, коньячку дам... Коньячок соблазнил псаломщика, собрался, приходит.

— Мама! — кричат сыновья, — попа привели...

Чувствуют, что-то неладно сказано, а не знают, как сказать иначе, один догадался:

— Батюшку...

— Батюшку? — услышала старуха. — Где он, деточки? Батюшка, где ты? — простирает руки, раскрыла слепые глаза, напрягает зрение. — Батюшка, где ты, родной? Причастить меня пришел?

Псаломщик склоняется к самому уху старухи и говорит:

— Да.

Началась исповедь, целых два часа рассказывала старуха о своих грехах. Нет, не о своих, о всех наших грехах... Рассказывает и плачет. Псаломщик слушает, и мурашки по коже пошли, аж страшно стало. Но раз нарядился в священника — играй роль. Все, как следует, накрыл псаломщик полотенцем вместо епитрахили и говорит:

— Прощаю и разрешаю... — Просияла старуха, теперь надо причащаться. Встала, сложила высохшие ручки, открыла рот. Псаломщик смешал водичку с кагором, положил кусочек хлеба и говорит:

— Причащается раба Божия Параскева...

И тут что такое? — послышалось пение: «Тело Христово примите, Источника Бессмертного вкусите...» Откуда, кто поет? А голоса слышатся ясно, да такие, что душу переворачивает. Страшно стало всем находящимся там. Потом уже чуть не в Москву поехали, привезли настоящего священника и причастили как следует, — замолчал рассказчик, и снова молитвенная тишина.

Тихо, чинно на поминках по матери о. Андрея. Никто в этот вечер, кажется, так и не выпил ничего. О. Андрей предлагал, все отказывались. Отказался и Самуил, любитель выпить. Расходились в радостном настроении.

— Спасибо за вечер, хорошо мы провели вечер.

— Такого не бывало.

— Смотри, так вот и воскреснет Россия...

На улице столкнулись со славянофилами, они взяли обычай приходить к концу вечера, на этот раз не было никакого спора, и славянофилы как будто почувствовали настроение, кто-то из них взглянул на вызвездившееся небо, сказал:

— Мороз еще крепчает, но скоро весна...

— Пасха скоро.

Проходили, постукивая и погромыхивая, последние трамваи.

— Такси надо ловить, — остановились посреди улицы, подымают руки. Проносятся такси, не останавливаются. Долго стояли, все переговорили. Уже решили было пешком идти, хоть и далеко, да вдруг сразу две машины, а потом и третья. Не спрашивают, а то вдруг откажут, садятся.

— Пожалуйста, садись, — видимо, смелые, решительные шоферы работали.

— А ты знаешь, о. Никон, — сказал о. Константин, усевшись рядом с о. Никоном, — судьбу врача, психиатра, Марьи Ефимовны?

— Ну заболела она сейчас, рак желудка, говорят. Жаль, конечно, хорошая женщина, говорят, уже написала завещание, даже что написать на кресте, когда над ее могилой поставят, распорядилась: ДА БУДЕТ ВОЛЯ ТВОЯ!

— Да нет, — радостно перебил его о. Константин.

— Что нет, неужели сомневаться стала?

— Нет, ты пользуешься устарелыми сведениями, она здорова...

— Как? — вскрикнул о. Никон. — Я ее сам видел, совсем уже доходит, трупный запах, рвота каждый день...

— После соборования и причастия выздоровела. Мгновенно исцелилась, к вечеру прекратилась рвота. Причастилась на следующий день... И теперь здорова, работает по-прежнему.

— Ну вот и еще один факт. Чудо! Если б это было в старое время, все журналы загремели бы, а теперь все скрывают, гремит только пустая бочка.

— А знаешь, что мне рассказывал один священник про свою мать? — вспомнил о. Никон.

Шофер с любопытством прислушивался.

— Вызывают его телеграммой, — рассказывал о. Никон. — Умирает. Приезжает. В самом деле, мать дышит полувздохом, тяжело. Под грудь подкатило. Щупает он — печень очень увеличена, как огромный камень лежит под грудью и не даст дышать. Именно камень. Ну что, надо причастить, священников кругом нет за сотни километров, приходится самому все делать. Он пособоровал ее, причастил и уехал, больше не было времени оставаться у ней. Спрашивает у врачей, когда вернулся к себе, что это? Они говорят: рак печени. Через некоторое время у нее начнутся страшные боли. Стали готовить ему лекарства от бо-

лей. Задумался сын-священник. Жалко ему стало мать. Вспомнил, когда он был в заключении, сколько она перестрадала. Да и вообще жизнь была не сладкой. И голод, и разлука — все испытала. И стал молиться по ночам о ней со слезами. Получает письмо — матери легче. Он так и удивился. Он ждал, что сообщат — умерла, а тут легче.

— Что такое? — снова спрашивает у врачей. А те говорят: так, мол, бывает перед смертью некоторое облегчение. И снова молитвы. И вот в результате — она несколько лет живет. И на печень не жалуется, жалуется на головные боли. И учти, там никаких врачей нет, никто ее не лечил... — О. Никон задумался и в каком-то рассеянии добавил:

— Только уж очень моя мама страдает... Не от печени, больше восьмидесяти лет ей. Смертушки все просит. А однажды ей послышались в избе голоса, кто-то разговаривал, а потом как завоняло, ей страшно стало. Вот кого, подумала она, я призываю, прося себе смерти. И покаялась. Буду, говорит, все терпеть. И терпит. Ее терпением и меня Бог милует...

— А отец твой где? — с некоторой добродушной хитрецой спросил о. Константин.

О. Никон всполошенно глянул и понял, что оговорился, улыбнулся виновато, что о. Константином раскрыта его тайна, смущенно добавил:

— Я придумал некоторые варианты, а ты догадался. Ну ладно, чудо, оказывается, не в чьем-то доме, а в нашем. А мы иногда смущаемся, малодушничаем, не видим того, что Бог всегда с нами.

О. Константин сошел раньше, о. Никон поехал дальше.

— Спасибо за вечер, — поблагодарил о. Константин.

— А за что мне спасибо? Это о. Андрея надо благотворить, да и не его, а покойницу. Мертвые принимают участие в наших делах.

— У Бога нет мертвых, — захлопывая дверцы, на прощанье сказал о. Константин, помахал рукой, натянул воротник и пошел к себе.

Жена его ждала, на звонок ответила сразу. После того как мать ее стала ходить реже, жена больше привязалась к нему, ждет его.

— Что так поздно? А я думала, не случилось ли чего?

— Знаешь, как у меня хорошо на душе, такой вечер у нас сегодня был. Ты знаешь, мы живем среди сплошного чуда.

На его светлую улыбку светло улыбнулась жена:

— Ну расскажи, впрочем, почему ты без о. Никона? Андрюша его ждал сегодня, он в последнее время все его ждет. С нашей дочкой играли в церковь. А я вспомнила, как его ударила, бывает же такое ослепление.

О. Константин разделся, они уселись на диване и уже окончили разговор тогда, когда начало светлеть в окнах.

ОСОБАЯ ГЛАВА

ИСКУШЕНИЯ

(Книга в книге)

Прошло десять лет совместной жизни о. Константина с Мариной, отпраздновали юбилей без особого подъема и тостов. О. Константин принес цветов, на этот раз он нес их открыто, никого и ничего не стесняясь. Дарить цветы он всегда стеснялся, это была его непонятная странность.

— Ну как, ты доволен нашей жизнью? — спросила Марина.

— Доволен, а что? — Ему был неожиданен вопрос. — Конечно, были неприятности, но я думаю, что лучше тебя никого нет. А ты как?

— Да и я так, — без особого подъема ответила Марина, о чем-то думая.

Все-таки была какая-то недоговоренность. О. Константину ни в чем не хотелось копаться: жизнь приняла свое направление, и ладно. Теща не особенно тревожит, хотя по-прежнему бывает у них и живет по три-четыре дня в неделю. Иногда выразит свое недовольство, но это уже не то, что было, жить можно. Его дочь и сын о. Николая — Никона стали учиться. С Мариной вспыхивают небольшие споры и вскоре погасают, он занимается своим делом. Марина, считая его упорным, перестала пилить. Любви, конечно, у нее к его делу нет, но...

Где-то в глубине души или сердца у о. Константина был какой-то червячок, сосал и точил его. Вдруг он остро начинал чувствовать, что она его не любит, особенно, когда она довольно

и с радостью разговаривала с посторонними, особенно с молодыми. Выглядела она очень молодо, гораздо моложе своих лет, и фигурка ее, хотя не ахти какая красивая, стала соблазнительно округляться, она и любила носить такие платья, которые плотно облегали ее. Охотно принимала внимание, особенно если ей целовали руку, привыкла к этому, ей было это приятно. О. Константин смотрел на нее, и у него сначала вспыхивала ревность, а потом шли раздумья: «Я старею — не один человек ему уже говорил, что он стареет, а ей не один говорил, как она выглядит молодо». «Не любит она меня, — повторял он себе, стараясь подавить свою ревность. — Но что сделать? Поздно об этом задумываться, надо было раньше. Развестись с ней, но на кого детей?» Подоспел отпуск, и вспыхнули очередные споры. О. Константину захотелось поехать отдохнуть в деревню к родителям о. Николая, а она ни в какую. «Что я там буду делать, я устала, а там надо будет готовить... Поедем куда-либо на курорт, где не надо готовить. Ты думаешь о себе только, а не знаешь, что и жене надо отдохнуть...» — и наконец предложила:

— Знаешь что? Поезжай один в деревню, а мы с детьми: я и бабушка, поедем на курорт...

— Без меня?

— Ну что ж, потом и ты приедешь к нам. Тебе в деревне не надо весь отпуск быть.

— Поезжайте, — недовольно ответил о. Константин, а тут пришла еще к ним знакомая женщина и добавила, что Марина говорит правильно, что нужно на какое-то время разлучаться, чтоб отдохнуть друг от друга.

— Но мы и так редко бываем вместе, во время отпуска только и побыть вместе, — заявил рассерженно о. Константин.

Знакомая женщина настаивала:

— Посмотрите на нее, она выглядит бледно...

— Но вы знаете, что бывает на курортах, когда жены уезжают без мужей? — нервничал о. Константин.

— Ну что вы ее подозреваете? Она не такая.

Вмешалась Марина:

— Он меня своими подозрениями постоянно оскорбляет, как будто я уж такая развратная...

И о. Константин согласился их отпустить одних. Поспешно собралась жена, впопыхах что-то собирая и для мужа. Отправил он их на курорт и сам остался один со своими раздумьями. Посмотрел он на весь хаос, который остался в доме, на заношенное белье на своей постели, которое неизвестно когда менялось, посмотрел, как пришила жена вешалку на его пиджаке, которая вскоре снова оторвалась, посмотрел на все и увидел, что так могут делать тогда, когда совсем не любят! А тут еще пришла снова та знакомая женщина и тоже увидела, что осталось в доме, и в один голос с ним решила:

— Не любит… — но это «не любит» он почувствовал тогда, когда эта женщина собрала его в дорогу, как предусмотрительно уложила каждую вещь, заранее убрав все в доме. Вот тут он увидел, что значит женская любовь… Приехав к матери о. Никона (та уже жила не в своем доме, одной было трудно) и выйдя на луг, на вольный свежий воздух, на деревенский простор, он по-серьезному задумался. Сейчас как будто и ревность не приставала к его сердцу, он увидел, что и плоть стала меньше бунтовать, и вспомнилось, как иногда ему даже неприятно было спать вместе с женой, он не раз уже делал только один вид, да и сожительство без цели — не иметь детей! — было какой-то двусмысленностью, и он решил расстаться с ней… Деревенская тишина настроила его на мирный лад, и когда он и жена возвратились домой, он предложил ей пройтись прогуляться, она, как обычно, стала отказываться: устала, мол, спать хочу…

— Но ты ведь только отдохнула. Пойдем, я о чем-то хочу с тобой поговорить.

— Не хочу, хочу спать.

И тут он сказал ей серьезным:

— Нам нужно поговорить!

— Ну что, о чем, давай здесь.

— Ну здесь так здесь.

— Сиди, я буду очень серьезно говорить.

— Ну говори, — не терпелось ей. И о. Константин сказал:

— Нам нужно разойтись.

Она вгляделась в него, потом равнодушно махнула рукой, она не приняла этого всерьез.

— Расходись, кто тебя держит? — пожелав было уйти, теперь она осталась, почувствовала, вероятно, что это не шутки.
— А мы как же? — задала вопрос.
— Я вам буду платить алименты.
— Но знай, что нам три четверти, а тебе одну...
Этим было сказано все!
Знакомая женщина, когда он поделился с ней об этом, сказала ему:
— Обыкновенная мещанка.
И о. Константин всерьез решил расстаться. Она ушла спать, а он не спал всю ночь. Нелегко было решить этот вопрос. Вот теперь он понял, что значит жениться не по любви! Когда он как следует покопался в своем сердце, то увидел, что и у него любви не было. Был расчет, вернее, была боязнь, чтоб не согрешить, и он женился на ней потому, что ему нужна была женщина, но страсти его не покидали: живя с ней, он обольщался и другими женщинами. Он хотел быть теперь откровенным перед собой и вскрывал, как нарывы, свои тайники. Иногда, лежа с женой, он думал о другой женщине, думал, что жена его не так привлекает, как привлекают другие. Даже во время богослужения вдруг образ женщины рисовался ему. Обольщения преследовали его, и иногда в отчаянии он думал, что у него больное воображение, какая-то патология, и вдруг ему становилось стыдно, гадко, мерзко.
Уже забрезжило утро, транспорт начинал движение. Вот взять бы и уйти сейчас из дому, как когда-то ушел Толстой... И тут его сердце сжалось больно, ему стало жаль жены: хотя она и не любит его, но что она будет делать без него? Особенно как будут дети? Не проживут... вспомнились слова Христовы: «кто не возненавидит...» Он чувствовал, что возненавидеть он не мог, хотя Христа он не менее любил, чем жену... А больше всего детей! Да, детей он любит, и расстаться с ними — для него непосильный крест. А может быть, вынесу? Вдруг ему почудился детский крик, зашел в спальню. Жена поправляла одеяльце на Андрюшеньке, заметив мужа, удивленно уставилась на него. О. Константин сразу не понял почему и только понял, когда она у него спросила:

— Ты что же, не ложился? — по ее нависшим векам он догадался, что и она не спала. «А может, это дух злобы хочет нас разлучить?» — подумалось о. Константину. Ему захотелось сесть рядом с ней, обнять ее. Она села на кровать, и он уселся рядом, оба молчали. По печальному лицу жены он догадался, что вопрос разлуки взволновал ее, она склонилась близко к нему, он решил почему-то отодвинуться, и как будто кто-то подтолкнул его: надо расстаться! Надо всего себя посвятить Богу: «А может, это будет переоценкой моих сил?» — снова пошли раздумья.

— Костя, ты это всерьез, что вчера?

— Всерьез, — сорвалось у него. — Мне кажется, что наша жизнь — лицемерие. Без любви жизнь — лицемерие, мы притворяемся друг перед другом, ты не любишь меня. А может, и я не люблю тебя?..

— Вот и скажи, что ты не любишь, а не другого обвиняй. Ему захотелось откровенно спросить у нее:

— Скажи, ты ни с кем не связалась? — она вздрогнула, испуганно посмотрела на него.

— Мне все уже противно стало, — выдохнула она. Тебе я советую, поезжай куда-либо в монастырь, развлекись...

О. Константину показалось — жена в этот момент умнее его, тактичнее и тоньше решает больные вопросы, и он почувствовал себя побежденным и от этого больше огорченным. «Гордость, наверно, гордость у меня», — стонал он. Он поднялся сначала перекрестил детей, потом жену, поцеловал ее. Он прижал ее к себе, она припала к его груди. Теперь все страсти утихли, он не знает, что здесь было, наверно, не только жалость, была настоящая любовь? Они сидели на кровати, как, может быть, никогда в жизни не сидели, близкие и родные.

Через дня два-три с общего согласия о. Константин решил уехать, сначала навестить о. Кирилла, потом побывать где-либо в монастыре.

Не успел о. Константин взять билет, направляясь к о. Кириллу, как на перроне столкнулся с о. Никоном и позавидовал ему: вот целеустремленная душа! — освободила его жизнь от семейных обязанностей, и делает он, что ему хочется, ездит, куда захочет. Правда, за некоторую небрежность к сыну о. Константин осуждал его.

О. Никон встретил его радостно и сразу спросил:

— Побывал ли у моих родных в деревне?

— Побывал.

— Ну и как там?

Лицо Никона, показалось о. Константину, немного нахмурилось, не стал ли упрекать совесть, что он, отдавшись своему делу, забыл свою мать-старушку, да и сына забыл. А может быть, так и надо, ведь то, что он делает, это больше всяких семейных обязанностей.

— Садись, поговорим, — предложил о. Константин. Они сели на скамейке в стороне от людского потока, о. Никон загоревал:

— Засуетился я, чужим все делаю, а своих забыл...

— А я ради своих забыл о чужих, бывает же так.

— Да нет, ты не забыл...

О. Константина подмывало рассказать о. Никону, как он задумал расстаться с женой, долго не решался, и когда о. Никон заметил, что он что-то хочет рассказать, рассказал ему все. О. Никон на его рассказ заговорил не тотчас, думал, вздыхал, ахал.

— Напрасно. Нужно благодарить Бога за семью. Вот нет у меня ее, и ношусь по свету. А иногда так хочется постучаться в заветное окошечко...

Это было удивительно для о. Константина. Оказывается, о. Никон ничего не забыл и даже скучает. О. Никон добавил:

— Мне кажется, что ты многое придумываешь. Знаешь, только ты не обижайся на меня: тебе нужно полечить свои нервы.

Под скулами о. Константина недовольно заходили желваки, видимо, не понравилось ему замечание о. Никона.

— Но ведь не любит она меня!

— А ты любишь ее?

— Да и я, может, не люблю...

— Ну что ж, вот и несите свой крест, не любя. Он, может, послан вам во спасение. А как знать, может быть, без тебя она совсем бы забыла Бога. Да и ты без нее... а так надоедаете друг другу и друг другу не даете самоуспокоиться...

Все-таки заметно о. Константину не нравилось, что говорил о. Никон, и о. Никон поспешил еще раз напомнить о. Констан-

тину, чтоб тот рассказал ему о его матери. О. Константин посветлел, что-то приятное, наверно, вспомнилось ему.

— Знаешь что, о. Никон, святая твоя мать. Как она молится! Боже, как она молится. Этой молитвой мы, наверно, все и живем. Сядет на стул, стоять уже не может, и подолгу молится. Ты знаешь, как причитают женщины по покойникам? Так вот она... причитает по всех нас. И как перебирает всех, у меня мурашки проходили по коже, мне даже страшно становилось. И за тебя молится, и за упокой твоей жены. И за Андрюшеньку, и за меня. И за всех скитающихся, за голодных и холодных. За неотпетых, за самоубийц. Плачется о всех нас. И тишина такая, когда она молится...

О. Константин увлекся, он не заметил, как о. Никон низко опустил свою голову и вдруг не выдержал — расплакался, разрыдался... О. Константин дал время о. Никону успокоиться. Через некоторое время тот посмотрел на него, улыбаясь, а веки были красны.

— Ну пора, мой поезд сейчас отходит.

О. Константин простился, долго стоял у открытого окошка, и на душе у него было умиротворенно и благодатно, теперь ему ясно стало, что нужно терпеливо нести любой крест, который посылается.

О. Константин приехал к о. Кириллу тогда, когда был там и о. Георгий, прохаживался возле храма и удивлялся, в каком все идеальном состоянии.

— Храм — чудо, но как он был запущен, а теперь я его не узнаю.

— А где же о. Кирилл?

— Да он здесь теперь не живет, купил себе домик недалеко отсюда, вызвал к себе мать, слепая она у него. Здесь слишком на него стали наговаривать всего. За его дело вооружились против него, сначала это были действительно враги, а теперь не любят его друзья-прихожане. Если любят, то только приезжие: пророк не имеет почета в своем отечестве...

— Мы его сегодня не увидим?

— Нет. Приезжает в будни, когда его вызывают на какую-либо требу, в основном бывает по праздникам.

— Да, — посокрушалея о. Константин. — А мне хотелось его повидать.

— Можно повидать, почему же не повидать? Это недалеко отсюда. А пока пойдем посмотрим, какое озеро тут.

Они пошли медленным шагом. Древние деревья стояли как надежная стража, раскинув свои могучие руки-ветви.

— Ну как живем? — спросил о. Константин.

— Да как? Враг не дает покоя, — ответил о. Георгий.

— Это что же?

— Да чуть не пал с женщиной.

— Что, что?

— Да вот то, что слышишь. Плохо все-таки одному быть, особенно если в миру. Стал пить, деньги все-таки есть. И женщины появились. И так сейчас гадко на душе. Не знаю, что и делать... Хотел было перестать служить, пошел к духовнику. Тот разрешил от греха, наложил епитимию и сказал, чтоб служил. Служить-то некому. Вот хожу с места на место, как неприкаянный. Хочу поразвеяться, собраться с силами. Хочу побеседовать с о. Кириллом...

— Да, у каждого свое, — вздохнул о. Константин.

— А тебе от чего вздыхать? У тебя жена хорошая.

— Хорошая? — горько улыбнулся о. Константин. — Я задумал с ней развестись...

— Что ты говоришь?

Вскоре озеро выглянуло из-за деревьев своей спокойной обширной поверхностью, из-за куста гордо выплыл неприступный лебедь и важно поплыл дальше. Отцы уселись на берегу, долго молчали, сидели удрученно каждый со своей думой, как зашлепали редкие капли дождя, они медленно встали и медленно поплелись. Приплелись к о. Кириллу тогда, когда расплескавшийся было дождь вдруг перестал сечь их лица. Выглянуло солнышко, уже клонясь к закату.

О. Кирилл в летнем белом костюме из холщового полотна сидел на ступеньках небольшого домика. Домик был старенький, в одном месте наклонившийся, но аккуратненький, чистенький.

О. Кирилл тоже был аккуратненький, чистенький, заметно побелевший с того времени, как встречались они с ним у о. Валериана. Он сидел, углубившись в свои мысли. Он не под-

нял свою огрузневшую голову и тогда, когда они стали с ним рядом.

— Печалишься, о. Кирилл?

Он неспешно поднял голову. Увидев, кто перед ним, просиял, улыбнулся ласково и приветливо:

— Да нет, чего печалиться. Благодарю Бога за все.

— Счастливый человек.

— Конечно, счастливый, — предложил им садиться рядом. Там у меня идет уборка сейчас, вот я и вышел посидеть. У мамы убирает женщина, а так я все обхожусь сам.

Они сели.

— Откуда же?

— Да как сказать? Пришли вот к тебе...

О. Кирилл заметил что-то на их угрюмых и печальных лицах.

— Пришли к тебе исповедоваться, — сказали в один голос оба.

— Исповедоваться? — повторил вопросительно о. Кирилл, снова наклонил голову, помолчал. Потом тревожно поднял голову и снова переспросил: — Исповедоваться? — и как будто провидя их искушения, провидя их мятущиеся души, серьезно заговорил: — Да, исповедоваться надо. Только я вам бы советовал съездить в монастырь, есть еще подвижник, я и сам недавно ездил туда и приехал оттуда укрепленным и душой, и даже телом...

О. Константин и о. Георгий как-то испуганно и стыдливо смотрели на о. Кирилла, им казалось, он заговорил так, как будто глядел в их души. О. Кирилл продолжал:

— Блажь на вас находит. Сей род изгоняется постом и молитвой. Надо бороться с собой. Об этом Христос сказал, и Его слова не ложны.

Им казалось, о. Кирилл все знает и поэтому заговорил с ними так, как будто поисповедовались ему, рассказали все в мельчайших подробностях.

— А у вас не бывает? — спросили наконец у него.

— Нет! — твердо ответил о. Кирилл и добавил уверенно: — Распусти и я себя, и со мной то же будет. Вот даже уже в годах женщина сейчас у меня в доме, а я вышел, подальше от греха...

— А в храме ведь вы встречаетесь с женщинами?

— В храме другое дело, в храме Бог бережет, а в миру сами себя должны беречь.

Хлопнула дверь, и вышла женщина, по-монашески повязанная черным платочком. Глаза ее молодые и чем-то привлекательные метнулись в их сторону, пугливо остановились, и женщина сказала:

— Мама говорит, что отдохнуть хочет, погуляйте пока.

— Хорошо, — сказал о. Кирилл, спокойно глядя на нее.

О. Кирилл не хотел отпускать, долго уговаривал их остаться на ночь.

— Рано утречком уедете с первым автобусом, потом на поезде... А там пешочком по лесу, вспомните, как в старину ходили паломники...

О. Георгий и о. Константин думали, что не отпускает их о. Кирилл потому, что ему хочется выговориться, но оказалось, что о. Кирилл был не особенно словоохотлив. Расспросив про новости, даже в подробности не вникал, он предоставил их самим себе, а сам, не сказав куда, ушел от них. Когда они разговорились с его матерью, она им рассказала, что в последнее время ее сын очень полюбил уединение. Что он делает в уединении — созерцает, молится? — об этом старуха не сказала, потом, помолчав и поглядев своими слепыми глазами в сторону, с грустью добавила:

— Жалко мне своего Ленечку... Вспоминаю, какой он в детстве был жизнерадостный, как хотел обзавестись семьей, а вот не удалось. Попал в заключение, а жена связалась с другим. Долго он думал, когда решился на... — тут старуха немного примолчала, потерла свои глаза: — Быть ли ему священником, тем более монахом, или жениться на второй и работать преподавателем? И решил все-таки быть священником, став монахом. Хотя он очень боялся монашества, не раз говорил мне: этот крест мне не по силам, а вот, видимо, поднял...

В одиннадцать часов вечера о. Кирилл снова появился на маминой половине, сияющий, просветленный, исчезла обычная его угрюмость.

— Ты что же, мама, не спишь? — и добавил: — Ну ничего, сегодня гости. Любит она поговорить. Где будете спать? Если не боитесь, можно на террасе.

— Конечно, прекрасно, — в один голос заговорили отцы, они думали, что он еще поговорит с ними, а он, пожелав им спокойной ночи, ушел от них. Было неловко, что как-то скупо и сухо он их принимает, несколько осуждающе помолчали, потом в один голос высказались: — А знаешь, как-то успокаивает такая жизнь. Мы слишком растрачиваемся на мелочи, оттого...

— Оттого, — оба произнесли, понимающе посмотрели друг на друга и, пожелав спокойной ночи, решили спать. На террасе было чудесно, в окно чуть продувало свежим ветерком, сверху глядели хотя и далекие, но такие близкие и милые звезды, вечно таинственные, вечно манящие в беспредельность. Кто-то как будто стал похрапывать с перерывами, потом голос:

— А про Марью Ефимовну ты все знаешь?

— Все, — и рассказал: — Ну, что она развелась, работает врачом... Ну, что выздоровела.

— Да нет, не это. Я слышал другое...

— Что же?

— Я слышал, как она лечит. Она говорит так, когда поймет, что перед ней верующий. Лекарства мои, конечно, помогут, говорит, но самим вам нужно заняться собой. Подумать, почему Бог вам попустил такую болезнь, может, у вас есть какие-то неисповеданные грехи, болезнь ведь посылается всегда для чего-то, она никогда не бывает случайна...

— Удивительно, — приподнялся о. Константин. — Вот это психиатр.

— Психиатр и священник.

— Видимо, психиатр и священник бывают после испытаний...

О. Константин понимал, что все не случайно. Не случайно в нем начались искушения, не случайны такие встречи...

— Ну, будем спать.

— Да.

Где-то тонко пел сверчок, пыталась квакать лягушка. И только когда пропели первые петухи, они, наверно, уснули и, спали таким безмятежным сном, что не видели ни сновидений, не чувствовали ни бега времени, и разбудил их уже о. Кирилл.

— Пора, а то можете опоздать, — он уже был одет, озабочен.

Дорога до пустыни, где еще уцелел монастырь, пролетела быстро. Подъезжая к конечной остановке, отцы увидели, что

народ собрался особенный, в большинстве своем женщины и пожилые, было немного и молодых, многие с котомочками. Приехали ночью. Станция очень маленькая, так что, когда хлынули в нее все, места для многих не оказалось, и кто помоложе, переждать время и прикорнуть остались на улице. Ночь была теплая, сумерки плотно висели над землей, прикрывая ее, как ватным одеялом. К рассвету многие начали перешептываться, сговариваться. Когда уже совсем рассвело и можно было трогаться в путь, явились нежданно проводники, а для детишек (оказалось, что были здесь и такие паломники) была выслана одна или две подводы из монастыря...

И потянулись цепочки, как в древности, как в старой Руси, и забилось радостно сердце у отцов, повеяло чем-то давним-давним, хорошим, старинной, святой Русью.

Долго шла лесом дорога. Дорога не наезженная, только исхоженная. Отцы шли следом, куда тянулись цепочки. По пути встречались кринички, некоторые хорошо обделанные, стояли тут же ковшик или кружечка. Около одной даже кем-то была оставлена еда, хлеб и огурчики, лежали и денежки. Положили и отцы из своих запасов для прохожих.

Лес молчал, только птички перекликались да шумели верхушки деревьев. Километров через пять-шесть залаяли собаки, замычали коровы, вскоре показалась небольшая деревня. Паломники миновали ее и снова пошли лесом. Недолго была молчаливость лесная на этот раз, неожиданно раздался мелодичный, хотя еле слышный колокольный звон, звонили к службе. Напрягались последние силы, походка у всех стала торопливее, даже старушки, поднатуживаясь, раскрасневшись, шагали наравне со всеми. И вдруг из-за сосен забелели стены монастыря, показались ворота с крестом.

Пришли!

Благоговейно перекрестились о. Георгий и о. Константин и почувствовали, что пришли в благодатное царство, а на душе давно уже было хорошо. Сразу же пошли на службу. Служба была в храме слева. Храм был в половине дома, остальная половина дома был длинный коридор и по сторонам кельи монахов. Храм был приземистый, очень широкий, вместительный, народу было полно везде, и народу разнообразного: и де-

ревенского, столичных жителей, и молодых, и старых, много девушек, были и парни, но их меньше. Тишина перемешивалась со вздохами, пели печальным монастырским напевом, читали отчетливо, с душой. Стоявшие в коридоре иногда перешептывались, и из так о. Константин услышал, что внизу под храмом идет соборование. Соборует монах, о котором очень много всего рассказывают. Строгой подвижнической жизни, много лет сидел в заключении, человека видит насквозь.

О. Константин толкнул о. Георгия.

— Пойдем посмотрим? — они уже подтомились на службе, уже перевалило за двенадцать, а литургия не начиналась, утреня еще не подходила к концу.

— Здесь служба по афонскому уставу, — заметила с особым чувством женщина, повязанная черным платком по-монашески.

О. Константин и о. Георгий, извиняясь, долго продвигались к выходу. По ступенькам тоже было трудно пройти, сидели благочестивые старухи, боясь отвлечься от доносившейся к ним службы.

Во дворе расхаживали девушки, но вели себя скромно, иногда им что-то объяснял молодой человек, говорят, это кто-то из семинаристов. Они слушали, присмиревши, боясь поднять на него взгляд.

Помещение, где шло соборование, было еще приземистее, чем храм, потолок навис над самыми головами. Послушник читал канон очень резким голосом. Седой монах в скуфейке и епитрахили ходил по рядам и энергично помазывал.

Народ здесь был болезненный, нервный, в основном пожилые, но были и молодые, некоторые скорченные, на костылях. Пахнуло духотой. К монаху тянули руки, обнажали больные места, смотрели на него с упованием. Помазывая, он что-то говорил, иногда даже покрикивал, иногда гладил по голове.

О. Константину он не совсем понравился, кто-то в ухо зашептал: «скоморошничает», он попытался бороться с этим искушением, но оно продолжалось, наконец он стал осуждать этого монаха, не зная почему. О. Георгий смотрел сосредоточенно, угрюмо. Когда осуждение особенно распирало о. Константина, на него бросил сердитый взгляд монах, приостановился, при-

стально вглядываясь, казалось, хотел что-то сказать, но не сказал и равнодушно отвернулся, продолжая свое дело, кому-то чем-то грозил, в чем-то уличал.

— Простите, батюшка, — кричала больная.

— Богу кайся, Богу! — закричал на нее монах. Когда монах приблизился, о. Константин вгляделся в него. Монах был очень сед и очень бледен, пот стекал с него ручьем. Иногда вытирал он обратной стороной свой скуфьи. Глаза были лихорадочно горящие, тяжелые разлапистые брови нависли.

О. Константин долго выстоять здесь не мог, стало душно и томительно.

О. Георгий был терпеливее его.

— Наверно, уже литургия началась. О. Георгий согласно качнул головой.

— Пойдем.

— Я постою еще, — соборование на о. Георгия, видимо, производило впечатление.

О. Константин ушел один.

Когда вышел, в душе его были переменные чувства: и казалось, что монах скоморошничает, в таинство соборования вносит что-то свое и досадное, и казалось, что в монахе было что-то интересное, оригинальное, а самое главное, заметно было, с каким благоговением и упованием смотрели на него больные, и чей-то благодушный голос наперекор искусительному зашептал: «Печальник народный», — и этот голос внес какое-то особое умиротворение в мятущуюся душу о. Константина. Он пошел в храм, уже шла литургия, начинался Евхаристический канон. Литургия шла истово, народ стоял тихо, только порой кто-то глубоко вздыхал. О. Константин сразу углубился в молитву и забылся, когда очнулся, уже пели несколько радостнее, чем обычно:

— Тело Христово примите, Источника Бессмертного кусите... — он оглянулся. Лица молящихся заметно преобразились, во всех глазах лежала печать усталости, и в то же время последнего напряжения: еще немного, и будет достигнута цель, и у него сразу же созрело намерение поисповедоваться и причаститься здесь. И как-то забилась радостная мысль: «Хорошо, что еще есть этот благодатный уголок, дай Бог, чтоб подольше он был».

Он решил выйти на свежий воздух. Только продвинулся к двери, столкнулся с тем монахом. Монах живо и как-то тревожно посмотрел на него, о. Константин испуганно вздрогнул, оба остановились. Монах понимающе улыбнулся и попросил о. Константина зайти к нему. То, что монах попросил зайти к нему, было и неожиданно и непонятно для о. Константина. Для чего, что сказать? Этот монах не совсем все-таки симпатичен, но то, что он позвал к себе, в этом было что-то особое. Прошли длинным коридором, вошли в келью, обычную монашескую. Иконы в углу наряду со старинными, очень печальными — бледные картинки, и перед ними не совсем яркая лампадка, столик и раскрытая книга, постель, покрытая темным сукном, перед постелью столик с зачерствелыми просфорками. Монах сел на свою постель, о. Константина посадил рядом в кресло, оно было довольно мягкое. Сначала монах закрыл руками лицо, потер виски, о. Константин смотрел на него с непонятным чувством. Неужели будет чудить, пророчествовать, что-то предсказывать? Разыгрывать из себя святого? Монах положил руки на колени, вгляделся в о. Константина. Теперь монах показался еще более старым, борода совершенно седая, вокруг глаз множество тонких морщин, а глаза глядят молодо, даже как-то по-озорному, так и кажется, что он выкинет сейчас какую-то шутку.

— Мятешься, брате? — спросил монах участливо.

О. Константину хотелось ответить несколько дерзко, и он сказал:

— Да у кого нет смятения? Такое время... — мол, отвяжись от меня, понятны мне твои вопросы.

Монах продолжал:

— А вы знаете, как я их сегодня пожалел?

— Кого их? — переспросил о. Константин.

— Да вот их, кто стучит... Доносит кто. У кого иудин грех. Места не находят. Я тоже сидел, — начал почему-то откровенничать монах. — А кто все сделал? Иуда. Предал Христа... А ведь и Иуда мог бы спастись, только бы ему раскаяться. Христос приемлет всех кающихся...

Какими загадками говорит этот монах, напускает, видимо, туману, чтоб было непонятно и более привлекательно, — поду-

мал о. Константин. Ему не сиделось, хотелось встать и уйти, но он сдерживался. Монах продолжал:

— Мы сейчас все ненавидим евреев, и правильно! Но еврей в каждом из нас есть. Как тем евреям, так и нам нужно признать свой грех. Кто богоизбранный, кто богоносный — судит Бог, а мы с последними должны идти...

Не нравилось о. Константину, что монах говорит поучениями, но что-то, показалось ему, затрагивает в душе, и о. Константин стал прислушиваться. А монах вдруг спросил:

— А как у вас в семье? — и строго посмотрел в глаза. О. Константин размяк, хотел даже заговорить, что вот Бог обидел его женой, как монах накинулся на него: — Вы эти мысли бросьте. Не у нее, а у вас развращено сознание. Надо бороться, вы священник. Видели о. Кирилла? Вот так, — монах проникал в душу. Теперь о. Константин сидел пред ним, как виноватый и придавленный, не знал, что сказать. Хотел и защищаться, и не знает как. А сердце как-то согласованно стучало: монах говорит правду!

— Идите, завтра придете на исповедь, — приказал молах.

О. Константин вышел ошеломленный, растерянный. Выйдя, он долго топтался у двери. «Случайно это или не случайно, даже имена назвал?» Какая-то блаженная женщина, кривобокая, прошла мимо:

— У батюшки Андроника были? — заговорила она. — Это хорошо. Спаси вас Господи. А вы и сами батюшка? Ну благословите меня.

О. Константин машинально благословил и вышел на свежий воздух, и тут же столкнулся с о. Георгием, хотел спросить у него, почему печальный, но о. Георгий сам спросил:

— Случилось что-то? Почему ты такой угрюмый? — и не дождавшись ответа, сказал: — Давай завтра поисповедуемся и причастимся.

— Хорошо, — согласился о. Константин.

— А я уже на кухне побывал, порубил дровишек, — продолжал о. Георгий. — Готовят на всех...

— А откуда берут?

— Да приносит народ. А монахи на всех делят приходящих. Когда-то здесь было свое хозяйство, а теперь кто что принесет...

— А мы ничего не принесли.

— В другой раз принесем.

— Поработать бы...

— Священников не особенно берут, хватает простого народу. А можно было бы и нам поработать. Я уже со всеми перезнакомился. Откуда только нет и кого. Изо всей матушки-России. Благодатный уголок. Так всю душу и вывернул.

— Вывернул? Верно, — чуть не вскрикнул о. Константин. Теперь он почувствовал, что побежден и смирился, стало даже умилительно. Остальное время проходило в каком-то очаровании, необыкновенном благодатном состоянии, необычном озарении.

В пять часов утра забили к заутрене, предрассветные сумерки разрывал монастырский удар колокола, строгий и проникновенный, и сразу же зашевелился весь монастырь. О. Константин и о. Георгий думали, что они собрались очень рано и первыми выйдут, но, когда они вышли, уже многие потянулись в храм, а когда вошли в храм, там было уже полно. О. Георгий захотел пойти почитать и попеть, служба уже началась.

О. Константину захотелось помолиться в народе, выбрал укромное местечко, стал, кажется, ото всех в стороне, никто не должен бы проходить мимо, и только хотел сосредоточиться, нашло какое-то особое состояние, как сзади заговорила женщина. О. Константин думал, что она поговорит и замолкнет, а она все время говорила и говорила, кого-то обличала, кому-то что-то пророчила. Ему захотелось обернуться и сказать ей: «Замолчи ты!» — но он решил собрать терпение и под ее раздражающий голос все-таки молиться. Она не умолкала, уже, кажется, даже стала толкать его, он как-то, напрягаясь, терпел. «Господи, вот проверка, вот испытание», — думал он. Хотел было перейти в другое место, как в последний раз прозвучал ее голос: «Ой, надо исповедоваться, а то опоздаю...» — голос смолк. О. Константин посмотрел вперед, перед ним стояла очередь на исповедь, стало зябко, как будто перед особым испытанием. Исповедовали два монаха, рядом с клиросом. Его очередь привела к тому монаху, у которого он вчера был. О. Константину захотелось упасть перед ним и плакать, выплакать свою душу. Ему было тяжело. Он искренне хотел делать то, к чему при-

зван, а ему не удавалось, теперь он сознавался в этом, ему казалось, монах должен понять его.

— Ну что, собрате, мятешься? — снова, как вчера, заговорил монах. — А ты напрасно про нее так думаешь, — проявлял он участие. — Она, конечно, не совсем тебя понимает, но тебе именно такая нужна, иначе обрастешь бытом... Люби ее, жалей, она хорошая у тебя. А грех, он ваш общий... — О. Константин не протестовал. — И надо помогать ей, это — твой ангел... — Монах положил руку на голову о. Константина, и он, о. Константин, ее ощущал как что-то благодатное, теплое, защищающее. — Она слабая, как все, ты будь силен! Слышишь? — и погрозился с понимающей улыбкой. — А развод выкинь из головы. Ты очень страстный. Ну что ж, живой человек. Ну, в чем грешен? — О. Константин не знал, что сказать, за него монах все высказал сам, он растерянно молчал. — Правило исполняешь? Как в требах? Не отказываешь ли в причастии? Как с женой живешь? Может, сразу после службы? Так нельзя. Надо б и накануне дня три воздержаться, но вам невозможно... Ну, еще что?

— Грешен, во всем грешен, — сказал о. Константин. Больше он не знал, что сказать. Сказал именно теми словами, которые его всегда раздражали, когда ему говорили старухи на исповеди, но сказал из глубины души, сказал так, как будто вымел хлам из своей души, и подумал: «Вот осуждаю старух, а они тоже из глубины говорят». Глаза его были полны слез. Монах посмотрел на него участливо и сострадательно, а о. Константину показалось снисходительно, и это ему было лучше, чем сострадательно:

— Ну вот ты как. Ты уж не убивайся так, Бог милостив, все поправится. Только не ослабевай. Трудно нам. Трудно. Это и хорошо, это и спасительно. Господь Бог наш, богатый милостью и щедротами, да простит ти, собрате, иси твои согрешения, и аз недостойный иеромонах прощаю... и разрешаю. — Стало так легко, когда перекрестил монах.

Тишина, все утихло.

Когда о. Константин отошел после причастия на прежнее место, к нему подошла, вероятно, та женщина, которая раздражала его своим голосом до исповеди, поклонилась ему до земли и с ясной улыбкой сказала:

— Поздравляю вас с принятием Христовых Тайн.

Так хорошо никогда о. Константину не было, все люди ему показались настолько милыми, что он про всех подумал: «Все образ и подобие Божие», — и выявлять этот образ и подобие Божие — его основная задача. Домой о. Константин после монастыря возвратился умиротворенный, с новыми силами.

Дома никого не было, жена уехала в деревню, еще не возвратилась, еще дней десять ее не будет. Посмотрел в ящик, письма не было. И снова чуть не ожесточилось сердце, но он сдержался. Раздался телефонный звонок, звонила та женщина, которая была у них до отъезда. Он пригласил ее к себе, она охотно согласилась. И стал размышлять: «Тебе приятно будет с ней, а что подумает жена?» — но звонить, чтоб не приезжала, не стал. Несколько волновался. Вспомнив слова монаха, решил про себя, что у него развращено сознание, но когда строго вгляделся в свою душу, то увидел, что ничего соблазнительного не было, просто с ней ему будет приятно... разговаривать. Вечера ожидал все-таки с волнением. Она пришла просто и скромно, принесла с собой продукты. Им даже некогда было разговаривать, она тотчас стала готовить ужин, а он ушел к себе в комнату и занимался своими делами. Через час она позвала его ужинать.

Кухня преобразилась, все было поставлено на место, все было просто и приятно, и неузнаваемо. Она разложила в тарелки картошку, нарезала мелко помидоры и огурчики. Они сели.

— Вкусно приготовили, — оглянулся кругом. — Да и устали... Как вы успели столько убрать?

— Мне это было делать приятно. Вероятно, это мать меня с детства вымуштровала. А сейчас это стало приятно. Знаете, я вот думаю, как у вас все в комнате расставить? — Она входила в его жизнь как хозяйка, и от этого становилось неловко и обидно за жену. Но как ни странно, от этого эта женщина не становилась ближе, и жена не отодвигалась, более того, к ней почему-то появлялась особая жалость и, кажется, особая любовь. Заговорили. Женщина рассказала, что покойная мать ей всегда внушала мысль, что она некрасивая, худущая, что ее полюбить никто не может... Впрочем, у нее была любовь, полюбил один военный. Но когда он ее повез на дачу и случилось так, что им нужно было ложиться спать на одной кровати, она

почувствовала, что попала в капкан, и все-таки легла с ним. Правда, он ничего плохого не допустил, но с того времени у нее пропала к нему любовь, и не только к нему — ко всем мужчинам: все они таковы...

— Ну, а женщины?

— Женщины? — она подумала, улыбнулась. — Да и женщины не лучше, но им приходится защищаться. Вы думаете, когда кладут развязно свою руку на шею женщины, ей это приятно? Нет, она просто терпит. Терпит потому, что каждая женщина — мать, хочется своего уголка. И приходится покоряться всякой развязности... Ну вы кушайте, — ели некоторое время молча. — А ведь я строгая, — продолжала женщина. — Я вам своей строгостью надоем. Видимо, я все-таки была бы плохой женой. — Она почему-то рассмеялась.

— Ну как, вкусно?

— Вкусно, — отвечал я.

— Мне очень приятно, что у нас с вами хорошие отношения, лучше и желать нельзя. Такие хорошие, дружеские. Я очень рада.

— И я рад, мне приятно с вами говорить. Вот так бы я нашел общий язык с женой.

— Мне вас очень жалко. Вот теперь я ближе познакомилась с вашим домом, и мне вас жалко, вы одиноки.

— Да, я одинок, — он смотрел на женщину, лицо у нее бледное, измятое, под глазами мешки. Глядит сосредоточенно, очарована неизвестно чем.

— А жену вы все-таки не понимаете. Она в житейских делах умнее вас, вам нужно быть ближе к ней.

— Мне кажется, она меня не любит...

— А она говорит, что вы ее не любите.

Ужин закончился, а они сидели и беседовали.

— Сегодня, когда вы звонили мне, надо мной подшучивали. Люди перестали понимать нормальные отношения между мужчиной и женщиной...

— Может, пойдем прогуляемся?

— Пошли, хорошо здесь у вас.

Вечер был теплый, немного было душновато. Они шли рядом, иногда она случайно касалась его плечом.

— И все-таки разлучаться надо. Мне кажется, после разлуки жена к вам лучше будет относиться, ко мне, кажется, изменит отношение. — О. Константин, казалось, понимающе молчал, она продолжала: — Я вот с вами хочу посоветоваться. Ко мне ходит один человек, очень внимателен ко мне, услужлив. У него есть жена. Приходит, мы разговариваем. Иногда сидим, молчим. Я ему задала вопрос: «Почему вы ко мне ходите?» — «Мне у вас приятно, я одинок», — отвечает. Мне кажется, он неравнодушен ко мне.

— А жена его об этом знает? — спросил о. Константин.

— Нет, не знает.

— Тогда нельзя, может приходить только с женой.

— Вот и я так думаю. Иначе как бы прелюбодейство. Ведь в таких отношениях, как мы с вами, мы с ним не можем быть.

О. Константин молчал, ему казалось, женщина постепенно подбирается к его сердцу. За себя он был спокоен, разговаривая с ней, он думал о своей жене, даже страстно, по-земному.

Из-за облака прорезался кособокий месяц, казалось, чем-то обиженный. Ходили они долго, переговорили обо всем. После двенадцати пошли спать. На ночь женщина, улыбнувшись, предложила о. Константину вымыть ноги, он вымыл, пожелали спокойной ночи друг другу. Утром он еще спал, как женщина ушла на работу, его разбудил телефонный звонок.

— Ну как? Там я вам приготовила, — говорила женщина по телефону, и в конце всех наказов сказала: — К вам я сегодня не приду, нужно убраться у себя.

Неожиданно приехала жена с дочкой, хорошо, что не было той женщины. О. Константин в это время направлялся к больному. Он не заметил, как шли они от автобуса. Дочка подбежала, повисла на шее, он поцеловал ее раз-другой и сказал, что ему нужно торопиться.

— А ты не соскучился? — удивленно упрекнула его жена. Он в самом деле не соскучился.

Придя от больного, он застал жену и дочку спящими: дочка в самом деле спала, а жена заворочалась, как только он приблизился к ней. Он почувствовал, что ему ее хочется сейчас крепко расцеловать, и она смотрела на него так, как при первом свидании.

Когда жене снова нужно было уезжать, набрав продуктов — там было голодно, о. Константину не хотелось, чтоб она уезжала от него, он даже нервничал, когда она настаивала уехать.

Собиралась гроза, чернело и синело с востока, он думал, что жена останется, но приехала машина, приехал знакомый диакон, он должен был их отвезти на своей машине. О. Константин почувствовал, сколько греховной страсти было в нем, нервно одевался, жена снисходительно и понимающе смотрела не него. Она готова была остаться, но диакон настоял, и они поехали. Уже потемнело кругом, все утихомирилось и притихло. Они поехали сначала заправиться бензином, стала полыхать молния. На заправочной было много машин. Заполыхали молнии продолжительные и сильные, грохотал в отдалении гром. Захлестал дождь, бензин не отпускали, пережидали грозу.

— Я предлагаю поехать назад, а утром поедем в деревню, — предложил о. Константин.

— Ну зачем, гроза не страшна, — говорил о. диакон. Когда заправились, уже близился вечер, гроза, откатившаяся на запад, снова вернулась. Ехали они, как будто плыли по волнам, под полыханье молнии, удары грома и проливной дождь. Но, отъехав километров десять от города, увидели, что грозы здесь нет, только небольшие облака скопились на западе, и солнце садилось спокойно и ясно. Ехали долго, приехали в два часа ночи, это было отличное путешествие.

Когда часа в два дня на следующий день о. Константин возвратился к себе, он увидел прежде всего, что у него под окном сломило дерево, оно лежало с незавялыми листьями, как сраженное в бою. Подумалось суеверно: не предсказание ли это чего? — но не задумывался.

На следующий день позвонила женщина:

— Ну, как себя чувствуете?

— Да вот снова отвез жену в деревню.

— А сегодня к вам никто не придет?

Ему хотелось, чтоб пришла она, и он сказал, что никто…

— Ну, может, я приду, только не обещаю точно.

— Приходите, — он ждал ее, пришла она усталая и измученная, с головной болью, притом еще чем-то огорченная.

— Случилось что?

— Да на работе...
— А что?
— Они ведь не понимают хороших отношений, ну я этого не боюсь.
На этот раз они не ходили на прогулку, долго разговаривали, сидя за столом, разговор был почему-то о евреях. Еврейский вопрос стал тревожить теперь всех, везде и всюду. О. Константин рассказал, как попал он на «последний спор» между русскими и евреями, это он выразился так, после этого спора он пришел к убеждению, что антисемитизм — недостоин священника.

ПОСЛЕДНИЙ СПОР
(Рассказ о. Константина)

Я неожиданно попал на одно собрание, оно было бурным, пришел я к концу. Вероятно, это было что-то официальное, а после началась неофициальная часть. Народу было много и притом разнообразного, в основном все-таки были русские и евреи. «Ну, опять спор славянофилов с западниками», — подумал я, к западникам, конечно, относятся евреи. Я сел в сторонке, чтоб ни ко мне никто не подошел, ни я не смог завязать разговор с кем-то, и задумался: «Да, русские болеют о России, евреи нет, ибо они здесь пришельцы. Это и понятно, и винить даже их не за что. Может быть, если б и русские были в другой стране, они, вероятно, вели б себя так же. А как ведут себя русские, эмигрировавшие за границу?» И вдруг я вспомнил, как рассказывала мне одна туристка о своем путешествии по СССР. Была она в какой-то республике, Башкирской или Чувашской, так вот там говорили о русских примерно так, как мы о евреях. В колхозах, на полях всю черную работу выполняют нерусские, русские все на ответственных постах да в городах живут, и как-то мое сердце постепенно умягчалось и растворялось, я стал о евреях думать благожелательнее, более того, стал думать о том, что не случайно они в России, они посланы сюда с какой-то промыслительной целью, и стал думать о них, что они в самом деле особый народ. Принимая христианство, они ведут себя по-особому, правда, вносят какую-то беспокойную струю, а может быть, это и хорошо, чтоб мы не дремали. Но

самое главное, что они живо реагируют на все, у них сильно развито миссионерское чувство. Народ-миссионер, заключились мои мысли, в это время до моего слуха донеслись голоса, на которые я не мог не обратить внимания:

— Прежде всего вы мне скажите, кого на территории России считать русским? — Я вгляделся, чтоб узнать, кто это говорит, и, оказалось, это о. Никон. Ему отвечал славянофил Константин:

— Кого определила сама природа, известно кого...

— А я думаю — нет! — твердо заявил о. Никон, — Так можно было говорить до революции, а сейчас нельзя: революция поломала все границы и перепутала все названия, и в этом ее настоящее значение... — Разговор становился непонятным и интересным. Непонятным потому, что о. Никон говорил о революции, казалось мне, так, как говорят партийные, неужели он? Я боялся договаривать, потому что не хотелось верить, я запротестовал науськивающей мысли, он настоящий священник, настоящий верующий. А настоящий ли русский? Кто-то дразнил меня, и я ответил, что настоящий! И вот тут мне показалось, что на его лице есть какая-то маска, он хитер: евреев он не любит, но делает вид, что любит их, и сейчас вот он какую-то хитрость разыгрывает, что-то хочет выпытать. И это мне было приятно, что русские тоже не такие простаки, как их привыкли считать. Я огляделся и увидел, что еврейские глаза были устремлены на о. Никона. Сначала мне показалось, что слишком испытующе, потом увидел, что и благожелательно. О. Никон продолжал спокойным голосом: — Русский на территории России всякий, кто принимает христианство, русскую культуру...

Славянофил Константин осторожно вставил:

— А атеист не русский? — и хитровато в свои усы улыбнулся, в ответ улыбнулся открытой улыбкой и о. Никон.

— На территории России атеистов нет. Есть заблуждающиеся, в конце концов — безумцы, а атеистов нет. Атеисты там, на Западе, хотя и считают себя верующими...

Кто-то незаметно бросил реплику:

— Дался вам этот Запад. А не хотите ли вы знать, что и русская культура выросла на западной почве...

— На почве может быть, на перегное, но русская культура имеет особый склад, — отвечал о. Никон.

Невидимый не унимался:

— Да, да, в России все особое, даже дерьмо. — И невидимый не удержался: — В России постоянное рабство, друг друга давят, преследуют друг друга, нет ни свободы, ни культуры, одна темнота и невежество. Вот этого вы не хотите видеть.

И тут я увидел, как человек типично еврейской внешности раздвинул осторожно толпу и вышел вперед:

— Вот я еврей, а если еврей, то и западник, к этому я еще добавлю: и сионист, недавно собирался в Израиль, а теперь хотелось бы считать себя русским, хотя, может быть, иногда зов крови ослепит меня, — это было что-то особое.

Я так заинтересовался, что вплотную приблизился к этому еврею, мне не хотелось бы, чтоб меня кто-то оттолкнул от него, мне хотелось видеть выражение лица этого еврея: хитрости все-таки я не заметил, искренне все-таки горели его еврейские глаза, искренне звучал его еврейский голос, он говорил:

— Судьбы России — мои судьбы, Запад мне чужд. То есть не совсем, — поправился он.

— Ну еще бы, еврею Запад не может быть чужд.

Еврей смутился, но тут же нашелся:

— Я думаю, что нам от Запада многое нужно взять...

— Хватит, сами обойдемся! — закричало несколько голосов. — Достаточно того, что они нам дали, развратили народ, весь разврат с Запада...

— Семью уничтожили...

— Русскую женщину обезобразили...

Тут кто-то закричал:

— А вам хотелось бы, как при Домострое: женщина-раба?

— Нам хотелось бы, чтоб женщина была мать, женщина была бы украшением, а не женщина-самка...

— Мечта все это, женщина у вас раба.

Звучали другие голоса:

— Марксизм нам дал Запад, а теперь ненавидит нас за этот марксизм.

— Маркс говорил: как я ненавижу русский народ.

— Маркс — еврей.

— Так Запад еврейский и есть.

— Я скорее приму все советское, чем западное, большевики мне приятнее, чем западники.

— Если хорошо посмотреть на коммунистов, то это русский человек и верующий...

Еврей поднял руку и сказал по-еврейски иронически:

— Товарищи, тише, так вести собрание нельзя. Храмы все взорваны, памятники старины уничтожены, зачем так бурно обсуждать дальнейшее: России — капут! — И эта ирония подействовала, немного кто-то хохотнул, и еврей продолжал прежним спокойным голосом развивать свою идею: — Есть божественное и человеческое. Чтоб получилась гармония, нужно, чтоб развито было то и другое. На мой взгляд, в России слишком развита божественная сторона, все строится на божественном...

— Правда, — не утерпел славянофил Константин. — Города русские застраивались по божественному плану, это верно...

Но в еврея славянофил Константин вонзил глаз не менее испытующий и хитрый, чем еврейский, ему хотелось знать, что такое загибает этот еврей. Еврей продолжал по-прежнему спокойным голосом, как будто никаких реплик не было:

— На Западе слишком человеческая сторона развита, социальный вопрос они решили. У нас социальный вопрос решают безбожники, оттого и революция — не случайное явление...

— Не случайное, только не с социальной стороны: дух взбунтовался...

— На социальной почве, — добавил еврей. — И вот решение социальной проблемы нам нужно взять от Запада. Социальная проблема пришла сюда, только решается слишком по-русски, с широким размахом...

— Что вы нам тычете Западом? Там от решения социальной проблемы пришли в тупик. Сытому не нужна религия, только для забавы. В России религия нужна даже для атеиста. Россия — богоносная страна.

Еврей подхватил:

— Это именно я и хотел сказать. Поэтому для меня, человека еврейского происхождения, судьбы России — мои судьбы, и сионизм мне чужд. Я отказался ехать туда, а уже получил разрешение.

Наступило молчание. Где-то глухо загалдели, это, кажется, заговорили евреи. Славянофил Константин, хитровато улыбаясь, спросил:

— Так что вы решили делать? На еврейский образец переделывать судьбы России, а вы у нас спросили? Примем ли мы вас? Как для вас славянофильские, почвеннические, народнические идеи приемлемы? Вот она, настоящая матушка Русь!

Еврей откровенно сказал:

— Нет, не приемлемы.

Славянофил резко заметил:

— Так и катитесь в свой Израиль, вам нечего здесь делать.

Тут-то и вмешался о. Никон:

— Русским человеком может быть человек всякой национальности, и Россия не просто территория, это новый мир в противовес западному...

Константин подошел к о. Никону.

— Так, значит, перманентная война: холодная, потом горячая?

— Революция! — выпалил о. Никон и сразу же добавил: — Революция духа! А такая революция — это война за духовный интерес. В такой революции не проливается человеческая кровь, а идет борьба за человеческую личность. После кровавой революции должна быть революция бескровная, к этому идет...

Славянофил Константин с этим был согласен, но он хотел еще что-то добавить, может быть, возразить, как его тронул за плечо еврей:

— Слышно было бы да и поверить было бы трудно, если б я сказал, что приемлю славянофилов, но я русский человек, и судьбы России мне небезразличны, вот на этом мы должны сойтись...

— И все-таки решать будем мы. А ваше решение, простите, нам известно. Вас мы примем и поймем только тогда, когда вы признаете свою вину за развал России. Вы и революцию сейчас хотите оклеветать. Прежде всего сознайте вину перед Россией, а потом уж будете решать судьбы России и болеть за нее.

Издалека донесся чей-то голос, отчетливо, даже резко:

— А России не хочется признать вину перед всем миром, а русским не хочется признать себя виновными?

— Перед кем?
— Перед Чехословакией, допустим...
— Перед всем человечеством, — еще добавил голос.
— Жратве помешали, — злобно перекосился славянофил Константин. — Нарушили вашу сытую жратву. Не извиняюсь и не прошу прощения.

ПЕРВЫЙ ПОВОРОТ НА ПЕРЕХОДЕ

Женщина перебила о. Константина:
— Вы думаете, еврейский вопрос в России утрясется?
О. Константин не стал отвечать на этот вопрос, сказал:
— Разрешите, я еще нарисую одну сценку из того вечера?
— Вон как, вы даже художником становитесь?
— То, что пережито нами, в частности и мной, многому научит... Ну вы послушайте «Грозовой вечер».
О. Константин не обратил внимания на реплику.

ГРОЗОВОЙ ВЕЧЕР

Во время грозы я стоял рядом с евреем, который все время говорил с собой:
— Нас ненавидят, а не все ли мы друг друга обижаем? Мы вот уедем в Израиль, посмотрим, как вы будете жить без нас! Я думаю, надо уезжать, подальше от греха. Раз ненавидят, надо уезжать, пусть они восстанавливают свою Россию, посмотрим, что у них получится. Славянофилами себя называют, стилизуются под старину. А что у них есть? Одна форма. Душа пуста, сути нет. Нас ненавидят... А ненависть-то главная беда и есть. Око за око, зуб за зуб... Мы виноваты, посмотрим, что построите без нас, кого будете ненавидеть. Нас не будет, себя будете есть. На одних формах не выедешь, Христа не хватает и нам и вам. Мы распяли, вы Распятого распинаете. Думаете на ненависти создать Россию. Создавайте, подальше от греха, — он долго говорил над моим ухом.
Мне казалось, что ему хотелось выговориться, высказать кому-то свою наболевшую душу. Я сделал вид, что сплю, прилегши на подоконник. С каждым его словом мне становилось понят-

но, что он такой же человек, так же обижен, как и мы, только мы его не любим, не хотим понять, а он плачется, ему хочется, чтоб его кто-то понял, приласкал.

Куда-то отодвинувшаяся туча снова надвинулась, слышалось приближающееся погромыхивание, и вдруг близко над нами прокатился гром и ударил так, что казалось, вот сейчас прихлопнет всех нас и конец всякому юдофобству и русофильству.

— Эй, спишь... Ты спишь?

Я молчал, я старался сохранить вид, что сплю, мне было интересно, что он скажет еще.

— Заснул... Такая гроза, а он заснул. Ну, поспи. Ненавидящий жидов. Жиды, ненавидящие русских. На ненависти решили строить жизнь. Ох, как нам не хватает Христа! А Христос ведь еврей! — почему-то он воскликнул. — Ненавидя евреев, вы ненавидите Христа...

Он потрогал меня, хотел убедиться, сплю ли я в самом деле? Я дышал ровно, самым безмятежным образом, и мне казалось, что он поверил в это.

— Железные нервы, — продолжал еврей. — Под такой грозой заснул. Что ж, поспи, ниспровергающий твердыни и строящий общий хлев. Да, брат... Товарищ, ты спишь? Смотри, гроза кончается...

Я повернулся, заворочался, как спросонок.

— Уснул я, что ли? — спросил я небрежно.

— Делал вид, — улыбнулся понимающе еврей. — Разве можно сейчас уснуть? Пошли, там, кажется, продолжается спор, долгий и бесполезный. Послушаем, что ли? Русские любят спорить, хоть в спорах забыться, подбросим им огонька. Вот когда споры прекратятся, тогда явно капут, а сейчас хоть в спорах отвести душу. Строили, ничего не получилось, поспорить надо, еврейский вопрос поднять.

Голоса спорящих доносились до нашего слуха, и как я расслышал, именно еврейский вопрос потрошили.

— Еще из революционера человек будет, благоразумным разбойником может стать, а сионист — это явно человеконенавистник...

— А вы слышали, снова участились случаи исчезновения детей?

— Кровь русскую берут...

— Кровавые жертвоприношения...

Еврей снова зашептал так таинственно и с некоторой одержимостью, как и тогда, когда я «спал», мне даже снова хотелось сделать вид, что спать хочу, но скоро убедился, что для еврея теперь безразлично, сплю я или бодрствую, он говорил, все говорил и говорил:

— Уходить надо, уходить надо. Уходить надо...

И вдруг откуда-то донесся голос:

— А знаете, что среди евреев начались деления?

— Деления?

— Значит, идет рост, клетка делится...

— Вы не смейтесь, послушайте, что говорит этот еврей.

Сначала было трудно разобраться, что и кто где говорит, потом донесся молодой сильный голос с небольшим специфическим акцентом:

— Среди нас есть уезжающие в Израиль, в страну своих отцов и своей традиции, остающиеся здесь, принимающие христианство, и евреи, которых мы сами называем жидами: им все безразлично.

Но этот голос вскоре заглушили другие голоса.

— Русские заманили Наполеона и погубили...

— Заманили Гитлера и тоже погубили.

— Заманили большевиков, то есть нас, и тоже погубят.

— Уходить, уходить надо...

Еврей поднял на меня вопрошающие глаза, он хотел, вероятно, чтоб я что-то сказал ему, а мне ничего не хотелось говорить, мне вдруг вспомнилась пасхальная ночь. Ясно, отчетливо вспомнилась пасхальная ночь этого года.

ПАСХАЛЬНАЯ НОЧЬ ЭТОГО ГОДА

— Бах!

— А-а-ах-х.

— Ту.

— Ату-у...

— Ай!

— Яй!

— Спасите!
— Трум.
— Бум.
— Грум!
— Грам.
— Груб.
— Грабь.
— Трум-ту-тум!
— Идут!
— Разворачивайтесь в марше.
— Словесной не место кляузе.
— Клячу истории загоним.
— Довольно жить законом.
— Данным Адамом и Евой.
— Левой!
— Левой!
— Левой!!! (Владимир Маяковский).
— Сыночки, мы же ваши матери...
— Левой!
— Бах!
— Хах-хах-хах-х.
— Трах-та-тах!
— Тра-та-та.
— Тра-та-та-та-а...
— Тат...
— Ата.
— Эх, без креста! (Александр Блок)
— Трум-ту-тум!
— Трум-ту-тум!
— Идут, идут.
— Идут!
— На последний...
— На главный редут! (Демьян Бедный).
— Ой, головушка!
— А-а-а...
— Ау-ау...
— Уа-уа.
— Внучку задавили-и-и-и...

— Или — или...
— Что глядеть?
— Дави и всех правнуков.
— Дави.
— Война все спишет!..

Что это, война начинается? Или снова революция? А может, контрреволюция? Ни то, ни другое, ни третье... Это пасхальная ночь!

Еще ночь не наступила, еще даже вечер не раскинул свой умиротворяющий покров, еще продолжался шумный суетливый день. Сегодня он особенно шумный и суетливый, идет подготовка у тех и у других...

Только отошла субботняя служба, как к храму потянулись с узелками, святить куличи. Выстроились в цепочку. Цепочка опоясала церковный двор, выбросила свои концы на улицу, утолстилась, обросла, стоят в несколько рядов. В основном стоят женщины, больше старух, но есть и молодые, есть старики...

— А хвост растет...
— И еще больше вырастет.
— Придут скоро с работы.
— Все хотят посвятить.
— И постящиеся, и непостящиеся.
— И верующие, и неверующие.
— За освященный стол надо сесть...
— А вон, гляди, нажрался...
— Куличи святить? — кричит пьяный, болтая головой. — А я вот напился, простите меня... Ну вы и мне... меня освятите. У меня даже яичко есть, — достает из кармана яичко, заметно помятое, разворачивает из носового платочка, руки дрожат.
— Да ты подойди, я тебе другое дам, — сжалился кто-то.
— Вы простите меня, не удержался, — выливает пьяный свою душу. — Христос всех нас простит.
— Такое время...
— А я верующий...

Кто-то недовольно все-таки заговорил:

— Проходи, куда идешь...
— А куда идти? И я б хотел в храм, да вы меня такого туда не пустите... я и сам не пойду...

— Сознательный пьяница, вишь...
— А что, разве у него мало горя?
— Отчего запил?
— Кто знает, какая у него трагедия.
— От сладкой жизни мало кто пьет.
— Пьют и от сладкой.
— А какая там сладкая?
— Пустота душевная.
— Пьют от пустоты.
— А бывает, самые лучшие пьют.
— Талантливые пьют.
— Особенно писатели.
— Пьянство — это скрытый бунт.
— Бога им не хватает.
— Хотят залить бездну.
— А разве бездну зальешь?
— Ну так простите меня, православные, — махнул пьяный рукой и закачался дальше. — Бывали дни веселые, — запел сначала, потом о чем-то заговорил с собой и вдруг запел: — Христос воскресе из... м...
— Еще рано.
— Рано петь? А, в двенадцать часов? Ну ладно... Бывали... — замолчал и проходил, сам не зная куда, качаясь.
— Любочка, ты не замерзла, детка? Побегай.
— Нет, бабушка...
— Ах, миленькая...
— И дети ждут.
— Бабушка, говорит мне внучка, возьми меня в Церковь, мне интересно посмотреть, как Христа будут славить... С большим удовольствием, говорю, да не пустят... Вот свечереет, и дружинники придут, милиция приедет...
— Не пускают...
— Думаю, что силой удержать можно.
— Нет, душу остановить нельзя.
— А она без Бога не может...
— Вот чего и они хотят?
— В эту ночь никто не спит...
— И верующие, и неверующие...

Время хотя медленно, но идет. Вероятно, уже подходят окончившие работу. Очередь увеличивается, распухает, стоит демонстративно. Наверно, кому-то не нравится, а молчат. Уже и молодых прибавилось в очередь, и мужчин и женщин.

— Что так медленно?

— Все священники освящают?

— Всем трудно, служили, да и ночку не спать.

— Да такую ночку можно и не поспать...

— А как, в храме только освящают?

— Пока в храме.

— Ну что они так?

— Днем не разрешают во дворе.

— А сколько времени?

— Восьмой час.

— О, уже много...

— Пробирать стало... — переминаясь с ноги на ногу, стоят, ждут. Терпеливо, молчаливо ждут, пока не окропят святой водичкой... Поеживаются.

— Никто нас не звал.

— Сами пришли.

— Это не на собрание...

— Хорошо, что не делают, как в первое время...

— Тогда ведь камнями бросали...

— С флагами ходили...

— Тогда они были сильны.

— Тогда им верили.

— А теперь уже все понимают.

— Не обманешь.

— Постой, потемнеет, они покажут...

— Они нюхом чуют, где для них опасность.

— Ко всему у них отношение менялось, но не к религии.

— Понимают, что религия — сила.

— Всех купить можно, но не верующих.

— Бесы усмириться не могут.

— Многие к Богу обратились...

— Веровать начинают...

— А кино бесплатное теперь не показывают?

— Да все, наверно, делают.

— На легкую приманку мало кто идет.
— На мякине не проведешь.
— Стреляные уже.
— Всем интересно в церкви побывать в эту ночь.
— А знаете, бабочки, в этом году в магазинах куличи были?
— Да нет, Фурцева запретила, говорят.
— Нет, все равно были.
— Вот баба...
— А баба бывает хуже мужчины.
— Ну всякие...
— В основном все-таки бабы отстаивают храмы...

Вечереет. Зажглась первая звездочка.

Появились с красными повязками дружинники. Проходят молчаливо, поглядывают, ничего не говорят. Вон прохаживается уже и милиционер.

— А там, что такое?
— Бабочки, что, не пускают?
— Да, теперь детей уже береги.
— Пришли блюстители.
— Вон идет сюда.
— Закрывайте мальчика.
— Девочку давайте сюда.
— Окружайте.
— Вон глядит как, — хотя и полушепотом разговор, но достигает слуха милиционера, подходит, заглядывает, женщины замолчали. Милиционер увидел молодого человека, смерил подозрительным взглядом с ног до головы, подошел.
— А вы зачем?
— Как зачем? Освящать кулич.
— Нельзя...
— Как нелья?
— А сколько вам лет?
— Совершеннолетний, паспорт есть, — гордо заявляет молодой человек.
— Неужели ты веришь?
— А как же, гражданин милиционер, а зачем бы я пришел?

Милиционер отходит. Проходит вдоль очереди, кого-то выщупывает подозрительным взглядом.

— Постой, вот окрепнет Китай... Все вы уверуете, — кто-то шепчет. Поглядывают боязливо, и кто-то говорит:
— Тише.
— Не раздражайте.
— Ну как, жив, Петрушка? Теперь можно постоять свободнее. А может, замерз? — дрожит, не сознается. — Ну ты потопай, потопай.
— Да я не замерз.
— Ну на всякий случай...
— А то пошел бы в храм.
— Я один не знаю.
— А чего не знать? Иди погрейся.
— Нет уж, стойте. Видите, как фараон прохаживается?
— И чего они бояться?
— Говорят, религия — сказка, а боятся.
— А вдруг воскреснет? Что тогда им делать? — кто-то слегка шутит.
— Воскреснет... Вот в двенадцать часов запоют...
— Ай, бабоньки, а как же хорошо!
— А хор у нас лучше стал.
— Говорят, сегодня двое артистов придут петь.
— А не боятся?
— Придут — значит, не боятся.
— А что сейчас в храме?
— Да по закону должно читаться Деяние Святых Апостолов.
— А как читают, по-русски или по-церковному?
— По-славянски должны.
— А вот отец Никон молодежь привлекает, и читают они у него по-русски, хорошо читают, все понятно.
— А так нельзя.
— Ну нельзя...
— Да ведь не по уставу.
— Не по уставу?
— А говорят, и митрополит Николай, покойный, практиковал читать по-русски. Даже шестопсалмие по-русски.
— Ну то митрополит...
— А он священник.

— А не еврей отец Никон?
— Неужели ты не видишь, что у него лицо русское?
— А почему у него так много евреев?
— Умеет говорить с ними...
— Помоги ему Бог, рискует уж очень.
— Я за него всегда боюсь. Приди к нему, он ни в чем не откажет.
— Перекрестит любого и не спрашивает документов.
— А чего бояться?
— Да, вишь, чего бояться?

Сумерки заволакивают двор, становится холоднее. Звезды высыпали в небе, дрожат над самым двором.

— А очередь не убавляется?
— В этом году что-то особенное.
— Все идут и идут...
— Слава Те Господи, — крестится старуха, поправляет платочек, подталкивает внука. — Пробегайся, Петрушка.

Петрушка, озябший, начинает вытанцовывать. В храме еще не начинали читать Деяния. Бодро передвигаясь по храму, отец Никон ищет чтецов.

— Можете почитать у нас?
— Не могу по-славянски.
— А по-русски можете?
— Какой разговор, могу...
— Ну так по-русски будете читать.
— Ой, лучше на сцене выступать... Ладно, пойду, — машет рукой высокий молодой человек, и его о. Никон направляет на клирос. Идет дальше. Останавливается снова.
— Не почитаете?

Молодой человек, несколько подозрительной наружности, смотрит испытующе, поджимает губы, выцеживает:

— Нет.
— Не умеете читать по-русски?
— Не хочу.
— Ваше дело. — Идет дальше, о. Никона окружили молодые люди, и девушки и парни.
— А вы веруете в Христа?
— А как же, а вы не верите?

— Да не знаю...
— А чего пришли?
— Да интересно...
— А что интересно: то, что вы не верите? — Улыбаются девушки, не с иронией, а как-то просяще, обиженно:
— Мы ничего не знаем, вы бы нам рассказали.
— О чем рассказать?
— О Христе. О том, как Он страдал, как воскрес... Это нам непонятно... А вы знаете отца Иоакима?
— Отца Иоакима? Знаю.
— Вот у него много молодежи, он рассказывает...
— Говорят, книжку написал.
— Хорошо сделал.
— А вы можете написать?
— Попы все умные, — говорит кто-то не то шутя, не то серьезно. — Они все могут... вот письмо написали за границу.
О. Никон прислушивается, на него смотрят.
— А исторически доказано, что Христа не было...
— Какая история доказала? — спрашивает о. Никон. — Вот сегодняшняя история доказывает, что Христос есть... Вы к кому пришли?
— Мы любопытствуем.
— А чего любопытствуем? — перебивают скептика. — А я вот верую, недавно крестился.
— Да и мы крещены, — подхватывают другие.
— А почему в церкви инквизиция была? — забрасывают вопрос.
— А только ли в церкви? — слышится ответ, вопрос на вопрос.
— Инквизиция столько не погубила людей, сколько сейчас погибло в лагерях... — Что-то разговор сбивается на политику. О. Никон старается повернуть его.
— Все было. Была и инквизиция... Есть и индульгенция. Есть и преследование старообрядцев, и цезарепапизм есть...
— А что это?
— Все это человеческие страсти. Нужно различать Церковь в истории, и Церковь как таковую...
— Партия, говорят, хорошо, но ведь в партии был Сталин.

— Человек есть человек.

— А скоро Христа будут славить?

— Вот сейчас будем читать Деяния Святых Апостолов. — О. Никон ушел, с клироса понесся его резкий голос, читал он, напрягаясь, отчетливо: «Первую книгу я написал к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дал Святым Духом повеления апостолам, которых Он избрал и которым явил Себя живым, по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжение сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божьем...»

— Смотри, все понятно.

— Все правильно.

— Почему нам запрещают?

— Интересно бы почитать Библию.

— А как много мы теряем.

— Смотри, там другой уже стоит, наверно, готовится читать?

— Слушайте.

— «При наступлении дня Пятидесятницы, все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках...»

— Смотри, и женщина появилась, наружность какая-то импозантная, явно поэт, наверно, тоже будет читать?

— Смотри, как хорошо читает!

— Отец Никон — пропагандист явный, скольких привлекает...

— И не боится?

— Да чего ему бояться? Земная жизнь у него и так погибла.

— Да?

— А не боится он психиатрического дома? Теперь всех неугодных туда...

— А ничего не добьются этим.

«И изумлялись все и, недоумевая, говорили друг другу: что это значит? А иные, насмехаясь, говорили: они напились сладкого вина. Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им: мужи Иудейские и все живущие в Иерусали-

ме! Сие да будет вам известно, и внимайте словам моим: они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня, но это есть предреченное пророком Иоилем: и будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть; и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут; и на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный...»

— Убедительно.

— А мы этого не знаем.

— А куда о. Никон уходит?

— Куличи, наверно, святить.

— Скоро и двенадцать...

Во дворе белели узелки, около столов толпился народ, вспыхивали свечи.

— Батюшка, окропите.

— Окропляются... Во Имя Отца и Сына и Святого Духа...

— И на голову мне брызните, голова болит... — Священник охотно кропит.

Прохаживают дружинники, высматривают что-то, молчат. Подростков не удаляют, поздно уже. Милиционер остановился, смотрит. То ли любопытствует, то ли сам заинтересовался, то ли всех не удержать, что сделать, мол, с мракобесами?

— А знаете анекдот, как милиционер на ученого Павлова говорил? Темнота, темнота...

Довольный смешок, взгляд на милиционера. Милиционер делает вид, что ничего не слышит и не замечает. А звезды дрожат на небе, небо сегодня удивительно яркое.

— Так на Первое мая не было.

— Бог знает, что когда давать.

Двор теперь заполнен в основном молодежью. Ходят, иногда посмеиваются, курят.

— Батюшка, посвятите, опоздала...

— А ты знаешь, сколько времени?

— Что, не выйдет, батюшка?

— Некогда.
— А вон идет.
— Становитесь.
— Ой, спасибо, батюшка, дай Бог тебе здоровья.
— Окропляются... Во имя Отца и Сына и Святаго Духа...

Летят брызги святой воды, улыбаются опоздавшие, проясняются лица. Светятся улыбки в церковных сумерках.

— Ну слава Богу, дождались Пасхи...

С хоругвями, с крестом, с иконами идет народ.

В облачении идет духовенство, расступаются, дают место. Певчие приглушенно поют:

— Ангелы поют на небеси...
— И нас на земли сподоби...
— Тебе славити-и.

Молодежь затаенно молчит, прячут улыбки, пропускают крестный ход.

— Что, Христа славят?
— А что не говорят: Христос воскрес?
— Должны обойти сначала кругом храма, потом...
— Кругом храма?
— Ну возьмем!
— Ул-лю-лю-ю-ю..
— Лю-лю.
— У!
— У-у-у!..
— Бери их.
— Ату-у! — пронесся какой-то вихрь, неужели разбушевались?
— Господи, пронеси! — взмолился кто-то исступленно.
— Свисти!
— Фыо-ю-ю-ю...

Пронизывает свист, жалит сердце.

— Живее, ребята.
— Подымай женщину.
— Оголяй ее...

Над головами взметнулась молодая девица, улыбается. Несут ее над головами, как древнее чучело.

— Милиция!!!

— Сыночки, внука задавили! — вырывается отчаянный вздох. Тут же второй:

— Внучку, родимые...

— Не надо было ходить, — кто-то советует сдержанно.

— Дави их!

— Ул-лю-лю.

— У-у-у!

— Батюшка отстал...

— Выручайте, бабы!

— Ой, батюшка отстал.

— Окружай его кольцом.

Начиналось то, что передать трудно, даже трудно представить, что люди так могут. По-собачьи, по-кошачьи, по-волчьи завыли. Загигикали, закричали. Смех и плач. Демонический смех и человеческий плач.

— Смотри, поп пробрался.

— Уцелел.

— Не успели.

— Ай-яй-яй.

— Свисти! — натуженно, надрывно и неожиданно.

— Христос воскресе!.. — пронесся отчетливо голос, заглушая бесновавшиеся крики.

Обрушилась лавина ответа:

— Воистину воскресе! — и придавила все, замолкли крики.

— Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ... — стройное несется пение, запел весь двор.

— Не успели...

— Ах, не успели задавить.

— Христос воскресе! — снова несется из раскрытых дверей храма. Пылают свечи, святят звезды, начинается торжественная пасхальная служба.

— Вот и старушки...

— Умеют церковники.

— Победили нас.

— Ну тогда пойдем послушаем.

— А знаешь, как-то хорошо.

— Душа почему-то радуется.

— Единственная такая ночь.

— Ничего не скажешь...

— Христос воскресе! — целуются люди, улыбаются, светятся.

— Ну давай.

— Как это?

— Воистину воскрес... — не то шутя, не то серьезно подошел дружинник к милиционеру и похристосовался. Тот не то шутя, не то серьезно хотел было снять шапку, улыбнулся тепло и приветливо. А на глазах повисла не то страдальческая, не то восторженная слеза, может, он и сам не замечает, увлекся, расчувствовался?

Стоят люди у дверей, у окон, в храме все не вмещаются, отовсюду несется:

— Христос воскресе...

Теперь уже не кричат, иногда перекосится чья-то злая улыбка, мелькнет зловещий огонек папироски... И все!

А пение все большей и большей волной вырывается из окон, из дверей, заполняет двор, проникает в сердце. Светлая пасхальная ночь, лучезарная ночь укутала русскую землю, все прикрыла своей звездной ризой, и забывается о тех слезах и страданиях, о тех проклятиях и воплях, которых так много везде... стоит присмиревшая молодежь, угомонилась бунтующая душа. Светлая пасхальная ночь, лучезарная ночь проходит своими легкими спасительными стопами. Усилившийся мороз как будто протер личики трепещущих звезд, и они еще сильнее загорелись.

Эпилог

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ...
(Разговор после пасхальной ночи)

— Ну как у вас прошла пасхальная ночь?

— Как всегда...

— Хулиганство было?

— Не без этого, было и побольше, чем хулиганство.

Кто-то похожий на писателя прислушивается к разговору священников, это было в метро, ехали со службы.

— Отцы, в этом году я тоже вступился за вас. Понимаете, только настроились и я зажег свечку, как начали раскачивать... Молодые лоботрясы взялись за руки и раскачивают. Женщины воюют с ними, но что могут сделать они? Мужчины, просят, помогите! Я погасил свечечку да и давай работать, мне помогли... Вы садитесь, отцы, устали небось? — предлагает писатель.

— Спасибо, спасибо....

— А вы «Письма из Русского музея» читали?

— Читали.

— Мы все читаем.

— И «Крестный ход» Солженицына читали?

— Спасибо вам, поддерживаете нас.

— Как же, надо, это общее дело...

Разговор поодаль принимал другое направление.

— А интересна судьба Солженицына. Поднял протест во имя протеста, стал обвинителем и в результате...

— А что в результате? Все-таки это настоящий голос, мужественный...

— Мужественный? Верно.

— А вы знаете его семейную жизнь?

— Что, с женой?

— Да, с женой. Обвиняя других, сам в личной жизни оказался...

— Ну знаете, любви не прикажешь.

— Да и это поклеп, — кто-то попытался защитить. — Это евреи его купили, подсунули еврейку...

— Как хотите, но факт остается фактом...

— Жена, потрясенная его изменой... Как хотите, но это измена! — нашла успокоение в церкви...

— Падение одного — стало спасением другого...

— Мир на антиномиях стоит.

— Мир жаждет Пасхи.

— Всем нам недостает Христа, Его воскресения...

— А вы слышали, другая звезда восходит? Максимов написал «Семь дней творения»...

— А знаете, чем кончается этот роман? «И наступил седьмой день, день надежды и воскресения...»

— Почувствовал надежду и воскресение?

— А кто этот Максимов?
— Не он ли в «Октябре» сотрудничал, самом реакционном журнале?
— Да, он. И сотрудничал, и страдает запоями...
— А Белов?
— А Распутин?
— Да, именно Валентин Григорьевич Распутин!
— Но как по-христиански пишет!
— И все это молодежь!
— Молодежь заговорила другим языком, чем их отцы...
— А Синявского не выпустили еще?
— Выпустили, года не досидел...
— Заключение теперь не так страшно, как сумасшедшие дома.
— И в результате все-таки то и другое приносит пользу...
— Заключение и сумасшедшие дома?
— Нет, это вы уж слишком.
— Как слишком? Если пользу измерять земным интересом — это одно положение, а если?..
— Удивительное дело. Я сам знаю многих возвратившихся оттуда... Из безбожников они стали глубоко верующими.

Слышался и еще разговор в стороне, но хотя это было в стороне, даже не видно было, кто ведет разговор, до слуха доносились запоминающиеся слова:

— А вы не задумывались, что во всем этом есть спасающая рука Божия?
— Бич Божий? — кто-то добавил яснее.
— И нам надо начинать с того, чтоб не обвинять, а понимать...
— Понимать Советскую власть — вы скажете?
— Да, как это на первый взгляд ни парадоксально, мы должны показать себя сыновьями Божьими, а не рабами, слугами антихристовыми, которые постоянно бунтуют, всем недовольны, все ниспровергают... Не обидеться за обиду — в этом есть большое мужество и большое сознание...
— К чему вы все это ведете?
— Да вот к тому...
— А вы знаете, что за такие речи вас могут за кого принять?
— Знаю. За предавшегося, предателя... Людей разделили и пугают всякими названиями. Ну и пусть. А я хочу быть только

честным человеком, забыть личные обиды и в каждом видеть брата...

— Ну, знаете, это что-то сверхсшибательное. Вы какой-то еще невиданный абстракционист...

— Кем хотите называйте, а я хочу быть только христианином и верить в человека, верить в воскресение из мертвых.

Сразу все вдруг примолкли. После довольно продолжительного молчания заговорил «абстракционист»:

— Все, что я вам сказал, и для меня неожиданно, я очень многое уяснил себе сегодняшней пасхальной ночью. Я и раньше слышал, что делается в эту ночь, а сегодня увидел сам, убедился. Я увидел пасхальную радость на всех лицах без исключения. И на тех, кто озлоблен... Даже более на тех. И я думаю, что возрождение в России начнется с коммунистов...

— Ба.

— Увидели!

— Это при таком безобразии?

— Вы сделали открытие...

— Я ничего не сделал. Я только увидел Христа, и в душе воцарился мир... Я теперь понимаю поведение патриархии...

— Все сдавать без боя?

— Один из мудрых наших патриархов говорил: «Не сопротивляйтесь, иначе будет разрушено больше. Сопротивление вызовет их большую ярость...»

Спор все разматывал и разматывал свой клубок, как его вдруг приостановил голос:

— Вы простите меня, у вас кипят еще страсти. Вы простите меня, со всеми вашими протестами, бунтами... Ну как вас не обидеть? Сегодня я никого не хочу обидеть...

Кто-то подсказал:

— Мы ничего не понимаем...

— Нет, вы понимаете, даже вы честны. Только вы не чувствуете радости воскресения Христова. А конкретнее, не знаете психологии благоразумного разбойника...

— Они же хулят?

— А мы не хулим? Вы только вникните в раздор коммунистов, фашистов, сионистов. Белых, красных. Православных, католиков. Мусульман...

— Слушайте, да у вас какое-то особое откровение? — прошел какой-то гул, показалось, что все растерялись. Тут же ехал и о. Никон, он не вступал в разговор, устал за ночь. Прикрыв глаза, вспоминал плакат. Нарисован жирный поп, у ног — яйца. Внизу надпись: «Кому вы несете? Перед вами — обманщик...» Проснулся, он, кажется, задремал. Это ему во сне приснилось, хотя было на самом деле. До слуха доносился голос писателя:

— Думаю, раз дошли до этого, расписались в своем бессилии...

О чем это он? Ах, все о том же...

— Христос воскресе, — кто-то воскликнул радостно над головой о. Никона, он поднял глаза. Перед ним стоял недавно им крещенный профессор, бывший сотрудник журнала «Наука и религия». Стоял, смотрел мужественно и спокойно, как человек, много передумавший и много испытавший и теперь решившийся...

— Воистину воскресе, — ответил о. Никон.

— Да, Христос воскрес. Я впервые был на пасхальной службе сознательно... Нет, жив Бог, Его ничем не вытеснить из нашей души. Если б ты знал, как я потрясен всем виденным. Что бы ни было, как бы ни было, но пасхальная ночь в России — это что-то особенное... — Между о. Никоном и профессором начинался разговор долгий, задушевный, значительный.

ВТОРОЙ ПОВОРОТ НА ПЕРЕХОДЕ

Снова посидели молча. После того как о. Константин прочел свои записки, женщина неожиданно сказала:

— Знаете, вам надо что-то предпринимать с женой, у вас в душе такая Пасха, а в жизни разлад...

— Да, самое сложное — это семья, но возрождение все-таки нужно начинать с семьи, в этом вы правы... — Больше они ни о чем не говорили.

Вскоре жена о. Константина приехала из деревни. С о. Константином как-то сами по себе отношения стали улучшаться, незаметно окончились ссоры.

— Видимо, в жизни приходит какой-то момент, когда все само по себе утрясается, — говорил о. Константин женщине,

зайдя как-то ее навестить. — Мне даже кажется странным, из-за чего все получалось...

— Ну а больше у вас ничего нет... такого, как тогда вы мне читали?

О. Константин покривился.

— Ну вы не ломайтесь, почитайте.

— Хотите, я вам просто из Хроники?

— Какой?

— Да вот один пишет... И называется «На вечере у о. Константина».

— Читайте.

О. Константин присел на стул и начал.

НА ВЕЧЕРЕ У О. КОНСТАНТИНА

На этом вечере не было спора о евреях. Володя славянофил наконец заговорил:

— Вот выпускается хроника в самиздате, чисто еврейское дело, и может быть клевета на русскую жизнь...

— Я читал, там хроника о всех наших безобразиях, недостатках...

— А ведь просто выставлять недостатки, безобразия без чего-то другого — это клевета-то и есть.

Другой добавил:

— Я хотел там напечатать о своих русских воззрениях — не приняли.

— Надо было бы нам что-то тоже выпускать...

— В пику, что ли?

— В пику не в пику, но должен быть русский голос.

— А стоит ли?

— Что там можно писать?

— А вы слышали, выходит славянофильский журнал «Вече».

— Может быть, не время?

— Россия — богоносная страна.

— А евреи — богоизбранный народ, — хотел подшутить или что-то сказать о. Никон, на него посмотрели недоуменно, как будто даже растерялись, потом чей-то решительный голос:

— России нужно объединиться под кровом Православной Церкви, тогда никто не одолеет нас. Православие вырастило и воспитало Россию.

Неизвестно, как бы развивался разговор дальше, как вдруг пришла еврейка, молодая, которую недавно крестил о. Константин. Она, заметив такое большое собрание, растерялась и хотела было сказать, что она придет в другой раз, как ее о. Константин пригласил проходить. Она прошла, сначала испытующе посматривая на всех, долго молчала, потом, как бы между прочим, заговорила. Заговорила о больном еврее. О. Никон подхватил разговор и сказал, что это тот еврей, который говорит, что две ветви, разорванные враждой, должны соединиться любовью. Худенькое лицо еврейки, с загнутым мальчишеским носом, напоминало обиженного ребенка. Кто-то позвонил, о. Константин пошел открывать, в дверях стоял Алексей Яковлевич. Улыбался своей обычной уверенной улыбкой, но на улыбке все-таки был налет печали. Он был острижен, в остриженных волосах, как иней, въелась седина, похудел и как будто оттого помолодел, но когда вглядишься, то и потемнел чем-то, и в разрезе глаз, особенно когда он снимал очки, виднелось что-то монгольски решительное.

— Освободился? — вскрикнул о. Константин.

— Как видите...

— Невероятно, это что-то новое... Проходи же, чего стоишь? Алексей Яковлевич прошел. Войдя в большую комнату, поклонился собранию общим поклоном и уселся на предложенный О. Константином стул. Разговор не вязался, хотя о многом можно было бы говорить сейчас.

— Ну рассказывай — как?

— Да все было. Рассказывать много нужно. Может быть, как-либо в другой раз?

Супруга о. Константина предложила всем садиться за стол, и начался разговор. Алексей Яковлевич начал рассказывать о своих мытарствах.

— Более пятидесяти лет Советской власти ничего не сделали, русский человек такой же добродушный, добрый, так же любит Христа, как и раньше, так же делиться последним куском со всеми. Это я особенно понял сейчас, в этот раз, сидя в

заключении. Бандиты, сколько убийств, детей убивали, а стал рассказывать им о страданиях Христовых — плачут, по-настоящему плачут... Меня там уважали, священником называли.

— А интересно, кто сидит теперь в заключении? — спросил о. Константин.

— Воры, убийцы, народ, конечно, отпетый, а вот Бога любят. Хотя совершенно ничего не знают. Вот где б нужен проповедник. И я там проповедовал. Как они слушали проповедь! Говорили мне, тебя бы на Особый. А на Особом — одни рецидивисты... Ну, встречался я и с такими, — немного помолчав и передохнув, продолжал Алексей Яковлевич. — Один под следствием больше двух лет сидел, почти в сто томов дело распухло. Заместителем министра просвещения, что ли, был, особая зарплата, особый паек и для него, и для его жены, а ему было мало, взятки брал. Присылал в институты студентов за деньги, случайно погорел на грузине. Тот заплатил две тысячи и думал, что теперь он может не учиться. Не сдавал экзамены, отчислили. Мать приехала. Как, говорит, две тысячи вам заплатили, а вы отчислили? Да и то не погорел бы, кто-то зуб на него имел. Беседовали мы с ним как-то на прогулке. Он мне говорит: там мне больше не работать, то есть в министерстве, может, попом теперь устроюсь? Ты скажи, говорит, как мне попом устроиться? Верить или что там нужно, я все могу. С этим вопросом не один ко мне обращался. В своем освобождении этот министр был уверен, денег хватит, все подкуплены. Да и связаны многие с ним: и прокуроры, и следователи, вся машина наша запуталась. Убийц много. А один попал случайно. Был на вечеринке у одной женщины, двадцать три года ему было. Женат, ребенок. Жену и ребенка проводил, а сам к женщине, как и все делают. Ну пили, еще там было двое молодых парней. Те ушли раньше, а он остался, потом и он ушел. А ночью женщина была убита. Подозрения пали на него, он оставался позже всех. И крови нашли каплю на рукаве у него. И как назло, у него и у нее одинаковая группа крови. К расстрелу приговорили, девять месяцев сидел под расстрелом. Юрист один помог, назначили переследствие и, слышно, в его пользу...

— Значит, все-таки правда теперь какая-то есть? — кто-то спросил.

— Да, приходится считаться, приходится считаться им с правдой, а вообще все запуталось.

— А жизнь-то пришла несладкая. Вот в последнее время все какие-то особенные бедствия. Землетрясение в Ташкенте, наводнение на Украине, болезни разные, эпидемии. Как и сказано в Писании: будут землетрясения по местам, глады...

— А что? Голод может наступить скоро. И особенно страшный. Истощат землю, отравят воздух. Читали тревожное письмо ученых в «Литературной газете»? А тут еще Китай. Вот и приходится им прятать когти... — заговорили в один голос многие, потом неожиданно вспыхнул еврейский спор.

— Евреи — народ богатый, все могут дать. У современных евреев есть в самом деле что-то плохое. В Израиле, чтоб оздоровить нацию, поставили дело так. Не надо ни торговцев, ни даже интеллигентов, побольше рабочего народа. Кузнецы нужны. Вот из России уехавшие евреи и стремятся назад, не хочется быть кузнецами...

Все это было сказано просто и без всякой обиды в голосе, о. Никон смотрел на Алексея Яковлевича умильно. Но коль вопрос зашел о евреях напрямоту, о. Константин решил тоже вступить в разговор. Он начал с того, что ему, как священнику, очень больно думать о евреях как о людях, делающих особые козни, но все-таки евреи не внушают ему полного доверия... Алексей Яковлевич хитровато улыбнулся:

— И ваш покорный слуга? — указал на себя. — И эта вот девушка? — О. Константин забыл, что девушка здесь и что он ее крестил. Девушка смотрела непонятливо, что-то даже как будто злое было у нее в глазах, но в то же время и растерянность, и с мягким укором вопрос: значит, вы не верите, а зачем крестили? И этот вопрос понял о. Константин, он хотел бы провалиться, только бы не видеть эти растерянные и обиженные глаза, и главное, что они были незлобны, эти глаза. Он густо покраснел, горячая кровь, хлынувшая ему в лицо, обожгла его. Славянофил Володя сказал:

— Мы, конечно, ничего не имеем против евреев, но вот я хотел бы поставить вопрос: почему евреи не любят Россию? Почему, когда заговоришь с ними о России, отворачиваются? Почему вот, если они, как говорят сами, ищут правду, не хотят

заговорить о тех безобразиях, которые сделаны по отношению к русской истории, по отношению к христианству? Почему не хотят подать свой голос в защиту Церкви?

Алексей Яковлевич посмотрел недовольно, славянофил, не замечая его, продолжал:

— А ведь много вины падает на их долю...

Наконец Алексей Яковлевич перебил славянофила:

— А почему, если евреев послушать, то они говорят, что русские гонят и травят их? — Алексей Яковлевич принял серьезный вид, кажется, немного в чем-то обиделся, потом резко изменил разговор: — Впрочем, о. Константин, — обратился он к о. Константину, — я позволю себе небольшое отступление. Нам надо учиться понимать друг друга, и евреям и русским. Когда-то я на вас обиделся...

— Когда это? — что-то не вспоминал о. Константин. Алексей Яковлевич смущенно напомнил:

— А вот когда вы меня назвали предателем...

— Не может быть, — запротестовал о. Константин.

— Не вы лично, вы только передали мнения других, я тогда обиделся на вас... А вот теперь я хочу то же самое сказать вам. Недавно я именно про вас слышал, что вы предатель...

— Я? — удивился о. Константин и даже подумал, что Алексей Яковлевич придумывает, чтоб на примере развить свою мысль. — Интересно, как это? — О. Константин хотел смотреть прямо, но невольно смущался, даже, казалось, вот-вот покраснеет, как виноватый, потом неожиданно стал отводить глаза... Он был недоволен собой, снова взглянул прямо и, только когда Алексей Яковлевич сказал: «Не смущайтесь», — почувствовал облегчение.

— Все мы друг друга подозреваем в чем-то, такое время... Так позвольте все-таки, я расскажу про вас. Недавно один работник патриархии передал мне под большим секретом: о. Константину не верьте, у нас есть тайные списки, кто состоит на службе у чекистов, так вот, в этих списках числится о. Константин...

— Неужели? А кто передавал? — вскрикнул о. Константин, покраснев и от раздражения, и от смущения.

— Я могу, конечно, сказать кто, — спокойно говорил Алексей Яковлевич. — Но стоит ли выяснять? Это только больше запутает дело. Я ему, конечно, не поверил... И еще один факт, более убедительный, — как будто дразнил Алексей Яковлевич о. Константина. — Не буду вам называть имени, но это хороший ваш знакомый и хороший человек притом. Его как-то вызвали в хитрый домик, он наотрез. Потом посоветовался с кем-то, и тот посоветовал ему поводить их за нос, как бы резкий отказ не озлобил их. Ну, пошел второй раз, и ему дали такое задание. Будешь в Москве, навести о. Константина и скажи ему, что ты бываешь там-то и там... «Ну и что? — спрашивает тот. — Какое это имеет отношение?» — «Да как сказать? Интересы перекрещиваются...» — такие двусмысленные слова, и этот хороший ваш знакомый в испуге: неужели о. Константин состоит у них на службе?

О. Константин почувствовал, как его всего обожгло... Да, он понял, как можно самого хорошего человека оклеветать, понял и то, что так вот и к евреям поддерживается ненависть... Он настолько ушел в себя, что не заметил, как разговор уже принимал несколько другое направление.

— Недавно мне рассказывал юрист из патриархии интересную новость... что там проворовались на крупную сумму, заявил властям... И знаешь, что ему сказали? Это нас не касается, Церковь отделена от государства. И добавили: пусть проворовываются больше, это нам выгодно...

О. Константин не слышал этого разговора, старался на Алексея Яковлевича смотреть прямо, он это мог, Алексей Яковлевич на него смотрел с некоторым юмором и снисходительностью.

— Я не хочу защищать евреев, — продолжал Алексей Яковлевич, — хотя и сам еврей. Впрочем, по паспорту я русский. Скажу только: не сразу все делается, но нам как-то надо жить на одной планете, следовательно, надо искать общий язык и доверять друг другу. Я думаю, что вопрос напрямоту — это лучшей подход. Плохо, когда где-то там брюзжат, и учесть нужно, что евреи — умный народ...

— И не менее хитрый, — вставил славянофил Володя. Кто-то подшутил:

— Вот тут и задача: как бы взять ум и изъять хитрость? О. Никон, все время прислушивающийся, вдруг ахнул:

— Неужели русские настолько дураки?

О. Константин, боясь, что неожиданно вылетающие резкие слова будут хорошим топливом для огня спора, решил прекратить его в начале, но что бы придумать такое? Улыбнулся и находчиво сказал:

— А не распить ли нам бутылочку по случаю освобождения Алексея Яковлевича?

— Не мешало бы, — охотно отозвались многие.

— Марина, поищи-ка, нет ли там чего? — попросил о. Константин. Марина сначала сказала — нет, потом вспомнила, что недавно кто-то из верующих что-то подарил о. Константину, и пошла на кухню. А в это время все оживленно смотрели друг на друга, о. Константин лукаво улыбнулся, он вспомнил, как, кого-то собираясь угостить, он что-то купил, так что там кое-что есть. О. Никон же подумал, как, однако, мало нужно, чтоб все было забыто и создалось хорошее настроение. Истинно веселие Руси — пити...

Только бы сесть за стол, как снова звонок. Задумчивый, грустный, несколько растерянный, взволнованный, пришел больной еврей, тот, кто говорил: две ветви, разорванные враждой, должны срастись любовью. О. Константин чуть не ахнул на всю квартиру. Еврей вошел и боялся проходить дальше, мялся, что-то хотел спросить и не знал, с чего начать. О. Константин схватил его за руку и, еще более растерянного, поволок в большую комнату.

— Это тот еврей, — хотел было отрекомендовать о. Константин. — Ну тот, кто с детства поступал наоборот...

— В чем евреев обвиняли, то старался делать наоборот, — добавил, перебивая, о. Никон. Кто-то непонимающе спросил:

— А чего достиг он этим?

Но, кажется, все догадались, что вошедшему надо дать место. Алексей Яковлевич сказал:

— Как вас зовут? Вы проходите...

— Валентином зовут, — ответил тот. Валентин-еврей, улыбнувшись, заговорил:

— А знаете, я оттуда... Собираются в Израиль. — И не то был серьезен, не то шутил. Заговорил он как-то загадочно, рассматривая между тем обращенные на него лица. Лица были разные, с любопытством, восторженные, были и мрачные, таких было немного.

— Мне говорят: ты православный — ты изменник. В Бога можешь веровать, можешь быть и христианином, но ведь Церковь — это политическая организация, мне говорят, она нас гонит. Я понимаю — вековая традиция, трудно переступить... А тут еще богоизбранность, мы — избранный народ... Богом... Вот как это понять? Можно понять и так, что мы, мол, люди, а все остальные — скот. Гои, — он вдруг сказал именно так и даже раздражился, даже гнев появился в спокойных глазах. — А если это так, то отсюда и фашизм: мы — избранная нация. И те этих, а эти тех... Истребление? Земля кровью пропиталась. Чего нам ждать? Мессия не придет... Он уже был. Освобождать от чего? От ига? А может, оно и спасительно? Все земное — прах, есть Царство Небесное, оно для всех. Ветви, разорванные враждой...

Валентин не закончил, Алексей Яковлевич стукнул кулаком по столу, не выдержал. Стукнул, аж больно стало:

— Вот это, пожалуй, правда! — Он обратился с вопросом к славянофилам: — Скажите, правда?

Славянофил Володя ответил:

— Да, правда, мы не против правды, мы за правду.

— Ну давайте к столу.

— Валентин, давай, по случаю освобождения.

Валентин посмотрел дружелюбными глазами на Алексея Яковлевича и почему-то спросил:

— Вы еврей?

— Ну какая разница: все братья, — полусерьезно за него ответил о. Никон.

Валентин почему-то допытывался у Алексея Яковлевича:

— Вы скажите — еврей?

— По паспорту я русский...

— Ах, русский, а есть евреи? — почему-то добивался Валентин, и тут он заметил девушку, типичную еврейку.

— Вот вы еврейка, а я еврей... Мне говорят: можно быть и православным, только в Израиле. А почему я не могу быть здесь православным? Если сказать правду, то Россия мне ближе, чем Израиль. Здесь я родился, я все впитал отсюда.

У славянофила Владимира загорелись глаза, он с любовью смотрел на Валентина.

— А Израиль, Иерусалим... Ведь есть Небесный, и тот нужен... А земное — все прах! Время сокращается...

Вечер продолжался.

— Ну так что, с приездом?

— Спасибо.

Все подняли рюмки, выражение лиц у всех было одинаковое, только Алексей Яковлевич был немного угрюм. Не потому, вероятно, что он думал о чем-то печальном, видимо, заключение клало определенный отпечаток, и его приходится носить определенное время. Выпив и закусив, налили по второй.

— Ну а теперь за что?

На этот раз тост предложил не о. Константин, а Алексей Яковлевич.

Славянофил Володя, не задумываясь, сказал:

— За Россию.

Некоторые слегка поморщились, Алексей Яковлевич добавил:

— За Русь святую.

О. Никон поспешил и со своим предложением:

— Ну коль за святую Русь, то и за православную.

Все согласно выпили. На этот раз закусывали больше, чем до этого. Не успели дожевать, как тост предложил молчаливый еврей Валентин.

— За союз двух народов: евреев и русских: один богоизбранный, другой богоносный... Тост был неожиданен, сказан со всей серьезностью, от неожиданности многие растерянно улыбнулись. Чокнулись не совсем дружно, Алексей Яковлевич начинал хмелеть, он хмелел быстро и становился словоохотливее.

— За свободу!

Этот тост был его, глаза сразу заблестели и загорелись; подняв рюмку, добавил: — За свободу всем: и верующим и неверующим...

После этого тоста больше тостов не было. Вскоре истощился запас хмельного, кто-то предложил сходить в магазин, но, кажется, предложением и ограничился.

Разговоры умножались, Алексея Яковлевича остановить было трудно, он хмелел по-настоящему, в его мозгу не было сдерживающих центров, и он говорил, что приходило ему в голову.

— Я вот и сейчас здесь, а особенно когда был в заключении, думал: «Вот был Нюрнбергский процесс, а почему не может не быть московского?» Представьте себе: вот бы, допустим, поступило заявление в ООН от граждан Советского Союза: кто разрушил в России столько храмов, монастырей? Да и сколько убито было верующих? Как бы все зашевелилось. Вот бы забегали наши атеисты, я представляю... Да и не атеисты только, а может быть, и некоторые из духовенства... — как бы дальше работала фантазия Алексея Яковлевича, но кто-то заметил, что это может легко сбиться на политику, такой разговор, и полушутливо-полусерьезно перебил Алексея Яковлевича и сказал:

— А если бы представить, что ЦК издало указ: всем веровать — как бы поперли тогда все в храм. В первых рядах шли бы высокопоставленные, потом прочие партийные, и настоящих верующих оттеснили бы в сторону, особенно старушек, которые так много вынесли на своих плечах...

— Вы думаете, что русский народ превратился в автомат?

— Нет, не в автомат, а просто нет принципиальности, без царя в голове, как в старину говорили...

— Не думаем.

— Мы, наверно, стоим на каком-то знаменательном повороте...

— На каком же? К гибели поворот... Сколько всего изобрели гибельного, что теперь нужно самое главное изобретение: как все это уничтожить?

— И жить бы по-дедовски, с сохой, в лапотках бы ходить?

— А что, гораздо лучше было бы...

— Нет, истории вспять не повернуть.

— Так говорят большевики.

— Нет, так в самом деле.

— В самом деле все идет к концу. Голгофа...

— А дальше?

— Само собой разумеется: воскресение. — И вдруг Алексей Яковлевич прервал всех самым прозаическим образом: — Социализм нельзя сбрасывать со счетов, и в этом есть смысл! — сказал он многозначительно и пьяным голосом: — И революция имеет смысл... Кто-то ядовито подпустил:

— И жиды в революции...

О. Константин испуганно обернулся, он боялся нового спора. Константин-славянофил встал над столом, все обратились к нему, что-то скажет?

— За единую, неделимую, могучую Русь! — сказал он громко и с чувством. Кто-то отставил рюмку.

— Нет уж, понимаем мы этот шовинизм... За свободу всем национальностям, довольно русские их эксплуатировали.

Константин-славянофил приготовился к бою:

— Нет, довольно русских эксплуатировали, либерализм — источник русской трагедии... За единую, неделимую... И да боятся враги! С нами Бог!

Он выпил залпом.

— А почему не с нами?

— Да вот потому, что не с вами...

— Мы протестуем! — закричал кто-то.

Чего о. Константин боялся, то и начиналось, начинался спор, и, кажется, ожесточенный.

Так и во всей России, во всем мире идет спор. Идет спор взахлеб, с кровавым решением. А меж тем как в взбунтовавшейся России, поруганной, измызганной, оплеванной и растоптанной, уже начинается воскресение, еще непонятное — брезжит свет невидимой зари сквозь сгустившиеся сумерки перед рассветом.

(Из записной книжки)

Я пришел на вечер к о. Константину в тот момент, когда уже собралось столько, что негде было поместиться. О. Константин рассказал потом, что в тот вечер собралось как никогда много. Шел спор о том, кто убил русского Царя с детьми. И все пришли к тому выводу, что убили его евреи, то был еврейский заговор. Евреи, находившиеся на вечере, отрицали это, го-

ворили, что убили Царя сами русские, во всяком случае, латыши... Тут был один писатель, я даже не знаю, русский он или еврей, мне кажется, что в нем что-то еврейское было, а может быть, и ошибаюсь, он высказался так:

— Сейчас я хочу забыть тех истинных лиц, которые убили Царя, но кто бы там ни был, Царя все-таки убили евреи. Евреи мстительны. Русские могли бы в крайнем случае убить одного Царя, но оставили бы семью. Русские, удовлетворившись первым приступом злобы, останавливаются, евреи ни на чем не останавливаются, убивают даже детей...

Евреи вдруг загалдели, о чем, непонятно, загалдели между собой и как-то вдруг растерялись. Тут вышел из-за стола сотрудник антирелигиозного журнала, знакомый о. Никона, он сказал:

— Я заявляю, что антирелигиозной пропагандой у нас в основном занимаются евреи. Если бы не евреи, у нас давно бы антирелигиозная пропаганда прекратилась. Русские уже дошли до такой точки, когда начинается поворот, русские начинают защищать свою святыню, организовали общество по охране памятников старины, а евреи мешают, им ненавистна святыня русских, русская культура...

— Верно! — выкрикнул славянофил Константин.

— Евреи сейчас хотят сделать вид, что они невинны, что их напрасно гонят в России, что нужна снова революция против революции, они снова подбивают нас на бунт. Но хватит с нас кровопролития, мы теперь должны не против, а за...

— За Советскую власть? — не выдержал кто-то из евреев.

— Да, за Советскую власть. Нам надо не ниспровергать, а строить...

— Строить коммунизм? Но это же гибель всего?

Как будто образовался какой-то вакуум в разговоре, наступило невольное и долгое молчание.

Кто-то из священников сказал:

— У нас все развратились, нужна мораль...

— Моральный кодекс коммунизма?

— Вы не шутите, — кто-то заметил.

— Выходит, все надо благословить?

— Да, все. Все, что есть, и коммунизм, и Советскую власть...

— Это вы уж слишком.

— Нет, не слишком. Вы забываете, что во всем этом есть люди, а люди — это образ и подобие Божие. Мы все сбились с дороги, нужно, чтоб в нас возродился образ Божий, изобразился Христос. А в нашей ненависти нет ничего святого...

— Вот именно Христос, и когда изобразится Христос, то все и образуется...

Спор, кажется, начинал затихать, и, чтоб окончательно привести его к затиханию, нужны были последние усилия.

— Когда будут говорить «мир и безопасность», неожиданно придет пагуба...

И спор снова возобновился:

— Когда б не пришло равнодушие с прекращением спора...

— Заплесневеем.

— Самоуспокоимся.

— В набат! — кто-то закричал, и, кажется, чтоб только закричать.

— Против Советской власти!

— За сионизм! — кто-то поддержал крик, и, кажется, серьезно.

— Снова за евреев?

— Всюду эти евреи.

— Евреи Антихриста нам дадут.

— Евреи — богоизбранный народ.

— А русские — богоносный.

— Богоизбранность превратилась в фашизм-сионизм...

— Богоизбранность неправильно понята.

— Богоизбранность рождает ненависть.

— На богоизбранность человечество должно ответить богоносностью.

— Или антихрист, или Христос?

Когда наступило затишье, многие встали, вышли прогуляться. «Неужели Христос не может быть у евреев?» Хотя я всегда был прорусского направления, но тут я задумался, в моем мозгу стучались слова: «Христос должен быть родствен для каждой национальности, и если нация не имеет своего Христа, она не может понять христианство. Не может понять того, что Христос пришел ко всякой национальности, ко всему человеческому». Я уединился ото всех и перестал всех слушать, чтоб

обдумать как следует пришедшие ко мне мысли. Когда я очнулся, до моего слуха долетали обрывки спора:

— У евреев вся сила, во всяком мире забрали все в свои руки.

— У русских ничего нет, а что и есть, теряют.

Тут меня, кажется, что-то осенило.

— Неужели? А ведь и Христос победил, распявшись на кресте... Вот в чем дело! Эврика!!

— Воскресение из мертвых! — закричал я. Закричал, забывшись, как одержимый. На меня, кажется, и посмотрели как на ненормального.

Начинался рассвет. Сначала посерело в окнах, потом позолотились рамы, солнце подымалось на небольшой краешек неба. Я покинул собрание.

Я шел и не замечал, как хлестал дождь. Солнце, показавшись, тотчас скрылось в набежавших тучах. Я вздрогнул тогда, когда ослепляюще блеснула молния и загрохотал гром, сначала захлебнулся, потом откашлялся, и ударил со всей силой, и покатился, разгрохотавшись, по всему небу. Я перекрестился так, как крестится простой русский мужик во время грозы. Перекрестился, и мне захотелось идти под грозой, чтоб молния опаляла мое лицо и громы закаляли мои нервы. Чтоб еще чем-то подкрепить себя, я запел громким голосом: «Христос воскресе...» — и мне хотелось петь и петь, пение придавало мне силы. Гроза, казалось, надвинувшись надолго, неожиданно стала прекращаться, на востоке все больше светлело. Дождь дошлепывал последними каплями в мое лицо. Я протер глаза и осмотрелся: где я? Я шел за городом. Я весь промок, но мне было как-то бодро и радостно.

— Слава Богу за все! — воскликнул я вдохновенно, какое-то особое настроение сошло на меня. Главное чувство было — чувство благодарности, благодарности Богу за все.

За то, что я здесь иду.

За то, что я живу на этой земле.

За то, что я дышу этим воздухом.

За то, что меня опалила гроза.

За то, что я промок под дождем.

За то, что я есть.

За все, за все!

— Слава Богу за все! — от всей души воскликнул я. Душа моя ликовала. Такого состояния я еще не испытывал. Теперь мне ничто не было страшном, никакой крест. Я все подыму, я все вынесу! Я чувствовал в себе неиссякаемые силы.

ТРЕТИЙ ПОВОРОТ НА ПЕРЕХОДЕ

— А кто все-таки автор этого? — спросила женщина. О. Константин сначала не ответил, а потом посмотрел на нее внимательно и сказал:

— Да писал и о. Никон, и о. Константин, и горбатый человек... И вы... И я...

— Все это для отвода глаз, кто-то должен быть один...

— Все мы авторы нашего времени.

— Вы знаете, у меня не выходит ни из головы, ни из сердца ваше посещение монастыря, расскажите мне подробно.

И когда о. Константин все подробно рассказал, она прослезилась:

— Пока еще остается такой уголок, Россия не погибла, — воскликнула женщина.

ПЕРЕД СУДОМ ЧИТАТЕЛЯ

Когда я делюсь с женой тем, что я закончил писать, она мне не дает договорить и заявляет:

— Ты никак не можешь остановиться, волна событий захлестывает тебя, и так будет до бесконечности, а остановиться нужно, — и как приговорила: снова приходится писать. Как-то некоторым людям я дал на пробу читать свою хронику-роман. Одна женщина, прочитав, не спала всю ночь.

— Что это такое он пишет? — гадала она. Дала другим прочесть, и те заключили:

— Пишет безбожник, еще один камень брошен в нашу Церковь...

И она заподозрила меня, даже рассказала мне такой случай. Писал ее муж-художник портрет с одного человека, который выдавал себя за немца, на портрете получился какой-то раввин, и в самом деле тот оказался евреем...

— Так, может, и я не священник, а кто-то другой?

Ей не хотелось так прямо говорить, и она заговорила обиняком:

— А семью-то вы запустили, детей-то не воспитуете?

Другая женщина прямо решила, что я не то что неверующий, я просто священник такой, к которому ходить она больше не будет... Это когда мы уже с ней выяснили мое положение, она мне об этом все откровенно рассказала. А первая женщина, видимо, не все высказала тогда мне и глядит на меня теперь подозрительно, боится даже беседовать со мной.

Всех взбунтовала моя хроника. Расплескавшиеся волны так или иначе окатили своей водой, а некоторых, может быть, и оглушили.

Меня, наконец, заело. Правда, выходит, колет всем глаза. Критиковать чужих можешь, а своих не трогай.

— А нужно говорить про всех правду!

— Да какую правду, фотография у тебя получилась, в кривом зеркале все отразил...

— Ну вот... Кривое зеркало... — вздохнул я, пришибленный таким заключением.

А с такой глубокой душевной болью я писал, так болел обо всех недостатках... Я никого не хотел осудить, я хотел искренне разобраться в судьбе каждого, в том числе и судьбе еврейской, и всех пожалеть, тем более не хотел я бросить камень в нашу Церковь, в разыгравшемся хаосе, я думаю, она единственная стоит, единственная указует нам путь, она единственная спасительная сила.

А этого не видят... Почему это так? Почему не передаются моя боль и моя уверенность? С грустью я дописываю эти строки.

Наверно, теперь... (успокойся, жена!) — на этом я закончу затянувшееся произведение.

— Только ты его не показывай другим, — предупреждает она меня. — А то тебя многие возненавидят...

— Не знаю, — растерянно отвечаю я. А все-таки показать хочется!

Но когда я так подумал, даже не вслух, а про себя, мне послышался голос:

«Стой, стой... А кто же автор? В предисловии сказано, что пишет человек, который сначала был безбожником, а потом крестился... Оказывается же, автор священник?!»

— Простите, уличили, — сознаюсь чистосердечно я. — Автор я, священник Дмитрий Дудко. Теперь вам все известно, я стою перед вами, как подсудимый, судите меня...

Судите меня за то, что я дерзнул обнажить человеческие язвы, выставить их на всеобщее обозрение, меж тем как я не имею никакого права говорить о преступлениях других в наше время страшного греховного ненастья. Да и в России нет преступников, есть страдальцы, мученики... И первое, что я хотел бы сделать — поклониться всем живущим в России в ноги — простите меня!

ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ

Я очень волновался, окончив свою книгу. Волнения охватили сразу, и оттого, что не понимают ее, и от беспомощности ее языка, и от того раздражения, которое охватывает некоторых читателей после ее прочтения.

Почему это, отчего? Для чего я ее писал? Но я заметил, что нет равнодушных читателей. И это меня несколько ободрило, и вдруг создалось какое-то ровное настроение.

А как ты ее писал? Хотел ли создать произведение, чтоб удивить читателей, или ты хотел сам разобраться в происходящих событиях, зафиксировав их, как фотоаппаратом?

Да, я сфотографировал время, и это, как недостаток, сейчас мне показалось достижением. И когда я так рассуждал, мне вдруг показалось, что все мы позваны на ТАЙНУЮ ВЕЧЕРЮ. И я как автор книги «Волною морскою» позван туда же. Мне хотелось видеть Христа, пасть перед Ним на колени и принести покаяние за свою книгу. И я почувствовал, что это было именно то, что нужно. Хорошо, что ты сам себя чувствуешь ответственным за происходящий момент... И вспомнились мне слова о. Сергия, который однажды сказал:

— Да, все мы должны себя чувствовать ответственными и виновными... Если бы мы были лучшими, были бы лучшими и стоящие на видном месте. Когда мы плохи, Патриарху не на

кого опереться, он чувствует себя одиноким, и если он делает что-то не так, в этом есть и наша вина... — я посмотрел тогда с большой любовью на о. Сергия. Он, всех критикующий и всем недовольный, делал сейчас такое заключение. Тогда и я сказал сам себе:

«Во всем есть смысл. Смысл и в наших бедах, смысл и в наших ошибках... Пусть каждый делает на своем месте. Каждый судится сам от себя, всех же может судить только Бог!»

Вспомнил я про Самуила, ведь не просто он волнуется, кладет свои силы, перетряхивает материал. Пусть он слаб как человек, но не может быть, чтоб там не было алкания правды...

А отцы протестанты? Прежде чем решиться, они должны были многое передумать и много перестрадать. И сейчас чего они только не терпят! Ведь ни что другое им дорого, дорого Православие. Пусть есть у них странности и даже падения, на то они люди.

А епископ Ермоген? Всего лишили, а он стоит. Стоит за Православие и Правду!

А Алексей Яковлевич, которого снова посадили в заключение? Как ни говори о нем, а это прямой и честный человек, мученик за Церковь.

А Солженицын? Сначала в одиночку пошел в бой, один против огромного государства, а потом увидел, что нужно с Церковью идти. И вот его письмо Патриарху — попытка идти в ногу с Церковью.

А вот еще странный и непонятный митрополит Никодим? Кажется, про него никто не скажет доброе слово. А ведь нужна была решительность, когда он порвал с отцом-атеистом. Делает он в самом деле что-то неясное, но не скажешь про него, что он совсем безбожник? Вот когда уже здоровье сдало, инфаркт у такого молодого, а он делает... не чье-то, а церковное дело, пытается служить... Неужели в душе у него нет ничего святого? Не дьявол же ведет его делать церковное дело?

А сам Патриарх, недавно избранный Пимен? Это во сне кажется все просто. Как-то был я за его службой и помню, как в конце литургии вырвалось у него из груди:

— Молитесь за меня, мне трудно.

Слабая воля, говорят, был контужен, а Православие ему дорого, и делать уступку врагам Церкви — это что-то вырывать с кровью. Вот как пишет философ Н. Лосский:

«Сохранить громадную церковную организацию (в России) (это) предохранить русский народ от двух тяжких бедствий — от полного безверия и от патологических форм сектантского мистицизма». «Сохранение церковной организации в России достигается путем мученического пожертвования своим добрым именем...»

Судить легко, трудно понять. А понять мы должны, ибо если мы не поймем, мы окажемся просто фарисеями при любой нашей вере.

Вспомнил я с какой-то теплотой сердечной сейчас всех, всех пожалел, поплакал о всех, пожелал им всем сил и здоровья. И тогда мне показалось, что в наше серое время есть величайшие герои Духа. Вот был Собор, избирали Патриарха. На Соборе должны были решаться и другие дела, особенно должен был решиться вопрос Собора 1961 года, который поставил Церковь на колени перед светскими властями. Пять епископов запротестовали против этого «разбойничьего» Собора, четырех из них уговорили снять свой протест, а пятого не смогли, пятый сказал:

— Буду протестовать!

И когда этому пятому нужно было уезжать на Собор для избрания Патриарха, вызывает его к себе уполномоченный по делам Церкви от государства, любезно с ним беседует, желает счастливого пути... Только епископ возвращается домой, как его вызывают в райисполком, тот же любезный разговор, пожелания счастливого пути... Возвращается епископ из райисполкома и сразу чувствует боль во всей своей спине. Вызвали врача, оказался сильнейший химический ожог, именно в тех местах, которыми он соприкасался с креслом, так любезно предложенным ими. Епископ не мог быть на Соборе. Был избран Патриарх, говорят, вспыхнули какие-то дебаты. Запротестовали, кажется, иностранцы, присутствующие на Соборе, что это, мол, за избрание, когда одна кандидатура?.. Митрополит Никодим подхватил этот протест и сказал:

— Я тоже с вами согласен. Ну давайте выбирать. Меня, как не достигшего пятидесяти лет, нельзя, можно девяностолетнего старца алма-атинского...

— Нет, нет, — закричали митрополиту Никодиму. Выходит, что единственная кандидатура — Пимен. На этом все и порешили. Так что куда ни верти, а все одно и то же выходит...

Много поступило писем на Собор от священников и мирян. Прислал письмо в соавторстве с другими и Самуил, обвиняя митрополита Никодима в ереси. Всех присутствующих лишили места, и еще поубавились церковные ряды, так что и протест может быть теперь, как провокация, выявляющая для властей добрые силы Церкви. Патриарху, говорят, подсунули своих секретарей, он унижается перед всеми... Некоторые его критикуют за это, а мне плакать хочется. Такого смирения еще никто не выдерживал, только русский Патриарх. Жизнь идет своим чередом, процесс, как гнойник, нужно выждать, пока сам прорвется...

Тайная вечеря — это религиозный вопрос о душе каждого человека, он должен быть тайным. Внешне — разобщенность и озлобленность, внутри — Христос и тишина, тайно совершается величайшее дело. Христос знает Своих, и они знают Его. Вспомнились мне слова Христовы: «В мире скорбны будете, но мужайтесь: Я победил ми. Терпением спасайте ваши души», — и мне стало радостно, уверенность появилась. Волна морская бьется о берег, море выбрасывает всякий хлам. Тайная вечеря совершается, учеников Своих знает Христос, они есть везде и всюду. «Волною морскою скрывшего древле гонителя мучителя под землею скрыта спасенных отроцы: но мы яко отроковицы Господеви поим, славно бо прославися».

РАЗГОВОР С МОИМ РЕДАКТОРОМ

— Ну как, по-вашему, показано возрождение церковное, воскресение России? — спросил я у своего редактора.

— Не совсем заметно, — сказал он сдержанно. — Не хватает размаха ваших бесед.

— Но это будет нескромно, — заявил я, — писать о себе? Потом мы переключили наш разговор на автора «Волною морскою».

— Все-таки надо подумать, как бы это сделать иначе, — сказал он.

— Нет, — запротестовал я. — Автор должен быть одним из героев, и только потом, перешедший в священника, может взять на себя преступления своих героев и просить за все прощение у читателя. По-моему, так надо.

Редактор сразу согласился, хотя и советовал что-то сделать отчетливее. Потом наш разговор пошел дальше, и мне пришла мысль, неожиданно меня заинтересовавшая: в дальнейшем создать галерею праведников, только писать о положительном, это будет даже естественно. После того, как покаялся в грехах своих героев и своих личных, желательно бы замечать одно хорошее, можно бы даже писать церковным слогом. Эта мысль понравилась и редактору. Проводив его на поезд, я в тот вечер сел записывать свой замысел.

«А почему бы не написать о своих беседах, — вдруг пришла мысль, — если это, по мнению моего редактора, дает размах? Не о себе, допустим, писать, а о тех, кто приходил на беседы, как хлынула молодежь разных возрастов, полов и национальностей, даже разных убеждений, в том числе и атеистов. В самом деле, это вот и показывает, что Россия возрождается, что Православие живо на Русской земле».

«А не хватит ли и одного напоминания, остальное дорисует сам читатель, а то как бы не было какой-либо лакировки?» — подумалось мне. И я решил: в воскресение верят, а не показывают его. Настоящая книга окончена.

24 июля 1974 года

НА БОЖЬЕЙ НИВЕ

Есть хорошее русское слово — сеятель. Это не только о хлеборобах. Но и о священнослужителях. О тех, кто связывает свою судьбу с Божьей нивой, с судьбами воспринимающих проповедь.

Один из таких людей, отец Дмитрий ДУДКО — известный духовный писатель, проповедник, подвижник Православной Церкви, организатор постоянных христианских чтений, преподаватель Закона Божия в московском лицее, человек, много пострадавший за пропо-ведь веры Христовой.

Имя отца Дмитрия широко известно не только в России, но и во всем мире, а восемь его книг переведены на языки многих народов.

Роман священника Дмитрия Дудко отвечает самым насущным нуждам нашего времени.

В условиях политической и экономической нестабильности во сто крат возрастает угроза дьявольских соблазнов. И тем актуальней звучит главная мысль нового романа: человеку, созданному по образу и подобию Божию, надлежит постоянно совершенствоваться, чтобы приблизиться к Богу. Вся книга насыщена размышлениями о том, как достойно выстоять человеку в современном раскалывающемся мире, в условиях наибольшего противостояния Добра и Зла. Как избежать влияния западных проповедников, которые неутомимо со страниц ряда изданий, экранов телевизоров «учат» нас, как любить Бога, сея сомнения в душах людских, уходя тем самым от вечных и непреходящих ценностей Русской Православной Церкви.

Пусть эта книга послужит добрым семенем в процессе духовного возрождения русского народа, в укреплении веры Христовой в наших сердцах.

Владимир ФИРСОВ,
поэт, главный редактор журнала «Россияне»,
лауреат Государственной премии России

СОДЕРЖАНИЕ

КНИГА ПЕРВАЯ

РАЗГУЛЯВШАЯСЯ СТИХИЯ

ИСПОВЕДЬ СВЯЩЕННИКА 6
КОЛОКОЛ СЗЫВАЕТ... 56
СЛУЖБА СТРАСТНОЙ СЕДМИЦЫ 64
СУДЬБЫ ПЕРЕПЛЕТАЮТСЯ (Дневник о. Константина) 88
ЗАЧЕМ ПОЖАЛОВАЛИ?.. 127
НАЧАЛО ПАСХАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 131
ВОЛНОЮ МОРСКОЮ 133
ПО ВОЛНАМ МОРСКИМ 165
НЕУЖЕЛИ ПРИСТАНЬ? 190
КРЕСТ ХРИСТОВ! (Снова дневник о. Константина) 224
НЕЛЬЗЯ МОЛЧАТЬ (Добавление к дневнику о. Константина) 238

КНИГА ВТОРАЯ

НАПЕРЕКОР ВОЛНАМ

Первое междукнижие

АПОЛОГЕТЫ. Из записок о. Константина 265
Глава первая. ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 276
Глава вторая.СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ. 288
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 288
Глава третья. НОВАЯ АПОЛОГИЯ. РАССКАЗ О. КИРИЛЛА 291
Глава четветртая. МОНАХ ИЗ ПОЧАЕВСКОЙ ЛАВРЫ 297
Глава пятая. КРЕСТ! ВСЮДУ КРЕСТ!.. 303
Глава шестая. О. НИКОН НАВЕЩАЕТ ВРАГА 309
Глава седьмая. СПОРЫ О ПИСЬМЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ 314
Глава восьмая. ПОХОРОНЫ И ВЕНЧАНИЕ 333
БЕСЕДА ПО ПУТИ И НОВАЯ ВСТРЕЧА 337
Глава девятая. НА БРАКЕ 339
Глава десятая. РАСПЯТЫЙ ХРИСТОС СОБИРАЕТ ЛЮДЕЙ 349
Глава одиннадцатая. ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ? 362
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 364
КОЛОКОЛ НАД ГОЛОВОЙ 370
Глава двенадацатая. УБИЙСТВО НА ГЛАЗАХ У ВСЕХ 373
Глава тринадцатая. ТЬМА-ТО ВЕДЬ НЕ НА КРЕСТЕ? 381

КУПЕЛЬ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО АВТОРА

Второе междукнижие

СТРАДАНИЯ СВЕТЯТСЯ... 396
КОЕ-ЧТО ОТ СЕБЯ... 399
ЖЕЛАНИЕ ПОМОЛИТЬСЯ 401

КНИГА ТРЕТЬЯ

ДВОЙНОЕ ТЕЧЕНИЕ

Переход к третьей книге

Глава первая. ПЕРВЫЕ ПОМИНКИ 408
Глава вторая. ВРЕМЯ МЕЖДУ ПОМИНКАМИ 421
Глава третья. ВТОРЫЕ ПОМИНКИ 447
ТАЙНЫЕ СИЛЫ ЦЕРКВИ (Рассказ о. Никона) 454
О ТЕХ, ЧТО УЗРЕЛИ БОГА... 459
ВОССТАНОВЛЕННЫЕ ЗАПИСКИ (изъятые при обыске) 459
Глава четвертая. МЕЖДУ ВТОРЫМИ И ТРЕТЬИМИ ПОМИНКАМИ 467
СОН В ПАТРИАРХИИ 473
ВТОРОЕ КРЕЩЕНИЕ РУСИ (Заметки к будущей книге) 481
Глава пятая. ТРЕТЬИ ПОМИНКИ 494
ЧУДО ВОСКРЕСЕНИЯ 496
Особая глава. ИСКУШЕНИЯ (Книга в книге) 505
ПОСЛЕДНИЙ СПОР (Рассказ о. Константина) 527
ПЕРВЫЙ ПОВОРОТ НА ПЕРЕХОДЕ 532
ГРОЗОВОЙ ВЕЧЕР 532
ПАСХАЛЬНАЯ НОЧЬ ЭТОГО ГОДА 534

Эпилог

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ... (Разговор после пасхальной ночи) 547
ВТОРОЙ ПОВОРОТ НА ПЕРЕХОДЕ 551
НА ВЕЧЕРЕ У О. КОНСТАНТИНА (Из записной книжки) 562
ТРЕТИЙ ПОВОРОТ НА ПЕРЕХОДЕ 566
ПЕРЕД СУДОМ ЧИТАТЕЛЯ 566
ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ 568
РАЗГОВОР С МОИМ РЕДАКТОРОМ 571
НА БОЖЬЕЙ НИВЕ 573

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Православный издательский дом «Фавор-XXI» совместно с благотворительным фондом «Новая книга» и с Патриаршей типографией Свято-Троицкой Сергиевой Лавры готовит к выходу в свет уникальное 6-томное издание «Жития и Творения Русских Святых».

Это самое полное доселе собрание книг о жизни, деятельности, творчестве, чудесах и пророчествах большинства подвижников земли русской с избранными литературными произведениями и наставлениями святых.

Все книги издания «Жития и Творения Русских Святых» выходят в твердой обложке, с золотым тиснением на белой бумаге. Книги содержат редкие иконы, иллюстрации и гравюры. Объем каждого тома — 600—700 стр. Издание выходит в 2004 г. небольшим подарочным тиражом.

Просим с заказами на «Жития и Творения Русских Святых» обращаться по тел.: (095) 445-26-59.

⊕ Просим помолиться о здравии рабов Божиих Галины, Олега, Наталии, Павла, Анны, Дарии, Ларисы, Валентины, Сергея, Владимира, Наталии.

Формат 84×108/32. Объем 18 п. л. Печать офсетная.
Тираж 5000 экз. Заказ № 962.

Отпечатано с готовых диапозитивов
в типографии ОАО «Издательство «Самарский Дом печати».
443080, г. Самара, пр. К. Маркса, 201.
Качество печати соответствует качеству предоставленных диапозитивов.



Отец Дмитрий Дудко (род. в 1922 г.) — старец в миру, известный проповедник, писатель, организатор постоянных христианских чтений, собеседований, обществ трезвости, преподаватель Закона Божия.

За плечами батюшки 80 лет мученической жизни: голодное детство и отрочество, арест отца, два года немецкой оккупации, год фронта, ранение, тиф, автомобильная катастрофа, два ареста, девять лет ГУЛАГа, постоянное преследование властей. И в наши дни ежегодно тысячи людей со всех уголков нашей православной Родины, из стран ближнего и дальнего зарубежья приходят к старцу, чтобы получить у него совет, утешение, излить душу, исповедаться. Никому не бывает отказа.

Имя писателя — протоиерея Дмитрия Дудко широко известно в России и за рубежом. У нас в стране вышло из печати свыше 30 его книг, на многие языки народов мира переведено восемь его произведений. Тем не менее, предлагаемая читателю книга — первое произведение о. Дмитрия такого рода, которое выходит отдельным изданием. Уверены, она не оставит равнодушными православных читателей, будь то священники, монашествующие или миряне.

Священник
Дмитрий
ДУДКО

ВОЛНОЙ МОРСКОЙ

XXI
ФАВОР